

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://buninivan.ru/> Приятного чтения!

Собрание сочинений в шести томах Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

Книга первая

I

«Вещи и дела, еще не написаны бывают, тмою покрываются и гробу безпамятства предаются, написавши же яко одушевлению...»  
Я родился полвека тому назад, в средней России, в деревне, в отцовской усадьбе.

У нас нет чувства своего начала и конца. И очень жаль, что мне сказали, когда именно я родился. Если бы не сказали, я бы теперь и понятия не имел о своем возрасте, – тем более, что я еще совсем не ощущаю его бремени, – и, значит, был бы избавлен от мысли, что мне будто бы полагается лет через десять или двадцать умереть. А родился я и живи на необитаемом острове, я бы даже и о самом существовании смерти не подозревал. «Вот было бы счастье!» – хочется прибавить мне. Но кто знает? Может быть, великое несчастье. Да и правда ли, что не подозревал бы? Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет, если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил?

О роде Арсеньевых, о его происхождении мне почти ничего не известно. Что мы вообще знаем! Я знаю только то, что в Гербовнике род наш отнесен к тем, «происхождение коих теряется во мраке времен». Знаю, что род наш «знатный, хотя и захудалый» и что я всю жизнь чувствовал эту знатность, гордясь и радуясь, что я не из тех, у кого нет ни рода, ни племени. В Духов день призывает Церковь за литургией «сотворить память всем от века умершим». Она возносит в этот день прекрасную и полную глубокого смысла молитву: – Все рабы Твоя, Боже, упокой во дворах Твоих и в недрах Авраама, – от Адама даже до днесь послужившая Тебе чисто отцы и братии наши, други и сродники!

Разве случайно сказано здесь о служении? И разве не радость чувствовать свою связь, соучастие «с отцы и братии наши, други и сродники», некогда совершавшими это служение? Исповедовали наши древнейшие пращурь учение «о чистом, непрерывном пути Отца всякой жизни», переходящего от смертных родителей к смертным чадам их – жизнью бессмертной, «непрерывной», веру в то, что это волей Агни заповедано блюсти чистоту, непрерывность крови, породы, дабы не был «осквернен», то есть прерван этот «путь», и что с каждым рождением должна все более очищаться кровь рождающихся и возрастая их родство, близость с ним, единым Отцом всего сущего.

Среди моих предков было, верно, не мало и дурных. Но все же из поколения в поколение наказывали мои предки друг другу помнить и блюсти свою кровь: будь достоин во всем своего благородства. И как передать те чувства, с которыми я смотрю порой на наш родовой герб? Рыцарские доспехи, латы и шлем с страусовыми перьями. Под ними щит. И на лазурном поле его, в середине – перстень, эмблема верности и вечности, к которому сходятся сверху и снизу своими остриями три рапиры с крестами-рукоятками.

В стране, заменившей мне родину, много есть городов, подобных тому, что дал мне приют, некогда славных, а теперь заглушенных, бедных, в повседневности живущих мелкой жизнью. Все же над этой жизнью всегда – и не даром – царит какая-нибудь серая башня времен крестоносцев, громада собора с бесценным порталом, века охраняемым стражей святых изваяний, и петух на кресте, в небесах, высокий Господний глашатай, зовущий к небесному Граду.

II

Самое первое воспоминание мое есть нечто ничтожное, вызывающее недоумение. Я помню большую, освещенную предъосенним солнцем комнату, его сухой блеск над косягом, видным в окно, на юг... Только и всего, только одно мгновение! Почему именно в этот день и час, именно в эту минуту и по такому пустому поводу впервые в жизни вспыхнуло мое сознание столь ярко, что уже явилась возможность действия памяти? И почему тотчас же после этого снова надолго погасло оно?

Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально: скуден тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время! Нет, это

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
время несчастное, болезненно-чувствительное, жалкое.

Может быть, мое младенчество было печальным в силу некоторых частных условий? В самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, одинокая усадьба среди них... Зимой безграничное снежное море, летом – море хлебов, трав и цветов... И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание... Но грустит ли в тишине, в глуши какой-нибудь сурок, жаворонок? Нет, они ни о чем не спрашивают, ничему не дивятся, не чувствуют той сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире, окружающем ее, не знают ни зова пространств, ни бега времени. А я уже и тогда знал все это. Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующем помимо их, вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью неизвестно к кому и чему...

Где были люди в это время? Поместье наше называлось хутором, – хутор Каменка, – главным имением нашим считалось задонское, куда отец уезжал часто и надолго, а на хуторе хозяйство было небольшое, дворня малочисленная. Но все же люди были, какая-то жизнь все же шла. Были собаки, лошади, овцы, коровы, работники, были кучер, староста, стряпухи, скотницы, няньки, мать и отец, гимназисты братья, сестра Оля, еще качавшаяся в люльке...

Почему же остались в моей памяти только минуты полного одиночества? Вот вечерет летний день. Солнце уже за домом, за садом, пустой, широкий двор в тени, а я (совсем, совсем один в мире) лежу на его зеленой холодеющей траве, глядя в бездонное синее небо, как в чьи-то дивные и родные глаза, в отчее лоно свое. Плывет и, круглясь, медленно меняет очертания, тает в этой вогнутой синей бездне высокое, высокое белое облако... Ах, какая томящая красота! Сесть бы на это облако и плыть, плыть на нем в этой жуткой высоте, в поднебесном просторе, в близости с Богом и белокрылыми ангелами, обитающими где-то там, в этом горнем мире! Вот я за усадьбой, в поле. Вечер как будто все тот же – только тут еще блещет низкое солнце – и все так же одинок я в мире. Вокруг меня, куда ни кинь взгляд, колосистые ржи, овсы, а в них, в густой чаще склоненных стеблей, – затаенная жизнь перепелов. Сейчас они еще молчат да и все молчит, только порой загудит, угрюмо жажужжит запутавшийся в колосьях хлебный рыжий жучок. Я освобождаю его и с жадностью, с удивленьем разглядываю: что это такое, кто он, этот рыжий жук, где он живет, куда и зачем летел, что он думает и чувствует? Он сердит, серьезен: возится в пальцах, шуршит жесткими надкрыльями, из-под которых выпущено что-то тончайшее, палевое, – и вдруг щитки этих надкрылий разделяются, раскрываются, палевое тоже распускается, – и как изящно! – и жук подымается в воздух, гудя уже с удовольствием, с облегчением, и навсегда покидает меня, теряется в небе, обогащая меня новым чувством: оставляя во мне грусть разлуки...

А не то вижу я себя в доме и опять в летний вечер и опять в одиночестве. Солнце скрылось за притихший сад, покинуло пустой зал, пустую гостиную, где оно радостно блистало весь день: теперь только последний луч одиноко краснеет в углу на паркете, меж высоких ножек какого-то старинного столика, – и, Боже, как мучительна его безмолвная и печальная прелесть! А поздним вечером, когда сад уже чернел за окнами всей своей таинственной ночной чернотой, а я лежал в темной спальне в своей детской кроватке, все глядела на меня в окно, с высоты, какая-то тихая звезда... Что надо было ей от меня? Что она мне без слов говорила, куда звала, о чем напоминала?

### III

Детство стало понемногу связывать меня с жизнью, – теперь в моей памяти уже мелькают некоторые лица, некоторые картины усадебного быта, некоторые события...

Из этих событий на первом месте стоит мое первое в жизни путешествие, самое далекое и самое необыкновенное из всех моих последующих путешествий. Отец с матерью отправились в ту заповедную страну, которая называлась городом, и взяли меня с собой. Тут я впервые испытал сладость осуществляющейся мечты, а вместе с тем и страх, что она почему-нибудь не осуществится. Помню до сих пор, как я томился, стоя среди двора на солнечном припеке и глядя на тарантас, который еще утром выкатили из каретного сарая: да когда же наконец запрягут, когда кончатся все эти приготовления к отъезду? Помню, что ехали мы целую вечность, что полям, каким-то лощинам, проселкам, перекресткам не было счета и что в дороге случилось вот что: в одной лощине, – а дело было уже к вечеру и места были очень глухие, – густо рос дубовый кустарник, темно-зеленый и кудрявый, и по ее противоположному склону пробирался среди кустарника «разбойник», с топором засунутым за пояс, –

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин самый, может быть, таинственный и страшный из всех мужиков, виденных мною не только до той поры, но и вообще за всю мою жизнь. Как въехали мы в город, не помню. Зато как помню городское утро! Я висел над пропастью, в узком ущельи из огромных, никогда мною не виданных домов, меня ослеплял блеск солнца, стекловывесок, а надо мною на весь мир разливался какой-то дивный музыкальный кавардак: звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышавшейся надо всем в таком величии, в такой роскоши, какие и не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уже никак не могла поразить меня впоследствии пирамида Хеопса.

Всего же поразительнее оказалась в городе вакса. За всю мою жизнь не испытал я от вещей, виденных мною на земле, – а я видел много! – такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка, но что это было за лыко и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка! А самая вакса! Черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом! А потом были еще две великих радости: мне купили сапожки с красным сафьяновым ободком на голенищах, про которые кучер сказал на весь век запомнившееся мне слово: «в аккурат сапожки!» – и ременную плеточку с свистком в рукоятке... С каким блаженным чувством, как сладострастно касался я и этого сафьяна и этой упругой, гибкой ременной плеточки! Дома, лежа в своей кровати, я истинно замирал от счастья, что возле нее стоят мои новые сапожки, а под подушкой спрятана плеточка. И заветная звезда глядела с высоты в окно и говорила: вот теперь уже все хорошо, лучшего в мире нет и не надо!

Эта поездка, впервые раскрывшая мне радости земного бытия, дала мне еще одно глубокое впечатление. Я испытал его на возвратном пути. Мы выехали из города в предвечернее время, проехали длинную и широкую улицу, уже показавшуюся мне бедной по сравнению с той, где была наша гостиница и церковь Михаила Архангела, проехали какую-то обширную площадь, и перед нами опять открылся вдаль знакомый мир – поля, их деревенская простота и свобода. Путь наш лежал прямо на запад, на закатное солнце, и вот вдруг я увидел, что есть еще один человек, который тоже смотрит на него и на поля: на самом выезде из города высился необыкновенно огромный и необыкновенно скучный желтый дом, не имевший совершенно ничего общего ни с одним из доселе виденных мною домов, – в нем было великое множество окон и в каждом окне была железная решетка, он был окружен высокой каменной стеной, а большие ворота в этой стене были наглухо заперты, – и стоял за решеткой в одном из этих окон человек в кофте из серого сукна и в такой же бескозырке, с желтым пухлым лицом, на котором выражалось нечто такое сложное и тяжелое, чего я еще тоже отроду не видывал на человеческих лицах: смешение глубочайшей тоски, скорби, тупой покорности и вместе с тем какой-то страстной и мрачной мечты... Конечно, мне объяснили, какой это был дом и кто был этот человек, это от отца и матери узнал я о существовании на свете того особого сорта людей, которые называются острожниками, каторжниками, ворами, убийцами. Но ведь слишком скудно знание, приобретаемое нами за нашу личную краткую жизнь – есть другое, бесконечно более богатое, то, с которым мы рождаемся. Для тех чувств, которые возбудили во мне решетка и лицо этого человека, родительских объяснений было слишком мало: я сам почувствовал, сам угадал, при помощи своего собственного знания, особенную, жуткую душу его. Страшен был мужик, пробиравшийся по дубовым кустарникам в лощине, с топором за подпояской. Но то был разбойник, – я ни минуты не сомневался в этом, – то было нечто очень страшное, но и чарующее, сказочное. Этот же острожник, эта решетка...

#### IV

Дальнейшие мои воспоминания о моих первых годах на земле более обыденны и точны, хотя все так же скудно, случайны, разрозненны: что, повторяю, мы знаем, что помним, – мы, с трудом вспоминаящие порой даже вчерашний день!

Детская душа моя начинает привыкать к своей новой обители, находить в ней много прелести уже радостной, видеть красоту природы уже без боли, замечать людей и испытывать к ним разные, более или менее сознательные чувства.

Мир для меня все еще ограничивается усадьбой, домом и самыми близкими. Вот я уже не только заметил и почувствовал отца, его родное существование, но и разглядел его, сильного, бодрого, беспечного, вспыльчивого, но необыкновенно отходчивого, великодушного, терпеть не могшего людей злых, злопамятных. Я стал интересоваться им и вот уже кое-что узнал о нем: то, что он никогда ничего не делает, – он, и

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин правда, проводил свои дни в той счастливой праздности, которая была столь обычна тогда не только для деревенского дворянского существования, но и вообще для русского; что он всегда очень оживляется перед обедом и весел за столом; что, проснувшись после обеда, он любит сидеть у раскрытого окна и пить очаровательно-шипящую и восхитительно-колющую в нос воду с кислотой и содой и что он всегда внезапно ловит меня в это время, сажает на колени, тискает и целует, а затем так же внезапно ссаживает, не любя ничего длительного... Я уже чувствовал к нему не только расположение, но временами и радостную нежность, он мне уже нравился, отвечал моим уже слагающимся вкусам своей отважной наружностью, прямою переменчивого характера, больше же всего, кажется, тем, что был он когда-то на войне в каком-то Севастополе, а теперь охотник, удивительный стрелок, – он попадал в двугривенный, подброшенный в воздух, – и так хорошо, задушевно, а когда нужно, так ловко, подмывающе играет на гитаре песни, какие-то старинные, счастливых дедовских времен...

Заметил я наконец и няньку нашу, то есть осознал присутствие в доме, какую-то особую близость к нашей детской этой большой, статной и властной женщины, которая, хотя и называет себя постоянно нашей холопкой, есть на самом деле член нашей семьи, а ссорится (и довольно часто) с нашей матерью лишь потому, что это совершенно необходимо в силу их любви друг к другу и потребности после ссоры через некоторое время заплакать и помириться. Братья были совсем не ровесники мне, они жили тогда уже какой-то своей жизнью, приезжали к нам только на каникулы; зато у меня оказалось две сестры, которых я тоже наконец осознал и по-разному, но одинаково тесно соединил с своим существованием: я нежно полюбил смешливую синеглазую Надю, которая заняла свою очередь в люльке, и незаметно стал делить все свои игры и забавы, радости и горести, а порой и самые сокровенные мечты и думы с черноглазой Олей, девочкой горячеей, легко, как отец, вспыхивающей, но тоже очень доброй, чувствительной, вскоре сделавшейся моим верным другом. Что до матери, то, конечно, я заметил и понял ее прежде всех. Мать была для меня совсем особым существом среди всех прочих, нераздельным с моим собственным, я заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда и себя самого...

С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни.

Все и все, кого любим мы, есть наша мука, – чего стоит один этот вечный страх потери любимого! А я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней, – к той, которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой, поразила тем более, что, в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью: сколько слез видел я ребенком на ее глазах, сколько горестных песен слышал из ее уст!

В далекой родной земле, одинокая, на веки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет во веки благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках? «Пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших».

V

Так постепенно миновало мое младенческое одиночество. Помню: однажды осенней ночью я почему-то проснулся и увидел легкий и таинственный полусвет в комнате, а в большое незавешенное окно – бледную и грустную осеннюю луну, стоявшую высоко, высоко над пустым двором усадьбы, такую грустную и исполненную такой неземной прелести от своей грусти и своего одиночества, что и мое сердце сжали какие-то несказанно-сладкие и горестные чувства, те самые как будто, что испытывала и она, эта осенняя бледная луна. Но я уже знал, помнил, что я не один в мире, что я сплю в отцовском кабинете, – я заплакал, я позвал, разбудил отца... Постепенно входили в мою жизнь и делались ее неотделимой частью люди.

Я уже заметил, что на свете, помимо лета, есть еще осень, зима, весна, когда из дому можно выходить только изредка. Однако я сперва не запоминал их, – в детской душе остается больше всего яркое, солнечное, – и поэтому мне теперь вспоминается, кроме этой осенней ночи, всего две-три темных картины, да и то потому, что были они не обычны: какой-то зимний вечер с ужасным и очаровательным снежным ураганом за стенами, – ужасным потому, что все говорили, что это всегда так бывает «на Сорок Мучеников», очаровательным же по той причине, что, чем

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин ужаснее бился ветер в стены, тем приятнее было чувствовать себя за их защитой, в тепле, в уюте; потом какое-то зимнее утро, когда случилось нечто действительно замечательное: проснувшись, мы увидели странный сумрак в доме, увидели, что со двора застит что-то белесое и невероятно громадное, поднявшееся выше дома, – и поняли, что это снега, которыми занесло нас за ночь и от которых работники откапывали нас потом весь день; и наконец какой-то мрачный апрельский день, когда среди нашего двора внезапно появился человек в одном сюртучке, весь развевающийся и перекошенный от студеного ветра, который гнал его, несчастного, кривоногого, как-то жалко прихватившего одной рукой картуз на голове, а другой неловко зажавшего на груди этот сюртучек... В общем же, повторяю, раннее детство представляется мне только летними днями, радость которых я почти неизменно делил сперва с Олей, а потом с мужичками ребятишками из Выселок, деревушки в несколько дворов, находившейся за Провалом, в версте от нас.

Бедная была эта радость, столь же бедная, как и та, что испытывал я от ваксы, от плеточки. (Все человеческие радости бедны, есть в нас кто-то, кто внушает нам порой горькую жалость к самим себе). Где я родился, рос, что видел? Ни гор, ни рек, ни озер, ни лесов, – только кустарники в лощинах, кое-где перелески и лишь изредка подобие леса, какой-нибудь Заказ, Дубровка, а то все поля, поля, беспредельный океан хлебов. Это не юг, не степь, где пасутся отары в десятки тысяч голов, где по часу едешь по селу, по станице, дивясь их белизне, чистоте, многолюдству, богатству. Это только Подстепье, где поля волнисты, где все буераки да косогоры, неглубокие луга, чаще всего каменистые, где деревушки и лапотные обитатели их кажутся забытыми Богом, – так они неприхотливы, первобытно-просты, родственны своим лозинам и соломе. И вот я расту, познаю мир и жизнь в этом глухом и все же прекрасном краю, в долгие летние дни его, и вижу: жаркий полдень, белые облака плывут в синем небе, дует ветер, то теплый, то совсем горячий, несущий солнечный жар и ароматы нагретых хлебов и трав, а там, в поле, за нашими старыми хлебными амбарами, – они так стары, что толстые соломенные крыши их серы и плотны на вид, как камень, а бревенчатые стены стали сизыми, – там зной, блеск, роскошь света, там, отливая тусклым серебром, без конца бегут по косогорам волны неоглядного ржаного моря. Они лоснятся, переливаются, сами радуясь своей густоте, буйности, и бегут, бегут по ним тени облаков...

Потом оказалось, что среди нашего двора, густо заросшего кудрявой муравой, есть какое-то древнее каменное корыто, под которым можно прятаться друг от друга, разувшись и бегая белыми босыми ножками (которые нравятся даже самому себе своей белизней) по этой зеленой кудрявой мураве, сверху от солнца горячее, а ниже прохладной. А под амбарами оказались кусты белены, которой мы с Олей однажды наелись так, что нас отпаивали парным молоком: уж очень дивно звенела у нас голова, а в душе и теле было не только желанье, но и чувство полной возможности подняться на воздух и полететь куда угодно... Под амбарами же нашли мы и многочисленные гнезда крупных бархатно-черных с золотом шмелей, присутствие которых под землей мы угадывали по глухому, яростно-грозному жужжанию. А сколько мы открыли съедобных кореньев, сколько всяких сладких стеблей и зерен на огороде, вокруг риги, на гумне, за людской избой, к задней стене которой вплотную подступали хлеба и травы!

## VI

За людской избой и под стенами скотного двора росли громадные лопухи, высокая крапива, – и «глухая», и жгучая, – пышные малиновые татарки в колючих венчиках, что-то бледно-зеленое, называемое козельчиками, и все это имело свой особый вид, цвет, запах и вкус. Мальчишка подпасок, существование которого мы тоже наконец открыли, был необыкновенно интересен: посконная рубашонка и коротенькие портченки были у него дыра на дыре, ноги, руки, лицо высушены, сожжены солнцем и лупились, губы болели, потому что вечно жевал он то кислую ржаную корку, то лопухи, то эти самые козельчики, разъедавшие губы до настоящих язв, а острые глаза воровски бегали: ведь он хорошо понимал всю преступность нашей дружбы с ним и то, что он подбивал и нас есть Бог знает что. Но до чего сладка была эта преступная дружба! Как заманчиво было все то, что он нам тайком, отрывисто, поминутно оглядываясь, рассказывал! Кроме того он удивительно хлопал, стрелял своим длинным кнутом и бесовски хохотал, когда пробовали и мы хлопать, пребольно обжигая себя по ушам концом кнута...

Но уж где было настоящее богатство всякой земляной снеди, так это между скотным двором и конюшней, на огородах. Подражая подпаску, можно было запастись

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
посоленной коркой черного хлеба и есть длинные зеленые стрелки лука с серыми зернистыми махорчиками на остриях, красную редиску, белую редьку, маленькие, шершавые и бугристые огурчики, которые так приятно было искать, шурша под бесконечными ползучими плетями, лежавшими на рассыпчатых грядках... На что нам было все это, разве голодны мы были? Нет, конечно, но мы за этой трапезой, сами того не сознавая, приобщались самой земли, всего того чувственного, вещественного, из чего создан мир. Помню: солнце пекло все горячее траву и каменное корыто на дворе, воздух все тяжелел, тускнел, облака сходились все медленнее и теснее и наконец стали подергиваться острым малиновым блеском, стали где-то, в самой глубокой и звучной высоте своей погромыхивать, а потом греметь, раскатываться гулким гулом и раздражаться мощными ударами да все полновеснее, величавей, великолепно... О, как я уже чувствовал это божественное великолепие мира и Бога, над ним царящего и его создавшего с такой полнотой и силой вещественности! Был потом мрак, огонь, ураган, обломный ливень с трескучим градом, все и всюду металось, трепетало, казалось гибнущим, в доме у нас закрыли и завесили окна, зажгли «страстную» восковую свечу перед черными иконами в старых серебряных ризах, крестились и повторяли: «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф!» Зато какое облегчение настало потом, когда все стихло, успокоилось, всей грудью вдыхая невыразимо-отрадную сырую свежесть пресыщенных влагой полей, – когда в доме опять распахнулись окна, и отец, сидя под окном кабинета и глядя на тучу, все еще закрывавшую солнце и черной стеной стоявшую на востоке, за огородом, послал меня выдернуть там и принести ему редьку покрупнее! Мало было в моей жизни мгновений, равных тому, когда я летел туда по облитым водой бурьянам и, выдернув редьку, жадно куснул ее хвост вместе с синей густой грязью, облепившей его...

А затем, постепенно смелея, мы узнали скотный двор, конюшню, каретный сарай, гумно, Провал, Выселки. Мир все расширялся перед нами, но все еще не люди и не человеческая жизнь, а растительная и животная больше всего влекли к себе наше внимание и все еще самыми любимыми нашими местами были те, где людей не было, а часами – послеполуденные, когда люди спали. Сад был весел, зелен, но уже известен нам; в нем хороши были только дебри и чащи, птичьи гнезда (особенно если в них, в этих чашечках, сплетенных из прутьев и усталых чем-то мягким и теплым, сидело и зорким черным зернышком смотрело что-нибудь пестро окрашенное) да малинники, ягоды которых были несравненно вкуснее тех, что мы ели с молоком и с сахаром после обеда. И вот – скотный двор, конюшня, каретный сарай, рига на гумне, Провал...

## VII

Всюду была своя прелесть!

На скотном дворе, весь день пустом, с ленивой грубостью скрипели ворота, когда мы из всех своих силенок приотворяли их, и остро, кисло, но неотразимо привлекательно воняло навозной жижей и свинными закутами.

В конюшне жили своей особой, лошадиной жизнью, заключающейся в стояньи и звучном жеваньи сена и овса, лошади. Как и когда они спали? Кучер говорил, что иногда они тоже ложатся и спят. Но это было трудно, даже как-то жутко представить себе, – тяжело и неумело ложатся лошади. Это случалось, очевидно, в какие-то самые глухие ночные часы, а обычно лошади стояли в стойлах и весь день в молоко размалывали на зубах овес, теребили и забирали в мягкие губы сено, и были они все красавицы, могучие, с лоснящимися крупами, коснуться которых было большое удовольствие, с жесткими хвостами до земли и женственными гривами, с крупными лиловыми глазами, которыми они порой грозно и дивно косили, напоминая нам то страшное, что рассказывал кучер: что каждая лошадь имеет в году свой заветный день, день Флора и Лавра, когда она норовит убить человека в отместку за свое рабство у него, за свою лошадиную жизнь, заключающуюся в постоянном ожиданьи запряжки, в исполненьи своего странного назначения на свете – только возить, только бегать... Пахло и здесь тоже крепко и тоже навозом, но совсем не так, как на скотном дворе, потому что совсем другой навоз тут был, и запах его мешался с запахом самих лошадей, сбри, гниющего сена и еще чего-то, что присуще только конюшне.

А в каретном сарае стояли беговые дрожки, тарантас, старозаветный дедушкин возок; и все это соединялось с мечтами о далеких путешествиях, в задке тарантаса был необыкновенно занятый и таинственный дорожный ящик, возок тянул к себе своей старинной неуклюжестью и тайным присутствием чего-то оставшегося в мире от

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
дедушки, был непохож ни на что теперешнее. Ласточки непрестанно сновали черными стрелами взад и вперед, то из сарая в голубой небесный простор, то опять в ворота сарая, под его крышу, где они лепили свои известковые гнездышки, страшно приятные своей твердостью, выпуклостью, искусством лепки. Часто приходит теперь в голову: «Вот умрешь и никогда не увидишь больше неба, деревьев, птиц и еще многого, многого, к чему так привык, с чем так сроднился и с чем так жалко будет расставаться!» Что до ласточек, то их будет особенно жалко: какая это милая, ласковая, чистая красота, какое изящество, эти «касаточки» с их молниеносным летом, с розово-белыми грудками, с черно-синими головками и такими же черно-синими, острыми, длинными, крест накрест складывающимися крыльшками и неизменно счастливым щебетаньем! Ворота сарая были всегда открыты – ничто не мешало забегать в него когда угодно, по часам следить за этими щебетуньями, предаваться мечте поймать какую-нибудь из них, садиться верхом на дрожки, залезать в тарантас, в возок и, подпрыгивая, ехать куда-нибудь далеко, далеко... Почему с детства тянет человека даль, ширь, глубина, высота, неизвестное, опасное, то, где можно размахнуться жизнью, даже потерять ее за что-нибудь или за кого-нибудь?

Разве это было бы возможно, будь нашей долей только то, что есть, «что Бог дал», – только земля, только одна эта жизнь? Бог, очевидно, дал нам гораздо больше. Вспоминая сказки, читанные и слышанные в детстве, до сих пор чувствую, что самыми пленительными были в них слова о неизвестном и необычном. «В некотором царстве, в неведомом государстве, за тридевять земель... За горами, за долами, за синими морями... Царь-Девушка, Василиса Премудрая...»

А рига была пленительно-страшна своей серой соломенной громадой, зловещей пустотой, обширностью, сумраком внутри и тем, что, если залезть туда, нырнув под ворота, можно заслушаться, как шарит, шуршит по ней, носится вокруг нее ветер; там в одном уголке висела запыленная святая дощечка, но говорили, что все таки чорт по ночам прилетал туда, и это соединенье – чорта и столь грозной для него дощечки – внушало особенно жуткие мысли. А провал был дальше, за ригой, за гумном, за обвалившимся овином, за просяным полем. Это была небольшая, но очень глубокая лощина, с обрывистыми скатами и знаменитым «провалом» на дне, которое заростало высочайшим бурьяном. Это было для меня самое глухое из всех глухих мест на свете. Какая благословенная пустыньность! Казалось – сидел бы в этой лощине весь век, кого-то любя и кого-то жалея. Какой прелестный и по виду и по имени цветок цвел в густой и высокой траве на ее скатах, – малиновый Богородичный Цветок с коричневым липким стеблем! И как горестно-нежно звенела в бурьяне своей коротенькой песенкой овсянка! Тю-тю-тю-тю-ю...

### VIII

Затем детская жизнь моя становится разнообразнее. Я все больше замечаю быт усадьбы, все чаще бегаю в Выселки, был уже в Рождестве, в Новоселках, у бабушки в Батурине...

В усадьбе на восходе солнца, с первым щебетаньем птиц в саду, просыпается отец. Совершенно убежденный, что все должны просыпаться вместе с ним, он громко кашляет, громко кричит: «Самовар!» Просыпаемся и мы, с радостью от солнечного утра, – других, повторяю, я все еще не хочу или не могу замечать, – с нетерпеливым желаньем поскорее бежать в вишенник, рвать наши любимые вишни, – наклеванные птицами и подпеченные солнцем. На скотном дворе, по-утреннему, ново, скрипят в это время ворота, оттуда с ревом, визгом, хлопаньем кнутов выгоняют на сочный утренний корм коров, свиней, серо-кудрявую, плотную, волнующуюся отару овец, гонят поить на полевой пруд лошадей, и от топота их сильного, дружного табуна, гудит земля, меж тем как в людской избе и белой кухне уже пылает оранжевый огонь в печах и начинается работа стряпух, смотреть и обонять которую лезут под окна и на пороги собаки, часто с визгом от них отскакивающие...

После чая отец иногда едет со мной на беговых дрожках в поле, где, смотря по времени, или пашут, то есть идут и идут, качаясь, оступаясь в мягкой борозде, принаравливая к натуживающейся лошади и себя и тяжело скрипящую соху, на подвои которой лезут серые пласты земли, разутые, без шапок мужики, или выпальвают то просо, то картошки несметные девки, радующие своей пестротой, бойкостью, смехом, песнями, или на зное косят, со свистом, размашисто, приседая и раскорячиваясь, валяя густую стену жаркой желтой ржи косцы с почерневшими от пота спинами, с расстегнутыми воротами, с ремешками вокруг головы, а следом за ними работают граблями и, сгибаясь, наклоняясь, борются с колкими головастыми снопами,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
пахнувшими разогретой на солнце золотой ржаной соломой, мнут их коленом и туго  
вяжут подоткнутые бабы.. Какой это непередаваемо-очаровательный звук, – звук  
наточиваемой косы, по блестящему лезвию которой то с одной, то с другой стороны  
ловко мелькает шершавая от песку, обмокнутая в воду лопаточка! Всегда есть  
косец, который непременно восхитит – расскажет, что он чуть-чуть не скосил целое  
перепелиное гнездо, чуть-чуть не поймал перепелку, пополам перехватил змею. А  
про баб я уже знаю, что иногда они вяжут и ночью, если ночь лунная, – днем  
слишком сухо, сыплется зерно, – и чувствую поэтическую прелесть этой ночной  
работы...

Много ли таких дней помню я? Очень, очень мало, утро, которое представляется мне  
теперь, складывается из отрывочных, одновременных картин, мелькающих в моей  
памяти. Полдень помню такой: жаркое солнце, волнующие кухонные запахи, бодрое  
предвкушение уже готового обеда у всех возвращающихся с поля, – у отца, у  
загорелого, с кудрявой рыжей бородой старосты, крупно и валко едущего на потном  
иноходце, у работников, косивших с косцами и теперь въезжающих во двор на возу  
подкошенной вместе с цветами на межах травы, на которой лежат сверкающие косы, и  
у тех, что пригнали с пруда выкупанных, зеркально блестящих лошадей, с темных  
хвостов и грив которых струится вода.. В такой полдень видел я однажды брата  
Николая, тоже на возу, на траве с цветами, приехавшего с поля с Сашкой, девочкой  
из Новоселок. Я уже что-то слышал о них на дворне, – что-то непонятное, но  
почему-то запавшее мне в сердце. И теперь, увидав их вдвоем на возу, вдруг с  
тайным восторгом почувствовал их красоту, юность, счастье. Она, высокая,  
худощавая, еще совсем почти девочка, тонколикая, сидела с кувшином в руке,  
отвернувшись от брата, свесив с воза босые ноги, опустив ресницы; он, в белом  
картузе, в батистовой косоворотке, с расстегнутым воротом, загорелый, чистый,  
юный, держал вожжи, а сам смотрел на нее сияющими глазами, что-то говорил ей,  
радостно, любовно улыбаясь...

## IX

Помню поездки к обедне, в Рождество. Тут все необычайно, празднично: кучер в  
желтой шелковой рубаше и плисовой безрукавке на козлах тарантаса, запряженного  
тройкой; отец с свежесбрившим подбородком и по городскому одетый, в дворянском  
картузе с красным околышем, из под которого еще мокро чернеют по старинному,  
косицами начесанные от висков к бровям волосы, мать в красивом, легком платье со  
множеством оборок; я, напомаженный, в шелковой рубашечке, с праздничной  
напряженностью в душе и теле...

В поле уже душно, жарко, дорога среди высоких и недвижных хлебов узка и пылит,  
кучер барственно обгоняет мужиков и баб, тоже наряженных и тоже едущих к  
празднику. В селе весело замирает сердце от спуска с необыкновенно крутой  
каменистой горы и от новизны, богатства впечатлений: в селе мужицкие дворы все  
большие, зажиточные, с древними дубами на гумнах, с пасеками, с приветливыми, но  
независимыми хозяевами, рослыми, крупными однодворцами, а под горой извивается в  
тени высоких лозин, усеянных орущими грачами, глубокая черная речка, прохладно  
пахнущая и этими лозинами, и сыростью низины, на которой они растут. На  
противоположной горе, на которую поднимаешься, переехав каменный затонувший в  
светлых струях мост, на выгоне перед церковью – цветистое многолюдство: девки,  
бабы, гнутые, гробовые старики в чистых свитках и шляпах-черепенниках.

А в церкви – теснота, теплая, пахучая жара от этой тесноты, от пылающих свечей,  
от солнца, льющегося в купол, и чувство тайной гордости: мы впереди всех, мы так  
хорошо, умело и чинно молимся, священник после обедни подает нам целовать  
пахнущий медью крест прежде всех, кланяется подобострастно.. Во дворе старика  
Данилы, ласкового лешего с сивыми кудрями, с коричневой шеей, похожей на  
потрескавшуюся пробку, мы после обедни отдыхали, пили чай с теплыми лепешками и  
медом, горой наваленным в деревянную миску, и мне на всю жизнь запомнилось, –  
оскорбило! – что он однажды взял прямо своими черными негнушимися пальцами кусок  
текущего, тающего янтарного сота и положил мне в рот...

Я уже знал, что мы стали бедные, что отец много «промотал» в крымскую кампанию,  
много проиграл, когда жил в Тамбове, что он страшно беспечен и часто, понапрасну  
стараясь напугать себя, говорит, что у нас вот-вот и последнее «затрещит» с  
молотка; знал, что задонское имение уже «затрещало», что у нас уже нет его;  
однако у меня от тех дней все так сохранилось чувство довольства, благополучия.  
И я помню веселые обеденные часы нашего дома, обилие жирных и сытных блюд,  
зелень, блеск и тень сада за раскрытыми окнами, много прислуги, много гончих и

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин борзых собак, лезущих в дом, в растворенные двери, много мух и великолепных бабочек... Помню, как сладко спала вся усадьба в долгое послеобеденное время... Помню вечерние прогулки с братьями, которые уже стали брать меня с собой, их юношеские восторженные разговоры... Помню какую-то дивную лунную ночь, то, как неизъяснимо прекрасен, легок, светел был под луной южный небосклон, как мерцали в лунной небесной высоте редкие лазурные звезды, и братья говорили, что все это – миры, нам неведомые и, может быть, счастливые, прекрасные, что, вероятно, и мы там будем когда-нибудь... Отец спал в такие ночи не в доме, а на телеге под окнами, на дворе: наваливали на телегу сена, на сене стелили постель. Мне казалось, что ему тепло спать от лунного света, льющегося на него и золотом сияющего на стеклах окон, что это высшее счастье спать вот так и всю ночь чувствовать сквозь сон этот свет, мир и красоту деревенской ночи, родных, окрестных полей, родной усадьбы...

Только одно событие омрачило эту счастливую пору, событие страшное и огромное. Однажды вечером влетели во двор усадьбы пастушата, гнавшие с поля рабочих лошадей, и крикнули, что Сенька на всем скаку сорвался вместе с лошадью в Провал, на дно Провала, в те страшные заросли, где, как говорили, было нечто вроде илистой воронки. Работники, братья, отец, все кинулись туда, спасать, вытаскивать, и усадьба замерла в страхе, в ожидании: спасут ли? Но село солнце, стало темнеть, стемнело – вестей «оттуда» все не было, а когда они пришли, все притихло еще более: оба погибли – и Сенька и лошадь...

Помню страшные слова: надо немедленно дать знать становому, послать стеречь «мертвое тело...» Почему так страшны были эти совершенно для меня новые слова? Значит, я их уже знал когда-то?

Х

Люди совсем не одинаково чувствительны к смерти. Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни). Протопоп Аввакум, рассказывая о своем детстве, говорит: «Аз же некогда видех у соседа скотину умершу и, той нощи восставши, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть...» Вот к подобным людям принадлежу и я.

Я с особенной чувствительностью слушал в младенчестве о темных и нечистых силах, сущих в мире, и о «покойниках», отчасти сродных этим силам. Я слышал, как говорили о «покойном» дяде, о «покойном» дедушке, о том, что «покойники» находятся где-то «на том свете», и, слушая, приобретал какие-то неприятные и недоуменные впечатления, боязнь темных комнат, чердака, глухих ночных часов, чертей – и привидений, иначе говоря, все тех же «покойников», оживающих и бродящих по ночам.

Когда и как приобрел я веру в Бога, понятие о Нем, ощущение Его? Думаю, что вместе с понятием о смерти. Смерть, увы, была как-то соединена с Ним (и с лампадкой, с черными иконами в серебряных и вызолоченных ризах в спальне матери). Соединено с Ним было и бессмертие. Бог – в небе, в непостижимой высоте и силе, в том непонятном синем, что вверху, над нами, безгранично далеко от земли: это вошло в меня с самых первых дней моих, равно как и то, что, не взирая на смерть, у каждого из нас есть где-то в груди душа и что душа эта бессмертна. Но все же смерть оставалась смертью, и я уже знал и даже порой со страхом чувствовал, что на земле все должны умереть – вообще еще очень не скоро, но в частности в любое время, особенно же накануне Великого Поста. У нас в доме, поздним вечером, все вдруг делалось тогда кроткими, смиренно кланялись друг другу, прося друг у друга прощенья; все как бы разлучались друг с другом, думая и боясь, как бы и впрямь не оказалась эта ночь нашей последней ночью на земле. Думал так и я и всегда ложился в постель с тяжелым сердцем перед могущим быть в эту роковую ночь Страшным Судом, каким-то грозным «Вторым Пришествием» и, что хуже всего, «восстанием всех мертвых». А потом начинался Великий пост, – целых шесть недель отказа от жизни, от всех ее радостей. А там – Страстная неделя, когда умирал даже Сам Спаситель...

На Страстной, среди предпраздничных хлопот, все тоже грустили, сугубо постились, говели – даже отец тщетно старался грустить и говеть, – и я уже знал, что в пятницу поставят пред алтарем в рождественской церкви то, что называется плащаницей и что так страшно – как некое подобие гроба Христа – описывали мне, в ту пору еще никогда не видевшему ее, мать и нянька. К вечеру Великой субботы дом

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин наш светился предельной чистотой, как внутренней, так и внешней, благой и счастливой, тихо ждущей в своем благообразии великого Христова праздника. И вот праздник наконец наступал, – ночью с Субботы на Воскресенье в мире совершался некий дивный перелом, Христос побеждал смерть и торжествовал над нею. К заутрене нас не возили, но все же мы просыпались с чувством этого благодетельного перелома, так что, казалось бы, дальше не должно было быть места никакой печали. Однако она даже и тут была, даже в Пасхе. Вечером в тихих и розовых весенних полях слышалось отдаленное, но все приближавшееся и все повторявшееся с радостной настойчивостью: «Христос Воскресе из мертвых» – и через некоторое время показывались «Христоносцы», молодые мужики без шапок и в белых подпоясках, высоко несшие огромный крест, и девки в белых платках, – эти несли в чистых полотенцах церковные иконы. Все шло с торжествующим пением, входили во двор и, дойдя до крыльца, радостно и взволнованно, с сознанием чести честью завершеного дела, замолкали, затем братски, как равные с равными, целовались со всеми нами мягкими и теплыми, очень приятными молодыми губами и осторожно вносили крест и иконы в дом, в зал, где в тонком полусвете весенней зари мерцала в главном углу лампадка, и ставили иконы на сдвинутые под лампадку столы, на новые красивые скатерти, а крест в меру с рожью. Как прекрасно было все это! Но, увы, было и грустно и жутко немного. Все было хорошо, успокоительно, лампадка в весеннем чуть зеленеющем сумраке горела так нежно, миротворно. А все-таки было во всем этом и что-то церковное, Божественное и потому опять соединенное с чувством смерти, печали. И не раз видел я с каким горестным восторгом молилась в этот угол мать, оставшись одна в зале и опустившись на колени перед лампадкой, крестом и иконами...

О чем скорбела она? И о чем вообще всю жизнь, даже и тогда, когда, казалось, не было на то никакой причины, горевала она, часами молилась по ночам, плакала порой в самые прекрасные летние дни, сидя у окна и глядя в поле? О том, что душа ее полна любви ко всему и ко всем и особенно к нам, ее близким, родным и кровным, и о том, что все проходит и пройдет навсегда и без возврата, что в мире есть разлуки, болезни, горести, несбыточные мечты, неосуществимые надежды, невыразимые или невыраженные чувства – и смерть...

Не Сенька дал мне понятие о смерти. Я и до Сеньки знал и в известной мере чувствовал ее. Однако это благодаря ему почувствовал я ее в первый раз в жизни по настоящему, почувствовал ее вещественность, то, что она наконец коснулась и нас. Я впервые ощутил тогда, что она порой находит на мир истинно как туча на солнце, вдруг обесцвечивая все наши «дела и вещи», лишая нас интереса к ним, чувства законности и смысла их существования, все покрывая печалью и скукой. Она в тот памятный вечер восстала из-за гумна, из-за риги, со стороны Провала. И долго, долго чудилось мне потом что-то очень темное, тяжкое и даже как будто гадкое в той стороне, и все, о чем бы я ни думал, что бы я ни видел, связывалось у меня с Сенькой и с бесплодными вопросами: что случилось с ним после того, как его задавило, и что он теперь такое, и почему именно в этот вечер погиб он?

## XI

Дни слагались в недели, месяцы, осень сменяла лето, зима осень, весна зиму... Но что могу я сказать о них? Только нечто общее: то, что незаметно вступил я в эти годы в жизнь сознательную.

Помню: однажды, вбежав в спальню матери, я вдруг увидел себя в небольшое трюмо (в овальной раме орехового дерева, стоявшее напротив двери) – и на минуту заплулся: на меня с удивленьем и даже некоторым страхом глядел уже довольно высокий, стройный и худощавый мальчик в коричневой косоворотке, в черных люстриновых шароварах, в обшарпанных, но ловких козловых сапожках. Много раз, конечно, видал я себя в зеркале и раньше и не запоминал этого, не обращал на это внимания. Почему же обратил теперь? Очевидно, потому, что был удивлен и даже слегка испуган той переменной, которая с каких то пор, – может быть, за одно лето, как это часто бывает, – произошла во мне и которую я наконец внезапно открыл. Не знаю точно, когда, в какое время года это случилось и сколько мне было тогда лет. Полагаю, что случилось осенью, судя по тому, что, помнится, загар мальчика в зеркале был бледный, такой, когда он сходит, выцветает, и что был я, должно быть, лет семи, а более точно знаю только то, что мальчик мне понравился своей стройностью, красиво выгоревшими на солнце волосами, живым выраженьем лица – и что произошло несколько испуганное удивление. В силу чего? Очевидно, в силу того, что я вдруг увидел (как посторонний) свою привлекательность, – в этом открытии было, неизвестно почему, даже что-то

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин грустное, – свой уже довольно высокий рост, свою худощавость и свое живое, осмысленное выражение: внезапно увидал, одним словом, что я уже не ребенок, смутно почувствовал, что в жизни моей наступил какой-то перелом и, может быть, к худшему...

И так оно и было на самом деле. Преимущественное запоминание только одних счастливых часов приблизительно с тех пор кончилось, – что уже само по себе означало не малое, – и совпало это с некоторыми опять совсем новыми и действительно нелегкими познаниями, мыслями и чувствами, приобретенными мною на земле. Я вскоре после того узнал одного замечательного в своем роде человека, вошедшего в мою жизнь, и начал с ним свое ученье. Я перенес первую тяжелую болезнь. Пережил новую смерть – смерть Нади, потом смерть бабушки...

## XII

Человек в сюртучке, неожиданно появившийся однажды на нашем дворе в ледяной и ненастный весенний день, появился у нас снова, – когда именно, не помню, но появился. И оказался этот человек действительно несчастным человеком, только совсем особого рода, то есть не просто несчастным, а создавшим свое несчастье своей собственной волей и переносившим его даже как бы с наслаждением, – оказался, словом, принадлежащим к тому ужасному разряду русских людей, который я, разумеется, понял как следует только впоследствии, в годы зрелости. Звали его Баскаковым, он происходил из богатой и родовитой семьи, был умен, талантлив и, следовательно, мог жить не хуже, если не лучше, многих. Однако не даром был он худ, сутул, горбонос, темнолик «точно чорт», как говорили про него: характер у него был сумасшедший, он, еще будучи лицеистом, с проклятиями бежал из дому после какой-то ссоры с отцом, затем, когда умер отец, так взбесился на брата при разделе наследства, что в клочки порвал отдельный акт, плюнул брату в лицо, крикнув, что он, «когда такое дело», знать не желает никакого дележа, не берет на свою долю ни гроша, и опять и уже навсегда крепко хлопнул дверью родного дома. С тех пор и началась его скитальческая жизнь: ни на одном месте, ни в одном доме он не мог ужиться даже несколько месяцев. Не ужился он и у нас сначала: вскоре после его первого появления на нашем дворе они с отцом чуть не порезались кинжалами. Но во второй раз случилось чудо: Баскаков через некоторое время заявил, что остается у нас навеки, – и прожил у нас целых три года, до моего поступления в гимназию. Он даже признался, что, относясь вообще к людям только с презрением и ненавистью, он горячо полюбил всех нас, особенно меня. Он стал моим воспитателем и учителем, и через некоторое время горячо привязался и я к нему, что и было источником многих очень сложных и сильных чувств, испытанных мною в близости с ним.

Повышенная впечатлительность, унаследованная мной не только от отца, от матери, но и от дедов, прадедов, тех весьма и весьма своеобразных людей, из которых когда-то состояло русское просвещенное общество, была у меня от рождения. Баскаков чрезвычайно помог ее развитию. Как воспитатель и учитель в обычном значении этих слов он был никуда не годен. Он очень быстро выучил меня писать и читать по русскому переводу Дон-Кихота, случайно оказавшемуся у нас в доме среди прочих случайных книг, а что делать дальше, точно не знал, да и не очень интересовался знать. С матерью, с которой, кстати сказать, он держался всегда почтительно и тонко, он чаще всего говорил по-французски. Мать посоветовала ему выучить меня читать и на этом языке. Он и это выполнил скоро и с большой охотой, но дальше опять не пошел: заказал купить в городе какие-то учебники, которые я должен был пройти, чтобы попасть в первый класс гимназии, и стал просто засаживать меня учить их наизусть. И вышло так, что его большое воздействие на меня сказалось совсем в другом. Он вообще жил очень замкнуто и дико. Он иногда бывал необыкновенно весел, мил, любезен, разговорчив, остроумен, даже блестящ, неистощим на мастерские рассказы. Но большей частью был он как то едко молчалив, все что-то думал, ядовито усмехаясь, зло бормоча и без конца поспешно шагая по дому, по двору, быстро раскачиваясь на своих тонких и кривых ногах. В это время всякую попытку заговорить с ним он обрывал или короткой, желчной любезностью или дерзостью. Но и в это время он совершенно преображался, завидя меня. Он тотчас же спешил ко мне навстречу, обнимал за плечо и уводил в поле, в сад или усаживался со мной в каком-нибудь уголке и начинал что-нибудь рассказывать, что-нибудь читать вслух, поселяя во мне самые противоположные чувства и представления.

Рассказывал он, повторяю, превосходно, изображая все в лицах, в жестах, быстрых переменах голоса. Можно было заслушаться его и тогда, когда он читал, всегда, по

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
своему обыкновению, прищурил левый глаз и далеко отставив от себя книгу. А та  
противоположность чувств и представлений, которую он поселял во мне, проистекала  
из того, что для своих рассказов он чаще всего избирал, совсем не считаясь с  
моим возрастом, все, кажется, наиболее горькое и едкое из пережитого им,  
свидетельствующее о людской низости и жестокости, а для чтения – что-нибудь  
героическое, возвышенное, говорящее о прекрасных и благородных страстях  
человеческой души, и я, слушая его, то горел от негодования к людям и от  
мучительной нежности к нему самому, столько от них страдавшему, то млел, замирал  
от радостных волнений. Глаза у него были рачьи, близорукие и всегда красные,  
какие-то огненно-карие, выражение лица поражало своей напряженностью.

И всегда, когда он ходил или, вернее, бегал, развевались его сухие с проседью  
волосы и полы неизменного сюртука, чрезвычайно старомодного. «Не желая никому  
быть в тягость», у него было помешательство на этом, – он курил (и беспрепятственно)  
только махорку, спал летом в амбаре, а зимой в лакейской, давно упраздненной за  
отсутствием лакеев, а что до пищи, то, кажется, был твердо убежден, что это сущи  
и предрассудок, будто люди должны питаться: за столом его интересовала только  
водка да горчица с уксусом. Все истинно дивились, чем только жив он...

Он рассказывал мне о том, какие случались у него в жизни жестокие столкновения  
«с негодьями», о Москве, где он когда-то учился, о дремучих, медвежьих лесах за  
Волгой, где он одно время скитался. Он читал со мной Дон-Кихота, журнал  
«Всемирный путешественник», какую-то книгу под названием «Земля и люди»,  
Робинзона... Он рисовал акварелью – и пленил меня страстной мечтой стать  
живописцем. Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками, пачкал бумагу с  
утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловое,  
синеву неба, которая сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев,  
как бы купающихся в этой синеве, – и навсегда проникся глубочайшим чувством  
истинно-божественного смысла и значения земных и небесных красок. Подводя итоги  
того, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую  
синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню...

### XIII

В кабинете отца висел на стене старый охотничий кинжал. Я видел, как отец иногда  
вытаскивал из ножен его белый клинок и тер его полой архалука. Какой  
сладоострастный восторг охватывал меня при одном прикосновении к этой гладкой,  
холодной, острой стали! Мне хотелось поцеловать, прижать ее к сердцу – и затем  
во что-нибудь вонзить, всадить по рукоятку. Отцовская бритва тоже была сталь и  
еще острее, да я не замечал ее. А вот при виде всякого стального оружия я до сих  
пор волнуюсь – и откуда они у меня, эти чувства? Я был в детстве добр, нежен – и  
однако с истинным упоением зарезал однажды молодого грача с перебитым крылом.  
Помню, двор был пуст, в доме почему-то было тоже пусто и тихо, и вот я внезапно  
увидел большую и очень черную птицу, которая куда-то спешила, боком, неловко,  
распустив повисшее крыло, прыгала по траве по направлению к амбарам. Я кинулся в  
кабинет, схватил кинжал, выскочил в окно... Грач, когда я настиг его, вдруг замер,  
с ужасом в диком блестящем глазу откинулся в сторону, прижался к земле и, широко  
раскрыв и подняв клюв, ощерясь, зашипел, захрипел от злобы, решив драться со  
мной, видимо, не на живот, а на смерть... Убийство, впервые в жизни содеянное мною  
тогда, оказалось для меня целым событием, я несколько дней после того ходил сам  
не свой, втайне моля не только Бога, но и весь мир простить мне мой великий и  
подлый грех ради моих великих душевных мук. Но ведь я все таки зарезал этого  
несчастливого грача, отчаянно боровшегося со мной, в кровь изодравшего мне руки, и  
зарезал с страшным удовольствием!

А сколько раз лазил я с Баскаковым на чердак, где, по преданиям, будто бы  
валялась какая-то дедовская или прадедовская сабля? Карабкались мы туда по очень  
крутой лестнице, в полутьме, согнувшись. Так же пробирались и дальше, шагая  
через балки, матицы, груды золы и мусора. Было по чердачному тепло и душно,  
пахло остывшим дымом, сажей, печами. В мире было небо, солнце, простор, а тут –  
сумрак и что-то задавленное, дремотное. Полевой ветер вольно шумел вокруг нас по  
крыше, а сюда его шум доходил глухо, превращаясь в какой-то иной, колдовской,  
зловещий... Сумрак понемногу редел, мы обходили кирпичный боров и шею трубы и при  
свете, падавшем из слухового окна, без конца шатались взад и вперед, заглядывали  
под балки, под косо лежавшие над ними пыльные стропила, рыли золу, то серую, то  
фиолетовую, в зависимости от места, от освещения... Если б нашлась эта сказочная  
сабля! Я бы, кажется, задохнулся от счастья! А меж тем на что она мне была?  
Откуда взялась моя страстная и бесцельная любовь к ней?

Впрочем, ведь и все в мире было бесцельно, неизвестно зачем существовало, и я уже чувствовал это.

Устав от бесплодных поисков, мы отдыхали. Станный человек, деливший их со мной, человек, зачем-то дотла разоривший свою жизнь и бесцельно мотавший ее по свету, единственный, кто понимал мои бесцельные мечты и страсти, садился на матицу, крутил цыгарку и, думая свое, что-то бормотал себе под нос, а я стоял, глядел в слуховое окно. Теперь на чердаке было совсем почти светло, особенно возле окна, и шум ветра не казался в нем таким зловещим. Но все же мы были тут сами по себе, а усадьба сама по себе, и я представлял ее себе, ее мирно текущую жизнь, как посторонний. Прямо подо мной, в солнечном свете, разнообразно круглились серо-зеленые и темно-зеленые верхушки сада, на которые так странно было глядеть сверху. Их осыпали оживленным треском воробьи, они, внутри тенистые, сверху стеклянно блестя под солнцем, а я глядел и думал: для чего это? Должно быть, для того только, что это очень хорошо. За садом и за полями, простиравшимися за ним, на самом горизонте, синело, подобно далекому лесу, Батурина, и там неизвестно зачем уже восемьдесят лет жила в своей старосветской усадьбе, в доме с высочайшей крышей и цветными стеклами, бабушка, мать матери. Левее все сияло в солнечной пыли; там, за лугами, были Новоселки, то есть лозины, огороды, скудные мужицкие гумна и ряд жалких изб вдоль длинной улицы... Зачем существовали там куры, телята, собаки, водовозки, пуньки, пузатые младенцы, зубастые бабы, красивые девки, лохматые и скучные мужики? И зачем уходил туда почти каждый день к Сашке брат Николай? Только затем, что ему было почему-то приятно видеть ее ласковое и скромное лицо, милый круглый вырез белой миткалевой рубашки вокруг шеи, длинный стан и босые ноги... Этот вырез и мне нравился и тоже возбуждал какое-то томящее чувство: хотелось что-то с ним сделать, но было непонятно, что именно и зачем?

Да, в те дни больше всего пленяла таившаяся на чердаке сабля. Но нет-нет вспоминалась и Сашка, к которой я однажды, когда она как-то пришла в усадьбу и, стоя с опущенной головой у крыльца, что-то робко говорила матери, вдруг испытал что-то особенно сладостное и томящее: первый проблеск самого непонятного из всех человеческих чувств...

#### XIV

Дон-Кихот, по которому я учился читать, картинки в этой книге и рассказы Баскакова о рыцарских временах совсем свели меня с ума. У меня не выходили из головы замки, зубчатые стены и башни, подъемные мосты, латы, забрала, мечи и самострелы, битвы и турниры. Мечтая о посвящении в рыцари, о роковом, как первое причастие, ударе палашом по плечу коленопреклоненного юноши с распущенными волосами, я чувствовал, как у меня мурашки бегут по телу. В письмах А. К. Толстого есть такие строки: «Как в Вартбурге хорошо! Там даже есть инструменты 12 века. И как у тебя бьется сердце в азиатском мире, так у меня забилося сердце в этом рыцарском мире, и я знаю, что я прежде к нему принадлежал». Думаю, что и я когда-то принадлежал. Я посетил на своем веку много самых славных замков Европы и, бродя по ним, не раз дивился: как мог я, будучи ребенком, мало чем отличавшимся от любого мальчишки из Выселок, как я мог, глядя на книжные картинки и слушая полоумного скитальца, курившего махорку, так верно чувствовать древнюю жизнь этих замков и так точно рисовать себе их? Да, и я когда-то к этому миру принадлежал. И даже был пламенным католиком. Ни Акрополь, ни Баальбек, ни Фивы, ни Пестум, ни святая София, ни старые церкви в русских Кремлях и донине несравнимы для меня с готическими соборами. Как потряс меня орган, когда я впервые (в юношеские годы) вошел в костел, хотя это был всего на всего костел в Витебске! Мне показалось тогда, что нет на земле более дивных звуков, чем эти грозные, скрежещущие раскаты, гул и громы, среди которых и наперекор которым вопиют и ликуют в разверстых небесах ангельские гласы...

А за Дон-Кихотом и рыцарскими замками последовали моря, фрегаты, Робинзон, мир океанский, тропический. Уж к этому то миру я несомненно некогда принадлежал. Картинки в Робинзоне и во «Всемирном путешественнике», а вместе с ними большая пожелтевшая карта земного шара с великими пустотами южных морей и точками полинезийских островов пленили меня уже на всю жизнь. Эти узкие пироги, нагие люди с луками и дротиками, кокосовые леса, лопасти громадных листьев и первобытная хижина под ними – все чувствовал я таким знакомым, близким, словно только что покинул я эту хижину, только вчера сидел возле нее в райской тишине сонного послеполуночного часа. Какие сладкие и яркие виденья и какую настоящую

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
тоску по родине пережил я над этими картинками! Пьер Лоти рассказывает о том  
«волнующем и чудодейственном», что заключалось для него в детстве в слове  
«колонии». Но ведь он говорит:

«Il y avait une quantité de choses des colonies chez cette petite Antoinette: un perroquet, des oiseaux de toutes couleurs dans une volière, des collections de coquilles et d'insectes. Dans les tiroirs de sa maman, j'avais vu de bizarres colliers de graines pour parfumer; dans les greniers on trouvait des peaux de bêtes, des sacs singuliers, des caisses sur lesquelles se lisaient encore des adresses de villes des Antilles.»[1]

А что же подобное могло быть в Каменке?

В книге «Земля и люди» были картинки в красках. Помню особенно две: на одной – финиковая пальма, верблюд и египетская пирамида, на другой – пальма кокосовая, тонкая и очень высокая, косой скат длинного пятнистого жирафа, тянувшегося своей женственной косоглазой головкой, своим тонким жалоподобным языком к ее перистой верхушке – и весь сжавшийся в комок, летящий в воздухе прямо на шею жирафу гривастый лев. Все это – и верблюд, и финиковая пальма, и пирамида, и жираф под пальмой кокосовой, и лев – было на фоне двух резко бьющих в глаза красок: необыкновенно яркой, густой и ровной небесной сини и ярко-желтых песков. И, Боже, сколько сухого зноя, сколько солнца не только видел, но и всем своим существом чувствовал я, глядя на эту синь и эту охру, замирая от какой-то истинно эдемской радости! В тамбовском поле, под тамбовским небом, с такой необыкновенной силой вспомнил я все, что я видел, чем жил когда-то, в своих прежних, незапамятных существованьях, что впоследствии, в Египте, в Нубии, в тропиках мне оставалось только говорить себе: да, да, все это именно так, как я впервые «вспомнил» тридцать лет тому назад!

XV

Пушкин поразил меня своим колдовским прологом к «Руслану»:

У лукоморья дуб зеленый,  
Златая цепь на дубе том...

Казалось бы, какой пустяк – несколько хороших, пусть даже прекрасных, на редкость прекрасных стихов! А меж тем они на весь век вошли во все мое существо, стали одной из высших радостей, пережитых мной на земле. Казалось бы, какой вздор – какое-то никогда и нигде не существовавшее лукоморье, какой-то «ученый» кот, ни с того ни с сего очутившийся на нем и зачем то прикованный к дубу, какой-то леший, русалки и «на неведомых дорожках следы невиданных зверей». Но очевидно, в том-то и дело, что вздор, нечто нелепое, небывалое, а не что-нибудь разумное, подлинное; в том-то и сила, что и над самим стихотворцем колдовал кто-то неразумный, хмельной и «ученый» в хмельном деле: чего стоит одна эта ворожба кругообразных, непрерывных движений («и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом») и эти «неведомые» дорожки, и «следы невиданных зверей», – только следы, а не самые звери! – и это «о заре», а не на заре, та простота, точность, яркость начала (лукоморье, зеленый дуб, златая цепь), а потом – сон, наважденье, многообразие, путаница, что-то плывущее и меняющееся, подобно ранним утренним туманам и облакам какой-то заповедной северной страны, дремучих лесов у лукоморья, столь волшебного:

Там лес и дол видений полны,  
Там о заре прихлынут волны  
На брег песчаный и пустой,  
И тридцать рыцарей прекрасных  
Чредой из волн выходят ясных  
И с ними дядька их морской...

У Гоголя необыкновенное впечатление произвели на меня «Старосветские помещики» и «Страшная месть.» Какие незабвенные строки! Как дивно звучат они для меня и до сих пор, с детства войдя в меня без возврата, тоже оказавшись в числе того самого важного, из чего образовался мой, как выражался Гоголь, «жизненный состав.»

Эти «поющие двери», этот «прекрасный» летний дождь, который «роскошно» шумит по саду, эти дикие коты, обитавшие за садом в лесу, где «старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей...» А «Страшная месть»!

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
«Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует свадьбу своего сына.  
Наехало много людей к есаулу в гости...»

«Приехав и названный брат есаула, Данило Бурульбаш, с другого берега Днепра, с молодой женой Катериною и с годовым сыном. Дивились гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий бархат, бровям, сапогам с серебряными подковами, но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец...»

И дальше:

«Тихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы. Будто дамаскою белою, как снег, кисеею покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чашу сосен... Посереде Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца: черные козацкие шапки набекрень, и под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны...»

А вот Катерина тихо говорит с мужем, вытирая платком лицо спящего на ее руках ребенка: «на том платке были вышиты красным шелком листья и ягоды» (те самые, что я вижу, помню и люблю всю жизнь). Вот она «замолчала, потупивши очи в сонную воду; а ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть среди ночи...»

Опять дивлюсь: как мог я тогда, в Каменке, так разительно точно видеть все эти картины! И как уже различала, угадывала моя детская душа, что хорошо, что дурно, что лучше и что хуже, что нужно и что не нужно ей! К одному я был холоден и забывчив, другое ловил с восторгом, со страстью, навсегда запоминая, закрепляя за собой, – и чаще всего действовал при этом с удивительной верностью чутья и вкуса.

«Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля: то дедовские хоромы пана Данила. За ними еще гора, а там уже и поле, а там хоть сто верст пройди, не сыщешь ни одного козака...»

Да, вот это было мне нужно!

«Хутор пана Данила между двумя горами в узкой долине, сбегаящей к Днепру. Невысокие у него хоромы; хата на вид как у простых козаков и в ней одна светлица... Вокруг стен, вверху, идут дубовые полки. Густо на них стоят миски, горшки для трапезы. Есть меж ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, копья... Под стеною, внизу, дубовые гладко вытесанные лавки; возле них, перед лежанкою, висит на веревках, продетых в кольцо, привинченное к потолку, люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данило, на лежанке старая прислужница; в люльке тешится и убаюкивается малое дитя; на полу покотом ночуют молодцы...»

Несравненной всего – эпилог:

«За пана Степана, князя Семиградского, жило два козака: Иван да Петро...»

«Страшная мечь» пробудила в моей душе то высокое чувство, которое вложено в каждую душу и будет жить вовеки – чувство священнейшей законности возмездия, священнейшей необходимости конечного торжества добра над злом и предельной беспощадности, с которой в свой срок зло карается.

Это чувство есть несомненная жажда Бога, есть вера в Него. В минуту осуществленья Его торжества и Его праведной кары оно повергает человека в сладкий ужас и трепет и разрешается бурей восторга как бы злорадного, который есть на самом деле взрыв нашей высшей любви и к Богу и к ближнему...

XVI

Так начались мои отроческие годы, когда особенно напряженно жил я не той подлинной жизнью, что окружала меня, а той, в которую она для меня преобразалась, больше же всего вымышленной.

Подлинная жизнь была бедна.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

Я родился и рос, повторяю, совсем в чистом поле, которого даже и представить себе не может европейский человек. Великий простор, без всяких преград и границ, окружал меня: где в самом деле кончалась наша усадьба и начиналось это беспредельное поле, с которым сливалась она? Но ведь все-таки только поле да небо видел я.

Колонии! Я знал только «колониальную» лавку в Рождестве. Для меня все колониальное заключалось в корице, которой сдабривали на Страстной пасху, да в черных блестящих рожках, приторный вкус которых я узнал, побывав в Рождестве на ярмарке, да в ярлыках (херес, мадера) на бутылках в тонких проволочных сетках, которыми я забавлялся, растягивая их так и этак, и которых опять стало появляться в нашем доме все больше и больше, потому что отец опять стал запивать все чаще и чаще. В Рождестве же видел я и высшую роскошь: в церкви. Для глаза, привыкшего только к хлебам, травам, проселкам, дегтярным телегам, курным избам, лаптям, посконным рубахам, для уха, привыкшего к тишине, к пенью жаворонков, к пisku цыплят, к кудахтанью кур, глубокий купол с грозным седовласым Саваофом, простершим длани над сиреневыми клубами облаков и над своими волнистыми, веющими ризами, золотой иконостас, образа в золотых окладах, жарко пылающие светлым, золотым костром, косо и обильно наставленные перед Праздником и друг друга растопляющие тонкие восковые свечи, громкое и нестройное пенье дьячка и пономаря, ризы священника и дьякона, возгласы и чтения на языке возвышенном и не совсем понятном, поклоны и кажденья ладаном, его пряный дым, густо восходящий из кадила, ловко взлетающего вверх и бряцающего серебряными цепочками – все казалось царственным, пышным, торжественно восхищало душу...

Рос я, кроме того, среди крайнего дворянского оскудения, которого опять таки никогда не понять европейскому человеку, чуждому русской страсти ко всяческому самоистреблению. Эта страсть была присуща не одним дворянам. Почему в самом деле влачил нищее существование русский мужик, все таки владевший на великих просторах своих таким богатством, которое и не снилось европейскому мужику, а свое безделье, дрему, мечтательность и всякую неустроенность оправдывавший только тем, что не хотели отнять для него лишнюю пядь земли от соседа помещика, и без того с каждым годом все скудевшего? Почему алчное купеческое стяжание то и дело прерывалось дикими размахами мотовства с проклятиями этому стяжанию, с горькими пьяными слезами о своем окаянстве и горячечными мечтами по своей собственной воле стать Иовом, бродягой, босяком, юродом? И почему вообще случилось то, что случилось с Россией, погибшей на наших глазах в такой волшебной краткий срок?

Среди моих родных и близких еще можно было понять одну нашу мать с ее слезами, грустью, постами и молитвами, с ее жаждой отрешения от жизни: душа ее была в непрестанном и высоком напряжении, царство Божие она полагала не от мира сего и верила всем существом своим, что милая, недолгая и печальная земная жизнь есть только приуготовленье к иной, вечной и блаженной. А все прочие, то есть наши беспутные соседи, родственники, отец, Баскаков? Что сделал с своей жизнью Баскаков, я уже говорил. А что делал над собой, над своим благосостоянием наш живой, сильный, благородный, великодушный, но беспечный, как птица небесная, отец? А мы сами, юные наследники прежней славы арсеньевского рода и жалких остатков его прошлого богатства? Брат Николай ради Сашки и прелестей деревенского безделья бросил гимназию. Брат Георгий все свои каникулярные дни проводил за чтением Лавровых и Чернышевских. А с какими задатками рос я, можно судить по следующему: стал однажды Николай рисовать мне мое будущее, – ну, что ж, сказал он, подшучивая, мы, конечно, уже вполне разорены, и ты куда-нибудь поступишь, когда подрастешь, будешь служить, женишься, заведешь детей, кое-что накопишь, купишь домик, – и я вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что разрыдался...

## XVII

В последний год нашей жизни в Каменке я перенес первую тяжелую болезнь, – впервые узнал то удивительное, что привыкли называть просто тяжелой болезнью и что есть на самом деле как бы странствие в некие потусторонние пределы. Заболел я поздней осенью. Что же было со мной? Я испытал внезапное ослабление всех своих душевных и телесных сил, чудодейственную перемену, совершающуюся в такие часы во всех пяти человеческих чувствах, – в зрении, вкусе, слухе, обонянии, осязании; испытал неожиданную потерю желания жить, то есть двигаться, пить, есть, радоваться, печалиться и даже кого бы то ни было, не исключая самых дорогих сердцу, любить; а затем – целые дни и ночи как бы несуществования, иногда только

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин прерываемого снами, виденьями, чаще всего безобразными, нелепо-сложными, как бы сосредоточившими в себе всю телесную грубость мира, которая, в распаде, в яростном борении с самой собой, гибнет среди чего-то горячего, пламенного (несомненно, послужившего для человеческих представлений об адских муках). Ах, как помню я эти минуты, когда я уже стал приходить в себя порой и видел то мать в образе какого-то громадного призрака, то, вместо спальни, темный и мрачный овин, где, от свечи, поставленной на пол за изголовье кровати, неслись и дрожали в огненных волнах тысячи отвратных фигур, лиц, зверей, растений! И какой неземной ясностью, тишиной, умилением долго полна была моя душа после того, как я вернулся из этого снисхождения во ад на землю, в ее простую, милую и уже знакомую юдоль! Почему-то в это время я с особенным наслаждением ел черный хлеб, один запах которого приводил меня в восторг и который, по деревенской простоте, давали мне.

Затем умерла Надя – месяца через два после моей болезни, после Святков. Святки эти прошли весело. Отец пил, и каждый день, с утра до вечера шло у нас разлитое море, дом был полон гостей... Мать была счастлива: высшей ее радостью всегда было то время, когда вся наша семья была в сборе, когда приезжал на каникулы брат Георгий, а он на Святки приехал. Как вдруг, среди всего этого веселого безобразия, захворала Надя, перед тем особенно бойко топавшая по всему дому крепкими ножками и всех восхищавшая своими синими глазками, криками и смехом. Праздник кончился, гости схлынули, брат уехал, а она все лежала в забытии, горела, и в детской было все то же: завешенные окна, полумрак, свет лампадки... За что, именно ее, радость всего дома, избрал Бог? Весь дом был угнетен, подавлен, и все-таки никто не чаял, что этот гнет так внезапно разрешится в некий поздний вечер криком няньки, вдруг распахнувшей дверь в столовую с дикой вестью, что Надя кончается. Да, это потрясающее слово – «кончается» – раздалось для меня впервые поздним зимним вечером, в глуши темных снежных полей, в одинокой усадьбе! А ночью, когда улеглось сумасшедшее смятение, на время охватившее после того весь дом, я видел: в зале на столе, в лампадном могильном свете, лежала недвижная нарядная кукла с ничего не выражающим бескровным личиком и неплотно закрытыми черными ресницами... Более волшебной ночи не было во всей моей жизни.

А весной умерла бабушка. Стояли чудесные майские дни, мать сидела возле раскрытого окна, в черном платье, худая, бледная. Вдруг из-за амбаров выскочил какой-то незнакомый мужик, верховой, и что-то ей весело крикнул. Мать широко раскрыла глаза и с легким и как будто тоже радостным восклицаньем ударила по подоконнику ладонью... Жизнь усадьбы опять была внезапно и резко нарушена. Опять всюду поднялась какая-то особая суматоха, – увы, уже знакомая мне, – работники кинулись запрягать лошадей, мать и отец – одеваться... Нас, детей, они, слава Богу, с собой не взяли...

### XVIII

Смерть Нади, первая, которую я видел воочию, надолго лишила меня чувства жизни, – жизни, которую я только что узнал. Я вдруг понял, что и я смертен, что и со мной каждую минуту может случиться то дикое, ужасное, что случилось с Надей, и что вообще все земное, все живое, все вещественное, телесное, непременно подлежит гибели, тленью, той лиловой черноте, которой покрылись губки Нади к выносу ее из дома. И моя устрешенная и как будто чем-то глубоко опозоренная, оскорбленная душа устремила за помощью, за спасеньем к Богу. Вскоре все мои помыслы и чувства перешли в одно – в тайную мольбу к Нему, в непрестанную безмолвную просьбу пощадить меня, указать путь из той смертной сени, которая простерлась надо мной во всем мире. Мать страстно молилась день и ночь. Нянька указывала мне то же убежище: – Поусердней надо Богу молиться, деточка. Как же святые-то, угодники-то молились, постились, мучили себя! О Наденьке грех плакать, за нее радоваться надо, – говорила она, плача: – она теперь в раю, с ангелами...

И вот я вступил еще в один новый для меня и дивный мир: стал жадно, без конца читать копейные жития святых и мучеников, которые стал привозить мне из города сапожник Павел из Выселок, часто ездивший в город за товаром для своего ремесла. В избушке Павла всегда пахло не только кожей и кислым клеем, но и сыростью, плесенью. Так навеки и соединился у меня запах плесени с теми тоненькими, крупным шрифтом напечатанными книжечками, что я читал и перечитывал когда-то с таким болезненным восторгом. Этот запах стал даже навсегда дорогим мне, живо напоминающим ту странную зиму: мои полубезумные, восторженно-горькие мечты о мучениях первых христиан, об отроковицах, растерзанных дикими зверями на каких

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
то ристалищах, о царских дочерях, чистых и прекрасных, как Божьи лилии, обезглавленных от руки собственных лютых родителей, о горючей пустыне Иорданской, где, прикрывая свою наготу лишь собственными волосами, отросшими до земли, обитала, замаливала свой блуд в миру, Мария Египетская, о киевских пещерах, где почивают сонмы страсотерпцев, заживо погребавших себя для слез и непрестанных молитвенных трудов в подземном мраке, полном по ночам всяких ужасов, искушений и надругательств от дьявола... Я жил только внутренним созерцаньем этих картин и образов, отрешился от жизни дома, замкнулся в своем сказочно-святом мире, упиваясь своими скорбными радостями, жадой страданий, самоизнурения, самоистязания. Я пламенно надеялся быть некогда сопричисленным к лику мучеников и выстаивал целые часы на коленях, тайком заходя в пустые комнаты, связывал себе из веревочных обрывков нечто вроде власяницы, пил только воду, ел только черный хлеб...

И длилось это всю зиму. А к весне стало понемногу отходить – как-то само собой. Пошли солнечные дни, стало пригревать двойные стекла, по которым поползли ожившие мухи, – трудно было не развлекаться ими среди «земных метаний» и коленопреклонений, уже не дававших прежних, полных и искренних молитвенных восторгов! Настал апрель, и в один особенно солнечный день стали вынимать, с треском выдирает сверкающие на солнце зимние рамы, наполняя весь дом оживлением, беспорядком, всюду соря сухой замазкой и паклей, а затем распахнули летние стекла на волю, на свободу, навстречу новой, молодой жизни, и в комнатах запахло свежим и нежным полевым воздухом, землей, ее мягкой сыростью, послышался важный и томный крик уже давно прилетевших грачей... Стали по вечерам причудливо громоздиться на алом, тихо и долго гаснущем западе синие весенние тучи, стали заводить свои дремотные, мечтательные и успокоительные трели лягушки на пруду в поле, в медленно густеющей весенней темноте, обещающей ночью благодатный, теплый дождь... И опять, опять ласково и настойчиво потянула меня в свои материнские объятия вечно обманывающая нас земля...

#### XIX

В августе того года я уже носил синий картузик с серебряным значком на околыше. Просто Алеши не стало, – теперь был Арсеньев Алексей, ученик первого класса такой-то мужской гимназии.

К лету от телесных и душевных болезней, пережитых мной зимою, как будто не осталось и следа. Я был спокоен, весел – вполне подстать веселой, сухой погоде, которая держалась в том году все лето, и тому легкому настроенью, которое царило во всем нашем доме. Надя уже превратилась – даже для матери и няньки – только в прекрасное воспоминанье, в представленье о младенчески-ангельском образе, который пребывает и радуется где-то там, в вечной небесной обители; мать и нянька еще тосковали, часто говорили о ней, но уже как-то по иному, чем прежде, – иногда даже с улыбками, – они, случалось, и плакали, но опять таки не прежними слезами. Что до бабушки, то она просто забылась; даже более: ее смерть была одной из причин легкого настроенья нашего дома: во-первых, Батурине принадлежало теперь нам, что очень поправляло наши дела, а, во-вторых, осенью предстояло наше переселенье туда, которое втайне тоже всех радовало, как всегда радует человека перемена обстановки, связанная с надеждой на что-то хорошее или, может быть, просто с бессознательными воспоминаньями давнего былого, кочевых времен.

По рассказам матери, я живо нарисовал себе картину того, что было в Батурине, когда мать с отцом так поспешно прискакали туда: майский день, уютный двор, окруженный старинными службами, старинный дом с деревянными колоннами на двух крыльцах, темно синие и багряные верхние стекла в окнах зала – и под ними, на двух сдвинутых столах, устланных под простыней сеном и косяком упирающихся в главный угол, лежит бледная старушка в белом чепце с зубчиками, со сложенными на груди прозрачными ручками, у изголовья которой стоит «черничка», опрятная пожилая отроковица и, не поднимая длинных ресниц, однообразно читает наставительным, высоким и странным голосом, который отец с неприязненной усмешкой называл серафическим... Это слово часто вспоминалось мне, и я смутно чувствовал то жуткое, чарующее и вместе с тем что-то неприятное, что заключалось в нем. Неприятна была и вся картина, рисовавшаяся мне. Но уже только неприятна – не более. И эта неприятность с излишком возмещалась приятной, хотя и греховной, то и дело приходившей в голову мыслью, что теперь прекрасная бабушкина усадьба стала наша, что это туда приеду я в первый раз на каникулы, – уже, Бог даст, второклассником, и отец выберет из бывших бабушкиных лошадей и подарит мне верховую кобылку, которая так полюбит меня, что будет прибегать ко мне куда

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
угодно, только я свистну ей.

Часто в то лето пугало предчувствие разлуки с матерью, с Олей, с Баскаковым и со всем родным гнездом, находил страх перед одинокой, неизвестной жизнью у каких-то чужих, городских людей, перед тем, что называется какой-то гимназией с ее строгими и беспощадными учителями в мундирах; то и дело сжималось сердце при взгляде на мать и Баскакова, у которых, конечно, тоже сжималось сердце при виде меня; но сейчас же я с радостью говорил себе: все это еще так не скоро! – и с радостью обращался к тому заманчивому, что ведь тоже таилось в моем будущем: я буду гимназист, буду ходить в форме, буду жить в городе, у меня будут товарищи, из которых я выберу себе верного друга... Больше всего меня ободрял и обольщал картинками этой новой жизни брат Георгий, казавшийся мне совсем необыкновенным существом: был он тогда удивительно красив своей юношеской худобой и свежестью, чистой высокой лба, лучистыми глазами, темным румянцем на щеках и был он уже не кто-нибудь, а студент Императорского Московского Университета, с золотой медалью кончивший ту самую гимназию, в которую вот-вот должен был я поступить.

В начале августа меня повезли наконец – на экзамены. Когда послышался под крыльцом шум тарантаса, у матери, у няньки, у Баскакова изменились лица, Оля заплакала, отец и братья переглянулись с неловкими улыбками. «Ну, присядем», решительно сказал отец, и все несмело сели. «Ну, с Богом», через мгновение еще решительнее сказал он, и все сразу закрестились и встали. У меня от страха ослабели ноги, и я закрестился так усердно и торопливо, что мать со слезами кинулась целовать и крестить меня. Но я уже оправился – пока она, плача, целовала и крестила меня, я уже думал: «А может, Бог даст, я еще не выдержу...»

Увы, я выдержал. Три года готовили меня к этому знаменательному дню, а меня только заставили помножить пятьдесят пять на тридцать, рассказать, кто такие были Амаликитяне, попросили «четко и красиво» написать: «снег бел, но не вкусен» да прочесть наизусть: «Румяной зарею покрылся восток...» Тут мне даже кончить не дали: едва я дошел до пробужденья стада «на мягких лугах», как меня остановили, – верно, учителю (рыжему, в золотых очках, с широко открытыми ноздрями) слишком хорошо было известно это пробужденье и он поспешно сказал: – Ну, прекрасно, – довольно, довольно, вижу, что знаешь...

Да, брат был прав: в самом деле «ничего особенно страшного» не оказалось. Все вышло гораздо проще, чем я ожидал, разрешилось с неожиданной быстротой, легкостью, незначительностью. А меж тем ведь какую черту перешагнул я!

Сказочная дорога в город, в котором я не был со времени моего первого знаменитого путешествия, самый город, столь волшебный некогда, – все было теперь уже совсем не то, что прежде, ничем не очаровало меня. Гостиницу возле Михаила Архангела я нашел довольно невзрачной, трехэтажное здание гимназии за высокой оградой, в глубине большого мощеного двора, я принял как нечто уже знакомое, хотя никогда в жизни не входил я в такой огромный, чистый и гулкий дом. Не удивительны, не очень страшны оказались и учителя во фраках с золотыми пуговицами, то огненно-рыжие, то дегтярно-черные, но одинаково крупные, и даже сам директор, похожий на гиену.

После экзамена нам с отцом тотчас же сказали, что я принят и что мне дается отпуск до первого сентября. У отца точно гора с плеч свалилась, – он страшно соскучился сидеть в «учительской», где испытывали мои знания, – у меня еще более. Все вышло отлично: и выдержал, и целых три недели свободы впереди! Казалось бы, ужаснуться должен был я, с рожденья до сей минуты пользовавшийся полнейшей свободой и вдруг ставший рабски несвободным, отпущенный на свободу только на три недели, а я почувствовал только одно: слава Богу, целых три недели! – точно этим трем неделям и конца не предвиделось. – Ну-с, зайдем теперь поскорей к портному – и обедать! – весело сказал отец, выходя из гимназии.

И мы зашли к какому-то маленькому коротконогую человеку, удивившему меня быстротой речи с вопросительными и как будто немного обиженными оттяжками в конце каждой фразы и той ловкостью, с которой он снимал с меня мерку, потом в «шапочное заведение», где были пыльные окна, нагреваемые городским солнцем, было душно и тесно от бесчисленных шляпных коробок, всюду наваленных в таком беспорядке, что хозяин мучительно долго рылся в них и все что-то сердито кричал на непонятном языке в другую комнату, какой-то женщине с приторно-белым и темным лицом. Это был тоже еврей, но совсем в другом роде: старик с крупными пейзажами, в длинном сюртуке из черного люстрина, в люстриновой шапочке, сдвинутой на

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
затылок, большой, толстый в груди и под мышками, сумрачный, недовольный, с  
огромной и черной, как сажа, бородой, росшей от самых глаз, – в общем нечто даже  
страшное, траурное. И это он выбрал мне наконец превосходный синий картузик, на  
околышке которого ярко белели две серебряных веточки. В этом картузике я и домой  
вернулся, – на радость всем и даже матери, на радость очень непонятную, ибо  
совершенно справедливо говорил отец: – И на чорта ему эти Амаликитяне?

XX

Как-то в конце августа отец надел высокие сапоги, подпоясался поясом с  
патронами, перекинул через плечо ягташ, снял со стены двустволку, кликнул меня,  
потом свою любимицу, каштановую красавицу Джальму, и мы пошли по жнивьям вдоль  
дороги на пруд.

Отец был в одной пестренькой косоворотке и в белом картузе, я, несмотря на  
жаркую, сухую погоду, в гимназическом. Отец, рослый, сильный, легко шел своим  
твердым шагом впереди, шурша по желтой щетке жнивья и пуская через плечо дым  
папиросы, я поспешал сзади, держась правой стороны, как и полагается по правилам  
охоты, соблюдать которые мне доставляло большое удовольствие. Он поощрительно  
посвистывал, и Джальма со сдержанной горячностью, мелко и часто мотая, дрожа  
тугим хвостом, вся превратясь в слух, зренье и чутье, быстрым, извилистым  
поиском тянула перед нами. Поля были уже пусты, просторны, но еще по-летнему  
светлы и веселы. Горячий ветерок то совсем упал, – и тогда припекало, слышно  
было, как горячо сипят, часиками стучат, куют кузнечики, – то дул мягким сухим  
зноем, усиливался, летел мимо нас и вдруг игриво взвывал по наезженной за  
рабочую пору дороге облачко пыли, подхватывал, крутил ее и винтом, воронкой лихо  
уносил вперед. Мы зорко следили за Джальмой, тянувшей однообразно и споро,  
незаметно уводившей нас за собой все дальше. Время от времени она вдруг  
замирала, вся подавшись вперед, и, подняв правую лапу, впивалась глазами в то,  
невидимое нам, что было перед нею. Отец негромко ронял: «пиль!» – она кидалась  
на это невидимое и тотчас же – ффрр! – тяжело и неловко (от жиру) вырывался  
из-под нее крупный кургузый перепел и, не успев пролететь и пяти шагов, комом  
падал опять в жнивье под выстрелом. Я бежал, подбирал его, клал отцу в ягташ...

Так прошли мы все ржаное поле, потом картофельное, миновали глинистый пруд,  
жарко и скучно блестя своей удлинненной поверхностью вправо от нас, в ложине  
среди голых, выбитых скотиной косогоров. На них кое-где как то бесприютно, на  
юру, в раздумьи, сидели грачи. Тут отец поглядел и сказал, что вот уже и грачи  
по осеннему стали собираться на советы, подумывать об отлете, и меня на минуту  
опять охватило чувство близкой разлуки не только с уходящим летом, но и со всеми  
этими полями, со всем, что было мне так дорого и близко во всем этом глухом и  
милом краю, кроме которого я еще ничего не видал на свете, в этой тихой обители,  
где так мирно и одиноко цвело мое никому в мире неведомое и никому ненужное  
младенчество, детство...

Потом мы взяли левее, пошли на Заказ, по межам среди необозримой черной пашни,  
которую скородили. Это было все еще наше поле, и одну борону влек по сухим  
комьям сухого чернозема гнедой стригун, когда-то, еще тонконогим сосуном, у  
которого еще шелковисто кудрявилась репка хвоста, подаренный мне, а теперь  
бессовестно, без спросу, без моего разрешения, уже пущенный в работу. Дул жаркий  
ветерок, над пашней блестело августовское солнце, еще как будто летнее, но уже  
какое-то бесцельное, а стригун, уже очень выросший, высокий, – хотя высокий еще  
как-то странно, по мальчишески, – покорно шел по пашне, таща веревочные  
постромки, и за ним виляла, прыгала решетка бороны, разбивавшая землю косыми  
железными клевцами, и, неумело держа веревочные вожжи в обеих руках, ковылял  
подросток в лаптях. И я долго смотрел на эту картину, опять чувствуя непонятную  
грусть...

Заказ был довольно большой полевой лес, принадлежавший полусумасшедшему  
помещику, который одиноко и враждебно всему миру, точно в крепости, сидел в  
своей усадьбе возле Рождества, охраняемой свирепыми овчарками, вечно судился с  
рождественскими и новосельскими мужиками, никогда не сходил с ними в ценах на  
работу, так что нередко случалось, что у него оставались целые косяки хлебов  
некошными или до глубокой осени гнили в поле, а потом гибли под снегом тысячи  
копен. Так было и теперь. Мы шли к Заказу по некошеным желтым овсам,  
перепутанным и истоптанным скотиной. Тут Джальма подняла еще несколько  
перепелов; я опять бежал, поднимал их и мы опять шли дальше, обходя Заказ по  
густому просянному полю, шелковисто блестящему под солнцем своими коричневыми

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин склоненными к земле кистями, полными зерна, которые особенно сухо и звонко, бисером шумели под нашими ногами. Отец расстегнул ворот, покраснелся, – ужасная жара и ужасно пить хочется, пойдём в Заказ на пруд, сказал он. И, перепрыгнув через канаву, которая отделяла поле от лесной опушки, мы пошли по лесу, вошли в его августовское, светлое, легкое, уже кое-где желтеющее, веселое и прелестное царство.

Птиц было уже мало, – одни дрозды стаями, с веселым, притворно-яростным взвизгиваньем и сытым квохтаньем, перелетали там и сям; в лесу было пусто, просторно, лес был не частый, далеко видный насквозь, солнечный. Мы шли то под старыми березами, то по широким полянам, на которых вольно и свободно стояли могучие ветвистые дубы, уже далеко не такие темные, как летом, с поредевшей и подсохшей листвой. Мы шли в их пестрой тени, дыша их сухим ароматом, по скользкой, сухой траве и глядели вперед, где жарко сияли более открытые поляны, а за ними канареечно желтела и трепетала небольшая чаща молодой кленовой поросли. Когда мы вошли на тропинку, пролежавшую среди этой чащи к пруду, из подседа, из лапчатых орешников, вдруг с треском вырвался почти из под ног у нас золотисто-рыжий вальдшнеп. Отец был так поражен столь ранним гостем, что даже растерялся, – выстрелил, разумеется, мгновенно, но промахнулся. Подивившись, откуда мог взяться в такую пору вальдшнеп, и подосадовав на промах, он подошел к пруду, положив ружье, присел на корячки и стал горстями пить. Потом, с удовольствием отдуваясь и вытирая рукавом губы, лег на берегу и закурил. Вода в пруде была чистая, прозрачная, особенная лесная вода, как есть вообще нечто особенное в этих одиноких лесных прудах, почти никогда никем, кроме птицы и зверя, не посещаемых. В ее светлой бездонности, похожей на какое-то зачарованное небо, спокойно отражались, тонули верхушки окружавшего ее березового и дубового леса, по которому с легким лепетом и шорохом тянул ветер с поля. И под этот шорох, лежа с подставленной под голову рукой, отец закрыл глаза и задремал. Джальма тоже напилась в пруде, потом бухнулась в него, немножко проплыла, осторожно держа голову над водой с повисшими, как лопухи, ушами, и, внезапно повернув назад, как бы испугавшись глубины, быстро выскочила на берег и крепко встряхнулась, осыпав нас брызгами. Теперь, высунув длинный красный язык, она сидела возле отца, то вопросительно поглядывая на меня, то нетерпеливо оглядываясь по сторонам... Я встал и бесцельно побрел среди деревьев в ту сторону, откуда мы подходили к лесу по овсяному полю...

XXI

Там, за опушкой, за стволами, из-под лиственного навеса, сухо блестел и желтел полевой простор, откуда тянуло теплом, светом, счастьем последних летних дней. Вправо от меня всплывало из-за деревьев, неправильно и чудесно круглилось в синеве, медленно текло и менялось неизвестно откуда взявшееся большое белое облако. Пройдя несколько шагов, я тоже лег на землю, на скользкую траву, среди разбросанных, как бы гуляющих вокруг меня светлых, солнечных деревьев, в легкой тени двух сросшихся берез, двух белоствольных сестер в сероатой мелкой листве с сережками, тоже подставил руку под голову и стал смотреть то в поле, сиявшее и ярко желтевшее за стволами, то на это облако. Мягко тянуло с поля сухью, зноем, светлый лес трепетал, струился, слышался его дремотный, как будто куда-то бегущий шум. Этот шум иногда возрастал, усиливался и тогда сетчатая тень пестрела, двигалась, солнечные пятна вспыхивали, сверкали и на земле и в деревьях, ветви которых гнулись и светло раскрывались, показывая небо...

Что я думал, если это только были думы? Я думал, конечно, о гимназии, об удивительных людях, которых я видел в ней, которые назывались учителями и принадлежали как бы к какой-то совсем особой породе людей, все назначенье которых – учить и держать учеников в вечном страхе, и меня охватывал недоуменный ужас, зачем везут меня в рабство к ним, разлучают с родным домом, с Каменкой, с этим лесом... Я думал о стригуне, которого я видел в бороне на пашне.

Я смутно думал так: да, вот как все обманчиво на свете, – я воображал, что стригун-то мой, а им распорядились, не спросив меня, как своей собственностью... да, вот был тонконогий мышастый жеребенок, трепетный, пугливый, как все жеребята, но и радостный, доверчивый, с ясными черносливыми глазами, привязанный только к матери, всегда со сдержанным удовольствием и лаской ржавшей при виде его, во всем же прочем бесконечно вольный, беззаботный... этого жеребенка мне в один счастливый день подарили, навсегда отдали в мое полное распоряжение, и я радовался на него некоторое время, мечтал о нем, о нашем с ним будущем, о близости, которая не только будет, но уже образовалась между нами оттого что мне

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин его подарили, а потом стал понемногу забывать о нем – и мудро ли, что и все забыли, что он мой? Я ведь в конце-концов совсем забыл о нем, – вот как забуду я, верно, и Баскакова, и Олю, и даже может быть отца, которого я сейчас так люблю, с которым такое счастье ходить на охоту, да забуду и всю Каменку, где мне знаком и дорог каждый уголок... И прошло два года, – точно их и не бывало никогда! – и где он теперь, этот глупый и беспечный жеребенок? Есть трехлеток, стригун – и где его прежняя воля, свобода? Вот он уже ходит в хомуте по пашне, таскает за собой борону... И разве не случилось и со мной того же, что с этим жеребенком?

На что мне были Амаликитяне? Я то и дело ужасался и дивился, но что ж я мог? Облако из-за берез блистало, белело, все меняя свои очертанья... Могло ли оно не меняться? Светлый лес струился, трепетал, с дремотным лепетом и шорохом убежал куда-то... Куда, зачем? И можно ли было остановить его? И я закрывал глаза и смутно чувствовал: все сон, непонятный сон! И город, который где-то там, за далекими полями, и в котором мне быть не миновать, и мое будущее в нем, и мое прошлое в Каменке, и этот светлый предосенний день, уже склоняющийся к вечеру, и я сам, мои мысли, мечты, чувства – все сон! Грустный ли, тяжелый ли? Нет, все таки счастливый, легкий... И, как бы подтверждая это, за мной вдруг тяжело бухнул и по всему лесу, гремящим кольцом охватывая его, раскатился выстрел, вслед за которым послышался особенно яростный взвизг и квохт, видимо, огромной стаей взлетевших дроздов и бешено-радостный лай Джальмы: стрелял проснувшийся отец. И, сразу забыв все свои думы, я со всех ног кинулся к нему – подбирать убитых, окровавленных и еще теплых, сладко пахнувших дичью и порохом дроздов.

Книга вторая

I

В тот день, когда я покинул Каменку, не зная, что я покинул ее навеки, когда меня везли в гимназию, – по новой для меня, Чернавской дороге, – я впервые почувствовал поэзию забытых дорог, отходящую в преданье русскую старину. Большие дороги отживали свой век. Отживала и Чернавская. Ее прежние колеи зарастали травой, старые ветлы, местами еще стоявшие справа и слева вдоль ее просторного и пустынного полотнища, вид имели одинокий и грустный. Помню одну особенно, ее дуллистый и разбитый грозой остов. На ней сидел, черной головней чернел большой ворон, и отец сказал, очень поразив этим мое воображение, что вороны живут по несколько сот лет и что, может быть, этот ворон жил еще при татарах... В чем заключалось очарование того, что он сказал и что я почувствовал тогда? В ощущении России и того, что она моя родина? В ощущении связи с былым, далеким, общим, всегда расширяющим нашу душу, наше личное существование, напоминающим нашу причастность к этому общему?

Он сказал, что этими местами шел когда-то с низов на Москву и по пути дотла разорил наш город сам Мамай, а потом – что сейчас мы будем проезжать мимо Становой, большой деревни, еще недавно бывшей знаменитым притоном разбойников и особенно прославившейся каким-то Митькой, таким страшным душегубом, что его, после того, как он наконец был пойман, не просто казнили, а четвертовали. Помню, что как раз в это время, между Становой и нами, влево от большой дороги, шел еще никогда не виденный мной поезд. Сзади нас склонялось к закату солнце и в упор освещало эту быстро обгонявшую нас, бегущую в сторону города как бы заводную игрушку – маленький, но заносчивый паровозик, из головастой трубы которого валил назад хвост дыма, и зеленые, желтые и синие домики с торопливо крутящимися под ними колесами. Паровоз, домики, возбуждавшие желанье пожить в них, их окошечки, блестящие против солнца, этот быстрый и мертвый бег колес – все было очень странно и занятно; но хорошо помню, что все же гораздо больше влекло меня другое, то, что рисовалось моему воображению там, за железной дорогой, где виднелись лозины таинственной и страшной Становой. Татары, Мамай, Митька... Несомненно, что именно в этот вечер впервые коснулось меня сознание, что я русский и живу в России, а не просто в Каменке, в таком-то уезде, в такой-то волости, и я вдруг почувствовал эту Россию, почувствовал ее прошлое и настоящее, ее дикие, страшные и все же чем-то пленяющие особенности и свое кровное родство с ней...

II

Очень русское было все то, среди чего жил я в мои отроческие годы.

Вот хотя бы эта Становая. Впоследствии я не раз бывал в Становой и вполне

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин убедился, что уже давно нет в ней никаких разбойников. Однако, никогда не установилось у меня совсем простого взгляда на нее, все казалось, что недаром ее обитатели все еще имеют славу прирожденных злодеев. А затем – пресловутый Становлянский верх. Большая дорога возле Становой спускалась в довольно глубокий лог, по нашему, верх, и это место всегда внушало почти суеверный страх всякому запоздавшему проезжему, в какое-бы время года ни проезжал он ее, и не раз испытал в молодости этот чисто русский страх и я сам, проезжая под Становой. Много было на Чернавском тракте славных мест, – таких, где когда-то, в свой заветный час, из разных потаенных буераков и водомоин, выходили под дорогу добрые молодцы, чутким ухом слышав в ночной тишине дальний плач колокольчика или стук простой телеги; но Становлянский верх славился больше всех. Ночью возле него всегда невольно замирала душа, и неизвестно, что было хуже: гнать-ли лошадей во весь опор или вести их шагом, лоя малейший звук? Все представлялось: глядь, а они и вот они – не спеша идут наперерез тебе, с топориками в руках, туго и низко, по самым кострецам подтянутые, с надвинутыми на зоркие глаза шапками, и вдруг останавливаются, негромко и преувеличенно-спокойно приказывают: «Постой-ка минутку, купец...»

И что было страшней: услышать их приказ в мирном безмолвии, в тихом сумраке летних ночных полей, или сквозь шум зимнего ветра, слепящего белой вьюгой, или под осенними ледяными и острыми звездами, в полусвете которых далеко видна чернеющая окрест мертвая земля и так страшно грохочут твои собственные колеса по застывшей, как камень, дороге?

После Становой большую дорогу пересекало шоссе, и тут была застава, шлагбаум: тут нужно было останавливаться и ждать, пока николаевский солдат, выйдя из траурно-полосатой будки, освободит такую же полосатую перекладину, и она, звеня цепью, медленно потянется оголовком вверх (за что нужно было платить казне две копейки дани, которую все проезжие почитали денным грабежом). Дальше дорога шла вдоль старинной Беглой Слободы, потом мимо необозримого болота нечистот, имевшего совершенно непристойное название, и наконец по шоссе между острогом и древним монастырем. Самый город тоже гордился своей древностью и имел на то полное право: он и впрямь был одним из самых древних русских городов, лежал среди великих черноземных полей Подстепья на той роковой черте, за которой некогда простирались «земли дикие, неизвестные», а во времена княжеств Суздальского и Рязанского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч, то и дело заходивших над нею, первые видели зарева страшных ночных и дневных пожаров, ими запаленных, первые давали знать Москве о грядущей беде и первые ложились костью за нее. В свое время он, конечно, не раз пережил все, что полагается: в таком-то веке его «дотла разорил» один хан, в таком-то другой, в таком-то третий, тогда-то «опустошил» его великий пожар, тогда-то голод, тогда-то мор и трус... Вещественных исторических памятников 79 он при таких условиях, конечно, не мог сохранить. Но старина в нем все же очень чувствовалась, сказывалась в крепких нравах купеческой и мещанской жизни, в озорстве и кулачных боях его слобожан, то есть жителей Черной Слободы, Заречья, Аргамачи, стоявшей над рекой на тех желтых скалах, с которых будто бы сорвался некогда вместе со своим аргамаком какой-то татарский князь. А какой пахучий был этот город!

Чуть не от заставы, откуда еще смутно виден был он со всеми своими несметными церквями, блестящими вдали в огромной низменности, уже пахло: сперва болотом с непристойным названьем, потом кожевенными заводами, потом железными крышами, нагретыми солнцем, потом площадью, где в базарные дни станом стояли съезжавшиеся на торг мужики, а там уже и не разберешь чем: всем, что только присуще старому русскому городу...

### III

В гимназии я пробыл четыре года, живя нахлебником у мещанина Ростовцева, в мелкой и бедной среде: попасть в иную среду я не мог, богатые горожане в нахлебниках не нуждались.

Как ужасно было начало этой жизни! Уже одно то, что это был мой первый городской вечер, первый после разлуки с отцом и матерью, первый в совершенно новой и убогой обстановке, в двух тесных комнатках, в среде до нелепости чужой и чуждой мне, с людьми, которых я, барчук, считал, конечно, очень низкими и которые однако вдруг приобрели даже некоторую власть надо мной, – уже одно это было

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин ужасно. У Ростовцевых был и другой нахлебник, мой сверстник и одноклассник, незаконный сын одного батуринаского помещика, рыжий мальчик Глебочка; но между нами не было в тот вечер еще никаких отношений, он дико сидел в углу, как зверек, попавший в клетку, дико и упорно молчал, со звериной недоверчивостью поглядывая на меня исподлобья, да и я не спешил навязываться в дружбу к нему – между прочим и по той причине, что он казался мне не совсем обыкновенным мальчиком, от которого, может, надо было держаться подальше: я еще в Каменке знал, что он будет жить вместе со мной, и однажды слышал, как нехорошо назвала его наша нянька, разумея его незаконное происхождение. А на дворе, как нарочно, было сумрачно, к вечеру стало накрапывать, бесконечная каменная улица, на которую я смотрел из окошечка, была мертва, пуста, а на полуголом дереве за забором противоположного дома, горбясь и натуживаясь, не обещая ничего доброго, каркала ворона, на высокой колокольне, поднимавшейся вдаль за железными пыльными крышами в ненастное темнеющее небо, каждую четверть часа нежно, жалостно и безнадежно пело и играло что-то...

Отец в такой вечер тотчас закричал бы зажечь огонь, подать самовар или прежде времени накрывать на стол к ужину, – «терпеть не могу этого дьявольского уныния!» Но тут огня не зажигали, за стол когда попало не садились, – тут на все знали свой час и срок. Так было и теперь: огонь зажгли, когда уже совсем стемнело и воротился из города хозяин. Это был высокий, стройный человек с правильными чертами смуглого лица и сухой черной бородой, кое-где тронутой серебристыми волосами, чрезвычайно скупой на слова, неизменно требовательный и назидательный, на все имевший и для себя и для других твердые правила, какой-то «не нами, глупцами, а нашими отцами и дедами» раз навсегда выработанный устав благопристойной жизни, как домашней, так и общественной. Он занимался тем, что скупал и перепродавал хлеб, скотину, и потому часто бывал в разъездах. Но даже и тогда, когда он отсутствовал, в его доме, в его семье (состоявшей из миловидной и спокойной жены, двух тихих отроковиц с голыми круглыми шейками и шестнадцатилетнего сына) неизменно царило то, что было установлено его суровым и благородным духом: безмолвие, порядок, деловитость, предопределенность в каждом действии, в каждом слове... Теперь, в эти грустные сумерки, хозяйка и девочки, сидя каждая за своим рукодельем, сторожко ждали его к ужину. И как только стукнула наружи калитка, у всех у них тотчас же слегка сдвинулись брови. – Маня, Ксюша, накрывайте, – негромко сказала хозяйка и, поднявшись с места, пошла в кухню.

Он вошел, снял в маленькой прихожей картуз и чуйку и остался в одной легкой серой поддевке, которая вместе с вышитой косовороткой и ловкими опойковыми сапогами особенно подчеркивала его русскую ладность. Сказав что-то сдержанно-приветливое жене, он тщательно вымыл и туго отжал, встряхнул руки под медным рукомошником, висевшим над лоханью в кухне. Ксюша, младшая девочка, потупив глаза, подала ему чистое длинное полотенце. Он неспеша вытер руки, с сумрачной усмешкой кинул полотенце ей на голову, – она при этом радостно вспыхнула, – и, войдя в комнату, несколько раз точно и красиво перекрестился и поклонился на образничку в угол...

Первый мой ужин у Ростовцевых тоже крепко запомнился мне – и не потому только, что состоял он из очень странных для меня кушаний. Подавали сперва похлебку, потом, на деревянном круге, серые шершавые рубцы, один вид и запах которых поверг меня в трепет и которые хозяин крошил, резал, беря прямо руками, к рубцам – соленый арбуз, а под конец гречишный крупень с молоком. Но дело было не в этом, а в том, что, так как я ел только похлебку и арбуз, хозяин раза два слегка покосился на меня, а потом сухо сказал: – Надо ко всему привыкать, барчук. Мы люди простые, русские, едим пряники неписанные, у нас разносолов нету...

И мне показалось, что последние слова он произнес почти надменно, особенно полновесно и внушительно, – и тут впервые пахнуло на меня тем, чем я так крепко надыхался в городе впоследствии: гордостью.

#### IV

Гордость в словах Ростовцева звучала вообще весьма не редко. Гордость чем? Тем, конечно, что мы, Ростовцевы, русские, подлинные русские, что мы живем той совсем особой, простой, с виду скромной жизнью, которая и есть настоящая русская жизнь и лучше которой нет и не может быть, ибо ведь скромна-то она только с виду, а на деле обильна, как нигде, есть законное порождение исконного духа России, а Россия богаче, сильнее, праведней и славней всех стран в мире. Да и одному ли

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
Ростовцеву присуща была эта гордость? Впоследствии я увидел, что очень и очень многим, а теперь вижу и другое: то, что была она тогда даже некоторым знамением времени, чувствовалась в ту пору особенно и не только в одном нашем городе.

Куда она девалась позже, когда Россия гибла? Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русским, в силе и правде чего мы, казалось, были так уверены? Как бы то ни было, знаю точно, что я рос во времена величайшей русской силы и огромного сознания ее. Поле моих отроческих наблюдений было весьма нешироко, и однако то, что я наблюдал тогда, было, повторяю, показательно. Да, впоследствии я узнал, что далеко не один Ростовцев говорит в таком роде, то и дело слышал эти мнимо-смирненные речи, – мы, мол, люди серые, у нас сам государь Александр Александрович в смазных сапогах ходит, – а теперь не сомневаюсь, что они были весьма характерны не только для нашего города, но и вообще для тогдашних русских чувств. В проявлениях этих чувств было, конечно, много и показного, – как, например, играла каждая чуйка на каждом перекрестке, завидев в пролет улицы церковь, снимая картуз, крестясь и чуть не до земли кланяясь; с игры то и дело срывались, слова часто не вязались с жизнью, одно чувство не редко сменялось другим, противоположным; но что все-таки преобладало?

Ростовцев сказал однажды, указывая на оконный косяк, где были сделаны им какие-то пометки мелом: – Что нам векселя! Не русское это дело. Вот в старину их и в помине не было, записывал торговый человек, кто сколько ему должен, вот вроде этого, простым мелом на притолке. Пропустил должник срок в первый раз, торговый человек вежливо напоминал ему о том. Пропустил другой – остерегал: ой, мол, смотри, не забудь и в третий раз, а то возьму да и сотру свою пометку. Тебе, мол, тогда дюже стыдно будет!

Таких, как он, конечно, было мало. По роду своих занятий он был «кулак», но кулаком себя, понятно, не считал да и не должен был считать: справедливо называл он себя просто торговым человеком, будучи не чета не только прочим кулакам, но и вообще очень многим нашим горожанам. Он, случалось, заходил к нам, своим нахлебникам, и порой вдруг спрашивал, чуть усмехаясь: – А стихи вам нынче задавали?

Мы говорили:

Задавали.

Какие же?

Мы бормотали: – «Небо в час дозора – обходя луна – светит сквозь узоры – мерзлого окна...» – Ну, это что-й-то не складно, – говорил он. – «Небо в час дозора обходя луна» – я этого что-й-то не понимаю.

Не понимали и мы, ибо почему-то никогда не обращали вниманья на запятую после слова «Обходя». Выходило действительно нескладно. И мы не знали, что сказать, а он опять спрашивает: – А еще? – А еще «тень высокого старого дуба голосистая птичка любила, на ветвях, переломанных бурей, она кров и покой находила...» – Ну, это ничего, приятно, мило. А вот вы прочитайте энти про всеобщую и «под большим шатром».

И я смущенно начинал:

«Приди ты, немощный, приди ты, радостный, звонят ко всеобщей, к молитве благостной...» Он слушал, прикрывая глаза. Потом я читал Никитина: «Под большим шатром голубых небес, вижу, даль степей расстилается...» Это было широкое и восторженное описание великого простора, великих и разнообразных богатств, сил и дел России. И когда я доходил до гордого и радостного конца, до разрешенья этого описания: «Это ты, моя Русь державная, моя родина православная!» – Ростовцев сжимал челюсти и бледнел. – Да, вот это стихи! – говорил он, открывая глаза, стараясь быть спокойным, поднимаясь и уходя. – Вот это надо покрепче учить! И ведь кто писал-то? Наш брат мещанин, земляк наш!

Прочие «торговые люди» нашего города, и большие и малые, были, повторяю, не Ростовцевы, чаще всего только на словах были хороши: не мало в своем деле они просто разбойничали, «норовили содрать с живого и мертвого», обмывали и обвешивали, как последние жулики, лгали и облыжно клялись без всякого стыда и совести, жили грязно и грубо, злословили друг на друга, чванились друг над

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
другом, дышали друг к другу недоброжелательством и завистью походя, над дураками и дурочками, калеками и юродивыми, которых в городе шляется весьма порядочно, потешались с ужасной бессердечностью и низостью, на мужиков смотрели с величайшим и ничуть не скрываемым презрением, «объегоривали» их с какой-то бесовской удалью, ловкостью и веселостью. Да не очень святы были и другие сограждане Ростовцева, – всем известно, что такое был и есть русский чиновник, русский начальник, русский обыватель, русский мужик, русский рабочий. Но ведь были же у них и достоинства. А что до гордости Россией и всем русским, то ее было еще раз говорю, даже в излишестве. И не один Ростовцев мог гордо побледнеть тогда, повторяя восклицание Никитина: «Это ты, моя Русь державная!» – или говоря про Скобелева, про Черняева, про Царя-Освободителя, слушая в соборе из громовых уст златовласого и златоризного диакона поминавание «благочестивейшего, самодержавнейшего, великого Государя нашего Александра Александровича» – почти с ужасом прозревая вдруг, над каким действительно необъятным царством всяческих стран, племен, народов, над какими несметными богатствами земли и силами жизни, «мирного и благоденственного жития», висится русская корона.

## V

Начало моей гимназической жизни было столь ужасно, как я и ожидать не мог. Первый городской вечер был таков, что мнилось: все кончено! Но, может, еще ужаснее было то, что вслед за этим очень быстро покорился я судьбе, и жизнь моя стала довольно обычной гимназической жизнью, если не считать моей не совсем обычной впечатлительности. Утро, когда мы с Глебочкой в первый раз пошли в гимназию, было солнечное, и уже этого одного было достаточно, чтобы мы повеселели. Кроме того, как нарядны мы были! Все с иголочки, все прочно, ловко, все радует: расчищенные сапожки, светло-серое сукно панталон, синие мундирчики с серебряными пуговицами, синие блестящие картузики на чистых стриженных головках, скрипящие и пахнущие кожей ранцы, в которых лежат только вчера купленные учебники, пеналы, карандаши, тетради... А потом – резкая и праздничная новизна гимназии: чистый каменный двор ее, сверкающие на солнце стекла и медные ручки входных дверей, чистота, простор и звучность выкрашенных за лето свежей краской коридоров, светлых классов, зал и лестниц, звонкий гам и крик несметной юной толпы, с каким то сугубым возбуждением вновь вторгшейся в них после летней передышки, чинность и торжественность первой молитвы перед ученьем в сборной зале, первый развод «попарно и в ногу» по классам, – ведет и, командуя, бойко марширует впереди настоящий военный, отставной капитан, – первая драка при захвате мест на партах и наконец первое появление в классе учителя, его фрака с журавлиным хвостом, его сверкающих очков, как бы изумленных глаз, поднятой бороды и портфеля под мышкой... Через несколько дней все это стало так привычно, словно иной жизни и не было никогда. И побежали дни, недели, месяцы...

Учился я легко; хорошо только по тем предметам, которые более или менее нравились, по остальным – посредственно, отделяясь своей способностью быстро все схватывать, кроме чего-нибудь уж очень ненавистного, вроде аористов. Три четверти того, чему нас учили, было ровно ни на что нам не нужно, не оставило в нас ни малейшего следа и преподавалось тупо, казенно. Большинство наших учителей были люди серые, незначительные, среди них выделялось несколько чудаков, над которыми, конечно, в классах всячески потешались, и два-три настоящих сумасшедших. Один из них был замечателен: он был страшно молчалив, страдал боязнью грязи жизни, людского дыхания, прикосновения, ходил всегда по середине улицы, в гимназии, сняв перчатки, тотчас вынимал носовой платок, чтобы только через него братья за дверную ручку, за стул перед кафедрой; он был маленький, щуплый, с великолепными, закинутыми назад каштановыми кудрями, с чудесным белым лбом, с удивительно тонкими чертами бледного лица и недвижными, темными, куда-то в пустоту, в пространство печально и тихо устремленными глазами...

Что еще сказать о моих школьных годах? За эти годы я из мальчишка превратился в подростка. Но как именно совершилось это превращение, опять один Бог ведает. А внешне жизнь моя шла, конечно, очень однообразно и буднично. Все то же хождение в классы, все то же грустное и неохотное ученье по вечерам уроков на завтра, все та же неотступная мечта о будущих каникулах, все тот же счет дней, оставшихся до святок, до летнего отпуска, – ах, если бы поскорей мелькали они!

## VI

Вот сентябрь, вечер. Я брожу по городу, – меня не смеют сажать учить уроки и драть за уши, как Глебочку, который становится все озлобленней и поэтому все

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин ленивей и упрямее. В душе грусть о промелькнувшем лете, которое, казалось, будет бесконечным и сулило осуществление тысячи самых чудесных планов, грусть своей отчужденности от всех, кто идет, едет по улице, торгует на базаре, стоит в рядах возле лавок... У всех свои дела, свои разговоры, все живут своей привычной жизнью взрослых людей, – не то, что одинокий и грустный гимназист, еще не принимающий в ней никакого участия. Город ломится от своего богатства и многолюдства: он и так богат, круглый год торгует с Москвой, с Волгой, с Ригой, с Ревелем, теперь же и того богаче – с утра до вечера везет в него деревня все свои урожаи, с утра до вечера идет по всему городу ссыпка хлеба, базары и площади завалены целыми горами всяких плодов земных. То и дело встречаешь мужиков, которые спешат по середине улицы с громким говором довольных, отдыхающих людей, обделавших наконец все свои городские дела, уже дернувших по шкалику и теперь, на ходу, по дороге к своим телегам, закусывающих «подрукавничком». С оживленным говором идут по тротуарам и те, что весь день обрабатывали этих мужиков, – загорелые, запыленные, вечно бодрые мешане-перекупщики, с утра выходящие в город навстречу мужикам, друг у друга их перебивающие и потом разводящие за собой по базарам и лабазам; они тоже отдыхают теперь, направляются по трактирам попить чайку. А прямая, как стрела, Долгая улица, ведущая вон из города, к острогу и монастырю, тонет в пыли и слепящем блеске солнца, заходящего как раз в конце ее пролета, и в этом пыльном золоте течет поток идущих и едущих, возвращающихся с рысистых бегов, которыми тоже знаменит город, – и сколько тут франтов из всяких писцов и приказчиков, сколько барышень, разряженных точно райские птицы, сколько щегольских шарабанов, в которых красуются перед народом толстозадые купчики, сидя рядом со своими молодыми женами и сдерживая своих рысачков! А в соборе звонят ко всенощной, и бородатые, степенные кучера везут в тяжелых и покойных колясках, на раскормленных лошадях, старых купчих с восковыми свечами в руках, поражающих или желтой пухлостью и обилием драгоценностей, или гробовой белизной и худобой...

Вот «табельный» день, торжественная обедня в соборе. Наш капитан, перед тем как вести нас, собравшихся во дворе гимназии, осматривает каждую нашу пуговицу. Учителя – в мундирах, в орденах, в треуголках. Идя по улицам, мы с удовольствием чувствуем, что прохожие смотрят на нас как на что-то казенное, полувоенное, принимающее непосредственное участие во всем том параде, которым должен быть ознаменован этот день. К собору отовсюду сходятся и съезжаются другие «ведомства», то есть опять мундиры, ордена, треуголки, жирные эполеты. Чем ближе собор, тем звучнее, тяжелее, гуще и торжественнее гул соборного колокола. Но вот и паперть – «шапки долой!» – и теснясь, расстраивая ряды, мы вступаем в прохладное величие широко раскрытого портала, и тысячепудовый звон ревет и гудит уже глуше, над самой головой, широко и благостно-строго встречая, принимая и покрывая тебя. Какое многолюдство, какое грузное великолепие залитого сверху до низу золотом иконостаса, золотых риз причта, пылающих свечей, всякого чина, теснящегося возле ступеней амвона, устланного красным сукном! Для отроческого сердца было все это нелегко: голова мутилась от длительности и пышности службы, от этих чтений, каждений, выходов и выносов, от зычного грома басов и сладких альтовых замираний на клиросе, изысканно щеголяющем то мощью, то нежностью, от горячей и жуткой плотности больших тел, со всех сторон надвинувшихся на тебя, от вида до ужаса скованной своим коротким мундиром и серебряным поясом кабаньей туши полициеймейстера, возвышающегося прямо над тобою...

По вечерам в такие дни город багрово пылал, дымился и вонял площадками, расставленными по тротуарам, дома, украшенные флагами, горели в темноте огненно-сквозными вензелями и коронами, – это, среди моих первых городских впечатлений, одно из самых памятных. Тогда в городе бывало большое гулянье. И вот сын Ростовцева, – он был тоже гимназист, шестиклассник, – однажды взял нас с Глебочкой на такое гулянье в городской сад, и меня поразила несметная, от тесноты медленнодвигающаяся по главной аллее толпа, пахнущая пылью и дешевыми духами, меж тем как в конце аллеи, в сияющей цветными шкаликами раковине, томно разливался вальсом, рычал и гремел во все свои медные трубы и литавры военный оркестр. Ростовцев в этой аллее вдруг остановился, лицом к лицу столкнувшись с хорошенькой барышней, шедшей навстречу нам с подругами, и, покраснев, шутя щелкнул каблуками и отдал ей честь, а она вся озарилась под своей затейливой шляпкой откровенно-радостной улыбкой. Перед раковиной, на площадке, бил среди большого цветника, орошая его прохладным водяным дымом, раскидистый фонтан, и мне навсегда запомнилась его свежесть и прохладный, очаровательный запах обрызганных им цветов, которые, как я узнал потом, назывались просто «табак»: запомнилась потому, что этот запах соединился у меня с чувством влюбленности, которой я впервые в жизни был сладко болен несколько дней после того. Это

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин благодаря ей, этой уездной барышне, я до сих пор не могу без волнения слышать запах «табака», а она и понятия не имела никогда обо мне и о том, что я всю жизнь вспоминал от времени до времени и ее, и свежесть фонтана, и звуки военной музыки, как только слышал этот запах...

## VII

А вот и первые холода: скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени. Город вставил в окна зимние рамы, топил печи, тепло оделся, запасается на зиму всем, чем полагается, с удовольствием чувствуя уже зимний уют и тот старый, наследственный быт, которым он живет столетия, – повторяемость времен года и обычаев. – Гуси летят, – с удовольствием говорит Ростовцев, входя в дом в теплой чуйке и теплом картузе и внося с собой зимний воздух. – Сейчас целый косяк видел... Купил у мужика два воза капусты, прими, Любовь Андреевна, сейчас привезет. Загляденье капуста, качан к качану...

И на душе у меня делается хорошо и так грустно, грустно. Я оставляю Вальтер Скотта, которого взял читать из гимназической библиотеки, и задумываюсь, – мне хочется понять и выразить что-то происходящее во мне. Я мысленно вижу, осматриваю город. Там, при въезде в него, – древний мужской монастырь... все говорят, что в нем, в каждой келье, у каждого монаха, всегда есть за образом и водочка и колбаса. Глебочку очень занимает, носят ли монахи под рясами штаны, я же, думая о монастыре, вспоминаю то болезненно-восторженное время, когда я постился, молился, хотел стать святым, а кроме того почему-то томлюсь мыслью о его старине, о том, что когда-то его не раз осаждали, брали приступом, жгли и грабили татары: я в этом чувствую что-то прекрасное, что мне мучительно хочется понять и выразить в стихах, в поэтической выдумке...

Затем, если идти от монастыря назад, в город по Долгой улице, то влево будут бедные и грязные улицы, спускающиеся к оврагам, к зловонному притоку нашей реки, в котором мочат, гноят кожи: он мелкий, дно его все завалено их черными пластинами, а по берегам лежат целые горы чего-то бурого, остро и пряно воняющего, и тянутся черные сквозные срубы, где эти кожи сушат и выделяют, где в огромном количестве шумно работает, курит, сквернословит какой-то страшный род людей, – могучих, невероятно сальных и грубых... это тоже очень старинные места, им лет триста, четыреста, и меня томит желание и о них, об этих мерзких местах, сказать, выдумать что-то чудесное... Дальше, за притоком, – Черная Слобода, Аргамача, скалистые обрывы, на которых она стоит, и тысячи лет текущая под ними на далекий юг, к низовьям Дона, река, в которой погиб когда-то молодой татарский князь: о нем тоже очень хочется что-нибудь выдумать и рассказать в стихах; его, говорят, покарала чудотворная икона Божьей Матери, и доньне пребывающая в самой старой из всех наших церквей, что стоит над рекой, как раз против Аргамачи, – тот древний образ, перед которым горят неугасимые лампы и всегда молится на коленях какая-нибудь женщина в темной шали, крепко прижав щепоту ко лбу и настойчиво и скорбно устремив глаза на тускло блистающий в теплом лампадном свете смугло-золотой оклад, в отверстия которого видна узкая черно-коричневая дощечка правой руки, прижатой к груди, а немного выше небольшой и такой-же темный средневековый Лик, смиренно и горестно склоненный к левому плечу под серебряным кружевным, колючим венчиком в мелко и разнообразно сверкающих алмазах, жемчугах и рубинах... А за рекой, за городом, широко раскинулось на низменности Заречье: это целый особый город и целое железнодорожное царство, где день и ночь, волнуя тягой в даль, туда, куда косяками тянутся теперь под сумрачным и холодным небом гуси, требовательно и призывно, грустно и вольно перекликаются в студеном, звонком воздухе паровозы, где стоит вокзал, тоже волнуемый своими запахами, – жареных пирожков, самоваров, кофе, – смешанными с запахом каменноугольного дыма, то есть тех паровозов, что день и ночь расходятся от него во все стороны России...

Я помню не мало таких дней, скудных, коротких, сладко и грустно томивших и домашним уютом и мечтами то о старине города, то о вольных осенних просторах, видных из него. Без конца шли эти дни среди классной скуки в гимназии, где я насильно узнавал все то, что будто бы было необходимо мне знать, и в тишине двух теплых мещанских комнаток, спокойствие которых усугублял не только дремотный стук будильника на комодике Любови Андреевны, покрытом вязанной скатерткой, но даже мелкий треск коклюшек под руками Мани и Ксюши, весь день сидевших за плетением кружев, – шли медленно, однообразно и вдруг сразу обрывались: в некие особенно печальные сумерки неожиданно хлопала наружи калитка, потом дверь в сенцах, дверь в прихожей – и внезапно на пороге появлялся отец в меховой шапке с

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
наушниками и распахнувшейся енотовой шубе, и я со всех ног кидался ему на шею, впиваясь в его милые теплые губы под холодными и влажными с морозу усами и с восторгом чувствуя: Боже, как не похож он ни на кого во всем городе, какой он совсем, совсем другой, чем все прочие!

### VIII

Улица наша шла через весь город. В нашей части она была пуста, безлюдна, состояла из каменных купеческих домов, казавшихся необитаемыми. Зато середина ее была очень оживлена, – тут к ней примыкал базар и находилось все, что полагается: трактиры, ряды, лучшие магазины, лучшие гостиницы, между прочим и та, что стояла на углу Долгой, – Дворянская, недаром называвшаяся так: в ней останавливались только помещики, из окон ее подвального этажа прохожие обоняли сладкий ресторanno-кухонный чад, видели поваров в белых колпаках, в стеклянную же дверь подъезда – широкую лестницу, устланную красным сукном.

Отец в мои гимназические годы переживал свой последний подъем: переселившись в Батурине, заложив его и продав каменку, – все будто бы с мудрыми хозяйственными планами, – он опять чувствовал себя богатым барином и поэтому, приезжая в город, опять стал останавливаться только в Дворянской, всегда занимая лучший номер. И вот, когда он приезжал, я из дома Ростовцева сразу попадал на два, три дня совсем в другой мир, опять на время становился барчуком, которому все улыбались, кланялись – и «резвые» у подъезда, и швейцар в подъезде, и коридорные, и горничные, и сам бритый Михеич в широком фраке и белом галстуке, бывший шереметьевский крепостной, всего когда-то отведавший на своем веку, – и Парижа, и Рима, и Петербурга, и Москвы, – а теперь достойно и печально доживавший свой век лакеем в захолустном городе, в какой-то Дворянской гостинице, где даже настоящие хорошие господа только притворялись теперь господами, а прочие – просто «уездные моншеры», как он называл их, люди с преувеличенно-барскими замашками, с подозрительно-развязной требовательностью, с низкими больше от водки, чем от барства голосами. – Здравствуйте, Александр Сергеич, – на перебой кричали отцу «резвые» у подъезда Дворянской. – Извольте приказать обождать, – может, в цирк вечерком поедете?

И отец, не могший, конечно, не чувствовать своей фальшивой роли будто бы прежнего, богатого человека, все-таки был доволен этими криками и приказывал обождать, хотя извозчиков возле Дворянской всегда было сколько угодно, так что не имело ровно никакого смысла платить за обожданье.

А за стеклянной дверью подъезда было тепло, возбуждающе светло от ярких ламп, сразу охватывало всем тем хорошим, барским, что присуще старым провинциальным гостиницам для дворян, для дворянских съездов и собраний. А из коридора в первом этаже, который вел в ресторан, слышались шумные голоса и смех, кто-то кричал: «Михеич, да скажи же, чорт возьми, графу, что мы его ждем!» А на лестнице во второй этаж встречался и вдруг останавливался, издавал удивленное восклицанье, притворно-радостно выкатывал холодные ястребиные глаза и с придворной любезностью целовал руку матери великан в дохе, похожий на мужика и на удельного князя, и отец тотчас же подхватывал его светский тон, крепко жал его руку: – Пожалуйста, пожалуйста, заходите, князь! Сердечно будем рады!

А по коридору быстро шел коротконогий и довольно плотный молодой человек в поддевке, в батистовой косоворотке, с гладко причесанными белесыми волосами и выпученными ярко-голубыми, всегда пьяными глазами, который хрипло и громко, поспешно и необыкновенно родственно (хотя родства между нами совсем не было) кричал еще издали: – Дядя, дорогой, сколько лет, сколько зим! А я слышу: «Арсеньев, Арсеньев», а ты ли это, не знаю... Здравствуйте, милая тетя, – говорил он без передышки, целуя руку матери так родственно, что она принуждена была целовать его в висок, – здравствуй, Александр, – живо обращался он ко мне, как всегда, перевирая мое имя, – да ты совсем молодец стал! А я, понимаешь, дядя, уже пятый день тут сию, жду эту анафему Кричевского – обещал дать для уплаты в банк, а сам, чорт его знает зачем, в Варшаву сбежал и когда назад будет, один Мордахай ведает... Ты что, уже обедал?

Пойдем вниз, там целое собрание...

И отец радушно целовал его и ни с того ни с сего, неожиданно даже для самого себя, вдруг приглашал его обедать к себе, тащил в номер и с величайшим оживлением заказывал Михеичу невероятное количество закусок, блюд, водок и вин...

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
Как страшно много и жадно ел и пил этот мнимый родственник наш! Как шумно и немолчно говорил, восклицал, хохотал, изумлялся! До сих пор слышу его хриплый крик, его беспрестанную и запальчивую фразу: – Но неужели ты, дядя, серьезно думаешь, что я способен на такую подлость?!

А вечером мы сидели в огромном и ледяном шатре братьев Труцци, резко и приятно вонявшем всем тем, чем всегда воняет цирк. Резко, попугаями, вскрикивали, вылетая на арену под гогот публики и со всего размаху шлепаясь с притворной неловкостью животом в песок, широкоштантные клоуны с мучными лицами и оранжево-огненными волосами, за ними тяжело вырывалась старая, белая лошадь, на широчайшей, вогнутой спине которой стоя неслась вся осыпанная золотыми блестками коротконогая женщина в розовом трико, с розовыми тугими ляжками под торчащей балетной юбочкой. Музыка с беззаботной удалью нажаривала: «Ивушка, ивушка, зеленая моя», чернородый красавец-директор во фраке, в ботфортах и в цилиндре, стоя и вращаясь посреди арены, равномерно и чудесно стрелял длинным бичем, лошадь, круто, упрямо выгнув шею, вся завалившись наискось, тяжким галопом мчалась по самому краю круга, женщина выжидательно пружинила на ней и вдруг с каким-то коротким, кокетливым криком взвивалась и с треском прорывала бумажный щит, вскинутый перед ней шталмейстерами в камзолах. А когда она, стараясь быть легче пуха, слетала наконец с лошади на изрытый песок арены, с чрезвычайнейшей грацией приседала, делала ручками, как-то особенно вывертывая их в кисти, и, под бурю аплодисментов, с преувеличенной детскостью, уносились за кулисы, музыка вдруг смолкала (хотя клоуны, расхлябанно шатаясь по арене с видом бесприютных дурачков, картаво кричали: «еще полпорции камаринского!») и весь цирк замирал в сладком ужасе: шталмейстеры с страшной поспешностью бежали на арену, таща за собой огромную железную клетку, а за кулисами внезапно раздавался чудовищный перекатный рык, точно там кого-то мучительно тошнило, рвало, и затем такой мощный, царственный выдох, что до основания сотрясался весь шатер братьев Труцци...

IX

После отъезда отца с матерью, в городе наступали как бы великопостные дни.

И почему-то часто уезжали они в субботу, так что в тот же день вечером я должен был идти ко всеобщей, в церковку Воздвиженья, стоявшую в одном из глухих переулков близ гимназии.

Боже, как памяты мне эти тихие и грустные вечера поздней осени под ее сумрачными и низкими сводами! По обычаю, привели нас задолго до начала службы, и мы ждем ее в напряженной тишине и сумраке. Никого, кроме нас – только несколько темных старушечьих фигур, коленопреклоненных в углах, и ни звука, кроме их молитвенного шепота да осторожного потрескивания редких свечей и лампад у алтаря.

Сумрак все сгущается, в узких окнах все печальнее синее, лиловет умиравший вечер... Вот и мягкие шаги священнослужителей, в теплых рясах и глубоких калошах проходящих в алтарь. Но и после этого долго еще длится тишина, ожидание, идут в алтаре, за закрытыми красным шелком Царскими Вратами, какие-то таинственные приготовления, потом, по открытии их, – которое всегда немного неожиданно и жутко, – долгое и безмолвное каждение Престола, пока не выйдет наконец на амвон диакон со сдержанно-торжественным призывом: «Возстаните!» – пока не ответит ему из глубины алтаря смиренный и грустный, зачинающий голос: «Слава святей и единосущней и животворящей и нераздельней Троице» – и не покроется этот голос тихой, согласной музыкой хора: «Аминь...»

Как все это волнует меня! Я еще мальчик, подросток, но ведь я родился с чувством всего этого, а за последние годы уже столько раз испытал это ожидание, эту предваряющую службу напряженную тишину, столько раз слушал эти возгласы и непременно за ними следующее, их покрывающее «аминь», что все это стало как бы частью моей души, и она, теперь уже заранее угадывающая каждое слово службы, на все отзывается сугубо, с вящей родственной готовностью. «Слава святей, единосущней» – слышу я знакомый милый голос, слабо долетающий из алтаря, и по всему моему телу проходит сладостный трепет, и уже всю службу стою я потом, как зачарованный.

«Приидите поклонимся, приидите поклонимся... Благослови, душе моя, Господа», слышу я, меж тем как священник, предшествуемый диаконом со светильником, тихо ходит по

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
всей церкви и безмолвно наполняет ее клубами кадильного благоухания, поклоняясь иконам, и у меня застилают глаза слезами, ибо я уже твердо знаю теперь, что прекрасней и выше всего этого нет и не может быть ничего на земле, что, если бы даже и правду говорил Глебочка, утверждающий со слов некоторых плохо бритых учеников из старших классов, что Бога нет, все равно нет ничего в мире лучше того, что я чувствую сейчас, слушая эти возгласы, песнопения и глядя то на красные огоньки перед тускло-золотой стеной старого иконостаса, то на святого Божьего витязя, благоверного князя Александра Невского, во весь рост и в полном воинском доспехе написанного на злаченном столпе возле меня, в страхе Божиим и благоговении приложившего руку к груди и горе поднявшего грозные и благочестивые очи...

И течет, течет святая мистерия. Закрываются и открываются Царские Врата, знаменуя то наше отторжение от потерянного нами Рая, то новое лицезрение его, читаются дивные Светильничные молитвы, выражающие наше скорбное сознание нашей земной слабости, беспомощности и наши домогания наставить нас на пути Божий, озаряются ярче и теплее своды церкви многими свечами, зажигаемыми в знак человеческих упований на грядущего Спасителя и озарения человеческих сердец надеждою, с крепкой верою в щедроты Божий звучат земные прошения великой ектений:

«О свышнем мире и спасении душ наших... О мире всего мира и благостояния святых Божиих церквей...» А там опять, опять этот слабый, смиренный и все мирно разрешающий голос: «Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу всегда, ныне и присно и вовеки веков...»

Нет, это неправда – то, что говорил я о готических соборах, об органах: никогда не плакал я в этих соборах так, как в церковке Воздвиженья в эти темные и глухие вечера, проводив отца с матерью и войдя истинно как в отчую обитель под ее низкие своды, в ее тишину, тепло и сумрак, стоя и утомляясь под ними в своей длинной шинельке и слушая скорбно-смирненное «да исправится молитва моя» или сладостно-медлительное «Свете Тихий – святые славы бессмертного – Отца небесного – святого, блаженного – Иисусе Христе...» – мысленно упиваясь видением какого-то мистического Заката, который представлялся мне при этих звуках: «Пришедше на запад солнца, ви-девши свет вечерний...» – или опускаясь на колени в тот таинственный и печальный миг, когда опять на время воцаряется глубокая тишина во всей церкви, опять тушат свечи, погружая ее в темную ветхозаветную ночь, а потом протяжно, осторожно, чуть слышно начинается как бы отдаленное, предрассветное: «Слава в вышних Богу – и на земли мир – в человецех благоволение...» – с этими страстно-горестными и счастливыми троекратными рыданиями в середине: «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим!»

Х

А еще помню я много серых и жестких зимних дней, много темных и грязных оттепелей, когда становится особенно тягостна русская уездная жизнь, когда лица у всех делались скучны, недоброжелательны, – первобытно подвержен русский человек природным влияниям! – и все на свете, равно как и собственное существование, томило своей ненужностью...

Помню, как иногда по целым неделям несло непроглядными, азиатскими метелями, в которых чуть маячили городские колокольни. Помню крещенские морозы, наводившие мысль на глубокую древнюю Русь, на те стужи, от которых «земля на сажень трескалась»: тогда над белоснежным городом, совершенно потонувшим в сугробах, по ночам грозно горело на черно-вороненом небе белое созвездие Ориона, а утром зеркально, зловеще блистало два тусклых солнца и в тугой и звонкой недвижности жгучего воздуха весь город медленно и дико дымился алыми дымами из труб и весь скрипел и визжал от шагов прохожих и санных полозьев... В такие морозы замерзла однажды на паперти собора нищая дурочка Дуня, полвека шатавшаяся по городу, и город, всегда с величайшей беспощадностью над ней издевавшийся, вдруг закатил ей чуть не царские похороны...

Как это ни странно, тотчас же вслед за этим мне вспоминается бал в женской гимназии, – первый бал, на котором я был. Дни стояли тоже очень морозные. Возвращаясь после ученья домой, мы с Глебочкой нарочно шли по той улице, где была женская гимназия, во дворе которой уже выравнивали сугробы по бокам проезда к парадному крыльцу и сажали в них два ряда необыкновенно густых и свежих елок. Солнце садилось, все было чисто, молодо и все розовело – снежная улица, снежные

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин толстые крыши, стены домов, их блестящие золотой слюдой стекла и самый воздух, тоже молодой, крепкий, веселящим эфиром входивший в грудь. А навстречу шли из гимназии гимназистки в шубках и ботиках, в хорошеньких шапочках и капорах, с длинными, посеребренными инеем ресницами и лучистыми глазами, и некоторые из них звонко и приветливо говорили на ходу: «Милости просим на бал!» – волнуя этой звонкостью, будя во мне первые чувства к тому особенному, что было в этих шубках, ботиках и капорах, в этих нежных возбужденных лицах, в длинных морозных ресницах и горячих, быстрых взглядах, – чувства, которым суждено было впоследствии владеть мной с такой силою...

После бала я долго был пьян воспоминаньями о нем и о самом себе: о том нарядном, красивом, легком и ловком гимназисте в новом синем мундирчике и белых перчатках, который с таким радостно-молодецким холодком в душе мешался с нарядной и густой девичьей толпой, носился по коридору, по лестницам, то и дело пил оршад в буфете, скользил среди танцующих по паркету, посыпанному каким то атласным порошком, в огромной белой зале, залитой жемчужным светом люстр и оглашаемой с хор торжествующе-звучными громами военной музыки, дышал всем тем душистым зноем, которым дурманят балы новичков, и был очарован каждой попадавшейся на глаза легкой тувелькой, каждой белой пелеринкой, каждой черной бархаткой на шее, каждым шелковым бантом в косе, каждой юной грудью, высоко поднимавшейся от блаженного головокруженья после вальса...

## XI

В третьем классе я сказал однажды директору дерзость, за которую меня едва не исключили из гимназии. На уроке греческого языка, пока учитель что-то объяснял нам, писал на доске, крепко, ловко и с большим от этой ловкости удовольствием стуча мелом, я, вместо того, чтобы слушать его, в сотый раз перечитывал одну из моих любимейших страниц в Одиссее – о том, как Навзикая поехала со своими служанками на морской берег мыть пряжу. Внезапно в класс вошел директор, имевший привычку ходить по коридорам и заглядывать в дверные стекла, направился прямо ко мне, вырвал у меня из рук книгу и бешено крикнул: – Пошел до конца урока в угол!

Я поднялся и, бледнея, ответил: – Не кричите на меня и не говорите мне ты. Я вам не мальчик...

В самом деле, мальчиком я уже не был. Я быстро рос душевно и телесно. Я жил теперь уже не одними чувствами, приобрел некоторое господство над ними, стал разбираться в том, что я вижу и воспринимаю, стал смотреть на окружающее и на переживаемое мной до известной степени сверху вниз. Нечто подобное я испытал при переходе из детства в отрочество. Теперь испытывал с удвоенной силой. И, бродя в праздничные дни с Глебочкой по городу, замечал, что рост мой почти равен росту среднего прохожего, что только моя отроческая худоба, стройность да тонкость и свежесть беззубого лица отличают меня от этих прохожих.

В начале сентября того года, когда я перешел в четвертый класс, неожиданно захотел вступить со мной в приятельство один из моих товарищей, некто Вадим Лопухин. Как-то на большой перемене он подошел ко мне, взял меня за руку выше локтя и сказал, прямо и пусто глядя в глаза мне: – Послушай, хочешь войти в наш кружок? Мы образовали кружок гимназистов-дворян, чтобы не мешаться больше со всякими Архиповыми и Заусайловыми. Понимаешь?

Он был во всех отношениях гораздо старше меня, потому что в каждом классе непременно сидел два года, был уже юношески высок и широк в кости, белокур, светоглаз, с пробивающимися золотистыми усиками. Чувствовалось, что он уже все знает, все испытал, чувствовалась его порочность и то, что он весьма доволен ею, как признаком хорошего тона и своей зрелости: на переменах он рассеянно и быстро прогуливался в толпе своим барски-легким, несколько пружинным и шаркающим шагом, небрежно и развязно подавшись вперед, засунув руки в карманы широких и легких панталон, все посвистывая, все поглядывая вокруг с холодным и несколько насмешливым любопытством, подходил, что бы поболтать, только к «своим», при встрече с надзирателем кивал ему как знакомому...

Я в ту пору уже начал приглядываться к людям, наблюдать за ними, мои расположения и нерасположения стали определяться и делить людей на известные сорта, из коих некоторые навсегда становились мне ненавистны. Лопухин определенно принадлежал к ненавистным. И все таки я был польщен, ответил полным согласием на счет кружка, и тогда он предложил мне прийти нынче же вечером в

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
городской сад: – Ты, во-первых, должен поближе сойтись кое с кем из наших, – сказал он, – а во-вторых, я познакомлю тебя с Налей Р. Она еще гимназистка, дочка очень чванных родителей, но уж прошла огонь и воду и медные трубы, умна, как бес, весела, как француженка, и может выпить бутылку шампанского без всякой посторонней помощи. А сама аршин ростом, и ножка – как у феи... Понимаешь? – сказал он, как всегда, глядя мне в глаза и думая или делая вид, что думает о чем-то другом.

И вот, тотчас же после этого разговора, случилось со мной нечто совершенно необыкновенное: впервые в жизни я вдруг почувствовал не только влюбленность к той Нале, которую я вообразил себе со слов Лопухина, – влюбленность уже совсем не похожую на то мимолетное, легкое, таинственное и прекрасное, что коснулось меня когда-то при взгляде на Сашку, а потом при встрече молодого Ростовцева с барышней на гуляньи в царский день, – но уже и нечто мужское, телесное. Как трепетно ждал я вечера! Вот оно, мерещилось мне, – наконец-то! Что наконец-то, что именно? Какая то роковая и как будто уже давно вожденная грань, через которую наконец и я должен переступить, жуткий порог какого-то греховного рая...

И мне уже казалось, что все это будет или, по крайней мере, начнется нынче же вечером. Я сходил к парикмахеру, который постриг меня «бобриком» и, надушив, вздрал этот бобрик сально и пряно вонявшей круглой щеткой, я чуть не час мылся, наряжался и чистился дома и, когда шел в сад, чувствовал, как у меня леденеют руки и огнем пылают уши. В саду опять играла музыка, сыпал прохладной пылью высокий, раскидистый фонтан и с какой-то женственной роскошью пахло цветами в бодром и студеном воздухе багряного осеннего заката, но народу было мало, отчего мне еще стыднее было ходить отдельно от прочих, на виду у всех, в этом избранном «кружке дворян-гимназистов» и поддерживать с ними какой-то особый дворянский разговор, – как вдруг меня словно ударило что-то: по аллее, навстречу нам, быстро шла мелкими шажками, с тросточкой в руках, маленькая женщина-девочка, очень ладно сложенная и очень изящно и просто одетая. Когда она быстро подошла к нам и, приветливо играя агатовыми глазами, свободно и крепко пожала нам руки своей маленькой ручкой в узкой черной перчатке, быстро заговорила и засмеялась, раза два мельком, но любопытно взглянув на меня, я впервые в жизни так живо и чувственно ощутил все то особенное и ужасное, что есть в женских смеющихся губах, в детском звуке женского голоса, в округлости женских плечей, в тонкости женской талии, в том непередаваемом, что есть даже в женской щиколке, что не мог вымолвить ни слова. – Образуйте его нам немножко. Наля, – сказал Лопухин, спокойно и развязно кивая на меня и так бесстыдно-многозначительно на что-то намекая, что у меня холодной мелкой дрожью задрожало внутри и чуть не стукнули зубы...

К счастью, Наля через несколько дней уехала в губернский город – неожиданно умер ее дядя, наш вице-губернатор. К счастью, и из кружка ничего не вышло. К тому же вскоре случилось у нас в семье огромное событие: арестовали брата Георгия.

## XII

Событие это даже отца ошеломило.

Теперь ведь и представить себе невозможно, как относился когда-то рядовой русский человек ко всякому, кто осмеливался «итти против царя», образ которого, несмотря на непрестанную охоту за Александром Вторым и даже убийство его, все еще оставался образом «земного Бога», вызывал в умах и сердцах мистическое благоговение. Мистически произносилось и слово «социалист» – в нем заключался великий позор и ужас, ибо в него вкладывали понятие всяческого злодейства. Когда пронеслась весть, что «социалисты» появились даже и в наших местах, – братья Рогачевы, барышни Субботины, – это так поразило наш дом, как если бы в уезде появилась чума или библейская проказа. Потом произошло нечто еще более ужасное: оказалось, что и сын Алферова, нашего ближайшего соседа, вдруг пропал из Петербурга, где он был в военно-медицинской академии, потом объявился под Ельцом на водяных мельницах, простым грузчиком, в лаптях, в посконной рубахе, весь заросший бородой, был узан, уличен в «пропаганде», – это слово звучало тоже очень страшно, – и заключен в Петропавловскую крепость. Отец наш был человек вовсе не темный, не косный и уж далеко не робкий во всех отношениях; много раз слышал я в детстве, с какой дерзостью называл он иногда Николая Первого Николаем Палкиным, бурбоном; однако слышал я и то, с какой торжественностью и столь же искренно произносил он на другой день совсем другие слова: «В Бозе почивающий Государь Император Николай Павлович...» У отца все зависело от его барского

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин настроен, а что все таки преобладало? И потому даже и он только руками наостерянно разводил, когда «схватили» этого юного и бородатого грузчика. – Несчастный Федор Михайлыч! – с ужасом говорил он про его отца. – Вероятно, этого голубчика казнят. Даже непременно казнят, – говорил он со своей постоянной страстью к сильным положениям. – Да и поделом, поделом! Очень жалко старика, но церемониться с ними нечего. Этак мы и до французской революции достукаемся! И как я был прав, когда твердил, что, попомните мое слово, будет этот крутолобий, угрюмый болван острожником, позором всей своей семьи!

И вот, такой же позор, ужас вдруг свалился и на нашу семью. Как, почему? Ведь уж брата-то никак нельзя было назвать крутолобым, угрюмым болваном. Его «преступная деятельность» казалась еще нелепее, еще невероятнее, чем таковая же барышень Субботиных, которые, хотя и принадлежали к богатому и хорошему дворянскому роду, все-таки просто могли быть сбиты с толку, по своей девичьей глупости, какими-нибудь Рогачевыми.

В чем заключалась «деятельность» брата и как именно проводил он свои университетские годы, я точно не знаю. Знаю только то, что деятельность эта началась еще в гимназии под руководством какой-то «замечательной личности», какого-то семинариста Доброхотова. Но что общего было у брата с Доброхотовым? Брат, рассказывая мне о нем впоследствии, все еще восхищался им, говорил о его «ригоризме», о его железной воле, о «беспощадной ненависти к самодержавию и беззаветной любви к народу»; но была ли хоть одна из этих черт у брата, почему он восхищался?

Очевидно, только в силу той вечной легкомысленности, восторженности, что так присуща была дворянскому племени и не покидала Радищевых, Чацких, Рудиных, Огаревых, Герценов даже и до седых волос; потому, что черты Доброхотова считались высокими, героическими; и наконец по той простой причине, что, вспоминая Доброхотова, он вспоминал весь тот счастливый праздник, в котором протекала его юность, – праздник ощущения этой юности, праздник «преступной», а потому сладостно-жуткой причастности ко всяким тайным кружкам, праздник сборищ, песен, «зажигательных» речей, опасных планов и предприятий...

Ах, эта вечная русская потребность праздника! Как чувственны мы, как жаждем упоения жизнью, – не просто наслаждения, а именно упоения, – как тянет нас к непрестанному хмелю, к запою, как скучны нам будни и планомерный труд! Россия в мои годы жила жизнью необыкновенно широкой и деятельной, число людей работающих, здоровых, крепких в ней все возрастало. Однако разве не исконная мечта о молочных реках, о воле без удержу, о празднике была одной из главнейших причин русской революционности? И что такое вообще русский протестант, бунтовщик, революционер, всегда до нелепости отрешенный от действительности и ее презирающий, ни в малейшей мере не хотящий подчиниться рассудку, расчету, деятельности невидной, неспешной, серой? Как! Служить в канцелярии губернатора, вносить в общественное дело какую-то жалкую лепту! Да ни за что, – «карьеру мне, карету!»

Брату и в гимназии и в университете пророчили блестящую научную будущность. Но до науки ли было ему тогда! Он, видите ли, должен был «всецело отказаться от личной жизни, всего себя посвятить страждущему народу». Он был добрый, благородный, живой, сердечный юноша и все таки тут он просто врал себе или, вернее, старался жить – да и жил – выдуманными чувствами, как жили тысячи прочих. Чем вообще созданы были «хождения в народ» дворянских детей, их восстание на самих себя, их сборища, споры, подполья, кровавые слова и действия? В сущности дети были плоть от плоти, кость от кости своих отцов, тоже всячески прожигавших свою жизнь. Идеи идеями, но ведь сколько, повторяю, было у этих юных революционеров и просто жажды веселого безделья под видом кипучей деятельности, опьянения себя сходками, шумом, песнями, всяческими подпольными опасностями, – да еще «рука об руку» с хорошенькими Субботиными, – мечтами об обысках и тюрьмах, о громких процессах и товарищеских путешествиях в Сибирь, на каторгу, за полярный круг!

Что побуждало брата, превосходно кончившего и гимназию и университет только в силу своих совершенно необыкновенных способностей, весь жар своей молодости отдавать «подпольной работе?» Горькая участь Пилы и Сысойки? Несомненно, читая о ней, он не раз прослезился. Но почему же, подобно всем своим соратникам, никогда даже не замечал он ни Пилы ни Сысойки в жизни, в Новоселках, в Батуристине? Во многом, во многом был он сын своего отца, не даром говорившего после двух-трех

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
рюмок водки: – Нет, отлично! Люблю выпить! Замолаживает!

Замолаживает – это слово употреблялось когда-то на винокурнях, и человек выпивший хотел им сказать, что в него вступает нечто молодое, радостное, что в нем совершается некое сладкое брожение, некое освобождение от рассудка, от будничной связанности и упорядоченности. Мужики так и говорят про водку:

«Как можно! От ней в человеке развязка делается!» Знаменитое «Руси есть веселие пити» вовсе не так просто, как кажется. Не родственно ли с этим «веселием» и юродство, и бродяжничество, и радения, и самосжигания, и всяческие бунты – и даже та изумительная изобразительность, словесная чувственность, которой так славна русская литература?

### XIII

Брат долго скрывался, меняя местожительство, под чужим именем. Потом, когда решил, что опасность миновала, приехал в Батурине. Но тут, на другой же день, его арестовали; донес о его приезде приказчик одного из наших соседей.

Замечательно, что в то самое утро, когда в Батурине явились жандармы, этого приказчика убило деревом, которое, по его распоряжению, рубили в саду. Так навсегда и осталась в моем воображении картина, представившаяся мне тогда: большой старый сад, весь уже по осеннему проредевший, живописно обезображенный осенними дождями, бурями и первыми заморозками, засыпанный гниющей листвой, чернеющий стволами и сучьями и пестреющий остатками желтого и красного убора, свежее и яркое утро, ослепительный солнечный свет, блещущий на полянах и теплыми, золотистыми столпами падающий среди стволов вдали в сырой холодок и тень низов, в тонкий, сияющий голубым эфиром дым еще не совсем испарившегося утреннего тумана, перекресток двух аллей и на нем – великолепный столетний клен, который раскинулся и сквозит на ярком и влажном утреннем небе своей огромной раскрытой вершиной, черным узором сучьев с кое-где повисшими на них большими зубчатыми лимонными листьями и в могучий, закаменевший от времени ствол которого, с удовольствием акая, все глубже врубаются блестящими топорами мужики в одних рубахах и в шапках на затылок, меж тем как приказчик, засунув руки в карманы, глядит вверх на вздрагивающую в небе макушку дерева. Может быть, он задумался о том, как ловко подсадил он социалиста?

А дерево вдруг крякнуло, макушка внезапно двинулась вперед – и с шумом, все возрастая в быстроте, тяжести и ужасе, ринулась сквозь ветви соседних деревьев на него...

В этом имении я бывал впоследствии много раз. Оно когда-то принадлежало нашей матери. Отец, имевший неутомимую страсть все сбывать с рук, давно продал и прожил его. После смерти нового владельца оно перешло к какой-то «кавалерственной даме», жившей в Москве, и было заброшено: земля сдавалась мужикам, а усадьба предоставлена воле Божией. И часто, проезжая мимо нее по большой дороге, от которой она была в какой-нибудь версте, я сворачивал, ехал по широкой дубовой аллее, ведшей к ней, въезжал на просторный двор, оставлял лошадь возле конюшен, шел к дому... Сколько заброшенных поместий, запущенных садов в русской литературе и с какой любовью всегда описывались они! В силу чего русской душе так мило, так отрадно запустенье, глушь, распад? Я шел к дому, проходил в сад, поднимавшийся за домом... Конюшни, людские избы, амбары и прочие службы, раскинутые вокруг пустынного двора, – все было огромно, серо, все разрушалось и дичало, как дичали, зарастали бурьяном, кустарником и огороды, гумна, простиравшиеся за ними и сливавшиеся с полем.

Деревянный дом, обшитый серым тесом, конечно, гнил, ветшал, с каждым годом делаясь все пленительнее, и особенно любил я заглядывать в его окна с мелкорешетчатыми рамами... как передать те чувства, что испытываешь в такие минуты, когда как бы воровски, кощунственно заглядываешь в старый, пустой дом, в безмолвное и таинственное святилище его давней, исчезнувшей жизни! А сад за домом был, конечно, наполовину вырублен, хотя все еще красовалось в нем много вековых лип, кленов, серебристых итальянских тополей, берез и дубов, одиноко и безмолвно доживавших в этом забытом саду свои долгие годы, свою вечно-юную старость, красота которой казалась еще более дивной в этом одиночестве и безмолвии, в своей благословенной, божественной бесцельности. Небо и старые деревья, у каждого из которых всегда есть свое выражение, свои очертания, своя душа, своя дума, – можно ли наглядеться на это? Я подолгу бродил под ними, не

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин сводя глаз с их бесконечно разнообразных вершин, ветвей, листьев, томясь желанием понять, разгадать и навсегда запечатлеть в себе их образы, сидел, думал о них на просторном косогоре под садом, среди огромных дубовых пней, грубо черневших на нем в нежной высокой траве и цветах, над светлыми прудами, все еще полноводно лежавшими под косогором в долине... Как отрешалась тогда душа от жизни, с какой грустной и благой мудростью, точно из какой-то неземной дали, глядела она на нее, созерцала «вещи и дела» человеческие! И каждый раз непременно вспоминался мне тут и этот несчастный человек, убитый старым кленом, погибший вместе с ним, и вся несчастная, бессознательно испорченная им, этим человеком, судьба брата, и тот далекий осенний день, когда привезли его два борода-них на просторном косогоре под садом, среди огромтурина в город, в тот самый острог, где так поразил меня когда-то мрачный узник, глядевший из-за железной решетки на заходящее солнце...

Отец с матерью прискакали в этот день в город, вслед за казенной тройкой брата, совершенно вне себя. Мать даже не плакала, ее темные глаза горели сухо, страшно. Отец старался не глядеть ни на меня ни на нее, все только курил и повторял: – Вздор, пустяки! Поверьте, что через несколько дней вся эта ерунда разъяснится...

В тот же день вечером брата увезли дальше, в Харьков, где было то подполье, за причастность к которому и был он арестован. Мы ездили на вокзал провожать его. Кажется, больше всего поразило меня то, что, приехав на вокзал, мы должны были идти в зал третьего класса, где брат, под надзором жандармов, дожидался отхода поезда, уже не смея сидеть с приличными, свободными людьми, уже лишившись воли распоряжаться собой, возможности пить чай или есть пирожки вместе с ними. И как только мы вошли в этот безобразно, беспорядочно людный, шумный зал, меня так и ударил в сердце вид брата, его арестантская обособленность и бесправность: он и сам хорошо понимал ее, чувствовал всю свою униженность и неловко улыбался. Он одиноко сидел в самом дальнем углу возле дверей на платформу, юношески милый и жалкий своей худощавостью, своим легким сереньким костюмчиком, на который была накинута отцовская енотовая шуба. Возле него было пусто, – жандармы то и дело отстраняли баб, мужиков и мещан, толпившихся вокруг и с любопытством, со страхом глядевших на живого социалиста, слава Богу, уже попавшего в клетку. Особенно любопытствовал какой-то сельский батюшка, длинный, в высокой бобровой шапке и глубоких пыльных калошах, не сводивший с брата расширенных глаз и таинственной скороговоркой засыпавший жандармов вопросами, на которые они не отвечали. Они поглядывали на брата, как на провинившегося мальчишка, которого они волей неволей должны стеречь и везти куда приказано, и один из них с ласковой и снисходительной усмешкой сказал нашей матери: – Не беспокойтесь, сударыня, все, Бог даст, обойдется... Пожалуйста, посидите с ними, до поезда еще минут двадцать... Вот младший сейчас пойдет запасется кипятком, купит им на дорогу, какой прикажете, закусочки... Это вы хорошо сделали, что шубу им дали, – в вагоне ночью прохладно будет...

Помню, что тут мать наконец заплакала, – села на скамейку возле брата и вдруг зарыдала, зажимая рот платком, отец же, болезненно сморщив лицо, махнул рукой и быстро пошел прочь. Он не переносил страданий, неприятностей, всегда, в силу невольной самозащиты, спешил как-нибудь уклониться от них, – он даже мало-мальски тяжелых разлук избегал, всегда неожиданно их обрывая, поспешно хмурясь и бормоча, что долгие проводы – лишние слезы. Он ушел в буфет, выпил несколько рюмок водки, пошел искать станционного жандармского полковника с просьбой разрешить брату ехать в первом классе...

#### XIV

В этот вечер я не чувствовал ничего, кроме растерянности, недоумения... Но вот брата увезли, отец с матерью уехали... Мне понадобилось после того не мало времени, чтобы пережить свой новый душевный недуг.

Отец с матерью уехали почему-то на другой же день утром. Было солнечно, как часто бывает у нас в октябре, но даже в городе насквозь прохватывал резкий северный ветер, и все было необыкновенно чисто, ясно, просторно – пролеты улиц, дали пустых окрестностей, точно совсем лишенных воздуха, яркое небо, кое-где сиявшее острой прозеленью между быстро плывущими дымчато-белыми облаками... Я проводил уезжающих до монастыря и острога, между которыми убегало в холодные и нагие, пестрые от солнца и облачных теней поля уже подмерзшее, крепко закаменевшее шоссе. Тут тарантас остановился. Солнце, поднявшееся, покуда собрались и выехали, немного выше, то и дело выглядывало из-за облаков; но его

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
слепящий свет не грел, а с выезда в поле с севера дуло так пронзительно, что кучер на козлах гнул голову, у отца, сидевшего в шубе и в зимней шапке, трепались усы и на глаза, в которых рябило от ветра, выступали слезы. Я слез, и мать вновь горько заплакала, прижавшись к моему лицу серым теплым капором, отец же только торопливо перекрестил меня, сунул к моим губам озябшую руку и крикнул в спину кучеру: – Пошел!

Тарантас с полуподнятым верхом тотчас же загремел, могучий бурый коренник задрал голову и затряс залившимся под дугой колокольчик, гневные пристяжные дружно и вольно взяли вскачь, подкидывая крупы, а я еще долго стоял на шоссе, провожая глазами этот верх, глядя на убегающие задние колеса, на косматые бабки коренника, быстро пляшущие между ними под кузовом тарантаса, и на высоко и легко взвивающиеся по его бокам подковы пристяжных, – долго с мукой слушал удаляющийся поддужный плач. Я стоял в своей легонькой шинельке, пронизываемый ветром, преодолевая его плечом, и вспоминал то, что говорил отец вчера вечером, за ужином в номере Дворянской, наливая себе портеру: – Вздор, пустяки! – говорил он твердо. – Эка, подумаешь, важность! Ну, арестовали, ну, увезли и, может, в Сибирь сошлют, – даже наверное сошлют, – да мало ли их нынче ссылают и чем, позвольте спросить, какой-нибудь Тобольск хуже Ельца, Воронежа? Да и вообще все вздор и пустяки! Пройдет дурное, пройдет и хорошее, как сказал Тихон Задонский, – все пройдет!

Я вспоминал эти слова и чувствовал, что мне не только не легче, а еще более от них. Может быть, и впрямь все вздор, но ведь этот вздор моя жизнь, и зачем же я чувствую ее данной вовсе не для вздора и не для того, чтобы все бесследно проходило, исчезало? Все пустяки, – однако оттого, что увезли брата, для меня как будто весь мир опустел, стал огромным, бессмысленным, и мне в нем теперь так грустно и так одиноко, как будто я уже вне его, меж тем как мне нужно быть вместе с ним, любить и радоваться в нем! Как же пустяки, когда оказалось, что я люблю, – да и всегда, очевидно, любил, – того милого и жалкого «социалиста», что сидел вчера арестантом на вокзале в своем сереньком пиджачке и накинута на плечи енотовой шубе, а его куда-то увезли, лишили свободы, счастья, разлучили с нами и со всей обычной жизнью? Все в мире как будто по-прежнему, как всегда, и все свободны и счастливы, а он один в неволе и в несчастье. Вот, подгоняемая этим ледяным и буйным ветром, бежит вдоль шоссе в город, бочком трусит какая-то скромная, чем-то своим озабоченная рыжая собачонка; а его уже нет, он теперь где-то там, в бесконечной и пустой, сияющей южной дали, едет в замкнутом купе солнечного вагона под надзором двух вооруженных жандармов, везущих его в какой-то Харьков. Вот спокойно стоит против солнца, глядит через шоссе на монастырь своими решетчатыми окнами желтый острожный дом, такой же жуткий, ото всех особенный, как и тот, что ждет его в Харькове, и вчера в этом доме сидел несколько часов и он, а нынче в нем его уже нет, – чувствуется только скорбный остаток его присутствия. Вот из-за высокой и зубчатой монастырской стены в мраморном от облаков небе дивно блещат тускло-золотые соборные маковки и сквозят, чернеют сучья древних кладбищенских деревьев, а он уже не видит этой красоты, не делит со мной радости глядеть на них... На громадных запертых воротах монастыря, на их створах, во весь рост были написаны два высоких, могильно-изможденных святителя в епитрахиях, с зеленоватыми печальными ликами, с длинными, до земли развернутыми хартями в руках: сколько лет стоят они так – и сколько веков уже нет их на свете? Все пройдет, все проходит, будет время, когда не будет в мире и нас, – ни меня, ни отца, ни матери, ни брата, – а эти древне-русские старцы со своим священным и мудрым писанием в руках будут все также бесстрастно и печально стоять на воротах... И, сняв картуз, со слезами на глазах, я стал креститься на ворота, все живее чувствуя, что с каждой минутой мне становится все жалче себя и брата, – то есть, что я все больше люблю себя, его, отца с матерью, – и горячо прося святителей помочь нам, ибо, как ни больно, как ни грустно в этом непонятном мире, он все же прекрасен и нам все таки страстно хочется быть счастливыми и любить друг друга...

Я пошел назад, часто останавливаясь, оборачиваясь. Ветер дул как будто еще крепче и холоднее, но солнце поднималось, сияло, день веселел, требовал жизни, радости, и надо всем, – над городом, над пустой щепной площадью, над заповедным, безмолвным помещьем монастыря с его высокой стеной, кладбищенской рощей и золотыми соборными главками, и над той необозримой степной равниной, куда к прозрачно-зеленому северному небосклону убегало шоссе, – плыли в бледно-голубом, в жидком и ярком осеннем небе крупные и красивые лиловые облака, и все было светло и пестро, по всему картинно и легко, то и дело чередуясь с солнцем, шли воздушные дымчатые тени. Я стоял, смотрел и шел дальше... Где только я не был в

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
этот день!

Я обошел кругом весь город. Я шел по той черной слободе, что спускалась от Щепной площади к кожевенным заводам, перешел по горбату, от древности полуразрушенному каменному мосту через зловонный речной приток, заваленный гниющими в нем бурыми шкурами, поднялся на противоположную гору к женскому монастырю, – он так и сиял против солнца меловой белизной своих стен, а из калитки его ворот выходила молоденькая монашка в грубых башмаках, в грубых черных одеждах, но такой тонкой, чистой, древне-русской иконописной красоты, что я, пораженный, даже остановился, – потом пошел к Аргамаче, опять опустился к притоку и поднялся к собору... На обрыве за собором я стоял, глядя на гнилые тесовые крыши мещанских лачуг, лепившихся внизу по буграм вдоль реки, на внутренности их грязных и убогих дворишек, и все что-то думал о человеческой жизни, о том, что все проходит и повторяется, что, верно, и триста лет тому назад были тут все такие же черные тесовые крыши и всякая сорная дрянь, что растет на пустырях, на глинистых буграх, потом мысленно видел отца с матерью, скачущих на тройке по светлым, пустынным полям, видел Батурине, где все так мирно, родственно, теперь, конечно, очень, очень грустно, а все таки несказанно мило, отрадно, видел брата Николая, черноглазую десятилетнюю Олю, нашу с ней заветную ель перед окнами зала и пустой, обнаженный, по-осеннему печальный сад, буйный ветер и вечернее солнце в нем, – всей душой стремился туда, но за всеми этими думами и чувствами все время неотступно чувствовал брата. Я смотрел на реку, серой рябью равномерно шедшую к желтым скалам, делавшую под ними поворот на юг и пропадавшую вдаль, опять думал о том, что даже и при печенеггах все так же шла она – и старался не смотреть на Заречье, на краснеющей на его окраине вокзал, с которого вчера в сумерки увезли брата, не слышать грустно-требовательных паровозных криков, сквозь ветер доносившихся оттуда в ледяном вечернем воздухе... Как мучительно мешалось с братом все, что я видел и переживал в этот странный день, больше же всего, кажется, то сладкое

восхищение, с которым я вспоминал о монашке, выходившей из калитки монастыря.

Мать в это время дала Богу, за спасение брата, обет вечного поста, который она и держала всю жизнь, вплоть до самой своей смерти, с великой строгостью. И Бог не только пощадил, но и наградил ее: через год брата освободили и, к ее великой радости, выслали на трехлетнее жительство в Батурине, под надзор полиции...

## XV

Через год вышел на свободу и я, – бросил гимназию и тоже возвратился под родительский кров, чтобы встретить там дни, несомненно, самые удивительные из всех пережитых мной.

Это было уже начало юности, время для всякого удивительное, для меня же, в силу некоторых моих особенностей, оказавшееся удивительным особенно: ведь, например, зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги...

Жизнь моя в это время не только опять резко изменилась внешне, но ознаменовалась еще одним, внезапным и благодетельным переломом, расцветом, совершившимся во всем моем существе.

Удивителен весенний расцвет дерева. А как он удивителен, если весна дружная, счастливая! Тогда то незримое, что неустанно идет в нем, проявляется, делается зримым особенно чудесно. Взглянув на дерево однажды утром, поражаешься обилию почек, покрывших его за ночь. А еще через некий срок внезапно лопаются почки – и черный узор сучьев сразу осыпают несметные ярко-зеленые мушки. А там надвигается первая туча, гремит первый гром, свергается первый теплый ливень – и опять, еще раз совершается диво: дерево стало уже так темно, так пышно по сравнению со своей вчерашней голой снастью, раскинулось крупной и блестящей зеленью так густо и широко, стоит в такой красе и силе молодой крепкой листвы, что просто глазам не веришь... Нечто подобное произошло и со мной в то время. И вот настали для меня те волшебные дни –

Когда в таинственных долинах,  
Весной, при кликах лебединых,  
Близ вод, сиявших в тишине,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

Являться стала муза мне...

Ни лицейских садов, ни царско-сельских озер и лебедей, ничего этого мне, потому что «промотавшихся отцов», в удел уже не досталось. Но великая и божественная новизна, свежесть и радость «всех впечатлений бытия», но долины, всегда и всюду таинственные для юного сердца, но сияющие в тишине воды и первые, жалкие, неумелые, но незабвенные встречи с музой – все это у меня было. То, среди чего, говоря словами Пушкина, «расцветал» я, очень не походило на царско-сельские парки. Но как пленительно, как родственно звучали для меня тогда пушкинские строки о них! Как живо выражали они существенность того, чем полна была моя душа, – те тайные лебединые клики, что порою так горячо и призывно оглашали ее! И не все ли равно, что именно извлекало их? И что с того, что ни единым словом не умел я их передать, выразить!

XVI

Все человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от судеб, их окружающих... Так сложилась и судьба моей юности, определившей и всю мою судьбу.

Как в старинных стихах:

Мне возвращен был кров родимый,  
Дарован мир степной глуши,  
Привычный быт и круг любимый  
И жар восторженной души...

Почему я возвратился под этот кров, почему бросил гимназию? И была ли бы моя юность такой, какой она была, и как сложилась бы вся моя жизнь, не случись этого на первый взгляд ничтожного события?

Отец иногда говорил, что я бросил гимназию по причинам совершенно непозволительным в своей неожиданности и нелепости, просто «по вольности дворянства», как он любил выражаться, бранил меня своенравным недорослем и пенял себе за попустительство этому своенравию. Но говорил он и другое, – суждения его всегда были крайне противоречивы, – то, что я поступил вполне «логично», – он произносил это слово очень точно и изысканно, – сделал так, как требовала моя натура. – Нет, – говорил он, – призвание Алексея не гражданское поприще, не мундир и не хозяйство, а поэзия души и жизни. Да и хозяйствовать – то, слава Богу, уже не над чем. А тут, кто знает, может, вторым Пушкиным или Лермонтовым выйдет?..

В самом деле, многое сложилось против моего казенного учения: и та «вольность», которая была так присуща в прежние времена на Руси далеко не одному дворянству и которой не мало было в моей крови, и наследственные черты отца, и мое призвание «к поэзии души и жизни», уже ясно определившееся в ту пору, и наконец то случайное обстоятельство, что брата сослали не в Сибирь, а в Батуристине.

Я как-то сразу окреп и возмужал за последний год пребывания в гимназии. До этой поры во мне, думаю, преобладали черты матери, но тут быстро стали развиваться отцовские, – его бодрая жизненность, сопротивляемость обстоятельствам, той чувствительности, которая была и в нем, но которую он всегда бессознательно спешил взять в свои здоровые и крепкие руки, и его бессознательная настойчивость в достижении желаемого, его своенравие. То, весьма в сущности неважное, что произошло с братом и что казалось тогда всей нашей семье ужасным, пережито было мной не сразу, но все-таки пережито и даже послужило к моей зрелости, к возбуждению моих сил. Я почувствовал, что отец прав, – «нельзя жить плакучей ивой», что «жизнь все-таки великолепная вещь», как говорил он порой во хмелю, и уже сознательно видел, что в ней есть нечто неотразимо-чудесное – словесное творчество. И в мою душу запало твердое решение – во что бы то ни стало перейти в пятый класс, а затем навсегда развязаться с гимназией, вернуться в Батуристине и стать «вторым Пушкиным или Лермонтовым», Жуковским, Баратынским, свою кровную принадлежность к которым я живо ощутил, кажется, с тех самых пор, как только узнал о них, на портреты которых я глядел как на фамильные.

Всю эту зиму я старался вести жизнь трудовую, бодрую, а весной мне уже и стараться не нужно было. За зиму со мной, несомненно, что-то случилось, – в смысле прежде всего телесного развития, – как неожиданно случается это со всеми подростками, у которых вдруг начинает пробиваться пушок на щеках, грубо начинают расти руки и ноги. Грубости у меня, слава Богу, ни в чем не проявилось даже и в

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
ту пору, но пушок уже золотился, глаза засинели ярче и гуще и лицо, черты которого стали определенной, точно покрылось легким и здоровым загаром. Экзамены я поэтому держал совсем не так, как прежде. Я зубрил по целым дням, сам наслаждаясь своей неутомимостью, подтянутостью, с радостью чувствуя все то молодое, здоровое, чистое, что делает иногда экзамены похожими на Страстную неделю, на говенье, на приготовление к исповеди и причастию. Я спал по три, по четыре часа, по утрам вскакивал с постели легко и быстро, мылся и одевался особенно заботливо, молился Богу с уверенностью, что Бог непременно поможет мне даже в аористах, выходил из дому с твердым спокойствием, крепко держа в уме и сердце все то, что было завоевано вчера и что нынче требовалось донести и передать куда следует стойко и полностью. А когда весь этот искус благополучно кончился, меня ждала другая радость: ни отец, ни мать на этот раз не приехали, чтобы везти меня в Батурине, а только прислали за мной, как за взрослым, тарантас парой, которой правил молодой и смешливый работник, за дорогу быстро ставший моим сердечным другом. А в Батурине, – это была большая и довольно зажиточная деревня с тремя помещичьими усадьбами, потонувшими в садах, с несколькими прудами и просторными выгонами, – все уже цвело, зеленело, и я вдруг ощутил, понял эту счастливую красоту, эту пышность и яркость зелени, полноводность прудов, озорство соловьев и лягушек уже как юноша, с чувственной полнотой и силой...

Летом женился брат Николай, натуре которого, самой все-таки трезвой из всех наших натур, наскучило наконец безделье, – взял дочь немца, управляющего казенным имением в селе Васильевском. Думаю, что эта женитьба, тот праздник, в который она превратила для нас все лето, а затем присутствие в доме молодой женщины тоже способствовали моему развитию.

А вскоре после того неожиданно явился в Батурине брат Георгий. Был июньский вечер, во дворе уже пахло холодеющей травой, в задумчивой вечерней красоте, как на старинной идиллической картине, стоял наш старый дом со своими серыми деревянными колоннами и высокой крышей, все сидели в саду на балконе за чаем, а я спокойно направлялся по двору к конюшне седлать себе лошадь и ехать кататься на большую дорогу, как вдруг в наших деревенских воротах показалось нечто совершенно необычное: городской извозчик! До сих пор помню ту особенную острожную бледность, которой меня поразило знакомое и вместе с тем совсем какое-то новое, чужое лицо брата...

Это был один из счастливейших вечеров в жизни нашей семьи и начало того мира, благополучия, которое в последний раз воцарилось в ней на целых три года перед ее концом, рассеянием...

## XVII

Уже с юношескими чувствами приехал я весной того года в Батурино. Уже почти дружески делил летом поездки брата Николая к его невесте в Васильевское, всю прелесть их: вольный бег тройки в предвечернее время, по проселкам, среди все густеющих ржей, кукованье кукушки в далекой березовой роще, еще полной травы и цветов, вид причудливых облаков на золотом западе, вечерние смешанные запахи села, его изб, садов, реки, винокурного завода, кушаний, приготовляемых к ужину в доме управляющего, резкие, подмывающие звуки аристана, на котором играли для нас его младшие дочери, вестфальские пейзажи на стенах, огромные букеты черно-красных пионов на столиках, все то веселое, немецкое радушие, которым окружали нас в этом доме, и все увеличивающаяся, родственную близость к нам той высокой, худощавой, некрасивой, но чем-то очень милой девушки, которая вот-вот должна была стать членом нашей семьи и уже говорила мне ты...

Шафером я еще не мог быть, но и положение свадебного отрока, принятое мной на себя, уже не подходило ко мне, когда я, затянутый в новый блестящий мундир, в белых перчатках, с сияющими глазами и напомаженный, надевал белую атласную туфельку на ее ногу в шелковом скользком чулке, а потом ехал с ней в карете на могучей серой паре в Знаменье. Каждый день шли дожди, лошади несли, разбрасывая комья синей черноземной грязи, тучные, пресыщенные влагой ржи клонили на дорогу мокрые серо-зеленые колосья, низкое солнце то и дело блистало сквозь крупный золотой ливень, – это, говорили, к счастливому браку, – алмазно сверкающие дождевыми слезами стекла кареты были подняты, в ее коробке было тесно, я с наслаждением задыхался от духов невесты и всего того пышного, белоснежного, в чем она тонула, глядел в ее заплаканные глаза, неловко держал в руках образ в золотой новой ризе, которым ее благословили...

А во время венчания я впервые почувствовал то чудное, ветхозаветное, что есть в этом радостном таинстве, которое особенно прекрасно в деревенской церкви, под ее бедной, но торжественно зажженной люстрой, под нестройно-громкие, ликующие крики сельского клира, при открытых на вечернее зеленеющее небо дверях, в которых теснится толпа восхищенных баб и девок... Когда же то новое и как будто счастливое, что вошло в наш дом с молодыми, завершилось неожиданным приездом брата Георгия и вся наша семья оказалась в сборе и полном благополучии, мысль о возвращении в гимназию стала для меня совсем нелепа.

Осенью я воротился в город, опять стал ходить в классы, но уроки едва просматривал и все чаще отказывался отвечать учителям, которые с ядовито-вежливым спокойствием выслушивали мои ссылки на головную боль и с наслаждением ставили мне единицы. Я, убивая время, шатался по городу, по Слободам, в Заречье встречал и провожал поезда на станции, в толкотне и суете приезжающих и уезжающих, завидовал тем, кто, спеша и волнуясь, усаживались с множеством вещей в вагоны «дальнего следования», замирал, когда огромный швейцар в длинной ливрее, выйдя на середину залы, пел зычным, величественным басом, возглашал с дорожной протяжностью, с угрожающей, строгой грустью, куда и какой поезд отправляется...

Так дожил я до святок. А как только получил отпуск, сломя голову прибежал домой, в пять минут собрался, едва простился с Ростовцевыми и Глебочкой, – он еще должен был дожидаться лошадей из деревни, а я ехал по железной дороге, через Васильевское, – схватил свой чемоданчик и, выскочив на улицу, кинулся в мерзлые санки первого попавшегося извозчика с сумасшедшей мыслью: навсегда прощай гимназия! Шершавая кляча его подхватила со всех ног, санки неслись, разлетаясь во все стороны на раскатах, морозный ветер рвал поднятый воротник моей шинели, осыпая лицо острым снегом, город тонул в мрачных вьюжных сумерках, а у меня захватывало дух от радости. По случаю заносов, целых два часа я сидел, ждал на вокзале, наконец дождался... Ах, эти заносы, Россия, ночь, мятель и железная дорога! Какое это счастье – этот весь убеленный снежной пылью поезд, это жаркое вагонное тепло, уют, постукиванье каких-то молоточков в раскаленной топке, а снаружи мороз и непроглядная вьюга, потом звонки, огни и голоса на какой-то станции, едва видной из-за крутящегося с низу и с крыш снежного дыма, а там опять отчаянный крик паровоза куда-то во тьму, в бурную даль, в неизвестность и первый толчок вновь двинувшегося вагона, по мерзлым, играющим бриллиантами окнам которого проходит удаляющийся свет платформы – и снова ночь, глушь, буран, рев ветра в вентиляторе, а у тебя покой, тепло, полусвет фонаря за синей занавеской, и все растущий, качающийся, убаюкивающий на бархатном пружинном диване бег и все шире мотающаяся на вешалке перед дремотными глазами шуба!

От нашей станции до Васильевского было верст десять, а приехал я на станцию уже ночью и на дворе так несло и бушевало, что пришлось ночевать в холодном, воняющем тусклыми керосиновыми лампами вокзале, двери которого хлопали в ночной пустоте особенно гулко, когда входили и уходили закутанные, занесенные снегом, с красными коптящими фонарями в руках, кондуктора товарных поездов. А меж тем и это было очаровательно. Я свернулся на диванчике в дамской комнате, спал крепко, но поминутно просыпался от нетерпеливого ожидания утра, от буйства вьюги и чьих-то дальних грубых голосов, долетавших откуда-то сквозь клокочущий, кипящий шум паровоза, с открытым огнедышащим поддувалом стоявшего под окнами, – и очнулся, вскочил при розовом свете спокойного морозного утра с чисто звериной бодростью...

Через час я был уже в Васильевском, сидел за кофе в теплом доме нашего нового родственника Виганда, не зная куда девать глаза от счастливого смущенья: кофе наливали Анхен, его молоденькая племянница из Ревеля...

### XVIII

Прекрасна – и особенно в эту зиму – была Батуриная усадьба. Каменные столбы въезда во двор, снежно-сахарный двор, изрезанный по сугробам полозьями, тишина, солнце, в остром морозном воздухе сладкий запах чада из кухонь, что-то уютное, домашнее в следах, пробитых от поварской к дому, от людской к варку, конюшне и прочим службам, окружающим двор... Тишина и блеск, белизна толстых от снега крыш, по зимнему низкий, утонувший в снегах, красновато чернеющий голыми сучьями сад, с двух сторон видный за домом, наша заветная столетняя ель, поднимающая свою острую чернозеленую верхушку в синее яркое небо из-за крыши дома, из-за ее

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин крутого ската, подобного снежной горной вершине, между двумя спокойно и высоко дымящимися трубами... На пригретых солнцем фронтонах крылец сидят, приятно жмутся монашенки-галки, обычно болтливые, но теперь очень тихие; приветливо, щурясь от слепящего, веселого света, от ледяной самоцветной игры на снегах, глядят старинные окна с мелкими квадратами рам... Скрипя мерзлыми валенками по затвердевшему на ступеньках снегу, поднимаешься на главное, правое крыльцо, проходишь под его навесом, отворяешь тяжелую и черную от времени дубовую дверь, проходишь темные длинные сени... В лакейской, с большим грубым ларем у окна, еще прохладно, синевато, – солнце в ней не бывает, окно ее на север, – но трещит, гудит, дрожит медной заслонкой печь. Направо сумрачный коридор в жилые комнаты, прямо напротив – высокие, тоже черные дубовые двери в зал. В зале не топят, – там простор, холод, стынут на стенах портреты деревянного, темноликого дедушки в кудрявом парике и курносого, в мундире с красными отворотами, императора Павла, и насквозь промерзает куча каких-то других старинных портретов и шандалов, сваленных в маленькой, давно упраздненной буфетной, заглядывать в полустеклянную дверку которой было в детстве таким таинственным наслаждением. Зато в зале все залито солнцем и на гладких, удивительных по ширине половицах огнем горят, плавятся лиловые и гранатовые пятна – отражения верхних цветных стекол. В окно налево, боковое, тоже на север, лезут черные сучья громадной липы, а в те солнечные, что против дверей, виден сад в сугробах. Среднее окно все занято высочайшей елью, той, что глядит между трубами дома: за этим окном пышными рядами висят ее оснеженные рукава... Как несказанно хороша была она в морозные лунные ночи! Войдешь – огня в зале нет, только ясная луна в высоте за окнами. Зал пуст, величав, полон словно тончайшим дымом, а она, густая, в своем хвойном, траурном от снега облачении, царственно высится за стеклами, уходит острием в чистую, прозрачную и бездонную куполообразную синеву, где белеет, серебрится широко раскинутое созвездие Ориона, а ниже, в светлой пустоте небосклона, остро блещет, содрогается лазурными алмазами великолепный Сириус, любимая звезда матери... Сколько бродил я в этом лунном дыму, по длинным теневым решеткам от окон, лежавшим на полу, сколько юношеских дум передумал, сколько твердил вельможно-гордые державинские строки:

На темноголубом эфире  
Златая плавала луна...  
Сквозь окна дом мой озаряла  
И палевым своим лучем  
Златые стекла рисовала  
На лаковом полу моем...

Прекрасны были и те новые чувства, с которыми я провел мою первую зиму в этом доме. Она вся прошла в прогулках и бесконечных разговорах с братом Георгием, необыкновенно быстро развивавших меня, в поездках в Васильевское и за чтением поэтов державинских и пушкинских времен. В батуриновском доме книг почти не было. Но вот я стал ездить в Васильевское, в усадьбу нашей двоюродной сестры, стоявшую на горе против того казенного имения с винокуренным заводом, где был управляющим Виганд. Сестра была замужем за Писаревым, и мы много лет не бывали у нее в доме – старик Писарев, ее свекор, был, в полную противоположность своему сыну, человек необыкновенно серьезный, с которым наш отец, разумеется, быстро поссорился.

В этом году сношения между нашими домами возобновились, – старик умер, – и я получил полную возможность распоряжаться всей той библиотекой, которую он собрал за свой долгий век. Там оказалось множество чудеснейших томиков в толстых переплетах из темно-золотистой кожи с золотыми звездочками на корешках – Сумароков, Анна Бунина, Державин, Батюшков, Жуковский, Веневитинов, Языков, Козлов, Баратынский...

Как восхитительны были их романтические виньетки, – лиры, урны, шлемы, венки, – их шрифт, их шершавая, чаще всего синеватая бумага и чистая, стройная красота, благородство, высокий строй всего того, что было на этой бумаге напечатано! С этими томиками я пережил все свои первые юношеские мечты, первую полную жажду писать самому, первые попытки утолить ее, сладострастие воображения. Оно, это воображение, было поистине чудодейственно. Если я читал: «На брань летит певец молодой», или «Шуми, шуми с крутой вершины, не умолкай, поток седой», или «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре я видел Нереиду», я так видел и чувствовал и этого певца, и поток, и зеленые волны, и морское утро, и нагую Нереиду, что мне хотелось петь, кричать, смеяться, плакать... Дивлюсь младенчеству, ничтожеству того, что выходило из под моего собственного пера в это же самое время!

И прекрасна была моя первая влюбленность, радостно длившаяся всю зиму. Анхен была простенькая, молоденькая девушка, только и всего. Но в ней-ли было дело? Была она кроме того неизменно весела, ласкова, очень добра, искренно и простодушно говорила мне: «Вы мне, Алешенька, очень нравитесь, у вас горячие и чистые чувства!» Загорелись эти чувства, конечно, мгновенно. Я вспыхнул при первом же взгляде на нее, – как только она, во всей свежести своей немецкой чистоты, затейливого розового платяца и юной миловидности, вышла ко мне, насквозь промерзшему за дорогу со станции, в вигандовскую столовую, розово озаренную утренним зимним солнцем, и стала наливать мне кофе. Едва я пожал ее еще холодную от воды руку, сердце во мне тотчас же дрогнуло и решило: вот оно! Я уехал в Батурине совершенно счастливый: на второй день святок Виганды должны были приехать к нам. И вот они приехали, сразу наполнив весь дом своим шумным немецким весельем, беспричинным смехом, шутками и всем тем особенно праздничным, что вносят гости в деревне, зимой, с морозу сбрасывая в прихожей пахучие холодные шубы, ботинки и валенки. А вечером подъехали и другие гости и все, кроме старших, решили, конечно, ехать по соседним усадьбам ряжеными. Шумно нарядились во что попало, – больше всего мужиками и бабами, – мне круто завили волосы, набелили и нарумянили лицо, подрисовали неизменной женой пробкой неизменные черные усики, – и гурьбой высыпали на крыльцо, возле которого уже стояло в темноте несколько саней и розвальней, расселись и, смеясь, крича, под звон колокольчиков, шибко понеслись через свежие сугробы со двора. И конечно, я очутился в розвальнях с Анхен...

Как забыть этот ночной зимний звон колокольчиков, эту глухую ночь в глухом снежном поле, то необыкновенное, зимнее, серое, мягкое, зыбкое, во что сливаются в такую ночь снега с низким небом, меж тем как впереди все чудятся какие-то огоньки, точно глаза каких-то неведомых, ночных, зимних порождений! Как забыть снежный ночной полевой воздух, холодок под енотовой шубой сквозь тонкие сапоги, впервые в жизни взятую в свои молодые, горячие руки вынутую из меховой перчатки теплую девичью руку – и уже ответно, любовно мерцающие сквозь сумрак девичьи глаза!

## XIX

А потом пришла весна, самая необыкновенная во всей моей жизни.

Помню как сейчас – я сидел с Олей в ее комнате, выходявшей окном во двор. Было часов пять солнечного мартовского вечера. Неожиданно, застегивая полушубок, вошел с обычной своей бодростью отец, – усы у него были теперь уже седые, но он по-прежнему держался молодцем, – и сказал:

– Нарочный из Васильевского. С Писаревым что-то вроде удара. Сейчас еду туда, – хочешь со мной?

Я поднялся, пораженный счастьем неожиданно попасть в Васильевское, увидеть Анхен, и мы тотчас же поехали. К удивлению нашему, Писарев был здоров и весел, сам дивился и не понимал, что такое с ним было. «А ты все таки пей-то поменьше», сказал ему отец на другой день на прощанье в прихожей. «Пустяки!» ответил Писарев, усмехаясь своими цыганскими глазами, помогая отцу надеть полушубок. – как сейчас вижу его, стройного, смуглого, чернобородого, в шелковой красной косоворотке на выпуск, в черных легких шароварах и красных, шитых серебром чувяках. Мы спокойно воротились домой, а тут вскоре пошла полая вода, такая спорая и буйная, что наше сообщение с Васильевским недели на две совсем прервалось.

На первый день Пасхи стало везде совсем сухо, зазеленели лозинки и выгоны. Мы все собрались ехать в Васильевское и уже вышли садиться в тарантас, как вдруг в воротах показалась лошадь, за ней беговые дрожки, а на них наш двоюродный брат Петр Петрович Арсеньев.

– Христос Воскресе, – сказал он, подъезжая, с каким-то преувеличенным спокойствием. – Вы в Васильевское? Как нельзя более во время. Писарев приказал долго жить. Проснулся нынче, вошел к сестре, сел вдруг в кресло – и каюк...

Писарева только что обмыли и убрали, когда мы вошли в его дом. Он лежал, являя обычную картину покойника, только что положенного на стол, – картину, поражавшую еще только своей странностью, – в том самом зале, где две недели тому назад он

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин стоял и улыбался на пороге, щурясь от вечернего солнца и своей папиросы. Он лежал с закрытыми глазами, – до сих пор вижу их лиловато-смуглую выпуклость, – но пока совсем как живой, с великолепно расчесанными, еще мокрыми смольными волосами и такой же бородой, в новом сюртуке, в крахмальной рубашке, с хорошо завязанным черным галстуком, по пояс прикрытый простыней, под которой обозначались его прямо стоящие связанные ступни. Я спокойно и тупо глядел на него, даже пробовал его лоб и руки, – они были почти теплы.

К вечеру однако все очень изменилось. Я уже понял, что случилось, и сам не свой вошел в зал, когда позвали на первую панихиду. В окна зала еще алел над дальними полями темный весенний закат, но сумерки, поднимавшиеся с темной речной долины, с темных сырых полей, со всей темной холодеющей земли, снизу затопляли его все гуще, в темном зале, полном народу, было мутно от ладана, и сквозь эту темноту и муть у всех в руках золотисто горели восковые свечки, а из-за высоких церковных свечей, дымивших вокруг смертного одра красным пламенем, зловеще звучали возгласы священнослужителей, странно сменявшиеся радостно и беззаботно настойчивым «Христос воскрес из мертвых.» И я пристально смотрел то вперед, туда, где в дымном блеске и сумраке тускло и уже страшно мерцал как-то скорбно-поникий, потемневший за день лик покойника, то с горячей нежностью, с чувством единственного спасительного прибежища находил в толпе личико тихо и скромно стоявшей Анхен, тепло и невинно озаренное огоньком свечи снизу.

Ночь я спал тревожно и скорбно, одолеваемый все одними и теми же противоестественно яркими и беспорядочными видениями какого-то суетливого многолюдства, жутко и таинственно связанного с тем, что случилось: все поспешно – и, что всего ужаснее, как будто под молчаливым руководством самого покойника – ходили по всем комнатам, что-то друг другу торопливо советовали, перетаскивали столы, кресла, кровати, комоды.. Утром я вышел на крыльцо как пьяный. Утро было тихое, теплое, ясное. Солнце пригревало сухое крыльцо, ярко и нежно зеленеющий двор, и еще низкий, сквозной, однако уже по весеннему сереющий в мягком блеске сад. Но я вдруг взглянул вокруг – и с ужасом увидел совсем рядом с собой длинную, стоймя прислоненную к стене новую темно-фиолетовую крышку гроба. Я сбегал с крыльца, ушел в сад, долго ходил по его нагим, светлым и теплым аллеям, сел в аллее акаций на скамейку..

Пели зяблики, желтела нежно и весело опушившаяся акация, сладко и больно умилял душу запах земли, молодой травы, однообразно, важно и торжественно, не нарушая кроткой тишины сада, орала грачи вдаль на низах, на старых березах, там, где в оливковый весенний дымок сливалась еще голая ивовая поросль.. И во всем была смерть, смерть, смешанная с вечной, милой и бесцельной жизнью! Почему-то вдруг вспомнилось начало «Вильгельма Телля», – я перед тем все читал Шиллера: горы, озеро, плывет и поет рыбак.. Ив душе моей вдруг зазвучала какая-то несказанно сладкая, радостная, вольная песня каких-то далеких, несказанно счастливых стран..

Как во хмелю провел я и весь день, все время державший в непрестанном напряжении: опять были панихиды, опять многолюдство, приезжающие и уезжающие соседи, а там где-то, в затворенной со всех сторон солнечной детской, беззаботные игры ничего еще не понимающих детей, под скорбным и ласково невнимательным присмотром то и дело тихо плачущей няньки..

И вот опять стало смеркаться и опять стали сходиться, собираться в зал, ждать новой панихиды, осторожно переговариваться.. Приход священнослужителей и вслед за тем воцарившееся молчание, зажигание свечей и облачение в этой тишине, все это таинственно-церковное приготовление к службе, а потом первый взмах кадила и первый возглас – все это показалось мне теперь, в этот последний для покойника вечер, столь многозначительным, что я уже глаз не мог поднять на то, что было впереди, на этот пышный, бархатный гроб, воздвигнутый на составленные столы, и на то церковно-страшное, картинно-погребальное, что наклонно возвышалось в гробу во всем зловещем великолепии своего золотого покрыва, золотой иконки на груди и новой, жестко-белой подушки, – во всей сумрачной тьме непробудного гробового сна этого чернородого лика с запавшими и почерневшими веками, металлически лоснящегося сквозь теплый, душный дым и горячий, дрожащий блеск..

На ночь нам с братом Георгием опять постелили в его бывшем кабинете. Двери в опустевший, еще полный ладана зал, где негромко и однообразно читал под нагоревшими свечами дьячок, затворили со всех сторон, дом затих, успокоился. Брат, потушив свечу, заснул. Но я даже не мог раздеться, лег не раздеваясь и, как только тоже дунул на свечу и на миг забылся, тотчас же увидел себя в зале –

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин и в диком ужасе очнулся. Я сел и с бьющимся сердцем стал смотреть в темноту, слушать малейший шорох. Все было необыкновенно, страшно тихо, – слышалось только отдаленное, невнятное чтение в зале... Я сделал над собой крайнее усилие, скинул ноги с дивана, распахнул дверь кабинета, на цыпочках перебежал темный коридор и прильнул ухом к двери, под которой светилось из зала: – Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом, – негромко, деревянно и поспешно говорил за дверью дьячок. – Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои... В начале Ты основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребудешь, и все они, как риза, обветшают и, как одежду, Ты переменишь их... Да будет Господу слава во веки, да веселится Господь о делах Своих!

Дрожь восторженных слез охватила меня, я пошел поспешно по темному коридору в темную заднюю прихожую и на заднее крыльцо. Я обошел дом и остановился среди двора. Было темно и как-то особенно, как бывает только ранней весной, чисто, свежо, тихо. Земля подмерзла, была тугая. Какое-то тончайшее и чистейшее дыхание чуть серебрилось между землей и чистым звездным небом. В тишине, вддали, мерно и глухо шумела в долине весенняя река. Я посмотрел в темноту за долину, на противоположную гору, – там, в доме Виганда, одиноко краснел, светился поздний огонек: – Это она не спит, – подумал я, – и огонек лучисто задрожал у меня в глазах от новых слез – слез счастья, любви, надежд и какой-то иступленной, ликующей нежности.

Книга третья

I

Та страшная весенняя ночь в Васильевском памятна мне тем более, что она была накануне похорон.

Я заснул в эту ночь лишь под утро. Я не в силах был вернуться в дом сразу, – слишком зловеще темнели в звездном свете его очертания и чернела возле крыльца крышка гроба... Я ушел в поле, долго шел в темноте куда глаза глядят... Вернулся я, когда на востоке уже белело и по всему селу пели петухи, прокрался в дом тем же задним ходом и тотчас заснул. Однако, вскоре начала тревожить сквозь сон мысль о близости каких-то особенно важных минут, и я вдруг опять вскочил, не проспав и трех часов. Дом все еще делился на два совершенно разных мира: в одном была смерть, был зал с гробом, в другом же, то есть во всех прочих комнатах, со всех сторон отделенных от него запертыми дверями, как попало шла наша беспорядочная жизнь, нетерпеливо ждущая роковой развязки этого беспорядка. Я проснулся с резким чувством того, что развязка наконец настала, и был немало удивлен, увидя, что брат, спавший со мной в кабинете покойного, равнодушно курит, сидя в одном белье на диване, с которого до полу сползла смятая простыня, меж тем как по коридору за дверью уже поспешно ходили, слышались голоса, какие-то короткие вопросы и такие же ответы.

Вошла Марья Петровна, старшая горничная, внесла поднос с чаем, молча поклонилась, не глядя на нас, и, поставив поднос на письменный стол, озабоченно вышла. Я, дрожащими руками, стал одеваться. В кабинете, оклеенном старенькими золотистыми обоями, было все просто, буднично и даже весело, плавал, говоря о нашей мужской утренней жизни, пахучий папиросный дым. Брат курил и рассеянно посматривал на те самые кавказские туфли Писарева, в которых я видел его, во всей его бодрой цыганской красоте, две недели тому назад, и которые мирно стояли теперь под письменным столом. Я тоже взглянул на них: да, его уже нет, а вот туфли все стоят и могут простоять еще хоть сто лет! И где он теперь и где будет до скончания веков? И неужели это правда, что он уже встретился где-то там со всеми нашими давным-давно умершими, сказочными бабушками и дедушками, и кто он такой теперь? Неужто это он – то ужасное, что лежит в зале на столах, в этих вкось расходящихся краях гробового ящика, противоестественно озаряемое среди бела дня тупым огнем до коротких обрубков догоревших свечей, густо закапавших и просаливших зубчатую бумагу, окружающую их на высоких серебряных ставниках, – он, который всего позавчера, вот в такое же утро, входил с только что расчесанной, еще свежей после умыванья черной бородой к жене в соседнюю комнату, на полу которой через полчаса после того уже обмывали его голое, еще почти живое, податливо и бессильно падающее куда угодно тело?

И все таки это он, подумал я, и это нынче, вот сейчас, произойдет с ним то

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин последнее, церковное, с чем он ни в малейшей мере не имел ничего общего при жизни, то самое дивное в мире, в чем я буду участвовать впервые за все свое молодое существование, то есть переживать осуществление тех самых необыкновенных слов, которые я, в гимназии, должен был за чем-то учить наизусть:

«Через трое суток по кончине христианина следует его вынос во храм... Приготовлением к сему служат, при стечении близких, друзей и сродников усопшего, усиленные каждения вокруг него и пение тропарей о его упокоении до Страшного Суда Господня и восстания всех мертвых от гроба.» Я с великим изумлением подумал вдруг, что этот самый христианин и есть в данную минуту Писарев, и ужаснулся тому бесконечному сроку, который еще остается ему до этого восстания, после которого будто бы начнется и во веки веков будет длиться что-то уже совершенно невообразимое, не имеющее ни смысла, ни цели и никаких сроков...

## II

Вынос я наблюдал жадно и трепетно. Работники, празднично сытые и чистые, были сильны и молоды, но с каким неловким и боязливым напряжением, отворачивая головы, сдвинули они со столов и на белых полотнищах подняли свой тяжкий груз, когда настал наконец последний час разлуки Писарева с родным домом и всем миром! Мне опять показалось тогда, что в этом огромном бархатно-фиолетовом ящике с мерзкими серебряными лапками лежит нечто священное, но вместе с тем и непристойно-земное, непотребное. Это нечто, с покорно скрещенными и закаменевшими в черных сюртучных обшлагах руками, деревянно покачивающее мертвой головой, низко и наклонно поплыло по чужой воле над полом, среди тесноты, праздничных риз, ладана и нестройного пения, ногами к настезь раскрытым дверям, – да никогда не переступит оно вновь порога этого дома! – сперва в прихожую, потом на крыльцо, на яркий свет и зелень весеннего двора, где над толпой высилось Распятие и два мужика держали на головах крышку гроба. Тут работники приостановились, оттягивая полотнищами свои густо покрасневшие шеи, причт запел громче, – «в знамение того, что усопший переходит в царство бесплотных духов, окружающих престол Вседержителя и немолчно воспевающих Ему трисвятую песнь», – ас верхушки колокольни, глядевшей из-за надворных построек прямо против крыльца и медленно ронявшей до этой минуты тонкие, жалостные и все строже густевшие звуки, вдруг резко сорвалась короткая, нарочито нелепая, трагическая разноголосица, на которую дружным и нестройным лаем и воем ответили испуганные борзые и гончие, наполнявшие двор. Это было так безобразно, что сестра в своем длинном крепе зашаталась и зарыдала, бабы в толпе заголосили и отец, тоже неловко поддерживавший гроб, весь исказился отвращением и болью.

В церкви я все смотрел на трупный лик покойника, лежавшего как раз против царских врат, под круглым глухим куполом, разрисованным каменными сизыми облаками, среди которых, из грубого синего треугольника, продолговато, жестко и загадочно взирало Всевидящее Око. Шло уже отпевание, и лик этот, с его обострившимся носом, черной сквозящей бородой и такими же усами, под которыми блестели плоские слипшиеся губы, был уже могильно увенчан пестрым бумажным венчиком. Я смотрел, думая: он похож теперь на древнего великого князя, он теперь навеки приобщен как бы к лику святых, к сонму всех праотцев и пращуров наших... Над ним уже пели: «Блаженны непорочныи, в путь ходящии в законе Господне», я же, с мукой и болью за него и с умилением за себя, думал: вот сейчас всунут в его тугие пальцы с почерневшими ногтями «отпуск», польют его «елеем», крестообразно посыплют «перстью», покроют кисеей и крышкой, вынесут и закопают, и уйдут и забудут, и пойдут годы, и будет длиться моя долгая и счастливая жизнь где-то там, в моем туманном и светлом будущем, а он, или, вернее, его череп и кости все будут лежать и лежать в земле за этой церковью, в высокой траве под березкой, которую нынче посадят в его возглавии и которая станет некогда большим и прекрасным белоствольным деревом со своей низко струящейся и сладко трепещущей в долгий летний день серо-зеленой верхушкой... Воздавая ему «последнее целование», я коснулся венчика губами – и, Боже, каким холодом и смрадом пахнуло на меня и как потрясла меня своей ледяной твердостью темно-лимонная кость лба под этим венчиком в непостижимую противоположность тому живому, весеннему, теплomu, чем так сладко и просто веяло в решетчатые окна церкви!

Я пристально глядел потом, стоя за церковью, среди старых могильных плит и памятников всяких бригадиров и секунд-майоров, в глубокую и узкую яму, тускло и угрюмо блестящую своими твердо и ровно обрезанными боками: грубо и беспощадно летела туда, поспешно сыпалась сырая, первобытная земля на фиолетовый бархат, на

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
крест из белого позумента. Мне хотелось кошунственно ожесточить себя, я вспоминал холодное Всевидящее Око в каменно-облачном небе церковного купола, думал о том несказанном, что будет в этом гробу через неделю, даже пытался уверить себя, что ведь будет в некий срок и со мной то же самое... Но веры в это не было ни малейшей, могилу уже сравнивали с землей, на Анхен было новое батистовое платице... ласково и беззаветно, все разрешая и во всем обнадеживая, звучало последнее песнопение, опять праздничное, опять Христово, терявшееся в теплом солнечном воздухе... Мир стал как будто еще моложе, свободнее, шире и прекраснее после того, как кто-то навеки ушел из него...

### III

Когда возвращались с кладбища, сестра шла, спотыкаясь, прижимая платок к глазам, ничего не видя перед собой. Но отец крепко держал ее под локоть и, принаравливаясь к ее шагу, настойчиво говорил ей все то пустое, милое, что спокон веку говорят в таких случаях:

– Душа моя, утешать тебя бесполезно, но одно скажу: помни, что отчаяние есть смертный грех, что ты не одна в мире, что у тебя есть люди, бесконечно любящие тебя, что у тебя есть дети, дающие тебе высокую цель в жизни, и главное, что ты так еще молода, что у тебя все впереди...

Возле отца шел, держа в руках дворянский картуз, его старый друг, круглый и плотный помещик, загорелый и смуглый, у которого были какие-то золотисто-табачные пятна на желтоватых белках карих глаз, с самого детства занимавшие меня. Ему было жарко от непривычного ему сюртука, от крахмальной рубашки, от своей крепкой полноты и тех чувств, которые волновали его. И он, свистя легкими от поспешности и удушья, говорил то же, что и отец:

– Вера Петровна, позвольте и мне сказать: я покойному вторым отцом был по смерти его батюшки, я его и крестил, и вырастил, и под венец с вами благословлял, вы понимаете, что я испытываю... Потом, вы ведь знаете: я и сам рано овдовел...

Но Александр все-таки тысячу раз прав. Знаете, как говорят мужики? «Смерть как солнце, на нее не глянешь...» Да, не глянешь, и не надо глядеть, иначе нельзя жить...

Мне вот стыдно, что его нету, а я все иду и хриплю, да разве это наша воля?

И я смотрел на его стриженую сизосеребристую голову с широким затылком, на старое, истончившееся обручальное кольцо на его темной маленькой руке... Я смотрел и чувствовал, что и всем нам в той или иной мере стыдно, неловко, а все таки бесконечно сладко возвращаться к жизни после той ужасной обузы, которая тяготела на нас целых три дня, и ловил себя на том, как мне приятно ступать по мягкой весенней земле, идти с раскрытой головой под греющим солнцем, слушать непрерывный, разноголосый крик грачей, с буйным и страдальчески-счастливым упоением орущих и хлопчущих во всех окрестных садах, глядеть какими-то новыми, чуть не влюбленными глазами на сестру, на ее траур, на красоту ее молодости и горя, думать с замиранием сердца, что у нас с Анхен назначено нынче свидание в низах сада...

Дом тоже помолодел, освободившись от хозяина. Все полы и стекла были в нем вымыты, всюду было прибрано и настезь раскрыты окна на солнце и воздух. Едва переступив порог зала, где были расставлены и убраны столы для поминального обеда, я тотчас же опять встретил тот ужасный, ни на что в мире не похожий запах, который все утро сводил меня с ума возле гроба. Но запах этот как-то особенно возбуждающе мешался с сыростью еще темных от воды полов и с весенней свежестью, отовсюду веявшей в дом, и празднично, для пира жизни, а не смерти, блестя на столах скатерти, приборы, рюмки и графины... Все же как ужасен был этот долгий и грубо обильный обед, который то и дело прерывали своими уже нескладными, хмельными голосами причетники, встававшие и умиленно певшие вечную память непонятому существу, только что зарытому ими в землю за церковью! Прав был отец, говоря мне за обедом:

– Знаю, знаю, душа моя, каково тебе теперь! Мы то уж все обстреляны, а вот на пороге жизни да еще с таким несовременным сердцем, как у тебя... Воображаю, что ты чувствуешь!

После похорон я пробыл в Васильевском еще с полмесяца, продолжая находиться все в том же обостренном и двойственном ощущении той самой жизни, непостижимый и ужасный конец которой я только что видел воочию.

Мне в те дни было тем мучительней, что предстояло пережить еще одно испытание – разлуку с уезжавшей домой Анхен (хотя я и в этом находил какую-то пронзительно-горькую утеху).

Отец и Петр Петрович решили, ради сестры, остаться в Васильевском еще на некоторое время. Остался и я – и не только ради Анхен, страсть к которой усиливалась во мне с каждым днем: мне зачем-то хотелось длить те двойственные чувства, которые владели мной и заставляли не расставаться с «Фаустом», нечаянно попавшим тогда в мои руки среди писаревских книг и совершенно пленившим меня:

Потоками жизни, в разгаре деяний,  
Невидимый, видимо всюду присущий,  
Я радость и горе,  
Я смерть и рождение,  
Житейского моря  
Живое волнение –  
На шумном станке мирозданья  
От века сную без конца  
И в твари и в недрах созданья  
Живую одежду Творца...

Двойственна была и жизнь в Васильевском. Она была еще обвевана грустью, но как-то удивительно быстро приходила опять в порядок, приобретая что-то особенно приятное вследствие тех перемен, которые в ней произошли и происходили среди расцветающей и крепнущей весенней красоты. Все чувствовали, что пора возвращаться к жизни с новыми и даже удвоенными силами. Поддерживали особую чистоту во всем доме, многое изменив в нем, – убрав на чердак некоторую слишком старую мебель, кое-что переставив из комнаты в комнату, устроив сестре новую спальню возле детской, а прежнюю, супружескую, за маленькой гостиной, совсем упразднив и сделав из нее просторную диванную... Потом куда-то попрятали почти все вещи покойного, – я раз видел, как возле заднего крыльца чистили щетками и складывали в большой старинный сундук его дворянский мундир, картуз с красным околышем, пуховую треуголку... Новые порядки начались и в хозяйстве: им распорядились теперь отец и Петр Петрович, и на дворе, как всегда это бывает между господами и работниками на первых порах, всем хотелось усердно подчиняться им, надеяться, в силу этой новизны, что все пойдет теперь как-то по-иному, по-настоящему. Это меня, помню, очень трогало. Всего же трогательней было постепенное возвращение к жизни сестры, то, как она понемногу приходит в себя, становится спокойнее и проще и уже иногда слабо улыбается за столом глупым и милым вопросам детей, а Петр Петрович и отец сдержанно, но неизменно ласковы и внимательны к ней...

И удивительно скоро мелькали для меня эти горестно-счастливые дни. Расставшись поздно вечером с Анхен, сладко замученный бесконечным прощанием с ней, я, придя домой, тотчас же проходил в кабинет и засыпал мертвым сном с мыслью о завтрашнем свидании. Утром я нетерпеливо сидел с книгой в руках в солнечном саду, ожидая той минуты, когда можно будет опять бежать за реку, чтобы увести Анхен куда-нибудь на прогулку. В эти часы всегда гуляли с нами девочки, младшие дочери Виганда, но они всегда бежали впереди, не мешали нам...

В полдень я возвращался домой к обеду, после обеда все перечитывал «Фауста» – и ждал вечерней встречи... По вечерам в низах сада светила молодая луна, таинственно и осторожно пели соловьи. Анхен садилась ко мне на колени, обнимала меня и я слышал стук ее сердца, впервые в жизни чувствовал блаженную тяжесть женского тела...

Она наконец уехала. Никогда еще не плакал я так неистово, как в тот день. Но с какой нежностью, с какой мукой сладчайшей любви к миру, к жизни, к телесной и душевной человеческой красоте, которую, сама того не ведая, открыла мне Анхен, плакал я!

А вечером, когда, уже отупев от слез и затихнув, я опять зачем-то брел за реку, обогнал меня тарантас, отвозивший Анхен на станцию, и кучер, приостановившись,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин подал мне номер петербургского журнала, в который я, с месяц тому назад, впервые послал стихи. Я на ходу развернул его и точно молнией ударили мне в глаза волшебные буквы моего имени...

На другой день, рано утром, я пешком ушел в Батурино. Шел сперва сухим, уже накатанным проселком, среди блестящих в утреннем пару пашен, потом по писаревскому лесу, солнечному, светло-зеленому, полному птичьего весеннего пенья, прошлогодней гниющей листвы и первых ландышей... Когда я явился в Батурине, мать даже руками всплеснула, увидав мою худобу и выражение обрезавшихся глаз. Я поцеловал ее, подал ей журнал и пошел в свою комнату, шатаясь от усталости и не узнавая знакомого дома, дивясь тому, какой он стал маленький и старый...

V

В ту весну мне шел всего шестнадцатый год. Однако, воротясь в Батурине, я уже совсем утвердился в мысли, что вступление мое в полноправную, совершеннолетнюю жизнь завершилось.

Мне еще зимой казалось, будто я уже знаю многое, необходимое всякому взрослому человеку: и устройство вселенной, и какой-то ледниковый период, и дикарей каменного века, и жизнь древних народов, и нашествие на Рим варваров, и киевскую Русь, и открытие Америки, и французскую революцию, и байронизм, и романтизм, и людей сороковых годов, и Желябова, и Победоносцева, не говоря уже о множестве навеки вошедших в меня лиц и жизней вымышленных, со всеми их чувствами и судьбами, то есть всех этих тоже будто бы всякому необходимых Гамлетов, Дон-Карлосов, Чайльд-Гарольдов, Онегиных, Печориных, Рудиных, Базаровых... Теперь жизненный опыт мой казался мне огромным. Я воротился смертельно усталый, но с крепкой готовностью начать жить отныне какой-то уже совсем «полной» жизнью. В чем должна была состоять эта жизнь? Я полагал, что в том, что бы испытывать среди всех ее впечатлений и своих любимых дел как можно больше каких-то высоких поэтических радостей, на которые я считал себя имеющим даже какое-то особенное право. «Мы в жизнь вошли с прекрасным упованием...» С прекрасным упованием входил и я в нее... хотя какие были у меня на то основания?

Было чувство того, что у меня «все впереди», чувство своих молодых сил, телесного и душевного здоровья, некоторой красоты лица и больших достоинств сложения, свободы и уверенности движений, легкого и быстрого шага, смелости и ловкости, – как, например, ездил я верхом! Было сознание своей юношеской чистоты, благородных побуждений, правдивости, презрения ко всякой низости. Был повышенный душевный строй, как прирожденный, так и благоприобретенный за чтением поэтов, непрестанно говоривших о высоком назначении поэта, о том, что «поэзия есть Бог в святых мечтах земли», что «искусство есть ступень к лучшему миру». Была какая-то душу поднимающая отрада даже в той горькой страстности, с которой я повторял в иные минуты и нечто совсем противоположное – едкие строки Лермонтова и Гейне, жалобы Фауста, обращающего к луне за готическим окном свой предсмертный, во всем разочарованный взор, или веселые, бесстыдные изречения Мефистофеля... Но разве я не сознавал порой, что мало иметь крылья, чтобы летать, что для крыльев нужен еще воздух и развитие их?

Я не мог не испытывать тех совсем особых чувств, что испытывают все пишущие юноши, уже увидевшие свое имя в печати. Но я не мог не знать и того, что одна ласточка весны не делает. Отец в минуты раздражения называл меня «недорослем из дворян»; я утешал себя тем, что не я один учился «понемногу, чему-нибудь и как-нибудь»; но ведь я хорошо понимал, сколь это утешение сомнительно. Я втайне (вопреки тому, что уже был заражен, благодаря чтению и брату Георгию, множеством свободных мнений) еще очень гордился тем, что мы Арсеньевы. Но я не мог не помнить в то же время нашей все растущей бедности и того, что беззаботность к ней достигала в нас даже какой-то неестественной меры. Я вырос и оставался в странном убеждении, что, при всех достоинствах братьев, особенно Георгия, все таки я главный наследник всего того замечательного, чем, при всех его недостатках, так необыкновенно выделялся для меня из всех известных мне людей отец. Но отец был уже не тот, что прежде; он, казалось, на все махнул рукой теперь, был чаще всего во хмелю – и что должен был испытывать я, видя его постоянно возбужденное лицо, серый небритый подбородок, величественно взлохмаченную голову, разбитые туфли, оборванный архалук севастьяпольских времен? А какую боль причиняли мне порой мысли о стареющей матери, о подрастающей Оле! Жестокую жалость испытывал я часто и к самому себе, пообедав, например, одной окрошкой и возвратясь в свою комнату, к своим книгам и единственному своему

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
богатству – дедовской шкатулке из карельской березы, где хранилось все самое  
заветное мое: исписанные «элегиями» и «стансами» листы серой, пахнущей мятной  
махоркой, бумаги, купленной в нашей деревенской лавчонке...

Я думал порой о молодости отца: какая страшная разница с моей молодостью! Он  
имел почти все, что подобало счастливому юноше его среды, звания и потребностей,  
он рос и жил в беспечности вполне естественной по тому еще большому барству,  
которым он так свободно и спокойно пользовался, он не знал никаких преград своим  
молодым прихотям и желаниям, всюду с полным правом и веселым высокомерием  
чувствовал себя Арсеньевым. А у меня была только шкатулка из карельской березы,  
старая двустволка, худая Кабардинка, истертое казацкое седло...

Как хотелось порой быть нарядным, блестящим! А мне, собираясь в гости, нужно  
было надевать тот самый серенький пиджачок брата Георгия, в котором некогда  
везли его в тюрьму в Харьков и за который я в гостях втайне мучился острым  
стыдом. Я был лишен чувства собственности, но как мечтал я порой о богатстве, о  
прекрасной роскоши, о всяческой свободе и всех телесных и душевных радостях,  
сопряженных с ними! Я мечтал о далеких путешествиях, о необыкновенной женской  
красоте, о дружбе с какими-то воображаемыми чудесными юношами, сверстниками и  
товарищами по стремлениям, по сердечному пылу и вкусам...

А разве я не сознавал порой, что еще никогда не ступала моя нога дальше нашего  
уездного города, что весь мир еще замкнут для меня давно привычными полями и  
косогорами, что вижу я только мужиков и баб, что весь круг наших знакомств  
ограничивается двумя-тремя мелкопоместными усадьбами да Васильевским, а приют  
всех моих мечтаний – моей старой угловой комнатой с гниющими подъемными рамами и  
цветными верхними стеклами двух окон в сад?

## VI

Отцвел и оделся сад, целый день пел соловей в саду, целый день были подняты  
нижние рамы окон в моей комнате, которая стала мне еще милее прежнего стариной  
этих окон, составленных из мелких квадратов, темным дубовым потолком, дубовыми  
креслами и такой же кроватью с гладкими и покатыми отвалами... Первое время я  
только и делал, что лежал с книгой в руках, то рассеянно читая, то слушая  
соловьиное цоканье, думая о той «полной» жизни, которой я должен жить отныне, и  
порой нежданно засыпая коротким и глубоким сном, очнувшись от которого я всякий  
раз как то особенно свежо изумлялся новизне и прелести окружающего и так хотел  
есть, что вскакивал и шел или за вареньем в буфетную, то есть в заброшенную  
каморку, стеклянная дверь которой выходила в зал, или за черным хлебом в  
людскую, где днем всегда было пусто, – лежал только в темном углу на горячей и  
сорной печи один Леонтий, длинный и невероятно худой, густо заросший желтой  
щетиной и весь шелушившийся от старости, бывший бабушкин повар, уже много лет  
зачем то отстаивавший от неминуемой смерти свое непонятное, совсем пещерное  
существование... Надежды на счастье, на счастливую жизнь, которая вот-вот должна  
начаться! Но для этого часто бывает достаточно вот так очнуться после внезапного  
и короткого сна и побежать за коркой черного хлеба или услышать, что зовут на  
балкон к чаю, а за чаем подумать, что сейчас надо пойти оседлать лошадь и  
закатиться куда глаза глядят по вечернеющей большой дороге...

Ночи стояли лунные, и я порой просыпался среди ночи в самый глубокий час ее,  
когда даже соловей не пел. Во всем мире была такая тишина, что, казалось, я  
просыпался от чрезмерности этой тишины. На мгновение охватывал страх, – вдруг  
вспоминался Писарев, чудилась высокая тень возле двери в гостиную... Но через  
мгновение тени этой уже не было, виден был только просто угол, темнеющий сквозь  
тонкий сумрак комнаты, а за раскрытыми окнами сиял и звал в свое светлое  
безмолвное царство лунный сад. И я вставал, осторожно отворял дверь в гостиную,  
видел в сумраке глядевший на меня со стены портрет бабушки в чепце, смотрел в  
зал, где провел столько прекрасных часов в лунные ночи зимой... он казался теперь  
таинственной и ниже, потому что луна, ходившая летом правее дома, не глядела в  
него, да и сам он стал сумрачней: липа за его северными окнами, густо  
покрывшаяся листвою, вплотную загораживала эти окна своим темным громадным  
шатром... Выйдя на балкон, я каждый раз снова и снова, до недоумения, даже до  
некоторой муки, дивился на красоту ночи: что же это такое и что с этим делать!

Я и теперь испытываю нечто подобное в такие ночи. Что же было тогда, когда все  
это было внове, когда было такое обоняние, что отличался запах росистого лопуха  
от запаха сырой травы! Необыкновенно высокий треугольник ели, освещенный луной

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин только с одной стороны, по-прежнему возносился своим зубчатым острием в прозрачное ночное небо, где теплилось несколько редких звезд, мелких, мирных и настолько бесконечно далеких и дивных, истинно Господних, что хотелось стать на колени и перекреститься на них. Пустая поляна перед домом была залита сильным и странным светом. Справа, над садом, сияла в ясном и пустом небосклоне полная луна с чуть темнеющими рельефами своего мертвенно-бледного, изнутри налитого яркой светящейся белизной лица. И мы с ней, теперь уже давно знакомые друг другу, подолгу глядели друг на друга, безответно и безмолвно чего-то друг от друга ожидая... Чего? Я знал только то, что чего-то нам с нею очень не достает...

Потом я шел вместе со своей тенью по росистой, радужной траве поляны, входил в пестрый сумрак аллеи, ведущей к пруду, и луна покорно следовала за мной. Я шел, оглядываясь, – она, зеркально сияя и дробясь, катилась сквозь черный и местами ярко блестящий узор ветвей и листьев. Я стоял на росистом скате к полноводному пруду, широко сиявшему своей золотой поверхностью возле плотины вправо. Я стоял, глядел – и луна стояла, глядела. Возле берега, подо мной, была зыбкая, темно-зеркальная бездна подводного неба, на которой висели, чутким сном спали, спрятав под крыло голову и глубоко отражаясь в ней, утки; за прудом влево темнела вдаль усадьба Уварова, того помещика, чьим незаконным сыном был Глебочка; за прудом напротив лежали в упор освещенные луной глинистые косогоры, а дальше – по-ночному светлый деревенский выгон и ряд чернеющих за ним изб... Какое молчание – так может молчать только что-нибудь живое! Дико-тревожный крик внезапно проснувшихся и закачавших под собой свое зыбкое зеркальное небо уток громом звучал по окрестным садам... Когда же я медленно шел дальше, вдоль пруда направо, луна опять тихо катилась рядом со мной над темными вершинами застывших в своей ночной красоте деревьев...

И так мы обходили кругом весь сад. Было похоже, что и думаем мы вместе – и все об одном: о загадочном, томительно-любовном счастье жизни, о моем загадочном будущем, которое должно быть непременно счастливым, и, конечно, все время об Анхен. Образ Писарева, как живого, так и мертвого, забывался все больше. Что осталось от бабушки, кроме ее портрета на стене в гостиной? Так и Писарев: думая о нем, я мысленно видел теперь только его большой портрет, висевший в диванной Васильевского дома, портрет той поры, когда он только что женился (и, верно, надеялся жить бесконечно!). Еще приходило в голову прежнее: где теперь этот человек, что с ним случилось, что такое та вечная жизнь, где он будто бы пребывает? Но безответные вопросы не повергали больше в тревожное недоумение, в них было даже что-то утешающее: где он – ведомо одному Богу, которого я не понимаю, но в которого должен верить и верю, чтобы жить и быть счастливым.

Анхен мучила дольше. Даже днем, – на что бы я ни глядел, что бы ни чувствовал, ни читал, ни думал, – за всем была она, нежность к ней, воспоминания, связанные с нею, боль, что уже некому сказать, как я ее люблю и сколько на свете прекрасного, наслаждаться которым мы могли бы вместе; про ночь же и говорить нечего – тут она владела мной всецело. Но время шло – и вот постепенно стала превращаться в легенду, утрачивать свой живой облик и Анхен: уже как то не верилось, что когда-то она была со мной и что где-то есть она и теперь; уже думать о ней и чувствовать ее я стал только поэтически, с тоской вообще о любви, о каком-то общем прекрасном женском образе, смешанном с образами поэм Пушкина, Лермонтова, Байрона...

## VII

Как-то в начале лета я прочел в «Неделе», которую выписывал в тот год, о выходе в свет полного собрания стихов Надсона. Какой восторг возбуждало тогда даже в самой глухой провинции это имя! Я кое что из Надсона уже читал и, сколько ни старался, никак не мог растрогать себя. «Пусть яд безжалостных сомнений в груди истерзанной замрет» – это казалось мне только дурным пустословием. Я не мог питать особого уважения к стихам, где говорилось, что болотная осока растет над прудом и даже склоняется над ним «зелеными ветвями». Но все равно – Надсон был «безвременно погибший поэт», юноша в прекрасном и печальном взором, «угасший среди роз и кипарисов на берегах лазурного южного моря...» Когда я прочел зимой о его смерти и о том, что его металлический гроб, «утопавший в цветах», отправлен для торжественного погребения «в морозный и туманный Петербург», я вышел к обеду столь бледный и взволнованный, что даже отец стал тревожно поглядывать на меня и успокоился только тогда, когда я объяснил причину своего горя. – Ах, только-то и всего? – удивленно спросил он, узнав, что причина эта заключается в смерти Надсона.

И сердито прибавил с облегчением: – Какой вздор лезет тебе однако в голову! Теперь заметка «Недели» снова ужасно взволновала меня. За зиму слава Надсона возросла еще пуще. И мысль об этой славе вдруг так ударила мне в голову, внезапно вызвала такое горячее желание и собственной славы, добиваться которой нужно было начинать сию же минуту, не медля ни единого мгновения, что я завтра же решил отправиться за Надсоном в город, чтобы узнать уже как следует, что он такое, чем он, помимо своей поэтической смерти, все таки приводит в такое восхищение всю Россию. Ехать было не на чем: Кабардинка хромала, рабочие лошади были слишком худы и безобразны, – нужно было идти пешком. И вот я пошел, хотя до города было не менее тридцати верст. Я вышел рано, шагал по жаркой и пустой большой дороге без отдыха и часа в три уже входил в библиотеку на Торговой улице. Барышня с кудряшками на лбу, одиноко скучавшая в узкой комнате, заставленной сверху до низу книгами в обитых переплетах, взглянула на меня, заморенного дорогой и солнцем, почему-то очень любопытно. – На Надсона очередь, – сказала она небрежно. – Раньше как через месяц не дождетесь...

Я опешил, растерялся, – каково отмахать тридцать верст задаром! – однако оказалось, что она хотела только немножко помучить меня: – Но ведь вы тоже поэт? – тотчас же прибавила она, усмехаясь. – Я вас знаю, я вас еще гимназистом Видала... Я вам дам свой собственный экземпляр...

Я рассыпался в благодарностях и, весь красный от смущения и от гордости, так радостно выскочил с драгоценной книгой на улицу, что чуть не сбил с ног какую-то худенькую девочку лет пятнадцати в сереньком холстинковом платье, только что вышедшую из тарантаса, который стоял возле тротуара. Тарантас был запряжен тройкой странных лошадей, – все они были пегие, все крепкие и небольшие, масть в масть, лад в лад.

Еще странней был кучер, сутуло сидевший на козлах: донельзя сухой, поджарый и донельзя оборванный, но чрезвычайно щеголеватый рыжий кавказец с заломленной назад коричневой папахой. А в тарантасе сидела дородная и величавая барыня в широком чесучовом пальто. Барыня взглянула на меня довольно строго и удивленно, девочка же отшатнулась в сторону с настоящим испугом, чудесно мелькнувшем в ее черных чахоточных глазах и на всем тонком и чистом личике несколько сиреневого оттенка с какими-то трогательно-болезненными губами. Я потерялся еще более, с излишней горячностью и изысканностью воскликнул: «ах, простите ради Бога!» и, не оглядываясь, полетел вниз по улице, к базару, с единственной мыслью поскорее заняться хотя бы беглым просмотром книги и выпить чаю в трактире. Однако встрече этой не суждено было кончиться так просто.

Мне в этот день решительно везло. В трактире сидели батуринские мужики. Мужики эти, увидав меня с тем радостным удивлением, с которым всегда встречаются в городе односельчане, дружно закричали: – Да никак это наш барчук? Барчук! Милости просим к нам! Не побрезгуйте! Подсаживайтесь!

Я подсел, тоже чрезвычайно обрадованный, в надежде доехать с ними домой, и действительно они тотчас же предложили подвезти меня. Оказалось, что они приехали за кирпичами, что подводы их за городом, на кирпичных заводах возле Беглой Слободы, и что «вечерком» они трогаются обратно. Вечерок однако весь прошел в накладывании кирпичей. Я сидел на заводах час, другой, третий, без конца смотрел на пустое вечернее поле, простиравшееся передо мной за шоссе, а мужики все накладывали и накладывали. Уже и к вечеру отзвонили в городе, и солнце совсем низко опустилось над покрасневшим полем, а они все накладывали. Я просто изнемогал от скуки и усталости, как вдруг один мужик насмешливо сказал, через силу таща к телеге целый фартук свежих розовых кирпичей и мотая головой на тройку, пылившую по дороге возле шоссе: – А вон барыня Бибикова едет. Это она к нам, к Уварову. Он мне еще третьего дня говорил, что ждет ее к себе гостить и баранчика на зарез торговал... Другой подхватил: – Верно, она и есть. Вон и этот живодер на козлах...

Я взглянул пристальней, тотчас узнал пегих лошадей, стоявших давеча возле библиотеки, и вдруг понял, что именно тайно тревожило меня все время с той минуты, как я выскочил оттуда: тревожила она, эта худенькая девочка. Услыхав, что она едет как раз к нам, в Батурине, я даже с места вскочил, засыпал мужиков поспешными вопросами и сразу узнал очень многое: что барыня Бибикова мать этой девочки и что она вдова, что девочка учится в институте в Воронеже, – мужики называли институт «дворянским заведением», – что живут они в своем «именьишке»

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин под Задонском бедно-пребедно, что они родня Уварову, что лошадей им дал их другой родственник, их задонский сосед Марков, что его пегие лошади на всю губернию известны, равно как и живодег кавказец, который был у Маркова сперва, как обыкновенно, объездчиком, а потом «прижился» у него, стал его закадычным другом, связавшись с ним страшным делом: он до смерти заперол однажды нагайкой конокрада-цыгана, хотевшего угнать из марковского табуна самую главную матку...

Выехали мы только в сумерки и тащились всю ночь с ноги на ногу, – сколько позволяла малосильным лошаденкам их стопудовая кладь. И что это за ночь была! В сумерки, как только мы выбрались на шоссе, потянуло ветром, стало быстро и как-то неверно, тревожно темнеть от надвигавшихся с востока туч, стало тяжело греметь, сотрясая все небо, и все шире пугать, озарять красными сполохами... Через полчаса наступила кромешная тьма, в которой со всех сторон рвало то горячим, то очень свежим ветром, слепило во все стороны метавшимися по черным полям розовыми и белыми молниями и поминутно оглушало чудовищными раскатами и ударами, с невероятным грохотом и сухим, шипящим треском раздражавшимися над самой нашей головой. А потом бешено понесло уже настоящим ураганом, молнии засверкали по тучам, во всю высоту их, зубчатыми, до бела раскаленными змеями с каким-то свирепым трепетом и ужасом – и хлынул обломный ливень, с яростным гулом секший нас под удары уже бесперывные, среди такого апокалипсического блеска и пламени, что адский мрак небес разверзался над нами, казалось, до самых предельных глубин своих, где мелькали какими-то сверхъестественными, довременными Гималаями медью блистающие горы облаков... На мне, лежавшем на холодных кирпичках и укрытом всеми веретьями и армяками, какие только могли дать мне мужики, нитки живой не осталось через пять минут. Да что мне был этот ад и потоп! Я был уже в полной власти своей новой любви...

### VIII

Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей жизни.

Когда он вошел в меня? Я слышал о нем с младенчества, и имя его всегда упоминалось у нас с какой-то почти родственной фамильярностью, как имя человека вполне «нашего» по тому общему, особому кругу, к которому мы принадлежали вместе с ним. Да он и писал все только «наше», для нас и с нашими чувствами. Буря, что в его стихах мглой крыла небо, «вихри снежные крутя», была та самая, что бушевала в зимние вечера вокруг Каменского хутора. Мать иногда читала мне (певуче и мечтательно, на старомодный лад, с милой, томной улыбкой): «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел» – и я спрашивал: «С каким гусаром, мама? С покойным дяденькой?» Она читала: «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я» – и я видел этот цветок в ее собственном девичьем альбоме... Что же до моей юности, то вся она прошла с Пушкиным.

Никак не отделим был от нее и Лермонтов:

Немая степь синее, и кольцом  
Серебряным Кавказ ее объемлет,  
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет.  
Как великан, склонившись над щитом,  
Рассказам волн кочующих внимая,  
А море Черное шумит, не умолкая...  
Какой дивной юношеской тоске о далеких странствиях, какой страстной мечте о далеком и прекрасном и какому заветному душевному звуку отвечали эти строки, пробуждая, образуя мою душу! И все таки больше всего был я с Пушкиным. Сколько чувств рождал он во мне! И как часто сопровождал я им свои собственные чувства и все то, среди чего и чем я жил!

Вот я просыпаюсь в морозное солнечное утро, и мне вдвойне радостно, потому что я восклицаю вместе с ним: «мороз и солнце, день чудесный» – с ним, который не только так чудесно сказал про это утро, но дал мне вместе с тем и некий чудесный образ:

Еще ты дремлешь, друг прелестный...  
Вот, проснувшись в метель, я вспоминаю, что мы нынче едем на охоту с гончими, и опять начинаю день так же, как он:

Вопросами: тепло ль? утихла ли метель,  
Пороша есть иль нет?

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

И можно ли постель  
Оставить для седла, иль лучше до обеда  
Возиться с старыми журналами соседа?  
Вот весенние сумерки, золотая Венера над садом, раскрыты в сад окна, и опять он  
со мной, выражает мою заветную мечту:

Спеши моя краса,  
Звезда любви золотая  
Взошла на небеса!  
Вот уже совсем темно, и на весь сад томится, томит соловей:

Слыхали ль вы за рощей глас ночной  
Певца любви, певца своей печали?  
Вот я в постели, и горит «близ ложа моего печальная свеча», – в самом деле  
печальная сальная свеча, а не электрическая лампочка, – и кто это изливает свою  
юношескую любовь или, вернее, жажду ее – я или он?

Морфей, до утра дай отраду  
Моей мучительной любви!  
А там опять «роняет лес багряный свой убор и страждут озими от бешеной забавы» –  
той самой, которой с такой страстью предаюсь и я:

Как быстро в поле, вокруг открытом,  
Подкован вновь, мой конь бежит,  
Как звонко под его копытом  
Земля промерзлая стучит!  
Ночью же тихо всходит над нашим мертвым черным садом большая мгристо-красная  
луна – и опять звучат во мне дивные слова:

Как привидение, за рощею сосновой  
Луна туманная взошла, –  
и душа моя полна несказанными мечтами о той, неведомой, созданной им и навеки  
пленившей меня, которая где-то там, в иной, далекой стране, идет в этот тихий  
час –

К брегам, потопленным шумящими волнами...  
IX

Мои чувства к Лизе Бибиковой были в зависимости не только от моего ребячества,  
но и от моей любви к нашему быту, с которым так тесно связана была когда-то вся  
русская поэзия.

Я влюблен был в Лизу на поэтический старинный лад и как в существо, вполне  
принадлежавшее к нашей среде.

Дух этой среды, романтизированный моим воображением, казался мне тем прекраснее,  
что навеки исчезал на моих глазах.

Я видел, как беднел наш быт, но тем дороже был он мне; я даже как-то странно  
радовался этой бедности... может быть, потому, что и в этом находил близость с  
Пушкиным, дом которого, по описанию Языкова, являл картину тоже далеко не  
богатую:

Обоями худыми  
Кой-где прикрытая стена,  
Пол нечиненный, два окна  
И дверь стеклянная меж ними,  
Диван пред образом в углу  
Да пара стульев...  
Впрочем, в то время, когда Лиза жила в Батуристине, бедный быт наш был украшен  
жаркими июньскими днями, густой зеленью тенистых садов, запахом отцветающего  
жасмина и цветущих роз, купаньем в пруду, который со стороны нашего берега,  
тенистого от сада и тонувшего в густой прохладной траве, был живописно осенен  
высоким ивняком, его молодой блестящей листвой, гибкими глянцевыми ветвями...  
Так навсегда и соединилась для меня Лиза с этими первыми днями купанья, с  
июньскими картинами и запахами, – жасмина, роз, земляники за обедом, этих  
прибрежных ив, длинные листочки которых очень пахучи и горьки на вкус, теплой  
воды и тины нагретого солнцем пруда...

Я к Уваровым в то лето не ходил, – Глебочка проводил лето в земледельческой школе, куда его перевели в виду его малых успехов в гимназии; не бывали и Уваровы у нас, были с нами в натянутых отношениях, – вечная история мелких деревенских ссор; однако Уварова все таки попросила у нашего отца позволения купаться в пруде с нашей стороны и приходила вместе с Бибиковыми почти каждый день, а я то и дело как бы нечаянно встречался с ними на берегу и особенно учтиво раскланивался, при чем госпожа Бибикова, ходившая всегда как-то милостиво-важно, с поднятой головой, в широком балахоне и с мохнатой простыней на плече, отвечала мне уже довольно приветливо и даже с усмешкой, вспоминая, верно, как я тогда, в городе, выскочил из библиотеки.

Сперва застенчиво, а потом все дружелюбней и живей отвечала и Лиза, уже несколько загоревшая и с некоторым блеском в своих широких глазах. Теперь она ходила в белой с синим воротом матроске и довольно короткой синей юбочке, ничем не прикрывая от солнца свою черную головку с заплетенной и большим белым бантом завязанной, слегка курчавившейся черной косой. Она не купалась, только сидела на берегу, пока купались где-то под особенно густым ивняком ее мать и Уварова; но она иногда снимала туфельки, чтобы походить по траве, насладиться ее нежной свежестью, и я несколько раз видел ее босиком. Белизна ее ножек в зеленой траве была невыразимо прелестна...

И опять наступили лунные ночи, и я выдумал уже совсем не спать по ночам, – ложиться только с восходом солнца, а ночь сидеть при свечах в своей комнате, читать и писать стихи, потом бродить в саду, глядеть на усадьбу Уваровых с плотины пруда... Днем на этой плотине часто стояли бабы и девки и, наклонясь к большому плоскому гольшу, лежавшему в воде на бережку, подоткнувшись выше колен, крупных, красных, а все таки нежных, женских, сильно и ладно, переговариваясь быстрыми, бойкими голосами, колотили вальками мокрые серые рубахи; иногда они разгибались, вытирали о засученный рукав пот со лба, с шутовой развязностью, на что то намекая, говорили, когда мне случалось проходить мимо: «Барчук, ай потерял что?» – и опять наклонялись и еще бодрей колотили, шлепали и чему-то смеялись, переговариваясь, а я поскорей уходил прочь: мне уже трудно было смотреть на них, склоненных, видеть их голые колени...

Потом к другому нашему соседу, к тому, чья усадьба была через улицу от нашей и чей сын был в ссылке, к старику Алферову, приехали его дальние родственницы, петербургские барышни, и одна из них, младшая, Ася, была хороша собой, ловка и высока, весела и энергична, свободна в обращении. Она любила играть в крокет, щелкать что попало фотографическим аппаратом, ездить верхом, и незаметно я стал довольно частым гостем в этой усадьбе, вступил с Асей в какое-то подобие дружбы, в которой она и помыкала мной, как мальчишкой, и проявляла в то же время явное удовольствие от общества этого мальчишки. Она то и дело снимала меня, мы с ней по целым часам стучали крокетными молотками, при чем всегда выходило, что я будто бы что-то не так делаю, а она поминутно останавливалась и, необыкновенно мило не выговаривая буквы «л», кричала на меня в полном отчаянии: «Ах, какой глупый, Боже, какой глупый!» – больше же всего любили скакать под вечер по большой дороге, и уже не совсем спокойно слушал я ее радостные покрикиванья на скаку, видел ее румянец и растрепавшиеся волосы, чувствовал наше с ней одиночество в поле, меж тем как ее лироподобное тело великолепно лежало на седле и тугая икра левой ноги, упертой в стремя, все время мелькала под развевающимся подолом амазонки...

Но то было днем, вечером. А ночи свои я посвящал поэзии.

Вот уже совсем темно в поле, густеют теплые сумерки, и мы с Асей шагом возвращаемся домой, проезжаем по деревне, пахнувшей всеми вечерними летними запахами. Проводив Асю до дому, я въезжаю во двор нашей усадьбы, бросаю повод потной кабардинки работнику и бегу в дом к ужину, где меня встречают веселые насмешки братьев и невестки. После ужина я выхожу с ними на прогулку, на выгон за пруд или опять все на ту же большую дорогу, глядя на сумрачно-красную луну, поднимающуюся за черными полями, откуда тянет ровным мягким теплом. А после прогулки я остаюсь наконец один. Все затихло – дом, усадьба, деревня, лунные поля. Я сижу у себя возле открытого окна, читаю, пишу. Чуть посвежевший ночной ветер приходит от времени до времени из сада, там и сям уже озаренного, колеблет огни оплывающих свечей. Ночные мотыльки роями вытесняются вокруг них, с треском и приятной вонью жгутся, падают и понемногу усеивают весь стол. Неодолимая дремота клонит голову, смыкает веки, но я всячески одолеваю, осиливаю ее...

И к полуночи она обычно рассеивалась. Я вставал, выходил в сад. Теперь, в июне, луна ходила по летнему, ниже. Она стояла за углом дома, широкая тень далеко лежала от него по поляне, и из этой тени особенно хорошо было смотреть на какую-нибудь семицветную звезду, тихо мерцавшую на востоке, далеко за садом, за деревней, за летними полями, откуда иногда чуть слышно и потому особенно очаровательно доносился далекий бой перепела. Цвела и сладко пахла столетняя липа возле дома, тепла и золотиста была луна. Опять тянуло только теплом, – как всегда перед рассветом, близость которого уже чувствовалась там, на восточном небосклоне, где горизонт уже чуть серебрился. Тянуло оттуда, из за пруда, и я тихо проходил по саду навстречу этой ровной тяге, шел на плотину... Двор уваровской усадьбы сливался с деревенским выгоном, а сад за домом – с полем. Глядя на дом с плотины, я точно представлял себе, где кто спит. Я знал, что Лиза спит в Глебочкиной комнате, в той, окна которой выходили тоже в сад, темный, густой, подступающий прямо к ним... Как же передать те чувства, с которыми смотрел я, мысленно видя там, в этой комнате, Лизу, спящую под лепет листьев, тихим дождем струящийся за открытыми окнами, в которые то и дело входит и веет этот теплый ветер с полей, лелея ее полудетский сон, чище, прекраснее которого не было, казалось, на всей земле!

X

Этот странный образ жизни длился чуть не все лето. А изменился неожиданно и круто. В одно прекрасное утро я вдруг узнал, что Бибиковых уже нет в Батурине, – вчера уехали. Я кое-как провел день, перед вечером пошел к Асе – и что же услышал?

– А мы завтра в Крым уезжаем, – тотчас сказала она, завидя меня, и так весело, точно хотела чрезвычайно меня обрадовать.

В мире после того образовалась такая пустота и скука, что я стал ездить в поле, где уже начали косить нашу рожь, стал по целым часам сидеть на рядах, на жнивье и бесцельно смотреть на косцов. Сижу, а кругом сушь, недвижимый зной, мерный шум кос; густой и высокой стеной стоит на серой от зноя синеве безоблачного неба море пересохшей желто-песчаной ржи с покорно склоненными, полными колосьями, а на него, друг за другом, наступают, в раскорячку идут и медленно ровно уходят вперед мужики распояской, широко и солнечно блещут шуршащими косами, кладут влево от себя ряд за рядом, оставляют за собой колкую щетку желтого жнивья, широкие пустые полосы – мало-помалу все больше оголяют поле, делают его совсем новым, раскрывают все новые виды и дали...

– Что ж так-то даром сидеть, барчук? – грубовато и дружелюбно сказал мне как-то один косец, высокий и красивый черный мужик. – Берите-ка мою другую косу, заходите с нами...

И я встал и, ни слова не говоря, направился к его телеге. С тех пор и пошло...

Сперва было великое мученье.

От поспешности и всяческой неловкости я так выбивался из сил, что по вечерам едва добредал домой – с согнутой, изломанной спиной, с ноющими в плечах и горящими от кровавых мозолей руками, с обожженным лицом, со слипшимися от засохшего пота волосами, с полынной горечью во рту. Но потом так втянулся в свою добровольную каторгу, что даже засыпал с блаженной мыслью:

– Завтра опять косить!

За косью же наступила возка. Эта работа еще трудней. Это еще хуже – всаживать вилы в толстый, сухоупругий сноп, подхватывать скользкую рукоятку вил коленом и смаху, до боли в животе, вскидывать эту великолепную шуршащую тяжесть, осыпающую тебя острым зерном, на высокий и все растущий на все уменьшающийся телеге огромный, отовсюду торчащий охвостом снопов воз... а потом опутывать его тяжело-зыбку, со всех сторон колющую и душно пахнущую ржаным теплом гору жесткими веревками, изо всех сил стягивать ее ими, туго-натуго захлестывать их за тележную грядку... а потом медленно идти за ее качающейся громадой по выбитому, ухабистому проселку, по ступицу в горячей пыли, все время глядеть на лошадь, кажущуюся под возом совсем ничтожной, все время внутренне тужиться вместе с ней, все время бояться, что на все лады скрипящая под своим страшным грузом тележенка

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин не выдержит где-нибудь на повороте, заест слишком круто подвернувшееся колесо – и весь этот груз безобразно рухнет на бок... Это все не шутка да еще с раскрытой под солнцем головой, с горячей, потной грудью, разъеденной ржаным сором с дрожащими от переутомления ногами и с польнью во рту!

А в сентябре я все сидел на гумне. Пошли серенькие, бедные дни. В риге с раннего утра до позднего вечера ревели, гудела, засыпала соломой и густо дымила хоботьем молотилка, бабы и девки одни горячо работали под ней граблями, низко сдвинув запыленные платки на глаза, другие мерно стучали в темном углу веялкой, за ручку крутили внутри нее дующие хлебным ветром крылья и все время однообразно и жалобно-сладко пели, а я все слушал их, то становясь крутить рядом с какой-нибудь из них, то помогая нагрести из под веялки уже совсем чистое зерно в меру и с удовольствием сливать его потом в раскрытый, подставленный мешок. Я все больше втягивался в близость и дружбу с этими бабами и девками, и неизвестно, чем бы все это кончилось, – уже одна длинноногая рыжая девка, певшая всех удалей и умелей и в то же время, несмотря на свою видимую бойкость и грубость, с особенно-грустной задушевностью, намекала мне совсем понятно, что она ни от чего не прочь за новые ножницы, например, – если бы не случилось в моей жизни нового события: я неожиданно попал уже в один из самых важных ежемесячных петербургских журналов, очутился в обществе самых знаменитых в то время писателей да еще получил за это почтовую повестку на целых пятнадцать рублей. Нет, сказал я себе, потрясенный и тем и другим, довольно с меня этой риги, пора опять за книги, за писанье – и тотчас же пошел седлать Кабардинку: съезжу в город, получу деньги – и за работу... Уже вечерело, но я все таки пошел седлать, оседлал и погнал по деревне, по большой дороге... В поле было грустно, пусто, холодно, неприветливо, а какой бодростью, какой готовностью к жизни и верой в нее полна была моя юная, одинокая душа!

## XI

В поле хмуро темнело, дул суровый ветер, а я всей грудью вдыхал его предзимую свежесть, с наслаждением чувствовал его здоровый холод на своем молодом горячем лице и все гнал и гнал Кабардинку. Я всегда любил резвую езду, – всегда горячо привязывался к той лошади, на которой ездил, а меж тем всегда был ужасно безжалостен к ней. Тут же я ехал особенно шибко. Думал ли я, мечтал ли о чем-нибудь определенно? Но в тех случаях, когда в жизни человека произошло что-нибудь важное или хотя бы значительное и требуется сделать из этого какой-то вывод или предпринять какое-нибудь решение, человек думает мало, охотнее отдается тайной работе души. И я хорошо помню, что всю дорогу до города моя как-то мужественно-возбужденная душа неустанно работала над чем-то. Над чем? Я еще не знал, только опять чувствовал желание какой-то перемены в жизни, свободы от чего-то и стремление куда-то...

Помню, под Становой я на минуту приостановился. Наступала ночь, в поле стало еще угрюмей и печальней. Ни души, казалось, не было не только на этой глухой, всеми позабытой дороге, но и на сотни верст кругом. Дичь, ширь, пустыня... Ах, хорошо, подумал я, опуская повод. Кабардинка стала, глубоко повела боками и замерла. Я, с застывшими коленками, слез с нагретого, скользкого седла, зорко и сторожко оглядываясь, вспоминая старые разбойничьи предания Становой и тайне даже желая какой-нибудь страшной встречи, жуткой схватки с кем-нибудь, подтянул подпруги, подтянул ременный пояс на поддевке и поправил кинжал на нем... Ветер круто, надавливая, точно холодной водой дул мне в бок, бил, гудел в ухо, тревожно и воровски шуршал в неверном сумраке полей, в сухих бурьянах и жнивье; Кабардинка, с висящими по ее бокам стремянами и торчащими седельными рогами, стояла с какой-то чудесной стройностью, остро подняв уши, тоже как будто чувствуя всю недобрую славу этих мест и тоже внимательно и строго глядя куда-то по дороге. Она уже вся потемнела от горячего пота, похудела в ребрах, в пахах, но я знал ее выносливость, то, что ей достаточно единственного глубокого вздоха, которым она вздохнула, остановясь, чтобы снова пуститься в путь во всю меру своих уже немолодых сил, своей неизменной безответности и любви ко мне. И, с особенной нежностью обняв ее тонкую шею и поцеловав в нервный храп, я опять взмахнул в седло и еще шибче погнал вперед...

А потом надвинулась ночь, темная, черная, настоящая осенняя, и, как во сне, стало казаться, что и конца не будет этому мраку, ветру навстречу и ладному топоту копыт в густой темноте под ногами... Потом открылись и долго точно на одном месте стояли, с той особенной зоркостью и четкостью, которая бывает только в осенние ночи, дальние городские и пригородные огни... Наконец они стали ближе,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин больше, зачернели вдоль темной дороги слободские тесовые крыши, заманчиво и уютно глянули из под них светлые окошечки, светлые внутренности изб, люди, семейственно ужинающие в них... а там явно запахло всеми сложными, людными запахами города, замелькали вокруг другие многочисленные огни и освещенные окна – и подковы Кабардинки весело и возбуждающе зазвенели уже по мостовой, по улицам...

В городе было тише, теплей, был еще вечер, а не та черная слепая ночь, что уже давно была в полях, и я попал на постоянный двор Назарова прямо к ужину...

Чего только не было в моей душе в тот вечер! Нельзя сказать, чтоб я был уж так взволнован, счастлив тем, что попал в знаменитый журнал, в круг знаменитых писателей – я, помню, принял это почти как должное. Я был только как-то крепко и хорошо возбужден, был в полном обладании всеми своими способностями, всей душевной и телесной восприимчивостью, и мне все доставляло удивительное наслаждение:

и этот осенний вечерний город, и то, как я, рысью подъехав к воротам Назарова, задергал за кольцо ржавую проволоку, висевшую из дыры в верее, громко зазвонив по двору колокольчиком, и то, как послышался по камням за воротами постукивающий шаг хромого дворника, отворившего мне ворота, и уют навозного двора, где в темноте, под черными навесами и под открытым среди них небом, стоял целый табор чьих-то телег и звучно жующих лошадей, и какое то особое, уездное, старое зловоние отхожего места в непроглядном мраке в сенцах, куда я одеревеневшими от стужи ногами взбежал по гнилым ступеням деревянного крыльца и где я долго нашаривал скобку двери в дом, и вдруг открывшаяся потом светлая, людная и теплая кухня, густо пахнущая жирной горячей солониной и ужинающими мужиками, а за нею – чистая половина, в которой, за большим круглым столом, ярко освещенным всяческой лампой, во главе с толстой рябой хозяйкой с длинной верхней губой и стариком хозяином, строго-унылым мещанином, крупным и костистым человеком, похожим своими бурыми прямыми волосами и суздальским носом на старообрядца, тоже ужило много каких-то загорелых, обветренных людей в жилетках и косоворотках, выпущенных из под жилеток... Все, кроме хозяина, пили водку, хлебали наваристые щи с мясом и лавровым листом из огромной общей чашки... Ах, хорошо, почувствовал я, ах, как все хорошо – и та дикая, неприветливая ночь в поле, и эта вечерняя дружелюбная городская жизнь, эти пьющие и едящие мужики и мещане, то есть вся эта старинная уездная Русь со всей ее грубостью, сложностью, силой, домовитостью, и мои смутные мечты о каком-то сказочном Петербурге, о Москве и знаменитых писателях, и то, что я сейчас тоже хорошенько выпью и с волчьим аппетитом примусь за щи с мягким, белым городским подрукавником!

И действительно, я так закусил и выпил, что потом (когда уже все разошлись по своим местам, улеглись где кто попало спать и на дворе, и в кухне, в горнице, потушили огонь и крепко заснули, отдав себя в полное распоряжение клопам и тараканам) долго сидел без картуза на ступеньках крыльца, освежая свою слегка кружащуюся голову воздухом октябрьской ночи, слушая в ночной тишине то колотушку, ловко, на плясовой лад что-то выделяющую где-то вдаль, вдоль пустынной улицы, то мирный хруст жующих под навесами лошадей, прерываемый иногда их короткой дракой и злым визгом, и все что-то обдумывая, решая своей блаженно-хмельной душой...

В этот вечер я впервые замыслил рано или поздно, но непременно покинуть Батурино.

## XII

Одни хозяева спали отдельно, в своей спальне, похожей на часовню от множества золотых и серебряных икон в киоте, какой-то черной стоячей гробницей возвышавшемся в переднем углу за большой малиновой лампадой, а все мы, то есть я и пять человек прочих чистых постояльцев, в той же горнице, где вчера ужидали. Трое ночевали на полу, на казанских войлоках, трое, в числе которых, к несчастью, был и я, на диванах, жестких, как камень, с прямыми деревянными спинками. И, конечно, клопы (какие-то мелкие, особенно ядовитые, подло разбежавшиеся по подушке, как только я зажег спичку) ели всю ночь и меня, а в теплой и вонючей темноте вокруг стоял крепкий храп, от которого ночь казалась безнадежной, безрассветной, а неугомонная колотушка проходила иногда своим отчаянно-громким, распутно-залихватским, каким-то круглым, полым треском под самыми окнами, а двери из хозяйской спальни были прикрыты только на половину,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

так что лампадка краснела оттуда мне прямо в глаза, составляя из своего черного крестообразного поплавка, темного лучистого мерцания и теней, колеблемых им, подобие какого-то сказочного паука в середине огромной паутины... Встал я однако как ни в чем не бывало, лишь только послышалось, что проснулись хозяева, начали зевать, подниматься, натягивать сапоги спавшие на полу, а кухарка по их ногам и войлокам бегом втащила и с размаху стукнула об стол ключом кипящий и крепко, вкусно пахнущий угаром ведерный самовар, от густого пара которого сразу побелели окна и зеркало.

Через час после того я был уже на почте и получил наконец и свой первый гонорар и ту удивительную, от всех прочих в мире отличную толстую книгу в девственно свежей обложке цвета яичного желтка, где были мои стихи, показавшиеся мне в первую минуту даже как будто и не моими, – так очаровательно похожи были они на какие-то настоящие, прекрасные стихи какого-то настоящего поэта. Вслед за тем мне предстояло дело – зайти, по поручению отца, к некоему Ивану Андреевичу Балавину, скупщику хлеба, чтобы показать ему образчики нашего умолота, узнать цену на них и, если можно, сделать запродажу. И вот, с почты я направился прямо к нему, но шел так, что прохожие мужики и мещане с удивлением поглядывали на молодого человека в сапогах, в синем картузе и такой же поддевке, который на ходу все замедлял шаги, а порой и совсем останавливался среди улицы, уткнувшись все в одно и то же место развернутой перед его глазами книги.

Балавин принял меня сперва сухо, с той беспричинной неприязнью, которая часто встречается среди русских торговых людей. Амбар его в хлебных рядах выходил растворами прямо на мостовую. Приказчик провел меня по этому амбару куда-то в глубину, к стеклянной дверке, изнутри завешенной кумачным лоскутом, и несмело стукнул. – Входи! – неприятно крикнул кто-то из-за двери.

И я вошел и навстречу мне приподнялся из-за большого письменного стола человек неопределенных лет, одетый по европейски, с очень чистым и как бы прозрачным желтоватым лицом, с белесыми волосами, аккуратно причесанными на прямой ряд, с желтыми тонкими усами и быстрым взглядом светло-зеленых глаз. – В чем дело? – спросил он сухо и быстро.

Я назвал себя, поспешно и неловко вытащил из карманов поддевки два маленьких мешочка с зерном и положил перед ним на стол. – Садитесь, – как-то вскользь сказал он, садясь за стол, и, не глядя на меня, стал развязывать эти мешочки, Развязав, он вынул горсточку одного зерна, подбросил его на ладони, потер в пальцах и понюхал, потом сделал то же самое с другим. – Сколько всего? – спросил он невнимательно. – То есть четвертей? – спросил я. – Да не вагонов же, – сказал он насмешливо.

Я вспыхнул, но он не дал мне ответить: – Впрочем, это не суть важно. Цены сейчас слабы, вы их, небось, сами знаете...

И, назвав свою цену, предложил привозить хлеб хоть завтра. – Я на эту цену согласен, – сказал я, краснея. – Можно получить задаток?

Он молча вынул из бокового кармана бумажник, подал мне сторублевую бумажку и привычным, очень точным жестом снова спрятал его. – Прикажете расписку? – спросил я, краснея еще более от неловкого наслаждения своей взрослостью и деловитостью.

Он усмехнулся, ответил, что, слава Богу, Александр Сергеевич Арсеньев достаточно всем известен, и, как бы желая дать мне понять, что деловой разговор кончен, раскрыл лежавший на столе серебряный портсигар и протянул его мне. – Благодарю вас, я не курю, – сказал я.

Он закурил и опять как-то вскользь спросил: – Это вы пишете стихи?

Я взглянул на него с чрезвычайным изумлением, но он опять не дал мне ответить: – Не удивляйтесь, что я и такими делами интересуюсь, – сказал он с усмешкой. – Я ведь, с позволения сказать, тоже поэт. Даже когда-то книжку выпустил. Теперь, понятно, лиру оставил в покое, – не до нее, да и таланту оказалось мало, – пишу только корреспонденции, как, может быть, слышали, но интересоваться литературой продолжаю, выписываю много газет и журналов... Это, если не ошибаюсь, первый ваш дебют в толстом журнале? Позвольте от души пожелать вам успеха и посоветовать не манкировать собой. – То есть как? – спросил я, пораженный столь неожиданным

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
оборотом этого делового свидания. – А так, что вам очень крепко надо подумать о своем будущем. Вы меня простите, для занятий литературой нужны и средства к жизни и большое образование, а что ж у вас есть? Вот вспоминаю себя. Без ложной скромности скажу, малый я был не глупый, еще мальчишкой видел столько, сколько дай Бог любому туристу, а что я писал? Вспоминать стыдно!

Родился я в глуши степной,  
В простой и душевной хате,  
Где вместо мебели резной  
Качались полати...

– Позвольте спросить, что за оболтус писал это?

Во-первых, фальшь, – ни в какой степной хате я не рожался, родился в городе, во-вторых, сравнивать полати с какой-то резной мебелью верх глупости и, в-третьих, полати никогда не качаются. И разве я всего этого не знал? Прекрасно знал, но не говорить этого вздору не мог, потому что был не развит, не культурен, а развиваться не имел возможности в силу бедности... – Мое почтение, – сказал он, вдруг поднимаясь, протягивая мне руку, крепко пожимая мою и пристально глядя мне в глаза. – Пусть я послужу вам поводом для серьезных размышлений о себе. Сидеть сиднем в деревне, не видать жизни, пописывать и почитывать спустя рукава – карьера не блестящая. А у вас заметен хороший талант и впечатление вы производите, простите за откровенность, очень приятное...

И вдруг опять стал сух и серьезен: – До свидания, – опять как-то невнимательно сказал он, кивком головы отпуская меня и снова садясь за свой стол. – Прошу передать поклон вашему батюшке...

Так неожиданно получил я еще одно подтверждение своим тайным замыслам покинуть Батурино.

### XIII

Замыслы эти осуществились однако не скоро. Жизнь моя снова пошла по прежнему и даже еще более беспечно, день за день. Я превращался, – по крайней мере с виду, – в обычного деревенского юношу, который уже довольно привычно сидел в своей усадьбе, не чуждаясь больше ее обыденного существования, ездил на охоту, бывал у соседей, в дождь или вьюгу ходил от скуки на деревню, в излюбленные избы, коротал время в семейном кругу за самоваром, а не то целыми часами лежал с книгой на диване, вслух мечтал о чем-нибудь с сестрой, болтал с братьями... И так прошел еще год. А затем случилось то, что и должно было рано или поздно случиться.

Умер наш сосед Алферов, живший совсем одиноко. Брат Николай снял это опустевшее имение в аренду и жил в ту зиму уже не с нами, а в алферовской усадьбе. И в числе его прочей прислуги была горничная Тонька. Она только что вышла замуж, но тотчас после свадьбы должна была, по своей бедности и бездомности, разлучиться с мужем: он был шорник, и, женившись, опять пошел по своему бродячему заработку, а она поступила к брату.

Ей было лет двадцать. На деревне звали ее галкой, дикой, считали (за молчаливость) совсем глупой. У нее был невысокий рост, смуглый цвет кожи, ловкое и крепкое сложение, маленькие и сильные руки и ноги, узкий разрез черно-ореховых глаз. Она была похожа на индианку: прямые, но грубоватые черты темного лица, грубая смоль плоских волос. Но я в этом находил даже какую-то особую прелесть. Я чуть не каждый день бывал у брата и всегда любовался ею, любил, как крепко и быстро она топает ногами, неся на стол самовар или миску с супом, как бессмысленно взглядывает: этот топот и взгляд, грубая чернота волос, прямой ряд которых был виден под оранжевым платком, сизые губы слегка удлиненного рта, смуглая молодая шея, покато переходящая в плечи, – все неизменно вызывало во мне томящее беспокойство. Случалось, что, встретясь с ней где-нибудь в прихожей, в сенцах, я, шутя, ловил ее на ходу, прижимал к стене... Она молча вывертывалась – и тем дело и кончалось. Никаких любовных чувств мы друг к другу не испытывали.

Но вот, гуляя как-то в зимние сумерки по деревне, я рассеянно свернул во двор алферовской усадьбы, прошел среди сугробов к дому, поднялся на крыльцо. В прихожей, совсем темной, особенно сверху, сумрачно и фантастично, точно в черной пещере, краснела грудой раскаленных углей только что истопленная печка, а Тонька, без платка, вытянув слегка раздвинутые босые смуглые ноги, берцы которых

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин блестял против света своей гладкой кожей, сидела на полу прямо против ее устья, вся в пламенно-темном озарении, держала в руках кочергу, огненно-белый конец которой лежал на углях, и, слегка отклонив от палящего жара такое же темно-пламенное лицо, полусонно смотрела на эти угли, на их малиновые, хрупко-прозрачные горки, кое-где уже меркнувшие под сиреневым тонким налетом, а кое-где еще горевшие сине-зеленым эфиром. Я, входя, стукнул дверь – она даже не обернулась. – Что-й-то у вас темно, ай дома никого нету? – спросил я, подходя.

Она еще больше откинула лицо назад и, не глядя на меня, как-то неловко и томно усмехнулась. – Будто не знаете! – сказала она насмешливо. – Что не знаю? – Да уж будет, будет... – Что будет? – Да как же вы можете не знать, где они, когда они к вам пошли... – Я гулял, не видал их. – Знаем мы ваше гулянье...

Я присел на корточки, посматривая на ее ноги и раскрытую черную голову, уже весь внутренне дрожа, но притворяясь, что люблюсь на угли, на их жаркий багряно-темный свет... потом неожиданно сел рядом с нею, обнял и завалил ее на пол, поймал ее уклоняющиеся горячие от огня губы... Кочерга загремела, из печки посыпались искры...

На крыльцо я выскочил после того с видом человека, неожиданно совершившего убийство, перевел дыхание и быстро оглянулся, – не идет ли кто? Но никого не было, все было просто и тихо; на деревне, в обычной зимней темноте, с неправдоподобным спокойствием, – точно ничего и не случилось, – горели по избам огни... Я взглянул, прислушался – и быстро пошел прочь со двора, не чуя земли под собой от двух совершенно противоположных чувств: страшной, непоправимой катастрофы, внезапно совершившейся в моей жизни, и какого-то ликующего, победоносного торжества...

Ночью, сквозь тревожный сон, меня то и дело томила смертельная тоска, чувство чего-то ужасного, преступного и постыдного, внезапно погубившего меня. Да, все пропало! – думал я, просыпаясь, с трудом приходя в себя. Все, все пропало, все погублено, испорчено, но, видно, так тому и быть, все равно теперь этого уже не поправишь...

Проснувшись утром, я какими-то совсем новыми глазами взглянул вокруг, на эту столь знакомую мне комнату, ровно освещенную свежим снегом, выпавшим за ночь: солнца не было, но в комнате было очень светло от его белизны. Первая мысль, с которой я открыл глаза, была, конечно, о том, что случилось. Но мысль эта уже не испугала меня, ни тоски, ни отчаяния, ни стыда, ни чувства преступности в душе уже не было. Напротив. Как же я теперь выйду к чаю? – подумал я. – И вообще как теперь быть? Но никак не быть, подумал я, никто ничего не знает и не узнает никогда, а на свете все по-прежнему и даже особенно хорошо: на дворе этот любимый мной тихий белый день, сад, космато оснеженный по голым сучьям, весь завален белыми сугробами, в комнате тепло от кем-то затопленной, пока я спал, и теперь ровно гудящей и потрескивающей печки, с дрожью тянущей в себя медную заслонку... горько и свежо пахнет сквозь тепло мерзлым и оттаивающим осиновым хворостом, лежащим возле нее на полу...

А случилось только то законное, необходимое, что и должно было случиться, – ведь мне уже семнадцать лет... И меня опять охватило чувство торжества, мужской гордости. Как глупо все, что лезло мне в голову ночью! Как это дивно и ужасно, то, что было вчера! И это опять будет, может быть, даже нынче же! Ах, как я люблю и буду любить ее!

#### XIV

С этого дня началось для меня ужасное время. Это было настоящее помешательство, всецело поглощавшее все мои душевные и телесные силы, жизнь только минутами страсти или ожиданием их и муками жесточайшей ревности, совершенно разрывавшей мне сердце, когда к Тоньке приходил повидаться муж и она должна была по вечерам уходить из дому, где она спала обычно, спать с ним в людскую.

Любила ли она меня? Первое время любила, была сокровенно, но так счастлива этой любовью, что не могла, сколько ни старалась, скрыть своего тайного восхищения мною, блеска своих узких опущенных глаз, даже когда видела меня при брате и невестке, прислуживая нам. Потом то любила, то нет, – временами бывала не только равнодушна, холодна, но даже враждебна, – и эти постоянные смены чувств, всегда непонятные, неожиданные, совершенно изнуляли меня. Я порой тяжко ненавидел ее, а

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин вместе с тем даже и тогда одна мысль о ее серебряных сережках, о том нежном и милом, еще очень юном, что было в ее губах, в овале нижней части лица и в опущенных узких глазах, одно воспоминание о грубом запахе ее волос, смешанном с запахом платка, приводило меня в трепет. Я готов был тогда – и даже с какой-то жадной радостью – на всякое унижение перед нею, лишь бы хоть на минуту возвратились первые счастливые дни нашей близости.

Я всеми силами старался жить хотя бы в некоторой мере так, как жил когда-то, но все дни мои уже давно превратились только в жалкую видимость моей прежней жизни.

Прошла зима, наступила весна... я ничего не замечая, зачем-то упорно изучал английский язык...

Бог спас меня неожиданно.

Был чудесный майский день. Я сидел с английским учебником в руках возле поднятого окна в своей комнате. Рядом со мной, на балконе, слышались голоса братьев, невестки и матери. Я рассеянно слушал и, тупо глядя в книгу, думал самые безнадежные думы. Так и подмывало сбегать хоть на минуту в алферовскую усадьбу, благо брат с женой у нас, и Тонька, верно, одна в доме. И вместе с тем душу давило такое тяжкое сознание своего крайнего падения, было так горько и больно, так жаль себя, что приходили в голову и казались счастьем мысли о смерти.

Сад то сиял жарким солнцем и гудел пчелами, то стоял в какой-то тончайшей голубой тени: в бесконечно-высокой, еще молодой, весенней и вместе с тем яркой и густой синеве порой круглилось, закрывало солнце бесконечно высокое облако, и воздух медленно темнел, синел, небо казалось еще больше, еще выше, и в этой вышине, в счастливой весенней пустоте мира, начинало вдруг как-то благостно и величественно, с постепенно возрастающей и катящейся звучностью и гулкостью, погромыхивать... Я взял карандаш и, все думая о смерти, стал писать на учебнике:

И вновь, и вновь над вашей головой,  
Меж облаков и синей тьмы древесной,  
Нальется высь эдемской синевой,  
Блаженной, чистой, небесной,  
И вновь, круглясь, заблещут облака  
Из-за деревьев горными снегами  
И шмель замрет на венчике цветка  
И загремит державными громами  
Весенний бог, а я – где буду я?

– Ты дома? – каким-то строгим, необычным тоном сказал брат Николай, подходя к моему окну. – Выйди-ка ко мне на минутку, мне нужно кое-что сказать тебе...

Я почувствовал, что бледнею, однако встал и выпрыгнул в окно. – Что сказать? – спросил я неестественно спокойно. – Пойдем немного пройдемся, – сухо сказал он, идя впереди меня вниз, к пруду. – Только, пожалуйста, отнесись к моим словам разумно...

И, приостановившись, обернулся ко мне: – Вот что, друг мой, ты, конечно понимаешь, что вся эта история уже давно ни для кого не тайна... – То есть какая история? – с трудом спросил я. – Ну, ты отлично понимаешь... Так вот, я и хочу тебя предупредить: я ее нынче утром рассчитал. Иначе дело кончилось бы, вероятно, смертоубийством. Он вчера вернулся и пришел прямо ко мне. «Николай Александрович, я все давно знаю, отпустите Антонину сию же минуту, не то плохо будет...» И, понимаешь, белый, как мел, губы так пересохли, что едва говорит... Очень советую тебе опомниться и не пытаться больше ее видеть. Да впрочем это и бесполезно – нынче они уезжают куда-то под Ливны...

Я не сказал ни слова в ответ, обошел его и пошел к пруду, сел в траве на берегу под молодыми блестящими ветвями ив, дугой склонявшихся к зеркально-светлой, серебристой воде...

Опять величественно загремело где-то в бездонной пустой вышине, вокруг меня что-то крупно и быстро зашуршало, запахло мокрой свежестью весенней зелени... Прямой, редкий дождь длинными стеклянными нитями засверкал из нового большого облака, бесконечно высоко вставшего над самой моей головой своими снежными

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин клубами, и по недвижной и ровной поверхности зеркально-белой воды, быстро шумя и пестря ее темными точками, запрыгали бесчисленные гвозди...

Книга четвертая

I

Мои последние батуринские дни были вместе с тем и последними днями всей прежней жизни нашей семьи.

Мы все понимали, что прежнее на исходе. Отец говорил матери: «Разлетается, душа моя, наше гнездо!» В самом деле, Николай это гнездо уже бросил, Георгий собирался бросать, – срок его поднадзорности кончился; оставался один я; но шел и мой черед.

И все таки, как водится, никто из нас (кроме, конечно, матери) ничего не додумывал, я тем более.

II

Опять, еще раз была весна. И опять казалась она мне такой, каких еще не было, началом чего-то совсем не похожего на все мое прошлое.

Во всяком выздоровлении бывает некое особенное утро, когда, проснувшись, чувствуешь наконец уже полностью ту простоту, будничность, которая и есть здоровье, возвратившееся обычное состояние, хотя и отличающееся от того, что было до болезни, какою-то новой опытностью, умудренностью. Так проснулся и я однажды в тихое и солнечное майское утро в своей угловой комнате, окна которой я, по молодости, не имел надобности завешивать. Я откинул одеяло, чувствуя спокойное довольство всех своих молодых сил и все то здоровое, молодое тепло, которым нагрел я за ночь постель и себя самого. В окна светило солнце, от верхних цветных стекол на полу горели синие и рубиновые пятна. Я поднял нижние рамы – утро было уже похоже на летнее, со всей мирной простотой, присущей лету, его утреннему мягкому и чистому воздуху, запахам солнечного сада со всеми его травами, цветами, бабочками. Я умылся, оделся и стал молиться на образа, висевшие в южном углу комнаты и всегда вызывавшие во мне своей арсеньевской стариной что-то обнадеживающее, покорное непреложному и бесконечному течению земных дней. На балконе пили чай и разговаривали. Был опять брат Николай, – он часто приходил к нам по утрам. И он говорил – очевидно, обо мне: – Да что ж тут думать? Конечно, надо служить, поступить куда-нибудь на место... Думаю, что Георгию все таки удастся устроить его где-нибудь, когда он сам как-нибудь устроится...

И эти слова еще более умиротворяли меня. «Ну, что ж, служить так служить. А потом, все это еще так не скоро. Георгий уедет не раньше осени, а до осени еще целая вечность...»

Какие далекие дни! Я теперь уже с усилием чувствую их своими собственными при всей той близости их мне, с которой я все думаю о них за этими записями и все зачем-то пытаюсь воскресить чей-то далекий юный образ. Чей это образ? Он как бы некое подобие моего вымышленного младшего брата, уже давно исчезнувшего из мира вместе со всем своим бесконечно далеким временем.

Случалось, бывало, в каком-нибудь чужом доме взять в руки старый фотографический альбом. Странные и сложные чувства возбуждали лица тех, что глядели с его поблекших карточек! Прежде всего – чувство необыкновенной отчужденности от этих лиц, ибо необыкновенно бывает чужд человек человеку в иные минуты. А потом – происходящая из этого чувства повышенная острота ощущения их самих и их времени. Что это за существа, эти лица? Это все люди когда-то и где-то жившие, каждый по своему, разными судьбами и разными эпохами, где было все свое: одежды, обычаи, характеры, общественные настроения, события... Вот суровый чиновный старик с орденом под двойным галстуком, с большим и высоким воротом сюртука, с крупными и мясистыми чертами бритого лица. Вот светский щеголь времен Герцена с подвитыми волосами и с бакенбардами, с цилиндром в руке, в широком сюртуке и таких же широких панталонах, ступня которого кажется от них маленькой. Вот бюст грустно-красивой дамы: затейливая шляпка на высоком шиньоне, шелковое платье с рюшами, плотно обтягивающие грудь и тонкую талию, длинные серьги в ушах... А вот молодой человек семидесятых годов: высокие, широко расходящиеся воротнички

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин крахмальной рубашки, не скрывающие кадыка, нежный овал чуть тронутого пушком лица, юная томность в загадочных больших глазах, длинные волнистые волосы... Сказка, легенда все эти лица, их жизни и эпохи!

Точно те же чувства испытываю я и теперь, воскрешая образ того, кем я был когда-то. Выл ли в само деле? Был молодой Вильгельм Второй, был какой-то генерал Буланже, был Александр Третий, грузный хозяин необъятной России... И была в эти легендарные времена, в этой навсегда погибшей России весна, и был кто-то, с темным румянцем на щеках, с синими яркими глазами, зачем-то мучивший себя английским языком, день и ночь таивший в себе тоску о своем будущем, где, казалось, ожидала его вся прелесть и радость мира.

### III

В начале лета я как то встретил на деревне невестку Тоньки. Она приостановилась и сказала: – А вам один человек поклон прислал...

Воротясь домой, вне себя от этих слов, я оседлал Кабардинку и пустился куда глаза глядят. Помню, был в Малиновом, доехал до Ливенской большой дороги... Наступал один из тех безмятежных вечеров начала лета, когда в полях царит какая-то особенная полнота мира, красоты, благоденствия. Я постоял возле дороги, подумал: куда еще? – пересек ее и поехал целиком дальше. Я ехал на блеск уже низкого солнца, въехал в чей-то большой лес, начинавшийся длинной ложиной с заросшими оврагами и буераками, где цветы и травы, уже свежавшие и пахнувшие к вечеру лесной и луговой свежестью, были по брюхо лошади. Кругом, по всем кустам и чащам, сладко голосили и цокали соловьи, где-то далеко вдали мерно и настойчиво, как бы убежденная среди всех этих тщетных соловьиных восторгов в правоте только своей одинокой, бездомной печали, не смолкая куковала кукушка, и ее гулко-полый голос казался то ближе, то дальше, грустно и дивно чередуясь с еще более дальними откликами вечеряющего леса. И я ехал и слушал, потом стал считать, сколько лет нагадает мне она, – сколько еще осталось мне всего того непостижимого, что называется жизнью, любовью, разлуками, потерями, воспоминаниями, надеждами...

И она все куковала и куковала, суля мне что-то бесконечное. Но что таило в себе это бесконечное? В загадочности и безучастности всего окружающего было что-то даже страшное. Я смотрел на шею Кабардинки, на ее гриву, откинутую на сторону и ровно, в лад с ходом мотающуюся, на всю эту поднятую конскую голову, когда-то, в дни сказочные, порой говорившую вещим голосом: страшна была ее роковая бессловесность, это во веки ничем не могущее быть расторгнутым молчание, немота существа, столь мне близкого и такого же как я, живого, разумного, чувствующего, думающего, и еще страшней – сказочная возможность, что она вдруг нарушит свое молчание... И с бессмысленно-жуткой радостью голосили кругом соловьи, и с колдовской настойчивостью куковала вдали кукушка, тщетно весь свой век взыскующая какого-то заветного гнезда...

### IV

Летом я был в городе на Тихвинской ярмарке и еще раз случайно встретился с Балавиным. Он шел с каким-то барышником. Барышник был на редкость грязен и оборван, он же особенно чист и наряден – во всем с иголки, в новой соломенной шляпе и с блестящей тросточкой. Барышник, поспешая рядом с ним, яростно клялся ему в чем-то, поминутно взглядывал на него дико и вопросительно, – он шел, не слушая, холодно и жестко глядя перед собой своими светло-зелеными глазами. «Все брехня!» – кинул он наконец невнимательно и, поздоровавшись со мной, – так, как будто мы не два года тому назад, а только вчера виделись, – взял меня под руку и предложил зайти «попить чайку и немножко побеседовать.» И мы зашли в один из чайных балаганов, и за беседой он стал с усмешкой меня расспрашивать, – «ну-с, как же поживаете, в чем преуспеваете?» – а потом заговорил о «бедственном положении» наших дел, – он откуда-то знал их лучше нас самих, – и опять о том, как быть лично мне. Я после того простился с ним настолько расстроенный, что даже решил тотчас же домой уехать. Уже вечерело, в монастыре звонили ко всенощной, ярмарка, стоявшая на выгоне возле него, разъезжалась, коровы, уводимые за скрипучими телегами, выбиравшимися на шоссе, ревели как-то угрожающе, захлебываясь, обратные извозчики, ныряя по пыльным ухабам выгона, бесшабашно неслись мимо...

Я вскочил на первого попавшегося и погнал его на станцию, – был как раз вечерний

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
поезд в нашу сторону. Да, что же делать? – думал я, вспоминая речи Балавина и все больше убеждаясь, что смысл их был, собственно, отчаянный. «И ума не приложу, как вам быть далее, – говорил он мне. – Отцы ваши в таких обстоятельствах на Кавказ служить скакали, к разным иностранным коллегиям приписывались, а вам куда скакать или приписываться? Вы, вообще, я полагаю, служить не можете – не те у вас мечтания. Вы, как говорится в оракулах, слишком в даль простираетесь. На счет Батурина один исход вижу: продать как ни можно скорей, пока с молотка не продали. В этом случае у вашего батюшки в кармане хоть грош, а все-таки останется. А на счет себя вы уж как-нибудь сами подумайте...» Но что же я могу выдумать? – спрашивал я себя. – В амбар к нему что ли поступить?

Эта встреча несколько охладила даже мою работу над «Гамлетом». Я переводил его для себя, прозой, – он никак не был в числе произведений, близких мне. Он просто попался мне под руку – как раз тогда, когда мне так хотелось снова начать чистую, трудовую жизнь. Я не медля взялся тогда за работу, и она вскоре увлекла меня, стала радовать, возбуждать своей трудностью. Кроме того, родилась во мне тогда мысль стать вообще переводчиком, открыть себе впоследствии источник не только неизменных художественных наслаждений, но и существования. Теперь, воротясь домой, я вдруг понял всю сомнительность подобных надежд. Понял и то, что дни идут, а все мои «мечтания», которые Балавин, сам того не желая, вновь взволновал во мне, так и остаются мечтаниями. О нашем «бедственном положении» я быстро забыл. Другое дело были «мечтания»... В чем собственно состояли они? Да вот упомянул, например, Балавин случайно про Кавказ – «отцы ваши в таких обстоятельствах на Кавказ служить скакали» – и опять стало казаться мне, что я бы полжизни отдал, лишь бы быть на месте отцов...

На ярмарке гадала мне по руке молоденькая цыганка. Уж как не новы эти цыганки! Но чего только не перечувствовал я, пока она держала меня за руку своими цепкими черными пальцами, и сколько думал потом о ней! Вся она была, конечно, необыкновенно пестра разноцветностью своих желтых и красных лохмотьев и все время слегка поводила бедрами, говоря мне обычный вздор, откинув шаль с маленькой смоляной головы и томя меня не только этими бедрами, сонной сладостью глаз и губ, но и всей своей древностью, говорившей о каких-то далеких краях, и тем еще, что опять тут были мои «отцы», – кому же из них не гадали цыганки? – моя тайная связь с ними, жажда ощущения этой связи, ибо разве могли бы мы любить мир так, как любим его, если бы он уж совсем был нов для нас.

V

В те дни я часто как бы останавливался и с резким удивлением молодости спрашивал себя: все таки что же такое моя жизнь в этом непонятном, вечном и огромном мире, окружающем меня, в беспредельности прошлого и будущего и вместе с тем в каком-то Батурине, в ограниченности лично мне данного пространства и времени? И видел, что жизнь (моя и всякая) есть смена дней и ночей, дел и отдыха, встреч и бесед, удовольствий и неприятностей, иногда называемых событиями; есть беспорядочное накопление впечатлений, картин и образов, из которых лишь самая ничтожная часть (да и то неизвестно зачем и как) удерживается в нас; есть непрерывное, ни на единый миг нас не оставляющее течение несвязных чувств и мыслей, беспорядочных воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем; а еще – нечто такое в чем как будто и заключается некая суть ее, некий смысл и цель, что-то главное, чего уж никак нельзя уловить и выразить, и – связанное с ним вечное ожидание: ожидание не только счастья, какой-то особенной полноты его, но еще и чего-то такого, в чем (когда настанет оно) эта суть, этот смысл вдруг наконец обнаружится. «Вы, как говорится в оракулах, слишком в даль простираетесь...» И впрямь: втайне я весь простирался в нее. Зачем? Может быть, именно за этим смыслом?

VI

Брат Георгий уехал опять в Харьков и опять, как когда-то, бесконечно давно, когда его везли в тюрьму, в светлый и холодный октябрьский день. Я провожал его на станцию. Мы резво катили по набитым, блестящим дорогам, отгоняли бодрими разговорами о будущем грусть разлуки, ту тайную боль о прожитом сроке жизни, которому всякая разлука подводит последний итог и тем самым навсегда его заканчивает. – Все, Бог даст, устроится! – говорил брат, себялюбиво не желая огорчать себя, своих надежд на харьковскую жизнь. – Как только осмотрюсь немного и справлюсь со средствами, тотчас же выпишу тебя. А там видно будет, что и как... Хочешь папиросу? – сказал он и с удовольствием стал глядеть, как я неловко, в

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин первый раз в жизни, закуриваю.

Возвращаться домой, одному, было особенно грустно и странно. Даже как-то не верилось, что то, чего мы все так долго втайне боялись, совершилось, что вот брата уже нет, что я еду один и один проснусь завтра в Батуристине. А дома меня ожидало еще и большое несчастье. Я возвращался в ледяные багровые сумерки. На пристяжке была кабардинка, всю дорогу не дававшая отдыху шедшему крупной рысью кореннику. Приехав, я о ней не подумал, ее, не выведив, напоили, потная, она смертельно продрогла, простояла морозную ночь без попоны и под утро пала. В полдень я пошел в лужки за садом, куда ее стащили. О, какая жестокая, светлая пустота была в мире, какое гробовое солнечное молчание, какая прозрачность воздуха, холод и блеск пустых полей! Кабардинка безобразно чернела в лужках своей мертвой грудой, высоко вздутым боком и тонкой длинной шеей с далеко откинутой лежачей головой. Собаки уже работали над ее брюхом, сладострастно мотали, рвали его, стоя старых воронов выжидательно торчала подле, как-то свирепо взлетая порой, когда собаки, беспокойно рычавшие даже в самый разгар своих мерзких хлопот, вдруг кидались на нее с оскаленными и окровавленными мордами...

А после завтрака, когда я тупо лежал на диване в своей комнате, за мелкими квадратными стеклами которой ровно синело осеннее небо и чернели нагие деревья, слышались по коридору быстрые и тяжелые шаги и внезапно вошел ко мне отец. В руках у него была его любимая бельгийская двустволка, единственная драгоценность, оставшаяся ему от прежней роскоши. – Вот, – сказал он, решительно кладя ее рядом со мной. – Дарю, что могу, чем богат, тем и рад. Может быть, это тебя хоть немного утешит...

Я вскочил, схватил его руку, но не успел поцеловать – он отдернул ее и, быстро наклонившись, неловко поцеловал меня в висок. – И вообще ты не очень убивайся, – прибавил он, стараясь говорить с обычной своей бодростью. – Это я уж не о лошади, конечно, говорю, а вообще о твоём положении... Ты думаешь, я ничего не вижу, не думаю о тебе? Больше всех думаю! Я перед всеми вами виноват, всех вас по миру пустил, да у тех хоть что-нибудь есть. Николай все таки хоть немного обеспечен, у Георгия есть образование, а у тебя что, кроме твоей прекрасной души? Да и что им? Николай человек вполне дюжинный, Георгий всегда вечным студентом останется, а вот ты...

И хуже всего то, что не усидишь ты долго с нами, и что тебя ждет, один Бог ведает! А все таки помни мое: нет беднее беды, чем печаль...

## VII

В ту осень пусто, тихо было в нашем доме. Никогда, кажется, не чувствовал я такой нежной любви к отцу и матери, но только одна сестра Оля спасала меня в те дни от чувства одиночества, с особенной силой овладевшего мной. Делить прогулки, вести разговоры, мечтать о будущем я стал теперь с ней – и с удивлением и радостью все больше убеждался в том, что она гораздо взрослей, развитей и душевно и умственно и гораздо ближе мне, чем я мог полагать. Был в этих наших новых отношениях еще и какой-то чудесный возврат к нашей дальней, детской близости...

Отец сказал про меня: «Что ждет тебя, один Бог ведает!» А что ждало ее, со всей прелестью ее юности и со всей бедностью и одиночеством в Батуристине?

Впрочем, я тогда думал больше всего о себе.

## VIII

Работу я бросил. Много времени проводил на деревне, по избам, много охотился – то с братом Николаем, то один. Борзых у нас уже не было, оставалась только пара гончих. Большие охоты, еще кое-где уцелевшие в уезде, травили волков, лисиц, далеко и надолго уходили в отъезжее поле, в места более прибыльные, чем наши. Мы же и одному русаку бывали рады, – вернее, нашим скитаньям за ним по осенним полям, на осеннем воздухе.

Так скитался я однажды, в конце ноября, под Ефремовым. Рано утром позавтракали в людской горячими картошками, перекинул ружье за плечи, сел на старого рабочего мерина, кликнул собак и поехал. У брата веяли, я поехал один. Выдался

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

необыкновенно теплый, солнечный день, но в полях было грустно, а в смысле охоты совсем безнадежно: грустно потому, что уже слишком тихо и голо было всюду и во всем было то последнее, бедное, смиренное, что бывает только самой поздней осенью, а безнадежно по причине недавних дождей: было так грязно и вязко, – и не только по дорогам, а и на зеленях, на взметах и жнивьях – что и мне и собакам приходилось пробираться все межами и гранями. Я вскоре и думать перестал об охоте, а за мной и собаки – бежали себе впереди, отлично понимая невозможность гона по такому полю, если бы даже и было что гнать, и несколько оживляясь лишь тогда, когда мы попадали в какой-нибудь голый перелесок, где крепко и сыро пахло прелым листом, или проходили по рыжим дубовым кустарникам, по какому-нибудь лугу, бугру. Но ничего не было и тут: всюду пустота, молчание, жидкий, безжизненный, хотя и теплый, ясный блеск, в котором по осеннему низко, плоско и четко лежали светлые окрестности, – все эти клетчатые от жнивий, зеленей и пашен перевалы полей, рыжие шкуры кустарников, сизо-сереющие кое-где вдаль березовые и осинные острова...

И от Лобанова я повернул наконец назад. Проехал Шипово, потом въехал в ту самую Кроптовку, где было родовое имение Лермонтовых. Тут я отдохнул у знакомого мужика, посидел с ним на крылечке, выпил квасу. Перед нами был выгон, за выгоном – давно необитаемая мелкопоместная усадьба, которую красил немного только сад, неподвижно поднимающий в бледно-голубом небосклоне, за небольшим старым домом, свои черные верхушки. Я сидел и, как всегда, когда попадал в Кроптовку, смотрел и думал: да ужели это правда, что вот в этом самом доме бывал в детстве Лермонтов, что почти всю жизнь прожил тут его родной отец? – Говорят, продают, – сказал мужик, тоже глядя на усадьбу и щурясь. – Говорят, ефремовский Каменев торгует...

И, взглянув на меня, еще более сощурился: – А вы как? Не продаете еще? – Это дело отца, – ответил я уклончиво. – Конечно, конечно, – сказал мужик, думая что-то свое. – Я это только к тому, что все, мол, теперь продают, плохое пришло господам житье. Народ избаловался, – и свое-то и то как попало работают, а не то, что господское, – а цена на руки в горячее время – приступу нет, а загодя, под заработки, барину не из чего дать – нужда, бедность...

Дальше я поехал, делая большой крюк, решив для развлечения проехать через Васильевское, переночевать у Писаревых. И, едуци, как-то особенно крепко задумался вообще о великой бедности наших мест. Все было бедно, убого и глухо кругом. Я ехал большой дорогой – и дивился ее заброшенности, пустынности. Ехал проселками, проезжал деревушки, усадьбы: хоть шаром покати не только в полях, на грязных дорогах, но и на таких же грязных деревенских улицах и на пустых усадебных дворах. Даже непонятно: да где же люди и чем убивают они свою осеннюю скуку, безделье, сидя по этим избам и усадьбам? А потом я опять вспомнил бессмысленность и своей собственной жизни среди всего этого и просто ужаснулся на нее, вдруг вспомнив вместе с тем Лермонтова. Да, вот Кроптовка, этот забытый дом, на который я никогда не могу смотреть без каких-то бесконечно-грустных и неизъяснимых чувств...

Вот бедная колыбель его, наша общая с ним, вот его начальные дни, когда так же смутно, как и у меня некогда, томилась его младенческая душа, «желанием чудным полна», и первые стихи, столь же, как и мои, беспомощные... А потом что? А потом вдруг «Демон», «Мцыри», «Тамань», «Парус», «Дубовый листок оторвался от ветки родимой...» Как связать с этой Кроптовкой все то, что есть Лермонтов? Я подумал: что такое Лермонтов? – и увидел сперва два тома его сочинений, увидел его портрет, странное молодое лицо с неподвижными темными глазами, потом стал видеть стихотворение за стихотворением и не только внешнюю форму их, но и картины, с ними связанные, то есть то, что и казалось мне земными днями Лермонтова: снежную вершину Казбека, Дарьяльское ущелье, ту, неведомую мне, светлую долину Грузии, где шумят, «обнявшись точно две сестры, струи Арагвы и Куры», облачную ночь и хижину в Тамани, дымную морскую синеву, в которой чуть белеет вдаль парус, молодую ярко-зеленую чинару у какого-то уже совсем сказочного Черного моря... Какая жизнь, какая судьба! Всего двадцать семь лет, но каких бесконечно-богатых и прекрасных, вплоть до самого последнего дня, до того темного вечера на глухой дороге и подошвы Машука, когда, как из пушки, грянул из огромного старинного пистолета выстрел какого-то Мартынова и «Лермонтов упал, как будто подкошенный...» Я подумал все это с такой остротой чувств и воображения и у меня вдруг занялось сердце таким восторгом и завистью, что я даже вслух сказал себе, что довольно наконец с меня Батурина!

Я думал о том же и на другой день, возвратившись домой.

Ночью я сидел в своей комнате и, думая, читал вместе с тем, – перечитывал «Войну и мир.» Погода за день круто изменилась. Ночь была холодная и бурная. Было уже поздно, весь дом был тих и темен. У меня топилась печка, пылала и гудела тем жарче, чем злей и сумрачней налетал на сад, на дом и потрясал окна ветер. Я сидел, читал и вместе с тем думал о себе, с грустным наслаждением чувствуя этот поздний час, ночь, печку и бурю. Потом встал, оделся, вышел через гостиную наружу и стал взад и вперед ходить по поляне перед домом, по ее уже скудной и мерзлой траве. Кругом чернел шумный сад, над поляной стоял бледный свет. Ночь была лунная, но какая-то мучительная, оссиановская. Ветер, ледяной, северный, свирепствовал, верхушки старых деревьев мрачно и слитно ревели, кусты шумели остро, сухо и как будто бежали вперед; по небу, замазанному чем-то белесым, по небольшому лунному пятну в огромном радужном кольце быстро неслись с севера, где было особенно зловеще и угрюмо, темные и странные, какие-то не наши, а как будто морские облака, вроде тех, что изображали старинные живописцы ночных кораблекрушений. И я, то на ветер, одолевая его ледяную свежесть, то гонимый им в спину, стал ходить и опять думать – с той беспорядочностью и наивностью, с которой всегда в молодости думаются думы наиболее сокровенные. Я думал приблизительно так: – Нет, лучше этого я еще никогда ничего не читал! Впрочем, а «Казачьи», Ерощка, Марьянка? Или пушкинское «Путешествие в Арзерум»? Да, как они были все счастливы, – Пушкин, Толстой, Лермонтов! – Вчера, говорят, мимо нас прошла по большой дороге в отъездное поле чья-то охота вместе с охотой молодых Толстых. Как это удивительно – я современник и даже сосед с ним! Ведь это все равно, как если бы жить в одно время и рядом с Пушкиным. Ведь это все его – эти Ростовы, Пьер, Аустерлицкое поле, умирающий князь Андрей: «Ничего нет в жизни, кроме ничтожества всего понятного мне, и величия чего-то непонятного, но важнее...» Пьеру кто-то все говорил: «Жизнь есть любовь... Любить жизнь – любить Бога...» Это кто-то и мне всегда говорит, и как люблю я все, даже вот эту дикую ночь! Я хочу видеть и любить весь мир, всю землю, всех Наташ и Марьянок, я во что бы то ни стало должен отсюда вырваться!

В кольце вокруг млечно-туманной луны было точно какое-то зловещее небесное знамение. Бедный, слегка склоненный на бок лик ее все больше грустнел и туманился на белесой мути неба, в вышине неслись и мешались, порой могильно закрывая этот лик, дымные, свинцовые, а то и совсем темные облака... с севера, из-за ревущего сада, поднималась черная туча и дико пахло по ветру снегом. А я ходил и думал: – Да, больше нельзя так жить. Я не мог бы, если бы даже имел десять незаложенных Батуриных.

Как это ужасно, что даже сам Толстой в молодости мечтал больше всего о женитьбе, о семье, о хозяйстве! А вот теперь все твердят о «работе на пользу народа», о «возмещении своего долга перед народом...» Но никакого долга перед народом я никогда не чувствовал и не чувствую. Ни жертвовать собой за народ, ни «служить» ему, ни играть, как говорит отец, в партии на земских собраниях я не могу и не хочу... Нет, надо наконец на что-нибудь решиться!

Я тщетно искал, на что именно должен решиться я, и вернулся в дом, совсем запутавшись в беспорядочном и бесплодном думаньи. Печка потухла, лампа выгорела, пахла керосином и светила уже так слабо, что в комнате виден был неверный свет этой бледной и тревожной ночи. Я посидел возле письменного стола, потом взял перо – и неожиданно стал писать брату Георгию, что еду на днях искать какого-нибудь места в орловском «Голосе...»

X

Это письмо и решило мою судьбу.

Выехав я, конечно, не «на днях», – нужно было сперва собрать хоть какие-нибудь деньги в дорогу, – но все равно: наконец выехал.

Помню мой последний завтрак дома. Помню, что лишь только был он кончен, как послышался глухой шорох бубенчиков под окнами, и выросла за ними, совсем с ними рядом, пара деревенских зимних, лохматых лошадей, – лохматых и от снега, который непроглядно валил в тот день густыми молочными хлопьями... Как, Боже мой, старо все это, все подобные отъезды, а как мучительно-ново было для меня! Мне

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин показалось, что даже и снег валил в тот день какой-то совсем особенный – так поразил он меня своей белизной и свежестью в ту минуту, когда, отягченный отцовской енотовой шубой и сопровождаемый всем домом, я вышел садиться.

А потом был точно сон – долгая, безмолвная дорога, мерное покачивание саней в этом бесконечно-белом царстве снежных хлопьев, где не было ни земли, ни неба, а только какая-то неустанно текущая вниз белизна, да очаровательные зимние дорожные запахи: лошадиной вони, мокрого енотового воротника, серника и махорки при закуриваньи... А потом мелькнул в этой белизне первый телеграфный столб, показались занесенные снегом, торчащие из придорожных сугробов щиты, то есть, уже начало какой-то иной, не степной жизни, то, для русского человека всегда особое, волнующее, что называется железной дорогой...

Когда пришел поезд, я, простившись с работником, отдав ему шубу и наказав доправить в Батурине тысячу поклонов, вошел в людный третьеклассный вагон с таким чувством, точно отправлялся в путь, которому и конца не предвиделось. Я даже долго дивился тому равнодушию, с которым одни из пассажиров пили чай и закусывали, другие спали, третьи, от нечего делать, все подбрасывали дрова в железную печку, и без того уже докрасна раскаленную, на весь вагон дышавшую пламенем. Я сидел и наслаждался даже этим сухим металлическим жаром, его березовым и чугунным запахом, а за окнами все валил и валил сизо-белый снег, и все время как будто близилась сумерки...

То чувство, с которым я вошел в вагон было правильно – впереди ожидал меня и впрямь немалый, небудничный путь, целые годы скитаний, бездомности, существования безрассудного и беспорядочного, то бесконечно счастливого, то глубоко несчастного, словом, всего того, что, очевидно, и подобало мне и что, быть может, только с виду было так бесплодно и бессмысленно...

## XI

Те смутные думы, с которыми я тогда выехал, были полны необыкновенной грусти и нежности ко всему тому, с чем я только что расстался, что покинул на тишину и одиночество в Батурине; я видел, чувствовал там даже свое собственное отсутствие, видел свою опустевшую комнату, как бы хранившую в своем почти набожном молчании нечто уже навеки завершённое – меня прежнего. Но была в этой грусти и большая тайная радость, счастье наконец-то осуществившейся мечты, какой-то свободы и воли, деятельности, движения (к чему-то тем более заманчивому, что совсем еще неопределенно было оно). И все росли эти чувства с каждой новой станцией, так что все слабели первые, пока не отступило наконец куда-то вдаль (во что-то милое, но уже почти чуждое) все прошлое, покинутое, и не осталось одно настоящее, которое понемногу делалось все интересней и ярвственней: вот я уже несколько освоился со множеством этих чужих, грубых жизней и лиц вокруг себя, несколько разобрался в них, и вместе с чувствами своими, личными, стал жить и чувствами к ним, стал делать о них всякие предположения, различать то махорки табак Асмолова, узел на коленях бабы от расписанной под дуб укладки, стоящей против меня под локтем новобранца; вот я уже заметил, что вагон довольно нов и чист, что он желтый и рубчатый от планок, составляющих его нагретые чугунной стены, и очень душен от этих разных табачных дымов, в общем очень едких, хотя и дающих приятное чувство дружной человеческой жизни, как-то оградившей себя от снегов за окнами, где встает и никнет, плывет и не кончается телеграфная проволока; а вот мне уже хочется наружу, на снег и на ветер, и я, качаясь, иду к двери... Полевой снежный холод дует в сенцы вагона, кругом белизна каких-то теперь уже совсем неизвестных полей. Снег наконец реддеет, стало светлей и еще белей, а поезд меж тем куда-то подходит и на несколько минут останавливается: какой-то глухой полустанок, тишина, – только горячо сипит паровоз впереди, – и во всем непонятная прелесть: и в этом временном оцепенении и молчании, и в паровозной сипящей выжидательности, и в том, что вокзала не видно за красной стеной товарных вагонов, стоящих на первом пути, на обтаявших рельсах, среди которых спокойно, по-домашнему ходит и поклевывает курица, осужденная мирно провести весь свой куринный век почему-то именно на этом полустанке и совсем неинтересующаяся тем, куда и зачем едешь ты со всеми своими мечтами и чувствами, вечная и высокая радость которых связывается с вещами внешне столь ничтожными и обыденными...

Когда потом стало близиться к вечеру, все перешло лишь в одно – в ожидание первой большой станции. И задолго до нее я опять зяб в сенцах, пока не увидел наконец впереди, в неприветливых сумерках, многих разноцветных огней, во все

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
стороны расходящихся рельс, постов, стрелок, запасных паровозов, а затем и  
вокзала с черной от толпы платформой... Легко представить себе, с какой  
поспешностью кинулся я в пахучий и светлый буфет и стал обжигаться какими-то  
вкуснейшими в мире щами!

Последствие всего этого были довольно неожиданные: с большим удовлетворением  
сидя после обеда с папиросой возле черных оконных стекол вновь гремевшего  
вагона, в дымном полусвете толстой казенной свечи, горевшей в углу в фонаре,  
думал я о том, что вот, как это ни странно, скоро и цель моего путешествия, тот  
самый Орел, которого я еще почти никак не представляю себе, но который уже одним  
тем удивителен, что там, вдоль вокзала, – великий пролет по всей карте России:  
на север – в Москву, в Петербург, на юг – в Курск и в Харьков, а главное – в тот  
самый Севастополь, где как будто навеки осталась молодая отцовская жизнь... И я  
вдруг сказал себе: да ужели и правда, что я еду в какой-то «Голос», на какую-то  
службу? Там, конечно, тоже было нечто такое, что влекло ужасно, – какая-то  
редакция, какая-то типография. Но Курск, Харьков, Севастополь... «Нет, все это  
вздор! – вдруг сказал я себе. – В Орел я лишь заеду, познакомлюсь, узнаю, что  
мне предложат, скажу, что мне надо подумать, повидаться с братом... Заеду – и  
дальше, в Харьков!»

Но оказалось, что даже и заезжать не следует. Вышло еще лучше, чем я  
предполагал: как нарочно попал я в Орел с опозданием, как раз к приходу сверху  
поезда на Харьков. И поезд, как нарочно, был чудесный, никогда еще невиданный  
мною – скорый, с американским страшным паровозом, весь из тяжелых и больших  
вагонов лишь первого и второго класса, с шерстяными занавесками на окнах, с  
полутемным светом из-под синего шелка, со всем тем теплом и уютом богатого мира,  
провести ночь в котором (да еще в пути на юг) мне показалось уже совсем  
неотразимым счастьем...

## XII

В Харькове я сразу попал в совершенно новый для меня мир.

В числе моих особенностей всегда была повышенная восприимчивость к свету и  
воздуху, к малейшему их различию. И вот первое, что поразило меня в Харькове:  
мягкость воздуха и то, что света в нем было больше, чем у нас. Я вышел из  
вокзала, сел в извозчицьи сани, – извозчики, оказалось, ездили тут парой, с  
глухарями-бубенчиками и разговаривали друг с другом на вы, – оглянулся вокруг и  
сразу почувствовал во всем что-то не совсем наше, более мягкое и светлое, даже  
как будто весеннее. И здесь было снежно и бело, но белизна была какая-то иная,  
приятно слепящая. Солнца не было, но света было много, больше во всяком случае,  
чем полагалось для декабря, и его теплое присутствие за облаками обещало что-то  
очень хорошее. И все было мягче в этом свете и воздухе: запах каменного угля  
из-за вокзала, лица и говор извозчиков, громоуханье на парных лошадях бубенчиков,  
ласковое зазыванье баб, продававших на площади перед вокзалом бублики и семячки,  
серый хлеб и сало. А за площадью стоял ряд высочайших тополей, голых, но тоже  
необыкновенно южных, малорусских. А в городе на улицах таяло...

Однако все это было ничто в сравнении с тем, что ожидало меня в тот день далее:  
такого количества новых чувств я еще никогда не испытывал, столько знакомств за  
всю жизнь не делал. Бывает так, что в первый же день по приезде куда-нибудь  
попадаешь на редкое обилие впечатлений и встреч. Так было и со мной в тот день.

В брате, который встретил меня с радостным изумлением, оказалось тоже что-то  
новое, – он тут, в Харькове, был как будто какой-то другой, чем в Батурине, как  
будто менее близок мне, несмотря на всю радость, с которой мы встретились. И как  
странна была его харьковская жизнь! Пусть и впрямь был он «вечный студент», по  
выражению отца, но ведь все-таки был он Арсеньев. А где же нашел я его? В  
какой-то узкой улочке, идущей под гору, в каменном и грязном дворе, густо  
пахнущем каменным углем и еврейскими кухнями, в тесной квартирке какого-то  
многосемейного портного Блюмкина... Правда, даже и это было страшно хорошо своей  
новизной, но все же я был поражен. – Ну, как отлично, что ты попал в воскресенье  
и застал меня! – сказал брат, расцеловавшись со мной. – Хотя, собственно, зачем  
ты приехал? – тотчас же прибавил он, стараясь говорить в том вечно насмешливом  
тоне, который был так принят в нашей семье.

Я ответил, что и сам не знаю, зачем... затем, конечно, чтобы посоветоваться  
наконец серьезно, как же мне в самом деле быть с собой? Но брат уже не слушал, –

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин «обдумаем как-нибудь!» уверенно сказал он, – и тотчас же стал торопить меня умыться, придется и идти обедать с ним в кухмистерскую какого-то «пана» Лисовского, где всегда обедали многие из его сослуживцев по земской статистике. И вот мы вышли и пошли из улицы в улицу, продолжая что попало говорить с обычной в таких случаях беспорядочностью, меж тем как у меня, – одетого уже горожанином и очень это чувствующего, – глаза разбегались на эти улицы, казавшиеся мне совершенно великолепными, и на то, что окружало меня: после полудня стало совсем солнечно, всюду блестело, таяло, тополя на Сумской улице возносились верхушками к пухлым белым облакам, плившим по влажно-голубому, точно слегка дымящемуся небу...

А у пана Лисовского оказался необыкновенно интересный низок, стойка с превосходными и удивительно дешевыми закусками, – особенно хороши были как огонь горячие и страшно перченные блинчатые пирожки по две копейки штука. Когда мы сели за большой отдельный стол, стали подходить и присоединяться к нам люди уже и совсем для меня странные, на которых я смотрел тем более жадно, что все это были как раз те самые (как будто совсем особые от всех прочих) люди, о которых я столько наслушался от брата еще в Батурине. Со всеми с ними брат знакомил меня с радостной поспешностью и даже как будто с гордостью. И вскоре у меня голова кругом шла: и от этого совершенно для меня непривычного и столь замечательного общества, и от этого людного низка, в полуподвальные окна которого по-весеннему весело блестел сверху солнечный свет и видны были всяческие ноги идущих взад и вперед по улице, и от красного горячего борща, и от того, что весьма оживленный разговор за нашим столом шел все о чем-то совсем неизвестном, а меж тем казавшемся чрезвычайно интересным мне: о знаменитом статистике Анненском, имя которого производилось с неизменным восхищением, о каком-то волжском губернаторе, который будто бы порол голодающих мужиков, чтобы они не распространяли слухов о своем голоде, о предстоящем в Москве Пироговском съезде, который, как всегда, должен быть целым событием...

Легко представляю себе, до чего резко выделялся я за этим обедом своей юностью, свежестью, деревенским загаром, здоровьем, простосердечностью, горячей и напряженной внимательностью слуха и зрения, вид имевшей, вероятно, даже глупости и отупения! Очень выделялся и брат. И он был из какого-то совсем другого мира, чем все прочие, несмотря на всю близость к ним; и он казался моложе и как будто наивней всех, имел какой-то более тонкий вид и даже иной язык.

Многие из этого общества были, как я понял впоследствии, очень типичны и по внешности и по всему прочему. Некоторых я втайне уже не одобрил кое в чем: один, очень длинный и узкогрудый, был слишком близорук и все сутулился, все держал руку в кармане штанов и все мелко тряс ногой, на которой лежала другая, чудодейственно заплетенная за нее винтом нога; другой, желтоволосый, прозрачно-желтый и худой лицом, говорил, как мне казалось, чересчур много, горячо и вдохновенно и, не глядя на папиросу, все сбивал с нее пепел вытянутым костлявым указательным пальцем той же руки, в которой держал ее; а следующий все чему-то едко ухмылялся, делая то, что мне было особенно неприятно: все катал по скатерти двумя пальцами катышку белого хлеба, уже давно ставшую грязной... Но зато некоторые другие были чрезвычайно милы: поляк Ганский с глубокими и скорбными глазами и запекшимися губами, куривший неустанно, глубоко затягиваясь и поминутно поджигая и без того горящую папиросу дрожащей рукой; огромный ростом и живописно-кудрявый Краснопольский, похожий на Иоанна Крестителя; бородатый Леонтович, который был старше и, как статистик, известней всех и сразу очаровал меня ласковым спокойствием, доброжелательной рассудительностью и, главное, необыкновенно приятным, чисто малорусским звуком грудного голоса; затем некто Падалка, маленький востроносенький, в очках, до нельзя рассеянный, неистово пылкий, все на что-то страстно негодовавший и вместе с тем такой детски чистый, искренний, что я тотчас же полюбил его еще более, чем Леонтовича. Ужасно понравился мне еще статистик Вагин, – статистик, как я узнал потом, такой заядлый, что для него, казалось, во всем мире не существовало ничего, кроме статистики, – крепкий, рослый, белозубый, по-мужицки красивый и веселый, – он и был из мужиков, – хохотавший раскатисто и заразительно, говоривший крупно, окая... И ужасную неприязнь возбуждали два человека: бывший рабочий Быков, коренастый парень в блузе, в кудрявой голове которого, в толстой шее и выкаченных глазах было и впрямь что-то бычье, и еще один, по фамилии Мельник: весь какой-то дохлый, чахлый, песочно-рыжий, золотушный, подслепый и гнусавый, но необыкновенно резкий и самонадеянный в суждениях, – много лет спустя оказавшийся, к моему крайнему изумлению, большим лицом у большевиков, каким-то «хлебным диктатором...»

### XIII

В среде подобных людей я и провел мою первую харьковскую зиму (да и многие годы впоследствии).

Известно, что это была за среда, как слагалась, жила и веровала она.

Замечательней всего было то, что члены ее, пройдя еще на школьной скамье все то особое, что полагалось им для начала, то есть какой-нибудь кружок, затем участие во всяких студенческих «движениях» и в той или иной «работе», затем высылку, тюрьму или ссылку и так или иначе продолжая эту «работу» и потом, жили, в общем, очень обособленно от прочих русских людей, даже как бы и за людей не считая всяких практических деятелей, купцов, земледельцев, врачей и педагогов (чуждых политике), чиновников, духовных, военных и особенно полицейских и жандармов, малейшее общение с которыми считалось не только позорным, но даже преступным, и имели все свое, особое и непоколебимое: свои дела, свои интересы, свои события, своих знаменитостей, свою нравственность, свои любовные, семейные и дружеские обычаи и свое собственное отношение к России: отрицание ее прошлого и настоящего и мечту о ее будущем, веру в это будущее, за которое и нужно было «бороться». В этой среде были, конечно, люди весьма разные не только по степени революционности, «любви» к народу и ненависти к его «врагам», но и по всему внешнему и внутреннему облику. Однако, в общем, все были достаточно узки, прямолинейны, нетерпимы, исповедывали нечто достаточно несложное: люди – это только мы да всякие «униженные и оскорбленные»; все злое – направо, все доброе – налево; все светлое – в народе, в его «устоях и чаяниях»; все беды – в образе правления и дурных правителях (которые почитались даже за какое-то особое племя); все спасение – в перевороте, в конституции или республике...

И вот к этой-то среде и присоединился я в Харькове. Уж как не подобала она мне! Но к какой другой мог присоединиться я? Никакой связи с другими кругами у меня не было, да я и не искал ее: над желанием проникнуть в них преобладало чувство и сознание, что, если и есть многое, что совсем не по мне в моем новом кругу, то очень и очень многое будет в других кругах не по мне еще более, ибо что общего было у меня, например, с купцами, с чиновниками? Да многое в этом кругу было просто приятно мне. Знакомства мои в нем быстро расширились, и мне нравилась легкость, с которой можно было делать это в нем. Нравилась студенческая скромность его существования, простота обычаев, обращение друг с другом. Кроме того, и жилось в этом кругу довольно весело. Утром – сборище на службе, где не мало чаепития, куренья и споров; затем оживленная трапеза, так как обедали почти все компаниями, по кухмистерским; вечером – новое сборище: на каком-нибудь заседании, на какой-нибудь вечеринке или на дому у кого-нибудь... Мы в ту зиму чаще всего бывали у Ганского, человека довольно состоятельного, затем у Шкляревич, богатой и красивой вдовы, где нередко бывали знаменитые малорусские актеры, певшие песни о «вильном казацтве» и даже свою марсельезу – «До зброи, громада!»

А не по мне было в этом кругу тоже многое. По мере того как я привыкал и присматривался к нему, я все чаще возмущался в нем то тем, то другим и даже порой не скрывал своего возмущения, пускался в горячий и, конечно, напрасный спор то по одному, то по другому поводу, благо большинство полюбило меня и прощало мне мои возмущения. Я чувствовал, что все больше проникаюсь огульным предубеждением против всех других кругов, а что нахожу в своем? Девочкам и мальчикам дают тут читать политическую экономию, сами читают только Короленко, Златовратского, а Чехова презирают за «политическое безразличие», Толстого всячески поносят за «постыднейшую и вреднейшую проповедь неделания», за то, что он «носит с Богом, как с писанной торбой», и, поиграв в пахаря или сапожника, садится за «роскошный» стол, в то время как тот же яснополянский мужик, в любви к которому он так распинается, «пухнет с голоду»; о художественной литературе говорят вообще так, что в меня, вопреки всем моим возмущениям, все-таки с каждым днем все больше и больше внедряется тайный страх, что, может быть, и впрямь вот этого никак нельзя писать, а вот это никому не нужно, а вот это (о бедном Макаре или о жизни ссыльных) единственно необходимо; всегда готовы на все за благо России, а все русские сословия, кроме самого темного и нищего, взяли под самое строгое подозрение; времена «Отечественных Записок» считают золотым веком, а их закрытие одним из самых больших и страшных событий всей русской жизни, свое же время называют безвременьем – «бывали хуже времена, но не было подлей» – и уверяют, будто бы вся Россия от этого безвременья «задыхается»; клеймят

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин «ренегатом» всякого, кто хоть мало-мальски усумнился в чем-нибудь ими узаконенном и поминутно издеваются над чьей-нибудь «умеренностью и аккуратностью»; пресерьезно восхищаются тем, например, что жена Вагина организует какие-то воскресные чтения с волшебным фонарем и сама готовит одно такое чтение – «об огнедышащих горах»; на вечеринках поют даже бородатые: «Вихри враждебные веют над нами» – а я чувствую такую ложь этих «вихрей», такую неискренность выдуманных на всю жизнь чувств и мыслей, что не знаю, куда глаза девать, и меня спрашивают:

– А вы, Алеша, опять кривите свои поэтические губы?

Это спрашивает жена Богданова, того самого статистика, который так непостижимо для меня умеет винтом заплетать нога за ногу. У Богдановых большой вечер, в маленькой квартире их многолюдство и табачный дым, со стола не сходит самовар, углы полны опустевшими пивными бутылками: собрались в честь тайно приехавшего в Харьков старого, знаменитого «борца», прославившегося своей огромной и жестокой деятельностью, без счета сидевшего по крепостям, несколько раз попадавшего за полярный круг и отовсюду убежавшего, человека с виду совсем пещерного, густобородого и неуклюжего, с волосами в ноздрях и ушах, маленькие глазки которого глядят, однако, чрезвычайно умно и пронизательно, а речь льется с удивительной плавностью, точно по писаному. Сам Богданов всячески незначителен, но жена его давно и заслуженно пользуется известностью: кого только не знала она на своем веку, в каких только предприятиях не участвовала! Она была когда-то хорошенькая, имела множество поклонников, до сих пор весела и бойка, на язык остра и находчива, отбрить может всякого с редкой логикой, тонка и моложава, на вечеринки принаряжается, подвигает кудряшки на лбу.

Она меня любит, но пробирает на каждом шагу. Теперь я «губы кривлю», потому, что, вдоволь наслушавшись знаменитости, вдоволь наговорившись и порядочно выпив, уже поют в одном углу: «Мы пошлем всем злодеям проклятье, на борьбу всех борцов позовем!» – Мне тяжело, неловко, и хозяйка, сидящая возле меня на диване с тонкой папироской в руке, замечает это и раздражается. Я не знаю, что ей ответить, не умею себя выразить, и она, не дожидаясь моего ответа, звонко затягивает: «От ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови...» Мне это кажется просто ужасно – да кто это уж так ликует, думаю я, кто болтает и обагрят! А потом идет нечто еще более для меня ненавистное своим студенческим молодечеством: «Из страны, страны далекой, с Волги матушки широкой, ради славного труда, ради вольности веселой, собрались мы сюда...» Я даже отворачиваюсь от этой Волги-матушки и славного труда и вижу, как Браиловская, прелестная девочка, молчаливая и страстная, с пылкими и пытливыми архангельскими глазами, глядит на меня из угла с вызывающей прямоотой ненависти...

Я не был правее их в общем, то есть в своей легкомысленной революционности, в искренней жажде доброго, человеческого, справедливого, но я просто не мог слушать, когда мне даже шутя (а все-таки, разумеется, наставительно) напоминали: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» – когда в меня внедряли эту обязательность, когда мне проповедывали, что весь смысл жизни заключается «в работе на пользу общества», то есть мужика или рабочего.

Я из себя выходил: как, я должен принести себя в жертву какому-нибудь вечно пьяному слесарю или безлошадному Климу, да и Климу-то не живому, а собирательному, которого в жизни замечают так же мало, как любого едущего по улице извозчика, в то время как я действительно любил и люблю некоторых своих батуриных Климов всем сердцем и последнюю копейку готов отдать какому-нибудь бродячему пыльщику, робко и неловко бредущему по городу с мешком и пилой за плечами и застенчиво говорящему мне, нищему молодому человеку, наивную и трогательную глупость: «Работки у вас, барчук, не найдется какой?»

Я постигнуть не мог, как это можно говорить, будто бы даже и умереть можно спокойно, «честно поработав на пользу общества.» Я истинно страдал при этих вечных цитатах из Щедрина об Иудушках, о городе Глупове и градоначальниках, въезжающих в него на белом коне, зубы стискивал, видя на стене чуть не каждой знакомой квартиры Чернышевского или худого, как смерть, с огромными и страшными глазами Белинского, приподнимающегося со своего смертного ложа навстречу показавшимся в дверях его кабинета жандармам.

Были кроме того в этом кругу и Быковы, Мельники... Трудно было, глядя на их лица,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин освоиться с мыслью, будто они тоже работники на какое-то прекрасное будущее, что они считаются в числе главных знатоков и устроителей человеческих благ.

И был еще один, известный под кличкой Макс, от времени до времени появлявшийся откуда-то в Харькове: рослый, на кривых и крепких, как дубовые корни, ногах, в толстых швейцарских ботинках, подбитых гвоздями, очень спокойный и деловитый, очень точный на слова, с загорелым грубоватым лицом и с большим, кругло и круто расширяющимся над ним горшком черепа. Он необыкновенно мало ел, мало спал и все ехал и ехал куда-то без всякой усталости...

#### XIV

Так прошла зима.

По утрам, пока брат был на службе, я сидел в публичной библиотеке. Потом шел бродить, думать о прочитанном, о прохожих и проезжих, о том, что почти все они, верно, по своему счастливы и спокойны – заняты каждый своим делом и более или менее обеспечены, меж тем как я только томлюсь смутным и напрасным желанием писать что-то такое, чего и сам не могу понять, на что у меня нет ни смелости решиться, ни умения взяться и что я все откладываю на какое-то будущее, а беден настолько, что не могу позволить себе осуществить свою жалкую заветную мечту – купить хорошенькую записную книжку: это было тем более горько, что, казалось, от этой книжки зависит очень многое – вся бы жизнь пошла как-то иначе, более бодро и деятельно, потому что мало ли что можно было записать в нее! Уже наступала весна, я только что прочел собрание малорусских «Дум» Драгоманова, был совершенно пленен «Словом о полку Игореве», нечаянно перечитав его и вдруг поняв всю его несказанную красоту, и вот меня уже опять тянуло в даль, вон из Харькова: и на Донец, воспетый певцом Игоря, и туда, где все еще, казалось, стоит на городской стене, все на той же древней ранней утренней заре, молодая Княгиня Евфросиния, и на Черное море казацких времен, где на каком-то «білом каміні» сидит какой-то дивный «сокіл-білозірець», и опять в молодость отца, в Севастополь...

Так убивал я утро, а потом шел к пану Лисовскому – возвращался к действительности, к этим застольным беседам и спорам, уже ставшим для меня привычными. Потом мы с братом отдыхали, болтали и валялись на постелях в нашей каморке, где после обеда особенно густо пахло сквозь двери еврейской трапезой, чем-то теплым, душисто-щелочным. Потом мы немного работали, – мне тоже давали иногда из бюро кое-какие подсчеты и сводки. А там мы опять шли куда-нибудь на люди...

Я любил бывать у Ганского. Он был прекрасный музыкант, иногда играл для нас по целым вечерам. Станный, совершенно дотоле неведомый мне, сладостно и мучительно возвышенный мир открывал он мне, мир, в который вступал я с восторженной и жуткой радостью при первых же звуках, чтобы тотчас же вслед за тем обрести тот величайший из обманов (мнимой божественной возможности быть всеблаженным, всемогущим, всезнающим), который дают только музыка да иные минуты поэтического вдохновенья! И странно было видеть и самого Ганского, человека столь крайнего в своей революционности, – хотя он реже и сдержанней всех проявлял ее, – сидящим за пианино, с губами уже до черноты спекшимися от той все разгорающейся, напряженной страсти, с которой всегда играл он. Звуки куда-то вели, шли такт за тактом, настойчиво, изысканно-плавно, ликующе, так бессмысленно-божественно-весело, что становились почти страшными, и чудесно-трагический образ вставал перед моим воображением: мне все думалось, что непременно сойдет когда-нибудь Ганский с ума и тогда, в своей узкой камере с решеткой в окне, со своими горящими губами, с экстатическим взором и серым халатом, будет уже непрерывно жить и без музыки в подобном же бессмысленно-радостном, обманчиво-возвышенном мире...

Ганский однажды рассказывал, как он, еще юношей, был в Зальцбурге в доме Моцарта и видел его старинные, узенькие клавикорды, а рядом – стеклянную витрину, где лежал его череп. Я подумал: «Еще юношей! А я?» И мне стало так горько, так обидно, что я едва усидел на месте – такое страстное желание внезапно овладело мной тотчас же бежать домой, сесть, не теряя ни минуты, за какую-то поэму или повесть, написать что-то необыкновенное, сразу прославиться, стать знаменитым – и уехать в Зальцбург, чтобы собственными глазами увидеть и эти клавикорды и этот череп...

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

Много лет спустя я осуществил эту мечту, всегда жившую во мне с тех пор среди множества прочих, давних и заветных: видел и Зальцбург, и череп, и клавикорды. Клавиши их были совершенно одного цвета с черепом, и мне все хотелось наклониться и поцеловать их, приложиться к ним. А сам череп был неправдоподобно мал, совершенно младенческий...

XV

Ранней весной я поехал в Крым.

Мне достали бесплатный билет, я должен был ехать под чьим-то чужим именем, выдавая себя за какого-то железнодорожного рабочего... В больших лишениях проходила моя молодость!

Выехал я в такой тесноте и мерзости, каких я еще никогда не испытывал, в ночном почтовом поезде, прямо страшном своей длиной. Он и пришел переполненный, а на платформе в Харькове осадила его новая несметная орда ехавших на юг на заработки, со всеми своими мешками, котомками и привязанными к ним лаптями и онучами, с чайниками и вонючими съестными запасами: ржавыми таранками, печеными яйцами... Кроме того, время было уже позднее, так что мне тотчас же предстояла бессонная ночь, затем долгий день, а там новая ночь без сна... Но я шел на все – где-то там, вдали, ждала меня отцовская молодость.

Видение этой молодости жило во мне с младенчества. Это был какой-то бесконечно-давний светлый осенний день. В этом дне было что-то очень грустное, но и бесконечно счастливое. Было что-то, что связывалось с моим смутным представлением дней Крымской войны: какие-то редуты, какие-то штурмы, какие-то солдаты того особенного времени, что называлось «крепостным» временем, и смерть на Малаховом кургане дяди Николая Сергеевича, великана и красавца полковника, человека богатого и блестящего, память которого была в нашей семье всегда окружена легендой. А главное – был в этом дне какой-то пустынный и светлый приморский холм, а на этом холме, среди камней, какие-то белые цветы вроде подснежников, что росли на нем только потому, разумеется, что еще в младенчестве слышал я как-то зимой слова отца:

– А мы, бывало, в Крыму, в это время цветочки рвали в одних мундирчиках!

Что же я нашел в действительности?

Помню, что на рассвете первой ночи я очнулся в своем тесном углу на какой-то степной станции, уже далеко от Харькова. Еще догорала свеча в углу, солнца еще не было, но было уже совсем светло и розово. Я с изумлением оглянул тяжко-безобразную картину как попало спящих в этом розовом, и сейчас же открыл окно. Боже, какая заря была! Розовым огнем горит вдали восток, в воздухе та дивная свежесть и ясность, что бывает лишь ранней весной, на рассвете, в степи; в тишине свежо и сладостно, по-весеннему, поют невидимые в небе жаворонки, вправо и влево тянется неподвижная стена нашего поезда, а в двух шагах от нас, на бесконечной и гладкой, как ток, степи, стоит и глядит на меня большой могильный курган... До сих пор не могу понять, чем он так поразил меня. Это было нечто ни на что не похожее ни по своим столь определенным и вместе с тем столь мягким очертаниям, ни по тому, главное, что таилось в них. Это было нечто совершенно необыкновенное при всей своей простоте, такое древнее, что казалось бесконечно чуждым всему живому, нынешнему, и в то же время было почему-то так знакомо, близко, родственно. – Ишь, как в старину-то люди хоронились – сказал мне какой-то старик из дальнего угла. Он один не спал, сидел и, согнувшись, жарко раскуривал трубку, блестя запухшими, слезящимися глазами из-под рваной телячьей шапки, из всего того красного, морщинистого, неряшливо чем-то седым заросшего, что составляло его лицо. – В старину люди хоронились, чтобы память была! – твердо сказал он. – Богатые были.

И, помолчав, добавил: – А может, это татары нас так закапывали? Ведь всего бывало на свете, – и плохого и хорошего...

А второй рассвет был милый, еще удивительней. Опять внезапно очнулся я на какой-то станции – и увидел уже что-то райское: белое летнее утро – тут было уже совсем лето – и что-то очень тесное и сплуть цветущее, росистое и благоуханное, какой-то маленький белый вокзал, весь увитый розами, какой-то лесистый обрыв, отвесно поднимающийся над ним, и какие-то густые, тоже цветущие заросли в

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин обрывах с другой стороны... И как-то совсем иначе, радостно и как будто испуганно, звонко крикнул паровоз, трогаясь в путь. Когда-же снова выбрался он на простор, из-за диких лесистых холмов впереди вдруг глянуло на меня всей своей темной громадной пустыней, поднявшейся в небосклон, что-то тяжело-синее, почти черное, влажно-мглистое, еще сумрачное, только что освобождающееся из влажных и темных недр ночных, – и я вдруг с ужасом и радостью узнал его. Именно – вспомнил, узнал!

Севастополь же показался мне чуть не тропическим. Какой роскошный вокзал, весь насквозь нагретый нежным воздухом! Как горячи, как блещут рельсы перед ним! Небо от зноя даже бледное, серое, но и в этом роскошь, счастье, юг. Все то огромное, мужицкое, что везли мы с собой, по дороге растаяло. А вот и я, почти один, выхожу наконец из поезда, опять с моим подлинным именем, и, шатаясь от усталости и голода, иду в первый класс. Полдень, везде пустота, огромный буфетный зал (мир богатых, свободных и знатных людей, приезжающих сюда с курьерскими!) чист и тих, блещет белизной столов, вазами и канделябрами на них... Я не мог больше удерживаться, быть, как был весь путь, нищенски расчетливым, – спросил себе кофе, калач. Мне все это подали, искоса на меня поглядывая – вид мой и впрямь был подозрителен. Но все равно, – я опять был я, я наслаждался тишиной, чистотой, веющим в окна и двери жарким воздухом – и вдруг увидел: из открытых на яркую платформу дверей неожиданно, но совсем просто, гуляючи, вошло в залу что-то пестренькое, вроде цесарочки... С тех пор уже всегда связывалось у меня представление о южных вокзалах с этим пестреньким.

Но где же было то, за чем как будто и ехал я? Не оказалось в Севастополе ни разбитых пушками домов, ни тишины, ни запустения – ничего от дней отца и Николая Сергеевича с их денщиками, погребцами и казенными квартирами. Город уже давно-давно жил без них, вновь отстроенный, белый, нарядный и жаркий, с просторными извозчичьими колясками под белыми навесами, с караимской и греческой толпой на улицах, осененных светлой зеленью южной акации, с великолепными табачными магазинами, с памятником сутулому Нахимову на площади возле лестницы, ведущей к Графской пристани, к зеленой морской воде со стоящими на ней броненосцами. Только там, за этой зеленой водой, было нечто отцовское – то, что называлось Северной стороной, Братской Могилой; и только оттуда веяло на меня грустью и прелестью прошлого, давнего, теперь уже мирного, вечного и даже как будто чего-то моего собственного, тоже всеми давно забытого...

И вот, я пустился в путь далее. Я переночевал где-то на окраине, в грошевой гостинице, и рано утром вышел из Севастополя. В полдень я был уже за Балаклавой. Как странен был этот нагой горный мир! Белое шоссе без конца, голые, серые долины впереди, голые серые ковриги близких и дальних вершин, одна за другой уходящие и куда-то томительно зовущие своими сиреневыми и пепельными горами, знойным и таинственным сном своим... Посреди каких-то огромных кремнистых долин я сидел, отдыхал. Чабан татарченек с высоким крюком в руке стоял вдали, возле серой отары овец, похожей на густо насыпанные голыши. Он что-то жевал. Я пошел к нему, увидел, что он ест брынзу и хлеб, вынул двугривенный. Он, жуя, не сводя с меня глаз, замотал головой, протянул весь мешок, через плечо висевший на нем. Я взял, – он нежно и радостно оскалился, блеснул всем своим черноглазым лицом, уши, торчавшие под его круглой шапочкой, двинулись назад... А по белому шоссе мимо нас катилась коляска тройкой, с топотом копыт и звоном колокольчиков: на козлах – татарин ямщик, в коляске – чернобровый старик в полотняном картузе, а рядом с ним, вся закутанная, вся восковая, желтая, с темными и страшными глазами, девушка... Верно, не раз я видал, много лет спустя, ее мраморный крест на горе над Ялтой, среди множества прочих крестов, под кипарисами и розами, в легком и свежем морском ветерке светлого южного дня...

У Байдарских ворот я ночевал на крыльце почтовой станции. Смотритель не пустил меня в комнаты, узнав, что лошадей я не буду брать. За воротами, в бесконечной темной пропасти, всю ночь шумело море – до времени, дремотно, с непонятным, угрожающим величием. Я выходил иногда под ворота: край земли и кромешная тьма, крепко дует пахучим туманом и холодом волн шум то стихает, то растет, поднимается, как шум дикого бора... Бездна и ночь, что-то слепое и беспокойное, как-то утробно и тяжело живущее, враждебное и бессмысленное...

XVI

Откуда-нибудь возвращаясь, всегда думаешь, что в твое отсутствие что-нибудь случилось, получено какое-нибудь особенное письмо, известие. Чаще всего

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин оказывается, что ничего не случилось, ничего не получено. Не так, однако, было со мной в этот раз. Брат встретил меня с большим смущением: во-первых, отец запродавал Батурине, прислал нам денег, написал необыкновенно грустно, покаянно... Я на мгновение вспыхнул от радости, – опять, значит, есть возможность куда-нибудь поехать, – но тотчас же это чувство сменилось болью: значит, совсем конец всей нашей прежней жизни! – и горькой жалостью к отцу, к матери, к Оле: мы тут веселы, беспечны, у нас весна, люди, город, а они там в глуши, в одиночестве, в думах только о нас, а вот теперь и о своей близкой бесприютности... Я никогда не мог спокойно видеть отца в грусти, не мог слушать его оправданий в том, что он «пустил нас по миру»: я в такие минуты всегда готов был кинуться руки его целовать даже как бы с горячей благодарностью именно за это самое. Теперь же, после Севастополя, едва удержался от слез... К счастью, оказалось, что он запродавал только землю, без усадьбы.

А вторая новость была еще неожиданней. Брат совсем потерялся, сообщая ее: «Прости, что я скрывал это, я не хотел и теперь не хочу, чтоб об этом знали наши... Дело в том, что я женат... Не церковно, конечно, – она даже продолжает, ради ребенка, жить вместе с мужем, – но ты понимаешь меня... Теперь она в Харькове, завтра уезжает... Переодевайся и пойдем сейчас к ней, она тебя знает и заранее любит...»

И он поспешно рассказал мне свою историю. Она была из богатой и родовитой семьи, но росла в страстных свободолюбивых и народнических мечтах, рано вышла замуж, чтобы начать «рука об руку с любимым человеком» жить только для народа, в борьбе за народ... «Любимый человек», став, благодаря ей, человеком богатым, скоро остыл ко всем своим прежним стремлениям, меж тем, как для нее эти стремления были столь святы, дороги, с самых ранних лет мучили ее, счастливую, такой болью за свое собственное счастье среди всех народных несчастий и таким стыдом даже за красоту свою, что она однажды пыталась себя изуродовать, сжечь серной кислотой себе руки, которыми все чересчур восхищались... С братом она встретилась на юге, – он тогда скрывался, жил под чужим именем... Поняв свою любовь к нему, она в отчаяньи кинулась в море, спасена была только случайно, рыбаками...

Я, покорно переодеваясь, слушал все это с большим удивлением, ужасно волнуясь и отводя глаза. Мне почему-то было неловко, неприятно за брата, во мне росла враждебность к его героине, – уж слишком все это было романтично. Однако, я был удивлен еще более, едва переступил порог комнаты в том богатом отеле, где жила она. Как быстро встала она мне навстречу, как нежно и родственно обняла меня, как ласково и чудно улыбнулась, как хорошо, легко заговорила! Во всей милой простоте ее обращения была тонкость породы, воспитания, прекрасного сердца, застенчивая, женственная и вместе с тем какая-то удивительно свободная прелесть, в движениях мягкость и точность, в грудном, слегка певучем и гармонически-изысканном звуке голоса, равно как в чистоте и ясности серых, несколько грустно улыбающихся глаз с черными ресницами, – необъяснимое очарование...

И все таки это неожиданное знакомство, это внезапное открытие, что у брата есть своя собственная жизнь, от нас ото всех сокровенная, есть привязанность не к нам одним, очень ранило меня. Я опять почувствовал себя одиноким со всей своей молодостью среди всего того весеннего, что окружало меня, испытал какую-то горечь, разочарование. Но вместе с тем я как будто сказал себе: «Ну, что ж, тем лучше для меня, я теперь уже совсем свободен в той чудесной стране, которая только что открылась мне...» Страна же эта грезилась мне необозримыми весенними просторами всей той южной Руси, которая все больше и больше пленяла мое воображение и древностью своей и современностью. В современности был великий и богатый край, красота его нив и степей, хуторов и сел, Днепра и Киева, народа сильного и нежного, в каждой мелочи быта своего красивого и опрятного, – наследника славянства подлинного, дунайского, карпатского. А там, в древности, была колыбель его, были Святополки и Игоря, печенеги и половцы, – меня даже одни эти слова очаровывали, – потом века казацких битв с турками и ляхами, Пороги и Хортица, плавни и гирла херсонские... «Слово о Полку Игореве» сводило меня с ума:

«Хощу бо, рече, копіе преломити конец поля Половецкаго с вами, Русици... Не буря соколы занесе чрез поля широкая; галици стады бежать к Дону великому... Комони ржуть за Сулю; звенить слава в Киеве; трубы трубят в Новеграде; стоять стязи в Путивле... Тогда вступи Игорь князь в злат стремень и поеха по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заступаше; ночь стонуци ему грозою птичь убуди... Див кличеть вреху древа, велить послушати земли незнаеме, Влезе и Поморію, и

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
Посулю, и Сурожу...»

«Кричат телеги полунощи, рци лебеди распушены, Игорь вои к Дону ведеть... Орли  
клектом на кости звери зовуть, лисици брешуть на чреленые щиты... О русьская  
земле! уже за шеломянем еси...»

«Другого дни велми рано кровавыя зори свете поведаять; чреленя тучя с моря идуть:  
в них трепещут синія молніи, быти грому великому, идти дождю стрелами...»

И потом:

«Что ми шумить, что ми звенить далече рано пред зорями?»

«Святеслав мутен сон виде: в Киеве на горах си ночь с вечера одевахуть мя, рече,  
чорною паполомою, на кровати тисов. Черепахуть ми синее вино с трудом смешено...»

«Прысну море полунощи... Игореви Князю Бог путь кажет из земли Половецкой на землю  
Русьскую, к отню злату столу. Погасоша вечеру зори:

Игорь спить, Игорь бдить, Игорь мыслію поля мерить от Великого Дона до Малого  
Донца...»

И вскоре я опять пустился в странствия. Был на тех самых берегах Донца, где  
когда-то кинулся из плена князь «горностаем в тростник, белым гоголем на воду»;  
потом был на Днепре, как раз там, где «пробил он каменные горы сквозь землю  
Половецкую», плыл мимо белых весенних сел, среди необозримо синеющих  
приднепровских низин, вверх, к Киеву – и как рассказать, что пело тогда во мне  
вместе с этой весной и песней об Игоре? «Солнце светится на небеси, Игорь князь  
в Русьской земли! Девици поють на Дунай. Вьются голоси через море до Киева...»

А от Киева ехал я на Курск, на Путивль. «Седлай, брате, свои борзые комони, а  
мои ти готови, оседлани у Курська наперед...» Только много лет спустя проснулось  
во мне чувство Костромы, Суздаля, Углича, Ростова Великого: в те дни я жил в  
ином очаровании. И что нужды, что был «Курськ» только скучнейшим губернским  
городом, а пыльный Путивль был, верно, и того скучней! Разве не та же глушь,  
пыль была и тогда, когда на ранней степной заре, на земляной стене, убитой  
кольями, слышен был «Ярославнин глас»?

«Ярославна рано плачет Путивлю городу: полечю, рече, зегзицею, омочю бибрян  
рукав в Каяле реце, утру Князю кровавые раны его...»

XVII

Этим путем я уже возвращался домой. Теперь я даже спешил туда: кочевая страсть  
моя была до поры до времени несколько насыщена, мне хотелось отдыха и работы, и  
лето, ожидавшее меня в Батурине, представлялось мне восхитительным – так богат я  
был самыми лучшими надеждами, планами и доверием к судьбе. Но, как известно, нет  
ничего опаснее излишнего доверия к ней...

Короче сказать, по пути я заехал в Орел.

Тут я почувствовал свои странствия почти конченными: еще несколько часов – и я в  
Батурине. Оставалось только взглянуть на самый Орел – город Лескова и Тургенева  
– да узнать наконец, что же такое редакция и типография.

Бодрость я чувствовал необыкновенную. Но почернел, похудел, как цыган,  
побывавший на пяти ярмарках: столько ходил пешком, столько плыл по Днепру и все  
на палубе, в радостной жаре солнца, блеска воды, раскаленной паровой трубы,  
над которой весь день дрожало и плавилось что-то тончайшее, стеклянное, в духоте  
и густом тепле, людском, машинном и кухонном. Надо было поэтому хоть несколько  
вознаградить себя. И вот, выйдя в Орле, я велел везти себя в лучшую гостиницу...  
Были пыльно-сиреневые сумерки, везде вечерние огни, за рекой, в городском саду,  
духовая музыка... Известны те неопределенные, сладко волнующие чувства, что  
испытываешь вечером в незнакомом большом городе, в полном одиночестве. С этими  
чувствами я и обедал в пустой зале той старой и почтенной губернской гостиницы,  
в которую привезли меня, и сидел потом на железном балкончике своего номера, над  
уличным фонарем, горевшим под деревом, сквозившая зелень которого, благодаря  
ему, казалась металлической. Внизу взад и вперед шли с разговором, смехом и

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
огоньками папирос гуляющие, напротив, в больших домах, были открыты окна, а за  
ними видны освещенные комнаты, люди, сидящие за чайным столом или что-то  
делающие, – чья-то чужая, манящая жизнь, на которую глядишь в такие часы с  
особенно обостренной наблюдательностью.. Впоследствии, без конца скитаясь по  
свету, много пережил я подобных часов одинокого спокойствия и наблюдения и  
многим из них обязан весьма горькой мудростью. Но совсем не до мудрости было мне  
в ту теплую ночь в Орле с этой полковой музыкой, порой доносившейся ко мне из за  
реки то своей певучей томностью, то печально-восторженным грохотом..

Я совсем отвык спать по-человечески, – мне даже странной показалась в ту ночь  
большая, покойная и чистая кровать, темнота, тишина и простор моего номера. Я и  
проснулся по дорожному – чуть стало светать. Этим и объясняется то, что пришел я  
в редакцию «Голоса» совсем в неурочный час.

Утро было жаркое. Главная улица, белая, голая, была еще пуста. Чтобы как-нибудь  
приблизить тот срок, когда можно было, не слишком нарушая приличия, явиться в  
редакцию, я пошел сперва вниз по этой улице, перешел какой-то мост, вышел на  
другую, большую, торговую, со всякими старыми складами и амбарами, скобяными,  
железными, москательными и колониальными лавками и вообще всем тем грузным  
обилием благосостояния, от которого ломились тогда русские города. В лад с этим  
обилием и густым утренним солнцем, густо и важно-благостно звонили к обедне в  
тяжкой и высокой церкви возле Орлика. Под этот гудящий звон, – он гудел даже во  
мне во всем, – я перешел еще один мост, поднялся на гору к присутственным  
местам, к домам николаевских и александровских времен, перед которыми вдоль  
длинной светлой площади вправо и влево тянулся бульвар, широкая аллея еще  
по-утреннему свежих, прозрачно-тенистых лип. Я знал улицу, где была редакция  
«Голоса», спросил, далеко ли она, у встречного: – Вон там, в двух шагах, –  
сказал он мне, и я вдруг почувствовал сердцебиение: сейчас буду в редакции!

Простота этой редакции была однако истинно провинциальная. За площадью шли  
сплошные сады, тихие тенистые улицы, совсем утонувшие в них и заросшие густой  
травой. В такой же улице, в большом саду, стоял и тот длинный серый дом, где  
помещалась редакция. Я подошел, увидел полуоткрытую прямо на улицу дверь, дернул  
за ручку звонка.. Он задребезжал где-то вдали, но не произвел никакого действия:  
дом казался необитаемым, как впрочем и все вокруг: тишина, сады, милое светлое  
утро губернского степного города.. Я опять позвонил, подождал еще и наконец решил  
войти. Длинные сени вели куда-то вглубь. Я пошел туда и увидел большой, низкий и  
необыкновенно грязный зал, весь загроможденный какими-то машинами, затоптанный и  
усеянный рванными сальными бумагами. Машины были все в движении, мерно рокотали,  
взад и вперед катая какие-то темно-свинцовые доски под черными валами и  
валиками, мерно поднимая и опуская какие-то решетки, лист за листом откладывая  
большие бумажные листы, с исподу еще белые, а сверху уже покрытые как бы зернью  
черной блестящей икры, и от всех этих машин, рокот и шум которых сливался порой  
с перекрывающимися голосами печатников и наборщиков, веяло пахучим ветром,  
крепкой и приятной вонью свежей краски, бумаги, свинца, керосина и масел – всем  
тем, что тотчас же стало для меня (и уже навсегда) таким особенным. – Редакция?  
– сердито крикнул кто-то мне из этого ветра, шума и рокота. – Тут типография!  
Эй, проводи в редакцию!

И под ноги мне кинулся откуда-то грязный, с круглой, густо заросшей свинцовым  
ежом головой мальчишка: – Сюда пожалуйте!

И я, волнуясь, поспешил за ним назад в сени и через минуту уже сидел в большой  
приемной редактора, который оказался очень хорошенькой и маленькой молодой  
женщиной, а потом в столовой, совсем по домашнему, за кофеем. Меня то и дело  
угощали и все расспрашивали, сказали несколько лестных слов о моих стихах,  
напечатанных в столичных ежечасниках, звали сотрудничать в «Голосе».. Я  
краснел, благодарил и неловко улыбался, сдерживая почти восторженное  
удовольствие от такого неожиданно-чудесного знакомства, несколько дрожащими  
руками брал какие-то печенья, быстро и сладко таявшие во рту.. Кончилось все это  
тем, что хозяйка вдруг приостановилась, услышав за дверью оживленные голоса,  
засмеялась и сказала: – А вот и мои заспавшиеся красавицы! Я сейчас познакомлю  
вас с двумя очаровательными созданиями, моей кузиной Ликой и ее подругой  
Сашенькой Оболенской..

И тотчас же вслед за тем в столовую вошли две девушки в цветисто-расшитых  
русских нарядах с разноцветными бусами и лентами, с широкими рукавами, до локтя  
открывавшими их молодые круглые руки..

### XVIII

Удивительна была быстрота и безвольность, лунатичность, с которой я отдался всему тому, что так случайно свалилось на меня, началось с такой счастливой беззаботностью, легкостью, а потом принесло столько мук, горестей, отняло столько душевных и телесных сил!

Почему мой выбор пал на Лику? Оболенская была не хуже ее.

Но Лика, войдя, взглянула на меня дружелюбней и внимательней, заговорила проще и живей, чем Оболенская... И в кого, вообще, так быстро влюбился я? Конечно, во все; в то молодое, женское, в чем я вдруг очутился; в туфельку хозяйки и в расшитые наряды этих девушек со всеми их лентами, бусами, круглыми руками и удлинено-округлыми коленями; во все эти просторные, невысокие провинциальные комнаты с окнами в солнечный сад; даже в то наконец, что нянька привела с гулянья в столовую раскрасневшегося и немного запотевшего мальчика, серьезно и внимательно заглядевшегося на меня во все свои синие глаза, пока мать целовала его и расстегивала ему курточку...

Тут, кстати, тотчас же стали убирать со стола и накрывать его к завтраку, а хозяйке вдруг пришла в голову мысль, что уходить мне от завтрака совсем не след, как не след и вообще скоро уезжать из Орла, а Лика отняла у меня картуз, села за пианино и заиграла «Собачий вальс...» Словом, я ушел из редакции только в три часа, совершенно изумленный, как быстро все это прошло: я тогда еще не знал, что эта быстрота, исчезновение времени есть первый признак начала так называемой влюбленности, начала всегда бессмысленно-веселого, похожего на эфирное опьянение...

### XIX

Так началась для меня еще одна любовь, которой суждено было стать в моей жизни большим событием. И начало это ознаменовалось случаем вдвойне удивительным.

Я покидал Орел как нечто уже дорогое, близкое, со всей грустью и нежностью первой любовной разлуки и с горячими надеждами на скорое новое свидание. Нужно же было быть тому, что как раз в этот день экстренно проходил через Орел некий траурный поезд чрезвычайной важности! Он проходил ровно в два часа, всего за час до моего поезда, и потому мой новый друг, хозяйка «Голоса», которой необходимо было присутствовать при встрече его, предложила подвести меня на вокзал и тем самым дать мне возможность видеть редкое зрелище. И вот, все так же неожиданно, как все время в Орле, я очутился в большой, но очень избранной толпе, ожидавшей, перед рядами парадно выстроенных на платформе солдат, прибытия того величавого и жуткого, что где-то там уже шло, близилось, – среди всяких знатных представителей города и губернии, фраков, шитых мундиров, треуголок, жирных военных эплет и целого синклита блистающих риз и митр.

Всякий попадающий в подобное торжественное-напряженное общество тотчас заражается некоторым оцепенением, так что, постояв на платформе с полчаса, я очнулся лишь в тот внезапный миг, когда вдруг, с шумом и грохотом как бы обрушился на нас и на весь вокзал огромный паровоз с траурными флагами, а потом замелькало перед глазами что-то великолепное, темно-синее, с большими чистыми стеклами и шелковыми занавесками, с золотыми орлами гербов... Тут вся толпа встречающих подалась назад, а из среднего вагона тотчас вслед затем мягко и точно остановившегося поезда быстро появился и шагнул на красное сукно, заранее разостланное на платформе, молодой, ярко-русый гигант гусар в красном долмане, с прямыми и резкими чертами лица, с тонкими, энергично и как бы несколько презрительно изогнутыми ноздрями, с чуть-чуть выдвинутым подбородком, совершенно поразивший меня своей нечеловеческой высотой, длиной тонких ног, зоркостью царственных глаз, больше же всего гордо и легко откинутой назад головой в коротких и точно гофрированных ярко-русых волосах и крепко и красиво вьющейся рыжей острой бородкой...

Мог ли я думать в тот жаркий весенний день, как и где увижу я его еще один раз!

### XX

Целая жизнь прошла с тех пор.

Россия, Орел, весна... И вот, Франция, юг, средиземные зимние дни.

Мы с ним уже давно в чужой стране. В эту зиму он мой близкий сосед, тяжело больной. Однажды поутру, развернув местный французский листок, я вдруг опускаю его: конец. Я долго и напряженно следил за ним по газетам и все смотрел с своей горы на тот дальний горбатый мыс, где все время чувствовалось его присутствие. Теперь этому присутствию конец.

Утро светло и холодно. Я выхожу из дому в уступчатый сад, на усыпанную гравием площадку под пальмами, откуда видна целая страна долин, моря и гор, сияющая солнцем и синевой воздуха. Огромная лесистая низменность, все повышаясь своими волнами, холмами и впадинами, идет от моря к тем предгорьям Альп, где я. Подо мной, вправо от меня, на крутом каменистом отроге, громоздятся вокруг остатков своей древней крепости с первобытно-грубой сарацинской башней одно из самых старых гнезд Прованса, то есть тоже нечто весьма грубое, серое, каменное, уступчатое, воедино слитое, сверху чешуйчатое, как бы ржавое, коряво-черепичное. На горизонте впереди – высоко поднимающаяся к светло-туманному небу белесая туманность далекого моря. А тот горбатый мыс – левей, тонет в утреннем морском блеске, зыбко окружающем его... Я долго смотрю туда. Поднимающийся мистраль прилетает дорой в сад, волнует жесткую и длинную листву пальм, сухо, знойно-холодно, точно в могильных венках, шелестит и шуршит в ней... Ехать ли туда? Это непостижимо-странно – встретиться всего два раза в жизни и оба раза в сообществе смерти. Да и все непостижимо. Неужели это солнце, что так ослепительно блещет сейчас и погружает вон те солнечно-мглистые горы в равнодушно-счастливые сны о всех временах и народах, некогда виденных ими, ужели это то же самое солнце, что светило нам с ним некогда?

XXI

Весь день мистраль, острый шелест пальм, тревожный зимний блеск.

К вечеру как будто стихает.

В четыре часа я уже на мысу, иду дальше.

Дорога долго поднимается среди сплошных южных садов, по длинному проспекту. Наконец вот и оно, это большое старинное поместье и этот белый большой дом в глубине обширного и просторного сада, за раскрытыми настезь воротами, в конце длинной аллеи старых сумрачных пальм. Предвечернее солнце, весь свет и блеск западного неба – за домом.

Это первое, что жутко, – эти так широко и свободно для всякого раскрытые смертью ворота и множество автомобилей, стоящих возле них.

Аллея пуста, все уже в доме. Быстро иду к нему. Под ногами шуршит гравий.

Пусто и возле крыльца. Сюда?

Но я произношу это слово только потому, что вдруг теряюсь: внезапно вижу на крыльце то, чего не видел уже целых десять лет и что поражает меня как чудодейственно воскресшая вдруг передо мной вся моя прежняя жизнь: светлоглазого русского офицера в гимнастерке, в погонах...

Высокие стеклянные двери крыльца тоже настезь открыты. За дверями – полутемный вестибюль и такие же другие двери, а дальше полусвет большого французского салона, что-то странное и красивое: гранатом сквозящие на солнце, скрытом за ними, спущенные на высоких и полукруглых окнах шелковые шторы и необычно зажженная в такой еще ранний час, палевым жемчугом сияющая под потолком люстра.

В вестибюле молчаливая и тесная толпа. С какой-то особой покорностью пробираюсь ко вторым дверям, затем поднимаю глаза – и тотчас же вижу лежащий в непомерно длинном гробу, в желтом дубовом саркофаге, большой желто-серый лик, большой романовский лоб, всю эту старческую мертвую голову, уже седую, а не русую, но все еще властную и гордую: поседевшая бородка слегка выдвинута, ноздри вырезаны тонко и как бы чуть презрительно...

Затем вижу и чувствую подробности. Да, странный полусвет, спущенные, красно

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин просвечивающие предвечерним солнцем шторы, жемчужно сияющая люстра, тонкие и бледные, чуть дрожащие огни высоких церковных свечников. И тут народ, но только по стенам, а чуть не вся середина салона занята им. У стены налево стоймя стоит прислоненная к мраморному камину с завешенным зеркалом, высится и блистает желтым лакированным дубом гробовая крышка необычной формы, – в боках расширенная. В глубине угла, за гробовым возглавием, робко и нежно, как в детской спальне, теплится на столике перед древним серебряным образом лампадка.

Чуть не все остальное занято гробом-саркофагом. Он тоже странно расширен в боках, необыкновенно долог и глубок, блещет своей новизной, полировкой, ладностью – и страшен тем, что в нем заключен еще другой, цинковый гроб, который внутри обит белым рытым бархатом. Вокруг застыл в своих напряженно-щегольских воинских позах его последний почетный караул, офицерская и казачья стража: шашки наголо, к правому плечу, на согнутой левой руке – фуражки, глаза с резко подчеркнутым выражением беспрекословности и готовности устремлены на него. Сам же он, вытянутый во весь свой необыкновенный рост и до половины покрытый трехцветным знаменем, лежит еще неподвижнее. Голова его, прежде столь яркая и нарядная, теперь старчески проста и простонародна. Поседевшие волосы мягки и слабы, лоб далеко обнажен. Голова эта кажется теперь велика, – так детски худы и узки стали его плечи. Он лежит в старой, совсем простой рыже-серой череске, лишенной всяких украшений, – только георгиевский крест на груди, – с широкими, но не в меру короткими рукавами, так что выше кисти, – длинной и плоской, – открыты его большие желтоватые руки, неловко и тяжело положенные одна на другую, тоже старческие, но еще могучие, поражающие своей деревянностью и тем, что одна из них с грозной крепостью, как меч, зажала в кулаке древний афонский кипарисовый крест, почерневший от времени... Я подхожу и становлюсь возле самого гробового изножия, у пальмовых ветвей и венков, прислоненных к нему.

Тотчас же вслед за тем начинается служба. Из внутренних покоев выходят близкие, облачается в ризу священник, в руках у нас тепло и ласково зажигаются огни восковых свечей... Как все это уже привычно мне теперь – это негромкое, стройное пение, мерное кадильное звяканье, скорбно-покорные, горестно-умилненные возгласы и моления, уже миллионы раз звучавшие на земле! Только имена меняются в этих молениях, и для каждого имени настает в некий срок свой черед! – Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков... – Миром Господу помолимся... – О приснопамятном рабе Божиим... Я все еще думаю о том, кто когда-то в жаркий солнечный день, был на вокзале в Орле. Но лишь на миг мелькает передо мной это яркое видение. Горестно и несмело звучат моления о «Благоверном Государе, Великом Князе», новопреставленном в сонме всех «чающих Христова утешения» и ждущем теперь «покоя, тишины, блаженные памяти», уповающим «неосужденным предстати у страшного престола Господа Славы...»

Мертвый лик, уже обращенный к чему-то нам недоступному, все еще выразителен, но уже покоен и тих. Выпуклые веки закрыты, бесцветные губы сжаты, пепельно белеют под усами... Я вижу слегка вздувшиеся вены на его старчески крупных висках, – завтра они уже почернеют, думаю я... Я думаю о его протекшей жизни, такой большой и сложной, думаю и о своей собственной... – Еще молимся о упокоении души усопшего раба Твоего... и о еже простится ему всякому согрешению, вольному же и невольному... – Милости Божия, Царства Небесного и оставления грехов его у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим...

Потом взгляд мой опять останавливается на трехцветном знамени, до половины прикрывающем его ноги, его черкеску, видит эту окаменевшую руку с зажатым в ней черным крестом, эти застывшие в своей напряженной готовности лица караула, их фуражки, клинки и погоны, уже десять лет мной невиденные... – Образ есмь неизреченные Твоя славы – ущедри создание Твое, Владыко, и вождевленное Отечество подаждь ми...

Когда мы все выходим, уже вечер. Солнце только что село, сзади, за черными пальмами, темно-розовое зарево. А впереди, вдаль, огромная картина этих вечных средиземных берегов. В глубине ее, в смутном и холодном, розово-синем восточном небе, надо всем мертвенно царят снежные хребты Верхних Альп, уже гаснущие, сумрачно малиновые, всему живому бесконечно чуждые, уходящие в свою дикую зимнюю ночь, снизу уже до половины потонувшие в сизой густой мгле. Сурово, холодно посинело к ночи море под ними..

XXII

Ночью на моей горе все гудит, ревет, бушует от мистралья. Я просыпаюсь внезапно. Я только что видел или думал во сне о том, как, во время прощания после панихиды, последней из числа близких ему попрощалась худенькая, высокая девушка вся в черном, с длинной траурной вуалью. Она подошла так просто, склонилась так женственно-любовно, на минуту закрыв легким концом ее край саркофага и старчески-детское плечо в черкеске... Стремительно несется мистраль, ветви пальм, бурно шумя и мешаясь, тоже точно несутся куда-то... Я встаю и с трудом открываю дверь на балкон. В лицо мне резко бьет холодом, над головой разверзается черно-вороненое, в белых, синих и красных пылающих звездах небо. Все несется куда-то вперед, вперед...

Я кладу на себя медленное крестное знамение, глядя на все то грозное, траурное, что пылает надо мной.

Книга пятая

I

Те весенние дни моих первых скитаний были последними днями моего юношеского иночества.

В первый день в Орле я проснулся еще тем, каким был в пути, – одиноким, свободным, спокойным, чужим гостинице, городу, – и в необычный для города час: едва стало светать. Но на другой уже поздней – как все. Заботливо одевался, гляделся в зеркало... Вчера, в редакции, я уже со смущением чувствовал свой цыганский загар, обветренную худобу лица, запущенные волосы. Нужно было привести себя в приличный вид, благо обстоятельства мои вчера неожиданно улучшились: я получил предложение не только сотрудничать, но и взять аванс, который и взял, – горячо покраснел, но взял. И вот я отправился на главную улицу, зашел в табачный магазин, где купил коробку дорогих папирос, потом в парикмахерскую, откуда вышел с красиво уменьшившейся пахучей головой и с той особенной мужской бодростью, с которой всегда выходишь из парикмахерской. Хотелось тотчас же идти опять в редакцию, поскорее продолжить всю ту праздничность новых впечатлений, которыми так щедро одарила меня судьба вчера. Но идти немедленно было никак нельзя: «Как, он опять пришел? И опять с утра?!» – Я пошел по городу. Сперва, как вчера, вниз по Волховской, с Волховской по Московской, длинной торговой улице, ведущей на вокзал, шел по ней, пока она, за какими-то запыленными триумфальными воротами, не стала пустынной и бедной, свернул с нее в еще более бедную Пушкарную Слободу, оттуда вернулся опять на Московскую. Когда же спустился с Московской к Орлику, перешел старый деревянный мост, дрожавший и гудевший от едущих, и поднялся к присутственным местам, по всем церквам трезвонили, и вдоль бульвара, навстречу мне, на паре больших вороных, шедших споро, но мерно, в достойной противоположности с этим трезвонном, прокатил в карете архиерей, благостным мановением руки осенявший влево и вправо всех встречающих.

В редакции было опятьлюдно, бодро работала за своим большим столом маленькая Авилова, только ласково улыбнувшаяся мне и тотчас опять склонившаяся к столу. Завтрак был опять долгий, веселый, после завтрака я слушал, как Лика бурно играла на рояли, потом качался с ней и с Оболенской на качелях в саду. После чая Авилова показывала мне дом, водила по всем комнатам. В спальне я увидел на стене портрет, – из рамы недовольно смотрел кто-то волосатый, в очках, с костлявыми широкими плечами. «Мой покойный муж», вскользь сказала Авилова, – и я слегка оторопел: так был поражен нелепостью соединения во что-то одно этого чахоточного с живой, хорошенькой женщиной, вдруг назвавшей его своим мужем. Потом она опять села за работу, Лика нарядилась, сказала нам, – тем своим языком, некоторые особенности которого я уже заметил с неловкостью за нее: – «Ну, дети мои, я исчезаю!» – и куда-то ушла, а мы с Оболенской пошли по ее делам. Она предложила мне пойти с ней на Карачевскую, сказала, что ей нужно зайти там к белошвейке, и мне стало приятно от той близости, которую она вдруг установила между нами этим интимным предложением.

С тем же чувством шел я возле нее и по городу, слушал ее точный голос; у белошвейки с особенным удовольствием терпения стоял и ждал, пока она кончит свои переговоры и совещания. Когда мы опять вышли на Карачевскую, уже вечерело. «Вы любите Тургенева?» – спросила она. Я замялся, – потому, что я родился и вырос в деревне, мне всегда задавали этот вопрос, непременно предполагая во мне любовь к Тургеневу. – «Ну, все равно, сказала она, это будет все-таки вам интересно. Тут недалеко есть усадьба, которая будто бы описана в „Дворянском гнезде“. Хотите

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
посмотреть?» – И мы пошли куда-то на окраину города, в глухую, потонувшую в садах улицу, где, на обрыве над Орликом, в старом саду, осыпанном мелкой апрельской зеленью, серел давно необитаемый дом с полуразвалившимися трубами, в которых уже вили гнезда галки. Мы постояли, посмотрели на него через низкую ограду, сквозь этот еще редкий сад, узорчатый на чистом закатном небе... Лиза, Лаврецкий, Лемм... И мне страстно захотелось любви.

Вечером мы все были в городском саду, в летнем театре, – я сидел в полутьме рядом с Ликой, дружно наслаждаясь с ней всей той шумной глупостью, что шла и в оркестре и на сцене, на какой то снизу освещенной площади, где, подхватывая плясовые грохоты музыки, топали в пол и стучались пустыми оловянными кружками хорошенькие горожанки и королевские латники, а после театра тут же, в саду, ужинали, – я в первый раз в жизни попал в летний ресторан, сидел на просторной и людной террасе, за бутылкой вина во льду, с дамами. К ним то и дело подходили знакомые, и со всеми с ними меня тоже знакомили, и все они были очень любезны со мной, – кроме одного, который, сделав легкий поклон в мою сторону, не обратил больше на меня никакого внимания: это был человек, доставивший мне впоследствии – тоже совершенно невнимательно – много душевных мук, очень высокий офицер с продолговатым матово-смуглым лицом, с неподвижными черными глазами, с черными полубачками, в ладном сюртуке ниже колен, в узких панталонах со штрипками. Она много говорила и смеялась, показывая свои чудесные зубы, зная, что все ею любуются, и я уже не мог спокойно смотреть на них, я похолодел, когда офицер, отходя от нашего стола, немного задержал ее руку в своей большой руке.

В день моего отъезда гремел первый гром. Помню этот гром, легкую коляску, уносившую меня на вокзал с Авиловой, – она почему-то поехала провожать меня, – чувство гордости от коляски и от этого соседства, странное чувство первой разлуки с той, в свою выдуманную любовь к которой я уже совсем верил, и то чувство, которое преобладало надо всеми прочими, – чувство какого-то особенно счастливого приобретения, будто бы сделанного мной в Орле. На платформе вокзала меня поразило то, как велики, крупны были все те парадные, отборные люди, что выжидательно толпились на ней, как простонародны казались, при всем блеске их церковного убранства, лица духовенства, с крестами и кадилами в руках стоявшего впереди всех прочих. В то мгновение, когда всей своей тяжелой силой низвергся, наконец, на вокзал великокняжеский поезд, и всех ослепил красный доломан выскочившего из него ярко-рыжего гиганта, все как-то смешалось, спуталось, – не помню дальше ничего, кроме мрачно-угрожающего торжества панихиды. Потом маслянисто-стальная громада паровоза в угольных флагах загрохотала мощными, державными толчками своей вновь задышавшей трубы, и длинно, плавно потянулся назад полосой белой стали локоть его поршня, поплыли вперед сине-зеркальные стены вагонов с золотыми орлами...

Я глядел на литые колеса, все быстрее вращавшиеся под ними, на тормоза и рессоры, – и видел уже только одно: то, что все это густо покрыто белой пылью, волшебной пылью долгого быстрого пути с юга, из Крыма. Поезд, грохоча, скрывался, продолжая свой величественно-траурный бег через Россию, куда-то туда, к ее возглавию, я же весь был в этом сказочном Крыму, в пленительных гурзуфских днях легендарного Пушкина.

Мой скромный уездный поезд ждал меня на дальней боковой платформе, и я уже был рад тому уединению и отдыху, который предстоял мне в нем. Авилова пробыла со мной до самого отхода его, все время весело болтая, говоря, что надеется скоро увидеть меня снова в Орле, улыбкой давая понять, что она прекрасно видит то забавное горе, которое приключилось со мной. При третьем звонке я горячо припал к ее руке, она коснулась губами моей щеки. Я вскочил в вагон, он толкнулся и двинулся, я, высунувшись в окно, смотрел, как она отдалялась, стоя на платформе и легонько мне махая...

В пути после того все казалось мне трогательно: и этот коротенький поезд, который то еле тянулся, то вдруг пускался отчаянно качаться и греметь, и те безлюдные станции и полустанки, на которых он неизвестно зачем стоял без конца, и все то, уже свое, знакомое, что снова окружало меня: косыми буграми идущие мимо окон поля, еще голые и потому особенно невзрачные, голые березовые перелески, тихо ждущие весны, скудные горизонты... Вечер был тоже скудный, по-весеннему прохладный, с бледным низким небом.

II

Из Орла я увозил одну мечту: как-то продолжить – и, насколько возможно, скорей – то, что началось в Орле. Однако, чем дальше уезжал от Орла, тем все чаще забывал о нем, глядя в окно на поля, на долгий апрельский закат. И вот в вагоне уже совсем сумерки, сумерки и за окнами, в этом редком дубовом лесу, что идет слева от поезда, – голом, корявом, засыпанном рыжей прошлогодней листвой, только что вышедшей из под зимних снегов. И я уже стою, держу свою сумку в руках, все больше волнуясь: это уже Субботинский лес, за которым тотчас станция Писарева. Поезд предостерегающе и печально кричит куда-то в пустоту; я спешу на площадку: как-то первобытно сыро, свежо, накрапывает дождь, перед станцией одиноко стоит товарный вагон. Поезд обходит его, и я еще на ходу соскакиваю. Потом бегу по платформе, прохожу слабо освещенный, бесконечно печальный, затоптанный мужиками вокзал, выхожу на темный подъезд. В круглом дворе перед ним – жалкий и грязный после зимы палисадник, чуть видная в сумраке лошаденка мужика-извозчика. Мужик этот, иногда по неделям напрасно ожидающий седока, кидается ко мне со всех ног, восторженно соглашается с каждым моим словом, готов скакать со мной хоть на край света и за все, что угодно – «авось, не обидите!» – и через минуту я уже покорно трясусь в его мелкой тележке: сперва по дикой и темной деревне, потом – все тише и тише – в темных, молчаливых, всему миру чужих полях, в черном море земли, за которым брезжит в бесконечной дали под тучками на северо-западе что-то зеленое. Дует навстречу ночной полевой ветерок, жидкий, дождевой, апрельский, где-то далеко – и все как будто меня под ветром места – хлопает перепел. Мелькают в тучках, в низком русском небе, редкие звезды... Опять перепела, весна, земля – и моя прежняя, глухая, бедная молодость! Дорога мучительно долга: десять верст в поле с русским мужиком неближний путь. Мужик стал тих, загадочен, пахнет избой, сухой овчиной своего вытертого полушубка, на просьбы поспешать молчит, а как только изволок, соскакивает с передка и ровным шагом идет с веревочными вожжами в руках рядом со своей едва плетущейся кобылкой, лицо отворачивает... При въезде в Васильевское казалось, что уже глубокая ночь: нигде ни огня, все безжизненно. Глаз привык к темноте и хорошо видно каждую избу, каждую голую лозинку перед избой на той широкой улице, по которой въезжаешь в село; потом видишь и чувствуешь спуск в апрельскую сырость низменности, влево мост над рекой, а справа дорогу вверх, к неприветливо чернеющей усадьбе. Чувства опять очень острые:

как все страшно знакомо и вместе с тем ново – этой своей весенней деревенской чернотой, убожеством, равнодушием! Мужик совсем омертвел, тащась на гору. Вдруг там, из-за сосен палисадника, блеснул в окне огонь. Слава Богу, еще не спят! Радость, нетерпение – и мальчишеский стыд, когда наконец тележка останавливается возле крыльца и надо слезать, отворять дверь в прихожую, входить и видеть, как тебя с улыбкой рассматривают...

Из Васильевского я ехал на другой день верхом, под тихим и светлым утренним дождиком, который то переставал, то опять сыпался, среди пашен и паров. Мужики пахали и сеяли. Пахарь, босиком, шел за сохой, качаясь, оступаясь белыми косыми ступнями в мягкую борозду, лошадь разворачивала ее, крепко натуживаясь, горбясь, за сохой вилял по борозде синий грач, то и дело хватая в ней малиновых червей, за грачом большим, ровным шагом шагал старик без шапки, с севалкой через плечо, широко и благородно-щедро поводя правой рукой, правильными полукругами осыпая землю зерном.

В Батурине было даже больно от той любви, радости, с которой был встречен я. Больше всего поразила меня даже не радость матери, а радость сестры, – я не чаял такой прелести любви и радости, с которой она, выглянув в окно, кинулась ко мне на крыльцо. И как она была прелестна вся – своей чистотой, юностью, как невинна, свежа была даже своим новеньким платицем, в первый раз надетым в этот день ради меня. Очаровал меня и дом – своей старинной прекрасной грубостью. В моей комнате все было так, точно я только что вышел из нее: все на тех же местах, – даже та наполовину сгоревшая сальная свеча в железном подсвечнике, которая осталась на письменном столе в день моего отъезда зимой. Я вошел, посмотрел кругом: черные образа в углу, за старинными окнами с цветными верхними стеклами (лиловыми и гранатовыми) видны деревья и небо, – кое где голубеющее и сыплющее мелким дождем на зеленеющие ветви и сучья, – в комнате все несколько сумрачно, просторно, глубоко... потолок темный, деревянный, гладкий, из таких же темных, гладких бревен и стены... гладки и тяжки круглые отвалы дубовой кровати...

### III

Для новой поездки в Орел оказался деловой предлог: нужно было отвезти проценты в

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
банк. И я повез, но заплатил только часть, остальное растратил. Это был поступок не шуточный, но со мной что-то делалось – я не придал ему особого значения. Я все время поступал с какой-то бессмысленно-счастливой решительностью. Едучи в Орел, опоздал к пассажирскому поезду – и тотчас устроился на паровоз товарного. Помню, влез по высокой железной подножке во что-то грубое, грязное, стою и смотрю. Машинисты в чем-то сверх меры засаленном, железно блестящем; так же засалены, блестящи и лица их, негритяньски разительны белки, словно нарочно, как у актеров, подмазаны веки. Молодой резко гремит железной лопатой в каменном угле, наваленном на полу, с громом откидывает заслонку топки, откуда адски вырывается красный огонь, и размашисто осаживает этот ад чернотой угля с лопаты, старший перетирает пальцы ужасающей по своей сальности тряпкой и, швырнув ее, что-то дергает и что-то повертывает...

Раздается раздирающий уши свист, откуда то горячо обдает и окутывает ослепляющий пар, оглушает что то вдруг загрохотавшее – и медленно тянет вперед... Как дико грохочет этот грохот потом, как все растет и растет наша сила, прыть, как все вокруг трясется, мотается, прыгает! Застывает, напряженно каменеет время, ровно трепещет по буграм с боков огненный, драконий бег – и как скоро кончается каждый перегон! А на каждой передышке после него, в мирной тишине ночи и станции, пахнет лесным ночным воздухом и из всех окрестных кустов бьет, торжествует, блаженствует соловьиное пение... В Орле я непристойно нарядился, – тонкие щегольские сапоги, тонкая черная поддевка, шелковая красная косоворотка, черный с красным околышем дворянский картуз, – купил дорогое кавалерийское седло, которое было так восхитительно своей скрипящей и пахучей кожей, что, едучи с ним ночью домой, я не мог заснуть от радости, что оно лежит возле меня. Ехал опять на Писареве – с целью купить еще лошадь – там как раз в эту пору была в селе конская ярмарка. На ярмарке подружился с некоторыми из своих сверстников, тоже все в поддевках и дворянских картузах, давних завсегдатаев ярмарок, и с их помощью купил молодую породистую кобылу (хотя цыган отчаянно навязывал мне старого мерина, запаленного донца, – «купи, барин, Мишу, век будешь любить меня за Мишу!»). Лето после того стало для меня сплошным праздником – я и трех дней подряд не проводил в Батурине, все гостил у своих новых друзей, а когда она вернулась из Орла, стал пропадать в городе: как только получил от нее краткую записку: «вернулась и жажду свидания», тотчас поскакал на станцию, несмотря на неприятность от глупого остроумия этой записки и на то, что был уже вечер и надвигались тучи, а в вагоне, как пьяный, радовался шибкому ходу поезда, казавшемуся еще шибче от уже бушевавшей грозы, от того, что грохот вагона сливался с ударами грома, с шумом ливня по крыше, и все это среди синего пламени, поминутно затоплявшего черные стекла, по которым, пенясь, хлестала и свежо пахла дождевая вода.

Не было как будто ничего, кроме удовольствия веселых встреч. Но вот, – это было уже в конце лета, – один из этих друзей, живший с сестрой и стариком отцом в имении недалеко от города, на обрывистом берегу Исты и тоже бывавший у нее, пригласил к себе довольно большое общество на именинный обед. За ней он приехал сам, она ехала с ним в шарабанчике, я сзади, верхом. Радовал солнечный, сухой простор полей, открытые и как бы песчаные поля были без конца покрыты копнами. Все во мне требовало чего то отчаянно-ловкого. Я безбожно горячил и сдерживал лошадь, потом пускал ее и на всем скаку махал через копны, в кровь рассекая ей бабки острыми подковами. Именинный обед на прогнившем балконе длился до вечера, вечер незаметно слился с ночью, с лампами, вином, песнями и гитарами. Я сидел рядом с ней и уже без всякого стыда держал ее руку в своей, и она не отнимала ее. Поздно ночью мы, точно сговорившись, встали из-за стола и сошли с балкона в темноту сада, она остановилась в его теплой черноте и, прислонясь спиной к дереву, протянула ко мне руки, – я не мог разглядеть, но тотчас угадал их движение... Быстро посерело после того в саду, хрипло и как то беспомощно-блаженно стали кричать в усадьбе молодые петушки, а еще через минуту стал светел весь сад от огромного золотистого востока, раскрывшегося за ним над желтыми полями за речной низменностью... Потом мы стояли на обрыве над этой низменностью, и она, глядя на солнечно разгорающийся небосклон и уже не замечая меня, пела «Утро» Чайковского. Оборвав на высоком, недоступном ей звуке, она подхватила нарядные оборки батистовой юбки цвета куропатки и побежала к дому. Я остановился, растерянный, но уже неспособный не только соображать что-нибудь, но просто держаться на ногах. Я отошел под старую березу, стоявшую на скате обрыва в сухой траве, и прилег под ней. Был уже день, солнце взшло и, как всегда в конце лета, в погожую пору, сразу наступило светлое жаркое утро. Я положил голову на корни березы и тотчас заснул. Но солнце разгоралось все жарче, – вскоре я проснулся в таком зное и блеске, что встал и, шатаясь, пошел искать тени. Весь дом еще спал,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
стоя в сухом ослепительном свете. Не спал один старый хозяин. Из открытого окна его кабинета, под которым густо разрослась одичавшая сирень, слышался его кашель, в котором чувствовалось старческое наслаждение первой утренней трубкой, утренним стаканом крепкого чаю со сливками. На мои шаги и шум воробьев, ливнем сорвавшихся от меня с блестящей под солнцем сирени, он выглянул в окно, запахивая на груди старенький халатик из турецкого узорчатого шелка, показал свое страшное от запухших глаз и громадной седой бороды лицо и улыбнулся с необыкновенной добротой. Я виновато поклонился, прошел по балкону в раскрытые двери гостиной, совершенно прелестной своей утренней тишиной и пустотой, летающими в ней бабочками, синими старинными обоями, креслами и диванчиками, лег на один из этих диванчиков, на редкость неудобный своей изогнутостью, и опять заснул глубоким сном. Но тут, – будто бы тотчас же, хотя спал я долго, – кто то подошел ко мне и, смеясь, что то стал говорить, путать мне волосы.

Я очнулся – передо мной стояли молодые хозяева, брат и сестра, оба черные, огнеглазые, по-татарски красивые, он в желтой шелковой косоворотке, она в такой же кофточке. Я вскочил и сел: они как-то очень хорошо говорили, что пора вставать, завтракать, что она уже уехала, и не одна, а с Кузьминым, и подали мне записочку. Я тотчас вспомнил глаза Кузьмина, – бойкие, дерзкие, какие-то пестрые, цвета пчелы, – взял записочку, пошел в старинную «девичью», – там смиренно ждала меня над табуретом с тазом, держа в худой руке, покрытой гречкой, кувшин с водой, какая-то старушка во всем темненьком, – на ходу прочел: «не старайтесь больше меня видеть» – и стал умываться. Вода была ледяная, острая – «у нас ведь ключевая-с, колодезна», сказала старушка и подала мне длиннейшее льняное полотенце. Я быстро прошел в прихожую, взял картуз и нагайку, пробежал через жаркий двор в конюшню.. Лошадь тихонько и горестно заржала мне навстречу из сумрака, – она так и осталась под седлом, стояла возле пустых яслей, с подведенными пахами, – я схватил повод, вскочил в седло, все еще как-то дико-восторженно сдерживая себя, и помчался вон со двора. За усадьбой я круто свернул в поле, понесся куда глаза глядят по шуршащему жнивью, осадил лошадь под первой попавшейся копной и, сорвавшись с седла, сел под ней. Лошадь шумела, хватая зубами и таща к себе снопы за сыплющиеся точно стеклянными зерном колосья, тысячами часиков знойно торопились в жнивьи и в снопах кузнечики, точно песчаной пустыней простирались вокруг светлые поля – я ничего не слышал, не видал, мысленно твердя одно: или она вернет мне себя, эту ночь, это утро, эти батистовые оборки, зашумевшие от ее замолкавших в сухой траве ног, или не жить нам обоим!

С этими сумасшедшими чувствами, с безумной уверенностью в них я поскакал в город.

#### IV

Я надолго остался после того в городе, по целым дням сидел с ней в запыленном садике, что был в глубине двора при доме ее вдового отца, – отец (беспечный человек, либеральный доктор) ни в чем ее не стеснял. С той минуты, когда я прискакал к ней с Истры, и она, увидав мое лицо, прижала обе руки к груди, уже нельзя было понять, чья любовь стала сильней, счастливей, бессмысленней, – моя или ее (тоже как-то вдруг и неизвестно откуда взявшаяся). Наконец, чтобы хоть немного дать друг другу отдохнуть, мы решили на время расстаться. Это было необходимо тем более, что, живя на мелок в Дворянской гостинице, я впал в неоплатный долг. Пошли к тому же дожди. Я оттягивал разлуку всячески – напоследок собрался с силами и пустился под ливнем домой. Дома я сперва все только спал, тихо скитался из комнаты в комнату, ничего не делая, ни о чем не думая. Потом стал задумываться: что же это происходит со мной и чем все это кончится? Однажды пришел брат Николай, вошел в мою комнату, сел, не снимая картуза, и сказал: – Итак, мой друг, романтическое существование твое благополучно продолжается. Все по прежнему: «несет меня лиса за темные леса, за высокие горы», а что за этими лесами и горами – неведомо. Я ведь все знаю, многое слышал, об остальном догадываюсь – истории-то эти все на один лад. Знаю и то, что тебе теперь не до здравых рассуждений. Ну, а все-таки: какие же твои дальнейшие намерения?

Я ответил полушутя: – Всякого несет какая-нибудь лиса. А куда и зачем, конечно, никому неизвестно. Это даже в Писании сказано: «Иди, юноша, в молодости твоей, куда ведет тебя сердце твое и куда глядят глаза твои!»

Брат помолчал, глядя в пол и как бы слушая шепот дождя по осеннему жалкому саду,  
Страница 87

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин потом грустно сказал: – Ну, иди, иди...

Я все спрашивал себя: что делать? Было ясно, что именно.

Но чем настойчивее старался я внушить себе, что завтра же надо написать решительное, прощальное письмо, – это было еще возможно, последней близости между нами еще не было, – тем все больше охватывала меня нежность к ней, восхищение ею, благодарное умиление ее любовью ко мне, прелесть ее глаз, лица, смеха, голоса... А через несколько дней, в сумерки, появился вдруг во дворе усадьбы верховой, мокрый с головы до ног посыльный подавший мне мокрую депешу: «Больше не могу, жду». Я не спал до рассвета от страшной мысли, что через несколько часов увижу, услышу ее...

Так, то дома, то в городе, провел я всю осень. Я продал седло, лошадь, в городе жил уже не в Дворянской гостинице, а на подворьи Никулиной, на Щепной площади. Город был теперь другой, совсем не тот, в котором шли мои отроческие годы. Все было простое, будничное, – только иногда, проходя по Успенской улице мимо сада и дома гимназии, ловил я что-то как будто близкое душе, когда-то пережитое. Уже давно я привычно курил, привычно брился в парикмахерской, где когда-то сидел с такой детской покорностью, искоса поглядывая, как под непрерывно стрекочущими ножницами падают на пол мои шелковистые волосы. Мы с утра до вечера сидели на турецком диване в столовой почти всегда в одиночестве: доктор с утра уезжал, гимназист, ее брат, уходил в гимназию, после завтрака доктор спал и опять куда-нибудь уезжал, а гимназист занят был бешеной игрой, беготней со своим рыжим Волчком, который, притворно ярясь, лая, захлебываясь, носился вверх и вниз по деревянной лестнице во второй этаж. Одно время эти однообразные сидения и, может быть, моя неумеренная, неизменная чувствительность наскучили ей – она стала находить предлоги уходить из дому, бывать у подруг, у знакомых, а я стал сидеть на диване один, слушая крики, хохот, топот гимназиста и театральные лай Волчка, бесившегося на лестнице, сквозь слезы глядел в полузавешанные окна на ровное серое небо, куря папиросу за папиросой... Потом опять что-то случилось с ней: опять она стала сидеть дома, стала так ласкова, добра ко мне, что я совсем потерял понятие, что она за человек. «Что ж, миленький, сказала она мне однажды, видно, так тому и быть!» – и, радостно морщась, заплакала. Это было после завтрака, когда в доме все ходили на цыпочках, оберегая отдых доктора. – «Мне только папу страшно жалко, для меня никого в мире нет дороже его!» – сказала она, как всегда, удивляя меня своей чрезмерной любовью к отцу. И, как нарочно, тотчас же после того прибежал гимназист, рассеянно пробормотал, что доктор просит меня к себе. Она побледнела. Я поцеловал ее руку и твердо пошел.

Доктор встретил меня с ласковым весельем отлично выспавшегося и только что умывшегося после сна человека, напевая и закуривая. – Мой молодой друг, – сказал он, предлагая курить и мне, – давно хотел поговорить с вами, – вы понимаете, о чем. Вам отлично известно, что я человек без предрассудков. Но мне дорого счастье дочери, от души жаль и вас, и потому поговорим начистоту, как мужчина с женщиной. Как это ни странно, но ведь я вас совсем не знаю. Скажите же мне: кто вы такой? – сказал он с улыбкой.

Краснея и бледнея, я стал усиленно затягиваться. Кто я такой? Хотелось ответить с гордостью, как Гете (я только что прочел тогда Эккермана): «Я сам себя не знаю, и избави меня, Боже, знать себя!» Я, однако, сказал скромно:

Вы знаете, что я пишу... Буду продолжать писать, работать над собой...

И неожиданно прибавил: – Может быть, подготавлиюсь и поступлю в университет... – Университет, это, конечно, прекрасно, – ответил доктор. – Но ведь подготовиться к нему дело не шуточное. И к какой именно деятельности вы хотите готовиться? К литературной только или и к общественной, служебной?

И снова вздор полез мне в голову – снова Гете:

«Я живу в веках, с чувством несносного непостоянства всего земного... Политика никогда не может быть делом поэзии...» – Общественность не дело поэта, – ответил я. Доктор взглянул на меня с легким удивлением: – Так что Некрасов, например, не поэт, по-вашему? Но вы все-таки следите хоть немного за текущей общественной жизнью, знаете, чем живет и волнуется в настоящий момент всякий честный и культурный русский человек?

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

Я подумал и представил себе то, что знал: все говорят о реакции, о земских начальниках, о том, что «камяна на камне не оставлено от всех благих начинаний эпохи великих реформ»... что Толстой зовет «в келью под елью»... что живем мы поистине в чеховских «Сумерках»... Я вспомнил книжечку изречений Марка Аврелия, распространяемую толстовцами:

«Фронтон научил меня, как черствы души людей, слывущих аристократами...» Вспомнил печального старика-хохла, с которым плыл весной по Днепру, какого-то сектанта, все твердившего мне на свой лад слова апостола Павла: «Як Господь посадыв одесную Себя Христа на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, так брань наша не против крови и плоти, но против начальств, мироправителей тьмы века сего...» Я почувствовал свое уже давнее тяготение к толстовству, освобождающему от всяких общественных уз и вместе с тем ополчающемуся на «мироправителей тьмы века сего», ненавистных и мне, – и пустился в проповедь толстовства.

– Так что, по-вашему, единственное спасение от всех зол и бед в этом пресловутом неделании, непротивлении? – спросил доктор с преувеличенным безразличием.

Я поспешил ответить, что я за делание и за противление, «только совсем особое». Мое толстовство складывалось из тех сильных противоположных чувств, которые возбуждали во мне Пьер Безухов и Анатолий Куракин, князь Серпуховской из «Холстомера» и Иван Ильич, «Так что же нам делать» и «Много ли человеку земли нужно», из страшных картин городской грязи и нищеты, нарисованных в статье о московской переписи, и поэтической мечты о жизни среди природы, среди народа, которую создавали во мне «Казак» и мои собственные впечатления от Малороссии: какое это счастье – отряхнуть от ног прах всей нашей несправедливой жизни и заменить ее чистой, трудовой жизнью где-нибудь на степном хуторе, в белой мазанке на берегу Днепра! Кое-что из всего этого, опустив мазанку, я и сказал доктору. Он слушал, казалось, внимательно, но как-то черезчур снисходительно. Одну минуту у него помутились сонно отяжелевшие глаза и задрожали от приступа зевоты сжатые челюсти, но он одолел себя, зевнул только через ноздри и сказал: – Да, да, я вас слушаю... Значит, вы не ищите лично для себя никаких, так сказать, обычных благ «мира сего»?

Но ведь есть же не только личное. Я, например, далеко не восхищаюсь народом, хорошо, к сожалению, знаю его, весьма мало верю, что он есть кладезь и источник всех премудростей и что я обязан вместе с ним утверждать землю на трех китах, но неужели все-таки мы ничем ему не обязаны и ничего не должны ему? Впрочем не смею поучать вас в этом направлении. Я во всяком случае очень рад, что мы побеседовали. Теперь же вернусь к тому, с чего начал. Скажу кратко и, простите, совершенно твердо. Каковы бы ни были чувства между вами и моей дочерью и в какой бы стадии развития они ни находились, скажу заранее: она, конечно, совершенно свободна, но, буде, пожелает, например, связать себя с вами какими-либо прочными узами и спросит на то моего, так сказать, благословения, то получит от меня решительный отказ. Вы очень симпатичны мне, я желаю вам всяческих благ, но это так. Почему? Отвечу совсем по-обывательски: не хочу видеть вас обоих несчастными, прозябающими в нужде, в неопределенном существовании. И потом, позвольте говорить уж совсем откровенно: что у вас общего? Гликерия девочка хорошенькая и, нечего греха таить, довольно переменчивая, – нынче одно увлечение, завтра другое, – мечтает, уж конечно, не о толстовской келье под елью, – посмотрите-ка, как она одевается, не взирая на наше захоlustье. Я отнюдь не хочу сказать, что она испорченная, я только думаю, что она, как говорится, совсем не пара вам...

Она ждала меня, стоя под лестницей, встретила меня вопрошающими и готовыми к ужасу глазами. Я поспешно передал ей последние слова доктора. Она опустила голову: – Да, против его воли я никогда не пойду, – сказала она.

V

Живя на подворьи Никулиной, я иногда выходил и без цели шел по щепной площади, потом по пустым полям сзади монастыря, где стояло большое кладбище, обнесенное старыми стенами. Там только ветер дул – грусть и глушь, вечный покой крестов и плит, всеми забытых, брошенных, что-то пустое, подобное одинокой, смутной мысли о чем-то. Над воротами кладбища была написана безграничная сизая равнина, вся изрытая разверзающимися могилами, наискось падающими надгробиями,

подымающимися из-под них зубастыми и ребрастыми скелетами и незапамятно-древними старцами и стариками в бледно-зеленых саванах. И огромный ангел с трубой возле уст летел, трубил над этой равниной, полосами развевая свои блекло-синие одежды, согнув в коленях голые девичьи ноги, вскинув сзади себя длинные меловые ступни... На подворье царил осенний уездный мир, было тоже пусто – подъезду из деревень почти не было. Я возвращался, входил во двор – навстречу мне, из-под навесов двора, несла петуха стряпуха в мужицких сапогах: «Вот в дом несую, говорила она, неизвестно чему смеясь, – совсем очумел от старости, нехай теперь со мной квартирует...» Я поднимался на широкое каменное крыльцо, проходил темные сенцы, потом теплую кухню с нарами, шел в горницы, – там была спальня хозяйки и та комната, где стояли два больших дивана, на которых спали редкие приезжие из мещан и духовенства, а чаще всего один я. Тишина, в тишине мерный бег в спальне хозяйки будильника... «Прогулялись?» – ласково, с улыбкой милого снисхождения, спрашивает хозяйка, выходя оттуда. Какой очаровательный, гармоничный голос! Она была полная, круглолицая. Я порой не мог спокойно смотреть на нее – особенно в те вечера, когда она, вся алая, возвращалась из бани и долго пила чай, сидела с еще темными влажными волосами, с тихим и томным блеском глаз, в белой ночной кофточке, свободно и широко покоя в кресле свое чистое тело, а ее любимая шелковисто-белая с розовыми глазами кошка мурлыкала в ее полных, слегка расставленных коленях. Снаружи слышался стук: стряпуха затворяла с улицы крепкие сплошные ставни, гремела, продевая оттуда в комнату, в круглые отверстия по бокам окон, железные шкворни коленчатых баутов, – нечто, напоминающее старинные, опасные времена. Никулина поднималась, вставляла в дырочки на концах баутов железные клинушки и опять бралась за чай, и в комнате становилось еще уютнее...

Дикая чувства и мысли проходили тогда во мне: вот бросить все и навсегда остаться тут, на этом подворье, спать в ее теплой спальне, под мерный бег будильника! Над одним диваном висела картина: удивительно зеленый лес, стоящий сплошной стеной, под ним бревенчатая хижинка, а возле хижинки – кротко согнувшийся старчик, положивший ручку на голову бурого медведя, тоже кроткого, смиренного, мягколапого; над другим – нечто совершенно нелепое для всякого, кто должен был сидеть или лежать на нем: фотографический портрет старика в гробу, важного, белолицого, в черном сюртуке, – покойного мужа Никулиной. Из кухни, в лад долгому осеннему вечеру, слышался дробный стук и протяжное: «У церкви стояла карета, там пышная свадьба была...» – это пели и рубили на зиму острыми сечками свежие тугие кочаны капусты слободские девки-поденщицы. И во всем, – в этой мещанской песне, в мерном хозяйственном стуке, в старой лубочной картине, даже в покойнике, жизнь которого все еще как бы длилась в этом бессмысленно-счастливом житии подворья, – была какая-то сладкая и горькая грусть...

## VI

В ноябре я уехал домой. Прощаясь, мы условились встретиться в Орле: она выедет туда первого декабря, я-же, для приличия, хоть неделей поздней. А первого, в морозную лунную ночь, поскакал в Писарево, чтобы сесть там как раз в тот ночной поезд, с которым она должна была ехать из города. Как вижу, как чувствую эту сказочно-давнюю ночь! Вижу себя на полпути между Батуриным и Васильевским, в ровном снежном поле. Пара летит, коренник точно на одном месте трясет дугой, дробит крупной рысью, пристяжная ровно взвывает и взвывает зад, мечет и мечет вверх из-под задних бело-сверкающих подков снежными комьями... порой вдруг сорвется с дороги, ухнет в глубокий снег, зашпешит, зачистит, путаясь в нем вместе с опавшими постромками, потом опять цепко выскочит и опять несет, крепко рвет валек... Все летит, спешит – и вместе с тем точно стоит и ждет: неподвижно серебрится вдали, под луной, чешуйчатый наст снегов, неподвижно белеет низкая и мутная с морозу луна, широко и мистически-печально охваченная радужно-туманным кольцом, и всего неподвижней я, застывший в этой скачке и неподвижности, покорившийся ей до поры до времени, оцепеневший в ожидании, а наряду с этим тихо глядящий в какое-то воспоминание: вот такая же ночь и такой-же путь в Васильевское, только это моя первая зима в Батурине, и я еще чист, невинен, радостен – радостью первых дней юности, первыми поэтическими упоениями в мире этих старинных томиков, привозимых из Васильевского, их стансов, посланий, элегий, баллад:

Скачут. Пусто все вокруг.

Степь в очах Светланы...

«Где все это теперь!» думаю я, не теряя, однако, ни на минуту своего главного состояния, – оцепенелого, ждущего. «Скачут, пусто все вокруг», говорю я себе в лад этой скачке (в ритм движения, всегда имевшего такую ворожающую силу надо

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин (мною) и чувствую в себе кого-то лихого, старинного, куда-то скачущего в кивере и медвежьей шубе, и о действительности напоминает только засыпанный снегом работник, в армяке поверх полушубка стоящий в передке, да пересыпанная снежной пылью, мерзлая, пахучая овсяная солома, набитая под передком в моих застывших ногах... За Васильевским, на раскате в ухаб, упавший коренник переломил оглоблю, – я, пока работник связывал ее, замирал от ужаса, что опоздаю к поезду. Приехав, тотчас на последние деньги купил билет первого класса, – она ездила в первом, – и кинулся на платформу. Помню мутный от морозного пара лунный свет, в котором терялся желтый свет ее фонарей и освещенных окон телеграфа. Поезд уже подходил, я глядел в мутную снежную даль, чувствуя себя точно стеклянным от мороза и ледяного внутреннего трепета. Неожиданно и гулко забил колокол, резко завизжали и захлопали двери, туго и резко заскрипели быстрые шаги выходящих из вокзала – и вот как-то космато зачернел вдали паровоз, показался медленно идущий под его тяжелое дыхание страшный треугольник мутно-красных огней... Поезд подошел с трудом, весь в снегу, промерзлый, визжа, скрипя, ноя... Я вскочил в сенцы вагона, распахнул дверь в него – она, в шубке, накинутой на плечи, сидела в сумраке, под задернутым вишневой занавеской фонарем, совсем одна во всем вагоне, глядя прямо на меня...

Вагон был старый, высокий, на трех парах колес; на бегу, на морозе, он весь гремел и все падал, валился куда-то, скрипел дверями и стенками, замерзшие стекла его играли серыми алмазами... Мы были уже где-то далеко, была поздняя ночь... Все произошло как-то само собой, вне нашей воли, нашего сознания... Она встала с горящим, ничего не видящим лицом, поправила волосы и, закрыв глаза, недоступно села в угол...

## VII

Зиму мы жили в Орле.

Как выразить чувства, с которыми мы вышли утром из вагона, вошли в редакцию, втайне соединенные нашей новой, жуткой близостью!

Я поселился в маленькой гостинице, она по-прежнему у Авиловой. Там мы проводили почти весь день, а заветные часы – в этой гостинице.

Это было счастье нелегкое, изнурительное и телесно и душевно.

Помню: как-то вечером она была на катке, я сидел и занимался в редакции, – мне там уже стали давать кое-какую работу, некоторый заработок, – в доме было пусто и тихо, Авилова уехала на какое-то собрание, вечер казался бесконечным, фонарь, горевший за окном на улице, грустным, никому не нужным, приближающиеся и удаляющиеся шаги прохожих, их скрип по снегу, точно уносили, отнимали что-то от меня; сердце мне томила тоска, обида, ревность, – вот я тут сижу один, за какой-то нелепой, недостойной меня работой, до которой я унизился ради нее, а ей где-то там, на этом ледяном пруду, окруженном белыми снежными валами с черными елками, оглушаемом полковой музыкой, залитом сиреневым газовым светом и усеянным летающими черными фигурами, – ей там весело...

Вдруг раздался звонок и быстро вошла она. На ней был серый костюм, серая беличья шапочка, в руках она держала блестящие коньки, и все в комнате сразу радостно наполнилось ее морозной молодой свежестью, красотой раскрасневшегося от мороза и движения лица. – «Ох, сказала она, устала я!» – и прошла в свою комнату. Я пошел за ней, она бросилась на диван, с усмешкой изнеможения откинулась, все еще держа коньки в руках. Я с мучительным и уже привычным чувством смотрел на ее высокий зашнурованный подъем, на ногу, обтянутую серым чулком и видную из-под короткой серой юбки, – даже одна эта плотная шерстяная материя вождеденно мучила меня, – стал упрекать ее, – ведь мы не видались весь день! – потом вдруг, с пронзительным чувством нежности и жалости, увидел, что она спит... Очнувшись, она ласково и грустно ответила: «Я почти все слышала. Не сердись, я вообще очень устала. Ведь я слишком много пережила за этот год!»

## VIII

Чтобы найти предлог для жизни в Орле, она начала учиться музыке. Я тоже нашел предлог: работу в «Голосе». Первое время это меня даже радовало: радовала хоть некоторая правильность, наставшая в моем существовании, успокаивала некоторая обязательность, которая вошла в мою лишенную всяких обязательств жизнь. Потом

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
все чаще стало мелькать в уме: о такой ли жизни я мечтал! Вот я, может быть, в самой лучшей поре своей, когда весь мир должен быть в моем обладании, а я не обладаю даже калошами! Все это только пока, теперь? Ну, а что впереди? Мне стало казаться, что далеко не все благополучно и в нашей близости, в согласованности наших чувств, мыслей, вкусов, а значит, и в ее верности: этот «вечный раздор между мечтой и существенностью», вечную неосуществимость полноты и цельности любви я переживал в ту зиму со всей силой новизны для меня и как будто страшной незаконности по отношению ко мне.

Больше всего мучился я, когда бывал с ней на балах, в гостях. Когда она танцевала с кем-нибудь, кто был красив, ловок, и я видел ее удовольствие, оживление, быстрое мелькание ее юбок и ног, музыка больно била меня по сердцу своей бодрой звучностью, вальсами влекла к слезам. Все любовались, когда она танцевала с Турчаниновым, – тем противоположенно-высоким офицером в черных полубачках, с продолговатым, матово-смуглым лицом, с неподвижными темными глазами. Она была довольно высока, – все-таки он был на две головы выше ее и, тесно обняв и плавно, длительно кружа ее, как-то настойчиво смотрел на нее сверху вниз, а в ее поднятом к нему лице было что-то счастливое и несчастное, прекрасное и вместе с тем бесконечно ненавистное мне. Как молил я тогда Бога, чтобы произошло нечто невероятное, – чтобы он вдруг наклонился и поцеловал ее и тем сразу разрешил, подтвердил тяжкие ожидания, замиранья моего сердца! – Ты только о себе думаешь, хочешь, чтобы все было только по-твоему, – сказала она раз. – Ты бы, верно, с радостью лишил меня всякой личной жизни, всякого общества, отделил бы меня ото всех, как отделяешь себя...

И точно: по какому-то тайному закону, требующему, чтобы во всякую любовь и особенно любовь к женщине, входило чувство жалости, сострадающей нежности, я жестоко не любил – особенно на-людях – минут ее веселости, оживления, желания нравиться, блистать – и горячо любил ее простоту, тишину, кротость, беспомощность, слезы, от которых у нее тотчас же по-детски вспухали губы. В обществе я, действительно, чаще всего держался отчужденно, недобрым наблюдателем, втайне даже радуясь своей отчужденности, недоброжелательности, резко обострявшей мою впечатлительность, зоркость, пронизательность насчет всяких людских недостатков. Зато как хотел я близости с ней и как страдал, не достигая ее!

Я часто читал ей стихи. – Послушай, это изумительно! – восклицал я. – «Уноси мою душу в звенящую даль, где, как месяц над рощей, печаль!»

Но она изумления не испытывала: – Да, это очень хорошо, – говорила она, уютно лежа на диване, подложив обе руки под щеку, глядя искоса, тихо и безразлично. – Но почему «как месяц над рощей»? Это фет? У него вообще слишком много описаний природы.

Я негодовал: описаний! – пускался доказывать, что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни. Она смеялась: – Это только пауки, миленький, так живут!

Я читал:

Какая грусть! Конец аллеи  
Опять с утра исчез в пыли,  
Опять серебряные змеи  
Через сугробы поползли...  
Она спрашивала: – Какие змеи?

И нужно было объяснить, что это метель, поземка.

Я, бледнея, читал:

Ночь морозная мутно глядит  
Под рогожу кибитки моей...  
За горами, лесами, в дыму облаков,  
Светит пасмурный призрак луны...  
– Миленький, – говорила она, – ведь я-же этого ничего никогда не видала!

Я читал уже с тайным укором:

Солнца луч промеж туч был и жгуч и высок,  
Пред скамьей ты чертила блестящий песок...

Она слушала одобрительно, но, вероятно, только потому, что представляла себе, что это она сама сидит в саду, чертя по песку хорошеньким зонтиком. – Это, правда, прелестно, – говорила она. – Но достаточно стихов, поди ко мне... Все-то ты недоволен мной!

Я нередко рассказывал ей о своем детстве, ранней юности, о поэтической прелести нашей усадьбы, о матери, отце, сестре: она слушала с беспощадным безучастием. Я хотел от нее грусти, умиления, рассказывая о той бедности, которая наступала порой в жизни нашей семьи, – о том, например, как однажды мы сняли все старинные ризы со всех наших образов и повезли их закладывать в город Мещериновой, одинокой старухе страшного восточного вида, горбоносой, усатой, с выкаченными белками, в шелках, шалях и перстнях, в пустом доме которой, загроможденном всяким музейным убранством, весь день диким и мертвым голосом кричал попугай: и что же видел вместо грусти, умиления? – Да, это ужасно, – невнимательно говорила она.

Чем дальше жил я в городе, тем больше чувствовал себя в нем как-то совершенно ни к чему, – даже Авилова почему-то изменилась ко мне, стала суха, насмешлива; чем темней и скучней становилась моя городская жизнь, тем чаще тянуло меня быть наедине с ней, – что-нибудь читать, рассказывать, высказываться. В моей комнате в гостинице было узко, серо, страшно грустно за себя – за чемоданишко и несколько книжек, составлявших все мое богатство, за одинокие ночи, которые так бедно и холодно не то что спал, а скорее одолевал я в ней, все сквозь сон поджидая рассвета, первого морозного, зимнего удара в колокол на соседней колокольне. В ее комнате тоже было тесно, она была в конце коридора, возле лестницы в мезонин, зато окнами выходила в сад, была тиха, тепла, хорошо убрана; в сумерки в ней топилась печка, она же умела лежать в подушках дивана удивительно приятно, вся сжавшись и подобрав под себя свои на редкость хорошенькие туфельки.

Я говорил:

Шумела полночная вьюга  
В лесной и глухой стороне,  
Мы сели с ней друг против друга,  
Валежник свистал на огне...

Но все эти вьюги, леса, поля, поэтически-дикарские радости уюта, жилья, огня были особенно чужды ей.

Мне долго казалось, что достаточно сказать: «знаешь эти осенние накатанные дороги, тугие, похожие на лиловую резину, иссеченные шипами подков и блестящие под низким солнцем слепящей золотой полосой?», чтобы вызвать ее восторг. Я рассказывал ей, как мы однажды с братом Георгием ездили поздней осенью покупать на сруб березу: в поварской у нас вдруг рухнул потолок, чуть не убил древнего старика, нашего бывшего повара, вечно лежавшего в ней на печи, и вот мы поехали в рощу, покупать эту березу на матицу. Шли непрерывные дожди (все мелкими, быстро сыплющимися сквозь солнце каплями), мы рысью катили в телеге с мужиками сперва по большой дороге, потом по роще, которая стояла в этом дробном, дождевом и солнечном сверкании на своих еще зеленых, но уже мертвых и залитых водою полянах с удивительной вольностью, картинностью и покорностью... Я говорил, как несказанно жаль было мне эту раскидистую березу, сверху до низу осыпанную мелкой ржавой листвой, когда мужики косолапо и грубо обошли, оглядели ее кругом и потом, поллевав в рубчатые, звериные ладони, взяли за топоры и дружно ударили в ее пестрый от белизны и черни ствол... «Ты не можешь себе представить, как страшно мокро было все, как все блестело и переливалось!» – говорил я и кончил признанием, что хочу написать об этом рассказ. Она пожала плечами: – Ну, миленький, о чем же тут писать! Что ж все погоду описывать!

Одним из самых сложных и мучительных наслаждений была для меня музыка. Когда она играла что-нибудь прекрасное, как любил я ее! Как изнемогала душа от восторженно-самоотверженной нежности к ней! Как хотелось жить долго, долго! Часто я думал, слушая: «Если мы когда-нибудь расстанемся, как я буду слушать это без нее! Как я буду вообще любить что-нибудь, чему-нибудь радоваться, не делясь с ней этой любовью, радостью!» Но насчет того, что мне не нравилось, я был так резок в суждениях, что она выходила из себя: – Надя! – кричала она Авиловой, бросая клавиши и круто повертываясь к соседней комнате. – Надя, послушай, что он

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин здесь несет! – И буду нести! – восклицал я. – Три четверти каждой из этих сонат – пошлость, гам, кавардак! Ах, здесь слышен стук гробовой лопаты! Ах, тут феи на лугу кружатся, а тут гремят водопады! Эти феи одно из самых ненавистных мне слов! Хуже газетного «чреватый»!

Она уверяла себя в своей страстной любви к театру, а я ненавидел его, все больше убеждался, что талантливость большинства актеров и актрис есть только их наилучшее по сравнению с другими умение быть пошлыми, наилучше притворяться по самым пошлым образцам творцами, художниками. Все эти вечные свахи в шелковых повойниках лукового цвета и турецких шляхах, с подобострастными ужимками и сладким говорком изгибающиеся перед Тит Титычами, с неизменной гордой истовостью откидывающимися назад и непременно прикладываящими растопыренную левую руку к сердцу, к боковому карману длиннополого сюртука; эти свиноподобные городничие и вертлявые Хлестаковы, мрачно и чревно хрипящие Осипы, поганенькие Репетиловы, фатовски негодующие Чацкие, эти фамусовы, играющие перстами и выпячивающие, точно сливы, жирные актерские губы; эти Гамлеты в плащах факельщиков, в шляпах с кудрявыми перьями, с развратно-томными, подведенными глазами, с черно-бархатными ляжками и плебейскими плоскими ступнями, – все это приводило меня просто в содрогание. А опера! Риголетто, изогнутый в три погибели, с ножками раз навсегда раскинутыми врозь вопреки всем законам естества и связанными в коленках! Сусанин, гробно и блаженно закатывающий глаза к небу и выводящий с перекатами: «Ты взойдешь, моя заря», мельник из «Русалки» с худыми, как сучья, дико раскинутыми и грозно трясушимися руками, с которых, однако, не снято обручальное кольцо, и в таких лохмотьях, в столь истерзанных, зубчатых портках, точно его рвала целая стая бешеных собак!

В спорах о театре мы никогда ни до чего не договаривались: теряли всякую уступчивость, всякое понимание друг друга. Вот знаменитый провинциальный актер, гастролируя в Орле, выступает в «Записках сумасшедшего», и все жадно следят, восхищаются, как он, сидя на больничной койке, в халате, с неумеренно-небритым бабьим лицом, долго, мучительно-долго молчит, замирая в каком-то идиотски-радостном и все растущем удивлении, потом тихо, тихо подымает палец и наконец, с невероятной медленностью, с нестерпимой выразительностью, зверски выворачивая челюсть, начинает слог за слогом:

«Се-го-дня-шнего дня...» Вот, на другой день, он еще великолепно притворяется Любимом Торцовым, а на третий – сизоносый, засаленный Мармеладовым:

«А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным?» – Вот знаменитая актриса пишет на сцене письмо – вдруг решила написать что-то роковое и, быстро сев за стол, обмакнула сухое перо в сухую чернильницу, в одно мгновение сделала три длинных линии по бумаге, сунула ее в конверт, звякнула в колокольчик и коротко и сухо приказала появившейся хоршенькой горничной в белом фарточке: «Немедленно отправьте это с посыльным!» – Каждый раз после такого вечера в театре мы с ней кричим друг на друга, не давая спать Авилевой, до трех часов ночи, и я клянусь уже не только гоголевского сумасшедшего, Торцова и Мармеладова, но и Гоголя, Островского, Достоевского... – Но, допустим, вы правы, – кричит она, уже бледная, с потемневшими глазами и потому особенно прелестная, – почему все-таки приходите вы в такую ярость? Надя, спроси его! – Потому, – кричу я в ответ, – что за одно то, как актер произносит слово «аромат» – «а-ро-мат!» – я готов задушить его!

И такой же крик подымался между нами после каждой нашей встречи с людьми из всякого орловского общества. Я страстно желал делиться с ней наслаждением своей наблюдательности, изошрением в этой наблюдательности, хотел заразить ее своим беспощадным отношением к окружающему и с отчаянием видел, что выходит нечто совершенно противоположное моему желанию сделать ее соучастницей своих чувств и мыслей. Я однажды сказал: – Если б ты знала, сколько у меня врагов! – Каких? Где? – спросила она. – Всяких, всюду: в гостинице, в магазинах, на улице, на вокзале... – Кто же эти враги? – Да все, все! Какое количество мерзких лиц и тел! Ведь это даже апостол Павел сказал «Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человека, иная у скотов...» Некоторые просто страшны! На ходу так кладут ступни, так держат тело в наклон, точно они только вчера поднялись с четверенек. Вот я вчера долго шел по Волховской сзади широкоплечего, плотного полицейского пристава, не спуская глаз с его толстой спины в шинели, с икр в блестящих крепко выпуклых голенищах: ах, как пожирал я эти голенища, их сапожный запах, сукно этой серой добротной шинели, пуговицы на ее хлястике и все это сильно сорокалетнее животное во всей его воинской сбруе! – Как тебе не совестно! –

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
сказала она с брезгливым сожалением. – Неужели ты, правда, такой злой, гадкий?  
Не понимаю я тебя вообще. Ты весь из каких-то удивительных противоположностей!

## IX

И все-таки, приходя по утрам в редакцию, я все радостней, родственней встречал на вешалке ее серую шубку, в которой была как бы сама она, какая-то очень женственная часть ее, а под вешалкой – милые серые ботики, часть наиболее трогательная. От нетерпения поскорее увидеть ее я приходил раньше всех, садился за свою работу, – просматривал и правил провинциальные корреспонденции, прочитывал столичные газеты, составлял по ним «собственные телеграммы», чуть не заново переписывал некоторые рассказы провинциальных беллетристов, а сам слушал, ждал – и вот наконец: быстрые шаги, шелест юбки! Она подбегала, вся точно совсем новая, с прохладными душистыми руками, с молодым и особенно полным после крепкого сна блеском глаз, поспешно оглядывалась и целовала меня. Так же забегала она порой ко мне в гостиницу, вся морозно пахнущая мехом шубки, зимним воздухом. Я целовал ее яблочно-холодное лицо, обнимая под шубкой все то теплое, нежное, что было ее телом и платьем, она, смеясь, увертывалась, – «пусти, я по делу пришла!» – звонила коридорному, при себе приказывала убрать комнату, сама помогала ему...

Я однажды нечаянно услышал ее разговор с Авиловой, – они как-то вечером сидели в столовой и откровенно говорили обо мне, думая что я в типографии. Авилова спрашивала: – Лика, милая, но что же дальше? Ты знаешь мое отношение к нему, он, конечно, очень мил, я понимаю, ты увлеклась... Но дальше-то что?

Я точно в пропасть полетел. Как, я «очень мил», не более! Она всего-навсего только «увлеклась»! Ответ был еще ужаснее: – Но что же я могу? Я не вижу никакого выхода...

При этих словах во мне вспыхнуло такое бешенство, что я уже готов был кинуться в столовую, крикнуть, что выход есть, что через час ноги моей больше не будет в Орле, – как вдруг она опять заговорила: – Как же ты, Надя, не видишь, что я действительно люблю его! А потом, ты его все-таки не знаешь, – он в тысячу раз лучше, чем кажется...

Да, я мог казаться гораздо хуже, чем был. Я жил напряженно, тревожно, часто держался с людьми жестко, заносчиво, легко впадал в тоску, в отчаяние; однако, легко и менялся, как только видел, что ничто не угрожает нашему с ней ладу, никто на нее не посягает: тут ко мне тотчас возвращалась вся прирожденная мне готовность быть добрым, простосердечным, радостным. Если я знал, что какой-нибудь вечер, на который мы собирались с ней, не принесет мне ни обиды, ни боли, как празднично я собирался, как нравился сам себе, глядясь в зеркало, любясь своими глазами, темными пятнами молодого румянца, белоснежной рубашкой, подкрахмаленные складки которой расклеивались, разрывались с восхитительным треском! Каким счастьем были для меня балы, если на них не страдала моя ревность! Каждый раз перед балом я переживал жестокие минуты, – нужно было надевать фрак покойного мужа Авиловой, совершенно, правда, новый, кажется, ни разу не надеванный и все же меня как бы пронзавший. Но минуты эти забывались – стоило только выйти из дома, дохнуть морозом, увидеть пестрое звездное небо, быстро сесть в извозчичы санки...

Бог знает, зачем украшали ярко блиставшие входы бальных собраний какими-то красно-полосатыми шатрами, зачем разыгрывалась перед ними такая щеголеватая свирепость квартальных, командовавших съездом! Но все равно – это был уж бал, этот странный вход, ярко и бело заливавший каленым светом перемешанный сахарный снег перед ним, и вся эта игра в быстроту и в лад, четкий полицейский крик, мерзлые полицейские усы в струну, блестящие сапоги, топчущиеся в снегу, как-то особенно вывернутые и спрятанные в карманы руки в белых вязаных перчатках. Чуть не все подъезжавшие мужчины были в формах, – много форм было когда-то в России, – и все были вызывающе возбуждены своими чинами, формами, – я еще тогда заметил, что люди, даже всю жизнь владеющие всякими высшими положениями и титулами, никогда за всю жизнь не могут к ним привыкнуть. Эти подъезжавшие всегда и меня возбуждали, тотчас становились предметом моей мгновенно обостряющейся неприязненной зоркости. Зато женщины были почти все милы, желанны. Они очаровательно освобождали себя в вестибюле от мехов и капоров, быстро становясь как раз теми, которыми и надлежало идти по красным коврам широких лестниц столь волшебными, умножающимися в зеркалах толпами. А потом – эта великолепная пустота

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
залы, предшествующая балу, ее свежий холод, тяжкая гроздь люстры, насквозь  
играющей алмазным сиянием, огромные нагие окна, лоск и еще вольная просторность  
паркета, запах живых цветов, пудры, духов, бальной белой лайки – и все это  
волнение при виде все прибывающего бального люда, ожидание звучности первого  
грома с хор, первой пары, вылетающей вдруг в эту ширь еще девственной залы, –  
пары всегда самой уверенной в себе, самой ловкой.

Я уезжал на бал всегда раньше их. Когда приезжал, еще длился съезд, внизу еще  
заваливали служителей пахучими шубами, шубками, шинелями, воздух везде был резок  
для тонкого фрака. Тут я, в этом чужом фраке, с гладкой прической, стройный, как  
будто еще больше похудевший, ставший легким, всем чужой, одинокий, – какой-то  
странно-гордый молодой человек, состоящий в какой-то странной роли при редакции  
– чувствовал себя сперва так трезво, ясно и так отдельно от всех, точно был  
чем-то вроде ледяного зеркала. Потом делалось все людней и шумней, музыка  
гремела привычной, в дверях залы уже теснились, женщин все прибывало, воздух  
становился гуще, теплей, и я как бы хмелел, на женщин смотрел все смелее, а на  
мужчин все заносчивее, скользил в толпе все ритмичней, извинялся, задевая  
какой-нибудь фрак или мундир, все вежливей и надменней...

Потом вдруг видел их, – вот они, осторожно, с полуулыбками, пробираются в толпе  
– и сердце обрывалось родственно и как-то неловко и удивленно: они и не они, те  
и не те. Особенно она – совсем не та! Меня каждый раз поражала в эту минуту ее  
юность, тонкость: схваченный корсетом стан, легкое и такое непорочно-праздничное  
платице, обнаженные от перчаток до плечей и озябшие, ставшие оторочески  
сиреневыми руки, еще неуверенное выражение лица... только прическа высокая, как у  
светской красавицы, и в этом что-то особенно влекущее, но как бы уже готовое к  
свободе от меня, к измене мне и даже как будто к сокровенной порочности. Вскоре  
к ней кто-нибудь подбегал, с привычной бальной поспешностью низко кланялся, она  
передавала веер Авиловой и как будто рассеянно, с грацией клала руку ему на  
плечо и, кружась, скользя на носках, исчезала, терялась в кружащейся толпе,  
шуме, музыке. И я как-то прощально и уже с холодом враждебности смотрел ей  
вслед.

Маленькая, живая, всегда вся крепко и весело собранная Авилова тоже удивляла  
меня на балу своей молодостью, сияющей миловидностью. Это на балу вдруг понял я  
однажды, что ведь ей всего двадцать шесть лет, и впервые, не решаясь верить  
себе, догадался о причине странной перемены, происшедшей в ее обращении со мной  
в эту зиму, – о том, что она может любить и ревновать меня.

Х

Потом мы надолго расстались.

Началось с того, что неожиданно приехал доктор.

Войдя однажды в солнечное морозное утро в прихожую редакции, я вдруг  
почувствовал крепкий запах каких-то очень знакомых папирос и услышал оживленные  
голоса и смех в столовой. Я приостановился – что такое? Это, оказалось, накурил  
на весь дом доктор, это говорил он – громко, с оживлением того сорта людей,  
которые, достигнув известного возраста, так и оставались в нем без всяких  
перемен на целые годы, наслаждаясь отличным самочувствием, непрерывным курением  
и немолчной говорливостью. Я оторопел – что значит этот внезапный приезд?  
Какое-нибудь требование к ней? И как войти, как держать себя? – Ничего страшного  
не произошло, однако, в первые минуты. Я быстро справился с собой, вошел,  
приятно изумился... Доктор, по своей доброте, даже несколько смутился, поспешил,  
смеясь и как бы извиняясь, сказать, что приехал «отдохнуть на недельку от  
провинции». Я тотчас заметил, что и она была возбуждена. Почему-то возбуждена  
была и Авилова. Все же можно было надеяться, что всему причиной доктор, как  
неожиданный гость, как человек, только что явившийся из уезда в губернию и  
потому с особенным оживлением пьющий после ночи в вагоне горячий чай в чужой  
столовой. Я уже начал успокаиваться. Но тут-то и ждал меня удар: из всего того,  
что говорил доктор, я вдруг понял, что он приехал не один, а с Богомолковым,  
молодым, богатым и даже знаменитым в нашем городе кожевником, давно уже имевшим  
виды на нее; а затем услышал смех доктора: – Говорит, что влюблен в тебя, Лика,  
без ума, приехал с самыми решительными намерениями! Так что теперь судьба сего  
несчастливого в твоём полном распоряжении: захочешь – помилуешь, не захочешь – на  
веки погубишь...

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

А Богомоллов был не только богат: он был умен, характером жив и приятен, кончил университет, живал за границей, говорил на двух иностранных языках; с виду он мог в первую минуту почти испугать: красно-рыжий, гладко причесанный на прямой ряд, нежно круглолицый, он был чудовищно, нечеловечески толст, – не то какой-то до естественной величины разросшийся и сказочно упитанный младенец, не то громадный, весь насквозь светящийся жиром и кровью молодой йоркшир; однако, все в этом йоркшире было такое великолепное, чистое, здоровое, что даже радость охватывала: в голубых глазах – небесная лазурь, цвет лица – несказанный по своей девственности, во всем же обращении, в смехе, в звуке голоса, в игре глаз и губ что-то застенчивое и милое; ножки и ручки у него были трогательно маленькие, одежда из английской материи, носки, рубашка, галстук – все шелковое. Я быстро взглянул на нее, увидел ее неловкую улыбку... И все вдруг мне стало чужим, далеким, сам себе я вдруг показался всему этому дому постыдно лишним, ненужным, к ней меня охватила ненависть...

После того мы никогда и часу в день не могли провести наедине, она не расставалась то с отцом, то с Богомолловым. Авилову не покидала загадочно-веселая усмешка, она проявила к Богомоллову такую любезность, приветливость, что он с первого же дня стал совсем своим человеком в доме, появлялся в нем с утра и сидел до позднего вечера, в гостинице только ночевал. Начались кроме того репетиции любительского драматического кружка, которого лика была членом, – кружок готовился к спектаклю на маслянице и через нее привлек на маленькие роли не только Богомоллова, но и самого доктора. Она говорила, что принимает ухаживания Богомоллова только ради отца, ради того, чтобы не обижать его резким отношением к Богомоллову, и я всячески крепился, делал вид, что верю ей, даже заставлял себя бывать на этих репетициях, стараясь скрывать таким образом свою тяжкую ревность и все те другие мучения, которые я испытывал на них: я не знал, куда глаза девать и от стыда за нее, за ее жалкие попытки «играть». И какое это было вообще страшное зрелище человеческой бездарности! Репетициями руководил профессионал, безработный актер, мнивший себя, конечно, большим талантом, упивавшийся своим гнусным сценическим опытом, человек неопределенного возраста, с лицом цвета замазки и в таких крупных морщинах, что они казались нарочно сделанными.

Он поминутно выходил из себя, давая указания, как нужно вести ту или иную роль, ругался так грубо и бешено, что на висках у него веревками вздувались склеротические жилы, сам играл то мужские, то женские роли, и все выбивались из сил в подражании ему, терзая меня каждым звуком голоса, каждым движением тела: как ни нестерпим был актер, его подражатели были еще нестерпимее. И почему, зачем играли они? Была среди них присущая каждому провинциальному городу полковая дама, костлявая, самоуверенная, дерзкая, была ярко рядившаяся девица, всегда тревожная, всегда чего-то ждущая, усвоившая себе манеру накусывать губы, были две сестры, известные всему городу своей неразлучностью и разительным сходством между собою: обе рослые, грубо-черноволосые, с черными сросшимися бровями, строго-молчаливые – настоящая пара вороных дышловых лошадей, был чиновник особых поручений при губернаторе, совсем еще молодой, но уже лысеющий блондин с выulptенными голубыми глазами в красных веках, очень высокий, в очень высоких воротничках, изнурительно вежливый и деликатный, был местный знаменитый адвокат, дородный, огромный, толстогрудый, толстоплечий, с тяжелыми ступнями, – когда я видал его на балах, во фраке, я всегда принимал его за главного лакея, – был молодой художник: черная бархатная блуза, длинные индусские волосы, козлиный профиль с козлиной бородкой, женственная порочность полузакрытых глаз и нежных ярко-красных губ, на которые было неловко смотреть, женский таз...

Потом настал и самый спектакль. До поднятия занавеса я сунулся было за кулисы: там сходили с ума, одеваясь, гримируясь, крича, ссорясь, выбегая из уборных, наталкиваясь друг на друга и не узнавая друг друга, – так странно все были наряжены, – кто-то был даже в коричневом фраке и фиолетовых штанах, – так мертвы были парики и бороды, неподвижны размалеванные лица с пластырно-розовыми наклейками на лбах и носах, с подведенными, блестящими глазами, с начерченными, крупными и тяжело, как у манекенов, моргающими ресницами. Я, столкнувшись с ней, тоже не узнал ее, поражен был ее кукольностью – каким-то розовым грациозно-старомодным платьицем, густым белокурым париком, лубочной красотью и детскостью конфетного лица...

Богомоллов играл желтоволосого дворника, – его нарядили с особенной изобразительностью, подобающей созданию «бытового типа», – а доктор старого дядюшку, отставного генерала: он и начал спектакль, сидя на даче, в плетеном

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
кресле, под досчатым зеленым деревом, стоящим на голом полу, в новеньком  
чесучовом костюме, тоже весь розово намалеванный, с огромными молочными усами и  
подушниками, откинувшись в кресле и надутно глядя в широко раскрытую газету,  
весь, несмотря на прекрасное летнее утро декораций, ярко освещенный снизу  
лампочками рампы и при всех своих седилах изумительно моложавый; он должен был  
сказать, почитавши газету, что-то густо-ворчливое, но все только глядел, ничего  
не мог сказать, несмотря на отчаянный шип из суфлерской будки: только тогда,  
когда она выскочила наконец из-за кулис (с детски-игривым, очаровательно-резвым  
смехом) и кинулась на него сзади, захватила ему глаза руками, крича: «угадай,  
кто?» – только тогда закричал и он, отчеканивая каждое слово: «Пусти, пусти,  
коза, отлично знаю, кто!»

В зале было полутемно, на сцене солнечно, ярко. Я, сидя в первом ряду,  
взглядывал то на сцену, то вокруг себя; ряд состоял из самых богатых, удушаемых  
своей полнотой штатских и самых видных чинами и фигурами полицейских и военных,  
и все они были точно скованы тем, что творилось на сцене, – напряженные позы,  
недоконченные улыбки... Я не мог досидеть даже до конца первого действия. Как  
только что-то стукнуло на сцене, – знак, что скоро занавес, – я быстро пошел  
вон. Там, на сцене, разыгрались уже вовсю, – в светлый и естественный коридор,  
где ко всему привычный старик помогал мне одеваться, особенно неестественно  
доносились неумеренно бойкие восклицания артистов. Я наконец выскочил на улицу.  
Чувство какого-то губельного одиночества достигло во мне до восторга. Было  
безлюдно, чисто, огни фонарей блестели неподвижно. Я шел не домой, – там, в моей  
узкой комнате, в гостинице, было уж слишком страшно, – а в редакцию. Я прошел  
вдоль присутственных мест, свернул на пустую площадь, посреди которой поднимался  
собор, теряясь чуть блестящим золотым куполом в звездном небе... Даже в скрипе  
моих шагов по снегу было что-то высокое, страшное... В теплом доме была тишина,  
мирный, медленный стук часов в освещенной столовой. Мальчик Авиловой спал,  
нянька, отворившая мне, сонно взглянула на меня и ушла. Я прошел в эту уже столь  
знакомую мне и столь для меня особенную комнату под лестницей, сел в темноте на  
знакомый, теперь какой-то роковой диван... Я и ждал, и ужасался той минуты, когда  
вдруг придут, шумно войдут, наперебой станут говорить, смеяться, садиться за  
самовар, делиться впечатлениями, – всего же больше боялся того мгновения, когда  
раздастся ее смех, ее голос... Комната была полна ею, ее отсутствием и  
присутствием, всеми ее запахами, – ее самой, ее платьев, духов, мягкого  
халатика, лежавшего возле меня на валике дивана... в окно грозно синела зимняя  
ночь, за черными сучьями деревьев в саду сверкали звезды...

На первой неделе поста она уехала с отцом и Богомолковым (отказав ему). Я давно  
перестал даже разговаривать с ней. Она собиралась в отъезд, все время плача,  
каждую минуту надеясь, что я вдруг задержу, не пушу ее.

## XI

Шли провинциальные великопостные дни. Извозчики без дела стояли на углах, зябли,  
иногда отчаянно махали крест-накрест руками, несмело окликали проходящего  
офицера: «Ваше благородие! На резвой?» Галки, чуя, что все-таки скоро весна,  
болтали нервно, оживленно, но вороны каркали еще жестко, круто.

Разлука казалась особенно ужасна по ночам. Просыпаясь среди ночи, я поражался:  
как теперь жить и зачем жить? Ужели это я, – тот, кто почему-то лежит в темноте  
этой бессмысленной ночи, в каком-то губернском городе, населенном тысячами чужих  
людей, в этом номере с узким окном, всю ночь сереющим каким-то длинным немым  
дьяволом! Во всем городе единственно близкий человек – Авилова. Но точно ли  
близкий? Двойственная и неловкая близость...

Теперь я приходил в редакцию поздно. Авилова, из приемной увидав меня в  
прихожей, радостно улыбалась, – она опять стала мила, ласкова, оставила усмешки  
надо мною, я неизменно видел теперь ее ровную любовь ко мне, постоянное  
внимание, заботливость, часто проводил целые вечера с ней вдвоем, – она подолгу  
играла для меня, а я полулежал на диване, все закрывая глаза от подступающих  
слез музыкального счастья и всегда особенно обостряющейся вместе с ним любовной  
боли и всепрощающей нежности. Войдя в приемную, я целовал ее маленькую крепкую  
руку и шел в комнату для постоянных сотрудников. Там курил передовик, глупый,  
задумчивый человек, высланный в Орел под надзор полиции, довольно странный с  
виду: простонародно-бородатый, в бурой сермяжной поддевке и смазных сапогах,  
вонявших очень крепко и приятно, притом левша: половины правой руки у него не  
было, остатком ее, скрытым в рукаве, он прижимал к столу лист бумаги, а левой

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин писал: долго сидит, думает, густо курит, а там вдруг прижмет лист покрепче и застрочит, застрочит, – сильно, быстро, с обезьяньей ловкостью. Потом приходил коротконогий старичок в изумленных очках, иностранный обозреватель; в прихожей он снимал казакинчик на заячьем меху и финскую шапку с наушниками, после чего, в своих сапожках, шароварчиках и фланелевой блузе, подпоясанной ремешком, оказывался таким маленьким и щуплым, точно ему было десять лет; густые серо-седые волосы его торчали очень грозно, высоко и в разные стороны, делали его похожим на дикообраза; грозны были и его изумленные очки; он приходил всегда с двумя коробками в руках, коробкой гильз и коробкой табаку, и за работой все время набивал папиросы: привычно глядя в столичную газету, накладывал, наминал в машинку, в ее медную створчатую трубочку, светлого волокнистого табаку, рассеянно нашаривал гильзу, ручку машинки втыкал себе в грудь, в мягкую блузу, а трубочку – в папиросную дудку гильзы и ловко стрелял на стол. Потом заходили метранпаж, корректор. Метранпаж входил спокойно, независимо; он был удивителен по своей вежливости, молчаливости и непроницаемости; был необыкновенно худ и сух, по-цыгански черен волосом, лицом оливково-зелен, с черными усиками и гробовыми пепельными губами, одет всегда с крайней аккуратностью и чистоплотностью: черные брючки, синяя блуза, большой крахмальным воротник, лежавший поверх ее ворота, – все блистало чистотой, новизной; я иногда разговаривал с ним в типографии: тогда он нарушал свою молчаливость, ровно и пристально смотрел мне в глаза своими темными глазами и говорил, как заведенный, не повышая голоса и всегда одно и то же: о несправедливости, царящей в мире, – всюду, везде, во всем. Корректор заходил то и дело – постоянно чего-нибудь не понимал или не одобрял в той статье, которую правил, просил у автора статьи то разъяснения, то изменения: «тут, простите, что-то не совсем ловко сказано»; был толст, неуклюж, с мелко-кудрявыми и как бы слегка мокрыми волосами, горбился от нервности и страха, что все видят, как он тяжело пьян, наклонялся к тому, у кого просил разъяснения, затаивая алкогольное дыхание, издали указывая на непонятную ему или неудачную по его мнению строку трясущейся и блестящей, распухшей рукой. – Сидя в этой комнате, я рассеянно правил разные чужие рукописи, а больше всего просто смотрел в окно и думал: как и что писать мне самому?

Теперь у меня было еще одно тайное страдание, еще одна горькая «неосуществимость». Я опять стал кое-что писать, – теперь больше в прозе, – и опять стал печатать написанное. Но я думал не о том, что я писал и печатал. Я мучился желанием писать что-то совсем другое, совсем не то, что я мог писать и писал: что-то то, чего не мог. Образовать в себе из даваемого жизнью нечто истинно достойное писания – какое это редкое счастье – и какой душевный труд! И вот моя жизнь стала все больше и больше превращаться в эту новую борьбу с «неосуществимостью», в поиски и уловление этого другого, тоже неуловимого счастья, в преследование его, в непрестанное думанье о нем.

К полудню приходила почта. Я выходил в приемную, опять видел красиво и заботливо убранную, неизменно склоненную к работе голову Авиловой и все то милое, что было в мягком лоске ее шагреновой тубельки, стоящей под столом, в меховой накидке на ее плечах, на которой тоже лоснился отблеск серого зимнего дня, зимнего окна, за которым серело воронье снежное небо. Я выбирал из почты новую книжку столичного журнала, торопливо разрезал ее...

Новый рассказ Чехова! В одном виде этого имени было что-то такое, что я только взглядывал на рассказ, – даже начала не мог прочесть от завистливой боли того наслаждения, которое предчувствовалось. В приемной появлялось и сменялось между тем все больше народу: приходили заказчики объявлений, приходило множество самых разнообразных людей, которые тоже были одержимы похотью писательства: тут можно было видеть благообразного старика в пуховом шарфе и пуховых варежках, принесшего целую кипу дешевой. бумаги большого формата, на которой стояло заглавие: «Песни и думы», выведенное со всем канцелярским блеском времен гусиных перьев, молоденького, алого от смущения офицера, который передавал свою рукопись с короткой и вежливо-четкой просьбой просмотреть ее и при печатании ни в коем случае не обнаруживать его настоящей фамилии, – «поставить лишь инициалы, если это допустимо по правилам редакции», за офицером – потного от волнения и шубы пожилого священника, желавшего напечатать под псевдонимом Spectator свои «Деревенские картинки», за священником – уездного судебного деятеля...

Деятель был человек необыкновенно аккуратный, он до странности неторопливо снимал в прихожей новые калоши, новые перчатки на меху, новое хорьковское пальто, новую боярскую шапку и оказывался на редкость худ, высок, зубаст и чист, чуть не

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин полчаса вытирал усы белоснежным носовым платком, меж тем как я жадно следил за каждым его движением, упиваясь своей писательской пронизательностью: – Да, да, он непременно должен быть так чист, аккуратен, нетороплив, заботлив о себе, раз он редкозуб и с густыми усами... раз у него уже лысеет этот яблоком выпуклый лоб, ярко блестят глаза, горят чахоточные пятна на скулах, велики и плоски ступни, велики и плоски руки с крупными, круглыми ногтями!

К завтраку нянька приводила с гулянья мальчика. Авилова выбегала в прихожую, ловко присаживалась на корточки, снимала с него белую барашковую шапочку, расстегивала синюю, на белом барашке, поддевичку, целовала в свежее, покрасневшее личико, а он рассеянно глядел куда-то в сторону, думал что-то свое, далекое, безучастно позволяя раздевать и целовать себя, – и я ловил себя на зависти ко всему этому: к блаженной бессмысленности мальчика, к материнскому счастью Авиловой, к старческой тишине няньки. Я уже завидовал всем, у кого жизнь наполнена готовыми делами и заботами, а не ожиданием, не выдумываньем чего-то для какого-то самого странного из всех человеческих дел, называемого писанием, завидовал всякому, кто имеет в жизни простое, точное, определенное дело, исполнив которое нынче, он мог быть совершенно спокоен и свободен до завтра.

После завтрака я уходил. На город густо валил дремотными хлопьями тот великопостный снег, что всегда обманывает своей нежной, особенно белой белизной, будто уж совсем близка весна. По снегу мимо меня бесшумно летел беззаботный, только что, должно быть, где-нибудь на скорую руку выпивший, как бы весь готовый к чему-то хорошему, ладному, извозчик... Что, казалось бы, обыкновенное? Но теперь меня все ранило – чуть не всякое мимолетное впечатление – и, ранив, мгновенно рождало порыв не дать ему, этому впечатлению, пропасть даром, исчезнуть бесследно, – молнию корыстного стремления тотчас же захватить его в свою собственность и что-то извлечь из него. Вот он мелькнул, этот извозчик, и все, чем и как он мелькнул, резко мелькнуло и в моей душе и, оставшись в ней каким-то странным подобием мелькнувшего, как еще долго и тщетно томит ее! Дальше – богатый подъезд, возле тротуара перед ним чернеет сквозь белые хлопья лаковый кузов кареты, видны как бы сальные шины больших задних колес, погруженных в старый снег, мягко засыпаемый новым, – я иду и, взглянув на спину возвышающегося на козлах толстоплечего, по-детски подпоясанного под мышки кучера в толстой, как подушка, бархатной конфедератке, вдруг вижу: за стеклянной дверцей кареты, в ее атласной бонбоньерке, сидит, дрожит и так пристально смотрит, точно вот-вот скажет что-нибудь, какая-то премилая собачка, уши у которой совсем как завязанный бант. И опять, точно молния, радость: ах, не забыть – настоящий бант!

Я заходил в библиотеку. Это была старая, редкая по богатству библиотека. Но как уныла была она, до чего никому не нужна! Старый, заброшенный дом, огромные голые сенцы, холодная лестница во второй этаж, обитая по войлоку рваной клеенкой дверь. Три сверху до низу установленные истрепанными, лохматыми книгами залы. Длинный прилавок, конторка, маленькая, плоскогрудая, неприветливо-тихая заведующая в чем-то черненьком, постном, с худыми, бледными руками, с чернильным пятном на третьем пальце, и запущенный отрок в серой блузе, с мягкой, давно не стриженной мышиной головой, исполняющий ее приказания... Я проходил в «кабинет для чтения», круглую, пахнущую угаром комнату с круглым столом по середине, на котором лежали «Епархиальные Ведомости», «Русский Паломник»... За столом сидел, гнул, как-то затаенно перелистывал страницы толстой книги один неизменный читатель – тощий юноша, гимназист в короткой изношенной шинели, все время осторожно подтиравший нос комочком платка... Кому еще было тут сидеть, кроме нас двоих, одинаково удивительных по своему одиночеству во всем городе и по тому, что оба читали? Гимназист читал нечто для гимназиста совершенно дикое – о «Сошном письме». Да и на меня не раз глядела заведующая с недоумением: я спрашивал «Северную Пчелу», «Московский Вестник», «Полярную Звезду», «Северные Цветы», «Современник» Пушкина... Брал, впрочем, и новое – всякие «Биографии замечательных людей»: все затем, чтобы в них искать какой-то поддержки себе, с завистью сравнивать себя с замечательными людьми... «Замечательные люди!» Какое несметное количество было на земле поэтов, романистов, повествователей, а сколько уцелело их? Все одни и те же имена во веки вечные! Гомер, Гораций, Виргилий, Дант, Петрарка... Шекспир, Байрон, Шелли, Гете... Расин, Мольер... Все тот же «Дон-Кихот», все та же «Манон Леско»... В этой комнате я, помню, впервые прочел Радищева – с большим восхищением. «Я взглянул окрест – душа моя страданиями человечества уязвлена стала!»

Выйдя под вечер из библиотеки, я тихо шел по темнеющим улицам. Там и сям падал медленный звон. Томимый грустью и о себе, и о ней, и о далеком родном доме, я

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин заходил в церковь. Тут тоже было что-то никому не нужное. Пусто, сумрак, огоньки редких свечей, несколько старух, стариков. За свечной кассой стоит церковный староста, неподвижный, истовый, с мужицким прямым рядом в серых волосах, поводит глазами с торговой строгостью. Сторож еле таскает разбитые ноги, в одном месте поправляя наклонившуюся и слишком жарко тающую свечу, в другом дует на догорающую, распространяя запах гари и воска, потом тискающая ее в старческом кулаке в один восковой комок с прочими огарками, – и видно, как глубоко надоело ему все это наше непонятное земное существование и все таинства его: крещения, причастия, венчания, похороны и все праздники, все посты, из году в год идущие вечной чередой. Священник в одной рясе, без ризы непривычно тонкий, по-домашнему и по-женски простоволосый, стоит лицом к закрытым царским вратам, глубоко поклоняется им, так что отвисает, отделяется от груди эпитрахиль, и со вздохом возвышает голос, отдающийся в грустном, покаянном сумраке, в печальной пустоте: «Господи, Владыко живота моего...»

Тихо выйдя из церкви, я опять вдыхал предвесенний зимний воздух, видел сизые сумерки. Низко, с притворным смирением, клонил передо мной густую седую голову нищий, приготовив ковшиком ладонь, когда же ловил и зажимал пятак, взглядывал и вдруг поражал: жидко-бирюзовые глаза застарелого пьяницы и огромный клубничный нос – тройной, состоящий из трех крупных, бугристых и пористых клубник... Ах, как опять мучительно-радостно: тройной клубничный нос!

Я шел вниз по Волховской, глядя в темнеющее небо – в небе мучили очертания крыш старых домов, непонятная успокаивающая прелесть этих очертаний. Старый человеческий кров – кто об этом писал? Зажигались фонари, тепло освещались окна магазинов, чернели фигуры идущих по тротуарам, вечер синел, как синька, в городе становилось сладко, уютно... Я, как сыщик, преследовал то одного, то другого прохожего, глядя на его спину, на его калоши, стараясь что-то понять, поймать в нем, войти в него... Писать! Вот о крышах, о калошах, о спинах надо писать, а вовсе не затем, чтобы «бороться с произволом и насилием, защищать угнетенных и обездоленных, давать яркие типы, рисовать широкие картины общечеловечности, современности, ее настроений и течений!» Я ускорял шаги, спускался к Орлику. Вечер уже переходил в ночь, газовый фонарь на мосту горел уже ярко, под фонарем гнулся, запустив руки подмышки, по-собачьи глядел на меня, по-собачьи весь дрожал крупной дрожью и деревянно бормотал: «ваше сиятельство!» стоявший прямо на снегу босыми красными лапами золоторотец в одной рваной ситцевой рубашке и коротких розовых подштанниках, с опухшим угреватым лицом, с мутно-льдыстыми глазками. Я быстро, как вор, хватал и затаивал его в себе, совал ему за это целый гривенник... Ужасна жизнь! Но точно ли «ужасна»? Может, она что-то совершенно другое, чем «ужас»? Вот я на-днях сунул пятак такому же босяку и наивно воскликнул: «Это все-таки ужасно, что вы так живете!» – и нужно было видеть, с какой неожиданной дерзостью, твердостью и злобой на мою глупость хрипло крикнул он мне в ответ: «Ровно ничего ужасного, молодой человек!» – А за мостом, в нижнем этаже большого дома, ослепительно сияла зеркальная витрина колбасной, вся настолько завешанная богатством и разнообразием колбас и окороков, что почти не видна была белая и светлая внутренность самой колбасной, тоже завешанной сверху до низу. «Социальные контрасты!» думал я едко, в пику кому-то, проходя в свете и блеске витрины... На Московской я заходил в извозчицью чайную, сидел в ее говоре, тесноте и парном тепле, смотрел на мясистые, алые лица, на рыжие бороды, на ржавый шелушащийся поднос, на котором стояли передо мной два белых чайника с мокрыми веревочками, привязанными к их крышечкам и ручкам... Наблюдение народного быта? Ошибаетесь – только вот этого подноса, этой мокрой веревочки!

## XII

Случалось, я шел на вокзал. За триумфальными воротами начиналась темнота, уездная ночная глушь. И вот я мысленно видел какой-то уездный городишко, неведомый, несуществующий, только вообразившийся мне, но так, точно вся моя жизнь прошла в нем. Видел широкие, занесенные снегом улицы, чернеющие в снегу хибарки, красный огонек в одной из них... И с восторгом твердил себе: да, вот так и написать, всего три слова: снега, хибарка и лампада в ней... больше ничего! – Полевой зимний ветер уже доносил крики паровозов, их шипение и этот сладкий, до глубины души волнующий чувством дали, простора запах каменного угля. Навстречу, чернея, неслись извозчики с седоками – уже пришел московский почтовый? И точно – буфетная зала жарка от народа, огней, запахов кухни, самовара, носятся, развевая фалды фраков, татары-лакеи, все кривоногие, темноликие, широкоскулые, с лошадиными глазницами, с круглыми, как ядра,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
стрижеными сизыми головами... За общим столом – целое купеческое общество, едят  
холодную осетрину с хреном скопцы: большие и тугие бабы лица цвета шафрана,  
узкие глаза, лисьи шубы...

В книжном вокзальном киоске было для меня всегда большое очарование, – и вот я, как голодный волк, брожу вокруг него, тянусь, разглядывая надписи на желтых и серых корешках суворинских книг. Все это так взволновывает мою вечную жажду дороги, вагонов и обращается в такую тоску по ней, по той, с кем бы я мог быть так несказанно счастлив в пути куда-то, что я спешу вон, кидаюсь на извозчика и мчусь в город, в редакцию. Как хорошо всегда это смешение – сердечная боль и быстрота! Сидя в санках, вместе с ними ныряя и стучаясь из ухаба в ухаб, поднимаю голову – ночь, оказывается, лунная: за мутно идущими зимними тучами мелькает, белеет, светится бледное лицо. Как оно высоко, как чуждо всему! Тучи идут, открывают его, опять заволакивают – ему все равно, нет никакого дела до них! Я до боли держу голову закинутой назад, не свожу с него глаз и все стараюсь понять когда оно, сияя, вдруг все выкатывается из туч: какое оно? Белая маска мертвеца? Все изнутри светящееся, но какое? Стеариновое? Да, да, стеариновое! Так и скажу где-нибудь! В прихожей наталкиваюсь на удивленную Авилу: «Ах, как кстати! Едем на концерт!» На ней что-то черно-кружевное, очень красивое, сделавшее ее еще меньше, стройней, открывающее плечи, руки и нежное начало груди, она причесана у парикмахера, слегка напудрена, отчего глаза кажутся ярче, темней. Я одеваю ее шубкой, с трудом удерживаясь, чтобы вдруг не поцеловать это столь близкое голое тело, подвитые пахучие волосы... На эстраде блестящей всеми люстрами залы Дворянского собрания – столичные знаменитости: красавица певица и огромный брюнет певец, поражающий, как все певцы, удивительным здоровьем, грубо-великолепной силой молодого жеребца. Он, блистая лаковыми туфлями на больших ступнях, удивительно сшитым фраком, белой грудью и белым галстуком, вызывающе и героически гремит отвагой, мужественностью, угрожая требовательностью. Она, то расходясь, то сливаясь с ним, поспешно отвечает ему, перебивает его нежными упреками, жалобами, страстной печалью и восторженной радостью, торопливо-блаженными, хохочущими фиоритурами...

### XIII

Часто я вскакивал чем свет. Взглянув на часы, видел, что еще нет семи. Страстно хотелось опять завернуться в одеяло и еще полежать в тепле; в комнате холодно серело, в тишине еще спящей гостиницы слышно было только нечто очень раннее – как где-то в конце коридора шаркает платяной щеткой коридорный, стучает по пуговицам. Но охватывал такой страх опять даром истратить день, охватывало такое нетерпение как можно скорей – и нынче уже как следует! – засесть за стол, что я кидался к звонку, настойчиво гнал по коридору его зовущее дребезжание. Как все чуждо, противно – эта гостиница, этот грязный коридорный, шаркающий где-то там щеткой, убогий жестяной умывальник, из которого косо бьет в лицо ледяная струя! Как жалка моя молодая худоба в жиденькой ночной рубашке, как застыл голубь, комком сжавшийся за стеклами на зернистом снегу подоконника! Сердце вдруг загоралось радостной, дерзкой решимостью: нет, нынче же вон, назад, в Батурине, в родной, прелестный дом! Однако, наспех выпив чаю, кое-как прибрав несколько книжечек, лежавших на нищем столике, приставленном возле умывальника к двери в другой номер, где жила какая-то поблекшая, печально-красивая женщина с восьмилетним ребенком, я весь погружался в свое обычное утреннее занятие: в приготовление себя к писанию – в напряженный разбор того, что есть во мне, в выискивание внутри себя чего-то такого, что вот-вот, казалось, определится, во что-то образуется... ждал этой минуты – и уже чувствовал страх, что опять, опять дело кончится только ожиданием, все растущим волнением, холодеющими руками, а там полным отчаянием и бегством куда-нибудь в город, в редакцию. В голове уже опять путалось, шло что-то мучительное по своей произвольности, беспорядочности, по множеству самых разнородных чувств, мыслей, представлений... Основное было всегда свое, личное, – разве и впрямь занимали меня тогда другие люди, как бы напряженно ни следил я за ними? Что ж, думал я, может быть, просто начать повесть о самом себе? Но как? Вроде «Детства, отрочества»? Или еще проще? «Я родился там-то и тогда-то...» Но, Боже, как это сухо, ничтожно – и не верно! Я ведь чувствую совсем не то! Это стыдно, неловко сказать, но это так: я родился во вселенной, в бесконечности времени и пространства, где будто бы когда-то образовалась какая-то солнечная система, потом что-то, называемое солнцем, потом земля... Но что это такое? Что я знаю обо всем этом, кроме пустых слов? Земля была сперва газообразной, светящейся массой... Потом, через миллионы лет, этот газ стал жидкостью, потом жидкость отвердела, и с тех пор прошло еще будто бы два миллиона лет, появились на земле одноклеточные: водоросли, инфузории... А там –

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
беспозвоночные: черви, моллюски... А там амфибии... А за амфибиями – гигантские пресмыкающиеся... А там какой-то пещерный человек и открытие им огня... Дальше какая-то Халдея, Ассирия, какой-то Египет, будто бы все только воздвигавший пирамиды да бальзамировавший мумии... Какой-то Артаксеркс, приказавший бичевать Геллеспонт... Перикл и Аспазия, битва при Фермопилах, Марафонская битва... Впрочем, задолго до всего этого были еще те легендарные дни, когда Авраам встал со стадами своими и пошел в землю обетованную... «Верю Авраам повиновался призыванию идти в страну, обещанную ему в наследие, и пошел, не зная, куда он идет...» Да, не зная! Вот так же, как и я! «Верю повиновался призыванию...» Верой во что? В любовную благодать Божьего веления. «И пошел, не зная, куда...» Нет, зная: к какому-то счастью, то есть, к тому, что будет мило, хорошо, даст радость, то есть чувство любви-жизнь...

Так ведь и я жил всегда – только тем, что вызывало любовь, радость...

За дверью возле столика уже слышались голоса, женский и детский, стучала педаль умывальника, плескалась вода, заваривался чай, начинались уговоры: «Костенька, кушай же булочку!» Я вставал и принимался ходить по комнате. Вот еще этот Костенька... Мать, напоив его чаем, уходила куда-то до полудня. Возвратясь, что-то готовила на керосинке, кормила его и опять уходила. И что это было за мучение – смотреть, как этот Костенька, ставший каким-то общим номерным ребенком, весь день шатается по номерам, заглядывает то к одному, то к другому жильцу, если тот сидит дома, что-то несмело говорит, порой старается подольститься, сказать что-нибудь угодливое, а его никто не слушает, иные даже гонят скороговоркою: «Ну, иди, иди, братец, не мешай, пожалуйста!» В одном номере жила маленькая и старенькая дама, очень серьезная, очень приличная, считавшая себя выше всех прочих жильцов, всегда проходившая по коридору не глядя ни на кого из встречаемых, часто, даже слишком часто запиравшаяся в уборной и потом шумевшая в ней водой. Дама эта имела крупного, широкопородного мопса, раскормленного до жирных складок на загривке, с вычурными стеклянными-крыжовыми глазами, с развратно переломленным носом, с чванной, презрительно-выдвинутой нижней челюстью и прикушенным между двумя клыками жабьим языком. У него обычно было одно и то же выражение морды – ничего не выражающее, кроме внимательной наглости, – однако, он был до крайности нервен. И вот, если Костенька, кем-нибудь удаленный из номера, попадался в коридоре этому мопсу, тотчас же слышно было, как мопса схватывает за горло злое удушье, клокотанье, хрип, быстро переходивший в негодуемое бешенство и разрешавшийся громким и свирепым лаем, от которого Костенька закатывался истерическим воплем...

Снова сев за стол, я томился убожеством жизни и ее, при всей ее обыденности, пронзительной сложностью. Теперь мне хотелось что-то сказать уже о Костеньке и еще о чем-то в этом роде. Вот, например, на подворье Никулиной однажды с неделю жила, работала швея, пожилая мещанка, что-то все кроила на столе, заваленном обрезками, потом прилаживала сметанное в швейную машину и начинала стрекотать, строчить... Чего стоит одно то, как она, когда кроила, всячески кривила свой крупный сухой рот, следуя ходу, изгибам ножниц, как она наслаждалась за самоваром чаем, все стараясь сказать что-нибудь приятное Никулиной, как она, притворно-оживленно заговаривая ее, тянула – будто бы бессознательно – свою крупную, рабочую руку к корзиночке с ломтями белого хлеба и косилась на граненую вазочку с вареньем! А хромоножка на костылях, что встретил я на-днях на Карачевской? Все хромые, горбатые ходят вызывающе, заносчиво. Эта скромно ныряла навстречу мне, держа черные палки костылей в обеих руках, при нырянье равномерно упираясь в них и вскидывая плечи, под которыми торчали черные рогульки, и пристально смотрела на меня... шубка коротенькая, как у девочки, глаза умные, ясные, чистые, темно-карие и тоже как у девочки, а меж тем все уже знающие в жизни, в ее печалях и загадочности... Как прекрасны бывают некоторые несчастные люди, их лица, глаза, из которых так и смотрит вся их душа!

Потом я опять пытался погрузиться в обдумывание того, с чего надо начать писать свою жизнь. Да, с чего! Все-таки надо же прежде всего сказать, если уж не о вселенной, в которой я появился в ее известный миг, то хотя бы о России: дать понять читателю, к какой стране я принадлежу, в итоге какой жизни я появился на свет. Однако, что же я знаю и об этом? Родовой быт славян, раздоры славянских родов... Славяне отличались высоким ростом, русыми волосами, храбростью, гостеприимством, боготворили солнце, гром и молнию, почитали леших, русалок, водяных, «вообще силы и явления природы»... Что еще? Призвание князей, Царьградские послы у князя Владимира, свержение Перуна в Днепр при общем народном плаче... Ярослав Мудрый, усобицы его сыновей и внуков... какой-то Всеволод

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
Большое Гнездо... Но мало того, – я ровно ничего не знаю даже о теперешней России!  
Ну, да, разоряющиеся помещики, голодающие мужики, земские начальники, жандармы,  
полицейские, сельские священники, непременно, по словам писателей, обремененные  
многочисленным семейством... А дальше что? Вот Орел, один из самых коренных  
русских городов, – хоть бы его-то жизнь, его людей узнать, а что же я узнал?

Улицы, извозчики, разъезженный снег, магазины, вывески, – все вывески, вывески...  
Архиерей, губернатор... гигант, красавец и зверь пристав Рашевский... Еще Палицын:  
слава Орла, один из столпов его, один из тех зубров-чудаков, которыми искони  
славится Россия: стар, родовит, друг Аксакова, Лескова, живет в чем-то вроде  
древнерусских палат, бревенчатые стены которых покрыты редкими древними иконами,  
ходит в каком-то широком кафтане, расшитом разноцветными сафьянами, стрижется в  
скобку, туголик, узкоглаз, очень остер умом, начитан, по слухам, удивительно...  
Что еще знаю я об этом Палицыне? Ровно ничего!

Но тут меня охватывало возмущение: да почему я обязан что-то и кого-то знать с  
совершенной полнотой, а не писать так, как знаю и как чувствую! Я опять  
вскакивал и принимался ходить, радуясь своему возмущению, хватаясь за него, как  
за спасение... И неожиданно видел Святогорский монастырь, где был прошлой весной,  
разноплеменный стан богомольцев возле его стен на берегу Донца, послушника, за  
которым гонялся по двору монастыря, напрасно домогаясь, чтобы он устроил меня  
где-нибудь на ночь, то, как он, пожимая плечами, бежал от меня и весь набегу  
развевался, – руки, ноги, волосы, полы подрясника, – и какая у него была тонкая,  
гибкая талия, юношеское, все в веснушках, лицо, испуганные зеленые глаза и  
совершенно необыкновенная пышность, взбитость легких, тонких, каждым волоском  
вьющихся светло-золотых волос... Потом видел эти весенние дни, когда я, казалось,  
без конца плыл по Днепру... Потом рассвет где-то в степи... то, как я проснулся на  
жесткой вагонной лавке, весь заоченелый от этой жесткости и утреннего холода,  
увидел, что за белыми от пота стеклами ничего не видно, – совершенно неизвестно,  
где идет поезд! – и почувствовал, что это-то и восхитительно, эта неизвестность...  
с утренней резкостью чувств вскочил, открыл окно, облокотился на него: белое  
утро, белый сплошной туман, пахнет весенним утром и туманом, от быстрого бега  
вагона бьет по рукам, по лицу точно мокрым бельем...

#### XIV

И вот однажды случилось так, что почему-то проспал я свой положенный срок. А  
проснувшись, остался лежать, как лежал, глядя напротив, в окно, на ровный белый  
свет зимнего дня и чувствуя редкое спокойствие, редкую трезвость ума и души и  
какую-то малость, простоту всего окружающего. Я долго лежал так, чувствуя, как  
легка мне комната, – насколько она меньше меня, ничем и никак не связана со  
мной. Потом встал, умылся и оделся, привычно покрестился на образок, висевший  
над изголовьем моей дешевой железной кровати, – тот самый, что, как это ни  
удивительно, и теперь висит в моей спальне: темно-оливковая, гладкая,  
окаменевшая от времени дощечка в серебряном грубом окладе, означающем своими  
выпуклостями трех сидящих за трапезой Авраама ангелов, восточно-дикие,  
запеченные лики которых коричнево глядят из его округлых дыр, – наследие рода  
моей матери, ее благословение мне на жизненный путь, на исход в мир из того  
подобия иночества, которым было мое детство, отрочество, время первых юных лет,  
вся та глухая, сокровенная пора моего земного существования, что кажется мне  
теперь совсем особой порой его, заповедной, сказочной, давностью времени  
преображенной как бы в некое отдельное, даже мне самому чужое бытие...  
Покрестившись на образок, я пошел за покупкой, которую выдумал лежа. По дороге  
вспомнил сон, который видел в эту ночь: была масляница, я опять жил у  
Ростовцевых, сидел с отцом в цирке, глядел на арену, на которую бежало целое  
маленькое стадо черных пони, целых шесть штук... они были нарядно подседланы  
маленькими медными седелками с бубенчиками и очень круто взнузданы, – красные  
бархатные поводья уздечек были так натянуты к седелкам, что они в дугу гнули  
толстые короткие шеи, на которых черной щеткой торчали коротко подстриженные  
гривки, – а из челока торчали у них красные султаны... они бежали дружно, ровным  
рядом, мелкой рысцой, звеня бубенчиками, зло, упрямо согнув черные головы, – все  
масть в масть, рост в рост, все одинаково бокастые, коротконогие, – и, выбежав,  
вдруг уперлись, грызя удила и трясая султанами... директор во фраке долго  
вскрикивал, долго стрелял бичем, пока наконец заставил их упасть на колени и  
закланяться публике, после чего вдруг заскакавшая обрадованным галопом музыка  
быстро понесла их вереницу вдоль круга арены, точно преследуя... Я сходил  
в писчебумажный магазин, купил толстую тетрадь в черной клеенке. Возвратясь,  
стал пить чай, думая: «Да, довольно. Буду только читать да иногда, без всяких

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин притязаний, кое-что вкратце записывать – всякие мысли, чувства, наблюдения...» И, обмакнув перо, старательно и четко вывел: – Алексей Арсеньев. Записи.

Потом долго сидел, думая, что бы записать, накурил всю комнату, но не мучился, был только грустен и тих. Наконец стал записывать: – В редакцию заходил известный толстовец, князь Н., просил напечатать его отчет по сбору и расходам на тульских голодающих. Небольшой, довольно полный. Какие-то мягкие, вроде кавказских, сапоги, каракулевая шапка, пальто с каракулевым воротником, – все старое, вытертое, но дорогое и чистое, – мягкая серая блуза, подпоясанная ремешком, под которым круглится живот, и золотое пенсне. Держался очень скромно, но мне было очень неприятно его благообразное, холеное, молочное лицо и холодные глаза. Я сразу его возненавидел. Я, конечно, не толстовец. Но все-таки я совсем не то, что думают все. Я хочу, чтобы жизнь, люди были прекрасны, вызывали любовь, радость, и ненавижу только то, что мешает этому. – Недавно я шел вверх по Волховской, и была такая картина: закат, морозит, расчищается западное небо, и оттуда, из этого зеленого, прозрачного и холодного неба озаряет весь город светлый вечерний свет, непонятную тоску которого невозможно выразить; а на тротуаре стоит оборванный, синий от холода старик-шарманщик и оглашает этот морозный вечер звуками своей дряхлой шарманки, ее флейтовыми свистами, переливами, хрипами и вырывающейся из этих свистов и хрипов романтической мелодией, какой-то дальней, чужеземной, старинной, которая тоже мучит душу – какими-то мечтами и сожалениями о чем-то... – Я везде испытываю тоску или страх. У меня до сих пор стоит перед глазами то, что я видел недели две тому назад. Это было тоже вечером, только темным и пасмурным. Я случайно зашел в одну небольшую церковь, увидел огоньки, которые горели в темноте возле амвона очень низко от полу, подошел – и замер: три восковых свечки, прилепленные к изголовью детского гробика, печально и слабо освещали этот розовый, с бумажными кружевными краями гробик, и смуглого крутолобого ребенка, лежавшего в нем.

Совсем было бы похоже, что он спит, если бы не что-то фарфоровое в личике, что-то сиреневое в выпуклых закрытых веках и в треугольнике ротика, если бы не та бесконечно-спокойная, вечная отчужденность от всего в мире, с которой он лежал! – Я написал и напечатал два рассказа, но в них все фальшиво и неприятно: один о голодающих мужиках, которых я не видел и, в сущности, не жалею, другой на пошлую тему о помещичьем разорении и тоже с выдумкой, между тем как мне хотелось написать только про громадный серебристый тополь, который растет перед домом бедного помещика Р., и еще про неподвижное чучело ястреба, которое стоит у него в кабинете на шкапе и вечно смотрит вниз блестящим глазом из желтого стекла, раскинув пестро-коричневые крылья. Если писать о разорении, то я хотел бы выразить только его поэтичность. Бедные поля, бедные остатки какой-нибудь усадьбы, сада, дворни, лошадей, охотничьих собак, старики и старухи, то есть «старые господа», которые ютятся в задних комнатах, уступив передние молодым, – все это грустно, трогательно. И еще сказать, каковы эти «молодые господа»: они неучи, бездельники, нищие, все еще думающие, что они голубая кровь, единственное высшее, благородное сословие. Дворянские картузы, косоворотки, шаровары, сапоги... Когда собираются, сейчас выпивка, куренье, хвастовство. Водку пьют из старинных бокалов для шампанского, с хохотом заряжают холостыми зарядами ружья и стреляют в зажженные свечи, тушат их выстрелами. Некто П. из таких «молодых господ» совсем переселился из разоренной усадьбы на свою водяную мельницу, которая, конечно, давно не работает, живет там в избе с любовницей-бабой, у которой какой-то едва заметный нос. Спит с ней на нарах, на соломе, или «в саду», то есть под яблонкой возле избы. На суке яблонки висит кусочек разбитого зеркала, в котором отражаются белые облака. Со скуки сидит и все бросает камнями в мужичьих уток, плавающих в затоне возле мельницы, и от каждого камня утки все сразу, всей стаей, с криком и страшным шумом кидаются по воде. – Наш бывший дворовый, слепой старик Герасим, ходил, как все слепые, приподняв лицо и как бы прислушиваясь, по наитию щупая палкой дорогу. Он жил в избушке на краю деревни, бобылем, только с перепелом, который сидел в лубяной клетке и все бился в ней, подпрыгивал в крышку из холстины, облысел, ударяясь в нее изо дня в день. Каждую летнюю зорю Герасим, несмотря на слепоту, ходил в поля ловить перепелов, наслаждаться их перекличкой, разносимой по полям теплым ветром, дующим в слепое лицо. Он говорил, что нет ничего на свете милей замиранья сердца в те минуты, когда перепел, все ближе подходя к сети, через известные промежутки времени бьет все горячее, все громче и все страшней для ловца. Вот был истинный, бескорыстный поэт!

Идти завтракать в редакцию не хотелось. Я пошел в трактир на Московской. Там выпил несколько рюмок водки, закусывая селедкой; ее распластанная голова лежала на тарелке, я глядел и думал: «Это тоже надо записать – у селедки перламутровые щеки». Потом ел селянку на сковородке. Народу было немало, пахло блинами и жареными сметками, в низкой зале было чадно, белые половые бегали, танцуя, выгибая спины и откидывая назад затылки, хозяин, во всем являвший собой образец тоже русского духа, внимательно косил за каждым из них глазами, картинно стоя за стойкой, играя давно усвоенную роль строгости и благочестия; между столиками, занятыми мещанами, тихо ходили в грубых башмаках с ушками и тихо кланялись низенькие черные монашенки, похожие на галок, протягивали черные книжечки с галунным серебряным крестом на переплете, и мещане, хмурясь, выбирали из кошельков какие похуже копейки... Все это было как бы продолжением моего сна, я, слегка хмелея от водки, селянки и воспоминаний детства, чувствовал близость слез... Воротясь домой, лег и заснул. С грустью и раскаянием в чем-то очнувшись в сумерки, посмотрелся, причесываясь, в зеркало, с неудовольствием заметил излишнюю артистичность своих длинных волос и пошел в парикмахерскую. В парикмахерской сидел под белым балахоном кто-то низкорослый, с голым черепом, с торчащими ушами, – нетопырь, которому парикмахер удивительно густо и пышно намыливал верхнюю губу и щеки. Ловко сняв всю эту млечность бритвой, парикмахер опять немножко взмылил и опять снял, – на этот раз исподнизу, небрежными, короткими толчками, и нетопырь раскорякой привстал, потянул за собой балахон, наклонился, багрово покраснел и стал одной рукой придерживать его на груди, другой умываться. – Спрыснуть прикажете? – спросил парикмахер. – Вали, – сказал нетопырь.

И парикмахер зашипел душистым пульверизатором, легонько похлопал по мокрым щекам нетопыря салфеткой. – Пожалуйте-с, – сказал он четко, раскидывая балахон. И нетопырь встал и оказался довольно страшен: череп ушастый, большой, лицо худое и широкое, красно-сафьянное, глаза после бритья младенчески блестящи, дыра рта черна, а сам низок, плечист, туловище короткое, паучиное, ноги тонки и по-татарски кривы. Сунув парикмахеру на чай, он надел отличное черное пальто и котелок, закурил сигару и вышел. Парикмахер обратился ко мне: – Знаете, кто это? Первейший богач, купец Ермаков. Знаете, сколько он всегда дает на чай? Вот-с:

Он раскрыл ладонь и, весело смеясь, показал: – Ровно две копейки!

Потом я, по своему обыкновению, пошел бродить по улицам. Увидев церковный двор, вошел в него, вошел в церковь, – уже образовалась от одиночества, от грусти привычка к церквам. Там было тепло и грустно-празднично от блеска свечей, жарко горевших целыми пучками на высоких подсвечниках вокруг налоя, на налое лежал медный крест с фальшивыми рубинами, перед ним стояли священнослужители и умиленно-горестно пели: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...»

В сумраке возле входа стоял большой старик в длинной чуйке и кожаных калошах, грубый и крепкий, как старая лошадь, сурово (в назидание кому-то) гудел, подпевая. А в толпе возле налоя стоял странник, тепло освещенный спереди золотым восковым светом. Он был пещерно худ, склоненного лица его, иконописно тонкого и темного, почти не видно было за прядями длинных темных волос, первобытно, иночески и женски висевших вдоль щек; в левой руке он твердо держал высокий деревянный посох за долгие годы натертый до блеску, за плечами у него был черный кожаный мешок, он стоял одиноко, неподвижно, отрешенно от всех.

Я глядел, и опять слезы наворачивались мне на глаза – от неудержимо поднимавшегося в груди сладкого и скорбного чувства родины, России, всей ее темной древности. Кто-то сзади, снизу, легонько постучал мне по плечу свечкой: я обернулся – за мной гнулась старушка в салопчике и большой шали, с одним добрым торчащим зубом: «Кресту, батюшка!» Я с радостной покорностью взял свечку из ее холодной, мертвой ручки с синеватыми ноготками, шагнул к слепящему подсвечнику, неловко и стыдясь за свою неловкость, кое-как пристроил свечку к прочим и вдруг подумал: «Уеду!» И, отступив и поклонившись, скоро и осторожно пошел в сумрак к выходу, оставляя за собой милый и уютный свет и тепло церкви. На паперти встретила меня неприветливая темнота, ветер, гудевший где-то наверху... «Еду!» – сказал я себе, надевая шапку, решив ехать в Смоленск.

Почему в Смоленск? В мечтах были Брянские, «Брынские» леса, «брынские» разбойники... В каком-то переулке я зашел в кабак. В кабаке за одним столиком кричал, роняя голову, притворяясь пьяным, играя излюбленное русское – умиление над своей погибелью – какой-то гадкий малый: «Я ошибкой – роковую – как-то в

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин каторгу попал!» На него брезгливо смотрел из-за другого столика кто-то с черными редкими усиками, с закинутой назад головой, – судя по длинной шее, по острому, крупному и подвижному кадыку, игравшему под тонкой кожей горла, вор. Возле стойки покачивалась длинная хмельная женщина в жидком, прилипшем к тощим ногам платье, видимо, прачка: она, доказывая сидельцу подлость кого-то, била по стойке стекловидно-блестящими, тонкими, состиранными пальцами; граненый стаканчик с водкой стоял перед ней, она порой брала его, держала и все не пила – опять ставила и опять говорила, стуча пальцами. Я хотел выпить пива, но прелый воздух в кабаке был слишком вонюч, лампочка горела слишком убого, с подоконников маленьких замерзших окон, с тряпок, гнивших там, текло...

У Авиловой, к несчастью, сидели в столовой гости. «– А-а! – сказала она. – Наш милый поэт! Вы не знакомы?» – Я поздоровался с ней, откланялся гостям. Рядом с Авиловой сидел старый, морщинистый господин с подстриженными усами, выкрашенными в коричневую краску, с коричневой накладкой на темени, в белом шелковом жилете, в черной визитке; быстро встав, он ответил мне чрезвычайно вежливым поклоном, с гибкостью удивительной для его возраста; борты визитки были у него обшиты черной тесьмой, что мне всегда очень нравилось, вызывало зависть и мечту о такой визитке. Середину стола занимала без умолку и очень умело говорившая дама, подавшая мне, точно тюленью лапу, крепко налитую ручку, на глянцевиной подушечке которой были видны зубчатые полоски, оставшиеся от швов перчатки. Она говорила ловко, поспешно, несколько задыхаясь: она была совсем без шеи, довольно толста, особенно сзади, возле подмышек, каменно кругла и тверда в талии, стянутой корсетом; на плечах у нее лежал дымчатый мех, запах которого, смешанный с запахом сладких духов, шерстяного платья и теплого тела, был очень душист.

В десять часов гости поднялись, налюбезничали и ушли.

Авилова засмеялась. – Ох, наконец-то! – сказала она. – Пойдем, посидим у меня. Здесь надо открыть форточку... Но, дорогой мой, что вы какой-то такой? – с ласковой укоризной сказала она, протягивая мне обе руки.

Я сжал их и ответил: – Я завтра уезжаю... Она взглянула испуганно: – Куда? – В Смоленск. – Зачем? – Как то не могу больше так жить... – А в Смоленске что? Но давайте сядем... Я ничего не понимаю...

Мы сели на диван, покрытый летним чехлом из полосатого тика. – Вот видите этот тик? – сказал я. – Вагонный. Я даже этого тика не могу видеть спокойно, тянет ехать.

Она уселась поглубже, ноги ее легли передо мной. – Но почему в Смоленск? – спросила она, глядя на меня недоумевающими глазами. – Потом в Витебск... в Полоцк... – Зачем? – Не знаю. Прежде всего – очень нравятся слова: Смоленск, Витебск, Полоцк... – Нет, без шуток? – Я не шучу. Разве вы не знаете, как хороши некоторые слова? Смоленск вечно горел в старину, вечно его осаждали... Я даже что-то родственное чувствую к нему – там когда-то, при каком-то страшном пожаре, погорели какие-то древние грамоты нашего рода, отчего мы лишились каких-то больших наследных прав и родовых привилегий... – Час от часу не легче! Вы очень тоскуете? Она вам не пишет? – Нет. Но не в том дело. Вся эта орловская жизнь не по мне. «Знает олень кочующий пастбища свои...» И литературные дела совсем никуда. Сижу все утро и в голове такой вздор, точно я сумасшедший. А чем живу? Вот есть у нас в Батурине дочь лавочника, уже потеряла надежду выйти замуж и потому живет только острой и злой наблюдательностью. Так и я живу. – Какой еще ребенок! – сказала она ласково и пригладила мне волосы. – Быстро развиваются только низшие организмы, – ответил я. – А потом, кто не ребенок? Вот я раз ехал в Орел, со мной сидел член елецкого окружного суда, почтенный, серьезный человек, похожий на пикового короля... Долго сидел, читая «Новое Время», потом встал, вышел и пропал. Я даже обеспокоился, тоже вышел и отворил дверь в сени. За грохотом поезда он не слышал и не видал меня – и что-же мне представилось? Он залихватски плясал, выделывал ногами самые отчаянные штуки в лад колесам.

Она, подняв на меня глаза, вдруг тихо, многозначительно спросила: – Хотите, поедem в Москву?

Что-то жутко содрогнулось во мне... Я покраснел, забормотал, отказываясь, благодарности... До сих пор вспоминаю эту минуту с болью большой потери.

Следующую ночь я проводил уже в вагоне, в голом купэ третьего класса. Был совсем один, даже немного боязно было. Слабый свет фонаря печально дрожал, качался по деревянным лавкам.

Я стоял возле черного окна, из невидимых отверстий которого остро и свежо дуло, и, загородив лицо от света руками, напряженно вглядывался в ночь, в леса. Тысячи красных пчел неслись, развевались там, иногда, вместе с зимней свежестью, пахло ладаном, горящими в паровозе дровами... О, как сказочно мрачна, строга, величава была эта лесная ночь! Бесконечная, узкая, глубокая просека лесного пути, великие, темные призраки вековых сосен, тесным, дремучим строем шли вдоль него. Светлые четырехугольники окон косо бежали по белым сугробам у подножья леса, иногда мелькал телеграфный столб, – выше и дальше все тонуло во тьме и тайне.

Утром было внезапное, бодрое пробуждение: все светло, спокойно, поезд стоит – уже Смоленск, большой вокзал. Я выскочил из вагона, жадно глотнул чистого воздуха... У дверей вокзала толпился возле чего-то народ: я подбежал – это лежал убитый на охоте дикий кабан, грубый, огромный, могучий, закоченевший и промерзший, страшно жесткий даже на вид, весь торчащий серыми длинными иглами густой щетины, пересыпанной сухим снегом, с свиными глазками, с двумя крепко закушенными белыми клыками. Остаться? – подумал я. – Нет, дальше, в Витебск!

В Витебск я приехал к вечеру. Вечер был морозный, светлый. Всюду было очень снежно, глухо и чисто, девственно, город показался мне древним и нерусским: высокие, в одно слитые дома с крутыми крышами, с небольшими окнами, с глубокими и грубыми полукруглыми воротами в нижних этажах. То и дело встречались старые евреи, в лапсердаках, в белых чулках, в башмаках, спейсами, похожими на трубчатые, вьющиеся бараньи рога, бескровные, с печально-вопросительными сплошь темными глазами. На главной улице было гулянье – медленно двигалась по тротуарам густая толпа полных девушек, наряженных с провинциальной еврейской пышностью в бархатные толстые шубки, лиловые, голубые и гранатовые. За ними, но скромно, отдельно шли молодые люди, все в котелках, но тоже с пейсами, с девичьей нежностью и округлостью восточно-конфетных лиц, с шелковистой юношеской опушкой вдоль щек, с томными антилопьиными взглядами... Я шел как очарованный в этой толпе, в этом столь древнем, как мне казалось, городе, во всей его чудной новизне для меня.

Темнело, я пришел на какую-то площадь, на которой возвышался желтый костел с двумя звонницами. Войдя в него, я увидел полумрак, ряды скамеек, впереди, на престоле, полукруг огоньков. И тотчас медлительно, задумчиво запел где-то надо мной орган, потек глухо и плавно, потом стал возвышаться, расти – резко, металлически... стал кругло дрожать, скрежетать, как бы вырываясь из-под чего-то глушившего его, потом вдруг вырвался и звонко разлился небесными песнопениями... Впереди, среди огоньков, то поднималось, то падало бормотание, гнусаво раздавались латинские возгласы. В сумраке, по обеим сторонам уходящих вперед толстых каменных колонн, терявшихся вверху в темноте, черными привидениями стояли на цоколях какие-то железные латники. В высоте над алтарем сумрачно умирало большое многоцветное окно...

## XVII

В ту же ночь я уехал в Петербург. Выйдя из костела, пошел назад, на вокзал, к поезду в Полоцк: хотел поселиться там в какой-нибудь старой гостинице, пожить зачем-то некоторое время в полном одиночестве. Поезд на Полоцк отходил поздно. На вокзале было пусто и темно. Буфет освещала только сонная лампа на стойке, в стенных часах постукивало с такими оттяжками, точно само время было на исходе. Я целую вечность сидел один, в мертвой тишине. Когда наконец откуда-то запахло самоваром и вокзал стал оживать, освещаться, я поспешно, сам не понимая, что делаю, взял билет до Петербурга.

Там, на вокзале в Витебске, в этом бесконечном ожидании поезда на Полоцк, я испытал чувство своей страшной отделенности от всего окружающего, удивление, непонимание, – что это такое все то, что передо мной, и зачем, почему я среди всего этого? Тихий, полутемный буфет со стойкой и сонно горящей на ней лампой, сумрачное пространство станционной залы, ее длина и высота, стол, занимающий всю ее середину, убранный с обычной для всех станций казенностью, дремотный старик лакей с гнутой спиной и висящими, отстающими сзади фалдами, который, оседая на ноги, вытаскивал себя откуда-то из-за стойки, когда пряно запахло по буфету этим

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
ночным вокзальным самоваром, и стал с недовольной старческой неловкостью  
взлезать на стулья возле стен и дрожащей рукой зажигать стенные лампы в матовых  
шарах... потом рослый жандарм, который, пренебрежительно гремя шпорами, прошел по  
буфету на платформу в длинной до пят шинели, своим разрезом сзади напоминающей  
хвост дорогого жеребца, – что это такое? зачем? почему? И как непохожа была ни  
на что та свежесть зимней ночи, снегов, которой пахнул жандарм со двора, выходя  
на платформу! Вот тут-то и очнулся я от оцепенения и вдруг решил почему-то ехать  
в Петербург.

В Полоцке шел зимний дождь, улицы были мокры, ничтожны. Я только заглянул в него  
между поездами, и рад был своему разочарованию. В дальнейшем пути записал:  
«Бесконечный день. Бесконечные снежные и лесные пространства. За окнами все  
время вялая бледность неба и снегов. Поезд то вступает в лес, темнящий его  
своими щами, то опять выходит на унылый простор снежных равнин, по далекому  
горизонту которых, над тушью лесов, грядой висит в низком небе что-то  
тускло-свинцовое. Станции все деревянные... Север, север!»

Петербург мне показался уже крайним севером. Извозчик мчал меня в сумрачной  
вьюге по необыкновенным для меня своей стройностью, высотой и одинаковостью  
улицам к Лиговке, к Николаевскому вокзалу. Был всего третий час, но круглые часы  
на казенной громаде вокзала уже светились сквозь вьюгу. Я остановился в двух  
шагах от него, в той стороне Лиговки, что идет вдоль канала. Тут было ужасно, –  
дровяные склады, извозчицьи постои, чайные, трактиры, портерные. В номерах, что  
посоветовал мне извозчик, я долго сидел, не раздеваясь, глядя с высоты шестого  
этажа в бесконечно грустное окно, в предвечернюю снежную муть, весь плывя от  
усталости, вагонной качки... Петербург! Я чувствовал это сильно: я в нем, весь  
окружен его темным и сложным, зловещим величием. В номере было натоплено и душно  
от запаха старых шерстяных драпри и такой же тахты, от крепкой вони чего-то того  
красноватого, чем натирают полы в плохих номерах.

Я вышел, сбегал вниз по крутой лестнице. На улице ударила в меня снежным холодом  
непроглядная вьюга, я поймал мелькнувшего в ней извозчика и полетел на  
финляндский вокзал – испытать чувство заграницы. Там я быстро напился пьян – и  
вдруг послал ей телеграмму: – Буду послезавтра.

Огромная, людная, старая Москва встретила меня блеском солнечной оттепели,  
тающих сугробов, ручьев и луж, громом и звоном конок, шумной бестолочью идущих и  
едуших, удивительным количеством тяжко нагруженных товарами ломовых розвальней,  
грязной теснотой улиц, лубочной картинностью кремлевских стен, палат, дворцов,  
скученно сияющих среди них золотых соборных маковок. Я дивился на Василия  
Блаженного, ходил по соборам в Кремле, завтракал в знаменитом трактире Егорова в  
Охотном ряду. Там было чудесно: внизу довольно серо и шумно от торгового  
простонородья, зато наверху, в двух невысоких зальцах, чисто, тихо, пристойно, –  
даже курить не дозволялось, – и очень уютно от солнца, глядевшего в теплые  
маленькие окна откуда-то с надворья, от заливавшейся в клетке канарейки; в углу  
мерцала белым огоньком лампада, на одной стене, занимая всю ее верхнюю половину,  
блестела смуглым лаком темная картина: чешуйчатая, кверху загнутая крыша,  
длинная терраса и на ней несоответственно большие фигуры пьющих чай китайцев,  
желтолицых, в золотых халатах, в зеленых колпаках, как на дешевых лампах...  
Вечером того же дня я уехал из Москвы...

В нашем городе уже ездили на колесах, на станции бушевал вольный азовский ветер.  
Она меня ждала на платформе, уже сухой, легкой. Ветер трепал ее весеннюю шляпку,  
не давал смотреть. Я увидел ее издали, – она растерянна, морщась от ветра,  
искала меня по идущим вагонам глазами. В ней было то трогательное, жалкое, что  
всегда так поражает нас в близком человеке после разлуки с ним. Она похудела,  
одета была скромно. Когда я выскочил из вагона, она хотела поднять с губ вуальку  
– и не могла, неловко поцеловала меня через нее, побледнев до мертвенности.

На извозчике она молча клонила голову навстречу ветру, – только несколько раз  
повторила горько и сухо: – Что ты со мной делал, что ты со мной делал!

Потом сказала, все также серьезно: – Ты в Дворянскую? Я поеду с тобой.

Войдя в номер, – он был во втором этаже, большой, с прихожей, – она села на  
диван, глядя, как коридорный глупо ставит мой чемодан на ковер посреди комнаты.  
Поставив, он спросил, не будет ли каких приказаний. – Ничего не надо, – сказала  
она за меня – Идите...

И стала снимать шляпку. – Что же ты все молчишь, ничего не скажешь мне? – безразлично сказала она, сдерживая дрожащие губы.

Я стал на колени, обнял ее ноги, целуя их сквозь юбку и плача. Она подняла мне голову – и я опять узнал, почувствовал ее знакомые, несказанно-сладостные губы и смертельно-блаженное замирание наших сердец. Я вскочил, повернул ключ в дверях, ледяными руками опустил на окна белые пузырчатые занавески, – ветер качал за окнами черное весеннее дерево, на котором, как пьяный, мотался и тревожно орал грач... – Отец просит об одном, – тихо сказала она потом, лежа в оцепенении отдыха: – подождать венчаться хотя бы полгода. Подожди, все равно моя жизнь теперь только в тебе одном, делай со мной что хочешь.

Небожженные свечи стояли на подзеркальнике, матово белели неподвижно висящие занавески, разными странными фигурами глядело с мелового потолка какое-то лепное украшение.

### XVIII

Мы уехали в тот малорусский город, куда переселился из Харькова брат Георгий, оба на работу по земской статистике, которой он там заведывал. Мы провели Страстную и Пасху в Батурине. Мать и сестра уже души не чаяли в ней, отец любовно говорил ей ты, сам давал по утрам целовать свою руку, – только брат Николай был сдержан, вежливо любезен. Она была тихо и растерянно счастлива, – новизной своей причастности к моей семье, к дому, к усадьбе, к моей комнате, где протекала моя юность, казавшаяся ей теперь прекрасной, трогательной, к моим книгам, которые она там рассматривала с несмелой радостью... Потом мы уехали.

Ночь до Орла. На рассвете пересадка в харьковский поезд.

В солнечное утро мы стоим в коридоре вагона возле жаркого окна. – Как странно, я никогда не была нигде, кроме Орла и Липецка! – говорит она. – Сейчас Курск? Это для меня уже юг. – Да. И для меня. – Мы будем в Курске завтракать? Знаешь, я еще никогда в жизни не завтракала на вокзале...

За Курском, чем дальше, тем все теплей, радостней. На откосе вдоль шпал уже густая трава, цветы, белые бабочки, в бабочках уже лето. – Жарко будет там летом! – с улыбкой говорит она. – Брат пишет, город весь в садах. – Да, Малороссия. Вот уж никогда не думала... Смотри, смотри, какие громадные тополя! И уж совсем зеленые! Зачем столько мельниц? – Ветряков, а не мельниц. Сейчас будут видны меловые горы, потом Белгород. – Я теперь понимаю тебя, я бы тоже никогда не могла жить на севере, без этого обилия света.

Я опускаю окно. Тепло дует солнечный ветер, паровозный дым южно пахнет каменным углем. Она прикрывает глаза, солнце горячими полосами ходит по ее лицу, по играющим возле лба темным молодым волосам, по простенькому ситцевому платью, ослепительно озаряя и нагревая его.

В долинах под Белгородом милая скромность празднично-цветущих вишневых садов, мелом белеющих хат. На вокзале в Белгороде ласковая скороговорка хохлушек, продающих бублики.

Она покупает и торгуется, довольная своей хозяйственностью, употреблением малорусских слов.

Вечером, в Харькове, мы опять меняем дорогу.

На рассвете подъезжаем.

Она спит. Свечи в вагоне догорают, в степи еще ночь, темный сумрак, но за ним далекий, низко и сокровенно зеленеющий восток. Как не похожа тут земля на нашу, – эта нагая, безграничная гладь с тугими серо-зелеными курганами! Мелькнул спящий полустанок, – ни куста ни деревца возле него, и сам он – каменный, голый, бело-синеватый в этом тайном рождении зари... Как одиноки тут станции!

Вот и в вагоне брезжит день. Сумрак внизу, по полу, но над ним уже полусвет. Она, во сне, спрятала голову в подушку, поджала ноги. Я осторожно прикрываю ее старинной шелковой шалью, подаренной ей моей матерью.

## ХІХ

Станция была от города далеко, в широких долинах. Вокзал – небольшой, приятный. На вокзале – приветливые лакеи, ласковые носильщики, благосклонные извозчики на козлах домовитых тарантасов, запряженных парой в дышло.

Город, весь в густых садах, с гетманским собором на обрыве горы, глядел с нее на восток и на юг. В восточной долине отдельно стоял крутой холм с древним монастырем на вершине, дальше было зелено и пусто, долина переходила в степные скаты. В южной, за рекой, за ее веселыми лугами, взгляд терялся в солнечном блеске.

В городе многие улицы казались тесны от садов и тополей, рядами тянувшихся вдоль дощатых «пешеходов», на которых часто можно было встретить гордую грудастую девку в обтянутой по бедрам плахте, с тяжелым водоносом на сильном плече. Тополи были необыкновенны своей высотой и мощностью, восхищали нас; стоял май, много было гроз и ливней, и как блестяще зеленели они своей крепкой листвой, как свежо и смолисто благоухали! – Весна тут была всегда яркая, веселая, лето знойное, осень ясная, долгая, зима мягкая, с влажными ветрами, санные извозчики ездили с бубенчиками, с их прелестным глухим бормотаньем.

Крупный, загорелый, с кругло стриженной седой головой старик Кованько, у которого мы поселились в одной из таких улиц, имел целое поместье: двор, флигель, дом и сад за домом. Сам он занимал флигель, а дом, беленый мелом и тенистый от сада сзади и большой стеклянной галереи по фасаду, сдавал нам. Он где-то служил, придя со службы, сытно обедал, отдыхал, а потом, полураздетый, сидел под раскрытым окном и все пел, покуривая «люльку»: «Ой, на горі та женці жнуть...»

Комнаты в доме были невысокие, простые; какой-то древний сундук под суровым рядом с цветной мережкой стоял в прихожей. Служила нам молоденькая казачка, в красоте которой было что-то ногайское.

Брат стал еще милей и добрей. Надежды мои оправдались – между ним и ею вскоре образовалась родственная и дружеская близость; во всех моих размолвках с ней или с ним они всегда были на стороне друг друга.

Круг наших сослуживцев и знакомых (врачей, адвокатов, земцев) был подобен харьковскому кругу брата, – я вошел в него легко, с удовольствием встретил в нем Леонтовича и Вагина, тоже переселившихся из Харькова. От харьковского этот круг отличался только тем, что состоял из людей более умеренных, живших почти совсем под стать городу, его миргородскому благополучию, дружелюбно встречавшихся не только с людьми из всякого другого городского общества, но даже с полицмейстером.

Чаще всего мы собирались в доме одного из членов управы: он был владелец пяти тысяч десятин земли и отары в десять тысяч голов, дом держал – для семьи – богатый, светский, сам же, маленький, скромный, бедно одетый, побывавший в свое время в Якутске, казался в нем жалким гостем.

## ХХ

Во дворе был старый каменный колодец, перед флигелем росли две белые акации, возле крыльца дома, затеняя правую сторону стеклянной галереи, поднималась темная вершина каштана. Все это летним утром было часам к семи уже горячо, ярко, солнечно, однообразно оглашалось вопросительно-растерянными восклицаниями кур из курятника, но в доме, особенно в задних комнатах, выходявших окнами в сад, было еще прохладно, в спальне, где она плескалась, стоя в маленьких татарских туфлях, с зябко напряженной грудью, свежо пахло водой и туалетным мылом; она, стыдясь, повертывалась ко мне мокрым лицом, с намыленной сзади под волосами шеей, и топала каблучком:

«Уходи вон!» Потом из той комнаты, где окна выходили на галерею, пахло заваренным чаем, – там ходила, стучала подкованными башмаками казачка; она обувались на босу ногу, ее голые щиколотки, тонкие, как у породистой кобылки, восточно блестели из-под юбки; блестела и круглая шейка в янтарном ожерелья, черная головка была жива, чутка, так и сверкала раскосыми глазами, зад вилялся при каждом движении.

Брат выходил к чаю с папиросой в руке, с улыбкой и повадками отца; небольшой, полнеющий, он не был похож на него, но что-то от его барственных манер в нем сказывалось; он стал хорошо одеваться, как-то светски-вольно клал, садясь, ногу на ногу и так же держал папиросу; все когда-то были убеждены в его блестящей будущности, он и сам был в ней убежден, – теперь вполне довольствовался той ролью, которую играл в этом малорусском захолустье, и к чаю выходил с игрой в глазах: он чувствовал себя полным сил, здоровья, мы составляли его семью, очень ему милую, идти вместе с нами на службу, состоявшую, как и в Харькове, наполовину из куренья и разговоров, было для него ежедневным удовольствием. Когда выходила наконец и она, уже совсем готовая, одетая с летней веселостью, он весь сиял, целуя ее руку.

Мы шли вдоль дивных тополей, маслянисто блестящих под солнцем, по горячим доскам пешеходов, под жаркими стенами домов и нагретыми садами; ее раскрытый зонтик выпукло круглится светлым шелком в густой синеве. Потом мы переходили знойную площадь, входили в желтое здание управы. Там внизу пахло сапогами сторожей, тютюном, который они курили. По лестнице во второй этаж озабоченно ходили с бумагами в руках, по-хохлацки гнули головы всякие письмоводители и делопроизводители в черных люстриновых пиджачках, племя хитрое и многоопытное при всей своей видимой простоватости. Мы проходили под лестницу в глубину первого этажа, в низкие комнаты нашего отделения, очень приятные от тех оживленных интеллигентски неряшливых лиц, что наполняли их... Странно было мне видеть ее в этих комнатах, за всякими опросными листами, которые она вкладывала в конверты для рассылки по уездам.

В полдень сторожа подавали нам чай в дешевых стаканах, дешевые блюдечки с ломтиками лимона, и казенность всего этого доставляла мне первое время тоже какую-то приятность. Тогда к нам сходились поболтать, покурить все наши друзья из других отделений. Приходил Сулима, секретарь управы. Это был красивый, несколько сутулый человек в золотых очках, с великолепной бархатно-блестящей чернотой волос и бороды; у него была мягкая, вкрадчивая поступь, вкрадчивая улыбка и такая же манера говорить; он улыбался постоянно и постоянно играл этой своей мягкостью, изяществом; он был большой эстет, монастырь, что стоял на холме в долине, называл застывшим аккордом. Он приходил нередко и поглядывал на нее все блаженней и таинственней; подходя к ее столу, низко наклонялся к ее рукам, приподнимал очки и сладостно, тихо улыбался: «А теперь что вы рассылаете?» Она от этого вся подтягивалась и старалась ответить как можно любезнее, но и как можно проще. Я был вполне спокоен, я теперь ни к кому ее не ревновал.

На службе я невольно занял, как в редакции орловского «Голоса», какое-то особое положение, на меня, как на работника, смотрели ласково-насмешливо. Я сидел и не спеша подсчитывал, составлял сводки, сколько в такой-то волости такого-то уезда засеяно табаку, свекловицы, какие предпринимались там меры «по борьбе» с жучками, вредящими этой свекловице, иногда просто читал что-нибудь, не обращая внимания на разговоры вокруг. Меня радовало, что у меня есть свой стол и то, что я мог в любом количестве требовать из канцелярии новенькие перья, карандаши, отличную писчую бумагу.

В два часа служба кончалась; брат, улыбаясь, поднимался – «до дому, громада!» – все оживленно разбирали летние картузы и шляпы, толпой выходили на светлую площадь, трясли друг другу руки и, блестя чесучой и палками, расходились.

XXI

Часов до пяти в городе было пусто, сады пеклись под солнцем. Брат спал, мы просто валялись на ее широкой кровати. Солнце, обходя дом, уже блистало в окна спальни, заглядывало в них из сада, сад отражался своей светло-зеленой листвой в зеркале над умывальником. В этом городе учился Гоголь, весь окрестный край был его, – Миргород, Яновщина, Шишаки, Яреськи, – мы часто, смеясь, вспоминали: «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!» – Все-таки жарко! – говорила она, весело вздыхая и ложась навзничь. – И сколько у нас мух! А как это дальше, про огороды? – «Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами...» – Это как-то волшебное хорошо. Я ужасно хотела бы побывать в Миргороде. Непременно надо как-нибудь поехать. Правда? Пожалуйста, как-нибудь поедем! Только какой он был странный, неприятный в жизни. Никогда ни в кого не был влюблен, даже в молодости... – Да, за всю молодость единственный бессмысленный поступок – поездка в Любек. – Вроде твоей в Петербург... Отчего ты так любишь

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
ездить? – А отчего ты любишь получать письма? – От кого ж я их теперь получаю! –  
Все равно любишь. Люди постоянно ждут чего-нибудь счастливого, интересного,  
мечтают о какой-нибудь радости, о каком-нибудь событии. Этим влечет и дорога.  
Потом воля, простор... новизна, которая всегда празднична, повышает чувство жизни,  
а ведь все мы только этого и хотим, ищем во всяком сильном чувстве. – Да, да,  
это правда. – Ты говоришь – Петербург. Если бы ты знала, какой это ужас и как я  
там сразу и навеки понял, что я человек до глубины души южный. Гоголь писал из  
Италии: «Петербург, снега, подлецы, департамент – все это мне снилось: я  
проснулся опять на родине». Вот и я так же проснулся тут. Не могу спокойно  
слышать слов: Чигирин, Черкасы, Хорол, Лубны, Чертомлык, Дикое Поле, не могу без  
волнения видеть очеретяных крыш, стриженных мужицких голов, баб в желтых и  
красных сапогах, даже лыковых кошелок, в которых они носят на коромыслах вишни и  
сливы. «Чайка скиглить, литаючи, мов за дитьми плаче, солнце гріе, витер віе на  
стеку козачем...» Это Шевченко, – совершенно гениальный поэт! Прекраснее  
Малороссии нет страны в мире. И главное то, что у нее теперь уже нет истории, –  
ее историческая жизнь давно и навсегда кончена. Есть только прошлое, песни,  
легенды о нем, – какая-то вневременность. Это меня восхищает больше всего. – Ты  
это часто говоришь – восхищает, восхищение. – Жизнь и должна быть восхищением...  
Солнце склонялось, густо лилось в открытые окна по крашеному полу, зеркальный  
отблеск играл на потолке. Подоконники горели все ярче, на них радостными кучками  
кипели мухи. Мухи кусали ее голые прохладные плечи. На подоконник вдруг садился  
воробей, зорко и бойко оглядывался и, вспорхнув, опять исчезал в светлой зелени  
сада, уже прозрачно сквозившей на предвечернем солнце. – Ну, скажи еще  
что-нибудь, – говорила она. – Скажи, а в Крым мы когда-нибудь поедим? Если бы ты  
знал, как я мечтаю! Ты б мог написать какую-нибудь повесть, – мне кажется, ты  
написал бы замечательно, – и вот у нас были бы деньги, мы бы взяли отпуск...  
Отчего ты бросил писать? Ты какой-то мот, расточитель своих способностей! – Были  
такие казаки, которые назывались «бродники», – от слова бродить. Вот, верно, и я  
бродник. «Одному Бог дает палаты, другому мосты да гати». Лучше всего у Гоголя  
его записная книжка: «Степная чайка с хохлом в виде скобки поднимается с дороги...  
Рубеж во всю дорогу, зеленый, с растущими на нем бодяками, и ничего за ним,  
кроме безграничной равнины... Подсолнечники над плетнями и рвами, и соломенный  
навес чисто вымазанной хаты, и миловидное, красным ободком окруженное окошко...  
Ты, древний корень Руси, где сердечней чувство и нежней славянская природа!»

Она внимательно слушала. Потом вдруг спрашивала: – А скажи, зачем ты прочел мне  
это место из Гете? Вот, как он уезжал от Фредерики и вдруг мысленно увидел  
какого-то всадника, ехавшего куда-то в сером камзоле, обшитом золотыми галунами.  
Как это там сказано? – «Этот всадник был я сам. На мне был серый камзол, обшитый  
золотыми галунами, какого я никогда не носил». – Ну, да, и это как-то чудесно и  
страшно. И потом ты сказал, что у всякого в молодости есть в мечтах свой  
желанный камзол... Почему он ее бросил? – Он говорил, что им всегда руководил его  
«демон». – Да, и ты меня скоро разлюбишь. Ну, скажи правду – о чем ты больше  
всего мечтаешь? – О чем я мечтаю? Быть каким-нибудь древним крымским ханом, жить  
с тобой в Бахчисарайском дворце... Бахчисарай весь в каменистом, страшно жарком  
ущелье, а во дворце вечная тень, прохлада, фонтаны, за окнами шелковичные  
деревья... – Нет, серьезно? – Я серьезно. Я ведь всегда живу каким-то страшным  
вздором. Вот хоть эта степная чайка, это соединение в ней степи и моря... Брат  
Николай, бывало, смеялся, говорил мне, что я от природы дурачек, и я очень  
страдал, пока однажды случайно не прочел, что сам Декарт говорил, что в его  
душевной жизни ясные и разумные мысли занимали всегда самое ничтожное место. – И  
что ж, во дворце гарем? Я это тоже серьезно. Ты же сам доказывал мне, – помнишь,  
– что в мужской любви много смешения разных любовных чувств, что ты это  
испытывал к Никулиной, потом к Наде... Ты ведь иногда очень безжалостно откровенен  
со мной! Ты что-то в этом роде недавно говорил даже про нашу казачку. – Я  
говорил только то, что когда я смотрю на нее, я ужасно хочу куда-то в  
солончаковые степи, жить в кибитке. – Ну, вот, сам же говоришь, что тебе хочется  
жить с ней в кибитке. – Я не сказал, что с ней. – А с кем же? – Ой, опять  
воробей! Ужасно боюсь, когда они залетают и бьются по зеркалу!

И, вскочив, она быстро и неловко хлопала в ладоши. Я хватал и целовал ее голые  
плечи, ноги... Разность горячих и прохладных мест ее тела потрясала больше всего.

## XII

К вечеру зной спадал. Солнце стояло за домом, мы пили чай в стеклянной галлерее,  
возле открытых во двор окон. Она теперь много читала и в эти часы все о  
чем-нибудь расспрашивала брата, а он с удовольствием наставлял ее. Вечер был

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин бесконечно тих, неподвижен, – одни ласточки мелькали во дворе и, взвываясь, тонули в глубоком небе. Они говорили, а я слушал: «Ой, на горі та женци жнуть...» Песня рассказывала, что на горе жнут хлебоборобы, текла ровно, долго, грустью разлуки, потом крепла и звучала твердо – волей, далью, отвагой, воинским ладом:

А по-під горою,  
По-під високою  
Козаки йдуть!

Песня протяжно и грустно любовалась, как течет по долине казацкое войско, как ведет его славный Дорошенко, едет впереди всех. А за ним, говорила она, за ним Сагайдачный, –

Шо проміняв жінку  
На тютюн та люльку,  
Необачний...

Она медлила, гордо дивилась столь странному человеку. Но вслед за тем была в литавры с особенно радостной волей:

Мені з жінкою  
Не возиться!  
А тютюн та люлька  
Козаку в дорозі  
Знадобиться!

Я слушал, грустно и сладко чему-то завидуя.

На закате мы гуляли, шли иногда в город, иногда в сквер на обрыве за собором, иногда за город, в поле. В городе было несколько мощеных улиц со всякой еврейской торговлей, с непонятным количеством часовых, аптекарских и табачных магазинов; эти улицы были каменные, белые, дышали теплом после дневного жара, на их перекрестках стояли киоски, где прохожие пили разноцветные сиропы с шипучей водой, и все это говорило о юге и тянуло куда-то еще дальше на юг, – помню, я часто думал тогда почему-то о Керчи. Глядя от собора в долину, я мысленно ехал в Кременчуг, в Николаев. В поле, за город мы шли западным предместьем, совсем деревенским. Его хаты, вишневые сады и баштаны выходили в равнину, на прямую, как стрела, миргородскую дорогу. В далекой дали дороги, вдоль телеграфных столбов, медленно тянулась хохлацкая телега, влекомая двумя качающимися в ярме, клонящими головы волами, она тянулась и исчезала, как в море, вместе с этими столбами, – последние столбы уже чуть маячили в равнине, были как палочки малы. Это была дорога на Яновщину, Яреськи, Шишаки...

Вечер мы нередко проводили в городском саду. Там играла музыка, освещенная терраса ресторана издали выделялась среди темноты, как театральная сцена. Брат шел прямо в ресторан, мы иногда уходили в ту сторону сада, где он кончался тоже обрывом. Ночь была густо темна, тепла. В темноте внизу кое-где стояли огоньки и церковно, стройно подымались и замирали песни – это пели парубки предместий. Песни сливались с темнотой и тишиной. Гремя, бежал там светящимися звеньями поезд, – тогда особенно чувствовалось, как глубока и черна долина, – и постепенно смолкал, погасал, точно уходил под землю. И опять были слышны песни, и весь круг горизонта за долиной дрожал немолчной дрожью жаб, ворожившей эту тишину и темноту, повергавшей ее в оцепенение, которому, казалось, не будет конца.

Когда мы всходили на людную террасу ресторана, она, после темноты, приятно стесняла, слепила. Брат, уже хмельной и умиленный, тотчас махал нам из-за стола, где с ним сидели Вагин, Леонтович, Сулима. Нас шумно усаживали, требовали еще белого вина, бокалов и льду. Потом музыка уже не играла, сад за террасой был темен, пуст, откуда-то доходило порой дуновение до свечей в стеклянных колпачках, осыпаемых ночными насекомыми, но все говорили, что время еще детское. Наконец соглашались: пора. И все-таки не сразу расставались – шли домой ватагой, громко говоря, стуча по пешеходам. Сады спали, таинственно чернели, тепло освещаясь низким светом поздней луны. Когда мы, уже одни, входили в свой двор, луна глядела в него, блестя в черных стеклах галереи; тихо трюкал сверчок; каждый листик акации возле флигеля, каждая веточка с удивительной четкостью и изяществом рисовали свою неподвижную тень на белой стене.

Всего милей были минуты перед сном. Скромно горела свеча на ночном столике. Счастьем свежести, молодости, здоровья входила прохлада в открытые окна. Сидя в халатике на краю постели, она темными глазами смотрела на свечу и заплетала

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
мягко блестящую косу. – Вот ты все удивляешься, как я изменилась, – говорила  
она. – А если бы знал, как изменился ты.

Только ты стал как-то все меньше замечать меня! Особенно когда мы не одни. Я боюсь, что я для тебя становлюсь как воздух: жить без него нельзя, а его не замечаешь. Разве не правда? Ты говоришь, что это-то и есть самая большая любовь. А мне кажется, что это значит, что тебе теперь одной меня мало. – Мало, мало, – отвечал я смеясь. – Мне теперь всего мало. – Я и говорю: тебя куда-то тянет. Георгий Александрович уже говорил мне, что ты просишься в командировки с разъездными статистиками. Зачем? Трястись по жаре и в пыли на бричке, потом сидеть в жарком волостном правлении и без конца опрашивать хохлов вот по тем самым бланкам, что я рассылаю..

Она поднимала глаза, закинув косу за плечо: – Что тебя тянет? – Только то, что я счастлив, что мне действительно теперь как будто всего мало.

Она брала мою руку: – Правда счастлив?

### XXIII

В первый раз я поехал именно туда, куда ей так хотелось поехать со мной, – по миргородской дороге. Меня взял с собой Вагин, посланный зачем-то в Шишаки.

Помню, как мы с ней боялись проспать назначенное время, – выехать нужно было до жары, пораньше, – как она ласково меня разбудила, сама вставши до солнца, уже приготовив мне чай, подавляя в себе грусть, что я еду один. Было серо и прохладно, она все поглядывала в окна: неужели дождь испортит мне поездку? Я до сих пор чувствую то нежное и тревожное волнение, с которым мы вскочили, слышав у ворот почтовый колокольчик, порывисто простились и выбежали за калитку, к перекладной тележке, на которой в длинном парусиновом балахоне и в летнем сером картузе сидел Вагин.

Потом глох колокольчик в огромном воздушном пространстве, разгулявшийся день был сух, жарок, ровно бежала тележка в глубокой дорожной пыли, и все вокруг было так однообразно, что вскоре уже не стало силы глядеть в даль сонно-светлого горизонта и напряженно ждать от него чего-то. В полдень прошло мимо нас в этой горячей пустыне хлебов нечто совсем кочевое: бесконечные овчарни Кочубея. «Полдень, овчарни, записал я среди толчков тележки. Серое от зноя небо, ястреба и сивоворонки... Я совершенно счастлив!» В Яновщине записал о корчме: «Яновщина, старая корчма, ее черная внутренность и прохладная полутьма; еврей сказал, что пива у него нету, „есть только напиток“. – „Какой напиток?“ – „Но напиток! Напиток фиалка“. Еврей – тощий, в лапсердаке, но напиток вынес из задней комнаты гимназист, необыкновенно полный подросток, высоко подпоясанный новеньким ремнем по светло-серой куртке, очень красивый как-то по-персидски: его сын.» После Шишак я тотчас вспомнил гоголевскую записную книжку: «И вдруг яр среди ровной дороги – обрыв в глубину и вниз; и в глубине леса, и за лесами – леса, за близкими, зелеными – отдаленные, синие, за ними полоса песков серебряно-соломенного цвета... Над стремниной и кручей махала крыльями скрипучая ветряная мельница...» Под этим обрывом, в глубине долины, лукой выгнбался Псел и зеленело садами большое село. Мы долго искали в нем какого-то Василенко, к которому и было у Вагина дело, а найдя, не застали дома и долго сидели под липой возле его хаты, окруженные сыростью луговой верболозы и кваканьем лягушек. Тут же мы просидели с Василенко и весь вечер, ужинали, пили наливку, и лампа освещала снизу зелень листьев, меж тем как кругом замыкалась непроницаемая тьма летней ночи. Потом в этой тьме вдруг стукнула калитка и возле стола нарядно появилась до свинцовой бледности набеленная девица, приятельница Василенко, местная земская фельдшерица: тотчас, конечно, узнала, что у него какие-то губернские гости. Первую минуту она от смущения не знала, что с собой делать, говорила, что попало, потом стала пить с нами рюмка в рюмку и все больше вскрикивать на всякие мои остроты. Она была ужасно нервна, широкоскула, остро черноглаза, у нее были жилистые руки, крепко пахнущие шипром, и костлявые ключицы, под легонькой голубой кофточкой лежали тяжелые груди, стан был тонок, а бедра широки. Ночью я пошел ее провожать. Мы шли в черной темноте, по засохшим колеям какого-то переулка. Где-то возле плетня она остановилась, уронила мне на грудь голову. Я с трудом не дал себе воли...

Домой мы с Вагиным приехали на другой день поздно. Она уже лежала в постели, читала; увидев меня, вскочила в радости и удивленья – «как, уже приехал?» Когда

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
я, поспешно рассказывая всю свою поездку, стал со смехом рассказывать про  
фельдшерлицу, она перебила: – Зачем ты рассказываешь мне это? И глаза у нее  
наполнились слезами: – Как ты жесток со мною! – сказала она, торопливо ища под  
подушкой платочек. – Мало того что ты бросаешь меня одну...

Сколько раз в жизни вспоминал я эти слезы! Вот вспоминаю, как вспомнил однажды  
лет через двадцать после той ночи. Это было на приморской бессарабской даче. Я  
пришел с купанья и лег в кабинете. Был жаркий и ветренный полдень: сильный,  
шелковисто-горячий, то затихающий, то буйно-растущий шум сада вокруг дома, тень  
и блеск в деревьях, мотанье туда и сюда мягко гнущихся ветвей... Когда ветер,  
густо шумя, рос, приближался, он вдруг раскрывал всю эту древесную зелень,  
окружавшую окна тенистого кабинета, показывал в ней знойно-эмалевое небо, и  
тотчас раскрывалась и тень на белом потолке – потолок, светлея, становился  
фиолетовым. Потом опять затихало, ветер, убегая, терялся где-то в дали сада, над  
обрывом к побережью. Я глядел на все это, слушал и вдруг подумал: где-то,  
двадцать лет тому назад, в том давно забытом малорусском захолустье, где мы с  
ней только что начинали нашу общую жизнь, тоже был подобный полдень; я проснулся  
поздно, – она уже ушла на службу, – окна в сад тоже были открыты и за ними вот  
также шумело, качалось, пестро блестело, а по комнате вольно ходил тот  
счастливый ветер, что сулит близкий завтрак, доносит запах жареного лука; я,  
открывши глаза, вздохнул этим ветром и, облокотившись на свою подушку, стал  
глядеть на другую, лежавшую рядом, в которой еще оставался чуть слышный  
фиалковый запах ее темных прекрасных волос и платочка, который она, помирившись  
со мной, еще долго держала в руке; и, вспомнив все это, вспомнив, что с тех пор  
я прожил без нее полжизни, видел весь мир и вот все еще живу и вижу, меж тем как  
ее в этом мире нет уже целую вечность, я, с похолодевшей головою, сбросил ноги с  
дивана, вышел и точно по воздуху пошел по аллее уквусных деревьев к обрыву,  
глядя в ее пролет на купоросно-зеленый кусок моря, вдруг представший мне  
страшным и дивным, перевозданно новым...

В ту ночь я поклялся ей, что больше никуда не поеду. Через несколько дней опять  
уехал.

XXIV

Когда мы были в Батурине, брат Николай говорил: – Жаль мне тебя от души! Рано ты  
поставил крест на себе!

Но никакого креста я на себе не чувствовал. Службу свою я опять считал  
случайностью, смотреть на себя как на женатого не мог. Одна мысль о жизни без  
нее привела бы меня теперь в ужас, но и возможность нашей вечной неразлучности  
вызывала недоумение: неужели и впрямь мы сошлись навсегда и так вот и будем жить  
до самой старости, будем, как все, иметь дом, детей? Последнее – дети, дом –  
представлялось мне особенно нестерпимым. – Вот мы с тобой повенчаемся, –  
говорила она, мечтая о будущем. – Все-таки я этого очень хочу и, потом, что  
может быть прекраснее венчания! У нас, может быть, будет ребенок... Разве ты не  
хотел бы?

Что-то сладко и таинственно сжимало мне сердце. Но я отшучивался: – «Бессмертные  
творят, смертные производят себе подобных». – А я? – спрашивала она. – Чем же я  
буду жить, когда пройдет наша любовь, молодость, и я стану больше не нужна тебе?

Это было очень грустно слушать, и я горячо говорил: – Никогда ничего не пройдет,  
никогда ты не перестанешь быть мне нужна!

Теперь уже я (как прежде, в Орле, она) хотел быть любимым и любить, оставаясь  
свободным и во всем первенствующим.

Да, больше всего трогала она меня в тот час, когда, заплетая на ночь косу,  
подходила ко мне поцеловать меня на прощанье, и я видел, насколько она, без  
каблуков, меньше меня, как она смотрит мне в глаза снизу вверх.

Сильнее всего я чувствовал к ней любовь в минуты выражения наибольшей  
преданности мне, отказа от себя, веры в мои права на какую-то особенность чувств  
и поступков.

Мы часто вспоминали нашу зиму в Орле, то, как мы расстались там, как я уехал в  
Витебск, и я говорил: – Да, вот, Полоцк, что меня тянуло туда? С этим словом –

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

Полоцк или, по-древнему, Полотыск – у меня давно соединилось предание о древнем киевском князе Всеславе, которое я где-то прочел еще в отрочестве: он был свергнут братом с престола, бежал «в темный край полочан» и доживал свой век «в скудной бедности», в схиме, в молитвах, в трудах и в «прельщениях памяти»: будто бы неизменно просыпался в предутренний час с «горькими и сладкими слезами», с обманчивой мечтой, что он опять в Киеве, «на своем благоверном княжении» и что это не в Полоцке, а у Киевской Софии звонят к полунощнице.

С тех пор Полоцк тех времен всегда представлялся мне совершенно чудесным в своей древности и грубости: какой-то темный, дикий зимний день, какой-то бревенчатый Кремль с деревянными церквями и черными избами, снежные сугробы, истоптанные конными и пешими в овчинах и лаптях... Когда я наконец попал в действительный Полоцк, я, разумеется, не нашел в нем ни малейшего подобия выдуманному. И все-таки во мне и до сих пор два Полоцка – тот, выдуманный, и действительный. И этот действительный я тоже вижу теперь уже поэтически: в городе скучно, мокро, холодно, сумрачно, а на вокзале теплый большой зал с огромными полукруглыми окнами, уже горят люстры, хотя на дворе еще только смеркается, в зале множество народу, и штатского, и военного, поспешно наедающегося перед приходом поезда на Петербург, всюду говор, стук ножей по тарелкам, запах соусов, щей, которым дуют туда и сюда летающие лакеи...

Она, как всегда в такие минуты, слушала меня с особенным, напряженным вниманием и, выслушав, убежденно соглашалась: «Да, да, я понимаю тебя!» И я пользовался этим – внушал ей: – Гете говорил: «Мы сами зависим от созданных нами креатур». Есть чувства, которым я совершенно не могу противиться: иногда какое-нибудь мое представление о чем-нибудь вызывает во мне такое мучительное стремление туда, где мне что-нибудь представилось, то есть, к чему-то тому, что за этим представлением, – понимаешь: за! – что не могу тебе выразить!

Однажды мы с Вагиным ездили в Казачьи Броды, старинное село в Поднепровьи, были на проводах переселенцев, отправлявшихся в Уссурийскую область. Возвратились утром, по железной дороге. Когда я приехал с вокзала, она с братом была уже в управе. Мужественно загорелый и бодрый, очень довольный собой, возбужденный желанием поскорее рассказать ей и брату, какую редкую картину мне удалось видеть, – целая орда тронулась на моих глазах в эту сказочную область, десятью тысячами верст отделенную от Казачьих Бродов, – я быстро прошел по всему пустому и прибранному дому, вошел в спальню, чтобы переодеться и умыться, с какой-то радостной болью взглянул на всякие вещицы ее туалета, на думку в прошивках на постельной подушке, – все это показалось мне бесконечно дорого и одиноко, остро отозвалось в сердце счастьем вины перед нею, – но увидел на ночном столике раскрытую книгу и на минуту приостановился: это было «Семейное счастье» Толстого, и на раскрытой странице были отмечены строки: «Все мои тогдашние мысли, все тогдашние чувства были не мои, а его мысли и чувства, которые вдруг сделались моими...» Я перевернул несколько страниц дальше и увидел еще отметки: «Часто в это лето я приходила в свою спальню и, вместо прежней тоски желаний и надежд в будущем, меня схватывала тревога счастья в настоящем... Так прошло лето, и я стала чувствовать себя одинокой. Он всегда был в разъездах и не жалел и не боялся оставлять меня одну...»

Я несколько минут стоял без движения. Мне, оказывается, совсем не приходило в голову, что у нее могли быть (и есть) тайные, неизвестные мне и, главное, печальные чувства и мысли и уже в форме прошедшего времени! «Все мои тогдашние мысли, тогдашние чувства... Часто в это лето я приходила...» Неожиданней всего было это последнее: «Так прошло лето, и я стала чувствовать себя одинокой...» Значит, ее слезы в ту ночь, когда я приехал из Шишак, были не случайными?

В управу я вошел особенно бодро, поцеловался с ней и братом весело, говорил и шутил, не умолкая. С тайным мучением дождавшись наконец, когда мы остались одни, я тотчас же резко сказал: – Ты, оказывается, читала без меня «Семейное счастье»?

Она покраснела: – Да, а что? – Поражен твоими отметками в нем! – Почему? – Потому что из них совершенно ясно, что тебе уже горько жить со мной, что ты уже одинока, разочарована. – Как ты все всегда преувеличиваешь! – сказала она. – Какое разочарование? Просто мне было немного грустно, и я, правда, нашла некоторое сходство... Уверяю тебя, что нет ничего подобного тому, что тебе вообразилось.

Кого она уверяла? Меня или себя? Я, однако, очень рад был слышать все это – мне

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
очень хотелось, очень выгодно было верить ей. «Степная чайка с хохлом поднимается с дороги... Бежит, обтянутая синей запаской у пояса и трясутся под полотно трепещущие груди, а лишенные обуви ноги, обнаженные до колен, кровью и здоровьем играют...» Каких только «за» не было тут! И мог ли я отказаться от них! Я думал, кроме того, что они вполне соединимы с ней. Я под всякими предложениями внушал ей одно: живи только для меня и мной, не лишай меня моей свободы, своеволия, – я тебя люблю и за это буду еще больше любить. Мне казалось, что я так люблю ее, что мне все можно, все простиительно.

XXV

– Ты очень изменился, – говорила она. – Ты стал мужественней, добрей, милей. Ты стал жизнерадостный. – Да, а вот брат Николай да и твой отец все пророчили, что мы будем очень несчастны. – Это потому, что Николай так не взлюбил меня. Что я испытывала в Батурине от его холодной любезности, ты и представить себе не можешь. – Напротив, он говорил о тебе с большой нежностью. Мне и ее ужасно жаль, говорил он, тоже совсем еще девочка, и подумай, что ждет вас впереди: чем твое существование будет отличаться через несколько лет от существования какого-нибудь уездного акцизного чиновника? Помнишь, как я, бывало, шутя рисовал свою будущность? Квартирка в три комнатки, пятьдесят рублей жалованья... – Он жалел только тебя. – Плохо жалел – говорил, что у него вся надежда только на то, что нас с тобой спасет мое «беспутство», что я и на такую карьеру окажусь не способен, и что мы с тобой скоро расстанемся: или ты ее безжалостно бросишь, говорил он, или она тебя, посидевши некоторое время в этой милой статистике и понявши, какую ты приготовил ей участь. – На меня он напрасно надеялся – я тебя не брошу никогда. Я тебя брошу только в том случае, если увижу, что я тебе больше не нужна, что я мешаю тебе, твоей свободе, твоему призванию...

Когда с человеком случится несчастье, он непрестанно возвращается к одной и той же мучительной и бесполезной мысли: как и когда это началось? из чего все это слалось и как я мог не придавать тогда значения тому, что должно было предостеречь меня? «Я тебя брошу только в том случае...» Как же я не обращал внимания на такие слова, – на то, что все-таки некоторый «случай» она не исключала?

Я слишком ценил свое «призвание», пользовался своей свободой все беспутнее – брат Николай был прав. И все больше не сиделось мне дома: как свободный день, я тотчас уезжал, уходил куда-нибудь. – Где это тебя так обожгло солнцем? – спрашивает за обедом брат. – Где ты опять пропадал? – Был в монастыре, на реке, на станции... – И всегда один – с укоризной говорит она. – Сколько раз обещал вместе пойти в монастырь, я там за все время только один раз была, а там так прекрасно, такие толстые стены, ласточки, монахи...

Мне было стыдно и больно поднять на нее глаза. Но, боясь за свою свободу, я только пожимал плечом: – На что тебе эти монахи? – А тебе на что?

Я старался переменить разговор: – Я там видел нынче на кладбище нечто очень странное: пустую, но уж совсем готовую могилу – загодя приказал вырыть себе один из братии и даже с крестом в возглавии: на кресте уже написано, кто здесь погребен, когда он родился, написано даже «скончался» – только оставлено пустое место для даты будущей кончины. Везде чистота, порядок, дорожки, цветы – и вдруг эта ждущая могила. – Ну, вот, видишь. – Что ж тут видеть? – Ты нарочно не хочешь меня понимать. Но Бог с тобой. Верно сказано у Тургенева...

Я перебивал: – Ты, кажется, читаешь теперь только затем, чтобы находить что-нибудь насчет себя и меня. Впрочем, все женщины так читают. – Ну, что ж, пусть я женщина, зато я не так эгоистична...

Брат ласково вмешивался: – Да будет вам, господа!

XXVI

В конце лета положение мое в управе еще более устроилось: прежде я только «состоял» при ней, теперь был зачислен в штат и получил новую должность, как нельзя более мне подходящую: стал «хранителем» управской библиотеки – накопившихся в подвалах управы разных земских изданий. Должность эта, выдуманная для меня Сулимой, предписывала мне: разбор и приведение в порядок этих изданий, водворение их в помещение, на сей предмет особо предоставленное, – в длинную

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
сводчатую комнату в полуподвальном этаже, – и оборудованное потребным количеством полок и шкафов, а затем надзор за ними и выдачу по управе во временное пользование тех из них, кои окажутся нужными для того или иного отделения в тот или иной момент. Я разобрал, водворил – и приступил к надзору и ожиданию выдач. Но так как выдавать ничего не приходилось, – кое-что требовалось для отделений только осенью, перед земским собранием, – то остался мне один надзор, просто сидение в этой полуподвальной комнате, полюбившейся мне необыкновенно крепостной толщиной своих стен и свода, своей глубокой тишиною, – ни единый звук не достигал в нее ни откуда, – и своим небольшим, высоко от пола отстоящим окном, в которое сверху светило солнце и видны были основания всяких диких кустов и трав, росших на пустыре за управой. Жизнь моя стала с тех пор еще свободней: я по целым дням сидел в этом склепе в полном одиночестве, писал, читал, а когда хотел, мог хоть неделю не заглядывать сюда, запирает низкую дубовую дверь на замок и уходить, уезжать, куда вздумается.

Я зачем-то съездил в Николаев, часто ходил на один пригородный хутор, где поселились ради праведной жизни два брата толстовца, одно время каждый воскресный вечер проводил в большом хохлацком селе за первой от города станцией, возвращаясь домой с поздним ночным поездом... Зачем ездил, ходил? Она чувствовала то тайное, что, помимо всего прочего, было целью моего бродяжничества. Мой рассказ о фельдшернице в Шишаках поразил ее гораздо больше, чем я думал. С тех пор в ней стала развиваться ревность, которую она старалась и не всегда могла скрывать. Так, недели через две после этого рассказа о Шишаках, она, в полную противоположность своему доброму, благородному, еще девичьему характеру, вдруг поступила как самая обыкновенная «хозяйка дома» – нашла какой-то предлог и имела резкую твердость рассчитать казачку, служившую нам: – Я хорошо знаю, – неприятно сказала она мне, что тебя это огорчило: еще бы, так отлично «постукивает» башмаками по комнатам эта, как ты говоришь, «кобылка», такие у нее точеные щиколотки, такие раскосые сверкающие глаза! Но ты забываешь, как эта кобылка дерзка, своенравна и что моему терпению все-таки есть мера...

Я ответил от всей души, с полной искренностью: – Как ты можешь меня ревновать? Я вот смотрю на твою несравненную руку и думаю: за одну эту руку я не возьму всех красавиц на свете! Но я поэт, художник, а всякое искусство, по словам Гете, чувственно.

## XXVII

Однажды в августе я пошел на хутор к толстовцам перед вечером. В городе было безлюдно в этот еще знойный час, к тому же была суббота. Я шел мимо еврейских закрытых магазинов и старых торговых рядов. Медленно звонили к вечерне, в улицах уже лежали длинные тени от садов и домов, но все еще стоял тот особый предвечерний зной, что бывает в южных городах в конце лета, когда все сожжено даже в садах и палисадниках, которые изо дня в день пеклись на солнце, когда все и всюду – и в городе, и в степи, и на баштанах – сладко утомлено долгим летом.

На площади, у городского колодца, богиней стояла рослая хохлушка в подкованных башмаках на босу ногу; у нее были карие глаза и та ясность широкого чела, которая присуща хохлушкам и полякам. В улицу, которая шла с площади под гору, в долину, глядела предвечерняя даль южного горизонта, чуть видных степных холмов.

Спустясь по этой улице, я свернул в тесный переулок между мещанскими поместьями городской окраины и вышел на леваду, чтобы подняться на гору за ней, в степь. На леваде, на гумнах среди голубых и белых мазанок, мелькали в воздухе цепы: это молотили те самые парубки, которые так дико и чудесно гукали или пели на церковный лад в летние ночи. На горе вся степь, насколько хватал глаз, была золотая от густого жнивья. На широком шляхе лежала такая глубокая и мягкая пыль, что казалось, будто идешь в бархатных сапогах. И все вокруг – вся степь и весь воздух – нестерпимо блестело от низкого солнца. Влево от шляха, на обрыве над долиной, стояла хата с облупившимся мелом стен – это и был хутор толстовцев. Я со шляха пошел к нему целиком, по жнивью. Но на хуторе все оказалось пусто – и в хате, и вокруг хаты. Я заглянул в ее открытое окошечко – там густо зашумела по стенам, по потолку и в горшках на полках чернота несметных мух. Я заглянул в открытые ворота скотника – одно вечернее солнце краснеет на сухом навозе. Я пошел на баштан и увидел жену младшего толстовца – она сидела на крайней меже баштана. Я подходил – она не замечала или делала вид, что не замечает меня: неподвижно сидит боком, маленькая, одинокая, откинула в сторону босые ноги,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин одной рукой упирается в землю, другой держит во рту соломинку. – Добрый вечер, – сказал я, подойдя. – Что это вы так грустны? – Бувайте и сидайте, – ответила она с усмешкой и, бросив соломинку, протянула мне загорелую руку.

Я сел и посмотрел: совсем девчонка, стерегущая баштаны! Выгоревшие от солнца волосы, деревенская рубашка с большим вырезом на шее, старенькая черная плахта, обтягивающая по-женски развитые бедра. Маленькие босые ноги ее были пыльны и тоже темны и сухи от загара, – как это, подумал я, ходит она босиком по навозу и всяким колким травам! От того, что она была из нашего круга, где не показывают босых ног, мне всегда было и неловко и очень тянуло смотреть на ее ноги. Почувствовав мой взгляд, она поджала их. – А где же ваши?

Она опять усмехнулась: – Наши ушли кто куда. Один святой братец ушел на леваду, молотить, помогает какой-то бедной вдове, другой понес в город письма к великому учителю: очередной отчет за неделю во всех наших прегрешениях, искушениях и плотских одолениях. Кроме того – очередное «испытание», о котором тоже надо сообщить: в Харькове арестовали «брата» Павловского за распространение листовок – против военной службы, конечно. – Вы что-то очень не в духе. – Надоело, – сказала она, тряхнув головой, откидывая ее назад. – Не могу больше, – прибавила она тихо. – Что не могу? – Ничего не могу. Дайте мне папиросу. – Папиросу? – Да, да, папиросу!

Я дал, зажег спичку, она быстро и неумело закурила и, отрывисто затягиваясь и по-женски выдувая из губ дым, замолчала, глядя в даль за долину. Низкое солнце еще грело нам плечи и тяжелые длинные арбузы, которые лежали возле нас, вдавившись боками в сухую землю среди сожженных плетей, перепутанных, как змеи...

Вдруг она швырнула папиросу и, упав головой на мои колени, жадно зарыдала.

И по тому, как я утешал ее, целовал в пахнущие солнцем волосы, как сжимал ее плечи и глядел на ее ноги, очень хорошо понял, зачем я хожу к толстовцам.

А Николаев? Зачем нужен был Николаев? Едучи, я кое-что записывал: – Только что выехали из Кременчуга, вечер. На вокзале в Кременчуге, на платформе, в буфете, множество народу, южная духота, южная толкотня. В вагонах тоже. Больше всего хохлушек, все молодых, загорелых, бойких, возбужденных дорогой и жарой, – едут куда-то «на низы», на работы. Так волнуют горячим запахом тела и деревенской одежды, так стрекочут, пьют, едят и играют скороговоркой и ореховыми глазами, что даже тяжело... – Длинный, длинный мост через Днепр, красное слепящее солнце в окна справа, внизу и вдали полнота мутной желтой воды. На песчаной отмели множество совершенно свободно раздевающихся догола и купающихся женщин. Вон одна скинула рубашку, побежала и неловко упала грудью в воду, буйно забила в ней ногами... – Уже далеко за Днепром. Вечерняя тень в пустынных горах, покрытых скошенной травой и жнивьем. Почему-то думал о Святополке Окаянном: вот в такой же вечер он едет верхом по этой долине впереди небольшой дружины – куда, что думает? И это было тысячу лет тому назад, и все так же прекрасно на земле и теперь. Нет, это не Святополк, это какой-то дикий мужик, шагом едет на потной лошади в тени меж горами, и сзади него сидит женщина со связанными за спиной руками, в растрепанных волосах, с заголенными молодыми коленками, стиснув зубы, смотрит ему в затылок, он зорко глядит вперед... – Лунная мокрая ночь. За окнами ровная степь, черная грязь дорог. Весь вагон спит, сумрак, огарок толстой свечи в пыльном фонаре. В опущенное окно дует полевой сыростью, которая странно мешается с густым, вонючим воздухом вагона. Некоторые хохлушки спят навзничь, раскинувшись. Раскрытые губы, груди под сорочками, тяжелые бедра в плахтах и юбках... Одна сейчас проснулась и долго смотрела прямо на меня. Все спят – так и кажется, что вот-вот позовет таинственным шопотом...

Село, где я бывал по воскресеньям, лежало недалеко от станции, в просторной и ровной долине. Я бесцельно доехал однажды до этой станции, слез и пошел. Были сумерки, впереди белели хаты в садах, ближе, на выгоне, темнел дряхлый ветряк. Под ним стояла толпа и за толпой подмывающе взвизгивала скрипка и топали танцующие ноги... Я простоял потом несколько воскресных вечеров в этой толпе, до полуночи слушал то скрипку и топот, то протяжные хоровые песни; становился, подойдя, возле высокогрудой рыжей девки с крупными губами и странно ярким взглядом желтых глаз, и мы тотчас, пользуясь теснотой, тайком брали друг друга за руку. Мы стояли спокойно, старались не смотреть друг на друга – понимали, что плохо мне будет, если парубки заметят, ради чего стал появляться под ветряком какой-то городской паныч. В первый раз мы оказались рядом случайно, потом, как

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
только я подходил, она тотчас на мгновение обертывалась и, почувствовав меня  
возле себя, брала мои пальцы уже на весь вечер. И чем больше темнело, тем все  
крепче стискивала она их и все ближе прижимала ко мне плечо. Ночью, когда толпа  
начинала редеть, она незаметно отходила за ветряк, быстро пряталась за него, а я  
тихо шел по дороге на станцию, ждал, пока под ветряком не останется никого, и,  
согнувшись, бежал назад. Мы без слов сговорились делать так, молча стояли и под  
ветряком, – и молча блаженно истязались. Раз она пошла провожать меня. До поезда  
оставалось еще полчаса, на станции была темнота и тишина – только успокоительно  
трюкают кругом сверчки и вдали, где село, багрово краснеет над черными садами  
поднимающаяся луна. На запасных путях стоял товарный вагон с раздвинутыми  
дверцами. Я невольно, сам ужасаясь тому, что делаю, потянул ее к вагону, влез в  
него, она вскочила за мной и крепко обняла меня за шею. Но я чиркнул спичкой,  
чтобы осмотреться, – и в ужасе отшатнулся: спичка осветила посреди вагона  
длинный дешевый гроб. Она козой шаркнула вон, я за ней... Под вагоном она без  
конца падала, давилась смехом, целовала меня с диким весельем, я же не чаял, как  
уехать, и после того в село уже не показывался.

## XXVIII

Осенью мы пережили ту праздничную пору, что бывала в городе в конце каждого  
года, – съезд со всей губернии земских гласных на губернское собрание.  
Празднично прошла для нас и зима: были гастроли малорусского театра с  
Заньковецкой и Саксаганским, концерты столичных знаменитостей – Чернова,  
Яковлева, Мравиной, – было не мало балов, маскарадов, званых вечеров. После  
земского собрания я ездил в Москву, к Толстому, и, возвратившись, с особенным  
удовольствием предался мирским соблазнам. И они, эти соблазны, очень изменили  
нашу жизнь внешне – кажется, ни одного вечера не проводили мы дома. Незаметно  
изменяли, ухудшали и наши отношения. – Ты опять делаешься какой-то другой, –  
сказала она однажды. – Совсем мужчина. Стал зачем-то эту французскую бородку  
носить. – Тебе не нравится? – Нет, почему же? Только как все проходит! – Да. Вот  
и ты становишься похожа уже на молодую женщину. Похудела и стала еще красивее. –  
И ты опять стал меня ревновать. И вот я уже боюсь тебе признаться. – В чем? – В  
том, что мне хочется быть на следующем маскараде в костюме. Что-нибудь недорогое  
и совсем простое. Черная маска и что-нибудь черное, легкое, длинное... – Что же  
это будет обозначать? – Ночь. – Значит, опять начинается нечто орловское? Ночь!  
Это довольно пошло. – Ничего не вижу тут орловского и пошлого, – ответила она  
сухо и независимо, и я со страхом почувствовал в этой сухости и независимости  
действительно нечто прежнее. – Просто ты опять стал ревновать меня. – Почему же  
стал опять ревновать? – Не знаю. – Нет, знаешь. Потому что ты опять стала  
отдаляться от меня, опять желаешь нравиться, принимать мужские восторги.

Она неприязненно улыбнулась: – Не тебе бы говорить об этом. Ты вот всю зиму не  
расстаешься с Черкасовой.

Я покраснел. – Уж и не расстаешься! Точно я виноват, что она бывает там же, где и  
мы с тобой. Мне больней всего то, что ты стала как-то менее свободна со мной,  
точно у тебя образовалась какая-то тайна от меня. Скажи прямо: какая? Что ты  
таишь в себе? – Что таю? – отвечала она. – Грусть, что уж нет нашей прежней  
любви. Но что ж об этом говорить...

И, помолчав, прибавила: – А что до маскарада, то я готова и совсем отказаться  
быть на нем, раз это тебе неприятно. Только уж очень ты строг ко мне, каждую мою  
мечту называешь пошлостью, всего лишаешь меня, а сам себе ни в чем не  
отказываешь...

Весной и летом я опять не мало странствовал. В начале осени снова встретился с  
Черкасовой (с которой до той поры у меня действительно ничего не было) и узнал,  
что она переселяется в Киев. – Навсегда покидаю вас, милый друг, – сказала она,  
глядя на меня своими ястребиными глазами. – Муж заждался меня там. Хотите  
проводить меня до Кременчуга? Только совершенно тайно, разумеется. Я там должна  
провести целую ночь в ожидании парохода...

## XXIX

Это было в ноябре, я до сих пор вижу и чувствую эти неподвижные, темные будни в  
глухом малорусском городе, его безлюдные улицы с деревянными настилками по узким  
тротуарам и с черными садами за заборами, голую высоту тополей на бульварах,  
пустой городской сад с забытыми окнами летнего ресторана, влажный воздух этих

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
дней, кладбищенский запах лиственного тления – и мои тупые, бесцельные блуждания по этим улицам, по этому саду, мои все одни и те же мысли и воспоминания...  
Воспоминания – нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже особая молитва о спасении от них.

В какой-то роковой час ее тайные муки, о которых она только временами проговаривалась, охватили ее безумием. Брат Георгий вернулся в тот день со службы поздно, я еще поздней, – и она знала, что мы поздно придем, управа опять готовилась к годовому земскому собранию, – она одна оставалась дома, несколько дней не выходила, как всегда каждый месяц, и, как всегда в эту пору, была не совсем такая, как обычно. Она, верно, долго полулежала на тахте в нашей спальне, поджав под себя, по своей привычке, ноги, много курила, – она стала с некоторого времени курить, не слушая моих просьб и требований бросить это столь не шедшее к ней занятие, – все смотрела, должно быть, перед собою, потом вдруг встала, без помарок написала мне на клочке несколько строк, которые брат, воротясь, нашел на туалете в этой опустевшей спальне, и кинулась собирать кое-что из своих вещей – прочее просто бросила – и это прочее, как попало раскиданное, я долго не имел потом решимости собрать и спрятать куда-нибудь. Ночью она была уже далеко, в пути домой, к отцу... Отчего я тотчас же не погнался за ней?

Может быть, от стыда и оттого, что уже хорошо знал теперь ее непреклонность в иные минуты жизни. А в ответ на мои телеграммы и письма пришло в конце концов только два слова: «Дочь моя уехала и местопребывание свое запретила сообщать кому бы то ни было».

Неизвестно, что было бы со мной в первое время, не будь возле меня брата (при всей его беспомощности, растерянности). Те несколько строк, что она написала в объяснение своего бегства, он не сразу передал мне, все сперва подготавливал меня, – и с большой неловкостью, – наконец решился, скупо заплакал и подал. На клочке было написано твердым почерком: «Не могу больше видеть, как ты все дальше и дальше уходишь от меня, не в состоянии продолжать переносить оскорбления, которые ты без конца и все чаще наносишь моей любви, не могу убить ее в себе, но не могу и не понимать, что я дошла до последнего предела унижения, разочарования во всех своих глупых надеждах и мечтах, молю Бога, чтобы Он дал тебе сил пережить наш разрыв, забыть меня и быть счастливым в своей новой, уж совсем свободной жизни...» Я прочел все это одним взглядом и довольно нагло сказал, чувствуя, что земля проваливается у меня под ногами и кожа на лице и голове леденеет, стягивается: – Что ж, этого надо было ожидать, обычная история, эти «разочарования»!

После этого я имел мужество пройти в спальню и с равнодушным видом лечь на тахту. В сумерки брат осторожно заглянул ко мне – я притворился, что сплю. Терявшийся во всяких несчастьях и, подобно нашему отцу, не выносивший их, он поспешил поверить, что я действительно сплю, и воспользовался необходимостью опять быть в этот вечер на заседании в управе, тихо оделся и ушел...

Думаю, что я не застрелился в эту ночь только потому, что твердо решил, что все равно застрелюсь не нынче, так завтра. Когда в комнате посветлело от лунной млечности за окном в саду, я вышел в столовую, зажег там лампу, выпил у буфета один чайный стакан водки, другой... Выйдя из дому, я пошел по улицам, – они были страшны: немо, тепло, сыро, всюду вокруг, в голых садах и среди тополей бульвара, густо стоит белый туман, смешанный с лунным светом... Но вернуться домой, зажечь в спальне свечу и увидеть при ее темном свете все эти разбросанные чулки, туфли, летние платья и тот пестрый халатик, под которым я, бывало, обнимал ее перед сном, целуя ее поднятое, отдающееся лицо, чувствуя ее теплое дыхание, было еще страшнее. Спаситься от этого ужаса исступленными слезами можно было только с ней, перед ней, а ее-то и не было.

Потом была другая ночь. Тот же скудный свет свечи в неподвижном молчании спальни. За черными окнами ровно кипит в темноте ночной дождь глухой осени. Я лежу и смотрю в передний угол – в его треугольнике висит старая икона, на которую она молилась перед сном: старая, точно литая доска, с лицевой стороны крашенная киноварью, и на этом лаково-красном поле образ Богоматери в золотом одеянии, строгой и скорбной, – большие, черные, запредельные глаза в темном ободке. Страшный ободок! И страшное, кошунственное соединение в мыслях: Богоматерь – и она, этот образ – и все то женское, что разбросала она тут в безумной торопливости бегства.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

Потом прошла неделя, другая, месяц. Я давно отказался от службы, никуда не показывался на люди. Я одолевал воспоминание за воспоминанием, день за днем, ночь за ночью – и мне все почему-то думалось: вот так когда-то, где-то, какие-то славянские мужики «волоком» переволакивали с ухаба на ухаб по лесным дорогам свои обремененные тяжелой кладью лады.

XXX

Я еще с месяц мучился ее вездесущим присутствием в доме и в городе. Наконец, почувствовал, что нет больше сил выносить эту муку, и решил уехать в Батуристину – прожить там некоторое время, не загадывая о будущем.

Было очень странно войти в двинувшийся вагон, наспех обняв брата в последний раз, – войти и сказать себе: ну, вот, опять свободен, как птица! Был темный зимний вечер без снега, вагон гремел в сухом воздухе. Я устроился со своим чемоданчиком в углу возле двери, сидел и вспоминал, как любил повторять при ней польскую поговорку: «человек создан для счастья, как птица для полета» – и упорно смотрел в черное окно гремящего вагона, чтобы никто не видел моих слез. Ночь до Харькова... И та, другая, ночь – от Харькова, два года тому назад: весна, рассвет, ее крепкий сон в светящемся вагоне... Я напряженно сидел в сумраке под фонарем, среди тяжелой и грубой вагонной тесноты, и ждал одного – утра, людей, их движения, стакана горячего кофе на харьковском вокзале...

Потом был Курск, тоже памятный: весенний полдень, завтрак с ней на вокзале, ее радость: «В первый раз в жизни завтракаю на вокзале!» Теперь, к вечеру серого и жесткого морозного дня перед этим вокзалом стоял наш непомерно длинный и необыкновенно буднично-пассажирский поезд, бесконечная стена третьеклассных вагонов, больших тяжелых, какими отличалась Курско-Харьково-Азовская железная дорога. Я вышел, посмотрел. Паровоз чернеет так далеко впереди, что едва виден. С подножек поезда соскакивают люди с чайниками в руках, – все одинаково противные, – спешат в буфет за кипятком. Вышли и мои соседи по вагону: равнодушный, утомленный своей нездоровой полнотой купец в желтой лисьей шубе и страшно живой и ко всему любопытный мальчик, простонародная сухость лица и губ которого весь день вызывала во мне отвращение. Он бросает на меня подозрительный взгляд, – я тоже весь день привлекал к себе его внимание: все, мол, что-то сидит, молчит этот не то барчук, не то кто его знает кто! – однако, предупреждает меня дружелюбно-скороговоркой: – Имейте в виду, тут всегда жареных гусей продают, дешево баснословная!

Я стою, думаю о буфете, куда не могу пойти, – там тот стол, за которым мы когда-то сидели с ней. Пахнет уже крутой русской зимой, хотя снегу и тут еще нет. Какая могила ждет меня там, в Батуристине! Старость отца и матери, увядание моей несчастной сестры, нищая усадьба, нищий дом, голый, низкий сад, по которому дует ледяной ветер, зимний лай собак, – зимой, когда дует вот такой ветер, он какой-то особенный, ненужный, пустынный... Хвост поезда тоже бесконечен. Напротив, за барьером платформы, висят метлы голых тополей, за тополями, на мерзлой булыжной мостовой, ждут седоков захоластные извозчики, вид которых без слов говорит о тоске, о скуке того, что называется Курском. Под тополями стоят на платформе закутанные и подпоясанные концами шалей бабы с посиневшими от стужи лицами, угодливо кричат, заывают – продают этих самых баснословных гусей, огромных, ледяных, в пупырчатой коже. Те, что уже запаслись кипятком, бодро бегут с вокзала назад, в теплые вагоны, с удовольствием зябнут, с ернической веселостью торгуются на бегу с бабами... Наконец с адской мрачностью взрывается вдали паровоз, угрожая мне дальнейшим путем... Безвыходней всего было то, что я не знал, куда она скрылась. Если бы не это, я бы перевозил всякий стыд, давно бы настиг ее где-нибудь и какой угодно ценой вернул себе, – дикий поступок ее был несомненно припадком безумия, раскатылся в котором ей мешает тоже только стыд.

Мое новое возвращение под отчий кров было уже не похоже на то, что было три года тому назад. На все я смотрел теперь другими глазами. И все в Батуристине оказалось еще хуже, чем я представлял себе в дороге: убогие лозинные избы деревни, дикарские лохматые собаки и дикарские обледенелые водовозки возле порогов, вросших в железную грязь, клочья этой грязи по проезду к усадьбе, пустой двор перед угрюмым домом с печальными окнами, с нелепо-высокой и тяжелой крышей времен дедов и прадедов и двумя темными от навесов крыльцами, дерево которых сизо от древности – все старое, какое-то заброшенное, бесцельное – и бесцельный холодный ветер гнет верхушку заветной ели, торчащей из-за крыши дома, из жалкого в своей зимней наготе сада... В быту дома я нашел переход уже к грубой бедности –

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
замазанные глиной трещины печей, полы для тепла постланы мужицкими попонами...

Один отец старался держаться как-бы в противовес всему этому: похудевший, уменьшившийся, совсем седой, он был теперь всегда чисто брит, гладко причесан, одет не с прежней небрежностью, – мучительно было видеть эту подтянутость старости и бедности, – держался (очевидно, ради меня, ради моего позора и несчастья) бодрее и веселее всех. Раз он сказал, держа папиросу дрожащей, уже высохшей рукой, глядя на меня с нежной грустью: – Ну, что-ж, друг мой, все законно – и все тревожнения, все горести и радости молодости, и мир, покой старости... Как это? – сказал он, засмеявшись глазами: – «мирны наслажденья», черт бы их побрал совсем:

Мы в сей глуши уединенья,  
Дыша свободой полей,  
В смиренной хижине своей,  
Вкушаем мирны наслажденья...

Когда вспоминаю отца, всегда чувствую раскаяние – все кажется, что недостаточно ценил и любил его. Всякий раз чувствую вину, что слишком мало знаю его жизнь, особенно молодость, – слишком мало заботился узнавать ее, когда можно было! И все стараюсь и не могу понять полностью, что он был за человек, – человек совсем особого века и особого племени, удивительный какой-то бесплодной и совершенно чудесной в своей легкости и разнообразности талантливостью всей своей природы, живого сердца и быстрого ума, все понимавших, все схватывавших с одного намека, соединявший в себе редкую душевную прямоту и душевную сокровенность, наружную простоту характера и внутреннюю сложность его, трезвую зоркость глаза и певучую романтичность сердца. В ту зиму мне было двадцать лет, а ему шестьдесят. Как-то даже не верится: мне было когда-то двадцать лет, и только еще расцветали, не взирая ни на что, мои молодые силы!

А у него вся жизнь была уже позади. И вот, никто в ту зиму не понимал так, как он, что у меня на душе, и, верно, никто не чувствовал так этого соединения в ней скорби и молодости. Мы сидели в тот день в его кабинете. Уже лежал снег, был тихий и скромный солнечный день, освещенный им снежный двор ласково глядел в низкое окно кабинета, теплого, накуренного, запущенного, милого мне с детства этой запущенностью и уютностью, неизменностью своей простой обстановки, столь нераздельной для меня со всеми привычками и вкусами отца, со всеми моими давними воспоминаниями о нем и о себе.

И он, сказав про «мирны наслажденья», отложил папиросу, снял со стены старую гитару и стал играть что-то свое любимое, народное, и взгляд его стал тверд и весел, что-то тая в себе в то же время, – в лад нежному веселью гитары, с грустной усмешкой бормотавшей о чем-то дорогом и утраченном и о том еще, что все в жизни все равно проходит и не стоит слез...

Вскоре после приезда я не выдержал, сорвался однажды с места, кинулся очертя голову в город – и в тот же день вернулся ни с чем: в дом доктора меня просто не пустили. С дерзостью отчаяния выскочил я из извозчичьих санок у знакомого, теперь страшного подъезда, с ужасом взглянул на полузавешанные окна столовой, где столько дней просидел я с нею когда то на диване, – тех осенних, первых наших дней! – дернул звонок... Дверь отворилась, и я очутился лицом к лицу с ее братом, который, бледнея, отдельно сказал мне: – Отец не желает вас видеть. Она же, как вам известно, в отсуствии.

Это был тот гимназист, что так бешено носился в ту осень с Волчком вверх и вниз по лестнице. Теперь передо мной стоял мрачный, очень смуглый юноша в белой косоворотке офицерского образца, в высоких сапогах, с пробивающимися черными усами, с непреклонно-злым взглядом маленьких черных глаз, от смуглости малахитово бледный. – Уходите, пожалуйста, – прибавил он тихо, и видно было, как под косовороткой бьется его сердце.

И все-таки всю зиму, каждый день, я упорно ждал от нее письма, – не мог поверить, что она оказалась столь каменно-жестокой.

XXXI

Весной того же года я узнал, что она приехала домой с воспалением легких и в неделю умерла. Узнал и то, что это была ее воля – чтобы скрывали от меня ее смерть возможно дольше.

\* \* \*

У меня сохранилась до сих пор та тетрадь в коричневом сафьяне, что она купила мне в подарок из своего первого месячного жалования: в день, может быть, самый трогательный за всю ее жизнь. На заглавном листе этой тетради еще можно прочесть те немногие слова, что она написала, даря ее мне, – с двумя ошибками, сделанными от волнения, поспешности, застенчивости...

Недавно я видел ее во сне – единственный раз за всю свою долгую жизнь без нее. Ей было столько же лет, как тогда, в пору нашей общей жизни и общей молодости, но в лице ее уже была прелесть увядшей красоты. Она была худа, на ней было что-то похожее на траур.

Я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, которой не испытывал ни к кому никогда.

1927–1929, 1933.

Приморские Альпы.

Темные аллеи\*

I

Темные аллеи\*

В холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими черными колеями, к длинной избе, в одной связи которой была казенная почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переочевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьезный и темноликий, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника, а в тарантасе стройный старик военный в большом картузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, еще чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами; подбородок у него был пробрит и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования; взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый.

Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели, взбежал на крыльцо избы.

– Налево, ваше превосходительство, – грубо крикнул с козел кучер, и он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста, вошел в сенцы, потом в горницу налево.

В горнице было тепло, сухо и опрятно: новый золотистый образ в левом углу, под ним покрытый чистой суровой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки; кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново белела мелом; ближе стояло нечто вроде тахты, покрытой пегими попонами, упиравшейся отвалом в бок печи; из-за печной заслонки сладко пахло щами – разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом.

Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался еще стройнее в одном мундире и в сапогах, потом снял перчатки и картуз и с усталым видом провел бледной худой рукой по голове – седые волосы его с начесами на висках к углам глаз слегка курчавились, красивое удлиненное лицо с темными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы. В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, приотворив дверь в сенцы:

– Эй, кто там!

Тотчас вслед за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже еще красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с темным пушком на

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
верхней губе и вдоль щек, легкая на ходу, но полная, с большими грудями под  
красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под черной шерстяной  
юбкой.

– Добро пожаловать, ваше превосходительство, – сказала она. – Покушать изволите или самовар прикажете?

Приезжий мельком глянул на ее округлые плечи и на легкие ноги в красных поношенных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил:

– Самовар. Хозяйка тут или служишь?

– Хозяйка, ваше превосходительство.

– Сама, значит, держишь?

– Так точно. Сама.

– Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведешь дело?

– Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю.

– Так, так. Это хорошо. И как чисто, приятно у тебя.

Женщина все время пылливо смотрела на него, слегка щурясь.

– И чистоту люблю, – ответила она. – Ведь при господах выросла, как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич.

Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел.

– Надежда! Ты? – сказал он торопливо.

– Я, Николай Алексеевич, – ответила она.

– Боже мой, боже мой, – сказал он, садясь на лавку и в упор глядя на нее. – Кто бы мог подумать! Сколько лет мы не видались? Лет тридцать пять?

– Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, думаю?

– Вроде этого... Боже мой, как странно!

– Что странно, сударь?

– Но все, все... Как ты не понимаешь!

Усталость и рассеянность его исчезли, он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить:

– Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?

– Мне господа вскоре после вас вольную дали.

– А где жила потом?

– Долго рассказывать, сударь.

– Замужем, говоришь, не была?

– Нет, не была.

– Почему? При такой красоте, которую ты имела?

– Не могла я этого сделать.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

– Отчего не могла? Что ты хочешь сказать?

– Что ж тут объяснять. Небось, помните, как я вас любила.

Он покраснел до слез и, нахмурясь, опять зашагал.

– Все проходит, мой друг, – забормотал он. – Любовь, молодость – все, все. История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как это сказано в книге Иова? «Как о воде протекшей будешь вспоминать».

– Что кому бог дает, Николай Алексеевич. Молодость у всякого проходит, а любовь – другое дело.

Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся:

– Ведь не могла же ты любить меня весь век!

– Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот... Поздно теперь укорять, а ведь правда, очень бессердечно вы меня бросили, – сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды от одной, уж не говоря обо всем прочем. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня – помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие «темные аллеи», – прибавила она с недоброй улыбкой.

– Ах, как хороша ты была! – сказал он, качая головой. – Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались?

– Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть.

– А! Все проходит. Все забывается.

– Все проходит, да не все забывается.

– Уходи, – сказал он, отворачиваясь и подходя к окну. – Уходи, пожалуйста.

И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил:

– Лишь бы бог меня простил. А ты, видно, простила.

Она подошла к двери и приостановилась:

– Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Ну, да что вспоминать, мертвых с погоста не носят.

– Да, да, не к чему, прикажи подавать лошадей, – ответил он, отходя от окна уже со строгим лицом. – Одно тебе скажу: никогда я не был счастлив в жизни, не думай, пожалуйста. Извини, что, может быть, задеваю твое самолюбие, но скажу откровенно, – жену я без памяти любил. А изменила, бросила меня еще оскорбительней, чем я тебя. Сына обожал, – пока рос, каких только надежд на него не возлагал! А вышел негодяй, мот, наглец, без сердца, без чести, без совести... Впрочем, все это тоже самая обыкновенная, пошлая история. Будь здорова, милый друг. Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни.

Она подошла и поцеловала у него руку, он поцеловал у нее.

– Прикажи подавать...

Когда поехали дальше, он хмуро думал: «Да, как прелестна была! Волшебна прекрасна!» Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку, и тотчас стыдился своего стыда. «Разве неправда, что она дала мне лучшие минуты жизни?»

К закату проглянуло бледное солнце. Кучер гнал рысцой, все меняя черные колеи, выбирая менее грязные и тоже что-то думал. Наконец сказал с серьезной грубостью:

– А она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать ее?

– Давно, Клим.

– Баба – ума палата. И все, говорят, богатеет. Деньги в рост дает.

– Это ничего не значит.

– Как не значит! Кому ж не хочется получше пожить! Если с совестью давать, худого мало. И она, говорят, справедлива на это. Но крута! Не отдал вовремя – пеняй на себя.

– Да, да, пеняй на себя... Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду...

Низкое солнце желто светило на пустые поля, лошади ровно шлепали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал:

«Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! „Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи...“ Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?»

И, закрывая глаза, качал головой.

20 октября 1938

(обратно)  
Кавказ\*

Приехав в Москву, я воровски остановился в незаметных номерах в переулке возле Арбата и жил томительно, затворником – от свидания до свидания с нею. Была она у меня за эти дни всего три раза и каждый раз входила поспешно, со словами:

– Я только на одну минуту...

Она была бледна прекрасной бледностью любящей взволнованной женщины, голос у нее срывался, и то, как она, бросив куда попало зонтик, спешила поднять вуальку и обнять меня, потрясало меня жалостью и восторгом.

– Мне кажется, – говорила она, – что он что-то подозревает, что он даже знает что-то, – может быть, прочитал какое-нибудь ваше письмо, подобрал ключ к моему столу... Я думаю, что он на все способен при его жестоком, самолюбивом характере. Раз он мне прямо сказал: «Я ни перед чем не остановлюсь, защищая свою честь, честь мужа и офицера!» Теперь он почему-то следит буквально за каждым моим шагом, и, чтобы наш план удался, я должна быть страшно осторожна. Он уже согласен отпустить меня, так внушила я ему, что умру, если не увижу юга, моря, но, ради бога, будьте терпеливы!

План наш был дерзок: уехать в одном и том же поезде на кавказское побережье и прожить там в каком-нибудь совсем диком месте три-четыре недели. Я знал это побережье, жил когда-то некоторое время возле Сочи, – молодой, одинокий, – на всю жизнь запомнил те осенние вечера среди черных кипарисов, у холодных серых волн... И она бледнела, когда я говорил: «А теперь я там буду с тобой, в горных джунглях, у тропического моря...» В осуществление нашего плана мы не верили до последней минуты – слишком великим счастьем казалось нам это.

\* \* \*

В Москве шли холодные дожди, похоже было на то, что лето уже прошло и не вернется, было грязно, сумрачно, улицы мокро и черно блестели раскрытыми зонтами прохожих и поднятыми, дрожащими на бегу верхами извозчичьих пролеток. И был темный, отвратительный вечер, когда я ехал на вокзал, все внутри у меня замирало от тревоги и холода. По вокзалу и по платформе я пробежал бегом, надвинув на глаза шляпу и уткнув лицо в воротник пальто.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

В маленьком купе первого класса, которое я заказал заранее, шумно лил дождь по крыше. Я немедленно опустил оконную занавеску и, как только носильщик, обтирая мокрую руку о свой белый фартук, взял на чай и вышел, на замок запер дверь. Потом чуть приоткрыл занавеску и замер, не сводя глаз с разнообразной толпы, взад и вперед сновавшей с вещами вдоль вагона в темном свете вокзальных фонарей. Мы условились, что я приеду на вокзал как можно раньше, а она как можно позже, чтобы мне как-нибудь не столкнуться с ней и с ним на платформе. Теперь им уже пора было быть. Я смотрел все напряженнее – их все не было. Ударил второй звонок – я похолодел от страха: опоздала или он в последнюю минуту вдруг не пустил ее! Но тотчас вслед за тем был поражен его высокой фигурой, офицерским картузом, узкой шинелью и рукой в замшевой перчатке, которой он, широко шагая, держал ее под руку. Я отшатнулся от окна, упал в угол дивана. Рядом был вагон второго класса – я мысленно видел, как он хозяйственно вошел в него вместе с нею, оглянулся, – хорошо ли устроил ее носильщик, – и снял перчатку, снял картуз, целуясь с ней, крестя ее... Третий звонок оглушил меня, тронувшийся поезд поверг в оцепенение... Поезд расходился, мотаясь, качаясь, потом стал нести ровно, на всех парах... Кондуктору, который проводил ее ко мне и перенес ее вещи, я ледяной рукой сунул десятирублевую бумажку...

\* \* \*

Войдя, она даже не поцеловала меня, только жалостно улыбнулась, садясь на диван и снимая, отцепляя от волос шляпку.

– Я совсем не могла обедать, – сказала она. – Я думала, что не выдержу эту страшную роль до конца. И ужасно хочу пить. Дай мне нарзану, – сказала она, в первый раз говоря мне «ты». – Я убеждена, что он поедет вслед за мною. Я дала ему два адреса, Геленджик и Гагры. Ну вот, он и будет дня через три-четыре в Геленджике... Но Бог с ним, лучше смерть, чем эти муки...

\* \* \*

Утром, когда я вышел в коридор, в нем было солнечно, душно, из уборных пахло мылом, одеколоном и всем, чем пахнет людный вагон утром. За мутными от пыли и нагретыми окнами шла ровная выжженная степь, видны были пыльные широкие дороги, арбы, влекомые волами, мелькали железнодорожные будки с канареечными кругами подсолнечников и алыми мальвами в палисадниках... Дальше пошел безграничный простор нагих равнин с курганами и могильниками, нестерпимое сухое солнце, небо, подобное пыльной туче, потом призраки первых гор на горизонте...

\* \* \*

Из Геленджика и Гагр она послала ему по открытке, написала, что еще не знает, где останется.

Потом мы спустились вдоль берега к югу.

\* \* \*

Мы нашли место первобытное, заросшее чинаровыми лесами, цветущими кустарниками, красным деревом, магнолиями, гранатами, среди которых поднимались веерные пальмы, чернели кипарисы...

Я просыпался рано и, пока она спала, до чая, который мы пили часов в семь, шел по холмам в лесные чащи. Горячее солнце было уже сильно, чисто и радостно. В лесах лазурно светился, расходился и таял душистый туман, за дальними лесистыми вершинами сияла предвечная белизна снежных гор... Назад я проходил по знойному и пахнущему из труб горящим кизяком базару нашей деревни: там кипела торговля, было тесно от народа, от верховых лошадей и осликов, – по утрам съезжалось туда на базар множество разноплеменных горцев, – плавно ходили черкешенки в черных длинных до земли одеждах, в красных чувяках, закутанными во что-то черное головами, с быстрыми птичьими взглядами, мелькавшими порой из этой траурной закутанности.

Потом мы уходили на берег, всегда совсем пустой, купались и лежали на солнце до самого завтрака. После завтрака – все жаренная на шкаре рыба, белое вино, орехи и фрукты – в знойном сумраке нашей хижины под черепичной крышей тянулись через сквозные ставни горячие, веселые полосы света.

Когда жар спадал и мы открывали окно, часть моря, видная из него между кипарисов, стоявших на скате под нами, имела цвет фиалки и лежала так ровно, мирно, что, казалось, никогда не будет конца этому покою, этой красоте.

На закате часто громоздились за морем удивительные облака; они пылали так великолепно, что она порой ложилась на тахту, закрывала лицо газовым шарфом и плакала: еще две, три недели – и опять Москва!

Ночи были теплы и непроглядны, в черной тьме плыли, мерцали, светили топазовым светом огненные мухи, стеклянными колокольчиками звенели древесные лягушки. Когда глаз привыкал к темноте, выступали вверху звезды и гребни гор, над деревней вырисовывались деревья, которых мы не замечали днем. И всю ночь слышался оттуда, из духана, глухой стук в барабан и горловой, заунывный, безнадежно-счастливый вопль как будто все одной и той же бесконечной песни.

Недалеко от нас, в прибрежном овраге, спускавшемся из лесу к морю, быстро прыгала по каменистому ложу мелкая, прозрачная речка. Как чудесно дробился, кипел ее блеск в тот таинственный час, когда из-за гор и лесов, точно какое-то дивное существо, пристально смотрела поздняя луна!

Иногда по ночам надвигались с гор страшные тучи, шла злобная буря, в шумной гробовой черноте лесов то и дело разверзались волшебные зеленые бездны и раскалывались в небесных высотах допотопные удары грома. Тогда в лесах просыпались и мяукали орлята, ревел барс, тьякали чекалки... Раз к нашему освещенному окну сбежалась целая стая их, – они всегда сбегаются в такие ночи к жилью, – мы открыли окно и смотрели на них сверху, а они стояли под блестящим ливнем и тьякали, просились к нам... Она радостно плакала, глядя на них.

\* \* \*

Он искал ее в Геленджике, в Гаграх, в Сочи. На другой день по приезде в Сочи, он купался утром в море, потом брился, надел чистое белье, белоснежный китель, позавтракал в своей гостинице на террасе ресторана, выпил бутылку шампанского, пил кофе с шартрезом, не спеша выкурил сигару. Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов.

12 ноября 1937

(обратно)  
Баллада\*

Под большие зимние праздники был всегда, как баня, натоплен деревенский дом и являл картину странную, ибо состояла она из просторных и низких комнат, двери которых все были раскрыты напролет, – от прихожей до диванной, находившейся в самом конце дома, – и блистала в красных углах восковыми свечами и лампадами перед иконами.

Под эти праздники в доме всюду мыли гладкие дубовые полы, от топки скоро сохнувшие, а потом застилали их чистыми попонами, в наилучшем порядке расставляли по своим местам сдвинутые на время работы мебели, а в углах, перед золочеными и серебряными окладами икон, зажигали лампы и свечи, все же прочие огни тушили. К этому часу уже темно синела зимняя ночь за окнами и все расходилось по своим спальным горницам. В доме водворялась тогда полная тишина, благоговейный и как бы ждущий чего-то покой, как нельзя более подходящий ночному священному виду икон, озаренных скорбно и умирительно.

Зимой гостила иногда в усадьбе странница Машенька, седенькая, сухенькая и дробная, как девочка. И вот только она одна во всем доме не спала в такие ночи: придя после ужина из людской в прихожую и сняв с своих маленьких ног в шерстяных чулках валенки, она бесшумно обходила по мягким попонам все эти жаркие, таинственно освещенные комнаты, всюду становилась на колени, крестилась, кланялась перед иконами, а там опять шла в прихожую, садилась на черный ларь, спокон веку стоявший в ней, и вполголоса читала молитвы, псалмы или же просто говорила сама с собой. Так и узнал я однажды про этого «божьего зверя, господня волка»: услышал, как молилась ему Машенька.

Мне не спалось, я вышел поздней ночью в зал, чтобы пройти в диванную и взять там

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин что-нибудь почитать из книжных шкапов. Машенька не слыхала меня. Она что-то говорила, сидя в темной прихожей. Я приостановясь, прислушался. Она наизусть читала псалмы.

– Услышь, господи, молитву мою и внемли воплю моему, – говорила она без всякого выражения. – Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришлец на земле, как и все отцы мои...

Скажите богу: как страшен ты в делах твоих!

Живущий под кровом всевышнего под сенью всемогущего покоится... На аспиде и василиска наступишь, попрешь льва и дракона...

На последних словах она тихо, но твердо повысила голос, произнесла их убежденно: попрешь льва и дракона. Потом помолчала и, медленно вздохнув, сказала так, точно разговаривала с кем-то:

– Ибо его все звери в лесу и скот на тысяче гор...

Я заглянул в прихожую: она сидела на ларе, ровно спустив с него маленькие ноги в шерстяных чулках и крестом держа руки на груди. Она смотрела перед собой, не видя меня. Потом подняла глаза к потолку и отдельно промолвила:

– И ты, божий зверь, господень волк, моли за нас царицу небесную.

Я подошел и негромко сказал:

– Машенька, не бойся, это я.

Она уронила руки, встала, низко поклонилась:

– Здравствуйте, сударь. Нет-с, я не боюсь. Чего ж мне бояться теперь? Это в младости глупа была, всего боялась. Темнозрачный бес смущал.

– Сядь, пожалуйста, – сказал я.

– Никак нет, – ответила она. – Я постою-с.

Я положил руку на ее костлявое плечико с большой ключицей, заставил ее сесть и сел с ней рядом.

– Сиди, а то я уйду. Скажи, кому это ты молилась? Разве есть такой святой – господний волк?

Она опять хотела встать. Я опять удержал ее:

– Ах какая ты! А еще говоришь, что не боишься ничего! Я тебя спрашиваю: правда, что есть такой святой?

Она подумала. Потом серьезно ответила:

– Стало быть, есть, сударь. Есть же зверь Тигр-Ефрат. Раз в церкви написан, стало быть, есть. Я сама его видела-с.

– Как видела? Где? Когда?

– Давно, сударь, в незапамятный срок. А где – и сказать не умею: помню одно – мы туда трое суток ехали. Было там село Крутые Горы. Я и сама дальняя, – может, изволили слышать: рязанская, – а тот край еще ниже будет, в Задонщине, и уж какая там местность грубая, тому и слова не найдешь. Там-то и была заглазная деревня наших князей, ихнего дедушки любимая, – целая, может, тысяча глиняных изб по голым буграм-косогорам, а на самой высокой горе, на венце ее, над рекой Каменной, господский дом, тоже голый весь, трехъярусный, и церковь желтая, колонная, а в той церкви этот самый божий волк: посередь, стало быть, плита чугунная над могилой князя, им зарезанного, а на правом столпе – он сам, этот волк, во весь свой рост и склад написанный: сидит в серой шубе на густом хвосту и весь тянется вверх, упирается передними лапами в зель – так и зарит в глаза: ожерелок седой, остистый, толстый, голова большая, остроухая, клыками

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
оскаленная, глаза ярые, кровавые, округ же головы золотое сияние, как у святых и  
угодников. Страшно даже вспомнить такое диво дивное! До того живой сидит глядит,  
будто вот-вот на тебя кинется!

– Постой, Машенька, – сказал я, – я ничего не понимаю, зачем же и кто этого  
страшного волка в церкви написал? Говоришь – он зарезал князя: так почему ж он  
святой и зачем ему быть надо княжеской могилой? И как ты попала туда, в это  
ужасное село? Расскажи все толком.

И Машенька стала рассказывать:

– Попала я, сударь, туда по той причине, что была тогда крепостной девушкой, при  
доме наших князей прислуживала. Была я сирота, родитель мой, баяли, какой-то  
прохожий был, – беглый, скорее всего, – незаконно обольстил мою матушку, да и  
скрылся бог весть куда, а матушка, родивши меня, вскорости скончалась. Ну и  
пожалели меня господа, взяли с двора в дом, как только сравнялось мне  
тринадцать лет и приставили на побегушки к молодой барыне, и я так чем-то  
полюбилась ей, что она меня ни на час не отпускала от своей милости. Вот она-то  
и взяла меня с собой в войж, как задумал молодой князь съездить с ней в свое  
дедовское наследие, в эту самую заглазную деревню, в Крутые Горы. Была та  
вотчина в давнем запустении, в безлюдии, – так и стоял дом забитый, брошенный  
с самой смерти дедушки, – ну и захотели наши молодые господа проведать ее. А  
какой страшной смертью помер дедушка, о том всем нам было ведомо по преданию.

В зале что-то слегка треснуло и потом упало, чуть стукнуло. Машенька скинула  
ноги с ларя и побежала в зал: там уже пахло гарью от упавшей свечи. Она замяла  
еще чадивший свечной фитиль, затоптала затлевший ворс попоны и, вскочив на стул,  
опять зажгла свечу от прочих горевших свечей, воткнутых в серебряные лунки под  
иконой, и приладила ее в ту, из которой она выпала: перевернула ярким пламенем  
вниз, покапала в лунку потекшим, как горячий мед, воском, потом вставила, ловко  
сняла тонкими пальцами нагар с других свечей и опять соскочила на пол.

– Ишь как весело затеплилось, – сказала она, крестясь и глядя на ожившее золото  
свечных огоньков. – И какой дух-то церковный пошел!

Пахло сладким чадом, огоньки трепетали, лик образа древне глядел из-за них в  
пустом кружке серебряного оклада. В верхние, чистые стекла окон, густо обмерзших  
снизу серым инеем, чернела ночь и близко белели отягощенные снежными пластинами  
лапы ветвей в палисаднике. Машенька посмотрела на них, еще раз перекрестилась и  
вошла опять в прихожую.

– Почивать вам пора, сударь, – сказала она, садясь на ларь и сдерживая зевоту,  
прикрывая рот своей сухой ручкой. – Ночь-то уж грозная стала.

– Почему грозная?

– А потому, что потаенная, когда лишь алектор, петух, по-нашему, да еще ночной  
вран, сова, может не спать. Тут сам господь землю слушает, самые главные звезды  
начинают играть, проруби мерзнут по морям и рекам.

– А что ж ты сама не спишь по ночам?

– И я, сударь, сколько надобно сплю. Старому человеку много ли сна полагается?  
Как птице на ветке.

– Ну, ложись, только доскажи мне про этого волка.

– Да ведь это дело темное, давнее, сударь, – может, баллада одна.

– Как ты сказала?

– Баллада, сударь. Так-то все наши господа говорили, любили эти баллады читать.  
Я, бывало, слушаю – мороз по голове идет:

Воет сыр-бор за горою,  
Метет в белом поле,  
Стала вьюга-непогода,  
Запала дорога...

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
До чего хорошо, господи!

– Чем хорошо, Машенька?

– Тем и хорошо-с, что сам не знаешь чем. Жутко.

– В старину, Машенька, все жутко было.

– Как сказать, сударь? Может, и правда, что жутко, да теперь-то все мило кажется. Ведь когда это было? Уж так-то давно, – все царства-государства прошли, все дубы от древности рассыпались, все могилки сровнялись с землей. Вот и это дело, – на дворне его слово в слово сказывали, а правда ли? Дело это будто еще при великой царице было и будто оттого князь в Крутых Горах сидел, что она на него за что-то разгневалась, заточила его вдаль от себя, и он очень лют сделался – пуще всего на казнь рабов своих и на любовный блуд. Очень еще в силе был, а касательно наружности отлично красив и будто бы не было ни на дворне у него, ни по деревням его ни одной девушки, какую бы он к себе, в свою сераль, на первую ночь не требовал. Ну вот и впал он в самый страшный грех: польстился даже на новобрачную сына своего родного. Тот в Петербурге в царской военной службе был, а когда нашел себе суженую, получил от родителя разрешение на брак и женился, то, стало быть, приехал с новобрачной к нему на поклон, в эти самые Крутые Горы. А он и прельстился на нее. Про любовь, сударь, недаром поется:

Жар любви во всяком царстве,  
Любится земной весь круг...

И какой же может быть грех, если хоть и старый человек мыслит о любимой, вздыхает о ней? Да ведь тут-то дело совсем иное было, тут вроде как родная дочь была, а он на блуд простирает алчные свои намерения.

– Ну и что же?

– А то, сударь, что, заметивши такой родительский умысел, решил молодой князь тайком бежать. Подговорил конюхов, задарил их всячески, приказал к полночи запрячь тройку порезвей, вышел, крадучись, как только заснул старый князь, из родного дома, вывел молодую жену – и был таков. Только старый князь и не думал спать: он еще с вечера все узнал от своих наушников и немедля в погоню пошел. Ночь, мороз несказанный, аж кольцо округ месяца лежит, снегов в степи выше роста человеческого, а ему все ничем: летит, весь увешанный саблями и пистолетами, верхом на коне, рядом со своим любимым доезжачим, и уж видит впереди тройку с сыном. Кричит, как орел: стой, стрелять буду! А там не слушают, гонят тройку во весь дух и пыл. Стал тогда старый князь стрелять в лошадей и убил на скаку сперва одну пристяжную, правую, потом другую, левую, и уж хотел коренника свалить, да глянул вбок и видит: несется на него по снегам, под месяцем, великий, небывалый волк, с глазами, как огонь, красными и с сияньем округ головы! Князь давай палить и в него, а он даже глазом не моргнул: вихрем нанесся на князя, прынул к нему на грудь – и в единый миг пересек ему кадык клыком.

– Ах, какие страсти, Машенька, – сказал я. – Истинно баллада!

– Грех, не смейтесь, сударь, – ответила она. – У бога всего много.

– Не спорю, Машенька. Только странно все-таки, что написали этого волка как раз возле могилы князя, зарезанного им.

– Его написали, сударь, по собственному желанию князя: его домой еще живого привезли, и он успел перед смертью покаяться и причастье принять, а в последний свой миг приказал написать того волка в церкви над своей могилой: в назидание, стало быть, всему потомству княжескому. Кто ж его мог по тем временам послушаться? Да и церковь-то была его домашняя, им самим строенная.

3 февраля 1938

(обратно)  
 Степа\*

Перед вечером, по дороге в Чернь, молодого купца Красильщикова захватил ливень с грозой.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

Он, в чуйке с поднятым воротом и глубоко надвинутым картузом, с которого текло струями, шибко ехал на беговых дрожках, сидя верхом возле самого щитка, крепко упершись ногами в высоких сапогах в переднюю ось, дергая мокрыми, застывшими руками мокрые, скользкие ременные вожжи, торопя и без того резвую лошадь; слева от него, возле переднего колеса, крутившегося в целом фонтане жидкой грязи, ровно бежал, длинно высунув язык, коричневый пойнтер.

Сперва Красильщиков гнал по черноземной колее вдоль шоссе, потом, когда она превратилась в сплошной серый поток с пузырями, свернул на шоссе, задрезжал по его мелкому щебню. Ни окрестных полей, ни неба уже давно не было видно за этим потоком, пахнущим огуречной свежестью и фосфором; перед глазами то и дело, точно знамение конца мира, ослепляющим рубиновым огнем извилисто жгла сверху вниз по великой стене туч резкая, ветвистая молния, а над головой с треском летел шипящий хвост, разрывавшийся вслед затем необыкновенными по своей сокрушающей силе ударами. Лошадь каждый раз вся дергалась от них вперед, прижимая уши, собака шла уже скоком... Красильщиков рос и учился в Москве, кончил там университет, но, когда приезжал летом в свою тульскую усадьбу, похожую на богатую дачу, любил чувствовать себя помещиком-купцом, вышедшим из мужиков, пил лафит и курил из золотого портсигара, а носил смазные сапоги, косоворотку и поддевку, гордился своей русской статью, и теперь, в ливне и грохоте, чувствуя, как у него холодно льет с козырька и носа, полон был энергичного удовольствия деревенской жизни. В это лето он часто вспоминал лето в прошлом году, когда он, из-за связи с одной известной актрисой, промучился в Москве до самого июля, до отъезда ее в Кисловодск: безделье, жара, горячая вонь и зеленый дым от пылающего в железных чанах асфальта в развороченных улицах, завтраки в Трицком низке с актерами Малого театра, тоже собиравшимися на Кавказ, потом сидение в кофейне Трамблэ, вечером ожидание ее у себя в квартире с мебелью в чехлах, с люстрами и картинами в кисее, с запахом нафталина... Летние московские вечера бесконечны, темнеет только к одиннадцати, и вот ждешь, ждешь – ее все нет. Потом наконец звонок – и она, во всей своей летней нарядности, и ее задыхающийся голос: «Прости, пожалуйста, весь день пластом лежала от головной боли, совсем завяла твоя чайная роза, так спешила, что лихача взяла, голодна ужасно...»

Когда ливень и сотрясающиеся перекаты грома стали стихать, отходить и кругом стало проясняться, впереди, влево от шоссе, показался знакомый постоянный двор старика-вдовца, мещанина Пронина. До города оставалось еще двадцать верст, – надо перегадить, подумал Красильщиков, лошадь вся в мыле и еще неизвестно, что будет опять, ишь какая чернота в ту сторону и все еще загорается... На переезде к постоянному двору он на рысях свернул и осадил возле деревянного крыльца.

– Дед! – громко крикнул он. – Принимай гостя!

Но окна в бревенчатом доме под железной ржавой крышей были темны, на крик никто не отозвался. Красильщиков замотал на щиток вожжи, поднялся на крыльцо вслед за вскочившей туда грязной и мокрой собакой, – вид у нее был бешеный, глаза блестели ярко и бессмысленно, – сдвинул с потного лба картуз, снял отяжелевшую от воды чуйку, кинул ее на перила крыльца и, оставшись в одной поддевке с ременным поясом в серебряном наборе, вытер пестрое от грязных брызг лицо и стал счищать кнутовищем грязь с голенищ. Дверь в сенцы была отворена, но чувствовалось, что дом пуст. Верно, скотину убирают, подумал он и, разогнувшись, посмотрел в поле: не ехать ли дальше? Вечерний воздух был неподвижен и сыр, с разных сторон бодро били вдали перепела в отягченных влагой хлебах, дождь перестал, но надвигалась ночь, небо и земля угрюмо темнели, за шоссе, за низкой чернильной грядой леса, еще гуще и мрачней чернела туча, широко и зловеще вспыхивало красное пламя – и Красильщиков шагнул в сенцы, нашарил в темноте дверь в горницу. Но горница была темна и тиха, только где-то постукивали рублевые часы на стене. Он хлопнул дверью, повернул налево, нашарил и отворил другую, в избу: опять никого, одни мухи сонно и недовольно загудели в жаркой темноте на потолке.

– Как подошли! – вслух сказал он – и тотчас услышал скорый и певучий, полудетский голос соскользнувшей в темноте с нар Степы, дочери хозяина:

– Это вы, Василь Ликсеич? А я тут одна, стряпуха поругалась с палашей и ушла домой, а папаша взяли работника и уехали по делу в город, вряд ли и вернуться нынче... Напугалась грозы до смерти, а тут, слышу, кто-й-то подъехал, еще пуще испугалась... Здравствуйте, извините меня, пожалуйста...

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
Красильщиков чиркнул спичкой, осветил ее черные глаза и смуглое личико:

– Здравствуй, дурочка. Я тоже еду в город, да, вишь, что делается, заехал переждать... А ты, значит, думала, разбойники подъехали?

Спичка стала догорать, но еще видно было это смущенно улыбающееся личико, коралловое ожерелье на шейке, маленькие груди под желтеньким ситцевым платьем... Она была чуть не вдвое меньше его ростом и казалась совсем девочкой.

– Я сейчас лампу зажгу, – поспешно заговорила она, смутясь еще больше от зоркого взгляда Красильщикова, и кинулась к лампочке над столом. – Вас сам Бог послал, что бы я тут делала одна, – певуче говорила она, поднявшись на цыпочки и неловко вытягивая из зубчатой решетки лампочки, из ее жестяного кружка, стекло.

Красильщиков зажег другую спичку, глядя на ее вытянувшуюся и изогнувшуюся фигурку.

– погоди, не надо, – вдруг сказал он, бросая спичку, и взял ее за талию. – Постой, повернись-ка на минутку ко мне...

Она со страхом глянула на него через плечо, уронила руки и повернулась. Он притянул ее к себе, – она не вырывалась, только дико и удивленно откинула голову назад. Он сверху, прямо и твердо заглянул сквозь сумрак в глаза ей и засмеялся:

– Еще пуще испугалась?

– Василь Ликсеич... – пробормотала она умоляюще и потянулась из его рук.

– погоди. Разве я тебе не нравлюсь? Ведь знаю, всегда рада, когда я заезжаю.

– Лучше вас на свете нету, – выговорила она тихо и горячо.

– Ну вот видишь...

Он длительно поцеловал ее в губы, и руки его скользнули ниже.

– Василь Ликсеич... за-ради Христа... Вы забыли, ваша лошадь так и осталась под крыльцом... папаша заедут... Ах, не надо!

Через полчаса он вышел из избы, отвел лошадь во двор, поставил ее под навес, снял с нее уздечку, задал ей мокрой накошенной травы из телеги, стоявшей посреди двора, и вернулся, глядя на спокойные звезды в расчистившемся небе. В жаркую темноту тихой избы все еще заглядывали с разных сторон слабые, далекие зарницы. Она лежала на нарах, вся сжавшись, уткнув голову в грудь, горячо заплакавшись от ужаса, восторга и внезапности того, что случилось. Он поцеловал ее мокрую, соленую от слез щеку, лег навзничь и положил ее голову к себе на плечо, правой рукой держа папиросу. Она лежала смирно, молча, он, куря, ласково и рассеянно приглаживал левой рукой ее волосы, щекотавшие ему подбородок... Потом она сразу заснула. Он лежал, глядя в темноту, и самодовольно усмехался: «А папаша в город уехали...» Вот тебе и уехали! Скверно, он все сразу поймет – такой сухенький и быстрый старичок в серенькой поддевичке, борода белоснежная, а густые брови еще совсем черные, взгляд необыкновенно живой, говорит, когда пьян, без умолку, а все видит насквозь...

Он без сна слезал до того часа, когда темнота избы стала слабо светлеть посередине, между потолком и полом. Повернув голову, он видел зеленовато белеющий за окнами восток и уже различал в сумраке угла над столом большой образ угодника в церковном облачении, его поднятую благословляющую руку и непреклонно грозный взгляд. Он посмотрел на нее: лежит, все так же свернувшись, поджав ноги, все забыла во сне! Милая и жалкая девчонка...

Когда в небе стало совсем светло и петух на разные голоса стал орать за стеной, он сделал движение подняться. Она вскочила и, полусидя боком, с расстегнутой грудью, со спутанными волосами, уставилась на него ничего не понимающими глазами.

– Степа, – сказал он осторожно. – Мне пора.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

– Уж едете? – прошептала она бессмысленно.

И вдруг пришла в себя и крест-накрест ударила себя в грудь руками:

– Куда ж вы едете? Как же я теперь буду без вас? Что ж мне теперь делать?

– Степа, я опять скоро приеду...

– Да ведь папаша будут дома, – как же я вас увижу! Я бы в лес за шоссе пришла, да как же мне отлучиться из дому?

Он, стиснув зубы, опрокинул ее навзничь. Она широко разбросила руки, воскликнула в сладком, как бы предсмертном отчаянии: «Ах!»

Потом он стоял перед нарами, уже в поддевке, в картузе, с кнутом в руке, спиной к окнам, к густому блеску только что показавшегося солнца, а она стояла на нарах на коленях и, рыдая, по-детски и некрасиво раскрывая рот, отрывисто выговаривала:

– Василь Ликсеич... за-ради Христа... за-ради самого царя небесного, возьмите меня замуж! Я вам самой последней рабой буду! У порога вашего буду спать – возьмите! Я бы и так к вам ушла, да кто ж меня так пустит! Василь Ликсеич...

– Замолчи, – строго сказал Красильщиков. – На днях приеду к твоему отцу и скажу, что женюсь на тебе. Слышала?

Она села на ноги, сразу оборвав рыдания, тупо раскрыла мокрые лучистые глаза:

– Правда?

– Конечно, правда.

– Мне на Крещение уж шестнадцатый пошел, – поспешно сказала она.

– Ну вот, значит, через полгода и венчаться можно...

Воротясь домой, он тотчас стал собираться и к вечеру уехал на тройке на железную дорогу. Через два дня он был уже в Кисловодске.

5 октября 1938

(обратно)

Муза\*

Я был тогда уже не первой молодости, но вздумал учиться живописи, – у меня всегда была страсть к ней, – и, бросив свое имение в Тамбовской губернии, провел зиму в Москве: брал уроки у одного бездарного, но довольно известного художника, неопрятного толстяка, отлично усвоившего себе все, что полагается: длинные волосы, крупными сальными кудрями закинутае назад, трубка в зубах, бархатная гранатовая куртка, на башмаках грязно-серые гетры, – я их особенно ненавидел, – небрежность в обращении, снисходительное поглядывание прищуренными глазами на работу ученика и это как бы про себя:

– Занятно, занятно... Несомненные успехи...

Жил я на Арбате, рядом с рестораном «Прага», в номерах «Столица». Днем работал у художника и дома, вечера нередко проводил в дешевых ресторанах с разными новыми знакомыми из богемы, и молодыми и потрепанными, но одинаково приверженными бильярду и ракам с пивом... Неприятно и скучно я жил! Этот женоподобный, нечистоплотный художник, его «артистически» запущенная, заваленная всякой пыльной бутафорией мастерская, эта сумрачная «Столица»... В памяти осталось: непрестанно валит за окнами снег, глухо гремят, звонят по Арбату конки, вечером кисло воняет пивом и газом в тускло освещенном ресторане... Не понимаю, почему я вел такое жалкое существование, – был я тогда далеко не беден.

Но вот однажды в марте, когда я сидел дома, работая карандашами, и в отворенные форточки двойных рам несло уже не зимней сыростью мокрого снега и дождя, не по-зимнему цокали по мостовой подковы и как будто музыкальнее звонили конки,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
кто-то постучал в дверь моей прихожей. Я крикнул: кто там? – но ответа не последовало. Я подождал, опять крикнул – опять молчание, потом новый стук. Я встал, отворил: у порога стоит высокая девушка в серой зимней шляпке, в сером прямом пальто, в серых ботиках, смотрит в упор, глаза цвета желудя, на длинных ресницах, на лице и на волосах под шляпкой блестят капли дождя и снега; смотрит и говорит:

– Я консерваторка, Муза Граф. Слышала, что вы интересный человек, и пришла познакомиться. Ничего не имеете против?

Довольно удивленный, я ответил, конечно, любезностью:

– Очень польщен, милости прошу. Только должен предупредить, что слухи, дошедшие до вас, вряд ли правильны: ничего интересного во мне, кажется, нет.

– Во всяком случае, дайте мне войти, не держите меня перед дверью, – сказала она, все так же прямо смотря на меня. – Польщены, так принимайте.

И, войдя, стала, как дома, снимать перед моим серо-серебристым, местами почерневшим зеркалом шляпку, поправлять ржавые волосы, скинула и бросила на стул пальто, оставшись в клетчатом фланелевом платье, села на диван, шмыгая мокрым от снега и дождя носом, и приказала:

– Снимите с меня ботики и дайте из пальто носовой платок.

Я подал платок, она утерлась и протянула мне ноги.

– Я вас видела вчера на концерте Шора, – безразлично сказала она.

Сдерживая глупую улыбку удовольствия и недоумения, – что за странная гостья! – я покорно снял один за другим ботики. От нее еще свежо пахло воздухом, и меня волновал этот запах, волновало соединение ее мужественности со всем тем женственно-молодым, что было в ее лице, в прямых глазах, в крупной и красивой руке, – во всем, что оглянул и почувствовал я, стаскивая ботики из-под ее платья, под которым округло и полновесно лежали ее колени, видя выпуклые икры в тонких серых чулках и удлинненные ступни в открытых лаковых туфлях.

Затем она удобно уселась на диване, собираясь, видимо, уходить не скоро. Не зная, что говорить, я стал расспрашивать, от кого и что она слышала про меня и кто она, где и с кем живет. Она ответила.

– От кого и что слышала, неважно. Пошла больше потому, что увидела на концерте. Вы довольно красивы. А я дочь доктора, живу от вас недалеко, на Пречистенском бульваре.

Говорила она как-то неожиданно и кратко. Я, опять не зная, что сказать, спросил:

– Чаю хотите?

– Хочу, – сказала она. – И прикажите, если у вас есть деньги, купить у Белова яблок ранет, – тут, на Арбате. Только поторопите коридорного, я нетерпелива.

– А кажетесь такой спокойной.

– Мало ли что кажется...

Когда коридорный принес самовар и мешочек с яблоками, она заварила чай, перетерла чашки, ложечки...

А съевши яблоко и выпив чашку чаю, глубже подвинулась на диване и похлопала рукой возле себя:

– Теперь сядьте ко мне.

Я сел, она обняла меня, не спеша поцеловала в губы, отстранилась, посмотрела и, как будто убедившись, что я достоин того, закрыла глаза и опять поцеловала – старательно, долго.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

– Ну вот, – сказала она как будто облегченно. – Больше пока ничего нельзя. Послезавтра.

В номере было уже совсем темно, – только печальный полусвет от фонарей с улицы. Что я чувствовал, легко себе представить. Откуда вдруг такое счастье! Молодая, сильная, вкус и форма губ необыкновенные... Я как во сне слышал однообразный звон конок, цоканье копыт...

– Я хочу послезавтра пообедать с вами в «Праге», – сказала она. – Никогда там не была и вообще очень неопытна. Воображаю, что вы обо мне думаете. А на самом деле вы моя первая любовь.

– Любовь?

– А как же это иначе называется?

Ученье свое я, конечно, вскоре бросил, она свое продолжала кое-как. Мы не расставались, жили, как молодожены, ходили по картинным галереям, по выставкам, слушали концерты и даже за чем-то публичные лекции... В мае я переселился, по ее желанию, в старинную подмосковную усадьбу, где были настроены и сдавались небольшие дачи, и она стала ездить ко мне, возвращаясь в Москву в час ночи. Никак не ожидал я и этого – дачи под Москвой: никогда еще не жил дачником, без всякого дела, в усадьбе, столь не похожей на наши степные усадьбы, и в таком климате.

Все время дожди, кругом сосновые леса. То и дело в яркой синеве над ними скопляются белые облака, высоко перекачивается гром, потом начинает сыпать сквозь солнце блестящий дождь, быстро превращающийся от зноя в душистый сосновый пар... Все мокро, жирно, зеркально... В парке усадьбы деревья были так велики, что дачи, кое-где построенные в нем, казались под ними малы, как жилища под деревьями в тропических странах. Пруд стоял громадным черным зеркалом, наполовину затянут был зеленой ряской... Я жил на окраине парка, в лесу. Бревенчатая дача моя была не совсем достроена, – неконопаченные стены, неструганные полы, печи без заслонок, мебели почти никакой. И от постоянной сырости мои сапоги, валявшиеся под кроватью, обросли бархатом плесени.

Темнело по вечерам только к полуночи: стоит и стоит полусвет запада по неподвижным, тихим лесам. В лунные ночи этот полусвет странно мешался с лунным светом, тоже неподвижным, заколдованным. И по тому спокойствию, что царило всюду, по чистоте неба и воздуха, все казалось, что дождя уже больше не будет. Но вот я засыпал, проводив ее на станцию, – и вдруг слышал: на крышу опять рушится ливень с громовыми раскатами, кругом тьма и в отвес падающие молнии... Утром на лиловой земле в сырых аллеях пестрели тени и ослепительные пятна солнца, цокали птички, называемые мухоловками, хрипло трещали дрозды. К полудню опять парило, находили облака и начинал сыпать дождь. Перед закатом становилось ясно, на моих бревенчатых стенах дрожала, падая в окна сквозь листву, хрустально-золотая сетка низкого солнца. Тут я шел на станцию встречать ее. Подходил поезд, вываливались на платформу несметные дачники, пахло каменным углем паровоза и сырой свежестью леса, показывалась в толпе она, с сеткой, обремененной пакетами закусок, фруктами, бутылкой мадеры... Мы дружно пообедали глаз на глаз. Перед ее поздним отъездом бродили по парку. Она становилась сомнамбулична, шла, клоня голову на мое плечо. Черный пруд, вековые деревья, уходящие в звездное небо... Заколдованно-светлая ночь, бесконечно-безмолвная, с бесконечно-длинными тенями деревьев на серебряных полянах, похожих на озера.

В июне она уехала со мной в мою деревню, – не венчаясь, стала жить со мной, как жена, стала хозяйствовать. Долгую осень провела не скучая, в будничных заботах, за чтением. Из соседей чаще всего бывал у нас некто Завистовский, одинокий, бедный помещик, живший от нас верстах в двух, щуплый, рыженький, несмелый, недалекий – и недурной музыкант. Зимой он стал появляться у нас чуть не каждый вечер. Я знал его с детства, теперь же так привык к нему, что вечер без него был мне странен. Мы играли с ним в шашки или же он играл с ней в четыре руки на рояли.

Перед Рождеством я как-то поехал в город. Возвратился уже при луне. И, войдя в дом, нигде не нашел ее. Сел за самовар один.

– А где барыня, Дуня? Гулять ушла?

– Не знаю-с. Их нету дома с самого завтрака.

– Оделись и ушли, – сумрачно сказала, проходя по столовой и не поднимая головы, моя старая нянька.

«Верно, к Завистовскому пошла, – подумал я, – верно, скоро придет вместе с ним – уже семь часов...» И я пошел и прилег в кабинете и внезапно заснул – весь день мерз в дороге. И так же внезапно очнулся через час – с ясной и дикой мыслью: «Да ведь она бросила меня! Наняла на деревне мужика и уехала на станцию, в Москву, – от нее все станется! Но, может быть, вернулась?» Прошел по дому – нет, не вернулась. Стыдно прислуги...

Часов в десять, не зная, что делать, я надел полушубок, взял зачем-то ружье и пошел по большой дороге к Завистовскому, думая: «Как нарочно, и он не пришел нынче, а у меня еще целая страшная ночь впереди! Неужели правда уехала, бросила? Да нет, не может быть!» Иду, скрипя по наезженному среди снегов пути, блестят слева снежные поля под низкой, бедной луной... Свернул с большой дороги, пошел к усадьбе Завистовского: аллея голых деревьев, ведущая к ней по полю, потом въезд во двор, слева старый, нищий дом, в доме темно... Поднялся на обледенелое крыльцо, с трудом отворил тяжелую дверь в клоках обивки, – в прихожей краснеет открытая прогоревшая печка, тепло и темнота... Но темно и в зале.

– Викентий Викентич!

И он бесшумно, в валенках, появился на пороге кабинета, освещенного тоже только луной в тройное окно.

– Ах, это вы... Входите, входите, пожалуйста... А я, как видите, сумерничаю, коротаю вечер без огня...

Я вошел и сел на бугристый диван.

– Представьте себе. Муза куда-то исчезла...

Он промолчал. Потом почти неслышным голосом:

– Да, да, я вас понимаю...

– То есть, что вы понимаете?

И тотчас, тоже бесшумно, тоже в валенках, с шалью на плечах, вышла из спальни, прилегавшей к кабинету, Муза.

– Вы с ружьем, – сказала она. – Если хотите стрелять, то стреляйте не в него, а в меня.

И села на другой диван, напротив.

Я посмотрел на ее валенки, на колени под серой юбкой, – все хорошо было видно в золотистом свете, падавшем из окна, – хотел крикнуть: «Я не могу жить без тебя, за одни эти колени, за юбку, за валенки готов отдать жизнь!»

– Дело ясно и кончено, – сказала она. – Сцены бесполезны.

– Вы чудовищно жестоки, – с трудом выговорил я.

– Дай мне папиросу, – сказала она Завистовскому.

Он трусливо сунулся к ней, протянул портсигар, стал по карманам шарить спичек...

– Вы со мной говорите уже на «вы», – задыхаясь, сказал я, – вы могли бы хоть при мне не говорить с ним на «ты».

– Почему? – спросила она, подняв брови, держа на отлете папиросу.

Сердце у меня колотилось уже в самом горле, било в виски. Я поднялся и, шатаясь, пошел вон.

17 октября 1938

(обратно)  
Поздний час\*

Ах, как давно я не был там, сказал я себе. С девятнадцати лет. Жил когда-то в России, чувствовал ее своей, имел полную свободу разъезжать куда угодно, и не велик был труд проехать каких-нибудь триста верст. А все не ехал, все откладывал. И шли и проходили годы, десятилетия. Но вот уже нельзя больше откладывать: или теперь, или никогда. Надо пользоваться единственным и последним случаем, благо час поздний и никто не встретит меня.

И я пошел по мосту через реку, далеко видя все вокруг в месячном свете июльской ночи.

Мост был такой знакомый, прежний, точно я его видел вчера: грубо-древний, горбатый и как будто даже не каменный, а какой-то окаменевший от времени до вечной несокрушимости, – гимназистом я думал, что он был еще при Батые. Однако о древности города говорят только кое-какие следы городских стен на обрыве под собором да этот мост. Все прочее старо, провинциально, не более. Одно было странно, одно указывало, что все-таки кое-что изменилось на свете с тех пор, когда я был мальчиком, юношей: прежде река была не судоходная, а теперь ее, верно, углубили, расчистили; месяц был слева от меня, довольно далеко над рекой, и в его зыбком свете и в мерцающем, дрожащем блеске воды белел колесный пароход, который казался пустым, – так молчалив он был, – хотя все его иллюминаторы были освещены, похожи на неподвижные золотые глаза и все отражались в воде струистыми золотыми столбами: пароход точно на них и стоял. Это было и в Ярославле, и в Суэцком канале, и на Ниле. В Париже ночи сырые, темные, розовеет мгlistое зарево на непроглядном небе, Сена течет под мостами черной смолой, но под ними тоже висят струистые столбы отражений от фонарей на мостах, только они трехцветные: белое, синее и красное – русские национальные флаги. Тут на мосту фонарей нет, и он сухой и пыльный. А впереди, на взгорье, темнеет садами город, над садами торчит пожарная каланча. Боже мой, какое это было несказанное счастье! Это во время ночного пожара я впервые поцеловал твою руку и ты сжала в ответ мою – я тебе никогда не забуду этого тайного согласия. Вся улица чернела от народа в зловещем, необычном озарении. Я был у вас в гостях, когда вдруг забил набат и все бросились к окнам, а потом за калитку. Горело далеко, за рекой, но страшно жарко, жадно, спешно. Там густо валили черно-багровым руном клубы дыма, высоко вырывались из них кумачные полотнища пламени, поблизости от нас они, дрожа, медно отсвечивали в куполе Михаила Архангела. И в тесноте, в толпе, среди тревожного, то жалостливого, то радостного говора отовсюду сбежавшегося простонародья, я слышал запах твоих девичьих волос, шеи, холстинкового платья – и вот вдруг решился, взял, весь замирая, твою руку...

За мостом я поднялся на взгорье, пошел в город мощеной дорогой.

В городе не было нигде ни единого огня, ни одной живой души. Все было немо и просторно, спокойно и печально – печалью русской степной ночи, спящего степного города. Одни сады чуть слышно, осторожно трепетали листвой от ровного тока слабого июльского ветра, который тянул откуда-то с полей, ласково дул на меня. Я шел – большой месяц тоже шел, катясь и сквозя в черноте ветвей зеркальным кругом; широкие улицы лежали в тени – только в домах направо, до которых тень не достигала, освещены были белые стены и траурным гляncем переливались черные стекла; а я шел в тени, ступал по пятнистому тротуару, – он сквозисто устал был черными шелковыми кружевами. У нее было такое вечернее платье, очень нарядное, длинное и стройное. Оно необыкновенно шло к ее тонкому стану и черным молодым глазам. Она в нем была таинственна и оскорбительно не обращала на меня внимания. Где это было? В гостях у кого?

Цель моя состояла в том, чтобы побывать на Старой улице. И я мог пройти туда другим, ближним путем. Но я оттого свернул в эти просторные улицы в садах, что хотел взглянуть на гимназию. И, дойдя до нее, опять подивился: и тут все осталось таким, как полвека назад; каменная ограда, каменный двор, большое каменное здание во дворе – все так же казенно, скучно, как было когда-то, при мне. Я помедлил у ворот, хотел вызвать в себе грусть, жалость воспоминаний – и не мог: да, входил в эти ворога сперва стриженный под гребенку первоклассник в новеньком синем картузе с серебряными пальмочками над козырьком и в новой

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
шинельке с серебряными пуговицами, потом худой юноша в серой куртке и в  
щегольских панталонах со штрипками; но разве это я?

Старая улица показалась мне только немного уже, чем казалась прежде. Все прочее было неизменно. Ухабистая мостовая, ни одного деревца, по обе стороны запыленные купеческие дома, тротуары тоже ухабистые, такие, что лучше идти серединой улицы, в полном месячном свете... И ночь была почти такая же, как та. Только та была в конце августа, когда весь город пахнет яблоками, которые горами лежат на базарах, и так тепла, что наслаждением было идти в одной косоворотке, подпоясанной кавказским ремешком... Можно ли помнить эту ночь где-то там, будто бы в небе?

Я все-таки не решился дойти до вашего дома. И он, верно, не изменился, но тем страшнее увидеть его. Какие-то чужие, новые люди живут в нем теперь. Твой отец, твоя мать, твой брат – все пережили тебя, молодую, но в свой срок тоже умерли. Да и у меня все умерли; и не только родные, но и многие, многие, с кем я, в дружбе или приятельстве, начинал жизнь; давно ли начинали и они, уверенные, что ей и конца не будет, а все началось, протекло и завершилось на моих глазах, – так быстро и на моих глазах! И я сел на тумбу возле какого-то купеческого дома, неприступного за своими замками и воротами, и стал думать, какой она была в те далекие, наши с ней времена: просто убранные темные волосы, ясный взгляд, легкий загар юного лица, легкое летнее платье, под которым непорочность, крепость и свобода молодого тела... Это было начало нашей любви, время еще ничем не омраченного счастья, близости, доверчивости, восторженной нежности, радости...

Есть нечто совсем особое в теплых и светлых ночах русских уездных городов в конце лета. Какой мир, какое благополучие! Бродит по ночному веселому городу старик с колотушкой, но только для собственного удовольствия: нечего стеречь, спите спокойно, добрые люди, вас стережет Божье благоволение, это высокое сияющее небо, на которое беззаботно поглядывает старик, бродя по нагретой за день мостовой и только изредка, для забавы, запуская колотушкой плясовую трель. И вот в такую ночь, в тот поздний час, когда в городе не спал только он один, ты ждала меня в вашем уже подсохшем к осени саду, и я тайком проскользнул в него: тихо отворил калитку, заранее отпертую тобой, тихо и быстро пробежал по двору и за сараем в глубине двора вошел в пестрый сумрак сада, где слабо белело вдаль, на скамье под яблонями, твое платье, и, быстро подойдя, с радостным испугом встретил блеск твоих ждущих глаз.

И мы сидели, сидели в каком-то недоумении счастья. Одной рукой я обнимал тебя, слыша биение твоего сердца, в другой держал твою руку, чувствуя через нее всю тебя. И было уже так поздно, что даже и колотушки не было слышно, – лег где-нибудь на скамье и задремал с трубкой в зубах старик, греясь в месячном свете. Когда я глядел вправо, я видел, как высоко и безгрешно сияет над двором месяц и рыбьим блеском блестит крыша дома. Когда глядел влево, видел заросшую сухими травами дорожку, пропадавшую под другими яблонями, а за ними низко выглядывавшую из-за какого-то другого сада одинокую зеленую звезду, теплившуюся бесстрастно и вместе с тем выжидательно, что-то беззвучно говорившую. Но и двор и звезду я видел только мельком – одно было в мире: легкий сумрак и лучистое мерцание твоих глаз в сумраке.

А потом ты проводила меня до калитки, и я сказал:

– Если есть будущая жизнь и мы встретимся в ней, я стану там на колени и поцелую твои ноги за все, что ты дала мне на земле.

Я вышел на середину светлой улицы и пошел на свое подворье. Обернувшись, видел, что все еще белеет в калитке.

Теперь, поднявшись с тумбы, я пошел назад тем же путем, каким пришел. Нет, у меня была, кроме Старой улицы, и другая цель, в которой мне было страшно признаться себе, но исполнение которой, я знал, было неминуемо. И я пошел – взглянуть и уйти уже навсегда.

Дорога была опять знакома. Все прямо, потом влево, по базару, а с базара – по Монастырской – к выезду из города.

Базар как бы другой город в городе. Очень пахучие ряды. В Обжорном ряду, под навесами над длинными столами и скамьями, сумрачно. В Скобяном висит на цепи над

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
срединой прохода икона большеглазого Спаса в ржавом окладе. В Мучном по утрам  
всегда бегали, клевали по мостовой целой стаей голуби. Идешь в гимназию –  
сколько их! И все толстые, с радужными зобами – клюют и бегут, женственно,  
щепотко виляясь, покачиваясь, однообразно подергивая головками, будто не замечая  
тебя: взлетают, свистя крыльями, только тогда, когда чуть не наступишь на  
какого-нибудь из них. А ночью тут быстро и озабоченно носились крупные темные  
крысы, гадкие и страшные.

Монастырская улица – пролет в поля и дорога: одним из города домой, в деревню,  
другим – в город мертвых. В Париже двое суток выделяется дом номер такой-то на  
такой-то улице изо всех прочих домов чумной бутафорией подъезда, его траурного с  
серебром обрамления, двое суток лежит в подъезде на траурном покрове столика  
лист бумаги в траурной кайме – на нем расписываются в знак сочувствия вежливые  
посетители; потом, в некий последний срок, останавливается у подъезда огромная,  
с траурным балдахином, колесница, дерево которой черно-смолисто, как чумной  
гроб, закругленно вырезанные полы балдахина свидетельствуют о небесах крупными  
белыми звездами, а углы крыши увенчаны кудреватými черными султанами – перьями  
страуса из преисподней; в колесницу впряжены рослые чудовища в угольных рогатых  
попонах с белыми кольцами глазниц; на бесконечно высоких козлах сидит и ждет  
выноса старый пропойца, тоже символически наряженный в бутафорский гробный  
мундир и такую же треугольную шляпу, внутренне, должно быть, всегда ухмыляющийся  
на эти торжественные слова! «Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua  
luceat eis».[2] – Тут все другое. Дует с полей по Монастырской ветерок, и несут  
навстречу ему на полотенцах открытый гроб, покачивается рисовое лицо с пестрым  
венчиком на лбу, над закрытыми выпуклыми веками. Так несли и ее.

На выезде, слева от шоссе, монастырь времен Алексея Михайловича, крепостные,  
всегда закрытые ворота и крепостные стены, из-за которых блестят золоченые репы  
собора. Дальше, совсем в поле, очень пространный квадрат других стен, но  
невысоких: в них заключена целая роща, разбитая пересекающимися долгими  
проспектам, по сторонам которых, под старыми вязами, липами и березами, все  
усеяно разнообразными крестами и памятниками. Тут ворота были раскрыты настезь,  
и я увидел главный проспект, ровный, бесконечный. Я несмело снял шляпу и вошел.  
Как поздно и как немо! Месяц стоял за деревьями уже низко, но все вокруг,  
насколько хватал глаз, было еще ясно видно. Все пространство этой рощи мертвых,  
крестов и памятников ее узорно пестрело в прозрачной тени. Ветер стих к  
предрассветному часу – светлые и темные пятна, все пестрившие под деревьями,  
спали. В дали рощи, из-за кладбищенской церкви, вдруг что-то мелькнуло и с  
бешеной быстротой, темным клубком понеслось на меня – я, вне себя, шарахнулся в  
сторону, вся голова у меня сразу оледенела и стянулась, сердце рванулось и  
замерло... Что это было? Пронеслось и скрылось. Но сердце в груди так и осталось  
стоять. И так, с остановившимся сердцем, неся его в себе, как тяжкую чашу, я  
двинулся дальше. Я знал, куда надо идти, я шел все прямо по проспекту – и в  
самом конце его, уже в нескольких шагах от задней стены, остановился: передо  
мной, на ровном месте, среди сухих трав, одиноко лежал удлиненный и довольно  
узкий камень, возглавием к стене. Из-за стены же дивным самоцветом глядела  
невысокая зеленая звезда, лучистая, как та, прежняя, но немая, неподвижная.

19 октября 1938

(обратно) (обратно)

II

Руся

В одиннадцатом часу вечера скорый поезд Москва – Севастополь остановился на  
маленькой станции за Подольском, где ему остановки не полагалось, и чего-то ждал  
на втором пути. В поезде, к опущенному окну вагона первого класса, подошли  
господин и дама. Через рельсы переходил кондуктор с красным фонарем в висящей  
руке, и дама спросила:

– Послушайте, почему мы стоим?

Кондуктор ответил, что опаздывает встречный курьерский.

На станции было темно и печально. Давно наступили сумерки, но на западе, за  
станцией, за чернеющими лесистыми полями, все еще мертвенно светила долгая  
летняя московская заря. В окно сыро пахло болотом. В тишине слышен был откуда-то

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
равномерный и как будто тоже сырой скрип дергача.

Он облокотился на окно, она на его плечо.

– Однажды я жил в этой местности на каникулах, – сказал он. – Был репетитором в одной дачной усадьбе, верстах в пяти отсюда. Скучная местность. Мелкий лес, сороки, комары и стрекозы. Вида нигде никакого. В усадьбе любоваться горизонтом можно было только с мезонина, Дом, конечно, в русском дачном стиле и очень запущенный, – хозяева были люди обедневшие, – за домом некоторое подобие сада, за садом не то озеро, не то болото, заросшее кугой и кувшинками, и неизбежная плоскодонка возле топкого берега.

– И, конечно, скучающая дачная девица, которую ты катал по этому болоту.

– Да, все, как полагается. Только девица была совсем не скучающая. Катал я ее все больше по ночам, и выходило даже поэтично. На западе небо всю ночь зеленоватое, прозрачное, и там, на горизонте, вот как сейчас, все что-то тлеет и тлеет... Весло нашлось только одно и то вроде лопаты, и я греб им, как дикарь, – то направо, то налево. На противоположном берегу было темно от мелкого леса, но за ним всю ночь стоял этот странный полусвет. И везде невообразимая тишина – только комары ноют и стрекозы летают. Никогда не думал, что они летают по ночам, – оказалось, что зачем-то летают. Прямо страшно.

Зашумел наконец встречный поезд, налетел с грохотом и ветром, слившись в одну золотую полосу освещенных окон, и пронесся мимо. Вагон тотчас тронулся. Проводник вошел в купе, осветил его и стал готовить постели,

– Ну и что же у вас с этой девицей было? Настоящий роман? Ты почему-то никогда не рассказывал мне о ней. Какая она была?

– Худая, высокая. Носила желтый ситцевый сарафан и крестьянские чуньки на босу ногу, плетенные из какой-то разноцветной шерсти.

– Тоже, значит, в русском стиле?

– Думаю, что больше всего в стиле бедности. Не во что одеться, ну и сарафан. Кроме того, она была художница, училась в Строгановском училище живописи. Да она и сама была живописна, даже иконописна. Длинная черная коса на спине, смуглое лицо с маленькими темными родинками, узкий правильный нос, черные глаза, черные брови... Волосы сухие и жесткие слегка курчавились. Все это, при желтом сарафане и белых кисейных рукавах сорочки, выделялось очень красиво. Лодыжки и начало ступни в чуньках – все сухое, с выступающими под тонкой смуглой кожей костями.

– Я знаю этот тип. У меня на курсах такая подруга была. Истеричка, должно быть.

– Возможно. Тем более, что лицом была похожа на мать, а мать, родом какая-то княжна с восточной кровью, страдала чем-то вроде черной меланхолии. Выходила только к столу. Выйдет, сядет и молчит, покашливает, не поднимая глаз, и все перекладывает то нож, то вилку. Если же вдруг заговорит, то так неожиданно и громко, что вздрогнешь.

– А отец?

– Тоже молчаливый и сухой, высокий; отставной военный. Прост и мил был только их мальчик, которого я репетировал.

Проводник вышел из купе, сказал, что постели готовы, и пожелал покойной ночи.

– А как ее звали?

– Руся.

– Это что же за имя?

– Очень простое – Маруся.

– Ну и что же, ты был очень влюблен в нее?

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

– Конечно, казалось, что ужасно,

– А она?

Он помолчал и сухо ответил:

– Вероятно, и ей так казалось. Но пойдем спать. Я ужасно устал за день.

– Очень мило! Только даром заинтересовал. Ну, расскажи хоть в двух словах, чем и как ваш роман кончился.

– Да ничем. Уехал, и делу конец.

– Почему же ты не женился на ней?

– Очевидно, предчувствовал, что встречу тебя.

– Нет, серьезно?

– Ну, потому, что я застрелился, а она закололась кинжалом...

И, умывшись и почистив зубы, они затворились в образовавшейся тесноте купе, разделись и с дорожной отрадой легли под свежее глянцевитое полотно простынь и на такие же подушки, все скользившие с приподнятого изголовья.

Сине-лиловый глазок над дверью тихо глядел в темноту. Она скоро заснула, он не спал, лежал, курил и мысленно смотрел в то лето...

На теле у нее тоже было много маленьких темных родинок – эта особенность была прелестна. Оттого, что она ходила в мягкой обуви, без каблуков, все тело ее волновалось под желтым сарафаном. Сарафан был широкий, легкий, и в нем так свободно было ее долгову девичьему телу. Однажды она промочила в дождь ноги, вбежала из сада в гостиную, и он кинулся разувать и целовать ее мокрые узкие ступни – подобного счастья не было во всей его жизни. Свежий, пахучий дождь шумел все быстрее и гуще за открытыми на балкон дверями, в потемневшем доме все спали после обеда – и как страшно испугал его и ее какой-то черный с металлически-зеленым отливом петух в большой огненной короне, вдруг тоже вбежавший из сада со стуком коготков по полу в ту самую горячую минуту, когда они забыли всякую осторожность. Увидав, как они вскочили с дивана, он торопливо и согнувшись, точно из деликатности, побежал назад под дождь с опущенным блестящим хвостом...

Первое время она все приглядывалась к нему; когда он заговаривал с ней, темно краснела и отвечала насмешливым бормотанием; за столом часто задевала его, громко обращаясь к отцу:

– Не угощайте его, папа, напрасно. Он вареников не любит. Впрочем, он и окрошки не любит, и лапши не любит, и простоквашу презирает, и творог ненавидит.

По утрам он был занят с мальчиком, она по хозяйству – весь дом был на ней. Обедали в час, и после обеда она уходила к себе в мезонин или, если не было дождя, в сад, где стоял под березой ее мольберт, и, отмахиваясь от комаров, писала с натуры. Потом стала выходить на балкон, где он после обеда сидел с книгой в косом камышовом кресле, стояла, заложив руки за спину, и посматривала на него с неопределенной усмешкой:

– Можно узнать, какие премудрости вы изволите штудировать?

– Историю французской революции.

– Ах, бог мой! Я и не знала, что у нас в доме оказался революционер!

– А что ж вы свою живопись забросили?

– Вот-вот и совсем заброшу. Убедилась в своей бездарности.

– А вы покажите мне что-нибудь из ваших писаний.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

– А вы думаете, что вы что-нибудь смыслите в живописи?

– Вы страшно самолюбивы.

– Есть тот грех...

Наконец предложила ему однажды покататься по озеру, вдруг решительно сказала:

– Кажется, дождливый период наших тропических мест кончился. Давайте развлекаться. Душегубка наша, правда, довольно гнилая и с дырявым дном, но мы с Петей все дыры забили кугой...

День был жаркий, парило, прибрежные травы, испещренные желтыми цветочками куриной слепоты, были душно нагреты влажным теплом, и над ними низко вились несметные бледно-зеленые мотыльки.

Он усвоил себе ее постоянный насмешливый тон и, подходя к лодке, сказал:

– Наконец-то вы снизошли до меня!

– Наконец-то вы собрались с мыслями ответить мне! – бойко ответила она и прыгнула на нос лодки, распугав лягушек, со всех сторон зашлепавших в воду, но вдруг дико взвизгнула и подхватила сарафан до самых колен, топая ногами:

– Уж! Уж!

Он мельком увидал блестящую смуглость ее голых ног, схватил с носа весло, стукнул им извивавшегося по дну лодки ужа и, поддев его, далеко отбросил в воду.

Она была бледна какой-то индусской бледностью, родинки на ее лице стали темней, чернота волос и глаз как будто еще чернее. Она облегченно передохнула:

– Ох, какая гадость. Недаром слово ужас происходит от ужа. Они у нас тут повсюду, и в саду, и под домом... И Петя, представьте, берет их в руки!

Впервые заговорила она с ним просто, и впервые взглянули они друг другу в глаза прямо.

– Но какой вы молодец! Как вы его здорово стукнули!

Она совсем пришла в себя, улыбнулась и, перебежав с носа на корму, весело села. В своем испуге она поразила его красотой, сейчас он с нежностью подумал: да, она совсем еще девочка! Но, сделав равнодушный вид, озабоченно перешагнул в лодку, и, упирая веслом в студенистое дно, повернул ее вперед носом и потянул по спутанной гуще подводных трав на зеленые щетки куги и цветущие кувшинки, все впереди покрывавшие сплошным слоем своей толстой, круглой листы, вывел ее на воду и сел на лавочку посередине, гребя направо и налево.

– Правда, хорошо? – крикнула она.

– Очень! – ответил он, снимая картуз, и обернулся к ней: – Будьте добры кинуть возле себя, а то я смахну его в это корыто, которое, извините, все-таки протекает и полно пьявок.

Она положила картуз к себе на колени.

– Да не беспокойтесь, киньте куда попало.

Она прижала картуз к груди:

– Нет, я его буду беречь!

У него опять нежно дрогнуло сердце, но он опять отвернулся и стал усиленно запускать весло в блестящую среди куги и кувшинок воду.

К лицу и рукам липли комары, кругом все слепило теплым серебром: парной воздух, зыбкий солнечный свет, курчавая белизна облаков, мягко сиявших в небе и в прогалинах воды среди островов из куги и кувшинок; везде было так мелко, что

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
видно было дно с подводными травами, но оно как-то не мешало той бездонной глубине, в которую уходило отраженное небо с облаками. Вдруг она опять взвизгнула – и лодка повалилась на бок: она сунула с кормы руку в воду и, поймав стебель кувшинки, так рванула его к себе, что завалилась вместе с лодкой – он едва успел вскочить и поймать ее подмышки. Она захохотала и, упав на корму спиной, брызнула с мокрой руки прямо ему в глаза. Тогда он опять схватил ее и, не понимая, что делает, поцеловал в хохочущие губы. Она быстро обняла его за шею и неловко поцеловала в щеку...

С тех пор они стали плавать по ночам. На другой день она вызвала его после обеда в сад и спросила:

– Ты меня любишь?

Он горячо ответил, помня вчерашние поцелуи в лодке:

– С первого дня нашей встречи!

– И я, – сказала она. – Нет, сначала ненавидела – мне казалось, что ты совсем не замечаешь меня. Но, слава богу, все это уже прошлое. Нынче вечером, как все улягутся, ступай опять туда и жди меня. Только выйди из дому как можно осторожнее – мама за каждым шагом моим следит, ревнива до безумия.

Ночью она пришла на берег с пледом на руке. От радости он встретил ее растерянно, только спросил:

– А плед зачем?

– Какой глупый. Нам же будет холодно. Ну, скорей садись и гребки к тому берегу...

Всю дорогу они молчали. Когда подплыли к лесу на той стороне, она сказала:

– Ну вот. Теперь иди ко мне. Где плед? Ах, он подо мной. Прикрой меня, я озябла, и садись. Вот так... Нет, погоди, вчера мы целовались как-то бестолково, теперь я сначала сама поцелую тебя, только тихо, тихо. А ты обними меня... везде...

Под сарафаном у нее была только сорочка. Она нежно, едва касаясь, целовала его в края губ. Он, с помутившейся головой, кинул ее на корму. Она исступленно обняла его...

Полежав в изнеможении, она приподнялась и с улыбкой счастливой усталости и еще не утихшей боли сказала:

– Теперь мы муж с женой. Мама говорит, что она не переживет моего замужества, но я сейчас не хочу об этом думать... Знаешь, я хочу искупаться, страшно люблю по ночам...

Через голову она разделась, забелела в сумраке всем своим долгим телом и стала обвязывать голову косой, подняв руки, показывая темные мышки и поднявшиеся груди, не стыдясь своей наготы и темного мыска под животом. Обвязав, быстро поцеловала его, вскочила на ноги, плашмя упала в воду, закинула голову назад и шумно заколотила ногами.

Потом он, спеша, помог ей одеться и закутаться в плед. В сумраке сказочно были видны ее черные глаза и черные волосы, обвязанные косой. Он больше не смел касаться ее, только целовал ее руки и молчал от нестерпимого счастья. Все казалось, что кто-то есть в темноте прибрежного леса, молча тлеющего кое-где светляками, – стоит и слушает. Иногда там что-то осторожно шуршало. Она поднимала голову:

– Постой, что это?

– Не бойся, это, верно, лягушка выползает на берег. Или еж в лесу...

– А если козерог?

– Какой козерог?

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
– Я не знаю. Но ты только подумай: выходит из лесу какой-то козерог, стоит и смотрит... Мне так хорошо, мне хочется болтать страшные глупости!

И он опять прижимал к губам ее руки, иногда как что-то священное целовал холодную грудь. Каким совсем новым существом стала она для него! И стоял и не гас за чернотой низкого леса зеленоватый полусвет, слабо отражавшийся в плоско белеющей воде вдали, резко, сельдереем, пахли росистые прибрежные растения, таинственно, просительно ныли невидимые комары – и летали, летали с тихим треском над лодкой и дальше, над этой по-ночному светящейся водой, страшные, бессонные стрекозы. И все где-то что-то шуршало, ползло, пробиралось...

Через неделю он был безобразно, с позором, ошеломленный ужасом совершенно внезапной разлуки, выгнан из дому.

Как-то после обеда они сидели в гостиной и, касаясь головами, смотрели картинки в старых номерах «Нивы».

– Ты меня еще не разлюбила? – тихо спрашивал он, делая вид, что внимательно смотрит.

– Глупый. Ужасно глупый! – шептала она.

Вдруг послышались мягко бегущие шаги – и на пороге встала в черном шелковом истрепанном халате и истертых сафьяновых туфлях ее полоумная мать. Черные глаза ее трагически сверкали. Она вбежала, как на сцену, и крикнула:

– Я все поняла! Я чувствовала, я следила! Негодяй, ей не быть твоею!

И, вскинув руку в длинном рукаве, оглушительно выстрелила из старинного пистолета, которым Петя пугал воробьев, заряжая его только порохом. Он, в дыму, бросился к ней, схватил ее цепкую руку. Она вырвалась, ударила его пистолетом в лоб, в кровь расскла ему бровь, швырнула им в него и, слыша, что по дому бегут на крик и выстрел, стала кричать с пеной на сизых губах еще театральнойнее:

– Только через мой труп перешагнет она к тебе! Если сбежит с тобой, в тот же день повешусь, брошусь с крыши! Негодяй, вон из моего дома! Марья Викторовна, выберите: мать или он!

Она прошептала:

– Вы, вы, мама...

Он очнулся, открыл глаза – все так же неуклонно, загадочно, могильно смотрел на него из черной темноты сине-лиловый глазок над дверью, и все с той же неуклонно рвущейся вперед быстротой неся, пружиня, качаясь, вагон. Уже далеко, далеко остался тот печальный полустанок. И уж целых двадцать лет тому назад было все это – перелески, сороки, болота, кувшинки, ужи, журавли... Да, ведь были еще журавли – как же он забыл о них! Все было странно в то удивительное лето, странна и пара каких-то журавлей, откуда-то прилетавших от времени до времени на побережье болота, и то, что они только ее одну подпускали к себе и, выгибая тонкие, длинные шеи с очень строгим, но благосклонным любопытством смотрели на нее сверху, когда она, мягко и легко разбежавшись к ним в своих разноцветных чуньках, вдруг садилась перед ними на корточки, распустивши на влажной и теплой зелени побережья свой желтый сарафан, и с детским задором заглядывала в их прекрасные и грозные черные зрачки, узко схваченные кольцом темно-серого райка. Он смотрел на нее и на них издали, в бинокль, и четко видел их маленькие блестящие головки, – даже их костяные ноздри, скважины крепких, больших клювов, которыми они с одного удара убивали ужей. Кургузые туловища их с пушистыми пучками хвостов были туго покрыты стальным опереньем, чешуйчатые трости ног не в меру длинны и тонки – у одного совсем черные, у другого зеленоватые. Иногда они оба целыми часами стояли на одной ноге в непонятной неподвижности, иногда ни с того ни с сего подпрыгивали, раскрывая огромные крылья; а не то важно прогуливались, выступали медленно, мерно, поднимали лапы, в комок сжимая три их пальца, а ставили разлато, раздвигая пальцы, как хищные когти, и все время качали головками... Впрочем, когда она подбегала к ним, он уже ни о чем не думал и ничего не видел – видел только ее распустившийся сарафан, смертной истомой содрогаясь при мысли о ее смуглом теле под ним, о темных родинках на нем. А в тот последний их день, в то последнее их сидение рядом в гостиной на диване, над

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин томом старой «Нивы», она тоже держала в руках его картуз, прижимала его к груди, как тогда, в лодке, и говорила, блестя ему в глаза радостными черно-зеркальными глазами:

– А я так люблю тебя теперь, что мне нет ничего милее даже вот этого запаха внутри картуза, запаха твоей головы и твоего гадкого одеколona!

\* \* \*

За Курском, в вагоне-ресторане, когда после завтрака он пил кофе с коньяком, жена сказала ему:

– Что это ты столько пьешь? Это уже, кажется пятая рюмка. Все еще грустишь, вспоминаешь свою дачную девицу с костлявыми ступнями?

– Грущу, грущу, – ответил он, неприятно усмехаясь. – Дачная девица... *Amata nobis quantum arnabitur nulla!*[3]

– Это по-латыни? Что это значит?

– Этого тебе не нужно знать.

– Как ты груб, – сказала она, небрежно вздохнув, и стала смотреть в солнечное окно.

27 сентября 1940

Красавица\*

Чиновник казенной палаты, вдовец, пожилой, женился на молоденькой, на красавице, дочери воинского начальника. Он был молчалив и скромн, а она знала себе цену. Он был худой, высокий, чахоточного сложения носил очки цвета йода, говорил несколько сипло и, если хотел сказать что-нибудь погромче, срывался в фистулу. А она была невелика, отлично и крепко сложена, всегда хорошо одета, очень внимательна и хозяйственна по дому, взгляд имела зоркий. Он казался столь же неинтересен во всех отношениях, как множество губернских чиновников, но и первым браком был женат на красавице – все только руками разводили: за что и почему шли за него такие?

И вот вторая красавица спокойно возненавидела его семилетнего мальчика от первой, сделала вид, что совершенно не замечает его. Тогда и отец, от страха перед ней, тоже притворился, будто у него нет и никогда не было сына. И мальчик, от природы живой, ласковый, стал в их присутствии бояться слово сказать, а там и совсем затаился, сделался как бы несуществующим в доме.

Тотчас после свадьбы его перевели спать из отцовской спальни на диванчик в гостиную, небольшую комнату возле столовой, убранную синей бархатной мебелью. Но сон у него был беспокойный, он каждую ночь сбивал простыню и одеяло на пол. И вскоре красавица сказала горничной:

– Это безобразие, он весь бархат на диване изотрет. Стелите ему, Настя, на полу, на том тюфячке, который я велела вам спрятать в большой сундук покойной барыни в коридоре.

И мальчик, в своем круглом одиночестве на всем свете, зажил совершенно самостоятельной, совершенно обособленной от всего дома жизнью, – неслышной, незаметной, одинаковой изо дня в день: смиренно сидит себе в уголке гостиной, рисует на грифельной доске домики или шепотом читает по складам все одну и ту же книжечку с картинками, купленную еще при покойной маме, смотрит в окна... Спит он на полу между диваном и кадкой с пальмой. Он сам стелет себе постельку вечером и сам прилежно убирает, свертывает ее утром и уносит в коридор в мамин сундук. Там спрятано и все остальное добришко его.

28 сентября 1940

(обратно)  
Дурочка\*

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

Дьяконов сын, семинарист, приехавший в село к родителям на каникулы, проснулся однажды в темную жаркую ночь от жестокого телесного возбуждения и, полежав, распалил себя еще больше воображением: днем, перед обедом, подсматривал из прибрежного лозняка над заводью речки, как приходили туда с работы девки и, сбрасывая с потных белых тел через голову рубашки, с шумом и хохотом, задирая лица, выгибая спины, кидались в горячо блестящую воду; потом, не владея собой, встал, прокрался в темноте через сенцы в кухню, где было темно и жарко, как в топленой печи, нашарил, протягивая вперед руки, нары, на которых спала кухарка, нищая, безродная девка, слывшая дурочкой, и она, от страха, даже не крикнула. Жил он с ней с тех пор все лето и прижил мальчика, который и стал расти при матери в кухне. Дьякон, дьяконица, сам батюшка и весь его дом, вся семья лавочника и урядник с женой, все знали, от кого этот мальчик, и семинарист, приезжая на каникулы, видеть не мог его от злобного стыда за свою прошлое: жил с дурочкой!

Когда он кончил курс, – «блестяще!», как всем рассказывал дьякон, – и опять приехал к родителям на лето перед поступлением в академию, они в первый же праздник назвали к чаю гостей, чтобы погордиться перед ними будущим академиком. Гости тоже говорили о его блестящей будущности, пили чай, ели разные варенья, и счастливый дьякон завел среди их оживленной беседы зашипевший и потом громко закричавший граммофон.

Все смолкли и с улыбками удовольствия стали слушать подмывающие звуки «По улице мостовой», как вдруг в комнату влетел и неловко, не в лад заплясал, затопал кухаркин мальчик, которому мать, думая всех умиливать им, сдуру шепнула: «Беги, попляши, деточка». Все растерялись от неожиданности, а дьяконов сын, побагровев, кинулся на него подобно тигру и с такой силой швырнул вон из комнаты, что мальчик кубарем покотился в прихожую.

На другой день дьякон и дьяконица, по его требованию, кухарку прогнали. Они были люди добрые и жалостливые, очень привыкли к ней, полюбили ее за ее безответность, послушание и всячески просили сына смилостивиться. Но он остался непреклонен, и его не посмели послушаться. К вечеру кухарка, тихо плача и держа в одной руке свой узелок, а в другой ручку мальчика, ушла со двора.

Все лето после того она ходила с ним по деревням и селам, собираясь Христа ради. Она обносила, обтрепалась, спеклась на ветру и на солнце, исхудала до костей и кожи, но была неутомима. Она шла босая, с дерюжной сумой через плечо, подпираясь высокой палкой, и в деревнях и селах молча кланялась перед каждой избой. Мальчик шел за ней сзади, тоже с мешком через плечико в старых башмаках ее, разбитых и затвердевших, как те опорки, что валяются где-нибудь в овраге.

Он был урод. У него было большое, плоское темя в кабаньей красной шерстке, носик расплюснутый, с широкими ноздрями, глазки ореховые и очень блестящие. Но когда он улыбался, он был очень мил.

28 сентября 1940

(обратно)  
Антигона\*

В июне, из имения матери, студент поехал к дяде и тете, – нужно было проведать их, узнать, как они поживают, как здоровье дяди, лишившегося ног генерала. Студент отбывал эту повинность каждое лето и теперь ехал с покорным спокойствием, не спеша читал в вагоне второго класса, положив молодую круглую ляжку на отвал дивана, новую книжку Аверченки, рассеянно смотрел в окно, как опускались и подымались телеграфные столбы с белыми фарфоровыми чашечками в виде ландышей. Он похож был на молоденького офицера – только белый картуз с голубым околышем был у него студенческий, все прочее на военный образец: белый китель, зеленоватые рейтузы, сапоги с лакированными голенищами, портсигар с зажигательным оранжевым жгутом.

Дядя и тетя были богаты. Когда он приезжал из Москвы домой, за ним высылали на станцию тяжелый тарантас, пару рабочих лошадей и не кучера, а работника. А на станции дяди он всегда вступал на некоторое время в жизнь совсем иную, в удовольствие большого достатка, начиная чувствовать себя красивым, бодрым, манерным. Так было и теперь. Он с невольным фатовством сел в легкую коляску на резиновом ходу, запряженную резвой караковой тройкой, которой правил молодой

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин кучер в синей поддевке–безрукавке и шелковой желтой рубашке.

Через четверть часа тройка влетела, мягко играя россыпью бубенчиков и шипя по песку вокруг цветника шинами, на круглый двор обширной усадьбы, к перрону просторного нового дома в два этажа. На перрон вышел взять вещи рослый слуга в полубачках, в красном с черными полосами жилете и штиблетах. Студент сделал ловкий и невероятно широкий прыжок из коляски: улыбаясь и раскачиваясь на ходу, на пороге вестибюля показалась тетя – широкий чесучовый балахон на большом дряблом теле, крупное обвисшее лицо, нос якорем и под коричневыми глазами желтые подпалины. Она родственно расцеловала его в щеки, он с притворной радостью припал к ее мягкой темной руке, быстро подумав: целых три дня врать вот так, а в свободное время не знать, что с собой делать! Притворно и поспешно отвечая на ее притворно–заботливые расспросы о маме, он вошел за ней в большой вестибюль, с веселой ненавистью взглянул на несколько сгорбленное чучело бурого медведя с блестящими стеклянными глазами, косолапо стоявшего во весь рост у входа на широкую лестницу в верхний этаж и услужливо державшего в когтистых передних лапах бронзовое блюдо для визитных карточек, и вдруг даже приостановился от отрадного удивления: кресло с полным, бледным, голубоглазым генералом ровно катила навстречу к нему высокая, статная красавица в сером холстинковом платье, в белом переднике и белой косынке, с большими серыми глазами, вся сияющая молодостью, крепостью, чистотой, блеском холеных рук, матовой белизной лица. Целуя руку дяди, он успел взглянуть на необыкновенную стройность ее платья, ног. Генерал пошутил:

– А вот это моя Антигона, моя добрая путеводительница, хотя я и не слеп, как Эдип, и особенно на хорошеньких женщин. Познакомьтесь, молодые люди.

Она слегка улыбнулась, только поклоном ответила на поклон студента.

Рослый слуга в полубачках и в красном жилете провел его мимо медведя наверх, по блестящей темно–желтым деревом лестнице с красным ковром посередине и по такому же коридору, ввел в большую спальню с мраморной туалетной комнатой рядом – на этот раз в какую–то другую, чем прежде, и окнами в парк, а не во двор. Но он шел, ничего не видя. В голове все еще вертелась веселая чепуха, с которой он въехал в усадьбу, – «мой дядя самых честных правил», – но стояло уже и другое: вот так женщина!

Напевая, он стал бриться, мыться и переодеваться, надел штаны со штрипками, думая:

«Бывают же такие женщины! И что можно отдать за любовь такой женщины! И как же это при такой красоте катать стариков и старух в креслах на колесиках!»

И в голову шли нелепые мысли: вот взять и остаться тут на месяц, на два, втайне ото всех войти с ней в дружбу, в близость, вызвать ее любовь, потом сказать: будьте моей женой, я весь и навеки ваш. Мама, тетя, дядя, их изумление, когда я заявлю им о нашей любви и нашем решении соединить наши жизни, их негодование, потом уговоры, крики, слезы, проклятия, лишение наследства – все для меня ничто ради вас...

Сбегая с лестницы к тете и дяде, – их покои были внизу, – он думал:

«Какой, однако, вздор лезет мне в голову! Остаться тут под каким–нибудь предлогом, разумеется, можно.. можно начать незаметно ухаживать, прикинуться безумно влюбленным... Но добьешься ли чего–нибудь? А если и добьешься, что дальше? Как развязаться с этой историей? Правда, что ли, жениться?»

С час он сидел с тетей и дядей в его огромном кабинете с огромным письменным столом, с огромной тахтой, покрытой туркестанскими тканями, с ковром на стене над ней, крест–накрест увешанным восточным оружием, с инкрустированными столиками для курения, а на камине с большим фотографическим портретом в палисандровой рамке под золотой коронкой, на котором был собственноручный вольный росчерк: Александр.

– Как я рад, дядя и тетя, что я опять с вами, – сказал он под конец, думая о сестре. – И как тут чудесно у вас! Ужасно будет жаль уезжать.

– А кто ж тебя гонит? – ответил дядя. – Куда тебе спешить? живи себе, покуда не

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин наскучит.

– Разумеется, – сказала тетя рассеянно.

Сидя и беседуя, он непрестанно ждал: вот-вот войдет она – объявит горничная, что готов чай в столовой, и она придет катить дядю. Но чай подали в кабинет – вкатили стол с серебряным чайником на спиртовке, и тетя разливала сама. Потом он все надеялся, что она принесет какое-нибудь лекарство дяде... Но она так и не пришла.

– Ну и черт с ней, – подумал он, выходя из кабинета, вошел в столовую, где прислуга спускала шторы на высоких солнечных окнах, заглянул зачем-то направо, в двери зала, где в предвечернем свете отсвечивали в паркете стеклянные стаканчики на ножках рояля, потом прошел налево, в гостиную, за которой была диванная; из гостиной вышел на балкон, спустился к разноцветно-яркому цветнику, обошел его и побрел по высокой тенистой аллее... На солнце было еще жарко, и до обеда оставалось еще два часа.

В семь с половиной в вестибюле завыл гонг. Он первый вошел в празднично сверкающую люстрой столовую, где уже стояли возле столика у стены жирный бритый повар во всем белом и подкрахмленном, худощекий лакей во фраке и белых вязаных перчатках и маленькая горничная, по-французски субтильная. Через минуту молочно-седой королевой, покачиваясь, вошла тетя в палевом шелковом платье с кремовыми кружевами, с наплывами на щиколках, над тесными шелковыми туфлями, и наконец-то она. Но, подкатив дядю к столу, она тотчас, не оборачиваясь, плавно вышла, – студент успел только заметить странность ее глаз: они не моргали. Дядя покрестил грудь светло-серой генеральской тужурки мелкими крестиками, тетя и студент истово перекрестились стоя, потом именованно сели, развернули блестящие салфетки. Размытый, бледный, с причесанными мокрыми жидкими волосами, дядя особенно явно показывал свою безнадежную болезнь, но говорил и ел много и со вкусом, пожимал плечами, говоря о войне, – это было время русско-японской войны: за коим чертом мы затеяли ее! Лакей служил оскорбительно-безучастно, горничная, помогая ему, семенила изящными ножками, повар отпускал блюда с важностью истукана. Ели горячую, как огонь, налимью уху, кровавый ростбиф, молодой картофель, посыпанный укропом. Пили белое и красное вино князя Голицына, старого друга дяди. Студент говорил, отвечал, поддакивал с веселыми улыбками, но, как попугай, с тем вздором в голове, с которым давеча переодевался, думал: а где же обедает она, неужели с прислугой? и ждал минуты, когда она опять придет, увезет дядю и потом где-нибудь встретится с ним, и он перекинется с ней хоть несколькими словами. Но она пришла, укатила кресло и опять где-то скрылась.

Ночью осторожно и старательно пели в парке соловьи, входила в открытые окна спальни свежесть воздуха, росы и политых на клумбах цветов, холодило постельное белье голландского полотна. Студент полежал в темноте и уже решил перевернуться к стене и заснуть, но вдруг поднял голову, привстал: раздеваясь, он увидел в стене у изголовья кровати небольшую дверь, из любопытства повернул в ней ключ и нашел за ней вторую, попробовал ее, но оказалось, что она заперта снаружи; теперь за этими дверями кто-то мягко ходил, что-то таинственно делал; и он затаил дыхание, соскользнул с кровати, отворил первую дверь, прислушался: что-то тихо зазвенело на полу за второй дверью... Он похолодел: неужели это ее комната! Он прикинул к замочной скважине, – ключа в ней, к счастью, не было, – увидел свет, край туалетного женского стола, потом что-то белое, вдруг вставшее и все закрывшее... Было несомненно, что это ее комната, – чья же иначе? Не поместят же тут горничную, а Марья Ильинишна, старая горничная тети, спит внизу возле тетиной спальни. И он точно заболел сразу ее ночной близостью вот тут, за стеною, и ее недоступностью. Он долго не спал, проснулся поздно и тотчас опять почувствовал, мысленно увидел, представил себе ее ночную прозрачную сорочку, босые ноги в туфлях...

«Впору нынче же уехать!» – подумал он, закуривая. Утром пили кофе каждый у себя. Он пил, сидя в широкой ночной рубахе дяди, в его шелковом халате, и с грустью бесполезности рассматривал себя, распахнув халат.

За завтраком в столовой было сумрачно и скучно. Он завтракал только с тетей, погода была плохая, – за окнами мотались от ветра деревья, над ними сгущались облака и тучи...

– Ну, милый, я тебя покидаю, – сказала тетя, вставая и крестясь. – Развлекайся,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин как можешь, а меня и дядю уж извини по нашим немощам, мы до чаю сидим по своим углам. Верно, дождь будет, а то бы ты мог прокатиться верхом...

Он бодро ответил:

– Не беспокойтесь, тетя, я займусь чтением...

И пошел в диванную, где все стены были в полках с книгами.

Пройдя туда по гостиной, он подумал, что, может быть, все-таки следует приказать оседлать лошадь. Но в окна были видны разнообразные дождевые облака и неприятная металлическая лазурь среди лиловатых туч над качающимися вершинами деревьев. Он вошел в уютную, пахнущую сигарным дымом диванную, где под полками с книгами кожаные диваны занимали целых три стены, посмотрел некоторые корешки чудесно переплетенных книг – и беспомощно сел, утонул в диване. Да, адова скука. Хотя бы просто так увидеть ее, поболтать с ней... узнать, какой у ней голос, какой характер, глупа ли она или, напротив, очень себе на уме, скромно ведет свою роль до какой-нибудь благоприятной поры. Вероятно, очень блюдущая себя и знающая себе цену стерва. И скорее всего глупа... Но до чего хороша! И опять ночевать рядом с ней! – Он встал, отворил стеклянную дверь на каменные ступени в парк, услышал щелканье соловьев за его шумом, но тут так понесло прохладным ветром по каким-то молодым деревьям влево, что он вскочил в комнату. Комната потемнела, ветер летел по этим деревьям, пригнув их свежую зелень, и стекла двери и окон заискрились острыми брызгами мелкого дождя.

– А им все нипочем! – громко сказал он, слушая долетающее со всех сторон из-за ветра, то отдаленное, то близкое, щелканье соловьев. И в ту же минуту услышал ровный голос:

– Добыли день.

Он взглянул и оторопел: в комнате стояла она.

– Пришла обменять книгу, – сказала она с приветливым бесстрашием. – Только и радости, что книги, – прибавила она с легкой улыбкой и подошла к полкам.

Он пробормотал:

– Добрый день. Я и не слышал, как вы вошли...

– Очень мягкие ковры, – ответила она и, обернувшись, уже длительно посмотрела на него своими неморгающими серыми глазами.

– А что вы любите читать? – спросил он, немного смелее встречая ее взгляд.

– Сейчас читаю Мопассана, Октава Мирбо...

– Ну да, это понятно. Мопассан всем женщинам нравится. У него все о любви.

– А что же может быть лучше любви?

Голос ее был скромненький, глаза тихо улыбались.

– Любовь, любовь! – сказал он, вздыхая. – Бывают удивительные встречи, но... Ваше имя-отчество, сестра?

– Катерина Николаевна. А ваше?

– Зовите меня просто Павлик, – ответил он, все больше смелея.

– Вы думаете, что я вам тоже в тети гожусь?

– Дорого бы я дал иметь такую тетю! Пока я только ваш несчастный сосед.

– Неужели это несчастье?

– Я слышал вас нынче ночью. Ваша комната, оказывается, рядом с моей.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
Она безразлично засмеялась:

– И я вас слышала. Нехорошо подслушивать и подсматривать.

– Как вы непозволительно красивы! – сказал он, в упор рассматривая серую пестроту ее глаз, матовую белизну лица и лоск темных волос под белой косынкой.

– Вы находите? И хотите не позволить мне быть такой?

– Да. Одни ваши руки могут с ума свести...

И он с веселой дерзостью схватил левой рукой ее правую руку. Она, стоя спиной к полкам, взглянула через его плечо в гостиную и не отняла руки, глядя на него со странной усмешкой, точно ожидая: ну, а дальше что? Он, не выпуская ее руки, крепко сжал ее, оттягивая книзу, правой рукой охватил ее поясницу. Она опять взглянула через его плечо и слегка откинула голову, как бы защищая лицо от поцелуя, но прижалась к нему выгнутым станом. Он, с трудом переводя дыхание, потянулся к ее полураскрытым губам и двинул ее к дивану. Она, нахмурясь, закачала головой, шепча: «Нет, нет, нельзя, лежачим мы ничего не увидим и не услышим...» – и с потускневшими глазами медленно раздвинула ноги... Через минуту он упал лицом к ее плечу. Она еще постояла, стиснув зубы, потом тихо освободилась от него и стройно пошла по гостиной, громко и безразлично говоря под шум дождя:

– О, какой дождь! А наверху все окна открыты...

На другое утро он проснулся в ее постели – она повернулась в нагретом за ночь, сбитом постельном белье на спину, закинув голую руку за голову. Он открыл глаза и радостно встретил ее неморгающий взгляд, с обморочным головокружением почувствовал терпкий запах ее подмышки...

В дверь кто-то торопливо постучался.

– Кто там? – спокойно спросила она, не отстраняя его. – Это вы, Марья Ильинишна?

– Я, Катерина Николаевна.

– В чем дело?

– Позвольте войти, боюсь, кто-нибудь меня услышит, побежит и напугает генеральшу...

Когда он выскочил в свою комнату, она не спеша повернула ключ в замке.

– Его превосходительству что-то нехорошо, надо, думаю, пикюр сделать, – зашептала, входя, Марья Ильинишна, – слава Богу, генеральша еще спит, идите скорее...

Глаза Марьи Ильинишны уже круглились, как у змеи: говоря, она вдруг увидела возле кровати мужские туфли, – студент убежал босиком. И она тоже увидела туфли и глаза Марьи Ильинишны.

Перед завтраком она пошла к генеральше и сказала, что должна внезапно уехать: стала спокойно врать, что получила письмо от отца, – известие, что ее брат тяжело ранен в Маньчжурии, что отец, по своему вдовству, совсем один в таком горе...

– Ах, как я понимаю вас! – сказала генеральша, уже все знавшая от Марьи Ильинишны. – Ну что ж делать, поезжайте. Только пошлите со станции депешу доктору Кривцову, чтобы он немедленно приехал и побыл у нас, пока мы найдем другую сестру...

Потом она постучалась к студенту и сунула ему записочку: «Все пропало, я уезжаю. Старуха увидела возле кровати ваши туфли. Не поминайте лихом».

За завтраком тетя была только немного печальна, но говорила с ним как ни в чем не бывало.

– Ты слышал? Сестра уезжает к отцу, он один, брат ее страшно ранен...

– Слышал, тетя. Вот несчастье эта война, сколько горя повсюду. А что все-таки было с дядей?

– Ах, слава Богу, ничего серьезного. Он ужасно мнителен. Сердце будто, но все это от желудка...

В три часа Антигону увезли на тройке на станцию. Он, не поднимая глаз, простился с ней на перроне, будто случайно выбежав, чтобы велеть оседлать лошадь. Он готов был кричать от отчаяния. Она помахала ему из коляски перчаткой, сидя уже не в косынке, а в хорошенькой шляпке.

2 октября 1940

(обратно)  
Смарагд\*

Ночная синяя чернота неба в тихо плывущих облаках, везде белых, а возле высокой луны голубых. Приглядишься – не облака плывут – луна плывет, и близ нее, вместе с ней, льется золотая слеза звезды: луна плавно уходит в высоту, которой нет дна, и уносит с собой все выше и выше звезду.

Она боком сидит на подоконнике раскрытого окна и, отклонив голову, смотрит вверх – голова у нее немного кружится от движения неба. Он стоит у ее колен.

– Какой это цвет? Не могу определить! А вы, Толя, можете?

– Цвет чего, Киса?

– Не зовите меня так, я уж тысячу раз говорила вам...

– Слушаю-с, Ксения Андреевна.

– Я говорю про это небо среди облаков. Какой дивный цвет! И страшный и дивный. Вот уже правда небесный, на земле таких нет. Смарагд какой-то.

– Раз он в небе, так, конечно, небесный. Только почему смарагд? И что такое смарагд? Я его в жизни никогда не видал. Вам просто это слово нравится.

– Да. Ну, я не знаю, – может, не смарагд, а яхонт... Только такой, что, верно, только в раю бывает. И когда вот так смотришь на все это, как же не верить, что есть рай, ангелы. Божий престол...

– И золотые груши на вербе...

– Какой вы испорченный. Толя. Правду говорит Марья Сергеевна, что самая дурная девушка все-таки лучше всякого молодого человека.

– Сама истина глаголет ее устами. Киса.

Платьице на ней ситцевое, рябенькое, башмаки дешевые; икры и колени полные, девичьи, круглая головка с небольшой косой вокруг нее так мило откинута назад... Он кладет руку на ее колено, другой обнимает ее за плечи и полушутя целует в приоткрытые губы. Она тихо освобождается, снимает его руку с колена.

– Что такое? Мы обиделись?

Она прижимается затылком к косяку окна, и он видит, что она, прикусив губу, удерживает слезы.

– Да в чем дело?

– Ах, оставьте меня...

– Да что случилось?

Она шепчет:

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
– Ничего...

И, соскочив с подоконника, убегает.

Он пожимает плечами:

– Глупа до святости!

3 октября 1940

(обратно)

Гость\*

Гость позвонил раз, другой – за дверью тихо, никакого ответа. Нажал кнопку еще, звоня долго, настойчиво, требовательно – послышались тяжело бегущие шаги – и отворила и с недоумением смотрит невысокая, плотная, как рыба, девка, вся пахнувшая чадом кухни: мутные волосы, в толстых ушных мочках дешевые сережки с бирюзой, чухонское лицо в рыжих веснушках, налитые сизой кровью и точно масляные руки. Гость быстро, сердито и весело напал на нее:

– Что ж ты не отворяешь? Спала, что ли?

– Никак нет, с кухни ничего не слышно, очень плита шумит, – ответила она, продолжая растерянно глядеть на него: он худ, смугл, зубаст, в черной жесткой бороде, с пронзительными глазами; на руке серое пальто на шелковой подкладке, серая шляпа сдвинута со лба.

– Знаем мы вашу кухню! Верно, у тебя пожарный кум сидит?

– Никак нет...

– Ну то-то же, смотри у меня!

Говоря, он быстро взглянул из прихожей в освещенную солнцем гостиную с гранатовыми бархатными креслами и портретом широкоскулого Бетховена в простенке.

– Да ты кто такая?

– Как кто?

– Новая кухарка?

– Так точно...

– Фекла? Федосья?

– Никак нет... Саша.

– И господ, значит, нет дома?

– Барин в редакции, а барыня поехали на Васильевский остров... в эту, как ее? воскресную школу.

– Досадно. Ну ничего, завтра еще зайду. Так скажи им: мол, приходил страшный, черный господин, Адам Адамыч. Повтори, как я сказал.

– Адам Адамыч.

– Правильно, фламандская Ева. Смотри же помни. А пока вот что...

Он живо еще раз оглянулся, бросил пальто на вешалку возле сундука:

– Иди-ка скорей сюда.

– Зачем?

– Вот увидишь...

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
И в одну минуту, со шляпой на затылок, повалил ее на сундук, вскинул подол с  
красных шерстяных чулок и полных колен цвета свеклы.

- Барин! Я на весь дом закричу!
- А я тебя задушу. Смирно!
- Барин! Ради господ... Я невинная!
- Это не беда. Ну, поехали!

И через минуту исчез. Стоя у плиты, она с упоением тихо плакала, потом стала рыдать и все громче, рыдала долго, до икоты, до самого завтрака, до хозяйского звонка. Барыня, молоденькая, в золотом пенсне, энергичная, уверенная в себе, быстрая, приехала первая. Войдя, тотчас спросила:

- Никто не заходил?
- Адам Адамыч.
- Ничего не велел передать?
- Никак нет... Завтра, сказали, еще зайдут.
- А что это ты вся заплаканная?
- От луку...

Ночью в кухне, блиставшей чистотой, новыми бумажными фестончиками по краям полок и красной медью расчищенных кастрюль, горела на столе лампочка, было очень тепло от не остывшей еще плиты, приятно пахло остатками кушаний под соусом с лавровым листом, милой обыденной жизнью. Забыв погасить лампочку, она крепко спала за своей перегородкой – как легла не раздеваясь, так и заснула, в сладкой надежде, что Адам Адамыч завтра опять придет, что она увидит его страшные глаза и что, бог даст, господ опять не будет дома.

Но утром он не пришел. А за обедом барин сказал барыне:

- А знаешь, Адам уехал в Москву. Мне Благосветлов сказал. Верно, забегал вчера проститься.

3 октября 1940

(обратно)  
Волки

Тьма теплой августовской ночи, еле видны тусклые звезды, кое-где мерцающие в облачном небе. Мягкая, неслышная от глубокой пыли дорога в поле, по которой катится тележка с двумя молодыми седоками – мелкопоместной барышней и юношей гимназистом. Пасмурные зарницы освещают иногда пару ровно бегущих рабочих лошадей со спутанными гривами, в простой упряжи, и картуз и плечи малого в замашной рубахе на козлах, на мгновение открывают впереди поля, опустевшие после рабочей поры, и дальний печальный лесок. Вчера вечером на деревне был шум, крик, трусливый лай и визг собак: с удивительной дерзостью, когда по избам уже ужинали, волк зарезал в одном дворе овцу и едва не унес ее – вовремя выскочили на собачий гам мужики с дубинами и отбили ее, уже околевшую, с разорванным боком. Теперь барышня нервно хохочет, зажигает и бросает в темноту спички, весело крича:

- Волков боюсь!

Спички освещают удлинненное, грубоватое лицо юноши и ее возбужденное широкоскулое личико. Она кругло, по-малорусски, повязана красным платочком, свободный вырез красного ситцевого платья открывает ее круглую, крепкую шею. Качаясь на бегу тележки, она жжет и бросает в темноту спички, будто не замечая, что гимназист обнимает ее и целует то в шею, то в щеку, ищет ее губы. Она отодвигает его локтем, он намерение громко и просто, имея в виду малого на козлах, говорит ей:

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
– Отдайте спички. Мне закурить нечем будет.

– Сейчас, сейчас! – кричит она, и опять вспыхивает спичка, потом зарница, и тьма еще гуще слепит теплой чернотой, в которой все кажется, что тележка катится назад. Наконец она уступает ему долгим поцелуем в губы, как вдруг, толчком мотнув их обоих, тележка точно натывается на что-то – малый круто осаживает лошадей.

– Волки! – вскрикивает он.

В глаза бьет зарево пожара вдаль направо. Тележка стоит против того леска, что открывался при зарницах. Лесок от зарева стал теперь черным и весь зыбко дрожит, как дрожит и все поле перед ним в сумрачно-красном трепете от того жадно несущегося в небе пламени, которое, несмотря на даль, полыхает с бегущими в нем тенями дыма точно в версте от тележки, разъяряется все жарче и грознее, охватывает горизонт все выше и шире, – кажется, что жар его уже доходит до лица, до рук, виден даже над чернотой земли красный переплет какой-то сгоревшей крыши. А под стеной леса стоят, багрово серея, три больших волка, и в глазах у них мелькает то сквозной зеленый блеск, то красный, – прозрачный и яркий, как горячий сироп варенья из красной смородины. И лошади, шумно всхрапнув, вдруг диким галопом ударяют вбок, влево, по пашне, малый, на вожжах, валится назад, а тележка, со стуком и треском, мотаясь, бьется по взметам...

Где-то над оврагом лошади еще раз взметнулись, но она, вскочив, успела вырвать вожжи из рук ошалевшего малого. Тут она с размаху полетела в козлы и рассекла щеку об что-то железное. Так и остался на всю жизнь легкий шрам в уголке ее губ, и, когда у ней спрашивали, отчего это, она с удовольствием улыбалась:

– Дела давно минувших дней! – говорила она, вспоминая то давнее лето, августовские сухие дни и темные ночи, молотьбу на гумне, ометы новой пахучей соломы и небритого гимназиста, с которым она лежала в них вечерами, глядя на ярко-мгновенные дуги падающих звезд. – Волки испугали, лошади понесли, – говорила она. – А я была горячая, отчаянная, бросилась останавливать их...

Те, кого она еще не раз любила в жизни, говорили, что нет ничего милее этого шрама, похожего на тонкую постоянную улыбку.

7 октября 1940

Визитные карточки\*

Было начало осени, бежал по опустевшей Волге пароход «Гончаров». Завернули ранние холода, туго и быстро дул навстречу, по серым разливам ее азиатского простора, с ее восточных, уже порыжевших берегов, студеной ветер, трепавший флаг на корме, шляпы, картузы и одежды ходивших по палубе, морщивший им лица, бивший в рукава и полы. И бесцельно и скучно провожала пароход единственная чайка – то летела, выпукло кренясь на острых крыльях, за самой кормой, то косо смывалась вдаль, в сторону, точно не зная, что с собой делать в этой пустыне великой реки и осеннего серого неба.

И пароход был почти пуст, – только артель мужиков на нижней палубе, а по верхней ходили взад и вперед, встречаясь и расходясь, всего трое: те два из второго класса, что оба плыли куда-то в одно и то же место и были неразлучны, гуляли всегда вместе, все о чем-то деловито говоря, и были похожи друг на друга незаметностью, и пассажир первого класса, человек лет тридцати, недавно прославившийся писатель, заметный своей не то печальной, не то сердитой серьезностью и отчасти наружностью: он был высок, крепок, – даже слегка гнулся, как некоторые сильные люди, – хорошо одет и в своем роде красив: брюнет того восточного типа, что встречается в Москве среди ее старинного торгового люда; он и вышел из этого люда, хотя ничего общего с ним уже не имел.

Он одиноко ходил твердой поступью, в дорогой и прочной обуви, в черном шевиотовом пальто и клетчатой английской каскетке, шагал взад и вперед, то навстречу ветру, то под ветер, дыша этим сильным воздухом осени и Волги. Он доходил до кормы, стоял на ней, глядя на расстилающуюся и бегущую серой зыбью сзади парохода реку и опять, резко повернувшись, шел к носу, на ветер, нагибая голову в надувавшейся каскетке и слушая мерный стук колесных плиц, с которых стеклянным холстом катилась шумящая вода. Наконец он вдруг приостановился и

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин хмуро улыбнулся: показалась поднимающаяся из пролета лестницы, с нижней палубы, из третьего класса, черная дешевенькая, шляпка и под ней испитое, милое лицо той, с которой он случайно познакомился вчера вечером. Он пошел к ней навстречу широкими шагами. Вся поднявшись на палубу, неловко пошла и она на него и тоже с улыбкой, подгоняемая ветром, вся косясь от ветра, придерживая худой рукой шляпку, в легком пальтишке, под которым видны были тонкие ноги.

– Как изволили почивать? – громко и мужественно сказал он на ходу.

– Отлично! – ответила она неумеренно весело. – Я всегда сплю, как сурок...

Он задержал ее руку в своей большой руке и посмотрел ей в глаза. Она с радостным усилием встретила его взгляд.

– Что ж вы так заспались, ангел мой, – сказал он фамильярно. – Добрые люди уже завтракают.

– Все мечтала! – ответила она бойко, совсем несоответственно всему своему виду.

– О чем же это?

– Мало ли о чем?

– Ой, смотрите! «Так тонут маленькие дети, купаясь летнею порой, чеченец ходит за рекой».

– Вот чеченца-то я и жду! – ответила она с той же веселой бойкостью.

– Пойдем лучше водку пить и уху есть, – сказал он, думая: ей и завтракать-то, верно, не на что.

Она кокетливо затопала ногами:

– Да, да, водки, водки! Чертов холод!

И они скорым шагом пошли в столовую первого класса, она впереди, он за нею, уже с некоторой жадностью осматривая ее.

Он вспоминал о ней ночью. Вчера, случайно заговорив с ней и познакомившись у борта парохода, подходившего в сумерки к какому-то черному высокому берегу, под которым уже рассыпаны были огни, он потом посидел с ней на палубе, на длинной лавке, идущей вдоль кают первого класса, под их окнами с белыми сквозными ставнями, но посидел мало и ночью жалел об этом. К удивлению своему, он ночью понял, что уже хотел ее. Почему? По привычке дорожного влечения к случайным и неизвестным спутницам? Теперь, сидя с ней в столовой, чокаясь рюмками под холодную зернистую икру с горячим калачом, он уже знал, почему так влечет его она, и нетерпеливо ждал доведения дела до конца. Оттого, что все это – и водка и ее развязность – было в удивительном противоречии с ней, он внутренне волновался все больше.

– Ну-с, еще по единой, и шабаш! – говорит он.

– И правда шабаш, – отвечает она в тон ему. – А замечательная водка!

Конечно, она тронула его тем, что так растерялась вчера, когда он назвал ей свое имя, поражена была неожиданным знакомством с известным писателем, – чувствовать и видеть эту растерянность было, как всегда, приятно, это всегда располагает к женщине, если она не совсем дурна и глупа, сразу создает некоторую интимность между тобой и ею, дает смелость в обращении с нею и уже как бы некоторое право на нее. Но не одно это возбуждало его: он, видимо, поразил ее и как мужчина, а она его тронула именно всей своей бедностью и простосердечностью. Он уже усвоил себе бесцеремонность с поклонницами, легкий и скорый переход от первых минут знакомства с ними к вольности обращения, якобы артистического, и эту наигранную простоту расспросов: кто вы такая? откуда? замужняя или нет? Так расспрашивал он и вчера – глядел в сумрак вечера на разноцветные огни на бакенах, длинно отражавшиеся в темнеющей воде вокруг парохода на красно горевший костер на плотках, чувствовал гранах дымка оттуда, думая: «Это надо запомнить – в этом дымке тотчас чудится запах ухи», – и расспрашивал:

– Можно узнать, как зовут?

Она быстро сказала свое имя-отчество.

– Возвращаетесь откуда-нибудь домой?

– Была в Свяжске у сестры, у нее внезапно умер муж, и она, понимаете, осталась в ужасном положении...

Она сперва так смушалась, что все смотрела куда-то вдаль. Потом стала отвечать смелее.

– А вы тоже замужем?

Она начала странно усмехаться:

– Замужем. И, увы, уже не первый год...

– Почему увы?

– Выскочила по глупости чересчур рано. Не успеешь оглянуться, как жизнь пройдет!

– Ну, до этого еще далеко.

– Увы, недалеко! А я еще ничего, ничего не испытала в жизни!

– Еще не поздно испытать.

И тут она вдруг с усмешкой тряхнула головой:

– И испытаю!

– А кто ваш муж? Чиновник?

Она махнула ручкой:

– Ах, очень хороший и добрый, но, к сожалению, совсем не интересный человек... Секретарь нашей земской уездной управы...

«Какая милая и несчастная!» – подумал он и вынул портсигар:

– Хотите папиросу?

– Очень!

И она неумело, но отважно закурила, быстро, по-женски затягиваясь. И в нем еще раз дрогнула жалость к ней, к ее развязности, а вместе с жалостью – нежность и сладострастное желание воспользоваться ее наивностью и запоздалой неопытностью, которая, он уже чувствовал, непременно соединится с крайней смелостью. Теперь, сидя в столовой, он с нетерпением смотрел на ее худые руки, на увядшее и оттого еще более трогательное личико, на обильные, кое-как убранные темные волосы, которыми она все встряхивала, сняв черную шляпку и скинув с плеч, с бумазейного платья серое пальтишко. Его умиляла и возбуждала та откровенность, с которой она говорила с ним вчера о своей семейной жизни, о своем немолодом возрасте, и то, что она вдруг так расхрабрилась теперь, делает и говорит как раз то, что так удивительно не идет к ней. Она слегка покраснелась от водки, даже бледные губы ее порозовели, глаза налились сонно-насмешливым блеском.

– Знаете, – сказала она вдруг, – вот мы говорили о мечтах: знаете, о чем я больше всего мечтала гимназисткой? Заказать себе визитные карточки! Мы совсем обеднели тогда, продали остатки имения и переехали в город, и мне совершенно некому было давать их, а как я мечтала! Ужасно глупо...

Он сжал зубы и крепко взял ее ручку, под тонкой кожей которой чувствовались все косточки, но она, совсем не поняв его, сама, как опытная обольстительница, поднесла ее к его губам и томно посмотрела на него.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
– Пойдем ко мне...

– Пойдем... Здесь, правда, что-то душно, накурено!

И, встряхнув волосами, взяла шляпку.

Он в коридоре обнял ее. Она гордо, с негой посмотрела на него через плечо. Он с ненавистью страсти и любви чуть не укусил ее в щеку. Она, через плечо, вакхически подставила ему губы.

В полусвете каюты с опущенной на окне сквозной решеткой она тотчас же, спеша угодить ему и до конца дерзко использовать все то неожиданное счастье, которое вдруг выпало на ее долю с этим красивым, сильным и известным человеком, расстегнула и стоптала с себя упавшее на пол платье, осталась, стройная, как мальчик, в легонькой сорочке, с голыми плечами и руками и в белых панталончиках, и его мучительно пронзила невинность всего этого.

– Все снять? – шепотом спросила она, совсем, как девочка.

– Все, все, – сказал он, мрачней все более.

Она покорно и быстро переступила из всего сброшенного на пол белья, осталась вся голая, серо-сиреневая, с той особенностью женского тела, когда оно нервно зябнет, становится туго и прохладно, покрываясь гусиной кожей, в одних дешевых серых чулках с простыми подвязками, в дешевых черных туфельках, и победоносно пьяно взглянула на него, берясь за волосы и вынимая из них шпильки. Он, холодея, следил за ней. Телом она оказалась лучше, моложе, чем можно было думать. Худые ключицы и ребра выделялись в соответствии с худым лицом и тонкими голеньями. Но бедра были даже крупны. Живот с маленьким глубоким пупком был впалый, выпуклый треугольник темных красивых волос под ним соответствовал обилию темных волос на голове. Она вынула шпильки, волосы густо упали на ее худую спину в выступающих позвонках. Она наклонилась, чтобы поднять спадающие чулки, – маленькие груди с озябшими, сморщившимися коричневыми сосками повисли тощими грушками, прелестными в своей бедности. И он заставил ее испытать то крайнее бесстыдство, которое так не к лицу было ей и потому так возбуждало его жалостью, нежностью, страстью.. Между планок оконной решетки, косо торчавших вверх, ничего не могло быть видно, но она с восторженным ужасом косилась на них, слышала беспечный говор и шаги проходящих по палубе под самым окном, и это еще страшнее увеличивало восторг ее развратности. О, как близко говорят и идут – и никому и в голову не приходит, что делается на шаг от них, в этой белой каюте!

Потом он ее, как мертвую, положил на койку. Сжав зубы, она лежала с закрытыми глазами и уже со скорбным успокоением на побледневшем и совсем молодом лице.

Перед вечером, когда пароход причалил там, где ей нужно было сходить, она стояла возле него тихая, с опущенными ресницами. Он поцеловал ее холодную ручку с той любовью, что остается где-то в сердце на всю жизнь, и она, не оглядываясь, побежала вниз по сходням в грубую толпу на пристани.

5 октября 1940

(обратно)

Зойка и Валерия\*

Зимой Левицкий проводил все свое свободное время в московской квартире Данилевских, летом стал приезжать к ним на дачу в сосновых лесах по Казанской дороге.

Он перешел на пятый курс, ему было двадцать четыре года, но у Данилевских только сам доктор говорил ему «коллега», а все остальные звали его Жоржем и Жоржиком. По причине одиночества и влюбчивости, он постоянно привязывался к какому-нибудь знакомому дому, скоро становился в нем своим человеком, гостем изо дня в день и даже с утра до вечера, если позволяли занятия, – теперь стал он таким у Данилевских. И тут не только хозяйка, но даже дети, очень полная Зойка и ушастый Гришка, обращались с ним, как с каким-нибудь дальним и бездомным родственником. Был он с виду прост и добр, услужлив и неразговорчив, хотя с большой готовностью отзывался на всякое слово, обращенное к нему.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

Пациентам Данилевского отворяла дверь пожилая женщина в больничном платье, они входили в просторную прихожую, устланную коврами и обставленную тяжелой старинной мебелью, и женщина надевала очки, с карандашом в руке строго смотрела в свой дневник и одним назначала день и час будущего приема, а других вводила в высокие двери приемной, и там они долго ждали вызова в соседний кабинет, на допрос и осмотр к молодому ассистенту в сахарно-белом халате, и только уже после этого попадали к самому Данилевскому, в его большой кабинет с высоким одром у задней стены, на который он заставлял некоторых из них влезать и ложиться в самой жалкой и неловкой от страха позе: пациентов все смущало – не только ассистент и женщина в прихожей, где с такой гробовой медлительностью, блистая, ходил из стороны в сторону медный диск маятника в старинных стоячих часах, но и весь важный порядок этой богатой, просторной квартиры, это выжидательное молчание приемной, где никто не смел сделать лишнего вздоха, и все они думали, что это какая-то совсем особенная, вечно безжизненная квартира и что сам Данилевский, высокий, плотный, грубоватый, вряд ли хоть раз в году улыбается. Но они ошибались: в той жилой части квартиры, куда вели двойные двери из прихожей направо, почти всегда было шумно от гостей, со стола в столовой не сходил самовар, бегала горничная, добавляя к столу то чашек и стаканов, то вазочек с вареньем, то сухарей и булочек, и Данилевский даже в часы приема нередко пробегал туда по прихожей на цыпочках и, пока пациенты ждали его, думая, что он страшно занят каким-нибудь тяжелобольным, сидел, пил чай, говорил про них гостям: «Хай трошки подождут, матери их черт!» Однажды, сидя так и с усмешкой поглядывая на Левицкого, на сухую худобу и некоторую гнущность его тела, на его слегка кривые ноги и впалый живот, на обтянутое тонкой кожей лицо в веснушках, ястребиные глаза и рыжие, круто выщипанные волосы, Данилевский сказал:

– А признайтесь, коллега: ведь есть в вас какая-нибудь восточная кровь, жидовская, например, или кавказская?

Левицкий ответил со своей неизменной готовностью к ответам:

– Никак нет, Николай Григорьевич, жидовской нет. Есть польская, есть, может быть, ваша украинская, – ведь Левицкие есть и украинцы, – слышал от деда, будто есть и турецкая, но правда ли, один аллах ведает.

И Данилевский с удовольствием расхохотался:

– Ну вот, я все-таки угадал! Так что будьте осторожны, дамы и девицы, он турок и вовсе не такой скромник, как вы думаете. Да и влюбчив он, как вам известно, по-турецки. Чей теперь черед, коллега? Кто теперь дама вашего широкого сердца?

– Дария Тадиевна, – быстро залившись тонким огнем, ответил Левицкий с протосердечной улыбкой – он часто так краснел и улыбался.

Очаровательно смутилась, так что даже ее смородиновые глаза как будто на миг куда-то пропали, и сама Дария Тадиевна, миловидная, с синеватым пушком на верхней губе и вдоль щек, в черном шелковом чепчике после тифа, полулежавшая в кресле.

– Что ж, это ни для кого не секрет и вполне понятно, – сказала она, – ведь во мне тоже восточная кровь...

И Гриша сладострастно заорал: «А, попались, попались!», а Зойка выбежала в соседнюю комнату и с разбега упала спиной к отвалу дивана с раскосившимися глазами.

Действительно, зимой Левицкий был скрытно влюблен в Дарию Тадиевну, а до нее испытывал некоторые чувства и к Зойке. Ей было всего четырнадцать лет, но она уже была очень развита телесно, сзади особенно, хотя еще по-детски были нежны и круглы ее сизые голые колени под короткой шотландской юбочкой. Год тому назад ее взяли из гимназии, не учили и дома, – Данилевский нашел в ней зачатки какой-то мозговой болезни, – и она жила в беспечном безделье, никогда не скучая. Она так была со всеми ласкова, что даже облизывалась. Она была крутолоба, у нее был наивно-радостный, как будто всегда чему-то удивленный взгляд маслянистых синих глаз и всегда влажные губы. При всей полноте ее тела, в нем было грациозное кокетство движений. Красный бант, завязанный в ее орехом переливающихся волосах, делал ее особенно соблазнительной. Она свободно садилась на колени к Левицкому – как бы невинно, ребячески – и, верно, чувствовала, что втайне испытывает он,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин держала ее полноту, мягкость и тяжесть и отводя глаза от ее голых колен под клетчатой юбочкой. Иногда он не выдерживал, как бы шутя целовал ее в щеку, и она закрывала глаза, томно и насмешливо улыбалась. Она однажды шепотом сказала ему под страшным секретом то, что только она одна в мире знала про маму: мама влюблена в молодого доктора Титова! Маме сорок лет, но ведь она стройна, как барышня, и страшно моложава, и оба они, и мама и доктор, такие красивые и высокие ростом! Потом Левицкий стал невнимателен к ней – стала появляться в доме Дария Тадиевна. Зойка сделалась еще как будто веселее, беспечнее, но не сводила глаз ни с нее, ни с Левицкого, часто с криком кидалась целовать ее, но так ненавидела, что, когда та заболела тифом, каждый день ждала радостной вести из больницы о ее смерти. А потом она ждала ее отъезда – и лета, когда Левицкий, освободившись от занятий, начнет ездить к ним на дачу по Казанской дороге, где Данилевские жили летом уже третий год: она тайком вела некоторую охоту на него.

И вот лето пришло, и он стал приезжать каждую неделю на два, на три дня. Но тут вскоре приехала гостить племянница папы из Харькова, Валерия Остроградская, которой ни Зойка, ни Гришка никогда еще не видали. Левицкого послали рано утром в Москву встречать ее на Курском вокзале, и со станции он приехал не на велосипеде, а сидя с ней в тележке станционного извозчика, усталый, с провалившимися глазами, радостно взволнованный. Видно было, что он еще на Курском вокзале влюбился в нее, и она обращалась с ним уже повелительно, когда он вытаскивал из тележки ее вещи. Впрочем, взбежав на крыльцо навстречу маме, она тотчас забыла о нем и потом не замечала его весь день. Она показалась Зойке непонятной, – разбирая вещи в своей комнате и сидя потом на балконе за завтраком, она то очень много говорила, то неожиданно смолкала, думала что-то свое.

Но она была настоящая малороссийская красавица! И Зойка приставала к ней с неугомонной настойчивостью:

– А вы привезли с собой сафьянные сапожки и плахту? Вы наденете их? Вы позволите называть вас Валечкой?

Но и без малороссийского наряда она была очень хороша: крепкая, ладная, с густыми темными волосами, с бархатными бровями, почти сросшимися, с грозными глазами цвета черной крови, с горячим темным румянцем на загорелом лице, с ярким блеском зубов и полными вишневыми губами. Руки у нее были маленькие, но тоже крепкие, ровно загорелые, точно слегка прокопченные. А какие плечи! И как сквозили на них под тонкой белой блузкой шелковые розовые ленточки, державшие сорочку! Юбка была довольна короткая, совсем простая, но удивительно сидела на ней. Зойка так восхищалась, что даже не ревновала Левицкого, который перестал уезжать в Москву и не отходил от Валерии, счастливый тем, что она приблизила его к себе, тоже стала называть Жоржем и то и дело что-нибудь приказывала ему. Дальше дни пошли совсем летние, жаркие, гости все чаще приезжали из Москвы, и Зойка заметила, что Левицкий получил отставку, сидит все больше возле мамы, помогает ей чистить малину, что Валерия влюбилась в доктора Титова, в которого тайно влюблена мама. С Валерией вообще что-то сделалось – когда не было гостей, она перестала менять нарядные блузки, как делала прежде, иногда с утра до вечера ходила в мамино пеньюаре и вид имела брезгливый. Было страшно интересно: целовалась она с Левицким до своей влюбленности в Титова или нет? Гришка клялся, что видел, как она с Левицким шла раз перед обедом с купанья по еловой аллее, повязанная, как чалмой, полотенцем, как Левицкий тащил, спотыкаясь, ее мокрую простыню и что-то часто, часто говорил и как она приостановилась, а он вдруг схватил ее за плечо и поцеловал в губы.

– Я прижался за елью, и они не видали меня, – горячо говорил Гришка, выкатывая глаза, – а я все видел. Она была страшно красивая, только вся красная, было еще страшно жарко, и она, конечно, перекупалась, ведь она всегда по два часа сидит в воде и плавает, я это тоже подсмотрел, она голая прямо наяда, а он говорил, говорил, вот уж правда как турок...

Гришка клялся, но он любил выдумывать всякие глупости, и Зойка верила и не верила.

По субботам и воскресеньям поезда, приходившие на станцию из Москвы, даже утром были переполнены народом, праздничными гостями дачников. Иногда шел тот прелестный дождь сквозь солнце, когда зеленые вагоны, обмытые им, блестели, как новенькие, белые клубы дыма из паровоза казались особенно мягкими, а зеленые

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
вершины сосен, стройно и часто стоявших за поездом, круглились необыкновенно высоко в ярком небе. Приезжие напоребой хватали на изрытом горячем песке за станцией извозчицы тележки и с дачной отрадой катили по песчаным дорогам в просеках бора, под небесными лентами над ними. Наступило полное дачное счастье в бору, который без конца покрывал окрест сухую, слегка волнистую местность. Дачники, водившие московских гостей гулять, говорили, что тут недостает только медведей, декламировали «и смолой и земляникой пахнет темный бор» и аукались, наслаждались своим летним благополучием, праздностью и вольностью одежды – косоворотками навыпуск с расшитыми подолами, длинными жгутами цветных поясов, холщовыми картузами: иного московского знакомого, какого-нибудь профессора или редактора журнала, бородатого, в очках, не сразу можно было и узнать в такой косоворотке и в таком картузе.

Среди всего этого дачного счастья Левицкий был вдвойне несчастен, чувствуя себя с утра до вечера жалким, обманутым, лишним. День и ночь он думал одно и то же: зачем, зачем так скоро и безжалостно приблизила она его к себе, сделала не то своим другом, не то рабом, потом любовником, который должен был довольствоваться редким и всегда неожиданным счастьем только поцелуев, зачем говорила ему то «ты», то «вы», и как у ней хватало жестокости так просто, так легко вдруг перестать даже замечать его в первый же день знакомства с Титовым? Он сгорал стыдом и от своего бессовестного торчания в усадьбе. Завтра же надо исчезнуть, бежать в Москву, скрыться от всех с этим позорным несчастьем обманутой дачной любви, столь явным даже для прислуги в доме! Но при этой мысли так пронзало воспоминанье о бархатистости ее вишневых губ, что отнимались руки и ноги. Если он сидел на балконе один и она случайно проходила мимо, она с неумеренной простотой говорила ему на ходу что-нибудь особенно незначительное – «а где же это тетя? вы ее не видали?» – и он спешил ответить ей в тон, готовый зарыдать от боли. Раз, проходя, она увидела у него на коленях Зойку, – какое ей было до этого дело? Но она вдруг бешено сверкнула глазами, крикнула: «Не смей, гадкая девчонка, лазить по коленям мужчин!» – и его охватил восторг: это ревность, ревность! А Зойка улучала каждую минуту, когда можно было где-нибудь в пустой комнате на бегу схватить его за шею и зашептать, блестя глазами и облизывая губы: «Миленький, миленький, миленький!» Она так ловко поймала однажды его губы своим влажным ртом, что он целый день не мог вспомнить ее без сладострастного содрогания – и ужаса: что же это такое со мной! как мне теперь глядеть в глаза Николаю Григорьевичу и Клавдии Александровне!

Двор дачи, похожий на усадьбу, был большой. Справа от въезда стояла пустая старая конюшня с сеновалом в надстройке, потом длинный флигель для прислуги, соединенный с кухней, из-за которой глядели березы и липы, слева, на твердой, бугристой земле, просторно росли старые сосны, на лужайках между ними поднимались гигантские шаги и качели, дальше, уже у стены леса, была ровная крокетная площадка. Дом, тоже большой, стоял как раз против въезда, за ним большое пространство занимало смешение леса и сада с мрачно-величавой аллеей древних елей, шедшей посреди этого смешения от заднего балкона к купальне на пруду. И хозяева, одни или с гостями, сидели всегда на переднем балконе, вдававшемся в дом и защищенном от солнца. В то воскресное жаркое утро на этом балконе сидели только хозяйка и Левицкий. Утро, как всегда при гостях, казалось особенно праздничным, а гостей приехало много, и горничные, блестя новыми платьями, то и дело прибегали по двору из кухни в дом и из дома в кухню, где шла спешная работа к завтраку. Приехало пятеро: темнолицый, желчный писатель, всегда не в меру серьезный и строгий, но страстный любитель всяких игр, коротконогий и похожий на Сократа профессор, в пятьдесят лет только что женившийся на своей двадцатилетней ученице и приехавший вместе с ней, тоненькой блондинкой, очень нарядная маленькая дама, прозванная Осой за свой рост и худобу, злость и обидчивость, и Титов, которого Данилевский прозвал наглым джентльменом. Теперь все гости, Валерия и сам Данилевский были под соснами возле леса, в их сквозной тени, – Данилевский курил в кресле сигару, дети с писателем и женой профессора носились на гигантских шагах, а профессор, Титов, Валерия и Оса бегали, стучали молотками в крокетные шары, перекликались, спорили, ссорились. И Левицкий с хозяйкой слушали их. Левицкий пошел было туда – Валерия тотчас прогнала его: «Тетя одна чистит вишни, извольте идти помогать ей!» Он неловко улыбнулся, постоял, посмотрел, как она, с молотком в руках, нагибается к крокетному шару, как висит ее чесучовая юбка над тугими икрами в тонких чулках палевого шелка, как полно и тяжело натягивают ее груди прозрачную блузку, под которой сквозит загорелое тело круглых плечей, кажущееся розоватым от розовых перемычек сорочки, – и побрел на балкон. Он был особенно жалок в это утро, и хозяйка, как всегда, ровная, спокойная, ясная молодежавым лицом и взглядом чистых глаз, тоже слушая с

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин тайной болью в сердце голоса под соснами, искоса поглядывала на него.

– Теперь руки и не отмоешь, – говорила она, окровавленными пальцами запуская золоченую вилочку в вишню, – а вы, Жорж, всегда умеете как-то особенно испачкаться... Милый, отчего вы все в кителе, ведь жарко, могли бы отлично ходить в одной рубашке с поясом. И не брились десять дней...

Он знал, что впалые щеки его заросли красноватой щетиной, что он ужасно затаскал свой единственный белый китель, что студенческие штаны его лоснятся и ботинки не чищены, знал, как сутуло сидит он с своей узкой грудью и впалым животом, и отвечал, краснея:

– Правда, правда, Клавдия Александровна, я не брит, как беглый каторжник, вообще совсем опустился, бессовестно пользуясь вашей добротой, простите, Бога ради. Нынче же приведу себя в порядок, тем более, что давным-давно пора мне в Москву, я уж так загостился у вас, что всем глаза намозолил. Я твердо решил завтра же ехать. Меня один товарищ зовет к себе в Могилев, – пишет, удивительно живописный город...

И нагнулся еще ниже над столом, услышав с крокета повелительный крик Титова на Валерию:

– Нет, нет, сударыня, это не по правилам! Не умеете ножку на шар ставить, бьете по ней молотком – ваша вина. А два раза крокировать не полагается...

За завтраком ему казалось, что все сидящие за столом вселились в него, – едят, говорят, острят и хохочут в нем. После завтрака все пошли отдыхать в тени еловой аллеи, густо усыпанной скользкими хвойными иголками, горничные потащили туда ковры и подушки. Он прошел по жаркому двору к пустой конюшне, поднялся по стенной лестнице на ее полутемный чердак, где лежало старое сено, и повалился в него, стараясь что-то решить, стал пристально смотреть, лежа на животе, на муху, которая сидела на сене перед самыми его глазами и сперва быстро сучила крест-накрест передними ножками, точно умывалась, а потом как-то противоестественно, с усилием стала задирать задние. Вдруг кто-то быстро вбежал на чердак, распахнул и запахнул дверь, – и, обернувшись, он увидел в свете слухового окна Зойку. Она прыгнула к нему, утонула в сене и, задышавшись, зашептала, тоже лежа на животе и будто испуганно глядя ему в глаза:

– Жоржик, миленький, я что-то должна вам сказать – страшно для вас интересное, замечательное!

– Что такое, Зочка? – спросил он, приподнимаясь.

– А вот увидите! Только сначала поцелуйте меня за это – непременно!

И забила ногами по сену, обнажая полные ляжки.

– Зочка, – начал он, не в силах от душевной измученности удержать в себе болезненное умиление, – Зочка, вы одна меня любите, и я вас тоже очень люблю... Но не надо, не надо...

Она пуще забила ногами:

– Надо, надо, непременно!

И упала головой ему на грудь. Он увидел под красным бантом молодой блеск ее ореховых волос, услышал их запах и прижался к ним лицом. Вдруг она тихо и пронзительно вскрикнула «ай!» и схватила себя за юбку сзади.

Он вскочил:

– Что такое?

Она, упав головой в сено, зарыдала:

– Меня что-то страшно укусило там... Посмотрите, посмотрите скорее!

И откинула юбку на спину, сдернула с своего полного тела панталончики:

– Что там? Кровь?

– Да ровно ничего нет, Зочка!

– Как нет? – крикнула она, опять зарыдав. Подуйте, подуйте, мне страшно больно!

И он, дунув, жадно поцеловал несколько раз в нежный холод широкой полноты ее зада. Она вскочила в сумасшедшем восторге, блестя глазами и слезами:

– Обманула, обманула, обманула! И вот вам за это страшный секрет: Титов дал ей отставку! Полную отставку! Мы с Гришкой все слышали в гостиной: они идут по балкону, мы сели на пол за креслами, а он ей и говорит, страшно оскорбительно: «Сударыня, я не из тех, кого можно водить за нос. И притом я вас не люблю. Полюблю, если заслужите, а пока никаких объяснений». Здорово? Так ей и надо!

И, вскочив, кинулась в дверь и вниз по лестнице.

Он посмотрел ей вслед:

– Я негодяй, которого мало повесить! – сказал он громко, еще чувствуя на своих губах ее тело.

Вечером в усадьбе было тихо, наступило успокоение, чувство семейственности, – гости в шесть часов уехали... Теплые сумерки, лекарственный запах цветущих лип за кухней. Сладкий запах дыма и кушаний из кухни, где готовят ужин. И мирное счастье всего этого – сумерек, запахов – и все еще что-то обещающая мука ее присутствия, ее существования возле него... разрывающая душу мука любви к ней – и ее беспощадное равнодушие, отсутствие... Где она? Он сошел с переднего балкона, слушая мерный, с промежутками, визг и скрип качелей под соснами, прошел к ним – да, это она. Он остановился, глядя, как она широко летает вверх и вниз, все ту же натягивая веревки, силясь взлететь до последней высоты, и делает вид, что не замечает его. С визгом колец жутко летит кверху, исчезает в ветвях и, как подстреленная, стремительно несется вниз, приседая и развевая подол. Вот бы поймать! Поймать и задушить, изнасиловать!

– Валерия Андреевна! Осторожнее!

Точно не слыша, наддает еще крепче...

За ужином на балконе, под горячей яркой лампой, смеялись над гостями, спорили о них. Неестественно и зло смеялась и она, жадно ела творог со сметаной, опять без единого взгляда в его сторону. Одна Зойка молчала и все косилась на него, блестя глазами, знающими что-то вместе с ним одним.

Все разошлись и легли рано, в, доме не осталось ни одного огня. Всюду стало темно и мертво. Незаметно ускользнув тотчас после ужина в свою комнату, дверь которой выходила на передний балкон, он стал совать свое белье в свой заплечный мешок, думая: выведу потихоньку велосипед, сяду – и на станцию. Возле станции лягу где-нибудь на песок в лесу до первого утреннего поезда... Хотя нет, так нельзя. Выйдет Бог знает что, – сбежал, как мальчишка, ночью, ни с кем не простясь! Надо ждать до завтра – и уехать беспечно, как ни в чем не бывало: «До свиданья, дорогой Николай Григорьевич, до свиданья, дорогая Клавдия Александровна! Спасибо, спасибо за все! Да, да, в Могилев, удивительно, говорят, красивый город... Зочка, будьте здоровы, милая, растите и веселитесь! Гриша, дай пожать твою „честную“ руку! Валерия Андреевна, всех благ, не поминайте лихом...» Нет, не поминайте лихом ни к чему, глупо и бестактно, будто какой-то намек на что-то...

Чувствуя, что нет ни малейшей надежды заснуть, он тихо спустился с балкона, решив выйти на дорогу к станции и промаять себя, прошагать версты три. Но во дворе остановился: теплый сумрак, сладкая тишина, млечная белизна неба от несметных мелких звезд... Он пошел по двору, опять остановился, поднял голову: уходящая все глубже и глубже ввысь звездность и там какая-то страшная черно-синяя темнота, провалы куда-то... и спокойствие, молчание, непонятная, великая пустыня, безжизненная и бесцельная красота мира... безмолвная, вечная религиозность ночи... и он один, лицом к лицу со всем этим, в бездне между небом и землей... Он стал внутренне, без слов молиться о какой-то небесной милости, о

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
чьей-то жалости к себе, с горькой радостью чувствуя свое соединение с небом и уже некоторое отрешение от себя, от своего тела... Потом, стараясь удержать в себе эти чувства, посмотрел на дом: звезды отражаются расплюснутым блеском в черных стеклах окон – и в стеклах ее окна... Спит или лежит, в тупом оцепенении все одной и той же мысли о Титове! Да, вот и ее черед...

Он обошел большой, неопределенный в сумраке дом, пошел к заднему балкону, к поляне между ним и двумя страшными своей ночной высотой и чернотой рядами неподвижных елей с острыми верхушками в звездах. В темноте под елями рассыпаны неподвижные зелено-желтые огоньки светляков. И что-то смутно белеет на балконе...

Он приостановился, вглядываясь, и вдруг дрогнул от страха и неожиданности: с балкона раздался негромкий и ровный, без выражения голос:

– Что это вы бродите по ночам?

Он, в изумлении, двинулся и тотчас различил: она лежит в качалке, в старинной серебристой шали, которую все гости Данилевских накидывали на себя по вечерам, если оставались ночевать. От растерянности он тоже спросил:

– А вы почему не спите?

Она не ответила, помолчала, поднялась и неслышно сошла к нему, поправляя сползавшую шаль плечом:

– Пройдемся...

Он пошел за ней, сперва сзади, потом рядом, в темноту аллеи, будто что-то таившей в своей мрачной неподвижности. Что это? Он опять с ней, наедине, вдвоем, в этой аллее, в такой час? И опять эта шаль, всегда скользившая с ее плеч и коловшая кончики его пальцев своими шелковыми ворсинками, когда он поправлял ее на ней... Пересиливая судорогу в горле, он выговорил:

– За что, зачем вы так страшно мучите меня?

Она закачала головой:

– Не знаю. Молчи.

Он осмелел, возвысил голос:

– Да, за что и зачем? Зачем было вам...

Она поймала его висящую руку и стиснула ее:

– Молчи...

– Валя, я ничего не понимаю...

Она отбросила его руку, взглянула влево, на ель в конце аллеи, широко черневшую треугольником своей мантии:

– Помнишь это место? Тут я тебя в первый раз поцеловала. Поцелуй меня тут в последний раз...

И, быстро пройдя под ветви ели, порывисто кинула на землю шаль.

– Иди ко мне!

Тотчас вслед за последней минутой она резко и гадливо оттолкнула его и осталась лежать, как была, только опустила поднятые и раскинутые колени и уронила руки вдоль тела. Он пластом лежал рядом с ней, прильнув щекой к хвойным иглам, на которые текли его горячие слезы. В застывшей тишине ночи и лесов неподвижным ломтем дыни краснела вдаль, невысоко над смутным полем, поздняя луна.

В своей комнате он взглянул запухшими от слез глазами на часы и испугался: два без двадцати минут! Торопясь и стараясь не шуметь, он свел велосипед с балкона, тихо и скоро повел его по двору. За воротами вскочил в седло и, круто

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин согнувшись, бешено заработал ногами, прыгая по песчаным ухабам просеки, среди бегущей на него с двух сторон и сквозящей на предрассветном небе частой черноты стволов. «Опоздаю!» И он работал все горячее, вытирая потный лоб сгибом руки: курьерский из Москвы пролетел мимо станции – без остановки – в два пятнадцать, – ему оставалось всего несколько минут. Вдруг, в полусвете зари, еще похожем на сумерки, глянул в конце просеки темный вокзал станции. Вот оно! Он решительно вильнул по дороге влево, вдоль железнодорожного пути, вильнул вправо, на переезд, под шлагбаум, потом опять влево, между рельсами, и понесся, колотясь по шпалам, под уклон, навстречу вырвавшемуся из-под него, грохочущему и слепящему огнями паровозу.

13 октября 1940

(обратно)  
Таня\*

Она служила горничной у его родственницы, мелкой помещицы Казаковой, ей шел семнадцатый год, она была невелика ростом, что особенно было заметно, когда она, мягко виляя юбкой и слегка подняв под кофточкой маленькие груди, ходила босая или, зимой, в валенках, ее простое личико было только миловидно, а серые крестьянские глаза прекрасны только молодостью. В ту далекую пору он тратил себя особенно безрассудно, жизнь вел скитальческую, имел много случайных любовных встреч и связей – и как к случайной отнесся и к связи с ней...

\* \* \*

Она скоро примирилась с тем роковым, удивительным, что как-то вдруг случилось с ней в осеннюю ночь, несколько дней плакала, но с каждым днем все больше убеждалась, что случилось не горе, а счастье, что становится он ей все милее и дороже; в минуты близости, которые вскоре стали повторяться все чаще, уже называла его Петрушей и говорила о той ночи как об их общем заветном прошлом.

Он сперва и верил и не верил:

– Неужто правда ты не притворялась тогда, что спишь?

Но она только раскрывала глаза:

– Да разве вы не чувствовали, что я сплю, разве не знаете, как ребята и девки спят?

– Если бы я знал, что ты правда спишь, я бы тебя ни за что не тронул.

– Ну, а я ничего, ничего не чуяла, почти до самой последней минутки! Только как это вам вздумалось прийти ко мне? Приехали и даже не взглянули на меня, только уж вечером спросили: ты, верно, недавно нанялась, тебя, кажется, Таней зовут? и потом сколько времени смотрели будто без всякого внимания. Значит, притворялись?

Он отвечал, что, конечно, притворялся, но говорил неправду: все вышло и для него совсем неожиданно.

Он провел начало осени в Крыму и по пути в Москву заехал к Казаковой, прожил недели две в успокоительной простоте ее усадьбы и скудных дней начала ноября и собрался было уезжать. В тот день, на прощанье с деревней, он с утра до вечера ездил верхом с ружьем за плечами и с гончей собакой по пустым полям и голым перелескам, ничего не нашел и вернулся в усадьбу усталый и голодный, съел за ужином сковородку битков в сметане, выпил графинчик водки и несколько стаканов чаю, пока Казакова, как всегда, говорила о своем покойном муже и о своих двух сыновьях, служивших в Орле. Часов в десять дом, как всегда, был уже темен, только горела свеча в кабинете за гостиной, где он жил, приезжая. Когда он вошел в кабинет, она со свечой в руке стояла на его постели на тахте на коленях, водя горячей свечой по бревенчатой стене. Увидав его, она сунула свечу на ночной столик и, соскочив, кинулась вон.

– Что такое? – сказал он, оторопев. – Постой, что ты тут делала?

– Клопа жгла, – ответила она быстрым шепотом. – Стала оправлять вам постель,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
гляжу, а на стене клоп...

И со смехом убежала.

Он посмотрел ей вслед и, не раздеваясь, сняв только сапоги, прилег на стеганое одеяло на тахте, надеясь еще покурить и что-то подумать, – засыпать в десять часов было непривычно, – и тотчас заснул. На минуту очнулся, беспокоясь сквозь сон от дрожащего огня свечи, дунул на нее и опять заснул. Когда же опять открыл глаза, за двумя окнами во двор и за боковым окном в сад, полным света, стояла осенняя лунная ночь; пустая и одиноко прекрасная. Он нашел в сумраке возле тахты туфли и пошел в соседнюю с кабинетом прихожую, чтобы выйти на заднее крыльцо, – поставить ему на ночь, что нужно, забыли. Но дверь прихожей оказалась заперта на засов снаружи, и он пошел по таинственно освещенному со двора дому на парадное крыльцо. Туда выходили через главную прихожую и большие бревенчатые сенцы, этой прихожей, против высокого окна над старым рундуком, была перегородка, а за ней комната без окон, где всегда жили горничные. Дверь в перегородке была приотворена, за ней было темно. Он зажег спичку и увидел ее спящую. Она навзничь лежала на деревянной кровати, в одной рубашке и в бумазейной юбчонке, – под рубашкой круглились ее маленькие груди, босые ноги были заголены до колен, правая рука, откинута к стене, и лицо на подушке казались мертвыми... Спичка погасла. Он постоял – и осторожно подошел к кровати...

\* \* \*

Выходя через темные сенцы на крыльцо, он лихорадочно думал:

– Как странно, как неожиданно! И неужто она правда спала?

Он постоял на крыльце, пошел по двору... И ночь какая-то странная. Широкий, пустой, светло освещенный высокой луной двор. Напротив сарая, крытые старой окаменевшей соломой, – скотный двор, каретный сарай, конюшни. За их крышами, на северном небосклоне, медленно расходятся таинственные ночные облака – снеговые мертвые горы. Над головой только легкие белые, и высокая луна алмазно слезится в них, то и дело выходит на темно-синие прогалины, на звездные глубины неба, и будто еще ярче озаряет крыши и двор. И все вокруг как-то странно в своем ночном существовании, отрешенном от всего человеческого, бесцельно сияющее. И страну еще потому, что будто в первый раз видит он весь этот ночной, лунный осенний мир...

Он сел возле каретного сарая на подножку тарантаса, закиданного засохшей грязью. Было по-осеннему тепло, пахло осенним садом, ночь была торжественна, бесстрастна и благостна и как-то удивительно соединялась с теми чувствами, что унес он от этого неожиданного соединения с полудетским женским существом...

Она тихо зарыдала, придя в себя и будто бы только в эту минуту поняв то, что случилось. Но может быть, не будто бы, а действительно? Все тело ее поддавалось ему, как безжизненное. Он сперва шепотом побудил ее: «Послушай, не бойся...» Она не слышала или притворялась, что не слышит. Он осторожно поцеловал ее в горячую щеку – она никак не отозвалась на поцелуй, и он подумал, что она молча дала ему согласие на все, что за этим может последовать. Он разъединил ее ноги, их нежное, горячее тепло, – она только вздохнула во сне, слабо потянулась и закинула руку за голову...

– А если притворства не было? – подумал он, вставая с подножки и взволнованно глядя на ночь. Когда она зарыдала, сладко и горестно, он с чувством не только животной благодарности за то неожиданное счастье, которое она бессознательно дала ему, но и восторга, любви стал целовать ее в шею, в грудь, все упоительно пахнущее чем-то деревенским, девичьим. И она, рыдая, вдруг ответила ему женским бессознательным порывом – крепко и тоже будто благодарно обняла и прижала к себе его голову. Кто он, она еще не понимала в полусне, но все равно – это был тот, с кем она, в некий срок, впервые должна была соединиться в самой тайной и блаженно-смертной близости. Эта близость, обоюдная, совершилась и уже ничем в мире расторгнута быть не может, и он навеки унес ее в себе, и вот эта необыкновенная ночь принимает его в свое непостижимое светлое царство вместе с нею, с этой близостью...

Как он мог, уезжая, вспоминать ее только случайно, забывая ее милый простосердечный голосок, ее то радостные, то грустные, но всегда любящие,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин преданные глаза, как он мог любить других и некоторым из них придавать гораздо больше значения, чем ей!

\* \* \*

На другой день она служила, не поднимая глаз. Казакова спросила:

– Что это ты такая, Таня?

Она покорно ответила:

– Мало ли у меня горя, барыня...

Казакова сказала ему, когда она вышла:

– Да, конечно: сирота, без матери, отец нищий, беспутный мужик...

Перед вечером, когда она ставила на крыльце самовар, он, проходя, сказал ей:

– Ты не думай, я тебя давно полюбил. Брось плакать, убиваться, этим ничему не поможешь...

Она тихо ответила, смаргивая слезы и суя в самовар пылающие щепки:

– Кабы правда полюбили, все бы легче было...

Потом она стала иногда взглядывать на него, как бы несмело спрашивать взглядом: правда?

Раз вечером, когда она вошла оправлять ему постель, он подошел к ней и обнял ее за плечо. Она с испугом взглянула на него и, вся покраснев, прошептала:

– Отойдите за-ради Господа. Того гляди старуха зайдет...

– Какая старуха?

– Да старая горничная, будто не знаете!

– Я к тебе нынче ночью приду...

Ее точно обожгло, – первое время старуха приводила ее в ужас:

– Ох, что вы, что вы! Я с ума от страха сойду!

– Ну, не надо, не бойся, не приду, – сказал он поспешно.

Она служила теперь уже по-прежнему, скоро и заботливо, опять стала вихрем носиться через двор в кухню, как носилась прежде, и порой, улучив удобную минуту, тайком бросала на него взгляды уже смущенно-радостные. И вот однажды утром, чем свет, когда он еще спал, ее отправили в город за покупками. За обедом Казакова сказала:

– Что делать, старосту с работником я отослала на мельницу, некого послать за Таней на станцию. Может, ты бы съездил?

Он, сдержав радость, ответил с притворной небрежностью:

– Что ж, охотно проедусь.

Старая горничная, подававшая на стол, нахмурилась:

– За что ж вы, сударыня, хотите девку навек осрамить? Что ж после этого начнут говорить про нее по всему селу?

– Ну, поезжай сама, – сказала Казакова. – Что ж ей, пешком, что ли, со станции идти?

Около четырех он выехал, в шарабане, на старой высокой черной кобыле и, боясь

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
опоздать к поезду, погнал ее за селом шибко, подскакивая по маслянистой, колчеватой, подмерзшей и потом отсыревшей дороге, – последние дни были влажные, туманные, а в тот день туман был особенно густ: еще когда он ехал по селу, казалось, что наступает ночь, и в избах уже видны были дымно-красные огни, какие-то дикие за сизостью тумана. Дальше, в поле, стало совсем почти темно и от тумана уже непроглядно. Навстречу тянуло холодным ветром и мокрой мглой. Но ветер не разгонял тумана, напротив, нагонял все гуще его холодный, темно-сизый дым, душил им, его пахучей сыростью, и казалось, что за его непроглядностью нет ничего – конец мира и всего живого. Картуз, чуйка, ресницы, усы, все было в мельчайшем мокром бисере. Черная кобыла размашисто неслась вперед, шарабан, подскакивая по скользким колчам, бил ему в грудь. Он приловчился и закурил – сладкий, душистый, теплый, человеческий дым папиросы смешался с первобытным запахом тумана, поздней осени, мокрого голого поля. И все темнело, все мрачнело вокруг, вверху и внизу, – почти не стало видно смутно темнеющей длинной шеи лошади, ее настороженных ушей. И все усиливалось чувство близости к лошади – единственному живому существу в этой пустыне, в мертвой враждебности всего того, что справа и слева, впереди и сзади, всего того неведомого, что так зловеще скрыто в этой все гуще и чернее бегущей на него дымной тьме...

Когда он въехал в деревню при станции, его охватила отрада жилья, жалких огней в убогих окошечках, их ласкового уюта, а на станции все вокзальное показалось совсем иным миром, живым, бодрым, городским. И не успел он привязать лошадь, как, гремя, засверкал к вокзалу светлыми окнами поезд, обдав серным запахом каменного угля. Он побежал в вокзал с таким чувством, точно ждал молодую жену, и тотчас увидел, как вошла она, по-городскому одетая, из противоположных дверей вслед за вокзальным сторожем, тащившим два кулька покупок: вокзал был грязен, вонял керосином ламп, тускло освещавших его, а она вся сияла возбужденными глазами, юностью взволнованного необычным путешествием лица, и сторож что-то говорил ей на «вы». И она вдруг встретилась с ним взглядом и даже остановилась от растерянности: что такое, почему он тут?

– Таня, – поспешно сказал он, – здравствуй, я за тобой, некого было послать...

Был ли когда-нибудь в жизни у нее столь счастливый вечер! Он сам приехал за мной, а я из города, к наряжена и так хороша, как он и представить себе не мог, видя меня всегда только в старой юбочке, в ситцевой бедной кофточке, у меня лицо, как у модистки, под этим шелковым белым платочком, я в новом гарусном коричневом платье под суконной жакеткой, на мне белые бумажные чулки и новые полсапожки с медными подкопками! Вся внутренне дрожа, она заговорила с ним таким тоном, каким говорят в гостях, и, приподняв подол, пошла за ним дамскими шажками, снисходительно дивясь: «Ох, Господи, как тут склизко, как натоптали мужики!» Вся замирая от радостного страха, высоко подняла она платье над белой коленкоровой юбкой, чтобы сесть на юбку, а не на платье, вошла в шарабан и села рядом с ним, будто равная ему, и неловко подобралась от кульков в ногах.

Он молча тронул лошадь и погнал ее в ледяную тьму ночи и тумана, мимо кое-где низко мелькавших огоньков в избах, по ухабам этой мучительной деревенской ноябрьской дороги, и она не смела слова проронить, ужасаясь его молчанию: уж не рассердился ли он на что-нибудь? Он это понимал и нарочно молчал. И вдруг, выехав за деревню и погрузившись уже в подлый мрак, перевел лошадь на шаг, взял вожжи в левую руку и сжал правой ее плечи в осыпанной холодным мокрым бисером жакетке, бормоча и смеясь:

– Таня, Танечка...

И она вся рванулась к нему, прижалась к его щеке шелковым платком, нежным пылающим лицом, полными горячих слез ресницами. Он нашел ее мокрые от радостных слез губы и, остановив лошадь, долго не мог оторваться от них. Потом, как слепой, не видя ни зги в тумане и мраке, вышел из шарабана, бросил чуйку на землю и потянул ее к себе за рукав. Все сразу поняв, она тотчас соскочила к нему и, с быстрой заботливостью подняв весь свой заветный наряд, новое платье и юбку, ощупью легла на чуйку, навеки отдавая ему не только все свое тело, теперь уже полную собственность его, но и всю свою душу.

\* \* \*

Он опять отложил свой отъезд.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

Она знала, что это ради нее, она видела, как он ласков с ней, говорит уже как с близкой, своим тайным другом в доме, и перестала бояться, трепетать, когда он подходил к ней, как трепетала первое время. Он стал спокойнее и проще в любовные минуты – она быстро приладилась к нему. Она вся изменилась с той быстротой, на какую способна молодость, сделалась ровна, беззаботно-счастлива, уже легко называла его Петрушей и порой даже притворялась, будто он докучает ей своими поцелуями: «Ах, Господи, прохожу мне от вас нету! Чуть завидит меня одну – сейчас ко мне!» – и это доставляло ей особенную радость: значит, он любит меня, значит, он совсем мой, если я могу говорить с ним так! И еще было счастье: высказывать ему свою ревность, свое право на него:

– Слава Богу, нету никаких работ на гумне, а то, были бы девки, я бы вам показала, как ходить к ним! – говорила она.

И прибавляла, вдруг смутившись, с трогательной попыткой улыбки:

– Ай вам мало меня одной?

Зима наступила рано. После туманов завернул морозный северный ветер, сковал маслянистые колчи дорог, окаменил землю, сжег последнюю траву в саду и на дворе. Пошли белесо-свинцовые тучи, совсем обнажившийся сад шумел беспокойно, торопливо, точно убежал куда-то, ночью белая луна так и ныряла в клубах туч. Усадьба и деревня казались безнадежно бедны и грубы. Потом стал порошить снег, убеляя мерзлую грязь точно сахарной пудрой, и усадьба и видные из нее поля стали сизо-белы и просторны. На деревне кончали последнюю работу – ссыпали в погреба на зиму картошки, перебирая их, отбрасывая гнилые. Как-то он пошел пройтись по деревне, надев поддевку на лисьем меху и надвинув меховую шапку. Северный ветер трепал ему усы, жег щеки. Надо всем висело угрюмое небо, сизо-белое покато поле за речкой казалось очень близким. В деревне лежали на земле возле порогов веретья с ворохами картошек. На веретьях сидели, работая, бабы и девки, закутанные в пеньковые шали, в рваных куртках, в разбитых валенках, с посиневшими лицами и руками, – он с ужасом думал: а под подолами у них совсем голые ноги!

Когда он пришел домой, она стояла в прихожей, обтирая тряпкой кипящий самовар, чтобы нести его на стол, и тотчас сказала вполголоса:

– Это вы, верно, на деревню ходили, там девки картошки перебирают... Что ж, гуляйте, гуляйте, высматривайте себе какую получше!

И, сдерживая слезы, выскочила в сенцы. К вечеру густо, густо повалил снег, и, пробегая мимо него по залу, она взглянула на него с неудержимым детским весельем и, дразня, шепнула:

– Что, много теперь нагуляетесь? Да то ли еще будет – собаки по всему двору катаются – понесет такая кура, что и носу из дому не высунете!

«Господи, – подумал он, – как же я соберусь с духом сказать ей, что вот-вот уеду!»

И ему страстно захотелось быть как можно скорее в Москве. Мороз, метель, на площади, против Иверской, парные голубки с бормочущими бубенчиками, на Тверской высокий электрический свет фонарей в снежных вихрях... В Большом Московском блещут люстры, разливаются струнная музыка, и вот он, кинув меховое оснеженное пальто на руки швейцарам, вытирая платком мокрые от снега усы, привычно, бодро входит по красному ковру в нагретую людную залу, в говор, в запах кушаний и папирос, в суету лакеев и все покрывающие, то распутно-томные, то залихватски-бурные струнные волны...

Весь ужин он не мог поднять глаз на ее беззаботную беготню, на ее успокоившееся лицо.

Поздно вечером он надел валенки, старую енотовую шубу покойного Казакова, надвинул шапку и через заднее крыльцо вышел на вьюгу –дохнуть воздухом, посмотреть на нее. Но под навес крыльца уже нанесло целый сугроб, он споткнулся в нем и набрал целые рукава снега, дальше был суший ад, белое несущееся бешенство. Он с трудом, утопая, обошел дом, добрался до переднего крыльца и, топая, отряхиваясь, вбежал в темные сенцы, гудевшие от бури, потом в теплую

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
прихожую, где на рундуке горела свеча. Она выскочила из-за перегородки босая, в той же бумазевой юбчонке, всплеснула руками:

– Господи! Да откуда ж это вы!

Он сбросил на рундук шубу и шапку, осыпав его снегом, и в сумасшедшем восторге нежности схватил ее на руки. Она в таком же восторге вырвалась, схватила веник и стала обивать его белые от снега валенки и тащить их с ног:

– Господи, и там полно снегу! Вы насмерть простудитесь!

\* \* \*

Ночью, сквозь сон, он иногда слышал: однообразно шумит с однообразным напором на дом, потом бурно налетает, сыплет стрекочущим снегом в ставни, потрясая их, – и падает, отдаляется, шумит усыпительно... Ночь кажется бесконечной и сладкой – тепло постели, тепло старого дома, одинокого в белой тьме несущегося снежного моря...

Утром показалось, что это ночной ветер со стуком распахивает ставни, бьет ими в стены – открыл глаза – нет, уже светло, и отовсюду глядит в залепленные снегом окна белая, белая белизна, нанесенная до самых подоконников, а на потолке лежит ее белый отсвет. Все еще шумит, несет, но тише и уже по-дневному. С изголовья тахты видны напротив два окна с двойными почерневшими от времени рамами в мелкую клетку, третье, влево от изголовья, белее и светлее всего. На потолке этот белый отсвет, а в углу дрожит, гудит и постукивает втягиваемая разгорающимся огнем заслонка печки – как хорошо, он спал, ничего не слышал, а Таня, Танечка, верная, любимая, растворила ставни, потом тихо вошла в валенках, вся холодная, в снегу на плечах и на голове, закутанной пеньковым платком, и, став на колени, затопила. И не успел он подумать, как она вошла, неся поднос с чаем, уже без платка. С чуть заметной улыбкой взглянула, ставя поднос на столик у изголовья, в его по-утреннему ясные, со сна точно удивленные глаза:

– Что ж вы так заспались?

– А который час?

Посмотрела на часы на столике и не сразу ответила – до сих пор не сразу разбирает, который час:

– Десять... Без десяти минут девять...

Взглянув на дверь, он потянул ее к себе за юбку. Она отклонилась, отстраняя его руку:

– Никак нельзя, все проснулись...

– Ну, на одну минуту!

– Старуха зайдет...

– Никто не зайдет – на одну минуту!

– Ах, наказание мне с вами!

Быстро вынув одну за другой ноги в шерстяных чулках из валенок, легла, озираясь на дверь... Ах, этот крестьянский запах ее головы, дыхания, яблочный холодок щеки! Он сердито зашептал:

– Опять ты целуешься со сжатыми губами! Когда я тебя отучу!

– Я не барышня... Погодите, я пониже лягу... Ну, скорее, боюсь до смерти.

И они уставились друг другу в глаза – пристально и бессмысленно, выжидательно.

– Петруша...

– Молчи. Зачем ты говоришь всегда в это время!

– Да когда ж мне и поговорить с вами, как не в это время! Я не буду больше губы сжимать... Поклянитесь, что у вас никого нету в Москве...

– Не тискай меня так за шею.

– Никто в жизни не будет так любить вас. Вот вы в меня влюбились, а я будто и сама в себя влюбилась, не нарадуюсь на себя... А если вы меня бросите...

Выскочив с горячим лицом под навес заднего крыльца на вьюгу, она, стоя, присела на мгновение, потом кинулась навстречу белым вихрям на переднее крыльцо, утопая выше голых колен.

В прихожей пахло самоваром. Старая горничная, сидя на рундуке под высоким окном в снегу, схлебывала с блюдечка и, не отрываясь от него, покосилась:

– Куда это тебя носило? Вся в снегу вывалялась.

– Петру Николаичу чай подавала.

– Что ж ты ему в людскую, что ль, подавала? – Знаем мы твой чай!

– Ну, знаете, и на здоровье. Барыня встали?

– Хватилась! Пораньше тебя.

– И все-то вы сердитесь!

И, счастливо вздохнув, она пошла за перегородку, за своей чашкой, и чуть слышно запела там:

Уж как выйду я в сад,  
Во зеленый сад,  
Во зеленый сад гулять,  
Свою милову встречать...  
\* \* \*

Днем, сидя в кабинете за книгой, слушая все тот же то слабеющий, то угрожающе растущий шум вокруг дома, все больше тонувшего в снегах среди со всех сторон несущейся молочной белизны, он думал: как стихнет, так уеду.

Вечером он улучил минуту сказать ей, чтобы она пришла к нему ночью попозднее, когда дом крепче всего спит, – на всю ночь, до утра. Она покачала головой, подумала и сказала: хорошо. Это было очень страшно, но тем слаще.

То же чувствовал и он. И волновала еще жалость к ней: и не знает, что это их последняя ночь!

Ночью он то засыпал, то в тревоге просыпался: решится ли прийти? Тьма дома, шум вокруг этой тьмы, трясутся ставни, в печке то и дело завывает... Вдруг он в страхе очнулся: не услышал, – услышать ее в той преступной осторожности, с которой она пробиралась в густой темноте по дому, нельзя было, – не услышал, а почувствовал, что она, невидимая, уже стоит у тахты. Он протянул руки. Она молча нырнула под одеяло к нему. Он слышал, как стучит ее сердце, чувствовал ее озябшие босые ноги и шептал самые горячие слова, какие только мог найти и выговорить.

Они долго лежали так, грудь с грудью, целуясь с такой крепостью, что больно было зубам. Она помнила, что он не велел ей сжимать рот, и, стараясь угодить ему, раскрывала его, как галчонок.

– Ты, небось, совсем не спала?

Она ответила радостным шепотом:

– Ни минуточки. Все ждала...

Нашарив на столике спички, он зажег свечу. Она в страхе ахнула:

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

– Петруша, что ж это вы сделали? А ну-ка старуха проснется, увидит свет...

– Черт с ней, – сказал он, глядя на ее раскрасневшееся личико. – Черт с ней, я хочу видеть тебя...

Взяв ее, он не спускал с нее глаз. Она прошептала:

– Я боюсь, – что это вы на меня так смотрите?

– Да то, что лучше тебя на свете нет. Эта головка с этой маленькой косой вокруг нее, как у молоденькой Венеры...

Глаза ее засияли смехом, счастьем:

– Какая это Винера?

– Да уж такая... И эта рубашонка...

– А вы купите мне миткалевую... Верно, вы правда меня очень любите?

– Нисколько не люблю. И опять ты пахнешь не то перепелом, не то сухой коноплей...

– Отчего ж вам это нравится? Вот вы говорили, что я всегда говорю в это время... а теперь... сами говорите...

Она начала все крепче прижимать его к себе, хотела еще что-то сказать и уже не могла...

Потом он потушил свечу и долго лежал молча, курил и думал: а все-таки надо сказать, ужасно, но надо! И чуть слышно начал:

– Танечка...

– Что? – так же таинственно спросила она.

– Ведь мне надо уезжать...

Она даже поднялась:

– Когда?

– Все-таки скоро... очень скоро... У меня есть неотложные дела...

Она упала на подушку:

– Господи!

Его какие-то дела где-то там, в какой-то Москве, внушали ей нечто вроде благоговения. Но как же все-таки расстаться с ним ради этих дел? И она замолчала, быстро и беспомощно ища в уме выхода из этого неразрешимого ужаса. Выхода не было. Хотелось крикнуть: «Возьмите меня с собой!» Но она не смела – разве это возможно?

– Не могу же я век тут жить...

Она слушала и соглашалась: да, да...

– Не могу же я взять тебя с собой... Она вдруг отчаянно выговорила:

– Почему?

Он быстро подумал: «Да, почему, почему?» И поспешно ответил:

– У меня нет дома, Таня, я всю жизнь езжу с места на место... В Москве живу в номерах... И ни на ком никогда не женюсь...

– Отчего?

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

– Оттого, что уж такой я родился.

– И ни на ком никогда не женитесь?

– Ни на ком, никогда! И даю тебе честное слово, мне, ей-Богу, необходимо, очень важные и неотложные дела. К Рождеству непременно приеду!

Она припала головой к нему, полежала, капая на его руки теплыми слезами, и прошептала:

– Ну, я пойду... Скоро светать начнет... И, поднявшись, стала в темноте крестить его:

– Сохрани вас Царица Небесная, сохрани Матерь Божия!

Прибежав к себе за перегородку, она села на постель и, прижав к груди руки, слизывая с губ слезы, стала шептать под гул метели в сенцах:

– Господи батюшка! Царица Небесная! Дай, Господи, чтоб не утихало хоть еще дня два!

\* \* \*

Через два дня он уехал, – еще пронеслись по двору утихающие вихри, но он не мог больше длить тайное мучение ее и свое и не сдался на уговоры Казаковой подождать хоть до завтра.

И дом и вся усадьба опустели, умерли. И представить себе Москву и его в ней, его жизнь там, его какие-то дела, не было никакой возможности.

\* \* \*

На Рождество он не приехал. Что это были за дни! В какой муке неразрешающегося ожидания, в каком жалком притворстве перед самой собой, будто и нет никакого ожидания, шло время с утра до вечера! И все Святки она ходила в самом лучшем своем наряде – в том платье и в тех полсапожках, в которых он встретил ее тогда осенью, на вокзале, в тот незабвенный вечер.

На Крещение она почему-то жадно верила, что вот-вот покажутся из-под горы мужицкие санки, которые он наймет на станции, не прислав письма, чтобы за ним выслали лошадей, весь день не вставала с рундука в прихожей, глядя во двор до боли в глазах. Дом был пуст, – Казакова уехала в гости к соседям, старуха обедала в людской, сидела там и после обеда, наслаждаясь злословием перед кухаркой. А она даже и обедать не ходила, сказала, что живот болит...

Но вот стало вечереть. Она взглянула еще раз на пустой двор в блестящем насте и поднялась, твердо сказав себе: конец, никого мне больше не нужно, ничего не желаю я ждать! – и пошла, наряженная, гуляющим шагом по залу, по гостиной, в свете зимней, желтой зари из окон, громко и беззаботно запела – с облегчением конченной жизни:

Уж как выйду я в сад,  
Во зеленый сад,  
Во зеленый сад гулять,  
Свое милова встречать!

И как раз на словах о милом вошла в кабинет, увидела его пустую тахту, пустое кресло возле письменного стола, где когда-то сидел он с книгой в руках, и упала в кресло, головой на стол, рыдая и крича: «Царица Небесная, пошли мне смерть!»

\* \* \*

Он приехал в феврале – когда она уже совсем похоронила в себе всякую надежду увидеть его хоть еще один раз в жизни.

И как будто возвратилось все прежнее.

Он был поражен, увидя ее, – так похудела и поблекла она вся, так несмелы и грустны были ее глаза. Поразилась и она в первую минуту: и он показался ей как

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
будто другим, постаревшим, чужим и даже неприятным – усы у него стали как будто  
больше, голос грубей, его смех и разговор, пока он раздевался в прихожей, были  
не в меру громки и неестественны, ей неловко было взглянуть ему в глаза... Но оба  
постарались скрыть все это друг от друга, и вскоре все пошло как будто  
по-прежнему.

Потом опять стало подходить страшное время – время его нового отъезда. Он  
покаялся ей на образ, что приедет к Святой и уже на целое лето. Она поверила; но  
подумала: «А летом что будет? Опять то же, что теперь?» Этого теперь ей было уже  
мало – нужно было или совсем, совсем прежнее, а не повторение, или нераздельная  
жизнь с ним, без разлук, без новых мучений, без стыда напрасных ожиданий. Но она  
старалась гнать от себя эту мысль, старалась представить себе все то летнее  
счастье, когда столько будет им свободы везде... – ночью и днем, в саду, в поле,  
на гумне, и он будет долго, долго возле нее...

\* \* \*

Накануне его нового отъезда ночь была уже предвесенняя, светлая и ветреная. За  
домом волновался сад, и все долетал оттуда разносимый ветром злой и беспомощный,  
отрывистый лай собак над ямой в елках: там сидела лисица, которую поймал в  
капкан и принес на барский двор лесник казаковой.

Он лежал на тахте на спине с закрытыми глазами. Она рядом с ним на боку,  
подложив ладонь под грустную головку. Оба молчали. Наконец она прошептала:

– Петруша, вы спите?

Он открыл глаза, посмотрел в легкий сумрак комнаты, слева озаренный золотистым  
светом из бокового окна:

– Нет. А что?

– А ведь вы меня больше не любите, даром погубили, – спокойно сказала она.

– Почему же даром? Не говори глупостей.

– Грех вам будет. Куда ж я теперь денусь?

– А зачем тебе куда-нибудь деваться?

– Вот вы опять, опять уедете в эту свою Москву, а что ж я одна тут буду делать!

– Да все то же, что и прежде делала. А потом – ведь я тебе твердо сказал: на  
Святой на целое лето приеду.

– Да, может, и приедете... Только прежде вы мне не говорили таких слов: «А зачем  
тебе куда-нибудь деваться?» Вы меня правда любили, говорили, что милей меня не  
видали. Да и такая я разве была?

Да, не такая, подумал он. Ужасно изменилась.

– Прошло мое времечко, – сказала она. – Вскочу, бывало, к вам – и боюсь до  
смерти и радуюсь: ну, слава Богу, старуха заснула. А теперь и ее не боюсь...

Он пожал плечами:

– Я тебя не понимаю. Дай-ка мне папиросы со столика...

Она подала. Он закурил:

– Не понимаю, что с тобой. Ты просто нездорова...

– Вот оттого-то, верно, и не мила я вам стала. А чем же я больна?

– Ты меня не понимаешь. Я говорю, что ты душевно нездорова. Потому что подумай,  
пожалуйста, что такое случилось, откуда ты взяла, что я тебя больше не люблю? И  
что ж все одно и то же твердить: бывало, бывало...

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
Она не ответила. Светило окно, шумел сад, долетал отрывистый лай, злой, безнадежный, плачущий... Она тихонько слезла с тахты и, прижав рукав к глазам, подергивая головой, мягко пошла в своих шерстяных чулках к дверям в гостиную. Он негромко и строго окликнул ее:

– Таня.

Она обернулась, ответила чуть слышно:

– Чего вам?

– Поди ко мне.

– Зачем?

– Говорю, поди.

Она покорно подошла, склонив голову, чтобы он не видал, что все лицо у нее в слезах.

– Ну, что вам?

– Сядь и не плачь. Поцелуй меня, – ну? Он сел, она села рядом и обняла его, тихо рыдая. «Боже мой, что же мне делать! – с отчаянием подумал он. – Опять эти теплые детские слезы на детском горячем лице... Она даже и не подозревает всей силы моей любви к ней! А что я могу? Увезти ее с собой? Куда? На какую жизнь? И что из этого выйдет? Связать, погубить себя навеки?» И стал быстро шептать, чувствуя, как и его слезы щекочат ему нос и губы:

– Танечка, радость моя, не плачь, послушай: я приеду весной на все лето, и вот правда пойдем мы с тобой «во зеленый сад» – я слышал эту твою песенку и вовеки не забуду ее, – поедem на шарабане в лес – помнишь, как мы ехали на шарабане со станции?

– Никто меня с тобой не пустит! – горько прошептала она, мотая на его груди головой, в первый раз говоря ему «ты». – И никуда ты со мной не поедешь...

Но он уже слышал в ее голосе робкую радость, надежду.

– Поеду, поеду, Танечка! И не смей мне больше говорить «вы». И плакать не смей...

Он взял ее под ноги в шерстяных чулках и пересадил ее, легонькую, к себе на колени:

– Ну скажи: «Петруша, я тебя очень люблю!»

Она тупо повторила, икнув от слез:

– я тебя очень люблю...

Это было в феврале страшного семнадцатого года. Он был тогда в деревне в последний раз в жизни.

22 октября 1940

(обратно)  
В Париже\*

Когда он был в шляпе, – шел по улице или стоял в вагоне метро, – и не видно было, что его коротко стриженные красноватые волосы остро серебрятся, по свежести его худого, бритого лица, по прямой выправке худой, высокой фигуры в длинном непромокаемом пальто, ему можно было дать не больше сорока лет. Только светлые глаза его смотрели с сухой грустью и говорил и держался он как человек, много испытавший в жизни. Одно время он арендовал ферму в Провансе, слышался едких провансальских шуток и в Париже любил иногда вставлять их с усмешкой в свою всегда сжатую речь. Многие знали, что еще в Константинополе его бросила жена и что живет он с тех пор с постоянной раной в душе. Он никогда и никому не открывал тайны этой раны, но иногда невольно намекал на нее, – неприятно шутил,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
если разговор касался женщин:

– Rien n'est plus difficile que de reconnaître un bon melon et une femme de bien.[4]

Однажды, в сырой парижский вечер поздней осенью, он зашел пообедать в небольшую русскую столовую в одном из темных переулков возле улицы Пасси. При столовой было нечто вроде гастрономического магазина – он бессознательно остановился перед его широким окном, за которым были видны на подоконнике розовые бутылки конусом с рябиновкой и желтые кубастые с зубровкой, блюдо с засохшими жареными пирожками, блюдо с посеревшими рублеными котлетами, коробка халвы, коробка шпротов, дальше стойка, уставленная закусками, за стойкой хозяйка с неприязненным русским лицом. В магазине было светло, и его потянуло на этот свет из темного переулка с холодной и точно солевой мостовой. Он вошел, поклонился хозяйке и прошел в еще пустую, слабо освещенную комнату, прилегавшую к магазину, где белели накрытые бумагой столики. Там он не спеша повесил свою серую шляпу и длинное пальто на рога стоячей вешалки, сел за столик в самом дальнем углу и, рассеянно потирая руки с рыжими волосатыми кистями, стал читать бесконечное перечисление закусок и кушаний, частью напечатанное, частью написанное расплывшимися лиловыми чернилами на просаленном листе. Вдруг его угол осветился, и он увидел безучастно-вежливо подходящую женщину лет тридцати, с черными волосами на прямой пробор и черными глазами, в белом переднике с прошивками и в черном платье.

– Bonsoir, monsieur,[5] – сказала она приятным голосом.

Она показалась ему так хороша, что он смутился и неловко ответил:

– Bonsoir... Но вы ведь русская?

– Русская. Извините, образовалась привычка говорить с гостями по-французски.

– Да разве у вас много бывает французов?

– Довольно много, и все спрашивают непременно зубровку, блины, даже борщ. Вы что-нибудь уже выбрали?

– Нет, тут столько всего... Вы уж сами посоветуйте что-нибудь.

Она стала перечислять заученным тоном:

– Нынче у нас щи флотские, битки по-казацки... можно иметь отбивную телячью котлетку или, если желаете, шашлык по-карски...

– Прекрасно. Будьте добры дать щи и битки.

Она подняла висевший у нее на поясе блокнот и записала на нем кусочком карандаша. Руки у нее были очень белые и благородной формы, платье поношенное, но, видно, из хорошего дома.

– Водочки желаете?

– Охотно. Сырость на дворе ужасная.

– Закусить что прикажете? Есть чудная дунайская сельдь, красная икра недавней полочки, коркуновские огурчики малосольные...

Он опять взглянул на нее: очень красив белый передник с прошивками на черном платье, красиво выдаются под ним груди сильной молодой женщины... полные губы не накрашены, но свежи, на голове просто свернутая черная коса, но кожа на белой руке холеная, ногти блестящие и чуть розовые, – виден маникюр...

– Что я прикажу закусить? – сказал он, улыбаясь. – Если позволите, только селедку с горячим картофелем.

– А вино какое прикажете?

– Красное. Обыкновенное, – какое у вас всегда дают к столу.

Она отметила на блокноте и переставила с соседнего стола на его стол графин с водой. Он закачал головой:

– Нет, мерси, ни воды, ни вина с водой никогда не пью. L'eau gate le vin comme la charette le chemin et la femme – l'ame.[6]

– Хорошего же вы мнения о нас! – безразлично ответила она и пошла за водкой и селедкой. Он посмотрел ей вслед – на то, как ровно она держалась, как колебалось на ходу ее черное платье... Да, вежливость и безразличие, все повадки и движения скромной и достойной служащей. Но дорогие хорошие туфли. Откуда? Есть, вероятно, пожилой, состоятельный «ami»...[7] Он давно не был так оживлен, как в этот вечер, благодаря ей, и последняя мысль возбудила в нем некоторое раздражение. Да, из году в год, изо дня в день, втайне ждешь только одного, – счастливой любовной встречи, живешь, в сущности, только надеждой на эту встречу – и все напрасно...

На другой день он опять пришел и сел за свой столик. Она была сперва занята, принимала заказ двух французов и вслух повторяла, отмечая на блокноте:

– Cavaigr rouge, salade russe... Deux chachlyks...[8]

Потом вышла, вернулась и пошла к нему с легкой улыбкой, уже как к знакомому:

– Добрый вечер. Приятно, что вам у нас понравилось.

Он весело приподнялся:

– Доброго здоровья. Очень понравилось. Как вас величать прикажете?

– Ольга Александровна. А вас, позвольте узнать?

– Николай Платоныч.

Они пожали друг другу руки, и она подняла блокнот:

– Нынче у нас чудный рассольник. Повар у нас замечательный, на яхте у великого князя Александра Михайловича служил.

– Прекрасно, рассольник так рассольник... А вы давно тут работаете?

– Третий месяц.

– А раньше где?

– Раньше была продавщицей в Printemps.

– Верно, из-за сокращений лишились места?

– Да, по доброй воле не ушла бы.

Он с удовольствием подумал, что, значит, дело не в «ami», – и спросил:

– Вы замужняя?

– Да.

– А муж ваш что делает?

– Работает в Югославии. Бывший участник белого движения. Вы, вероятно, тоже?

– Да, участвовал и в великой и в гражданской войне.

– Это сразу видно. И, вероятно, генерал, – сказала она, улыбаясь.

– Бывший. Теперь пишу истории этих войн по заказам разных иностранных издательств... Как же это вы одна?

– Так вот и одна...

На третий вечер он спросил:

– Вы любите синема?

Она ответила, ставя на стол мисочку с борщом:

– Иногда бывает интересно.

– Вот теперь идет в синема «Etoile» какой-то, говорят, замечательный фильм. Хотите пойдём посмотрим? У вас есть, конечно, выходные дни?

– Мерси. Я свободна по понедельникам.

– Ну вот и пойдём в понедельник. Нынче что? Суббота? Значит послезавтра. Идет?

– Идет. Завтра вы, очевидно, не придете?

– Нет, еду за город, к знакомым. А почему вы спрашиваете?

– Не знаю... Это странно, но я уж как-то привыкла к вам.

Он благодарно взглянул на нее и покраснел:

– И я к вам. Знаете, на свете так мало счастливых встреч...

И поспешил переменить разговор:

– Итак, послезавтра. Где же нам встретиться? Вы где живете?

– Возле метро Motte-Picquet.

– Видите, как удобно, – прямой путь до Etoile. Я буду ждать вас там при выходе из метро ровно в восемь с половиной.

– Мерси.

Он шутливо поклонился:

– C'est moi qui vous remercie.[9] Уложите детей, – улыбаясь, сказал он, чтобы узнать, нет ли у нее ребенка, – и приезжайте.

– Слава Богу, этого добра у меня нет, – ответила она и плавно понесла от него тарелки.

Он был и растроган и хмурился, идя домой. «Я уже привыкла к вам...» Да, может быть, это и есть долгожданная счастливая встреча. Только поздно, поздно. Le bon Dieu envoie toujours des culottes a ceux qui n'ont pas de derriere...[10]

Вечером в понедельник шел дождь, мглистое небо над Парижем мутно краснело. Надеясь поужинать с ней на Монпарнассе, он не обедал, зашел в кафе на Chaussée de la Muette, съел сэндвич с ветчиной, выпил кружку пива и, закутив, сел в такси. У входа в метро Etoile остановил шофера и вышел под дождь на тротуар – толстый, с багровыми щеками шофер доверчиво стал ждать его. Из метро несло баннным ветром, густо и черно поднимался по лестницам народ, раскрывая на ходу зонтики, газетчик резко выкрикивал возле него низким утиным кряканьем названия вечерних выпусков. Внезапно в подымавшейся толпе показалась она. Он радостно двинулся к ней навстречу:

– Ольга Александровна...

Нарядно и модно одетая, она свободно, не так, как в столовой, подняла на него черно-подведенные глаза, дамским движением подала руку, на которой висел зонтик, подхватив другой подол длинного вечернего платья, – он обрадовался еще больше: «Вечернее платье, – значит, тоже думала, что после синема поедем куда-нибудь», – и отвернул край ее перчатки, поцеловал кисть белой руки.

– Бедный, вы долго ждали?

– Нет, я только что приехал. Идем скорей в такси...

И с давно не испытанным волнением он вошел за ней в полутемную пахнущую сырм сукном карету. На повороте карету сильно качнуло, внутренность ее на мгновение осветил фонарь, – он невольно поддержал ее за талию, почувствовал запах пудры от ее щеки, увидел ее крупные колени под вечерним черным платьем, блеск черного глаза и полные в красной помаде губы: совсем другая женщина сидела теперь возле него.

В темном зале, глядя на сияющую белизну экрана, по которой косо летали и падали в облаках гулко жужжащие распластанные аэропланы, они тихо переговаривались:

– Вы одна или с какой-нибудь подругой живете?

– Одна. В сущности, ужасно. Отельчик чистый, теплый, но, знаете, из тех, куда можно зайти на ночь или на часы с девицей... Шестой этаж, лифта, конечно, нет, на четвертом этаже красный коврик на лестнице кончается... Ночью, в дождь страшная тоска. Раскроешь окно – ни души нигде, совсем мертвый город, Бог знает где-то внизу один фонарь под дождем... А вы, конечно, холостой и тоже в отеле живете?

– У меня небольшая квартирка в Пасси. Живу тоже один. Давний парижанин. Одно время жил в Провансе, снял ферму, хотел удалиться от всех и ото всего, жить трудами рук своих – и не вынес этих трудов. Взял в помощники одного казачка, оказался пьяница, мрачный, страшный во хмелю человек, завел кур, кроликов –дохнут, мул однажды чуть не загрыз меня, – очень злое и умное животное... И, главное, полное одиночество. Жена меня еще в Константинополе бросила.

– Вы шутите?

– Ничуть. История очень обыкновенная. *Qui se marie par amour a bonne nuits et mauvais jours.* [11] А у меня даже и того и другого было очень мало. Бросила на второй год замужества.

– Где же она теперь?

– Не знаю...

Она долго молчала. По экрану дурачки бегал на раскинутых ступнях в нелепо огромных разбитых башмаках и в котелке набок какой-то подражатель Чаплина.

– Да, вам, верно, очень одиноко, – сказала она.

– Да. Но что ж, надо терпеть. *Patience – medecine des pauvres.* [12]

– Очень грустная *medecine*.

– Да, невеселая. До того, – сказал он, усмехаясь, – что я иногда даже в «Иллюстрированную Россию» заглядывал, – там, знаете, есть такой отдел, где печатается нечто вроде брачных и любовных объявлений: «Русская девушка из Латвии скучает и желала бы переписываться с чутким русским парижанином, прося при этом прислать фотографическую карточку... Серьезная дама шатенка, не модерн, но симпатичная, вдова с девятилетним сыном, ищет переписки с серьезной целью с трезвым господином не моложе сорока лет, материально обеспеченным шоферской или какой-либо другой работой, любящим семейный уют. Интеллигентность не обязательна...» Вполне ее понимаю – не обязательна.

– Но разве у вас нет друзей, знакомых?

– Друзей нет. А знакомства плохая утеха.

– Кто же ваше хозяйство ведет?

– Хозяйство у меня скромное. Кофе варю себе сам, завтрак готовлю тоже сам. К вечеру приходит *femme de menage*. [13]

– Бедный! – сказала она, сжав его руку.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
И они долго сидели так, рука с рукой, соединенные сумраком, близостью мест, делая вид, что смотрят на экран, к которому дымной синевато-меловой полосой шел над их головами свет из кабинки на задней стене. Подражатель Чаплина, у которого от ужаса отделился от головы проломленный котелок, бешено летел на телеграфный столб в обломках допотопного автомобиля с дымящейся самоварной трубой. Громкоговоритель музыкально ревел на все голоса, снизу, из провала дымного от папирос зала, – они сидели на балконе, – гремел вместе с рукоплесканиями отчаянно-радостный хохот. Он наклонился к ней:

– Знаете что? Поедьте куда-нибудь на Монпарнас, например, тут ужасно скучно и дышать нечем...

Она кивнула головой и стала надевать перчатки.

Снова сев в полутемную карету и глядя на искристые от дождя стекла, то и дело загоравшиеся разноцветными алмазами от фонарных огней и переливавшихся в черной вышине то кровью, то ртутью реклам, он опять отвернул край ее перчатки и продолжительно поцеловал руку. Она посмотрела на него тоже странно искрящимися глазами с угольно-крупными ресницами и любовно-грустно потянулась к нему лицом, полными, с сладким помадным вкусом губами.

В кафе «Сорроте» начали с устриц и анжу, потом заказали куропаток и красного бордо. За кофе с желтым шартрезом оба слегка охмелели. Много курили, пепельница была полна ее окровавленными окурками. Он среди разговора смотрел на ее разгоревшееся лицо и думал, что она вполне красавица.

– Но скажите правду, – говорила она, щепотками снимая с кончика языка крошки табаку, – ведь были же у вас встречи за эти годы?

– Были. Но вы догадываетесь, какого рода. Ночные отели... А у вас?

Она помолчала:

– Была одна очень тяжелая история... Нет, я не хочу говорить об этом. Мальчишка, сутенер в сущности... Но как вы разошлись с женой?

– Постыдно. Тоже был мальчишка, красавец греченок, чрезвычайно богатый. И в месяц, два не осталось и следа от чистой, трогательной девочки, которая просто молилась на белую армию, на всех на нас. Стала ужинать с ним в самом дорогом кабаке в Пера, получать от него гигантские корзины цветов... «Не понимаю, неужели ты можешь ревновать меня к нему? Ты весь день занят, мне с ним весело, он для меня просто милый мальчик и больше ничего...» Милый мальчик! А самой двадцать лет. Нелегко было забыть ее, – прежнюю, екатеринодарскую...

Когда подали счет, она внимательно просмотрела его и не велела давать больше десяти процентов на прислугу. После этого им обоим показалось еще страннее расстаться через полчаса.

– Поедьте ко мне, – сказал он печально. – Посидим, поговорим еще...

– Да, да, – ответила она, вставая, беря его под руку и прижимая ее к себе.

Ночной шофер, русский, привез их в одинокий переулок, к подъезду высокого дома, возле которого в металлическом свете газового фонаря, сыпался дождь на жестяной чан с отбросами. Вошли в осветившийся вестибюль, потом в тесный лифт и медленно потянулись вверх, обнявшись и тихо целуясь. Он успел попасть ключом в замок своей двери, пока не погасло электричество, и ввел ее в прихожую, потом в маленькую столовую, где в люстре скучно зажглась только одна лампочка. Лица у них были уже усталые. Он предложил еще выпить вина.

– Нет, дорогой мой, – сказала она, – я больше не могу.

Он стал просить:

– Выпьем только по бокалу белого, у меня стоит за окном отличное пуи.

– Пейте, милый, а я пойду разденусь и помоюсь. И спать, спать. Мы не дети, вы, я думаю, отлично знали, что раз я согласилась ехать к вам... И вообще, зачем нам

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин расставаться?

Он от волнения не мог ответить, молча провел ее в спальню, осветил ее и ванную комнату, дверь в которую была из спальни открыта. Тут лампочки горели ярко, всюду шло тепло от топок, меж тем как по крыше бегло и мерно стучал дождь. Она тотчас стала снимать через голову длинное платье.

Он вышел, выпил подряд два бокала ледяного, горького вина и не мог удержать себя, опять пошел в спальню. В спальне, в большом зеркале на стене напротив, ярко отражалась освещенная ванная комната. Она стояла спиной к нему, вся голая, белая, крепкая, наклонившись над умывальником, моя шею и груди.

– Нельзя сюда! – сказала она и, накинув купальный халат, не закрыв налитые груди, белый сильный живот и белые тугие бедра, подошла и как жена обняла его. И как жену обнял и он ее, все ее прохладное тело, целуя еще влажную грудь, пахнущую туалетным мылом, глаза и губы, с которых она уже вытерла краску...

Через день, оставив службу, она переехала к нему.

Однажды зимой он уговорил ее взять на свое имя сейф в Лионском кредите и положить туда все, что им было заработано:

– Предосторожность никогда не мешает, – говорил он. – *L'amour fait danser les apes*, [14] и я чувствую себя так, точно мне двадцать лет. Но мало ли что может быть...

На третий день Пасхи он умер в вагоне метро, – читая газету, вдруг откинул к спинке сиденья голову, завел глаза...

Когда она, в трауре, возвращалась с кладбища, был милый весенний день, кое-где плыли в мягком парижском небе весенние облака, и все говорило о жизни юной, вечной – и о ее, конченной.

Дома она стала убирать квартиру. В коридоре, в плакаре, увидала его давнюю летнюю шинель, серую, на красной подкладке. Она сняла ее с вешалки, прижала к лицу и, прижимая, села на пол, вся дергаясь от рыданий и вскрикивая, моля кого-то о пощаде.

26 октября 1940

(обратно)  
Галя Ганская\*

Художник и бывший моряк сидели на террасе парижского кафе. Был апрель, и художник восхищался: как прекрасен Париж весной и как очаровательны парижанки в первых весенних костюмах.

– А в мои золотые времена Париж весной был, конечно, еще прекраснее, – говорил он. – И не потому только, что я был молод, – сам Париж был совсем другой. Подумай: ни одного автомобиля. И разве так, как теперь, жил Париж!

– А мне почему-то вспомнилась одесская весна, – сказал моряк. – Ты, как одессит, еще лучше меня знаешь всю ее совершенно особенную прелесть – это смешение уже горячего солнца и морской еще зимней свежести, яркого неба и весенних морских облаков. И в такие дни весенняя женская нарядность на Дерибасовской...

Художник, раскуривая трубку, крикнул: «*Garçon, un demi!*» [15] – и живо обернулся к нему:

– Извини, я тебя перебил. Представь себе – говоря о Париже, я тоже думал об Одессе. Ты совершенно прав, – одесская весна действительно нечто особенное. Только я всегда вспоминаю как-то нераздельно парижские весны и одесские, они у меня чередовались, ты ведь знаешь, как часто ездил я в те времена в Париж весной... Помнишь Галю Ганскую? Ты видел ее где-то и говорил мне, что никогда не встречал прелестней девочки. Не помнишь? Но все равно. Я сейчас, заговорив о тогдашнем Париже, думал как раз и о ней, и о той весне в Одессе, когда она впервые зашла ко мне в мастерскую. Вероятно, у каждого из нас найдется какое-нибудь особенно дорогое любовное воспоминание или какой-нибудь особенно

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
тяжкий любовный грех. Так вот Галя есть, кажется, самое прекрасное мое воспоминание и мой самый тяжкий грех, хотя, видит Бог, все-таки невольный. Теперь это дело столь давнее, что я могу рассказать тебе его с полной откровенностью...

Я знал ее еще подростком. Росла она без матери, при отце, которого мать уже давно бросила. Был он очень состоятельный человек, а по профессии неудавшийся художник, любитель, как говорится, но такой страстный, что, кроме живописи, не интересовался ничем в мире и всю жизнь занимался только тем, что стоял за мольбертом и загромождал свой дом – у него была усадьба в Отраде – старыми и новыми картинами, скупая все, что ему нравилось, всюду, где возможно. Очень красивый был человек, дородный, высокий, с чудесной бронзовой бородой, полуполяк, полухохол, с повадками большого барина, гордый и изысканно-вежливый, внутренне очень замкнутый, но делавший вид очень открытого человека, особенно с нами: одно время все мы, молодые одесские художники, гурьбой ходили к нему каждое воскресенье года два подряд, и он всегда встречал нас с распростертыми объятиями, держался с нами, при всей разнице наших лет, совсем по-товарищески, без конца говорил о живописи, угощал на славу. Гале было тогда лет тринадцать – четырнадцать, и мы восхищались ею, конечно, только как девочкой: мила, резва, грациозна была она на редкость, личико с русыми локонами вдоль щек, как у ангела, но так кокетлива, что отец однажды сказал нам, когда она вбежала зачем-то к нему в мастерскую, что-то шепнула ему в ухо и тотчас выскочила вон:

– Ой, ой, что за девчонка растет у меня, друзья мои! Боюсь я за нее!

Потом, с грубостью молодости, мы как-то сразу и все до единого, точно сговорившись, бросили ходить к нему, что-то надоело нам в Отраде – верно, его непрестанные разговоры об искусстве и о том, что он наконец открыл еще один замечательный секрет того, как надо писать. Я как раз в ту пору провел две весны в Париже, вообразил себя вторым Мопассаном по части любовных дел и, возвращаясь в Одессу, ходил пошлейшим щеголем: цилиндр, гороховое пальто до колен, кремовые перчатки, полулаковые ботинки с пуговками, удивительная тросточка, а к этому прибавь волнистые усы, тоже под Мопассана, и обращение с женщинами совершенно подлое по безответственности. И вот иду я однажды в чудесный апрельский день по Дерibasовской, перехожу Преображенскую и на углу, возле кофейни Либмана, встречаюсь вдруг с Галей. Помнишь пятиэтажный угловой дом, где была эта кофейня, – на углу Преображенской и Соборной площади, знаменитый тем, что весной, в солнечные дни, он почему-то всегда бывал унизан по карнизам скворцами и их щебетом? Мило и весело было это чрезвычайно. И вот представь себе: весна, всюду множество нарядного, беззаботного и приветливого народа, эти скворцы, сыплющие немолчным щебетом, точно каким-то солнечным дождем, – и Галя. И уже не подросток, не ангел, а удивительно хорошенькая тоненькая девушка во всем новеньком, светло-сером, весеннем. Личико под серой шляпкой наполовину закрыто пепельной вуалькой, и сквозь нее сияют аквамариновые глаза. Ну, конечно, восклицания, расспросы и упреки: как вы все забыли папу, как давно не были у нас! Ах, да, говорю, так давно, что вы успели вырасти. Тотчас купил ей у оборванной девчонки букетик фиалок, она с быстрой благодарной улыбкой глазами тотчас, как полагается у всех женщин, сует его к лицу себе. – Хотите присядем, хотите шоколаду? – С удовольствием. – Подняла вуальку, пьет шоколад, празднично поглядывает и все расспрашивает о Париже, а я все гляжу на нее. – Папа работает с утра до вечера, а вы много работаете или все парижанками увлекаетесь? – Нет, больше не увлекаюсь, работаю и написал несколько порядочных вещей. Хотите зайти ко мне в мастерскую? Вам можно, вы же дочь художника, и живу я в двух шагах отсюда. – Ужасно обрадовалась: – Конечно, можно! И потом, я никогда не была ни в одной мастерской, кроме папиной! – Опустила вуальку, схватила зонтик, я беру ее под руку, она на ходу попадает мне в ногу и смеется. – Галя, – говорю, – ведь мне можно называть вас Галей? – Быстро и серьезно отвечает: вам можно. – Галя, что с вами сделалось? – А что? – Вы и всегда были прелестны, а теперь прелестны просто на удивление! – Опять попадает в ногу и говорит не то шутя, не то серьезно: – Это еще что, то ли будет! – Ты помнишь темную, узкую лестницу на мою вышку со двора? Тут она вдруг притихла, идет, шурша нижней шелковой юбочкой, и все оглядывается. В мастерскую вошла даже с некоторым благоговением, начала шепотом: ка-ак у вас тут хорошо, таинственно, какой страшно большой диван! и сколько картин вы написали, и все Париж... И стала ходить от картины к картине с тихим восхищением, заставляя себя быть даже не в меру неторопливой, внимательной. Насмотрелась, вздохнула: да, сколько прекрасных вещей вы создали! – Хотите рюмочку портвейна и печений? – Не знаю... – Я взял у ней зонтик, бросил его на диван, взял ее ручку в лайковой белой перчатке: можно поцеловать? – Но я

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
же в перчатке... – Расстегнул перчатку, поцеловал начало маленькой ладони.  
Опустила вуальку, без выражения смотрит сквозь нее аквамариновыми глазами, тихо  
говорит: ну, мне пора. – Нет, говорю, сперва посидим немного, я вас еще не  
рассмотрел хорошенько. Сел и посадил ее к себе на колени, – знаешь эту  
восхитительную женскую тяжесть даже легоньких? Она как-то загадочно спрашивает:  
я вам нравлюсь? Посмотрел я на нее на всю, посмотрел на фиалки, которые она  
приколола к своей новенькой жакетке, и даже засмеялся от умиления: а вам,  
говорю, вот эти фиалки нравятся? – Я не понимаю. – Что ж тут не понимать? Вот и  
вы вся такая же, как эти фиалки. – Опустив глаза, смеется: – У нас в гимназии  
такие сравнения барышень с разными цветами называли писарскими. – Пусть так, но  
как же иначе сказать? – Не знаю.. – И слегка болтает висящими нарядными ножками,  
детские губки полуоткрыты, поблескивают... Поднял вуальку, отклонил головку,  
поцеловал – еще немного отклонила. Пошел по скользкому шелковому зеленоватому  
чулку вверх, до застежки на нем, до резинки, отстегнул ее, поцеловал теплое  
розовое тело начала бедра, потом опять в полуоткрытый ротик – стала чуть-чуть  
кусать мне губы...

Моряк с усмешкой покачал головой:

– *Vieux satyre!*[16]

– Не говори глупостей, – сказал художник. – Мне все это очень больно вспоминать.

– Ну, хорошо, рассказывай дальше.

– Дальше было то, что я не видал ее целый год. Однажды, тоже весной, пошел  
наконец в Отраду и был встречен Ганским с такой трогательной радостью, что  
сгорел от стыда, как по-свински мы его бросили. Очень постарел, в бороде  
серебрится, но все та же одушевленность в разговорах о живописи. С гордостью  
стал показывать мне свои новые работы – летят над какими-то голубыми дюнами  
огромные золотые лебеди – старается, бедняк, не отстать от века. Я вру  
напропалую: чудесно, чудесно, большой шаг вперед вы сделали! Крепитесь, но сияет,  
как мальчик. – Ну, очень рад, очень рад, а теперь завтракать! – А где дочка? –  
Уехала в город. Вы ее не узнаете! Не девочка, а уже девушка и, главное, совсем,  
совсем другая: выросла, вытянулась, як та тополя! – Вот не повезло, думаю, я и  
пошел-то к старику только потому, что ужасно захотелось видеть ее, и вот, как  
нарочно, она в городе. Позавтракал, расцеловал мягкую, душистую бороду, наобещал  
быть непременно в следующее воскресенье, вышел – а навстречу мне она. Радостно  
остановилась: вы? какими судьбами? были у папы? ах, как я рада! – А я еще  
больше, говорю, папа мне сказал, что вас теперь и узнать нельзя, уже не тополек,  
а целый тополь, – так оно и есть. – И действительно так: даже как будто и не  
барышня, а молоденькая женщина. Улыбается и вертит на плече раскрытым зонтиком.  
Зонтик белый, кружевной, платье и большая шляпа тоже белые, кружевные, волосы  
сбоку шляпки с прелестнейшим рыжим оттенком, в глазах уже нет прежней наивности,  
личико удлинилось... – Да, я ростом даже немножко выше вас. – Я только качаю  
головой: правда, правда... Пройдемся, говорю, к морю. – Пройдемся. – Пошли между  
садами переулком, вижу, все время чувствует, что, говоря, что попало, я не свожу  
с нее глаз. Идет, стройно поводя плечами, зонтик закрыла, левой рукой держит  
кружевную юбку. Вышли на обрыв – подуло свежим ветром. Сады уже одеваются, млеют  
под солнцем, а море точно северное, низкое, ледяное, заворачивает крутой зеленой  
волной, все в барашках, вдали тонет в сизой мути, одним словом, Понт Эвксинский.  
Замолчали, стоим, смотрим и будто чего-то ждем, она, очевидно, думает то же, что  
и я, – как она сидела у меня на коленях год тому назад. Я взял ее за талию и так  
сильно прижал всю к себе, что она выгнулась, ловлю губы – старается  
высвободиться, вертит головой, уклоняется и вдруг сдается, дает мне их. И все  
это молча – ни я, ни она ни звука. Потом вдруг вырвалась и, поправляя шляпку,  
просто и убежденно говорит:

– Ах, какой вы негодяй. Какой негодяй. Повернулась и, не оборачиваясь, скоро  
пошла по переулку.

– Да было у вас тогда в мастерской что-нибудь или нет? – спросил моряк.

– До конца не было. Целовались ужасно, ну и все прочее, но тогда меня жалость  
взяла: вся раскраснелась, как огонь, вся растрепалась, и вижу, что уже не  
владеет собой совсем по-детски – и страшно и ужасно хочется этого страшного.  
Сделал вид, что обиделся: ну не надо, не надо, не хотите, так не надо... Стал  
нежно целовать ручки, успокоилась...

– Но как же после этого ты целый год не видал ее?

– А черт его знает как. Боялся, что второй раз не пожалею.

– Плохой же ты был Мопассан.

– Может быть. Но погоди, дай уж до конца расскажу. Не видал я ее еще с полгода. Прошло лето, стали все возвращаться с дач, хотя тут-то бы и жить на даче – эта бессарабская осень нечто божественное по спокойствию однообразных жарких дней, по ясности воздуха, до красоте ровной синевы моря и сухой желтизны кукурузных полей. Вернулся с дачи и я, иду раз опять мимо Либмана – и, представь себе, опять навстречу она. Подходит ко мне как ни в чем не бывало и начинает хохотать, очаровательно кривя рот: «Вот роковое место, опять Либман!»

– Что это вы такая веселая? Страшно рад вас видеть, но что с вами?

– Не знаю. После моря все время ног под собой не чую от удовольствия бегать по городу. Загорела и еще вытянулась – правда?

Смотрю – правда, и, главное, такая веселость и свобода в разговоре, в смехе и во всем обращении, точно замуж вышла. И вдруг говорит:

– У вас еще есть портвейн и печенья?

– Есть.

– Я опять хочу посмотреть вашу мастерскую. Можно?

– Господи Боже мой! Еще бы!

– Ну, так идем. И быстро, быстро!

На лестнице я ее поймал, она опять выгнулась, опять замотала головой, но без большого сопротивления. Я довел ее до мастерской, целуя в закинутое лицо. В мастерской таинственно зашептала:

– Но послушайте, ведь это же безумие... Я с ума сошла...

А сама уже сдернула соломенную шляпку и бросила ее в кресло. Рыжеватые волосы подняты на макушку и заколоты черепаховым стоячим гребнем, на лбу подвитая челка, лицо в легком ровном загаре, глаза глядят бессмысленно-радостно... Я стал как попало раздевать ее, она поспешно стала помогать мне. Я в одну минуту скинул с нее шелковую белую блузку, и у меня, понимаешь, просто потемнело в глазах при виде ее розоватого тела с загаром на блестящих плечах и млечности приподнятых корсетом груди с алыми торчащими сосками, потом от того, как она быстро выдернула из упавших юбок одна за другой стройные ножки в золотистых туфельках, в ажурных кремовых чулках, в этих, знаешь, батистовых широких панталонах с разрезом в шагу, как носили в то время. Когда я зверски кинул ее на подушки дивана, глаза у ней почернели и еще больше расширились, губы горячечно раскрылись, – как сейчас все это вижу, страстна она была необыкновенно... Но оставим это. Вот что случилось недели через две, в течение которых она чуть не каждый день бывала у меня. Неожиданно вбегает она однажды ко мне утром и прямо с порога:

– Ты, говорят, на днях в Италию уезжаешь?

– Да. Так что ж с того?

– Почему же ты не сказал мне об этом ни слова? Хотел тайком уехать?

– Бог с тобой. Как раз нынче собирался пойти к вам и сказать.

– При папе? Почему не мне наедине? Нет, ты никуда не поедешь!

Я по-дурацки вспыхнул:

– Нет, поеду.

– Нет, не поедешь.

– А я тебе говорю, что поеду.

– Это твое последнее слово?

– Последнее. Но пойми, что я вернусь через какой-нибудь месяц, много через полтора. И вообще, послушай, Галя...

– Я вам не Галя. Я вас теперь поняла – все, все поняла! И если бы вы сейчас стали клясться мне, что вы никуда и никогда вовеки не поедете, мне теперь все равно. Дело уже не в том!

И, распахнув дверь, с размаху хлопнула ею и зачестила каблучками вниз по лестнице. Я хотел кинуться за ней, но удержался: нет, пусть придет в себя, вечером отправлюсь в Отраду, скажу, что не хочу огорчать ее, в Италию не еду, и мы помиримся. Но часов в пять вдруг входит ко мне с дикими глазами художник Синани:

– Ты знаешь – у Ганского дочь отравилась! Насмерть! Чем-то, черт его знает, редким, молниеносным, стащила что-то у отца – помнишь, этот старый идиот показывал нам целый шкапчик с ядами, воображая себя Леонардо да Винчи. Вот сумасшедший народ эти проклятые поляки и польки! Что с ней вдруг случилось – непостижимо!

– Я хотел застрелиться, – тихо сказал художник, помолчав и набивая трубку. – Чуть с ума не сошел...

28 октября 1940

(обратно)  
Генрих\*

В сказочный морозный вечер с сиреневым инеем в садах лихач Касаткин мчал Глебова на высоких, узких санках вниз по Тверской в Лоскутную гостиницу – заезжали к Елисееву за фруктами и вином. Над Москвой было еще светло, зеленело к западу чистое и прозрачное небо, тонко сквозили пролетами верхи колоколен, но внизу, в сизой морозной дымке, уже темнело и неподвижно и нежно сияли огни только что зажженных фонарей.

У подъезда Лоскутной, откидывая волчью полость, Глебов приказал засыпанному снежной пылью Касаткину приехать за ним через час:

– Отвезешь меня на Брестский.

– Слушаю-с, – ответил Касаткин. – За границу, значит, отправляетесь.

– За границу.

Круто поворачивая высокого старого рысака, скребя подрезами, Касаткин неодобрительно качнул шапкой:

– Охота пуще неволи!

Большой и несколько запущенный вестибюль, просторный лифт и пестроглазый, в ржавых веснушках, мальчик Вася, вежливо стоявший в своем мундирчике, пока лифт медленно тянулся вверх, – вдруг стало жалко покидать все это, давно знакомое, привычное. «И правда, зачем я еду?» Он посмотрел на себя в зеркало: молод, бодр, сухо-породист, глаза блестят, иней на красивых усах, хорошо и легко одет... в Ницце теперь чудесно, Генрих отличный товарищ... а главное, всегда кажется, что где-то там будет что-то особенно счастливое, какая-нибудь встреча... остановишься где-нибудь в пути, – кто тут жил перед тобою, что висело и лежало в этом гардеробе, чьи это забытые в ночном столике женские шпильки? Опять будет запах газа, кофе и пива на венском вокзале, ярлыки на бутылках австрийских и итальянских вин на столиках в солнечном вагоне-ресторане в снегах Земмеринга, лица и одежды европейских мужчин и женщин, наполняющих этот вагон к завтраку... Потом ночь, Италия... Утром, по дороге вдоль моря к Ницце, то пролеты в грохочущей

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин и дымящей темноте туннелей и слабо горящие лампочки на потолке купе, то остановки и что-то нежно и непрерывно звенящее на маленьких станциях в цветущих розах, возле млеющего в жарком солнце, как сплав драгоценных камней, заливчике... И он быстро пошел по коврам теплых коридоров Лоскутной.

В номере было тоже тепло, приятно. В окна еще светила вечерняя заря, прозрачное вогнутое небо. Все было прибрано, чемоданы готовы. И опять стало немного грустно – жаль покинуть привычную комнату и всю московскую зимнюю жизнь, и Надю, и Ли...

Надя должна была вот-вот забежать проститься. Он поспешно спрятал в чемодан вино и фрукты, бросил пальто и шапку на диван за круглым столом и тотчас услышал скорый стук в дверь. Не успел отворить, как она вошла и обняла его, вся холодная и нежно-душистая, в беличьей шубке, в беличьей шапочке, во всей свежести своих шестнадцати лет, мороза, раскрасневшегося личика и ярких зеленых глаз.

– Едешь?

– Еду, Надюша...

Она вздохнула и упала в кресло, расстегивая шубку.

– Знаешь, я, слава Богу, ночью заболела... Ах, как бы я хотела проводить тебя на вокзал! Почему ты мне не позволяешь?

– Надюша, ты же сама знаешь, что это невозможно, меня будут провожать совсем незнакомые тебе люди, ты будешь чувствовать себя лишней, одинокой...

– А за то, чтобы поехать с тобой, я бы, кажется, жизнь отдала!

– А я? Но ты же знаешь, что это невозможно...

Он тесно сел к ней в кресло, целуя ее в теплую шейку, и почувствовал на своей щеке ее слезы.

– Надюша, что же это?

Она подняла лицо и с усилием улыбнулась:

– Нет, нет, я не буду... Я не хочу по-женски стеснять тебя, ты поэт, тебе необходима свобода.

– Ты у меня умница, – сказал он, умиляясь ее серьезностью и ее детским профилем – чистотой, нежностью и горячим румянцем щеки, треугольным разрезом полураскрытых губ, вопрошающей невинностью поднятой ресницы в слезах. – Ты у меня не такая, как другие женщины, ты сама поэтесса.

Она топнула в пол:

– Не смей мне говорить о других женщинах!

И с умирающими глазами зашептала ему в ухо, лаская мехом и дыханием:

– На минутку... Нынче еще можно...

\* \* \*

Подъезд Брестского вокзала светил в синей тьме морозной ночи. Войдя в гулкий вокзал вслед за торопящимся носильщиком, он тотчас увидел Ли: тонкая, длинная, в прямой черно-маслянистой каракулевой шубке и черном бархатном большом берете, из-под которого длинными завитками висели вдоль щек черные букли, держа руки в большой каракулевой муфте, она зло смотрела на него своими страшными в своем великолепии черными глазами.

– Все-таки уезжаешь, негодяй, – безразлично сказала она, беря его под руку и спеша вместе с ним своими высокими серыми ботиками вслед за носильщиком. – погоди, пожалеешь, другой такой не наживешь, останешься со своей дурочкой поэтессой.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
– Эта дурочка еще совсем ребенок, Ли, – как тебе не грех думать Бог знает что.

– Молчи. Я-то не дурочка. И если правда есть это Бог знает что, я тебя серной кислотой оболую.

Из-под готового поезда, сверху освещенного матовыми электрическими шарами, валил горячо шипящий серый пар, пахнувший каучуком. Международный вагон выделялся своей желтоватой деревянной обшивкой. Внутри, в его узком коридоре под красным ковром, в пестром блеске стен, обитых тисненой кожей, и толстых, зернистых дверных стекол, была уже заграница. Проводник-поляк в форменной коричневой куртке отворил дверь в маленькое купе, очень жаркое, с тугой, уже готовой постелью, мягко освещенное настольной лампочкой под шелковым красным абажуром.

– Какой ты счастливый! – сказала Ли. – Тут у тебя даже собственный нужник есть. А рядом кто? Может, какая-нибудь стерва-спутница?

И она подергала дверь в соседнее купе:

– Нет, тут заперто. Ну, счастлив твой Бог! Целуй меня скорей, сейчас будет третий звонок...

Она вынула из муфты руку, голубовато-бледную, изысканно-худую, с длинными, острыми ногтями, и, извиваясь, порывисто обняла его, неумеренно сверкая глазами, целуя и кусая то в губы, то в щеки и шепча:

– Я тебя обожаю, обожаю, негодяй!

\* \* \*

За черным окном огненной ведьмой неслись назад крупные оранжевые искры, мелькали освещаемые поездом белые снежные скаты и черные чащи соснового леса, таинственные и угрюмые в своей неподвижности, в загадочности своей зимней ночной жизни. Он закрыл под столиком раскаленную топку, опустил на холодное стекло плотную штору и постучал в дверь возле умывальника, соединявшую его и соседнее купе. Дверь оттуда отворилась, и, смеясь, вошла Генрих, очень высокая, в сером платье, с греческой прической рыже-лимонных волос, с тонкими, как у англичанки, чертами лица, с живыми янтарно-коричневыми глазами.

– Ну что, попрощался? Я все слышала. Мне больше всего понравилось, как она ломилась ко мне и обложила меня стервой.

– Начинаешь ревновать, Генрих?

– Не начинаю, а продолжаю. Не будь она так опасна, я давно бы потребовала ее полной отставки.

– Вот в том-то и дело, что опасна, попробуй-ка сразу отставить такую! А потом, ведь переносу же я твоего австрийца и то, что послезавтра ты будешь ночевать с ним.

– Нет, ночевать я с ним не буду. Ты отлично знаешь, что я еду прежде всего затем, чтобы развязаться с ним.

– Могла бы сделать это письменно. И отлично могла бы ехать прямо со мной.

Она вздохнула и села, поправляя блестящими пальцами волосы, мягко касаясь их, положив ногу на ногу в серых замшевых туфлях с серебряными пряжками:

– Нет, мой друг, я хочу расстаться с ним так, чтобы иметь возможность продолжать работать у него. Он человек расчетливый и пойдет на мирный разрыв. Кого он найдет, кто бы мог, как я, снабжать его журнал всеми театральными, литературными, художественными скандалами Москвы и Петербурга? Кто будет переводить и устраивать его гениальные новеллы? Нынче пятнадцатое. Ты, значит, будешь в Ницце восемнадцатого, а я не позднее двадцатого, двадцать первого. И довольно об этом, мы ведь с тобой прежде всего хорошие друзья и товарищи.

– Товарищи... – сказал он, радостно глядя на ее тонкое лицо в алых прозрачных пятнах на щеках. – Конечно, лучшего товарища, чем ты, Генрих, у меня никогда не

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
будет. Только с тобой одной мне всегда легко, свободно, можно говорить обо всем действительно как с другом, но, знаешь, какая беда? Я все больше влюбляюсь в тебя.

– А где ты был вчера вечером?

– Вечером? Дома.

– А с кем? Ну да Бог с тобой. А ночью тебя видели в «Стрельне», ты был в какой-то большой компании в отдельном кабинете, с цыганами. Вот это уже дурной тон – Степы, Груши, их роковые очи...

– А венские пропойцы, вроде Пшибышевского?

– Они, мой друг, случайность и совсем не по моей части. Она правда так хороша, как говорят, эта Маша?

– Цыганщина тоже не по моей части, Генрих. А Маша...

– Ну, ну, опиши мне ее.

– Нет, вы положительно становитесь ревнивы, Елена Генриховна. Что ж тут описывать, не видала ты, что ли, цыганок? Очень худа и даже не хороша – плоские дегтярные волосы, довольно грубое кофейное лицо, бессмысленные синеватые белки, лошадиные ключицы в каком-то желтом крупном ожерелье, плоский живот... это-то, впрочем, очень хорошо вместе с длинным шелковым платьем цвета золотистой луковой шелухи. И знаешь – как подберет на руки шаль из тяжелого старого шелка и пойдет под бубны мелькать из-под подола маленькими башмачками, мотая длинными серебряными серьгами, – просто несчастье! Но идем обедать.

Она встала, легонько усмехнувшись:

– Идем. Ты неисправим, друг мой. Но будем довольны тем, что Бог дает. Смотри, как у нас хорошо. Две чудесных комнатки!

– И одна совсем лишняя...

Она накинула на волосы вязаный оренбургский платок, он надел дорожную каскетку, и они, качаясь, пошли по бесконечным туннелям вагонов, переходя железные лязгающие мостики в холодных, сквозящих и сыплющих снежной пылью гармониках между вагонами.

Он вернулся один, – сидел в ресторане, курил, – она ушла вперед. Когда вернулся, почувствовал в теплом купе счастье совсем семейной ночи. Она откинула на постели угол одеяла и простыни, вынула его ночное белье, поставила на столик вино, положила плетенную из дранок коробку с грушами и стояла, держа шпильки в губах, подняв голые руки к волосам и выставив полные груди, перед зеркалом над умывальником, уже в одной рубашке и на босу ногу в ночных туфлях, отороченных песцом. Талия у нее была тонкая, бедра полновесные, щиколки легкие, точеные. Он долго целовал ее стоя, потом они сели на постель и стали пить рейнское вино, опять целуясь холодными от вина губами.

– А Ли? – сказала она. – А Маша?

\* \* \*

Ночью, лежа с ней рядом в темноте, он говорил с шутливой грустью:

– Ах, Генрих, как люблю я вот такие вагонные ночи, эту темноту в мотающемся вагоне, мелькающие за шторой огни станции – и вас, вас, «жены человеческие, сеть прельщения человеком»! Эта «сеть» нечто поистине неизъяснимое, Божественное и дьявольское, и когда я пишу об этом, пытаюсь выразить его, меня упрекают в бесстыдстве, в низких побуждениях... Подлые души! Хорошо сказано в одной старинной книге: «Сочинитель имеет такое же полное право быть смелым в своих словесных изображениях любви и лиц ее, каковое во все времена предоставлено было в этом случае живописцам и ваятелям: только подлые души видят подлое даже в прекрасном или ужасном».

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

– А у Ли, – спросила Генрих, – груди, конечно, острые, маленькие, торчащие в разные стороны? Верный признак истеричек.

– Да.

– Она глупа?

– Нет... Впрочем, не знаю. Иногда как будто очень умна, разумна, проста, легка и весела, все схватывает с первого слова, а иногда несет такой высокопарный, пошлый или злой, запальчивый вздор, что я сижу и слушаю ее с напряжением и тупостью идиота, как глухонемой... Но ты мне надоела с Ли.

– Надоела, потому что не хочу больше быть товарищем тебе.

– И я этого больше не хочу. И еще раз говорю: напиши этому венскому прохвосту, что ты увидишься с ним на возвратном пути, а сейчас нездорова, должна отдохнуть после инфлуэнции в Ницце. И поедем, не расставаясь, и не в Ниццу, а куда-нибудь в Италию...

– А почему не в Ниццу?

– Не знаю. Вдруг почему-то расхотелось. Главное – поедем вместе!

– Милый, мы об этом уже говорили. И почему Италия? Ты же уверял меня, что возненавидел Италию.

– Да, правда. Я зол на нее из-за наших эстетствующих болванов. «Я люблю во Флоренции только треченто...» А сам родился в Белеве и во Флоренции был всего одну неделю за всю жизнь. Треченто, кватроченто... И я возненавидел всех этих фра Анжелико, Гирляндайо, треченто, кватроченто и даже Беатриче и сухоликого Данте в бабьем шлыке и лавровом венке... Ну, если не в Италию, то поедем куда-нибудь в Тироль, в Швейцарию, вообще в горы, какую-нибудь каменную деревушку среди этих торчащих в небе пестрых от снега гранитных дьяволов... Представь себе только: острый, сырой воздух, эти дикие каменные хижинки, крутые крыши, сбитые в кучу возле горбатого каменного моста, под ним быстрый шум молочно-зеленой речки, бряканье колокольцев тесно, тесно идущего овечьего стада, тут же аптека и магазин с альпенштоками, страшно теплый отельчик с ветвистыми оленьими рогами над дверью, словно нарочно вырезанными из пемзы... словом, дно ущелья, где тысячу лет живет эта чуждая всему миру горная дикость, родит, венчает, хоронит, и века веков высоко глядит из-за гранитов над нею какая-нибудь вечно белая гора, как исполинский мертвый ангел... А какие там девки, Генрих! Тугие, краснощечие, в черных корсажах, в красных шерстяных чулках...

– Ох, уж мне эти поэты! – сказала она с ласковым зевком. – И опять девки, девки... Нет, в деревушке холодно, милый. И никаких девок я больше не желаю...

\* \* \*

В Варшаве, под вечер, когда переезжали на Венский вокзал, дул навстречу мокрый ветер с редким и крупным холодным дождем, у морщинистого извозчика, сидевшего на козлах просторной коляски и сердито гнавшего пару лошадей, трепались литовские усы и текло с кожаного картуза, улицы казались провинциальными.

На рассвете, подняв штору, он увидел бледную от жидкого снега равнину, на которой кое-где краснели кирпичные домики. Тотчас после того остановились и довольно долго стояли на большой станции, где, после России, все казалось очень мало, – вагончики на путях, узкие рельсы, железные столбики фонарей, – и всюду чернели вороха каменного угля; маленький солдат с винтовкой, в высоком кепи, усеченным конусом, и в короткой мышино-голубой шинели шел, переходя пути, от паровозного депо; по деревянной настилке под окнами ходил долговязый усатый человек в клетчатой куртке с воротником из заячьего меха и зеленой тирольской шляпе с пестрым перышком сзади. Генрих проснулась и шепотом попросила опустить штору. Он опустил и лег в ее тепло, под одеяло. Она положила голову на его плечо и заплакала.

– Генрих, что ты? – сказал он.

– Не знаю, милый, – ответила она тихо. – Я на рассвете часто плачу. Проснешься,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин и так вдруг станет жалко себя... Через несколько часов ты уедешь, а я останусь одна, пойду в кафе ждать своего австрийца... А вечером опять кафе и венгерский оркестр, эти режущие душу скрипки...

– Да, да, и пронзительные цимбалы... Вот я и говорю: пошли австрийка к черту и поедем дальше.

– Нет, милый, нельзя. Чем же я буду жить, поссорившись с ним? Но клянусь тебе, ничего у меня с ним не будет. Знаешь, в последний раз, когда я уезжала из Вены, мы с ним уже выясняли, как говорится, отношения – ночью, на улице, под газовым фонарем. И ты не можешь себе представить, какая ненависть была у него в лице! Лицо от газа и злобы бледно-зеленое, оливковое, фисташковое... Но, главное, как я могу теперь, после тебя, после этого купе, которое сделало нас уж такими близкими...

– Слушай, правда?

Она прижала его к себе и стала целовать так крепко, что у него перехватывало дыхание.

– Генрих, я не узнаю тебя.

– И я себя. Но иди, иди ко мне.

– Погоди...

– Нет, нет, сию минуту!

– Только одно слово: скажи точно, когда ты выедешь из Вены?

– Нынче вечером, нынче же вечером!

Поезд уже двигался, мимо двери мягко шли и звенели по ковру шпоры пограничников.

\* \* \*

И был венский вокзал, и запах газа, кофе и пива, и уехала Генрих, нарядная, грустно улыбающаяся, на нервной, деликатной европейской кляче, в открытом ландо с красноносым извозчиком в пелерине и лакированном цилиндре на высоких козлах, снявшим с этой клячи одеяльце и загукавшим и захлопавшим длинным бичом, когда она задергала своими аристократическими, длинными, разбитыми ногами и косо побежала с своим коротко обрезанным хвостом вслед за желтым трамваем. Был Земмеринг и вся заграничная праздничность горного полдня, левое жаркое окно в вагоне-ресторане, букетик цветов, аполлинарис и красное вино «Феслау» на ослепительно-белом столике возле окна и ослепительно-белый полуденный блеск снеговых вершин, восстававших в своем торжественно-радостном облачении в райское индиго неба, рукой подать от поезда, извивавшегося по обрывам над узкой бездной, где холодно синела зимняя, еще утренняя тень. Был морозный, первозданно-непорочный, чистый, мертвенно алевший и синевший к ночи вечер на каком-то перевале, тонувшем со всеми своими зелеными елями в великом обилии свежих пухлых снегов. Потом была долгая стоянка в темной теснине, возле итальянской границы, среди черного Дантова ада гор, и какой-то воспаленно-красный, дымящийся огонь при входе в закопченную пасть туннеля. Потом – все уже совсем другое, ни на что прежнее не похожее: старый, облезло-розовый итальянский вокзал и петушиная гордость и петушиные перья на касках коротконогих вокзальных солдатиков, и вместо буфета на вокзале – одинокий мальчишка, лениво кативший мимо поезда тележку, на которой были только апельсины и фиаски. А дальше уже вольный, все ускоряющийся бег поезда вниз, вниз и все мягче, все теплее бьющий из темноты в открытые окна ветер Ломбардской равнины, усеянной вдали ласковыми огнями милой Италии. И перед вечером следующего, совсем летнего дня – вокзал Ниццы, сезонное многолюдство на его платформах...

В синие сумерки, когда до самого Антибского мыса, пепельным призраком таявшего на западе, протянулись изогнутой алмазной цепью несчетные береговые огни, он стоял в одном фраке на балконе своей комнаты в отеле на набережной, думал о том, что в Москве теперь двадцать градусов морозу, и ждал, что сейчас поступчат к нему в дверь и подадут телеграмму от Генриха. Обедая в столовой отеля, под сверкающими люстрами, в тесноте фраков и вечерних женских платьев, опять ждал,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
что вот-вот мальчик в голубой форменной курточке до пояса и в белых вязаных перчатках почтительно поднесет ему на подносе телеграмму; рассеянно ел жидкий суп с кореньями, пил красное бордо и ждал; пил кофе, курил в вестибюле и опять ждал, все больше волнуясь и удивляясь: что это со мною, с самой ранней молодости не испытывал ничего подобного! Но телеграммы все не было. Блестя, мелькая, скользили вверх и вниз лифты, бегали взад и вперед мальчики, разнося папиросы, сигары и вечерние газеты, ударил с эстрады струнный оркестр – телеграммы все не было, а был уже одиннадцатый час, а поезд из Вены должен был привезти ее в двенадцать. Он выпил за кофе пять рюмок коньяку и, утомленный, брезгливый, поехал в лифте к себе, злобно глядя на мальчика в форме: «Ах, какая каналья вырастет из этого хитрого, услужливого, уже насквозь развращенного мальчишки! И кто это выдумывает всем этим мальчишкам какие-то дурацкие шапочки и курточки, то голубые, то коричневые, с погончиками, кантиками!»

Не было телеграммы и утром. Он позвонил, молоденький лакеи во фраке, итальянский красавчик с газельими глазами, принес ему кофе: «Pas de lettres, monsieur, pas de telegrammes».[17] Он постоял в пижаме возле открытой на балкон двери, щурясь от солнца и пляшущего золотыми иглами моря, глядя на набережную, на густую толпу гуляющих, слушая доносящееся снизу, из-под балкона, итальянское пение, изнемогающее от счастья, и с наслаждением думал:

«Ну и черт с ней. Все понятно».

Он поехал в Монте-Карло, долго играл, проиграл двести франков, поехал назад, чтобы убить время, на извозчике – ехал чуть не три часа: топ-топ, топ-топ, уи! и крутой выстрел бича в воздухе... Портье радостно осклабился:

– Pas de telegrammes, monsieur!

Он тупо одевался к обеду, думая все одно и то же.

«Если бы сейчас вдруг постучали в дверь и она вдруг вошла, спеша, волнуясь, на ходу объясняя, почему она не телеграфировала, почему не приехала вчера, я бы, кажется, умер от счастья! Я сказал бы ей, что никогда в жизни, никого на свете так не любил, как ее, что Бог многое простит мне за такую любовь, простит даже Надю, – возьми меня всего, всего, Генрих! Да, а Генрих обедает сейчас со своим австрияком. Ух, какое это было бы упоение – дать ей самую зверскую пощечину и проломить ему голову бутылкой шампанского, которое они распивают сейчас вместе!»

После обеда он ходил в густой толпе по улицам, в теплом воздухе, в сладкой вонии копеечных итальянских сигар, выходил на набережную, к смоляной черноте моря, глядел на драгоценное ожерелье его черного изгиба, печально пропадающего вдаль направо, заходил в бары и все пил, то коньяк, то джин, то виски. Возвратясь в отель, он, белый как мел, в белом галстуке, в белом жилете, в цилиндре, важно и небрежно подошел к портье, бормоча мертвеющими губами:

– Pas de telegrammes?

И портье, делая вид, что ничего не замечает, ответил с радостной готовностью:

– Pas de telegrammes, monsieur!

Он был так пьян, что заснул, сбросив с себя только цилиндр, пальто и фрак, – упал навзничь и тотчас головокружительно полетел в бездонную темноту, испещренную огненными звездами.

На третий день он крепко заснул после завтрака и, проснувшись, вдруг взглянул на все свое жалкое и постыдное поведение трезво и твердо. Он потребовал к себе в комнату чаю и стал убирать из гардероба вещи в чемоданы, стараясь больше не думать о ней и не жалеть о своей бессмысленной, испорченной поездке. Перед вечером спустился в вестибюль, заказал приготовить счет, спокойным шагом пошел к Куку и взял билет в Москву через Венецию в вечернем поезде: пробуду в Венеции день и в три ночи прямым путем, без остановок, домой, в Лоскутную... Какой он, этот австрияк? По портретам и по рассказам Генриха, рослый, жилистый, с мрачным и решительным – конечно, наигранным, – взглядом косо-склоненного из-под широкополой шляпы лица... Но что о нем думать! И мало ли что будет еще в жизни! Завтра Венеция. Опять пение и гитары уличных певцов на набережной под отелем, – выделяется резкий и безучастный голос черной простоволосой женщины, с шалью на

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин плечах, вторящей разливающемуся коротконогую, кажущемуся с высоты карликом, тенору в шляпе нищего... старичок в лохмотьях, помогающий входить в гондолу – прошлый год помогал входить с огнеглазой сицилианкой в хрустальных качающихся серьгах, с желтой кистью цветущей мимозы в волосах цвета маслины... запах гниющей воды канала, погребально лакированная внутри гондола с зубчатой, хищной секирой на носу, ее покачивание и высоко стоящий на корме молодой гребец с тонкой, перепоясанной красным шарфом талией, однообразно подающийся вперед, налегая на длинное весло, классически отставивши левую ногу назад...

Вечерело, вечернее бледное море лежало спокойно и плоско, зеленоватым сплавом с опаловым глянцем, над ним зло и жалостно надрывались чайки, чуя на завтра непогоду, дымчато-сизый запад за Антибским мысом был мутен, в нем стоял и мерк диск маленького солнца, апельсина-королька. Он долго глядел на него, подавленный ровной безнадежной тоской, потом очнулся и бодро пошел к своему отелю. «*Journaux étrangers!*» [18] – крикнул бежавший навстречу газетчик и на бегу сунул ему «Новое время». Он сел на скамью и при гаснущем свете зари стал рассеянно развешивать и просматривать еще свежие страницы газеты. И вдруг вскопился, оглушенный и ослепленный как бы взрывом магния:

«Вена. 17 декабря. Сегодня, в ресторане „*Franzensring*“ известный австрийский писатель Артур Шпиглер убил выстрелом из револьвера русскую журналистку и переводчицу многих современных австрийских и немецких новеллистов, работавшую под псевдонимом „Генрих“».

10 ноября 1940

(обратно)  
Натали\*

I

В то лето я впервые надел студенческий картуз и был счастлив тем особым счастьем начала молодой свободной жизни, что бывает только в эту пору. Я вырос в строгой дворянской семье, в деревне, и юношей, горячо мечтая о любви, был еще чист душой и телом, краснел при вольных разговорах гимназических товарищей, и они морщились: «Шел бы ты, Мещерский, в монахи!» В то лето я уже не краснел бы. Приехав домой на каникулы, я решил, что настало и для меня время быть, как все, нарушить свою чистоту, искать любви без романтики и, в силу этого решения да и желания показать свой голубой околыш, стал ездить в поисках любовных встреч по соседним имениям, по родным и знакомым. Так попал я в имение моего дяди по матери, отставного и давно овдовевшего улана Черкасова, отца единственной дочери, а моей двоюродной сестры Сони...

Я приехал поздно, и в доме встретила меня только Соня. Когда я выскочил из тарантаса и вбежал в темную прихожую, она вышла туда в ночном фланелевом халатике, высоко держа в левой руке свечку, подставила мне для поцелуя щеку и сказала, качая головой со своей обычной насмешливостью:

– Ах, вечно и всюду опаздывающий молодой человек!

– Ну, уж на этот раз никак не по своей вине, – ответил я. – Опоздал не молодой человек, а поезд.

– Тише, все спят. Целый вечер умирали от нетерпения, ожидания и наконец махнули на тебя рукой. Папа ушел спать рассерженный, обругав тебя вертопрахом, а Ефрема, очевидно оставшегося на станции до утреннего поезда, старым дураком. Натали ушла обиженная, прислуга тоже разошлась, одна я оказалась терпелива и верна тебе. Ну, раздевайся и пойдем ужинать.

Я ответил, любуясь ее синими глазами и поднятой, открытой до плеча рукой:

– Спасибо, милый друг. Убедиться в твоей верности мне теперь особенно приятно – ты стала совершенной красавицей, и я имею на тебя самые серьезные виды. Какая рука, шея и как соблазнителен этот мягкий халатик, под которым, верно, ничего нет!

Она засмеялась:

– Почти ничего. Но и ты стал хоть куда и очень возмужал. Живой взгляд и пошлые черные усики... Только что это с тобой? Ты за эти два года, что я не видала тебя, превратился из вечно вспыхивающего от застенчивости мальчишки в негаа, интересного нахала. И это сулило бы нам много любовных утех, как говорили наши бабушки, если бы не Натали, в которую ты завтра же утром влюбишься до гроба.

– Да кто это Натали? – спросил я, входя за ней в освещенную яркой висячей лампой столовую с открытыми в черноту теплой и тихой летней ночи окнами.

– Это Наташа Станкевич, моя подруга по гимназии, приехавшая погостить у меня. И вот это уж действительно красавица, не то что я. Представь себе: прелестная головка, так называемые «золотые» волосы и черные глаза. И даже не глаза, а черные солнца, выражаясь по-персидски. Ресницы, конечно, огромные и тоже черные, и удивительный золотистый цвет лица, плечей и всего прочего.

– Чего прочего? – спросил я, все больше восхищаясь тоном нашего разговора.

– А вот мы завтра утром пойдем с ней купаться – советую тебе залезть в кусты, тогда увидишь чего. И сложена, как молоденькая нимфа...

На столе в столовой были холодные котлеты, кусок сыру и бутылка красного крымского вина.

– Не прогневайся, больше ничего нет, – сказала она, садясь и наливая вина мне и себе. – И водки нет. Ну, дай юг, чокнемся хоть вином.

– А что именно дай бог?

– Найти мне поскорей такого жениха, что пошел бы к нам «во двор». Ведь мне уже двадцать первый год, а выйти куда-нибудь замуж на сторону я никак не могу: с кем же останется папа?

– Ну, дай бог!

И мы чокнулись, и, медленно выпив весь бокал, она опять со странной усмешкой стала глядеть на меня, на то, как я работаю вилок, стала как бы про себя говорить:

– Да, ты ничего себе, похож на грузина и довольно красив, прежде был уж очень тощ и зелен лицом. Вообще очень изменился, стал легкий, приятный. Только вот глаза бегают.

– Это потому, что ты меня смущаешь своими прелестями. Ты ведь тоже не совсем такая была прежде...

И я весело осмотрел ее. Она сидела с другой стороны стола, вся взобравшись на стул, поджав под себя ногу, положив полное колено на колено, немного боком ко мне, под лампой блестел ровный загар ее руки, сияли сине-лиловые усмевающиеся глаза и красновато отливали каштаном густые и мягкие волосы, заплетенные на ночь в большую косу; ворот распахнувшегося халатика открывал круглую загорелую шею и начало полнеющей груди, на которой тоже лежал треугольник загара: на левой щеке у нее была родинка с красивым завитком черных волос.

– Ну, а что папа?

Она, продолжая глядеть все с той же усмешкой, вынула из кармана маленький серебряный портсигар и серебряную коробочку со спичками и закурила с некоторой даже излишней ловкостью, поправляя под собой поджатое бедро:

– Папа, слава богу, молодцом. По-прежнему прям, тверд, постукивает костылем, взбивает седой кок, тайком подкрашивает чем-то бурым усы и баки, молодецки посматривает на Христю... Только еще больше прежнего и еще настойчивее трясет, качает головой. Похоже, что никогда ни с кем не соглашается, – сказала она и засмеялась.

– Хочешь папиросу?

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
Я закурил, хотя еще не курил тогда, она опять налила мне себе и посмотрела в темноту за открытым окном:

– Да, пока все слава богу. И прекрасное лето, – ночь-то какая, а? Только соловьи уж замолчали. И я правда очень тебе рада. Послала за тобой еще в шесть часов, боялась, как бы не опоздал выживший из ума Ефрем к поезду. Ждала тебя нетерпеливее всех. А потом даже довольна была, что все разошлись, и что ты опаздываешь, что мы, если ты приедешь, посидим наедине. Я почему-то так и думала, что ты очень изменился, с такими, как ты, всегда бывает так. И знаешь, то такое удовольствие – сидеть одной во всем доме в летнюю ночь, когда ждешь кого-нибудь с поезда, и наконец слышать, что едут, погромыхивают бубенчики, подкатывает к крыльцу...

Я крепко взял через стол ее руку и подержал в своей, тоже чувствуя тягу ко всему ее телу. Она с веселым спокойствием пускала из губ колечки дыма. Я бросил руку и будто шутя сказал:

– Вот ты говоришь Натали... Никакая Натали с тобой не сравнится... Кстати, кто она, – откуда?

– Наша воронежская, из прекрасной семьи, очень богатой когда-то, теперь же просто нищей. В доме говорят по-английски и по-французски, а есть нечего... Очень трогательная девочка, стройненькая, еще хрупкая. Умница, только очень скрытная, не сразу разберешь, умна или глупа... Эти Станкевичи недалекие соседи твоего милейшего кузена Алексея Мещерского, и Натали говорит, что он что-то частенько стал заезжать к ним и жаловаться на свою холостую жизнь. Но он ей не нравится. А потом – богат, подумают, что вышла из-за денег, пожертвовала собой для родителей.

– Так, – сказал я. – Но вернемся к делу. Натали, Натали, а как же наш-то с тобой роман?

– Натали нашему роману все-таки не помешает, – ответила она. – Ты будешь сходить с ума от любви к ней, а целоваться будешь со мной. Будешь плакать у меня на груди от ее жестокости, а я буду тебя утешать.

– Но ведь ты же знаешь, что я давным-давно влюблен в тебя.

– Да, но ведь это была обычная влюбленность в кузину и притом уж слишком подколотная, ты тогда только смешон и скучен был. Но бог с тобой, прощаю тебе твою прежнюю глупость и готова начать наш роман завтра же, несмотря на Натали. А пока идем спать, мне завтра рано вставать по хозяйству.

И она встала, запахивая халатик, взяла в прихожей почти догоревшую свечу и повела меня в мою комнату. И на пороге этой комнаты, радуясь и дивясь тому, чему я в душе дивился и радовался весь ужин, – такой счастливой удаче своих любовных надежд, которая вдруг выпала на мою долю у Черкасовых, – я долго и жадно целовал и прижимал ее к притолоке, а она сумрачно закрывала глаза, все ниже опуская капающую свечу. Уходя от меня с пунцовым лицом, она погрозила мне пальцем и тихо сказала:

– Только смотри теперь: завтра, при всех, не смей пожирать меня «страстными взорами»! Избавь бог, если заметит что-нибудь папа. Он меня боится ужасно, а я его еще больше. Да и не хочу, чтобы Натали заметила что-нибудь. Я ведь очень стыдлива, не суди, пожалуйста, по тому, как я веду себя с тобой. А не исполнишь моего приказа, сразу станешь противен мне...

Я разделся и упал в постель с головокружением, но уснул сладко и мгновенно, разбитый счастьем и усталостью, совсем не подозревая, какое великое несчастье ждет меня впереди, что шутки Сони окажутся не шутками.

Впоследствии я не раз вспоминал, как некое зловещее предзнаменование, что, когда я вошел в свою комнату и юркнул спичкой, чтобы зажечь свечу, на меня метнулась крупная летучая мышь. Она метнулась к моему лицу, так близко, что я даже при свете спички ясно увидел ее мерзкую темную бархатистость и ушастую, курносую, похожую на смерть, хищную мордочку, потом с гладким трепетанием, изламываясь, нырнула в черноту открытого окна. Но тогда я тотчас забыл о ней.

В первый раз я видел Натали да другой день утром только мельком: она вдруг вскочила из прихожей в столовую, глянула, – была еще не причесана и в одной легкой распашонке из чего-то оранжевого, – и, сверкнув этим оранжевым, золотистой яркостью волос и черными глазами, исчезла. Я был ту минуту в столовой один, только что кончил пить кофе, – улан кончил раньше и ушел, – и, встав из-за стола, случайно обернулся...

Я проснулся в то утро довольно рано, в еще полной тишине всего дома. В доме было столько комнат, что я иногда нуждался в них. Я проснулся в какой-то дальней комнате, окнами в теневую часть сада, крепко выспавшись, с удовольствием вымылся, оделся во все чистое, – особенно приятно было надеть новую косоворотку красного шелка, – покрасивее причесал свои черные мокрые волосы, подстриженные вчера в Воронеже, вышел в коридор, повернул в другой и оказался перед дверью в кабинет и вместе спальню улана. Зная, что он встает летом часов в пять, постучался. Никто не ответил, и я отворил дверь, заглянул и с удовольствием убедился неизменности этой старой просторной комнаты с тройным итальянским окном под столетний серебристый тополь: налево вся стена в дубовых книжных шкалах, между ними в одном месте высятся часы красного дерева с медным диском неподвижного маятника, в другом стоит целая куча трубок с бисерными чубуками, а над ними висит барометр, в третьем вдвинуто бюро дедовских времен с порыжевшим сукном откинутой доски орехового дерева, а на сукне клеши, молотки, гвозди, медная подзорная труба, на стене возле двери, над стопудовым деревянным диваном, целая галерея выцветших портретов в овальных рамках; под окном письменный стол, глубокое кресло – то и другое тоже огромных размеров; правее, над широчайшей дубовой кроватью картина во всю стену: почерневший лаковый фон, на нем еле видные клубы смугло-дымчатых облаков и зеленовато-голубых поэтических деревьев, а на переднем плане блещет точно окаменевшим яичным белком голая дородная красавица, чуть не в натуральную величину, стоящая вполупорот к зрителю гордым лицом и всеми выпуклостями полновесной спины, крутого зада и тыла могучих ног, соблазнительно прикрывая удлиненными расставленными пальцами одной руки сосок груди, а другой низ живота в жирных складках. Оглянув все это, я услышал сзади себя сильный голос улана, с костылем подходившего ко мне из прихожей:

– Нет, братец, меня в эту пору в спальне не найдешь. Это ведь вы валяетесь по кроватям до трех дубов.

Я поцеловал его широкую сухую руку и спросил:

– Каких дубов, дядя?

– Так мужики говорят, – ответил он, мотая седым коком и оглядывая меня желтыми глазами, еще зоркими и умными. – Солнце на три дуба поднялось, а ты все еще мордой на подушке, говорят мужики. Ну, пойдём пить кофе...

«Чудесный старик, чудесный дом», – думал я, входя за ним в столовую, в открытые окна которой глядела зелень бренного сада и все летнее благополучие деревенской усадьбы. Служила старая нянька, маленькая и горбатая, улан пил из толстого стакана в серебряном подстаканнике крепкий чай со сливками, придерживая в стакане широким пальцем тонкое и длинное, витое стебло круглой золотой старинной ложечки, я ел ломоть за ломтем черный хлеб с маслом и все подливал себе из горячего серебряного кофейника; улан, интересуясь только собой, ни о чем не спросив меня, рассказывал о соседях-помещиках, на все лады браня и высмеивая их, я притворялся, что слушаю, глядел на его усы, баки, на крупные волосы на конце носа, а сам так ждал Натали и Соню, что не сиделось на месте: что это за Натали и как мы встретимся с Соней после вчерашнего? Чувствовал к ней восторг, благодарность, порочно думал о спальнях ее и Натали, обо всем том, что делается в утреннем беспорядке женской спальни... Может, Соня все-таки сказала Натали что-нибудь о нашей начавшейся вчера любви? Если так, то я чувствую нечто вроде любви и к Натали, и не потому, что она будто бы красавица, а потому, что она уже стала нашей с Соней тайной соучастницей, – отчего же нельзя любить двух? Вот они сейчас войдут во всей своей утренней свежести, увидят меня, мою грузинскую красоту и красную косоворотку, заговорят, засмеются, сядут за стол, красиво наливая из этого горячего кофейника, – молодой утренний аппетит, молодое утреннее возбуждение, блеск выспавшихся глаз, легкий налет пудры на как будто еще помолодевших после сна щеках и этот смех за каждым словом, не совсем естественный и тем более очаровательный... А перед завтраком они пойдут по саду к

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
реке, будут раздеваться в купальне, освещаемые по голому телу сверху синевой неба, а снизу отблеском прозрачной воды... Воображение всегда было живо у меня, я мысленно видел, как Соня и Натали станут, держась за перила лесенки в купальню, неловко сходить по ее ступенькам, погруженным в воду, мокрым, холодным и скользким от противного зеленого бархата слизи, выросшей на них, как Соня, откинув назад густоволосую голову, решительно упадет вдруг на воду поднятыми грудями – и, вся странно видная в воде голубовато-лиловым телом, косо разведет в разные стороны углы рук и ног, совсем как лягушка...

– Ну, до обеда, ты ведь помнишь: обед в двенадцать, – отрицательно качая головой, сказал улан и встал со своим выбритым подбородком, в бурых усах, соединенных с такими же баками, высокий, старчески твердый, в просторном чесучовом костюме и тупоносых башмаках, с костью в широкой руке, покрытой гречкою, потрепал меня по плечу и скорым шагом ушел. И вот тут-то, когда я тоже встал, чтоб выйти через соседнюю комнату на балкон, она и вскочила, мелькнула и скрылась, сразу поразив меня радостным восхищением. Я вышел на балкон изумленный: в самом деле, красавица! – и долго стоял так, как бы собираясь с мыслями. Я так ждал их в столовую, но когда наконец услышал их в столовой с балкона, вдруг сбежал в сад, – охватил какой-то страх не то перед обеими, с одной из которых я имел уже пленительную тайну, не то больше всего перед Натали, перед тем мгновенным, чем она полчаса тому назад ослепила меня в своей быстроте. Я походил по саду, лежавшему, как и вся усадьба, в речной низменности, наконец преодолел себя, вошел с напускной простотой и встретил веселую смелость Сони и милую шутку Натали, которая с улыбкой вскинула на меня из черных ресниц сияющую черноту своих глаз, особенно поразительную при свете ее волос:

– Мы уже виделись!

Потом мы стояли на балконе, облокотясь на каменную балюстраду, с летним удовольствием чувствуя, как горячо печет нам раскрытые головы, и Натали стояла возле меня, а Соня, обняв ее и будто рассеянно глядя куда-то, с усмешкой напевала: «Среди шумного бала, случайно...» Потом выпрямилась:

– Ну, купаться! В первую очередь мы, потом пойдешь ты...

Натали побежала за простынями, а она задержалась и шепнула мне:

– Изволь с нынешнего дня притворяться, что ты влюбился в Натали. И берегись, если окажется, что тебе притворяться не надо.

И я чуть не ответил с веселой дерзостью, что да, уже не надо, а она, покосясь на дверь, тихо прибавила:

– Приду к тебе после обеда...

Когда они вернулись, пошел в купальню я – сперва по длинной березовой аллее, потом среди разных старых деревьев побережья, где тепло пахло речной водой и орали на древесных верхушках грачи, шел и опять думал с двумя совершенно противоположными чувствами о Натали и о Соне, что я буду купаться в той же воде, в которой только что купались они...

После обеда среди всего того счастливого, бесцельного, привольного и спокойного, что глядело из сала в открытые окна, – небо, зелень, солнце, – после долгого обеда с окрошкой, жареными цыплятами и малиной со сливками, за которым я втайне замирал от присутствия Натали и от ожидания того часа, когда затихнет весь дом на послеобеденное время и Соня (вышедшая к обеду с темно-красной бархатистой розой в волосах) тайком прибежит ко мне, чтобы продолжить вчерашнее уже не наспех и не как-нибудь, я тотчас ушел в свою комнату и притворил сквозные ставни, стал ждать ее, лежа на турецком диване, слушая жаркую тишину усадьбы и уже томное, послеполуденное пение птиц в саду, из которого шел в ставни сладкий от цветов и трав воздух, и безвыходно думал: как же мне теперь жить в этой двойственности – в тайных свиданиях с Соней и рядом с Натали, одна мысль о которой уже охватывает меня таким чистым любовным восторгом, страстной мечтой глядеть на нее только с тем радостным обожанием, с которым я давеча глядел на ее тонкий склоненный стан, на острые девичьи локти, которыми она, полустоя, опиралась на нагретый солнцем старый камень балюстрады? Соня, облокотясь рядом с ней и обняв ее за плечо, была в своем батистовом пеньюаре с оборками и похожа на только что вышедшую замуж молодую женщину, а она в холстинковой юбочке и вышитой

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
малороссийской сорочке, под которыми угадывалось все юное совершенство ее сложения, казалась чуть не подростком. В том-то и была высшая радость, что я даже помыслить не смел о возможности поцеловать ее с теми же чувствами, с какими целовал вчера Соню! В легком и широком рукаве сорочки, вышитой по плечам красным и синим, была видна ее тонкая рука, к сухо-золотистой коже которой прилегали рыжеватые волоски, – я глядел и думал: что испытал бы я, если бы посмел коснуться их губами! И, чувствуя мой взгляд, она вскинула на меня блестящую черноту глаз и всю свою яркую головку, обвитую плетью довольно крупной косы. Я отошел и поспешно опустил глаза, увидав ее ноги сквозь просвечивающий на солнце подол юбки и тонкие, крепкие, породистые щиколотки в сером прозрачном чулке...

Соня, с розой в волосах, быстро отворила и затворила дверь, тихо воскликнула: «Как, ты спал?» Я вскочил – что ты, что ты, мог ли я спать! – схватил ее руки. «Запри дверь на ключ...» Я кинулся к двери, она села на диван, закрывая глаза, – «Ну, иди ко мне», – и мы сразу потеряли всякий стыд и рассудок. Мы не проронили почти ни слова за эти минуты, и она, во всей прелести своего жаркого тела, позволила целовать себя уже всюду – только целовать – и все сумрачней закрывала глаза, все больше разгоралась лицом, и опять, уходя и поправляя волосы, шепотом пригрозила:

– А что до Натали, то повторяю: берегись перейти за притворство. Характер у меня вовсе не такой милый, как можно думать!

Роза валялась на полу. Я спрятал ее в стол, и к вечеру ее темно-красный бархат стал вялым и лиловым.

### III

Жизнь моя пошла внешне обыденно, но внутренне я не знал ни минуты покоя, все больше и больше привязываясь к Соне, к сладкой привычке изнурительно-страстных свиданий с ней по ночам, – она теперь приходила ко мне только поздно вечером, когда весь дом засыпал, – и все мучительнее и восторженнее следя тайком за Натали, за каждым ее движением. Все шло обычным летним порядком: встречи утром, купанье перед обедом и обед, потом отдых по своим комнатам, потом сад, – они что-нибудь вышивали, сидя в березовой аллее и заставляя меня читать вслух Гончарова, или варили варенье на тенистой полянке под дубами, недалеко от дома, вправо от балкона; в пятом часу чай на другой тенистой поляне, влево, вечером прогулки или крокет на широком дворе перед домом, – я с Натали против Сони или Соня с Натали против меня, – в сумерки ужин в столовой... После ужина улан уходил спать, а мы еще долго сидели в темноте на балконе, мы с Соней шутя и куря, а Натали молча. Наконец Соня говорила: «Ну, спать!» – и, простясь с ними, я шел к себе, с холодеющими руками ждал того заветного часа, когда весь дом станет темен и так тих, что слышно, как непрерывно тикающей ниточкой бегут карманные часы у моего изголовья под нагоревшей свечой, и все дивился, ужасался: за что так наказал меня Бог, за что дал сразу две любви, такие разные и такие страстные, такую мучительную красоту обожания Натали и такое телесное упоение Соней. Я чувствовал, что вот-вот мы с ней не выдержим нашей неполной близости и что я совсем сойду тогда с ума от ожидания наших ночных встреч и от ощущения их потом весь день, и все это рядом с Натали! Соня уже ревновала, грозно вспыхивала иногда, а вместе с тем наедине говорила мне:

– Боюсь, что мы с тобой за столом и при Натали не достаточно просты. Папа, мне кажется, начинает что-то замечать. Натали тоже, а нянька, конечно, уже уверена в нашем романе и небось наушничает папе. Сиди побольше в саду с Натали вдвоем, читай ей этот несносный «Обрыв», уводи ее иногда гулять по вечерам... Это ужасно, я ведь замечаю, как идиотски ты пялишь на нее глаза, временами чувствую к тебе ненависть, готова, как какая-нибудь Одарка, вцепиться при всех тебе в волосы, да что же мне делать?

Ужаснее всего было то, что, как мне казалось, начала не то страдать, не то негодовать, чувствовать, что что-то есть между мной и Соней тайное, Натали. Она, и без того молчаливая, становилась все молчаливее, играла в крокет или вышивала излишне пристально. Мы как будто привыкли друг к другу, сблизились, но вот я как-то пошутил, сидя с ней вдвоем в гостиной, где она перелистывала ноты, полулежа на диване:

– А я слышал, Натали, что, может быть, мы с вами породнимся.

Она резко взглянула на меня:

– Как это?

– Мой кузен, Алексей Николаич Мещерский..

Она не дала мне договорить:

– Ах, вот что! Ваш кузен, этот, простите, упитанный, весь заросший черными блестящими волосами, картавящий великан с красным сочным ртом... И кто дал вам право на подобные разговоры со мной?

Я испугался:

– Натали, Натали, за что вы так строги ко мне! Даже пошутить нельзя! Ну простите меня, – сказал я, беря ее руку.

Она не отняла руки и сказала:

– Я до сих пор не понимаю... не знаю вас... Но довольно об этом...

Чтобы не видеть ее томительно влекущих к себе теннисных белых башмачков, вкось подобранных на диване, я встал и вышел на балкон. Заходила из-за сада туча, тускнел воздух, все шире и ближе шел по саду мягкий летний шум, сладко дуло полевым дождевым ветром, и меня вдруг так сладко, молодо и вольно охватило какое-то беспричинное, на все согласное счастье, что я крикнул:

– Натали, на минутку!

Она подошла к порогу:

– Что?

– Вздохните – какой ветер! Какой радостью могло бы быть все!

Она помолчала.

– Да.

– Натали, как вы неласковы со мной! Вы что-то имеете против меня?

Она гордо пожала плечом:

– Что и почему я могу иметь против вас?

Вечером, лежа в темноте в плетеных креслах на балконе, мы все трое молчали, – звезды только кое-где мелькали в темных облаках, слабо тянуло со стороны реки вялым ветром, там дремотно журчали лягушки.

– К дождю, спать хочется, – сказала Соня, подавляя зевок. – Нянька сказала, родился молодой месяц и теперь с неделю будет «обмываться». – И, помолчав, добавила: – Натали, что вы думаете о первой любви?

Натали откликнулась из темноты:

– Я в одном убеждена: в страшном различии первой любви юноши и девушки.

Соня подумала:

– Ну, и девушки бывают разные... И решительно встала:

– Нет, спать, спать!

– А я еще подремлю тут, мне ночь нравится, – сказала Натали.

Я прошептал, слушая удаляющиеся шаги Сони:

– Что-то нехорошо говорили мы нынче с вами!

Она ответила:

– Да, да, мы нехорошо говорили...

На другой день мы встретились как будто спокойно. Ночью шел тихий дождь, но утром погода разгулялась, после обеда стало сухо и жарко. Перед чаем в пятом часу, когда Соня делала какие-то хозяйственные подсчеты в кабинете улана, мы сидели в березовой аллее и пытались продолжать чтение вслух «Обрыва». Она, наклонясь, что-то шила, мелькая правой рукой, я читал и от времени до времени с сладкой тоской взглядывал на ее левую руку, видную в рукаве, на рыжеватые волоски, прилежавшие к ней выше кисти и на такие же там, где шея сзади переходила в плечо, и читал все оживленнее, не понимая ни слова. Наконец сказал:

– Ну теперь почитайте вы...

Она разогнулась, под тонкой блузкой обозначились точки ее груди, отложила шитье и, опять наклонясь, низко опустив свою странную и чудесную голову и показывая мне затылок и начало плеча, положила книгу на колени, стала читать скорым и неверным голосом. Я глядел на ее руки, на колени под книгой, изнемогая от неистовой любви к ним и звуку ее голоса. В разных местах предвечернего сада вскрикивали на лету иволги, против нас высоко висел, прижавшись к стволу сосны, одиноко росшей в аллее среди берез, красновато-серый дятел...

– Натали, какой удивительный цвет волос у вас! А коса немного темнее, цвета спелой кукурузы...

Она продолжала читать.

– Натали, дятел, посмотрите!

Она взглянула вверх:

– Да, да, я его уже видела, и нынче видела, и вчера видела... Не мешайте читать.

Я помолчал, потом снова:

– Посмотрите, как это похоже на засохших серых червячков.

– Что, где?

Я указал ей на скамью между нами, на засохший птичий известковый помет:

– Правда?

И взял и сжал ее руку, бормоча и смеясь от счастья:

– Натали, Натали!

Она тихо и долго поглядела на меня, потом выговорила:

– Но вы же любите Соню!

Я покраснел, как пойманный мошенник, но с такой горячей поспешностью отрекся от Сони, что она даже слегка раскрыла губы:

– Это неправда?

– Неправда, неправда! Я ее очень люблю, но как сестру, ведь мы знаем друг друга с детства!

IV

На другой день она не вышла ни утром, ни к обеду.

– Соня, что с Натали? – спросил улан, и Соня ответила, нехорошо засмеявшись:

– Лежит все утро в распашонке, нечесаная, по лицу видно, что ревела, принесли ей

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин кофе – не допила... Что такое? «Голова болит». Уж не влюбилась ли!

– Очень просто, – сказал улан бодро, с одобрительным намеком глянув на меня, но отрицая головой.

Вышла Натали только к вечернему чаю, но вошла на балкон легко и живо, улыбнулась мне приветливо и как будто чуть виновато, удивив меня этой живостью, улыбкой и некоторой новой нарядностью: волосы убраны туго, спереди немного подвиты, волнисто тронуты щипцами, платье другое, из чего-то зеленого, цельное, очень простое и очень ловкое, особенно в перехвате на талии, туфельки черные, на высоких каблучках, – я внутренне ахнул от нового восторга. Я, сидя на балконе, просматривал «Исторический вестник», несколько книг которого дал мне улан, когда она вдруг вошла с этой живостью и несколько смущенной приветливостью:

– Добрый вечер. Идем чай пить. Сегодня за самоваром я. Соня нездорова.

– Как? То вы, то она?

– У меня просто болела голова с утра. Стыдно сказать, только сейчас привела себя в порядок...

– До чего удивительно это зеленое при ваших глазах и волосах! – сказал я. И вдруг спросил, краснея: – Вы вчера мне поверили?

Она тоже покраснела – тонко и ало – и отвернулась:

– Не сразу, не совсем. Потом вдруг сообразила, что не имею основания не верить вам... и что, в сущности, какое же мне дело до ваших с Соней чувств? Но идем...

К ужину вышла и Соня и улучила минуту сказать мне:

– Я заболела. У меня это проходит всегда очень тяжело, дней пять лежу. Нынче еще могла выйти, а завтра уж нет. Веди себя умно без меня. Я тебя страшно люблю и ужасно ревную.

– Неужто даже не заглянешь нынче ко мне?

– Ты глуп!

Это было и счастье и несчастье: пять дней полной свободы с Натали и пять дней не видать по ночам у себя Сони!

С неделю правила домом, всем распорядилась, ходила в белом передничке через двор в поварскую Натали – я никогда еще не видал ее такой деловитой, видно было, что роль заместительницы Сони и заботливой хозяйки доставляет ей большое удовольствие и что она как будто отдыхает от тайной внимательности к тому, как мы с Соней говорим, переглядываемся. Все эти дни, пережив за обедом сперва тревогу, все ли хорошо, а потом довольство, что все хорошо и старик-повар и Христя, хохлушка-горничная, приносили и подавали вовремя, не раздражая улана, она после обеда уходила к Соне, куда меня не пускали, и оставалась у ней до вечернего чая, а после ужина весь вечер. Бывать со мной наедине она, очевидно, избегала, и я недоумевал, скучал и страдал в одиночестве. Почему стала ласкова, а избегает? Боится Сони или себя, своего чувства ко мне? И страстно хотелось верить, что себя, и я упивался все крепнущей мечтой: не навек же я связан с Соней, не век же мне – да и Натали – гостить тут, через неделю-другую я все равно должен буду уехать – и тогда конец моим мучениям... найду предлог поехать познакомиться со Станкевичами, как только Натали вернется домой... Уехать от Сони, да еще с обманом, с этой тайной мечтой о Натали, с надеждой на ее любовь и руку, будет, конечно, очень больно, – разве только с одной страстью целую я Соню, разве я не люблю и ее? – но что же делать, этого, рано или поздно, все равно не избежишь... И непрестанно думая так, в непрестанном душевном волнении, в ожидании чего-то, я старался вести себя при встречах с Натали как можно сдержаннее, милее – терпеть, терпеть до поры до времени. Я страдал, скучал, – как нарочно, дня три шел дождь, мерно бежал, стучал тысячами лапок по крыше, в доме было сумрачно, на потолке и на лампе в столовой спали мухи, – но крепился, по часам сидел иногда в кабинете улана, слушая его всякие рассказы...

Соня начала выходить сперва в халатике, на час, на два, с томной улыбкой к своей

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
слабости, ложилась на балконе в полотняное кресло и, к моему ужасу, говорила со мной капризно и не в меру нежно, не стесняясь присутствием Натали:

– Посиди возле меня, Витик, мне больно, мне грустно, расскажи что-нибудь смешное... Месяц-то и правда обмывался, да уж обмылся, кажется; распогодилось и как сладко пахнет цветами...

Я, втайне раздражаясь, отвечал:

– Раз цветы сильно пахнут, будет опять обмываться.

Она била меня по руке:

– Не смей возражать больной!

Наконец стала выходить и к обеду, и к вечернему чаю, только еще бледная и приказывая подавать себе кресло. Но к ужину и на балкон после ужина еще не выходила. И раз Натали сказала мне после вечернего чая, когда она ушла к себе и Христа понесла со стола самовар в поварскую:

– Соня сердится, что я все сижу возле нее, что вы все один и один. Она еще не совсем поправилась, а вы без нее скучаете.

– Я скучаю только без вас, – ответил я. – Когда вас нет...

Она изменилась в лице, но справилась, с усилием улынулась:

– Но мы же условились не ссориться больше... Послушайте лучше вот что: вы засиделись дома, пойдите погуляйте до ужина, а потом я посижу с вами в саду, предсказания насчет месяца, слава Богу, не сбылись, ночь будет прекрасная...

– Соне меня жаль, а вам? Нисколько?

– Страшно жаль, – ответила она и неловко засмеялась, ставя на поднос чайную посуду. – Но, слава Богу, Соня уже здорова, скоро не будете скучать...

При словах «а вечером я посижу с вами» сердце у меня сжалось сладко и таинственно, но я тотчас подумал: да нет! это просто только ласковое слово! Я пошел к себе и долго лежал, глядя в потолок. Наконец встал, взял в прихожей картуз и чью-то палку и бессознательно вышел из усадьбы на широкий шлях, пролежавший между усадьбой и хохлацкой деревней немного выше ее, на степном голом взгорье. Шлях вел в пустые вечерние поля. Всюду было холмисто, но просторно, далеко видно. Слева от меня лежала речная низменность, за ней слегка поднимались к горизонту тоже пустые поля, там только что село солнце, горел закат. Справа краснел против него правильный ряд белых одинаковых хат точно вымершей деревни, и я с тоской смотрел то на закат, то на них. Когда повернул назад, навстречу тянуло то теплым, то почти горячим ветром и уже светил в небе молодой месяц, не суливший ничего доброго: блестела одна половина его, но как прозрачная паутина видна была и другая, а все вместе напоминало желудь.

За ужином – ужинали на этот раз тоже в саду, в доме было жарко, – я сказал улану:

– Дядя, что вы думаете о погоде? Мне кажется, завтра будет дождь.

– Почему, мой друг?

– Я только что ходил в поле, с грустью думал, что скоро покину вас...

– Это почему?

Натали тоже вскинула на меня глаза:

– Вы собираетесь уезжать?

Я притворно засмеялся:

– Не могу же я...

Улан особенно энергично закачал головой, на этот раз кстати:

– Вздор, вздор! Папа и мама отлично могут потерпеть разлуку с тобой. Раньше двух недель я тебя не отпущу. Да вот и она не отпустит.

– Я не имею никаких прав на Виталия Петровича, – сказала Натали.

Я жалобно воскликнул:

– Дядя, запретите Натали называть меня так! Улан хлопнул ладонью по столу:

– Запрещаю. И довольно болтать о твоём отъезде. Вот насчет дождя ты прав, вполне возможно, что погода опять испортится.

– В поле было уже слишком чисто, ясно, – сказал я. – И месяц очень чист наполовину и похож на желудь, и дуло с юга. И вот, видите, уже находят облака...

Улан повернулся, посмотрел в сад, где то мерк, то разгорался лунный свет:

– Из тебя, Виталий, выйдет второй Брюс...

В десятом часу она вышла на балкон, где я сидел, ожидая ее, в унынии думая: все это вздор, если у нее и есть какие-то чувства ко мне, то совсем несерьезные, переменчивые, мимолетные... Молодой месяц, тоже чистый, без паутины, играл все выше и ярче в горах все больше скоплавшихся облаков, дымчато-белых, величаво загромаждавших небо, и когда выходил из-за них своей белой половиной, похожей на человеческое лицо в профиль, яркое и мертвенно-бледное, все озарялось, заливалось фосфорическим светом. Вдруг я оглянулся, почувствовал что-то: Натали стояла на пороге, заложив руки за спину, молча глядя на меня. Я встал, она безразлично спросила:

– Вы еще не спите?

– Но вы же мне сказали...

– Простите, я очень устала нынче. Пройдемтесь по аллее, и я пойду спать.

Я пошел за ней, она приостановилась на ступеньке балкона, глядя на вершины сада, из-за которых уже клубами туч подымались облака, подергиваясь, сверкая беззвучными молниями. Потом вошла под длинный прозрачный навес березовой аллеи, в пестроту, в пятна света и тени. Равняясь с ней, я сказал, чтобы сказать что-нибудь:

– Как волшебю блестят вдали березы. Нет ничего страннее и прекраснее внутренности леса в лунную ночь и этого белого шелкового блеска березовых стволов в его глубине...

Она остановилась, в упор мне чернея в сумраке глазами:

– Вы правда уезжаете?

– Да, пора.

– Но почему так сразу и скоро? Я не скрываюсь: вы меня давеча поразили, сказав, что уезжаете.

– Натали, можно мне приехать представиться вашим, когда вы вернетесь домой?

Она промолчала. Я взял ее руки, поцеловал, весь замирая, правую.

– Натали...

– Да, да, я вас люблю, – сказала она поспешно и невыразительно и пошла назад к дому. Я лунатически пошел за ней.

– Уезжайте завтра же, – сказала она на ходу, не оборачиваясь. – Я вернусь домой через несколько дней.

V

Войдя к себе, я, не зажигая свечи, сел на диван и застыл, оцепенел в том страшном и дивном, что так внезапно и неожиданно совершилось в моей жизни. Я сидел, потеряв всякое представление о месте и времени. Комната и сад уже потонули в темноте от туч, в саду, за открытыми окнами, все шумело, трепетало, и меня все чаще и ярче озаряло быстрым и в ту же секунду исчезающим зелено-голубым пламенем. Быстрота и сила этого безгромного света все увеличивались, потом комната озарилась вдруг до неправдоподобной видимости, на меня понесло свежим ветром и таким шумом сада, точно его охватил ужас: вот оно, загорается земля и небо! Я вскочил, с трудом затворил одно за другим окна, ловя их рамы, преодолевая трепавший меня ветер, и на цыпочках побежал по темным коридорам в столовую: мне, казалось бы, было в тот час не до раскрытых окон в столовой и гостиной, где буря могла перебить стекла, но я все-таки побежал и даже с большой озабоченностью. Все окна в столовой и гостиной оказались закрыты – я увидел это при том зелено-голубом озарении, в цвете, яркости которого было поистине что-то неземное, сразу раскрывавшееся всюду, точно быстрые глаза, и делавшее огромными и видимыми до последнего переплета все оконные рамы, а затем тотчас же затоплявшее густым мраком, на секунду оставлявшее в ослепшем зрении след чего-то жестяного, красного. Когда же я быстро, точно боясь, не случилось ли чего там без меня, вошел в свою комнату, из темноты послышался сердитый шепот:

– Где ты был? Мне страшно, зажги скорей огонь...

Я чиркнул спичкой и увидел сидевшую на диване Соню в одной ночной рубашке, в туфлях на босу ногу.

– Или нет, нет, не надо, – поспешно сказала она, – иди скорей ко мне, обними меня, я боюсь...

Я покорно сел и обнял ее за холодные плечи. Она зашептала:

– Ну поцелуй же меня, поцелуй, возьми совсем, я целую неделю не была с тобой!

И с силой откинула меня и себя на подушки дивана. В ту же минуту на пороге растворенной двери метнулась Натали в своей распашонке, со свечой в руке. Она сразу увидела нас, но все-таки бессознательно крикнула:

– Соня, где ты? Я страшно боюсь...

И тотчас исчезла. Соня кинулась вслед за ней.

VI

Через год она вышла за Мещерского. Венчали ее в его Благодатном при пустой церкви – и мы и прочие родные и знакомые с его и с ее стороны не получили приглашения на свадьбу. И обычных после свадьбы визитов молодые не делали, тотчас уехали в Крым.

В январе следующего года, в Татьянин день, был бал воронежских студентов в Благодатном собрании в Воронеже. Я, уже московский студент, проводил Святки дома, в деревне, и приехал в тот вечер в Воронеж. Поезд пришел весь белый, дымящийся снегом от вьюги, по дороге со станции в город, пока извозчицы сани несли меня в Дворянскую гостиницу, едва видны были мелькавшие сквозь вьюгу огни фонарей. Но после деревни эта городская вьюга и городские огни возбуждали, сулили близкое удовольствие войти в теплый, слишком даже теплый номер старой губернской гостиницы, спросить самовар и начать переодеваться, готовиться к долгой бальной ночи, студенческому пьянству до рассвета. За то время, что прошло с той страшной ночи у Черкасовых, а потом с ее замужества, я постепенно оправился, – во всяком случае, привык к тому состоянию душевно больного человека, которым втайне был, и внешне жил, как все.

Когда я приехал, бал только что начался, но уже полны были все прибывающим народом парадная лестница и площадка на ней, а из главной залы, с ее хор, все покрывала, заглушала полковая музыка, звучно гремя печально-торжествующими тактами вальса. Еще свежий с мороза, в новеньком мундире и от этого не в меру изысканно, с излишней вежливостью пробираясь в толпе по красному ковру лестницы,

я поднялся на площадку, вошел в особенно густую и уже горячую толпу, стеснившуюся перед дверями залы, и зачем-то стал пробираться дальше так настойчиво, что меня приняли, верно, за распорядителя, имеющего в зале неотложное дело. И я наконец пробрался, остановился на пороге, слушая разливы и раскаты оркестра над самой моей головой, глядя на сверкающую зыбь люстр и на десятки пар, разнообразно мелькавших под ними в вальсе, – и вдруг подался назад: из этой кружившейся толпы внезапно выделилась для меня одна пара, быстрыми и ловкими глиссадами летевшая среди всех прочих все ближе ко мне. Я отшатнулся, глядя как он, несколько сутулый в вальсировании, велик, дороден, весь черен блестящими черными волосами и фраком и легок той легкостью, которой удивляют в танцах некоторые грузные люди, и как высока она в бальной высокой прическе, в бальном белом платье и стройных золотых туфельках, кружившаяся несколько откинувшись, опустив глаза, положив на его плечо руку в белой перчатке до локтя таким изгибом, который делал руку похожей на шею лебедя. На мгновение черные ресницы ее взмахнулись прямо на меня, чернота глаз сверкнула совсем близко, но тут он, со старательностью грузного человека, ловко скользнув на лакированных носках, круто повернул ее, губы ее приоткрылись вздохом на повороте, серебристо мелькнул подол платья, и они, удаляясь, пошли глиссадами обратно. Я опять протиснулся в толпу на площадке, выбрался из толпы, постоял... В двери залы наискось против меня, еще совсем пустой и прохладной, видны были стоявшие в праздном ожидании за буфетом с шампанским две курсистки в малороссийских нарядах, – хорошенькая блондинка и сухая, темноликая красавица казачка, чуть не вдвое выше ее ростом. Я вошел, с поклоном протянул сторублевую бумажку. Они, столкнувшись головами и засмеявшись, вытащили под стойкой из ведра со льдом тяжелую бутылку и нерешительно переглянулись – откупоренных бутылок еще не было. Я зашел за стойку и через минуту молодецки хлопнул пробкой. Потом весело предложил им по бокалу – *Gaudeamus igitur!*[19] – остальное допил бокал за бокалом один. Они смотрели на меня сперва с удивлением, потом с жалостью:

– Ой, но вы и так страшно бледный! Я допил и тотчас уехал. В гостинице спросил в номер бутылку кавказского коньяку и стал пить чайными чашками, в надежде, что у меня разорвется сердце...

И прошло еще полтора года. И однажды в конце мая, когда я опять приехал из Москвы домой, нарочный со станции привез ее телеграмму из Благодатного: «Сегодня утром Алексей Николаевич скоростижно скончался от удара». Отец перекрестился и сказал:

– Царство небесное. Какой ужас. Прости меня, Боже, никогда не любил я его, но все-таки это ужасно. Ведь ему еще и сорока не было. И ее ужасно жаль – вдова в такие годы, с ребенком на руках... Никогда ее не видал, – он был так мил, что даже ни разу не привез ее ко мне, – но, говорят, очаровательна. Как же теперь быть? Ни я, ни мама ехать при нашей старости за полтора ста верст, конечно, не можем, надо ехать тебе...

Отказаться было нельзя, – в силу чего я мог отказаться? Да я и не мог бы отказаться в том полубезумии, в которое внезапно опять повергла меня эта неожиданная весть. Я одно знал: я ее увижу! Предлог для встречи был страшный, но законный.

Мы послали ответную телеграмму, и на другой день, майской вечерней зарей, лошади из Благодатного в полчаса доставили меня со станции в усадьбу. Подъезжая к ней по взгорью вдоль заливных лугов, я еще издали увидел, что по западной стене дома, обращенной к еще светлому закату, все окна в зале закрыты ставнями, и содрогнулся от страшной мысли: за ними лежал он и была она! Во дворе, густо заросшем молодой травой, погромыхивали бубенчиками возле каретного сарая чьи-то две тройки, но не было ни души, кроме кучеров на козлах, – и приезжие и дворня уже стояли в доме на панихиде. Всюду была тишина деревенской майской зари, весенняя чистота, свежесть и новизна всего – полевого и речного воздуха, этой молодой густой травы во дворе, густого цветущего сада, надвинувшегося на дом сзади и с южной стороны, а на низком парадном крыльце, у настезь раскрытых в сени дверей, стоймя прислонена была к стене большая желтая газетовая крышка гроба. В тонком холодке вечернего воздуха сильно пахло сладким цветом груш, молочно белевших своей белой густотой в юго-восточной части сада на ровном и от этой млечности матовом небосклоне, где горел один розовый Юпитер. И молодость, красота всего этого, и мысль о ее красоте и молодости, и о том, что она любила меня когда-то, вдруг так разорвали мне сердце скорбью, счастьем и потребностью любви, что, выскочив у крыльца из коляски, я почувствовал себя точно перед

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
пропастью – как вступить в этот дом, вновь увидеть ее лицом к лицу после трех лет разлуки и уже вдовой, матерью! И все же я вошел в сумрак и ладан этой страшной залы, испещренной желтыми свечными огоньками, в черноту стоявших с этими огоньками перед гробом, наискось возвышавшимся своим возглавием в передний угол, озаренный сверху большой красной лампадой перед золотыми ризами икон, а внизу серебряным текучим блеском трех высоких церковных свечей, – вошел под возгласы и пение священнослужителей, с каждением и поклонами обходивших гроб, и тотчас опустил голову, чтобы не видеть желтой парчи на гробе и лица покойника, пуще же всего боясь увидеть ее. Кто-то подал мне зажженную свечу, я взял и стал держать ее, чувствуя, как она, дрожа, греет и освещает мне лицо, стянутое бледностью, и с тупой покорностью слушая эти возгласы и бряцание кадила, исподлобья видя плывущий к потолку торжественно и приторно пахнущий дым, и вдруг, подняв лицо, все-таки увидал ее, – впереди всех, в трауре, со свечой в руке, озарявшей ее щеку и золотистость волос, – и уже как от иконы не мог оторвать от нее глаз. Когда все смолкло, запахло потушенными свечами и все осторожно задвигались и пошли целовать ее руку, я ждал, чтобы подойти последним. И, подойдя, с ужасом восторга взглянул на иноческую стройность ее черного платья, делавшего ее особенно непорочной, на чистую, молодую красоту лица, ресниц и глаз, при виде меня опустившихся, низко, низко поклонился, целуя ее руку, сказал едва слышным голосом все, что должен был сказать, следуя приличию и родству, и попросил разрешения тотчас же уйти и ночевать в саду, в той старинной ротонде, в которой я ночевал еще гимназистом, приезжая в Благодатное, – там была спальня Мещерского на жаркие летние ночи. Она ответила, не поднимая глаз:

– Я сейчас распоряжусь, чтобы вас проводили туда и подали вам ужин.

Утром, после отпевания и погребения, я немедленно уехал. Прощаясь, мы опять обменялись только несколькими словами и опять не глядели друг другу в глаза.

## VII

Я кончил курс, потерял вскоре после того почти одновременно отца и мать, поселился в деревне, хозяйствовал, сошелся с крестьянской сиротой Гашей, выросшей у нас в доме и служившей в комнатах моей матери... Теперь она, вместе с Иваном Лукичом, нашим бывшим дворовым, седым до зелени стариком с большими лопатками, служила мне. Вид она имела еще полудетский – маленькая, худенькая, черноволосая, с ничего не выражающими глазами цвета сажи, загадочно молчаливая, будто ко всему безучастная и настолько вся темная тонкой кожей, что отец когда-то говорил: «Вот, верно, такая была Агарь». Мила она была мне бесконечно, я любил носить ее на руках, целуя; я думал: «Вот и все, что осталось мне в жизни!» И она, казалось, понимала, что я думаю. Когда она родила, – маленького, черненького мальчика, – и перестала служить, поселилась в моей прежней детской, я хотел повенчаться с нею. Она ответила:

– Нет, мне этого не нужно, мне только стыдно будет перед всеми, какая же я барыня! А вам зачем? Вы меня тогда еще скорее разлюбите. Вам надо поехать в Москву, а то вы совсем соскучитесь со мной. А я теперь скучать не буду, – сказала она, глядя на ребенка, который на руках у нее сосал грудь. – Поезжайте, поживите в свое удовольствие, только одно помните: если влюбитесь в кого как следует и жениться задумаете, ни минутки не помедлю, утоплюсь вот вместе с ним.

Я посмотрел на нее – ей не верить было невозможно. И поник головой: да, а мне ведь всего двадцать шесть лет... Влюбиться, жениться – этого я и представить себе не мог, но слова Гаши еще раз напомнили мне о моей конченной жизни.

Ранней весной я уехал за границу и провел там месяца четыре. Возвращаясь в конце июня через Москву домой, думал так: проживу осень в деревне, а на зиму опять куда-нибудь уеду. По дороге из Москвы в Тулу спокойно грустил: вот опять я дома, а зачем? Вспомнил Натали – и подумал: да, та любовь «до гроба», которую насмешливо предрекала мне Соня, существует; только я уже привык к ней, как привыкает кто-нибудь с годами к тому, что у него отрезали, например, руку или ногу... И, сидя на вокзале в Туле в ожидании пересадки, вдруг послал телеграмму: «Еду из Москвы мимо вас, буду на вашей станции в девять вечера, позвольте заехать, узнать, как вы поживаете».

Она встретила меня на крыльце, – сзади нее светила лампой горничная, – и с полуулыбкой протянула мне обе руки:

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
– Я страшно рада!

– Как это ни странно, вы еще немного выросли, – сказал я, целуя и чувствуя их уже с мучением. И взглянул на нее на всю при свете лампы, которую приподняла горничная и вокруг стекла которой, в мягком после дождя воздухе, кружились мелкие розовые бабочки: черные глаза смотрели теперь тверже, увереннее, вся она была уже в полном расцвете молодой женской красоты, стройная, скромно нарядная, в платье из зеленой чесучи.

– Да, я все еще расту, – ответила она, грустно улыбаясь.

В зале по-прежнему висела в переднем углу большая красная лампада перед старыми золотыми иконами, только не зажженная. Я поспешил отвести глаза от этого угла и прошел за ней в столовую. Там на блестящей скатерти стоял чайник на спиртовке, блестела тонкая чайная посуда. Горничная принесла холодную телятину, пикули, графинчик с водкой, бутылку лафита. Она взялась за чайник:

– Я не ужинаю, выпью только чаю, но вы сперва покушайте... Вы из Москвы? Почему? Что ж там делать летом?

– Возвращаюсь из Парижа.

– Вот как! И долго там пробыли? Ах, если б я могла поехать куда-нибудь! Но ведь моей девочке всего четвертый год... Вы, говорят, усердно хозяйствуете?

Я выпил рюмку водки, не закусывая, и попросил позволения курить.

– Ах, пожалуйста! Я закурил и сказал:

– Натали, не нужно вам быть со мной светски любезной, не обращайтесь на меня особого внимания, я заехал только взглянуть на вас и опять скрыться. И не чувствуйте неловкости – ведь все, что было, былем поросло и прошло без возврата. Вы не можете; не видеть, что я опять ослеплен вами, но теперь вас никак не может стеснять мое восхищение – оно теперь бескорыстно и спокойно...

Она склонила голову и ресницы, – к дивной противоположности того и другого никогда нельзя было привыкнуть, – и лицо ее стало медленно розоветь.

– Это совершенно точно, – сказал я, бледнея, но крепнувшим голосом, сам себя уверяя, что говорю правду. – Ведь все на свете проходит что до моей страшной вины перед вами, то я уверен, что она уже давным-давно стала для вас безразлична и гораздо более понятна, простительна, чем прежде: вина моя была все-таки не совсем вольная и даже в ту пору заслуживала снисхождения по моей крайней молодости и по тому удивительному стечению обстоятельств, в которое я попал. И потом, я уже достаточно наказан за эту вину – всей своей гибелью.

– Гибелью?

– А разве не так? Вы и до сих пор не понимаете, не знаете меня, как сказали когда-то?

Она помолчала.

– Я видела вас на балу и Воронеже... Как еще молода была я тогда и как удивительно несчастна! Хотя разве бывает несчастная любовь? – сказала она, поднимая лицо и спрашивая всем черным раскрытием глаз и ресниц. – Разве самая скорбная в мире музыка не дает счастья? Но расскажите мне о себе, неужели вы навсегда поселились в деревне? Я с усилием спросил:

– Значит, вы тогда меня еще любили?

– Да.

Я замолчал, чувствуя, что лицо у меня теперь уже горит огнем.

– Это правда, что я слышала... что у вас есть любовь, ребенок?

– Это не любовь, – сказал я. – Страшная жалость, нежность, но и только.

– Расскажите мне все.

И я рассказал все – вплоть до того, что сказала мне Гаша, посоветовавши мне «поехать, пожить в свое удовольствие». И кончил так:

– Теперь вы видите, что я всячески погиб...

– Полноте! – сказала она, думая что-то свое. – У вас еще вся жизнь впереди. Но брак для вас, конечно, невозможен. Она, конечно, из таких, что и ребенка не пожалеет, не то что себя.

– Не в браке дело, – сказал я. – Бог мой! Мне жениться!

Она в раздумье посмотрела на меня:

– Да, да. И как странно. Ваше предсказание сбылось – мы породнились. Вы чувствуете, что ведь вы мне двоюродный брат теперь?

И положила руку на руку мне:

– Но вы ужасно устали с дороги, даже не притронулись ни к чему. На вас лица нет, довольно разговоров на сегодня, идите, постель для вас в павильоне приготовлена...

Я покорно поцеловал ей руку, она позвала горничную, и та с лампой, хотя было довольно светло от месяца, низко стоявшего за садом, провела меня сперва главной, потом боковой аллеей на просторную поляну, в эту старинную ротонду с деревянными колоннами. И я сел у раскрытого окна, в кресле возле постели, стал курить, думая: напрасно совершил я этот глупый, внезапный поступок, напрасно заехал, понадеялся на свое спокойствие, на свои силы... Ночь была необыкновенно тиха, было уже поздно. Должно быть, прошел еще небольшой дождь – еще теплее, мягче стал воздух. И в прелестном соответствии с этим неподвижным теплом и тишиной протяжно и осторожно пели вдаль, в разных местах села, первые петухи. Светлый круг месяца, стоявшего против ротонды, за садом, как будто замер на одном месте, как будто выжидательно глядел, блестел среди дальних деревьев и ближних раскидистых яблонь, мешая свой свет с их тенями. Там, где свет проливался, было ярко, стеклянно, в тени же пестро и таинственно... И она, в чем-то длинном, темном, шелковисто блестящем, подошла к окну, тоже так таинственно, неслышно...

Потом месяц сиял уже над садом и смотрел прямо в ротонду, и мы поочередно говорили – она, лежа на постели, я, стоя на коленях возле и держа ее руку:

– В ту страшную ночь с молниями я любил уже только тебя одну, никакой другой страсти, кроме самой восторженной и чистой страсти к тебе, во мне уже не было.

– Да, я со временем все поняла. И все-таки, когда вдруг вспоминала эти молнии тотчас после воспоминания о том, что за час перед тем было в аллее...

– Нигде в мире нет тебе подобной. Когда я давеча смотрел на эту зеленую чесучу и на твои колени под нею, я чувствовал, что готов умереть за одно прикосновение к ней губами, только к ней.

– Ты никогда, никогда не забывал меня все эти годы?

– Забывал только так, как забываешь, что живешь, дышишь. И ты правду сказала: нет несчастной любви. Ах, эта твоя оранжевая распашонка и вся ты, еще почти девочка, мелькнувшая мне в то утро, первое утро моей любви к тебе! Потом твоя рука в рукаве малороссийской сорочки. Потом наклон головы, когда ты читала «Обрыв» и я бормотал: «Натали, Натали!»

– Да, да.

– А потом ты на балу – такая высокая и такая страшная в своей уже женской красоте, – как хотел я умереть в ту ночь в восторге своей любви и гибели! Потом ты со свечой в руке, твой траур и твоя непорочность в нем. Мне казалось, что святой стала та свеча у твоего лица.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

– И вот ты опять со мной и уже навсегда. Но даже видеться мы будем редко – разве могу я, твоя тайная жена, стать твоей явной для всех любовницей?

\* \* \*

В декабре она умерла на Женевском озере в преждевременных родах.

4 апреля 1941

(обратно) (обратно)

III

В одной знакомой улице\*

Осенней парижской ночью шел по бульвару в сумраке от густой, свежей зелени, под которой металлически блестели фонари, чувствовал себя легко, молодо и думал:

В одной знакомой улице

Я помню старый дом

С высокой темной лестницей,

С завешенным окном...

– Чудесные стихи! И как удивительно, что все это было когда-то и у меня! Москва, Пресня, глухие снежные улицы, деревянный мещанский домишко – и я, студент, какой-то тот я, в существование которого теперь уже не верится...

Там огонек таинственный

До полночи светил...

– И там светил. И мела метель, и ветер сдувал с деревянной крыши снег, дымом развеивал его, и светилося вверху, в мезонине, за красной ситцевой занавеской...

Ах, что за чудо девушка,

В заветный час ночной,

Меня встречала в доме том

С распущенной косой...

– И это было. Дочь какого-то дьячка в Серпухове, бросившая там свою нищую семью, уехавшая в Москву на курсы... И вот я поднимался на деревянное крылечко, занесенное снегом, дергал кольцо шуршащей проволоки, проведенной в сенцы, в сенцах жестью дребезжал звонок – и за дверью слышались быстро сбегавшие с крутой деревянной лестницы шаги, дверь отворялась – и на нее, на ее шаль и белую кофточку несло ветром, метелью... Я кидался целовать ее, обнимая от ветра, и мы бежали вверх, в морозном холоде и в темноте лестницы, в ее тоже холодную комнатку, скучно освещенную керосиновой лампочкой... Красная занавеска на окне, столик под ним с этой лампочкой, у стены железная кровать. Я бросал куда попало шинель, картуз и брал ее к себе на колени, сев на кровать, чувствуя сквозь юбочку ее тело, ее косточки... Распущенной косы не было, была заплетенная, довольно бедная русая, было простонародное лицо, прозрачное от голода, глаза тоже прозрачные, крестьянские, губы той нежности, что бывают у слабых девушек...

Как не по-детски пламенно

Прильнув к устам моим,

Она, дрожа, шептала мне:

«Послушай, убежим!»

– Убежим! Куда, зачем, от кого? Как прелестна эта горячая, детская глупость:

«Убежим!» У нас «убежим» не было. Были эти слабые, сладчайшие в мире губы, были от избытка счастья выступавшие на глаза горячие слезы, тяжкое томление юных тел, от которого мы клонили на плечо друг другу головы, и губы ее уже горели, как в жару, когда я расстегивал ее кофточку, целовал млечную девичью грудь с твердевшим недозрелой земляникой острием... Придя в себя, она вскакивала, зажигала спиртовку, подогревала жидкий чай, и мы запивали им белый хлеб с сыром в красной шкурке, без конца говоря о нашем будущем, чувствуя, как несет из-под занавески зимой, свежим холодом, слушая, как сыплет в окно снегом... «В одной знакомой улице я помню старый дом...» Что еще помню! Помню, как веной провожал ее на Курском вокзале, как мы спешили по платформе с ее ивовой корзинкой и свертком красного одеяла в ремнях, бежали вдоль длинного поезда, уже готового к отходу, заглядывали в переполненные народом зеленые вагоны... Помню, как наконец она взобралась в сенцы одного из них и мы говорили, прощались и целовали друг другу руки, как я обещал ей приехать через две недели в Серпухов... Больше ничего не помню. Ничего больше и не было.

25 мая 1944

(обратно)  
Речной трактир\*

В «Праге» сверкали люстры, играл среди обеденного шума и говора струнный португальский оркестр, не было ни одного свободного места. Я постоял, оглядываясь, и уже хотел уходить, как увидел знакомого военного доктора, который тотчас пригласил меня к своему столику возле окна, открытого на весеннюю теплую ночь, на гремящий трамваями Арбат. Пообедали вместе, порядочно выпив водки и кахетинского, разговаривая о недавно созванной Государственной думе, спросили кофе. Доктор вынул старый серебряный портсигар, предложил мне свою асмоловскую «пушку» и, закуривая, сказал:

– Да, все Дума да Дума... Не выпить ли нам коньяку? Грустно что-то.

Я принял это в шутку, человек он был характера спокойного и суховатого (крепкий и сильный сложением, к которому очень шла военная форма, жестко рыжий, с серебром на висках), но он серьезно прибавил:

– От весны, должно быть, грустно. К старости, да еще холостой, мечтательной, становишься вообще гораздо чувствительнее, чем в молодости. Слышите, как пахнет тополем, как звонко гремят трамваи? Кстати, закроем-ка окно, неуютно, – сказал он, вставая. – Иван Степаныч, шустовского...

Пока старый половой Иван Степаныч ходил за шустовским, он рассеянно молчал. Когда подали и налили по рюмке, задержал бутылку на столе и продолжал, хлебнув коньяку и из горячей чашечки:

– Тут еще вот что – некоторые воспоминания. Перед вами заходил сюда поэт Брюсов с какой-то худенькой, маленькой девицей, похожей на бедную курсисточку, что-то четко, резко и гневно выкрикивал своим картавым, в нос лающим голосом метрдотелю, подбежавшему к нему, видимо, с извинениями за отсутствие свободных мест, – место, должно быть, было заказано по телефону, но не оставлено, – потом надменно удалился. Вы его хорошо знаете, но и я с ним немного знаком, встречаюсь в кружках, интересующихся старыми русскими иконами, – я ими тоже интересуюсь и уже давно, с волжских городов, где служил когда-то несколько лет. Кроме того, и слышан о нем достаточно, о его романах, между прочим, так что испытал некоторую жалость к этой, несомненно, очередной его поклоннице и жертве. Трогательна была она ужасно, растерянно и восторженно глядела то на этот, верно, совсем непривычный ей ресторанный блеск, то на него, пока он скандировал свой лай, демонически играя черными глазами и ресницами. Вот это-то и навело меня на воспоминания. Расскажу вам одно из них, вызванное именно им, благо оркестр уходит и можно посидеть спокойно...

Он уже покраснел от водки, от кахетинского, от коньяку, как всегда краснеют рыжие от вина, но налил еще по рюмке.

– Я вспомнил, – начал он, – как лет двадцать тому назад шел однажды по улицам одного приволжского города некий довольно молодой военный врач, то есть, попросту говоря, я самый. Шел по пустыкам, чтобы бросить какое-то письмо в почтовый ящик, с тем беззаботным благополучием в душе, что иногда испытывает человек без всякой причины в хорошую погоду. А тут как раз погода была прекрасная, тихий, сухой, солнечный вечер начала сентября, когда на тротуарах так приятно шуршат под ногами опавшие листья. И вот, что-то думая, случайно поднимаю я глаза и вижу: идет впереди меня скорым шагом очень стройная, изящная девушка в сером костюме, в серенькой, красиво изогнутой шляпке, с серым зонтиком в руке, обтянутой оливковой лайковой перчаткой. Вижу и чувствую, что что-то мне в ней ужасно нравится, а кроме того, кажется несколько странным: почему и куда так спешит? Удивляться, казалось бы, нечему – мало ли бывает у людей спешных дел. Но все-таки это почему-то интригует меня. Бессознательно прибавляю шаг и себе, почти нагоняю ее – и, оказывается, не напрасно. Впереди, на углу, старая низкая церковь, и я вижу, что она направляется прямо к ней, хотя день будничный и такой час, когда никакой службы по церквам еще нет. Там она взбегает на паперть, с трудом отворяет тяжелую дверь, а я опять за ней и, войдя, останавливаюсь у порога. В церкву пусто, и она, не видя меня, скорым и легким шагом идет к амвону, крестится и гибко опускается на колени, закидывает голову,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин прижимает руки к груди, уронив зонтик на пол, и смотрит на алтарь тем, как видно по всему, настойчиво молящим взглядом, каким люди просят Божьей помощи в большом горе или в горячем желании чего-нибудь. В узкое с железной решеткой окно слева от меня светит желтоватый вечерний свет, спокойный и будто тоже старинный, задумчивый, а впереди, в сводчатой и приземистой глубине церкви, уже сумрачно, только мерцает золото кованых с чудесной древней грубостью риз на образах алтарной стены, и она, на коленях, не сводит с них глаз. Тонкая талия, лира зада, каблучки уткнувшейся носками в пол легкой, изящной обуви... Потом несколько раз прижимает платочек к глазам, быстро берет с полу зонтик, точно решившись на что-то, гибко встает, бежит к выходу, внезапно видит мое лицо – и меня просто поражает своей красотой ужаснейший испуг, вдруг мелькнувший в ее блестящих слезами глазах...

В соседней зале потухла люстра, – ресторан уже опустел, – и доктор взглянул на часы.

– Нет, еще не поздно, – сказал он. – Всего десять. Вы никуда не спешите? Ну так посидим еще немного, я доскажу вам эту довольно странную историю. Странно было в ней прежде всего то, что в тот же вечер, то есть, вернее, поздно вечером, я опять встретил ее. Мне вдруг вздумалось поехать в летний трактир на Волге, где я был всего два-три раза за все лето да и то только затем, чтобы посидеть на речном воздухе после жаркого дня в городе. Почему я поехал именно в этот уже свежий вечер, БОГ ведает: словно руководило мною что-то. Можно, конечно, сказать, что вышла простая случайность: поехал человек от нечего делать, и нет ничего удивительного в новой случайной встрече. Разумеется, все это вполне справедливо. Но почему же вышло и другое, то есть то, что я встретил ее черт знает где и что вдруг оправдались какие-то смутные догадки и предчувствия, испытанные мной, когда я в первый раз увидел ее, и ту сосредоточенность, какую-то тайную тревожную цель, с которой она шла в церковь и там так напряженно и молча, то есть чем-то самым главным, самым подлинным, что есть в нас, молила о чем-то Бога? Приехав и совсем забыв о ней, я долго и скучно сидел один в этом речном кабаке, очень дорогом, к стати сказать, известном своими купеческими ночными кутежами, нередко тысячными, и без всякого вкуса глотал от времени до времени жигулевское пиво, вспоминая Рейн и швейцарские озера, на которых был летом в прошлом году, и думая о том, как вульгарны все провинциальные русские места загородных развлечений, в частности и приволжские. Вы бывали в приволжских городах и в подобных трактирах на воде, на сваях?

Я ответил, что Волгу знаю мало, на поплавах там не бывал, но легко представляю себе их.

– Ну, конечно, – сказал он. – Русская провинция везде довольно одинакова. Одно только там ни на что не похоже – сама Волга. С ранней весны и до зимы она всегда и всюду необыкновенна, во всякую погоду, и что днем, что ночью. Ночью сидишь, например, в таком трактире, смотришь в окна, из которых состоят три его стены, а когда в летнюю ночь они все открыты на воздух, смотришь прямо в темноту, в черноту ночи, и как-то особенно чувствуешь все это дикое величие водных пространств за ними: видишь тысячи рассыпанных разноцветных огней, слышишь плеск идущих мимо плотов, переключку мужицких голосов на них или на баржах, на белянах, предостерегающие друг друга крики, разнотонную музыку то гулких, то низких паровых гудков и сливающихся с ними терции каких-нибудь шибко бегущих речных паровичков, вспоминаешь все эти разбойничьи и татарские слова – Балахна, Васильсурск, Чебоксары, Жигули, Батраки, Хвалынский – и страшные орды грузчиков на их пристанях, потом всю несравненную красоту старых волжских церквей – и только головой качаешь: до чего в самом деле ни с чем не сравнима эта самая наша Русь! А посмотришь вокруг – что это, собственно, такое, этот трактир? Свайная постройка, бревенчатый сарай с окнами в топорных рамах, уставленный столами под белыми, но нечистыми скатертями с тяжелыми дешевыми приборами, где в солонках соль перемешана с перцем и салфетки пахнут серым мылом, дощатый помост, то есть балаганная эстрада для балалаечников, гармонистов и армян, освещенная по задней стене керосиновыми лампочками с ослепительными жестяными рефлекторами, желтоволосые половые, хозяин из мужиков с толстыми волосами, с медвежьими глазками – и как соединить все это с тем, что тут то и дело выпивается за ночь на тысячу рублей мумму и редерсру! Все это, знаете, тоже Русь... Но не надоел ли я вам?

– Помилуйте! – сказал я,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

– Ну так позвольте кончить. Я все это клоню к тому, в каком похабном месте вдруг опять встретил я ее во всей ее чистой, благородной прелести и с каким спутником! К полночи трактир стал оживать и наполняться: зажгли под потолком огромную и страшно жаркую лампу, лампы по стенам, лампочки на стене за помостом, вышел целый полк половых, повалила толпа гостей: конечно, купеческие сынки, чиновники, подрядчики, пароходные капитаны, труппа актеров, гастролировавших в городе... половые, развратно изгибаясь, забежали с подносами, в компаниях за столами пошел галдеж, хохот, поплыл табачный дым, на помост вышли и в два ряда сели по его бокам балалаечники в оперно-крестьянских рубахах, в чистеньких онучах и новеньких лаптях, за ними вышел и фронтом стал хор нарумяненных и набеленных блядчонок, одинаково заложивших руки за спину и резкими голосами, с ничего не выражающими лицами подхвативших под зазвеневшие балалайки жалостную, протяжную песню про какого-то несчастного «воина», будто бы вернувшегося из долгого турецкого плена: «Ивво рад-ный-и ни узнали-и, спроси-и-ли воин-а, кто ты-ты...» Потом вышел с огромной гармоньей в руках какой-то «знаменитый Иван Грачев», сел на стул у самого края помоста и тряхнул густыми, хамски разобранными на прямой ряд белобрысыми волосами: морда полотера, желтая косоворотка, расшитая по высокому вороту и подолу красным шелком, жгут красного пояса с длинно висящими махрами, новые сапоги с лакированными голенищами... Тряхнул волосами, уложил на поднятое колено гармонию-трехрядку в черных с золотом мехах, устремил оловянные глаза куда-то вверх, сделал залихватский перебор на ладах – и зарычал, запел ими, ломая, извивая и растягивая меха толстой змеей, перебирая по ладам с удивительнейшими выкрутасами, да все громче, решительнее и разнообразнее, потом вскинул морду, закрыл глаза и залился женским голосом: «Я вечер в лужках гуляла, грусть хотела разогнать...» Вот в эту-то самую минуту и увидел я ее, и, конечно, не одну: как раз в то время встал, чтобы позвать полового в заплатить за пиво, да и так и ахнул: отворилась снаружи дверь за помостом, и появилась она, в каком-то картузике цвета хаки, в непромокаемом пальто того же цвета с поясом, – правда, хороша она была во всем этом удивительно, похожа на высокого мальчика, – а за нею, держа ее за локоть, некто небольшого роста, в поддевке и в дворянском картузе, темноликий и уже морщинистый, с черными беспокойными глазами. И, понимаете, я, что называется, света Божьего невзвидел! Я узнал в нем одного моего знакомого, промотавшегося помещика, пьяницу, развратника, бывшего гусарского поручика, выгнанного из полка, и, ничего не соображая, не думая, кинулся вперед между столами так стремительно, что настиг его и ее почти при входе, – Иван Грачев еще кричал: «Я цветочек там искала, чтобы милому послать...» Когда я подбежал к ним, он, взглянув на меня, успел весело крикнуть: «А, доктор, здравствуйте», в то время как она побледнела до гробовой синевы, но я оттолкнул его и бешено зашептал ей: «Вы, в этом кабаке! В полночь, с развратным пьяницей, шулером, известным всему уезду и городу!» Я схватил ее за руку, грозя изувечить его, если она сию же минуту не выйдет со мной отсюда вон. Он оцепенел – что ж он мог, зная, что я могу вот этими руками подковы ломать! Она повернулась и, наклонив голову, пошла к выходу. Я догнал ее под первым фонарем на бульварной набережной, взял под руку, – она не подняла головы, не освободила руку. За вторым фонарем, возле скамьи, она остановилась и, уткнувшись в меня, задрожала от слез. Я посадил ее на скамью, одной рукой держа ее мокрую от слез, милую, тонкую девичью руку, другой обнимая за плечо. Она несвязно выговаривала: «Нет, неправда, неправда, он хороший... он несчастный, но он добрый, великодушный, беззаботный...» Я молчал, – возражать было бесполезно. Потом кликнул проезжавшего мимо извозчика. Она стихла, и мы в молчании поднялись в город. На площади она тихо сказала: «Теперь пустите меня, я дойду пешком, я не хочу, чтобы вы знали, где я живу», – и, вдруг поцеловав мне руку, соскочила и, не оглядываясь, неловко пошла вкось по площади... Больше я никогда не видел ее и так и не знаю до сих пор, кто она, что она...

Когда мы расплатились, оделись внизу и вышли, доктор дошел со мной до угла Арбата, и мы приостановились, чтобы проститься. Было пусто и тихо – до нового оживления к полночи, до разъезда из театров и ужинов по ресторанам, в городе и за городом. Небо было черно, чисто блестели фонари под молодой, нарядной зеленью на Пречистенском бульваре, мягко пахло весенним дождем, помочившим мостовые, пока мы сидели в «Праге».

– А знаете, – сказал доктор, поглядев кругом, – я жалел потом, что, так сказать, спас ее. Были со мной и другие случаи в этом роде... А зачем, позвольте спросить, я вмешивался! Не все ли равно, чем и как счастлив человек! Последствия? Да ведь все равно они всегда существуют: ведь ото всего остаются в душе жестокие следы, то есть воспоминания, которые особенно жестоки, мучительны, если вспоминается что-нибудь счастливое... Ну, до свидания, очень рад был встретиться с вами...

27 октября 1943

(обратно)  
Кума\*

Дачи в сосновых лесах под Москвой. Мелкое озеро, купальни возле топких берегов.

Одна из самых дорогих дач недалеко от озера: дом в шведском стиле, прекрасные старые сосны и яркие цветники перед обширной террасой.

Хозяйка весь день в легком нарядном матинэ с кружевами, сияющая тридцатилетней купеческой красотой и спокойным довольством летней жизни. Муж уезжает в контору в Москву в девять утра, возвращается в шесть вечера, сильный, усталый, голодный, и тотчас идет купаться перед обедом, с облегчением раздевается в нагретой за день купальне и пахнет здоровым потом, крепким простонародным телом...

Вечер в конце июня. Со стола на террасе еще не убран самовар. Хозяйка чистит на варенье ягоды. Друг мужа, приехавший на дачу в гости на несколько дней, курит и смотрит на ее обнаженные до локтей холеные круглые руки. (Знаток и собиратель древних русских икон, изящный и сухой сложением человек с небольшими подстриженными усами, с живым взглядом, одетый как для тенниса.) Смотрит и говорит:

– Кума, можно поцеловать руку? Не могу спокойно смотреть.

Руки в соку, – подставляет блестящий локоть.

Чуть коснувшись его губами, говорит с запинкой:

– Кума...

– Что, кум?

– Знаете, какая история: у одного человека сердце ушло из рук и он сказал уму: прощай!

– Как это сердце ушло из рук?

– Это из Саади, кума. Был такой персидский поэт.

– Знаю. Но что значит сердце ушло из рук?

– А это значит, что человек влюбился. Вот как я в вас.

– Похоже, что и вы сказали уму: прощай.

– Да, кума, сказал.

Улыбается рассеянно, будто занятая только своим делом:

– С чем вас и поздравляю.

– Я серьезно.

– На здоровье.

– Это не здоровье, кума, а очень тяжелая болезнь.

– Бедный. Надо лечиться. И давно это с вами?

– Давно, кума. Знаете, с каких пор? С того дня, когда мы с вами ни с того ни с сего крестили у Савельевых, – не понимаю, какая нелегкая дернула их позвать крестить именно нас с вами... Помните, какая метель была в тот день, и как вы приехали вся в снегу, возбужденная быстрой ездой и метелью, как я сам снял с вас соболью шубку, и вы вошли в залу в скромном белом шелковом платье с жемчужным крестиком на слегка открытой груди, а потом держали ребенка на руках с завернутыми рукавчиками, стояли со мной у купели, глядя на меня с какой-то

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин смущенной полуулыбкой... Тут-то и началось между нами что-то тайное, какая-то греховная близость, наше как бы уже родство и оттого особенное вожеление.

– Parlez pour vous...[20]

– А потом мы рядом сидели за завтраком, и я не понимал – то ли это от гиацинтов на столе так чудесно, молодо, свежо пахнет или от вас... Вот с тех пор я и заболел. И вылечить меня можете только вы.

Посмотрела исподлобья:

– Да, я этот день хорошо помню. А что до леченья, то жаль, что Дмитрий Николаевич нынче ночует в Москве, – он бы вам тотчас посоветовал настоящего доктора.

– А почему он ночует в Москве?

– Сказал утром, уходя на станцию, что нынче у них заседание пайщиков, перед разездом. Все разъезжаются – кто в Кисловодск, кто за границу.

– Но он мог бы с двенадцатичасовым вернуться.

– А прощальное пьянство после заседания в «Мавритании»?

За обедом он грустно молчал, неожиданно пошутил:

– А не закатиться ли и мне в «Мавританию» с десятичасовым, вдребезги напиться там, выпить на брудершафт с метрдотелем?

Она посмотрела длительно:

– Закатиться и меня одну оставить в пустом доме? Так-то вы помните гиацинты!

И тихо, будто задумавшись, положила ладонь на его лежавшую на столе руку...

Во втором часу ночи, в одном шлафроке, он прокрался из ее спальни по темному, тихому дому, под четкий стук часов в столовой, в свою комнату, в сумраке которой светился в открытые на садовый балкон окна дальний неживой свет всю ночь не гаснущей зари и пахло ночной лесной свежестью. Блаженно повалился навзничь на постель, нашарил на ночном столике спички и портсигар, жадно закурил и закрыл глаза, вспоминая подробности своего неожиданного счастья.

Утром в окна тянуло сыростью тихого дождя, по балкону ровно стучали его капли. Он открыл глаза, с наслаждением почувствовал сладкую простоту будничной жизни, подумал: «Нынче уеду в Москву, а послезавтра в Тироль или на озеро Гарда», – и опять заснул.

Выйдя к завтраку, почтительно поцеловал ее руку и скромно сел за стол, развернул салфетку...

– Не взыщите, – сказала она, стараясь быть как можно проще, – только холодная курица и протокваша. Саша, принесите красного вина, вы опять забыли...

Потом, не поднимая глаз:

– Пожалуйста, уезжайте нынче же. Скажите Дмитрию Николаевичу, что вам тоже страшно захотелось в Кисловодск. Я приеду туда недели через две, а ею отправлю в Крым к родителям, там у них чудная дача в Мисхоре... – Спасибо, Саша. Вы протокваши не любите, – хотите сыру? Саша, принесите, пожалуйста, сыр...

– «Вы любите ли сыр, спросили раз ханжу», – сказал он, неловко смеясь. – Кума...

– Хороша кума!

Он взял через стол и сжал ее руку, тихо говоря:

– Правда приедете?

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
Она ответила ровным голосом, глядя на него с легкой усмешкой:

– А как ты думаешь? Обману?

– Как мне благодарить тебя!

И тотчас подумал: «А там я ее, в этих лакированных сапожках, в амазонке и в котелке, вероятно, тотчас же люто возненавижу!»

25 сентября 1943

(обратно)  
Начало\*

– А я, господа, в первый раз влюбился, или, вернее, потерял невинность, лет двенадцати. Был я тогда гимназистом и ехал из города домой, в деревню, на рождественские каникулы, в один из тех теплых серых дней, что так часто бывают на Святках. Поезд шел среди сосновых лесов в глубоких снегах, я был детски счастлив и спокоен, чувствуя этот мягкий зимний день, эти снега и сосны, мечтаю о лыжах, ожидавших меня дома, и совсем один сидел в жарко натопленном первом классе старинного вагона-микст, состоявшего всего из двух отделений, то есть из четырех красных бархатных диванов с высокими спинками, – от этого бархата было как будто еще жарче и душнее, – и четырех таких же бархатных диванчиков возле окон с другой стороны, с проходом между ними и диванами. Там беззаботно, мирно и одиноко провел я больше часа. Но на второй от города станции отворилась дверь из сеней вагона, отрадно запахло зимним воздухом, вошел носильщик с двумя чемоданами в чехлах и с портпледом из шотландской материи, за ним очень бледная черноглазая молодая дама в черном атласном капоре и в каракулевой шубке, а за дамой рослый барин с желтыми совиными глазами, в оленьей шапке с поднятыми наушниками, в поярковых валенках выше колен и в блестящей оленьей дохе. Я, как воспитанный мальчик, тотчас, конечно, встал и с большого дивана возле двери в сенцы пересел во второе отделение, но не на другой диван, а на диванчик возле окна, лицом к первому отделению, чтобы иметь возможность наблюдать за вошедшими: ведь дети так же внимательны и любопытны к новым лицам, как собаки к незнакомым собакам. И вот тут-то, на этом диване и погибла моя невинность. Когда носильщик поклат вещи в сетку над диваном, на котором я только что сидел, сказал барину, сунувшему в руку ему бумажный рубль, «счастливого пути, ваше сиятельство!» и уже на ходу поезда выбежал из вагона, дама тотчас легла навзничь на диван под сеткой, затылком на его бархатный валик, а барин неловко, не привычными ни к какому делу руками, стащил с сетки портплед на противоположный диван, выдернул из него белую подушечку и, не глядя, подал ей. Она тихо сказала: «Благодарствуй, мой друг», – и, подсунув ее под голову, закрыла глаза, он же, сбросив доху на портплед, стал у окна между диванчиками своего отделения и закурил толстую папиросу, густо распространив в духоте вагона ее ароматический запах. Он стоял во весь свой мощный рост, с торчащими вверх наушниками оленьей шапки, и, казалось, не спускал глаз с бегущих назад сосен, а я сперва не спускал глаз с него и чувствовал только одно – ужасную ненависть к нему за то, что он совершенно не заметил моего присутствия, ни разу даже не взглянул на меня, точно я и не был в вагоне, а в силу этого и за все прочее: за его барское спокойствие, за княжески-мужицкую величину, хищные круглые глаза, небрежно запущенные каштановые усы и бороду и даже за плотный и просторный коричневый костюм, за легкие бархатистые валенки, натянутые выше колен. Но не прошло и минуты, как я уже забыл о нем: я вдруг вспомнил ту мертвенную, но прекрасную бледность, которой неосознанно поражен был при входе дамы, лежавшей теперь навзничь на диване против меня, перевел взгляд на нее – и уже ничего более, кроме нее, ее лица и тела, не видел до следующей станции, где мне надо было сходить. Она вздохнула и легла поудобнее, пониже, распахнула, не открывая глаз, шубку на фланелевом платье, скинула нога об ногу на пол теплые ботики с открытых замшевых ботинок, сняла с головы и уронила возле себя атласный капор, – черные волосы ее оказались, к моему великому удивлению, по-мальчишески коротко стриженными, – потом справа и слева отстегнула что-то от шелковых серых чулок, поднимая платье до голого тела между ним и чулками, и, оправив подол, задремала: гелиотроповые, но женски-молодые губы с темным пушком над ними слегка приоткрылись, бледное до прозрачной белизны лицо с очень явными на нем черными бровями и ресницами потеряло всякое выражение... Сон женщины, желанной вам, все ваше существо влекущей к себе, – вы знаете, что это такое! И вот я в первый раз в жизни увидел и почувствовал его, – до того я видел только сон сестры, матери, – и все глядел, глядел остановившимися глазами, с пересохшим ртом на эту мальчишески-женскую

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
черную голову, на неподвижное лицо, на чистой белизне которого так дивно выделялись тонкие черные брови и черные сомкнутые ресницы, на темный пушок над полураскрытыми губами, совершенно мучительными в своей, притягательности, уже постигал и поглощал все то непередаваемое, что есть в лежащем женском теле, в полноте бедер и тонкости щиколок, и с страшной яркостью все еще видел мысленно тот ни с чем не сравнимый женский, нежный телесный цвет, который она нечаянно показала мне, что-то отстегивая от чулок под фланелевым платьем. Когда неожиданно привел меня в себя толчок остановившегося перед нашей станцией поезда, я вышел из вагона на сладкий зимний воздух, шатаюсь. За деревянным вокзалом стояли троечные сани, запряженные серой парой, гремевшей бубенцами; с енотовой шубой в руках ждал возле саней наш старый кучер, неприветливо сказавший мне:

– Мамаша приказали непременно надеть...

И я покорно влез в эту пахучую мехом и зимней свежестью дедовскую шубу с огромным уже желтым и длинноостистым воротом, утонул в мягких и просторных санях и под глухое, полое бормотанье бубенцов закачался по глубокой и беззвучной снежной дороге в сосновой просеке, закрывая глаза и все еще млея от только что пережитого, смутно и горестно-сладко думая только о нем, а не о том прежнем, милом, что ждало меня дома вместе с думжами и волчонком, взятым на охоте в августе в логове убитой волчицы и теперь сидевшим у нас в яме в саду, из которой еще осенью, когда я приезжал домой на два дня на Покров, уже так дико и чудесно воняло зверем.

23 октября 1943

(обратно)  
«Дубки»\*

Шел мне тогда, друзья мои, всего двадцать третий год, – дело, как видите, давнее, еще дней блаженной памяти Николая Павловича, – только что произведен я был в чин гвардейского корнета, уволен зимой в том для меня достопамятном году в двухнедельный отпуск в свою рязанскую вотчину, где, по кончине родителя, одиноко жила моя матушка, и, приехав, вскорости жестоко влюбился: заглянул однажды в давно пустовавшую дедовскую усадьбу при некоем сельце Петровском, по соседству нашей, да и стал под всякими предложениями заглядывать туда все чаще и чаще. Дика и поныне русская деревня, зимой пуще всего, а что ж было в мои времена! Таково дико было и Петровское с этой пустовавшей усадьбой на его окраине, называвшейся «Дубки», ибо при въезде в нее росло несколько дубов, в мою пору уже древних, могучих. Под теми дубами стояла старая грубая изба, за избой разрушенные временем службы, еще дальше пустыри вырубленного сада, занесенного снегами, и развалина барского дома с темными провалами окон без рам. И вот в этой-то избе под дубами и сиживал я чуть не каждый день, болтая всякий будто бы хозяйственный вздор жившему в ней нашему старосте Лавру, даже низко ища его дружества и тайком бросая горестные взоры на его молчаливую жену Анфису, схожую скорее с испанкой, чем с простою русскою дворовой, бывшую чуть не вдвое моложе Лавра, рослого мужика с кирпичным лицом в темно-красной бороде, из которого легко мог бы выйти атаман шайки муромских разбойников. С утра я без разбору читал что попадет под руку, брэнчал на фортепьяно, подпевая с томлением: «Когда, душа, просилась ты погибнуть иль любить», – а пообедав, уезжал до вечера в «Дубки», невзирая на жгучие ветры и вьюги, неустанно летевшие к нам из саратовских степей. Так прошли Святки и приблизился срок моего возвращения к должности, о чем я и осведомил однажды с притворной непринужденностью Лавра и Анфису. Лавр резонно заметил на то, что служба царская, вестимо, первое всего, и тут за чем-то вышел из избы, Анфиса же, сидевшая с шитьем в руках, опустила вдруг шитье на колени, посмотрела вслед мужу своими кастильскими очами и, лишь только захлопнулась дверь за ним, стремительно-страстно блеснула ими в меня и сказала горячим шепотом:

– Барин, завтра он уедет с ночевкой в город, приезжайте ко мне скоротать вечерок на прощанье. Таилась я, а теперь скажу: горько мне будет расставаться с вами!

Я, конечно, был сражен таким признанием и только успел головой кивнуть в знак согласия – Лавр воротился в избу.

После того я, как понимаете, не чаял в неизъяснимом нетерпении и дожить до завтрашнего вечера, не знал, что с собой делать, думая только одно: пренебрегу всем своим карьером, брошу полк, останусь навеки в деревне, соединю судьбу свою

с нею по смерти Лавра – и прочее подобное... «Ведь он уже стар, – думал я, невзирая на то, что Лавру еще и пятидесяти не было, – он должен скоро умереть...» Наконец прошла ночь, – я до самого утра то трубку курил, то ром пил, нимало не пьянея, все разгораясь в своих безрассудных мечтах, – прошел и короткий зимний день, стало темнеть, а на дворе – прежестокый буран. Как тут уехать из дому, что сказать матушке? Теряюсь, не знаю, как быть, как вдруг простая мысль: да съезжу тайком, вот и вся недолга! Сказался недомоганием, не буду, мол, ужинать, пойду в постель, а как только матушка откушала и удалилась к себе, – наступила уже ранняя зимняя ночь, – с великою поспешностью оделся, побежал в избу к конюхам, приказал запретить легонькие санки и был таков. На дворе зги не видно в белой метельной тьме, но дорога лошади знакомая, пустил ее наугад, и не прошло и полчаса, как зачернели в этой тьме гудящие дубы над заветной избой, засветилось сквозь снег ее окошко. Привязал я лошадь к дубу, бросил на нее попону – и, вне себя, через сугроб, в темные сенцы! Нашарил дверь избы, шагнул за порог, а она уж наряжена, набелена, нарумянена, сидит в блеске и красном дыму лучины на лавке близ стола, уставленного по белой скатерти угощением, во все глаза ждет меня. Все маячит, дрожит в этом блеске, в дыму, но глаза и сквозь них видны – столь они широки и пристальны! Лучина в светце на припечном столбе, над лоханью с водой, трещит, слепит быстрым багровым пламенем, роняет огненные искры, шипящие в воде, на столе тарелки с орехами и мятными жамками, штоф с наливкою, два стаканчика, а она, близ стола, спиной к белому от снега окошку, сидит в шелковом лиловом сарафане, в миткалевой сорочке с распашными рукавами, в коралловом ожерелье – смоляная головка, сделавшая бы честь любой светской красавице, гладко причесана на прямой пробор, в ушах висят серебряные серьги... Увидав меня, вскочила, мигом скинула с меня оснеженную шапку, лисью поддевку, толкнула к лавке, – все как в испуге, вопреки всем моим прежним мыслям о ее гордой неприступности, – бросилась на колени ко мне, обняла, прижимая к моему лицу свои жаркие ланиты...

– Что ж ты таилась, – говорю, – дождалась до разлуки нашей!

Отвечает отчаянно:

– Ах, что ж я могла! Сердце заходило, как ты приезжал, видела твое мучение, да я крепка, не выдавала себя! Да и где могла открыться тебе? Ведь ни минуты не была глаз на глаз с тобой, а при нем даже взглядом не откроешься, зорек, как орел, заметит что – убьет, рука не дрогнет!

И опять обнимает, жмет мою робкую руку, кладет на колени себе... Чувствую ее тело на своих ногах сквозь легкий сарафан и уж не владею собой, как вдруг она вся чутко и дико выпрямляется, вскакивает, глядя на меня глазами Пифии:

– Слышишь?

Слушаю – и ничего не слышу, кроме шума снега за стеной: что, мол, такое?

– Подъехал кто-то! Лошадь заржала! Он!

И, забежав и сев за стол, превозмогая тяжелое дыхание, громко говорит простым голосом, наливая дрожащей рукой из штофа:

– Выкушайте, сударь, наливочки. Поедете – озябнете...

Вот тут он и взмог, весь косматый от снега, в бараньем треухе и тулупе, глянул, молвил: «Здравствуйте, сударь», – усердно положил тулуп на хоры, снял, отряхнул треух и, вытирая полую полушубку мокрое лицо и бороду, не спеша заговорил:

– Ну и погода! Добился кое-как до Больших Дворов, – нет, думаю, пропадешь, не доедешь, – въехал на заезжий двор, поставил кобылу под навес в затишье, задал корму, а сам в избу, за щи, – попал как раз в обед, – да так и просидел почесть до вечера. А потом думаю – э, была не была, поеду-ка я домой, авось Бог донесет, – не до города, не до дел в этакую страсть! Вот и доехал, слава Богу...

Мы молчим, сидим в оцепенении, в ужаснейшем замешательстве, понимаем, что он сразу понял все, она не подымает ресниц, я изредка на него взглядываю... Признаюсь, живописен он был! Велик, плечист, туго подпоясан зеленой подпояской по короткому полушубку с цветными татарскими разводами, крепко обут в казанские валенки, кирпичное лицо горит с ветру, борода блестит тающим снегом, глаза –

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин грозным умом... Подойдя к светцу, запалил новую лучину, потом сел за стол, взял штоф толстыми пальцами, налил, выпил до дна и говорит в сторону:

– Уж и не знаю, сударь, как вы теперь доедете. А ехать вам давно пора, лошадь вашу всю снегом занесло, вся согнулась стоит... Уж не гневайтесь, что не выйду провожать – больно намаялся за день, да и жену весь день не видал, а есть у меня о чем с ней побеседовать...

Я, без слова в ответ, поднялся, оделся и вышел...

А наутро, чем свет, верховой из Петровского: ночью Лавр удавил жену своей зеленой подпояской на железном крюку в дверной притолке, а утром пошел в Петровское, заявил мужикам:

– У меня, соседи, горе. Жена удавилась – видно, с расстройства ума. Проснулся на рассвете, а она висит уж вся синяя с лица, голова на грудь свалилась. Нарядилась зачем-то, нарумянилась – и висит, малость не достает до полу... Присвидетельствуйте, православные.

Те посмотрели на него и говорят:

– Ишь ты, что с собою наделала! А что ж это у тебя, староста, вся борода клоками вырвана, все лицо сверху донизу когтями изрезано, глаз кровью течет? Вяжи его, ребята!

Был он бит плетьюми и отправлен в Сибирь, в рудники.

30 октября 1943

(обратно)  
Барышня Клара\*

Грузин Ираклий Меладзе, сын богатого купца во Владикавказе, приехавший в январе по делам отца в Петербург, обедал в тот вечер у Палкина. Был он, как всегда, без всякой причины, довольно мрачен с виду; невысок, слегка гнут, худощав и крепок, чуть не до бровей заросший по низкому лбу красноватыми жесткими волосами, лицом брит и смугл; нос имел ятаганом, глаза карие, запавшие, руки сухие, маленькие, с волосатыми кистями, ногти острые и крепкие, круглые; одет в синий пиджачный костюм не в меру модного провинциального покроя и шелковую голубую рубашку с длинным галстуком, переливавшимся то золотисто, то жемчужно. Обедал он в большом людном зале под шумный струнный оркестр, с удовольствием чувствуя себя в столице, среди ее богатой зимней жизни, – за окнами блистал вечерний Невский, на огни которого, на непрерывно и густо льющийся поток трамваев, летящих лихачей и извозчиков валил крупный снег сиреневыми от огней хлопьями. Выпив за стойкой две рюмки померанцевой и закусив жирным угрем, он пристально ел жидкую селянку, но все поглядывал на обедавшую за столиком невдалеке могучую брюнетку, казавшуюся ему верхом красоты и нарядности: роскошное тело, высокие груди и крутые бедра, – все туго стянуто атласным черным платьем; на широких плечах горностаевая горжетка; на смольных волосах великолепно изогнутая черная шляпа; черные глаза с налепленными стрелчатými ресницами блещут величаво и независимо, тонкие, оранжево-накрашенные губы гордо сжаты; крупное лицо бело, как мел, от пудры... Доедая глухаря в сметане, Меладзе согнутым пальцем поманил к себе лакея, показывая на нее глазами:

– Скажи, пожалуйста, кто такая?

Лакей подмигнул:

– Барышня Клара.

– Давай, пожалуйста, счет скорее...

Она тоже уже расплачивалась, изящно выпив чашечку кофе с молоком, а расплатившись и внимательно пересчитав сдачу, не спеша встала и плавно пошла в дамскую уборную. Он, пройдя следом за ней, сбегал к выходу на подъезд по крытой истоптаным красным ковром лестнице, торопливо оделся там в швейцарской и стал ждать ее на подъезде под густо валившим снегом. Она вышла, величаво подняв голову, в широкой котиковой шубке, держа руки в большой горностаевой муфте. Он

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин загородил ей дорогу и, кланяясь, снял каракулевою шапку:

– Позвольте, пожалуйста, проводить вас...

Она приостановилась и посмотрела на него со светским удивлением:

– Это немного наивно с вашей стороны обращаться с таким предложением к незнакомой даме.

Он надел шапку и обидчиво пробормотал:

– Зачем наивно? Мы могли бы поехать в театр, потом выпить шампанского...

Она пожала плечами:

– Какая настойчивость! Вы, верно, приезжий из провинции?

Он поспешил сказать, что приехал из Владикавказа, что там у него с отцом большое торговое дело...

– Значит, днем дела, а вечером скучно в одиночестве?

– Очень скучно!

Как будто что-то подумав, она сказала с деланной небрежностью:

– Ну что ж, поскучаем вместе. Если хотите, поедem ко мне, шампанское и у меня найдется. А потом поужинаем где-нибудь на Островах. Только берегитесь, все это будет стоить вам не дешево.

– Сколько будет стоить?–

– У меня пятьдесят. А на Островах обойдется, конечно, больше пятидесяти.

Он сделал брезгливую гримасу:

– Пожалуйста! Это не вопрос!

Лихач, залепленный снегом, все время чмокая в лад стучающей в санный передок лошади, быстро доставил их на Лиговку к пятиэтажному дому. На пятом этаже слабо освещенная лестница упиралась в единственную дверь совсем отдельной квартиры. Дорогой оба молчали, – он сперва возбужденно кричал, хвастаясь Владикавказом и тем, что он остановился в «Северной гостинице», в самом дорогом номере, в первом этаже, потом вдруг замолк, держа ее по мокрому котику то за талию, то за широкий зад, и уже мучился, думал только о нем; она закрывала лицо от снега муфтой. Молча поднялись и по лестнице. Она не спеша отперла дверь английским ключиком, осветила из прихожей всю квартиру электричеством, сняла шубку и шляпу, стряхивая с них снег, и он увидел, что крупные волосы ее, отливающие чем-то малиновым, плоско причесаны на прямой ряд. Сдерживая нетерпение и уже злобу от ее медлительности и чувствуя, как жарко, душно и глухо в этой одинокой квартире, он все же постарался быть любезным и, раздеваясь, сказал:

– Как уютно!

Она равнодушно ответила:

– Только немножко тесно. Все удобства, газовая кухня, чудная ванная, но всего две комнаты: приемная и спальня...

В приемной, усталой бобриком, со старой мягкой мебелью и плюшевыми занавесками на дверях и окнах, ярко горела лампа на высокой подставке под рогатым розовым абажуром, в спальне, прилегавшей к приемной, тоже виден был за дверью розовый свет лампочки на ночном столике. Она прошла туда, поставив для него на преддиванный стол, покрытый бархатной скатертью, раковину-пепельницу, и надолго затворилась там. Он мрачнел все более, куря в кресле возле стола, косясь на «Зимний закат» Клевера, висевший над диваном, и на другую стену, на большой портрет офицера в накинута на плечи николаевской шинели, на его полубачки. Наконец дверь из спальни отворилась.

– Ну вот, теперь посидим, поболтаем, – сказала она, выходя оттуда в черном, шитом золотыми драконами халате и в розовых атласных туфлях без задков на босу ногу.

Он жадно взглянул на ее голые пятки, похожие на белую репу, она, поймав его взгляд, усмехнулась, прошла куда-то через прихожую и вернулась с вазой груш в одной руке и с откупоренной шампанской бутылкой в другой. «Мое любимое, розовое», – сказала она и опять ушла, принесла два бокала, до краев налила их слегка зашипевшим розовым вином, чокнулась с ним, пригубила и села к нему на колени, выбрав из вазы грушу пожелтее и тотчас надкусив ее. Вино было теплое, приторное, но он от волнения выпил его до дна и порывисто поцеловал ее мокрыми губами в полную шею. Она прижала к его рту крупную ладонь, пахнущую шип-ром:

– Только без поцелуев. Мы не гимназисты. А деньги вот сюда, на стол.

Вытащив из внутреннего кармана его пиджака бумажник и часы из жилета, она положила то и другое на стол и, доедая грушу, раздвинула ноги. Он осмелел и распахнул халат с драконами на большом, полногрудом белом теле с густыми черными волосами ниже широкого волнистого живота. «Она уже старая», – подумал он, взглянув на ее пористое меловое лицо, густо засыпанное пудрой, на оранжевые губы в трещинках, на страшные налепленные ресницы, на широкий серый пробор среди плоских волос цвета ваксы, но уже совсем шалея от величины и белизны этого голого тела, круглых грудей, красные соски которых были почему-то очень малы, и мягкого зада, тяжело лежащего на его коленях. Она больно хлопнула его по руке и встала, раздув ноздри.

– Нетерпелив, как мальчишка! – сказала она гневно. – Вот выпьем еще по бокалу и пойдем...

И гордо взялась за бутылку. Но он, с налившимися кровью глазами, всем телом кинулся на нее и сбил с ног на пол, на бобрик. Она уронила бутылку и, зажмурясь, с размаху дала ему жестокую пощечину. Он сладко застонал, склонив голову, защищаясь от нового удара, и навалился на нее, подхватывая одной рукой ее голый зад, а другой быстро расстегиваясь. Она вцепилась зубами ему в шею и, вскинув правое колено, так страшно ударила им в его живот, что он отлетел под стол, но тотчас вскочил, поймал с полу бутылку и треснул ее, полуподнявшуюся, в голову. Она, икнув, упала навзничь, раскинув руки, и широко раскрыла рот – из него густо лилась кровь. Он схватил со стола часы и бумажник и кинулся в прихожую.

В полночь он сидел в курьерском поезде, в десять утра был в Москве, в час сел на Рязанском вокзале в ростовский поезд. В седьмом часу вечера на другой день, у буфетной стойки на вокзале в Ростове, был арестован.

17 апреля 1944

(обратно)  
«Мадрид»\*

Поздним вечером шел в месячном свете вверх по Тверскому бульвару, а она навстречу: идет гуляющим шагом, держит руки в маленькой муфте и, поводя каракулевой шапочкой, надетой слегка набекрень, что-то напевает. Подойдя, приостановилась:

– Не хотите ли разделить компанию?

Он посмотрел: небольшая, курносенькая, немножко широкоскулая, глаза в ночном полусвете блестят, улыбка милая, несмелая, голосок в тишине, в морозном воздухе чистый...

– Отчего же нет? С удовольствием.

– А вы сколько дадите?

– Рубль за любовь, рубль на булавки.

Она подумала.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

– А вы далеко живете? Недалеко, так пойду, после вас еще успею походить.

– Два шага. Тут, на Тверской, номера «Мадрид».

– А, знаю! Я там раз пять была. Меня туда один шулер водил. Еврей, а ужасно добрый.

– Я тоже добрый.

– Я так и подумала. Вы симпатичный, сразу мне понравились...

– Тогда, значит, пошли.

По дороге, все поглядывая на нес, – на редкость милая девчонка! – стал расспрашивать:

– Что ж ты это одна?

– Я не одна, мы завсегда втроем выходим: я, Мур и Анеля. Мы и живем вместе. Только нынче суббота, их приказчики взяли. А меня никто за весь вечер не взял. Меня не очень берут, любят больше полных или уж чтобы как Анеля. Она хоть худая, а высокая, дерзкая. Пьет – страсть и по-цыгански умеет петь. Она и Мур мужчин терпеть не могут, влюблены друг в друга ужас как, живут как муж с женой...

– Так, так... Мур... А тебя как зовут? Только не ври, не выдумывай.

– Меня Нина.

– Вот и врешь. Скажи правду.

– Ну, вам скажу, Поля.

– Гуляешь, должно быть, недавно?

– Нет, уж давно, с самой весны. Да что все расспрашивать! Дайте лучше папиросочку. У вас, верно, очень хорошие, ишь какой на вас клош и шляпа!

– Дам, когда придем. На морозе вредно курить.

– Ну, как хотите, а мы завсегда на морозе курим, и ничего. Вот Анели вредно, у ней чахотка... А отчего вы бритый? Он тоже был бритый...

– Это ты все про шулера? Однако запомнился он тебе!

– Я его до сих пор помню. У него тоже чахотка, а курит ужас как. Глаза горят, губы сухие, грудь провалилась, щеки провалились, темные...

– А кисти волосатые, страшные...

– Правда, правда! Ай вы его знаете?

– Ну вот, откуда же я могу его знать!

– Потом он в Киев уехал. Я его на Брянский вокзал ходила провожать, а он и не знал, что приду. Пришла, а поезд уж пошел. Побежала за вагонами, а он как раз из окошка высунулся, увидел меня, замахал рукой, стал кричать, что скоро опять приедет и киевского сухого варенья мне привезет.

– И не приехал?

– Нет, его, верно, поймали.

– А откуда же ты узнала, что он шулер?

– Он сам сказал. Напился портвейну, стал грустный и сказал. Я, говорит, шулер, все равно, что вор, да что же делать, волка ноги кормят... А вы, может, актер?

– Вроде этого. Ну, пришли...

За входной дверью горела над конторкой маленькая лампочка, никого не было. На доске на стене висели ключи от номеров. Когда он снял свой, она зашептала:

– Как же это вы оставляете? Обворуют!

Он посмотрел на нее, все больше веселея:

– Обворуют – в Сибирь пойдут. Но что за прелесть мордашка у тебя!

Она смутилась:

– Все смеетесь... Пойдемте за ради Бога скорей, ведь все-таки это не дозволяется водить к себе так поздно...

– Ничего, не бойся, я тебя под кровать спрячу. Сколько тебе лет? Восемнадцать?

– Чудной вы! Все знаете! Восемнадцатый.

Поднялись по крутой лестнице, по истертому коврику, повернули в узкий, слабо освещенный, очень душный коридор, он остановился, всовывая ключ в дверь, она поднялась на цыпочки и посмотрела, какой номер:

– Пятый! А он стоял в пятнадцатом в третьем этаже...

– Если ты мне про него еще хоть слово скажешь, я тебя убью.

Губы у нее сморщились довольной улыбкой, она, слегка покачиваясь, вошла в прихожую освещенного номера, на ходу расстегивая пальтецо с каракулевым воротничком:

– А вы ушли и забыли свет погасить...

– Не беда. Где у тебя носовой платочек?

– На что вам?

– Раскраснелась, а все-таки нос озяб...

Она поняла, поспешно вынула из муфты комочек платка, утерлась. Он поцеловал ее холодную щечку и потрепал по спине. Она сняла шапочку, потрянула волосами и стоя стала стягивать с ноги ботик. Ботик не поддавался, она, сделав усилие, чуть не упала, схватилась за его плечо и звонко засмеялась:

– Ой, чуть не полетела!

Он снял пальтецо с ее черного платица, пахнущего материей и теплым телом, легонько толкнул ее в номер, к дивану:

– Сядь и давай ногу.

– Да нет, я сама...

– Сядь, тебе говорят.

Она села и протянула правую ногу. Он встал на одно колено, ногу положил на другое, она стыдливо одернула подол на черный чулок:

– Вот какой вы, ей-Богу! Они, правда, у меня страсть тесные...

– Молчи.

И, быстро стащив ботики один за другим вместе с туфлями, откинул подол с ноги, крепко поцеловал в голое тело выше колена и встал с красным лицом:

– Ну, скорей... Не могу...

– Что не можете? – спросила она, стоя на ковре маленькими ногами в одних чулках,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин трогательно уменьшившись в росте.

– Совсем дурочка! Ждать не могу, – поняла?

– Раздеваться?

– Нет, одеваться!

И, отвернувшись, подошел к окну и торопливо закурил. За двойными стеклами, снизу замерзшими, бледно светили в месячном свете фонари, слышно было, как, гремя, неслись мимо, вверх по Тверской, бубенцы на «голубках»... Через минуту она окликнула его:

– Я уж лежу.

Он потушил свет и, как попало раздевшись, лег к ней под одеяло. Она, вся дрожа, прижалась к нему и зашептала с мелким, счастливым смехом:

– Только за ради Бога не дуйте мне в шею, на весь дом закричу, страсть боюсь щекотки...

С час после того она крепко спала. Лежа рядом с ней, он глядел в полутьму, смешанную с мутным светом с улицы, думая с неразрешающимся недоумением: как это может быть, что она под утро куда-то уйдет? Куда? Живет с какими-то стервами над какой-нибудь прачечной, каждый вечер выходит с ними как на службу, чтобы заработать под каким-нибудь скотом два целковых – и какая детская беспечность, простосердечная идиотичность! Я, мне кажется, тоже «на весь дом закричу», когда она завтра соберется уходить...

– Поля, – сказал он, садясь и трогая ее за голое плечо.

Она испуганно очнулась:

– Ох, батюшки! Извините, пожалуйста, совсем нечаянно заснула... Я сейчас, сейчас...

– Что сейчас?

– Сейчас встану, оденусь...

– Да нет, давай ужинать. Никуда я тебя не пушу до утра.

– Что вы, что вы! А полиция?

– Глупости. А мадера у меня ничуть не хуже портвейна твоего шулера.

– Что ж вы мне все попрекаете им?

Он внезапно зажег свет, резко ударивший ей в глаза, она сунула голову в подушку. Он сдернул с нее одеяло, стал целовать в затылок, она радостно забила ногами:

– Ой, не щекотите!

Он принес с подоконника бумажный мешочек с яблоками и бутылку крымской мадеры, взял с умывальника два стакана, сел опять на постель и сказал:

– Вот, ешь и пей. А то убью.

Она крепко надкусила яблоко и стала есть, запивая мадерой и рассудительно говоря:

– А что ж вы думаете? Может, кто и убьет. Наше дело такое. Идешь неизвестно куда, неизвестно с кем, а он либо пьяный, либо полоумный, кинется и задушит, либо зарежет... А до чего у вас теплый номер! Сидишь вся голая и все тепло. Это мадера? Вот люблю! Куда ж сравнить с портвейном, он завсегда пробкой пахнет.

– Ну, не завсегда.

– Нет, ей-Богу, пахнет, хоть два рубля за бутылку заплати, одна честь.

– Ну, давай еще налью. Давай чокнемся, выпьем и поцелуемся. До дна, до дна.

Она выпила, и так поспешно, что задохнулась, закашлялась и, смеясь, упала головой к нему на грудь. Он поднял ей голову и поцеловал в мокрые, деликатно сжатые губки.

– А меня придешь провожать на вокзал?

Она удивленно раскрыла рот:

– Вы тоже уедете? Куда? Когда?

– В Петербург. Да это еще не скоро.

– Ну, слава Богу! Я теперь только к вам буду ходить. Вы хотите?

– Хочу. Только ко мне одному. Слышишь?

– Ни за какие деньги ни к кому не пойду.

– Ну то-то же. А теперь – спать.

– Да мне нужно на минуточку...

– Вот тут, в тумбочке.

– Мне на виду стыдно. Погасите на минуточку огонь...

– И совсем погашу. Третий час...

В постели она легла ему на руку, опять вся прижавшись к нему, но уже тихо, ласково, а он стал говорить:

– Завтра мы с тобой будем вместе завтракать...

Она живо подняла голову:

– А где? Вот я раз была в «Тереме», это за Триумфальными воротами, дешево до того, прямо даром, а уж сколько дают – съесть нельзя!

– Ну, это мы посмотрим где. А потом ты пождешь домой, чтобы твои стервы не подумали, что тебя убили, да и у меня дела есть, а к семи опять приходи ко мне, поедем обедать к Патрикееву, там тебе понравится – оркестрион, балалаечники...

– А потом в «Эльдорадо» – правда? Там сейчас идет чудная фильма «Мертвец-беглец».

– Великолепно. А теперь – спи.

– Сичас, сичас... Нет, Мур не стерва, она страсть несчастная. Я бы без нее пропала.

– Как это?

– Она папина сестра двоюродная...

– Ну?

– Папа мой был сцепщиком на товарной станции в Серпухове, ему там грудь раздавило буферами, а мама умерла, когда я была еще маленькой, я и осталась одна на всем свете и поехала к ней в Москву, а она, оказывается, давно уж не служит по номерам горничной, мне дали ее адрес в адресном столе, я приехала к ней с корзинкой на извозчике на Смоленский рынок, смотрю, а она с этой Анелей живет и вместе с ней ходит по вечерам на бульвары... Ну и оставила меня у себя, а потом уговорила тоже выходить...

– А говоришь, что ты без нее пропала бы.

– А куда ж бы я делась в Москве одна? Конечно, она меня погубила, да разве она мне зла желала! Ну да что об этом говорить. Может, Бог даст, место какое найду тоже в номерах, только уж место не брошу и уж никого к себе не подпущу, мне и чаевых будет довольно, да еще на всем готовом. Вот если бы тут, в вашем «Мадриде»! Чего бы лучше!

– Я об этом подумаю; может, и устрою тебе где-нибудь такое место.

– Я бы вам в ножки поклонилась!

– Чтоб вышла уж полная идиллия..

– Что?

– Нет, ничего, это я со сна.. Спи.

– Сичас, сичас... Я что-й-то раздумалась..

26 апреля 1944

(обратно)

Второй кофейник\*

Она и натурщица его, и любовница, и хозяйка – живет с ним в его мастерской на Знаменке: желтоволосая, невысокая, но ладная, еще совсем молодая, миловидная, ласковая. Теперь он пишет ее по утрам «Купальщицей»: она, на маленьком помосте, как будто возле речки в лесу, не решаясь войти в воду, откуда должны глядеть глазастые лягушки, стоит вся голая, простонародно развитая телом, прикрывая рукой золотистые волосы внизу. Поработав с час, он отклоняется от мольберта, смотрит на полотно и так и этак, прищуриваясь, и рассеянно говорит:

– Ну, станция. Подогревай второй кофейник.

Она облегченно вздыхает и, топая босыми ногами по циновкам, бежит в угол мастерской, к газовой плитке. Он что-то соскребает с полотна тонким ножичком, плитка шумит, кисло пахнет своими зелеными рожками и душисто кофею, а она беззаботно запеваёт на всю мастерскую звонким голосом:

Начинала ту-учка, ту-учка золота-ая..

На груди-и утеса велика-ана..

И, повернув голову, радостно говорит:

– Это мне художник Ярцев выучил. Вы его знали?

– Знал немного. Долговязый такой?

– Он самый.

– Даровитый малый был, но дубина порядочная. Он ведь, кажется, помер?

– Помер, помер. Спился. Нет, он добрый был. Я с ним год жила, вот как с вами. Он и невинности меня лишил всего на втором сеансе. Вскочил вдруг от мольберта, бросил палитру с кистями и сбил мне с ног на ковер. Я испужалась до того, что и крикнуть не смогла. Вцепилась ему в грудь, в пинжак, да куда тебе! Глаза бешеные, веселые.. Как ножом зарезал.

– Да, да, ты мне это уж рассказывала. Молодец. И ты все-таки любила его?

– Конечно, любила. Очень боялась. Надругался надо мной, выпимши, не приведи Господи. Я молчу, а он: «Катя, молчать!»

– Хорош!

– Пьяный. Кричит на всю студию: «Катя, молчать!» А я и так молчу. Потом как зальется, зальется: «Начивала тучка..» И сичас же подхватит на иные слова: «Начивала сучка, сучка молодая» – это я-то, значит. Со смеху помрешь! И опять – трах ногой в пол: «Катя, молчать!»

– Хорош. Но постой, я забыл: ведь тебя какой-то твой дядя привез в Москву?

– Дядя, дядя. Осталась я сиротой по шашнадцатому году, а он мне и привез. Это уж к моему другому дяде в его извозничий трактир. Я там посуду мыла, белье хозяйское стирала, потом тетя вздумала в бордель меня продать. И продала бы, да Бог спас. Приехали раз под утро из «Стрельни» опохмеляться Шаляпин с Коровиным, увидели, как я тащила на стойку с Родькой-половым кипячий ведерный самовар, и давай кричать и хохотать: «С добрым утром, Катенька! Хотим, чтоб бссприменно ты, а не этот сукин сын половой подавал нам!» Ведь как угадали, что меня Катей зовут! Дядя уж проснулся, вышел, зеваает, насупился – она, говорит, не к этому делу приставлена, не может подавать. А Шаляпин как рявкнет: «В Сибири сгною, в кандалы закую – слушай мой приказ!» Тут дядя сразу испужался, я тоже насмерть испужалась, уперлась было, а дядя шипит: «Иди подавай, а то я потом шкуру с тебя спущу, это самый знаменитый люди во всей Москве». Я и пошла, а Коровин оглядел мне всю, дал десять рублей и велел к нему завтра притить, писать мне вздумал, дал свой адрес. Я пришла, а он уж раздумал писать и послал к доктору Голоушеву, он был страшный приятель со всеми художниками, пьяных и мертвых свидетельствовал при полиции и тоже немножко писал. Ну, он и пустил мне по рукам, не велел ворочаться в трактир, я так и осталась в одном платьишке.

– То есть как это пустил по рукам?

– А так. По мастерским. Сперва я позировала вся одетая, в желтом платочке, и все художникам, Кувшинниковой, сестре Чехова, – она, по правде сказать, совсем никуда была в нашем деле, дилитанка, – потом попала аж к самому Малявину: он мне посадил голую на ноги, на пятки, спиной к себе, с рубашкой над головой, будто я ее надеваю, и написал. Спина и зад вышли отлично, сильная лепка, только он испортил пятками и подошвами, совсем противно вывернул их под задом...

– Ну, Катька, молчать. Второй звонок. Давай кофейник.

– Ой, батюшки, заговорила! Даю, даю...

30 апреля 1944

(обратно)

Железная Шерсть\*

– Нет, я не иннок, ряса моя и скуфья означают лишь то, что я грешный раб божий, странник, сушею и водами ходящий вот уже шестой десяток лет. Родом же я дальний, северный. Там Россия глухая, древняя, леса да болоты с озерами, селения редкие. Зверя много, птицы несть числа, филинов ушастых видишь – сидит в черной ели, пучит янтарное око. Есть носатый лось, есть прекрасный олень – плачем и зовом звенит в бору к своей подруге... Зимы снежные, долгие, перехожий волк под самые окна подходит. Летом же качается, шатается по лесам медведь широколапый, в дебрях леший свищет, аукает, на дудках играет; в ночи утопленницы туманом на озерах белеют, нагими лежат на берегах, соблажняя человека на любодееяние, ненасытый блуд; и есть не мало несчастных, что токмо в сем блюде и упражняются, провождают с ними ночь, день же спят, в тресовицах пылают, оставя всякое иное житейское попечение... Несть ни единой силы в мире сильнее похоти – что у человека, что у гада, у зверя, у птицы, пуще же всего у медведя и у лешего!

Тот медведь у нас зовется Железная Шерсть, а леший – просто Лес. И женщин любят они, и тот и другой, до лютого лакомства. Пойдет женщина или даже невинная в бор за хворостом, за ягодой – глядишь, затяжелела: плачет и кается – меня, говорит, Лес осилил. А иная на медведя жалуется: повстречал-де Железная Шерсть и блуд со мной сотворил – могла ли от него спастись! Вижу, идет на меня, пала я ниц, а он надшел, обнюхал, – мол, не мертва ли? – завернул на мне свитку и исподнее, задавил меня... Только, правду сказать, нередко лукавят они: случается даже с отроковицами, что сами они прельщают его, падают наземь ничком и, падая, еще и обнажаются, как бы нечаянно. Да и то взять: трудно устоять женщине что перед медведем, что перед лешим, а что будет она оттого впоследствии времени кликуша, икотница, о том заране не думает. Медведь – он и зверь и не зверь, недаром верят у нас, что он может, да только не хочет говорить. Вот и поймешь, до чего женской душе прельстительно иметь такое страшное соитие! А про лешего и говорить нечего – тот еще страшней и сладострастнее. Я о нем ничего не могу утверждать, бог миловал видеть его, а которые видели, те говорят, будто он подобен по рубахе и

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
портам и прочей наружности мужику-смолокуру, однако же кровь у него синяя, оттого и с лица темен, ногами мохнат и тени от себя не может иметь ни при солнце, ни при месяце; завидя на лесном пути прохожего, тот же час согнется весь и такого духу даст – векша не догонит! Не то при встрече с женщиной: он не токмо не боится ее, но, зная, что тут ее самоё ужас и похоть берет, козлом пляшет к ней и берет ее с веселостью, с яростью: падет она наземь ничком, как и перед медведем, а он сбросит порты с лохматых ног, навалится с заду, щекочет обнаженную, гогочет, хрюкает и до того воспалит ее, что она уж без сознания млеет под ним, – иные сами рассказывали...

Все сие я к себе клоню. Пошел я на весь свой век сирым странником по причине того несказанного бедствия, что постигло меня на самой заре моей. Женили меня родители на прекрасной девице из богатого и старинного крестьянского двора, которая была еще млаже меня и дивной прелести: личико прозрачное, первого снега белей, глаза лазоревые, как у святых отроковиц... Но вот, в первой же брачной ночи нашей, кинулась она от моих объятий под образа в спальней горнице, говоря мне: «Ужели дерзнешь взять мое тело под святой божницею и елейными лампадами? Я приняла венец с тобой не своей волею и не могу быть твоей супругою, зане должна удалиться в скит и монастырь, дабы принять другой венец, умереть для мира заживо, по жестокии грехам моим». Я отвечаю ей: видно, впала ты в безумие, какой же может быть жестокий грех на твоей душе в твоём невинном возрасте! Она же мне: «Про то одна мать божия ведаёт, ей же дала я, покаявшись, обет быть чистою». И тогда я – пуще всего от её сопротивления и подобных страшных слов, да ещё под святынями – озверел столь необузданной страстью, что упился ею как раз на том месте, на полу, сколь ни противилась она своей слабой силою и мольбами и рыданием, и вспомнил лишь после того, что имел я её невинности уже лишенную, не подумавши, однако, кем и как лишена она её. Будучи во хмелю, в сей же час заснул крепким сном. Она же, в одном исподнем, убежала из спальней горницы в лес и там на своём брачном поясе повесилась. Когда же обрели её там, то увидели: сидит на снегу у тонких босых ног её, склонив голову, великий медведь. И, как тот олень, три дня и три ночи оглашал я потом леса окрест своим плачем и зовом, её на земле уже не достигавшим.

1 мая 1944

(обратно)  
Холодная осень\*

В июне того года он гостил у нас в имении – всегда считался у нас своим человеком: покойный отец его был другом и соседом моего отца. Пятнадцатого июня убили в Сараеве Фердинанда. Утром шестнадцатого привезли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я ещё сидели за чайным столом, и сказал:

– Ну, друзья мои, война! В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война!

На Петров день к нам съехалось много народу, – были именины отца, – и за обедом он был объявлен моим женихом. Но девятнадцатого июля Германия объявила России войну...

В сентябре он приехал к нам всего на сутки – проститься перед отъездом на фронт (все тогда думали, что война кончится скоро, и свадьба наша была отложена до весны). И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали, по обыкновению, самовар, и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал:

– Удивительно ранняя и холодная осень!

Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про осень. Я подошла к балконной двери и протерла стекло платком: в саду, на черном небе, ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу, мама, в очках, старательно зашивала под её светом маленький шелковый мешочек, – мы знали какой, – и это было и трогательно и жутко. Отец спросил:

– Так ты все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака?

– Да, если позволите, утром, – ответил он. – Очень грустно, но я еще не совсем

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин распорядился по дому.

Отец легонько вздохнул:

– Ну, как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой пора спать, мы непременно хотим проводить тебя завтра...

Мама встала и перекрестила своего будущего сына, он склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одни, мы еще немного побыли в столовой, – я вздумала раскладывать пасьянс, – он молча ходил из угла в угол, потом спросил:

– Хочешь пройдемся немного?

На душе у меня делалось все тяжелее, я безразлично отозвалась:

– Хорошо...

Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи Фета:

Какая холодная осень!  
Надень свою шаль и капот...

– Капота нет, – сказала я. – А как дальше?

– Не помню. Кажется, так:

Смотри – меж чернеющих сосен  
Как будто пожар восстает...

– Какой пожар?

– Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах. «Надень свою шаль и капот...» Времена наших дедушек и бабушек... Ах, Боже мой, Боже мой!

– Что ты?

– Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя...

Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому:

– Посмотри, как совсем особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер...

Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо.

– Как блестят глаза, – сказал он. – Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня?

Я подумала: «А вдруг правда убьют? и неужели я все-таки забуду его в какой-то срок – ведь все в конце концов забывается?» И поспешно ответила, испугавшись своей мысли:

– Не говори так! Я не переживу твоей смерти!

Он, помолчав, медленно выговорил:

– Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне.

Я горько заплакала...

Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что зашивала

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
вечером, – в нем был золотой образок, который носили на войне ее отец и дед, – и мы все перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему вслед, постояли на крыльце в том оцепении, которое всегда бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, чувствуя только удивительную несовместность между нами и окружающим нас радостным, солнечным, сверкающим изморозью на траве утром. Постояв, вошли в опустевший дом. Я пошла по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что теперь делать с собой и зарыдать ли мне или запеть во весь голос...

Убили его – какое странное слово! – через месяц, в Галиции. И вот прошло с тех пор целых тридцать лет. И многое, многое пережито было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым. Весной восемнадцатого года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки на Смоленском рынке, которая все издевалась надо мной: «Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства?» Я тоже занималась торговлей, продавала, как многие продавали тогда, солдатам в папахах и расстегнутых шинелях кое-что из оставшегося у меня, – то какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, побитый молью, и вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой, прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет семнадцати, тоже пробиравшимся к добровольцам, чуть не две недели, – я бабой, в лаптях, он в истертом казачьем зипуне, с отпущенной черной с проседью бородой, – и пробыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой, в ураган, отплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию, и на пути, в море, муж мой умер в тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете только трое: племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка, ребенок семи месяцев. Но и племянник с женой уплыли через некоторое время в Крым, к Врангелю, оставив ребенка на моих руках. Там они и пропали без вести. А я еще долго жила в Константинополе, зарабатывая на себя и на девочку очень тяжелым черным трудом. Потом, как многие, где только не скиталась я с ней! Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца... Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем француженкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне, служила в шоколадном магазине возле Мадлен, холеными ручками с серебряными ноготками заворачивала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками; а я жила и все еще живу в Ницце чем Бог пошлет... Была я в Ницце в первый раз в девятьсот двенадцатом году – и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет она для меня!

Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что я не переживу ее. Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни, – остальное ненужный сон. И я верю, горячо верю: где-то там он ждет меня – с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне...» Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду.

3 мая 1944

(обратно)  
Пароход «Саратов»\*

В сумерки прошумел за окнами короткий майский дождь. Рябой денщик, пивший в кухне при свете жестяной лампочки чай, посмотрел на часы, стучавшие на стене, встал и неловко, стараясь не скрипеть новыми сапогами, прошел в темный кабинет, подошел к оттоманке:

– Ваше благородие, десятый час...

Он испуганно открыл глаза:

– Что? Десятый? Не может быть...

Оба окна были открыты на улицу, глухую, всю в садах – в окна пахло свежестью весенней сырости и тополями. Он с той остротой обоняния, что бывает после крепкого молодого сна, почувствовал эти запахи и бодро сбросил с оттоманки ноги:

– Зажги огонь и ступай скорей за извозчиком. Найди какого порезвей...

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

И пошел переодеваться, мыться, облил голову холодной водой, смочил одеколоном и причесал короткие курчавые волосы, еще раз взглянул в зеркало: лицо было свежо, глаза блестящие; с часу до шести он завтракал в большой офицерской компании, дома заснул тем мгновенным сном, каким засыпаешь после нескольких часов непрерывного питья, куренья, смеха и болтовни, однако чувствовал себя теперь отлично. Денщик подал в прихожей шашку, фуражку и тонкую летнюю шинель, распахнул дверь на подъезд – он легко вскочил в пролетку и несколько хрипло крикнул:

– Валяй живей! Целковый на водку!

Под густой маслянистой зеленью деревьев мелькал ясный блеск фонарей, запах мокрых тополей был и свеж и прян, лошадь неслась, высекая подковами красные искры. Все было прекрасно: и зелень, и фонари, и предстоящее свидание, и вкус папиросы, которую ухитрился закурить на лету. И все сливалось в одно: в счастливое чувство готовности на все что угодно. Водка, бенедиктин, турецкое кофе? Вздор, просто весна и все отлично...

Дверь отворила маленькая, очень порочная на вид горничная на тонких качающихся каблучках. Быстро скинув шинель и отстегнув шашку, бросив фуражку на подзеркальник и немного взбив волосы, вошел, позванивая шпорами, в небольшую, тесную от излишества будуарной мебели комнату. И тотчас вошла и она, тоже покачиваясь на каблучках туфель без задка, на босу ногу с розовыми пятками, – длинная, волнистая, в узком и пестром, как серая змея, капоте с висящими, разрезанными до плеча рукавами. Длинные были и несколько раскосые глаза ее. В длинной бледной руке дымилась папироса в длинном янтарном мундштуке.

Целуя ее левую руку, он щелкнул каблучками:

– Прости, ради Бога, задержался не по своей вине...

Она посмотрела с высоты своего роста на мокрый глянец его коротких, мелко курчавых волос, на блестящие глаза, почувствовала его винный запах:

– Вина давно известная...

И села на шелковый пуф, взяв левой рукой под локоть правую, высоко держа поднятую папиросу, положив ногу на ногу и выше колена раскрыв боковой разрез капота. Он сел напротив на шелковое канапе, вытягивая из кармана брюк портсигар:

– Понимаешь, какая вышла история...

– Понимаю, понимаю...

Он быстро и ловко закурил, помахал горячей спичкой и бросил ее в пепельницу на восточном столике возле пуфа, усаживаясь поудобней и глядя с обычным неумеренным восхищением на ее голое колено в разрезе капота:

– Ну, прекрасно, не хочешь слушать, не надо... Программа нынешнего вечера: хочешь поехать в Купеческий сад? Там нынче какая-то «Японская ночь» – знаешь, эти фонарики, на эстраде гейши, «за красу я получила первый приз...»

Она покачала головой:

– Никаких программ. Я нынче сижу дома.

– Как хочешь. И это не плохо.

Она повела глазами по комнате:

– Милый мой, это наше последнее свидание.

Он весело изумился:

– То есть как это последнее?

– А так.

У него еще веселей заиграли глаза:

– Позволь, позволь, это забавно!

– Я ничуть не забавляюсь.

– Прекрасно. Но все-таки интересно знать, что сей сон значит? Яка така удруг закавыка, как говорит наш вахмистр?

– Как говорят вахмистры, меня мало интересует. И я, по правде сказать, не совсем понимаю, чего ты веселишься.

– Веселюсь, как всегда, когда тебя вижу.

– Это очень мило, но на этот раз не совсем кстати.

– Однако, черт возьми, я все-таки ничего не понимаю! Что случилось?

– Случилось то, о чем я должна была сказать тебе уже давно. Я возвращаюсь к нему. Наш разрыв был ошибкой.

– Мамочки мои! Да ты это серьезно?

– Совершенно серьезно. Я была преступно виновата перед ним. Но он все готов простить, забыть.

– Ка-акое великодушие!

– Не паясничай. Я виделась с ним еще Великим постом...

– То есть тайком от меня и продолжая...

– Что продолжая? Понимаю, но все равно... Я виделась с ним, – и, разумеется, тайком, не желая тебе же причинять страдание, – и тогда же поняла, что никогда не переставала любить его.

Он сощурил глаза, жуя мундштук папиросы:

– То есть его деньги?

– Он не богаче тебя. И что мне ваши деньги! Если б я захотела...

– Прости, так говорят только кокотки.

– А кто ж я, как не кокотка? Разве я на свои, а не на твои деньги живу?

Он пробормотал офицерской скороговоркой:

– При любви деньги не имеют значения.

– Но ведь я люблю его!

– А я, значит, был только временной игрушкой, забавой от скуки и одним из выгодных содeржателей?

– Ты отлично знаешь, что далеко не забавой, не игрушкой. Ну да, я содержанка, и все-таки подло напоминать мне об этом.

– Легче на поворотах! Выбирайте хорошо ваши выражения, как говорят французы!

– Вам тоже советую держаться этого правила. Словом...

Он встал, почувствовал новый прилив той готовности на все, с которой мчался на извозчике, прошелся по комнате, собираясь с мыслями, все еще не веря той нелепости, неожиданности, которая вдруг разбила все его радостные надежды на этот вечер, отшвырнул ногой желтоволосую куклу в красном сарафане, валявшуюся на ковре, сел опять на канапе, в упор глядя на нее.

– Я еще раз спрашиваю: это все не шутки?

Она, закрыв глаза, помахала давно потухшей папиросой.

Он задумался, снова закурил и опять зажевал мундштук, отдельно говоря:

– И что же, ты думаешь, что я так вот и отдам ему вот эти твои руки, ноги, что он будет целовать вот это колено, которое еще вчера целовал я?

Она подняла брови:

– Я ведь все-таки не вещь, мой милый, которую можно отдавать или не отдавать. И по какому праву...

Он поспешно положил папиросу в пепельницу и, согнувшись, вынул из заднего кармана брюк скользкий, маленький, увесистый браунинг, на ладони покачал его:

– Вот мое право.

Она покосилась, скучно усмехнулась:

– Я не любительница мелодрам.

И бесстрастно повысила голос:

– Соня, подайте Павлу Сергеевичу шинель.

– Что-о?

– Ничего. Вы пьяны. Уходите.

– Это ваше последнее слово?

– Последнее.

И поднялась, оправляя разрез на ноге. Он шагнул к ней с радостной решительностью.

– Смотрите, как бы и впрямь не стало оно вашим последним!

– Пьяный актер, – сказала она брезгливо и, поправляя сзади волосы длинными пальцами, пошла из комнаты. Он так крепко схватил ее за обнажившееся предплечье, что она изогнулась и, быстро обернувшись с еще больше раскосившимися глазами, замахнулась на него. Он, ловко уклонившись, с едкой гримасой выстрелил.

В декабре того же года пароход Добровольного флота «Саратов» шел в Индийском океане на Владивосток. Под горячим тентом, натянутом на баке, в неподвижном зное, в горячем полусвете, в блеске зеркальных отражений от воды, сидели и лежали на палубе до пояса голые арестанты с наполовину выбритыми, страшными головами, в штанах из белой парусины, с кольцами кандалов на щиколках босых ног. Как все, до пояса гол был и он худым, коричневым от загара телом. Темнела и у него только половина головы коротко остриженными волосами, красно чернели жестким волосом давно не бритые худые щеки, лихорадочно сверкали глаза. Облокотясь на поручни, он пристально смотрел на горбами летящую глубоко внизу, вдоль высокой стены борта, густо-синюю волну и от времени до времени поплеывал туда.

16 мая 1944

(обратно)  
Ворон\*

Отец мой похож был на ворона. Мне пришло это в голову, когда я был еще мальчиком: увидел однажды в «Ниве» картинку, какую-то скалу и на ней Наполеона с его белым брюшком и лосинами, в черных коротких сапожках, и вдруг засмеялся от радости, вспомнив картинку в «Полярных путешествиях» Богданова, – так похож показался мне Наполеон на пингвина, – а потом грустно подумал: а папа похож на ворона...

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

Отец занимал в нашем губернском городе очень видный служебный пост, и это еще более испортило его; думаю, что даже в том чиновном обществе, к которому принадлежал он, не было человека более тяжелого, более угрюмого, молчаливого, холодно-жесточкого в медлительных словах и поступках. Невысокий, плотный, немного сутулый, грубо-черноволосый, темный, с длинным бритым лицом, большеносый, был он и впрямь совершенный ворон – особенно когда бывал в черном фраке на благотворительных вечерах нашей губернаторши, сутуло и крепко стоял возле какого-нибудь киоска в виде русской избушки, поводил своей большой вороньей головой, косясь блестящими вороньими глазами на танцующих, на подходящих к киоску, да и на ту боярыню, которая с чарующей улыбкой подавала из киоска плоские фужеры желтого дешевого шампанского крупной рукой в бриллиантах, – рослую даму в парче и кокошнике, с носом настолько розово-белым от пудры, что он казался искусственным. Был отец давно вдов, нас, детей, было у него лишь двое, – я да маленькая сестра моя Лиля, – и холодно, пусто блистала своими огромными, зеркально-чистыми комнатами наша просторная казенная квартира во втором этаже одного из казенных домов, выходявших фасадами на бульвар в тополях между собором и главной улицей. К счастью, я больше полугода жил в Москве, учился в Катковском лицее, приезжал домой лишь на святки и летние каникулы. В том году встретило меня, однако, дома нечто совсем неожиданное.

Весной того года я кончил лицей и, приехав из Москвы, просто поражен был: точно солнце засияло вдруг в нашей прежде столь мертвой квартире, – всю ее озаряло присутствие той юной, легконогой, что только что сменила няньку восьмилетней Лили, длинную, плоскую старуху, похожую на средневековую деревянную статую какой-нибудь святой. Бедная девушка, дочь одного из мелких подчиненных отца, была она в те дни бесконечно счастлива тем, что так хорошо устроилась тотчас после гимназии, а потом и моим приездом, появлением в доме сверстника. Но уж до чего была пуглива, как робела при отце за нашими чинными обедами, каждую минуту с тревогой следя за черноглазой, тоже молчаливой, но резкой не только в каждом своем движении, но даже и в молчаливости Лилей, будто постоянно ждавшей чего-то и все как-то вызывающе вертевшей своей черной головкой! Отец за обедами неузнаваем стал: не кидал тяжких взглядов на старика Гурия, в вязаных перчатках подносившего ему кушанья, то и дело что-нибудь говорил, – медлительно, но говорил, – обращаясь, конечно, только к ней, церемонно называя ее по имени-отчеству, – «любезная Елена Николаевна», – даже пытался шутить, усмехаться. А она так смущалась, что отвечала лишь жалкой улыбкой, пятнисто алела тонким и нежным лицом – лицом худенькой белокурой девушки в легкой белой блузке с темными от горячего юного пота подмышками, под которой едва означались маленькие груди. На меня она за обедом и глаз поднять не смела: тут я был для нее еще страшнее отца. Но чем больше старалась она не видеть меня, тем холоднее косился отец в мою сторону: не только он, но и я понимал, чувствовал, что за этим мучительным старанием не видеть меня, а слушать отца и следить за злой, непоседливой, хотя и молчаливой Лилей, скрыт был совсем иной страх, – радостный страх нашего общего счастья быть возле друг друга. По вечерам отец всегда пил чай среди своих занятий, и прежде ему подавали его большую чашку с золотыми краями на письменный стол в кабинете; теперь он пил чай с нами, в столовой, и за самоваром сидела она – Лиля в этот час уже спала. Он выходил из кабинета в длинной и широкой тужурке на красной подкладке, усаживался в свое кресло и протягивал ей свою чашку. Она наливала ее до краев, как он любил, передавала ему дрожащей рукой, наливала мне и себе и, опустив ресницы, занималась каким-нибудь рукоделием, а он не спеша говорил – нечто очень странное:

– Белокурый, любезная Елена Николаевна, идет или черное, или пунсовое... Вот бы весьма шло к вашему лицу платье черного атласу с зубчатым, стоячим воротом а ля Мария Стюарт, унизанным мелкими брильянтами... или средневековое платье пунсового бархату с небольшим декольте и рубиновым крестиком... Шубка темно-синего лионского бархату и венецианский берет тоже пошли бы к вам... Все это, конечно, мечты, – говорил он, усмехаясь. – Ваш отец получает у нас всего семьдесят пять рублей месячных, а детей у него, кроме вас, еще пять человек, мал мала меньше, – значит, вам скорей всего придется всю жизнь прожить в бедности. Но и то сказать: какая же беда в мечтах? Они оживляют, дают силы, надежды. А потом, разве не бывает так, что некоторые мечты вдруг сбываются?.. Редко, разумеется, весьма редко, а сбываются... Ведь вот выиграл же недавно по выигрышному билету повар на вокзале в Курске двести тысяч, – простой повар!

Она пыталась делать вид, что принимает все это за милые шутки, заставляла себя взглядывать на него, улыбаться, а я, будто и не слыша ничего, раскладывал пасьянс «Наполеон». Он же пошел однажды еще дальше, – вдруг молвил, кивнув в мою

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
сторону:

– Вот этот молодой человек тоже, верно, мечтает: мол, помрет в некий срок папенька и будут у него куры не клевать золота! А куры-то и впрямь не будут клевать, потому что клевать будет нечего. У папеньки, разумеется, кое-что есть, – например, именье в тысячу десятин чернозему в Самарской губернии, – только навряд оно сынку достанется, не очень-то он папеньку своей любовью жалует, и, насколько понимаю, выйдет из него мот первой степени...

Был этот последний разговор вечером под Петров день, – очень мне памятный. Утром того дня отец уехал в собор, из собора – на завтрак к имениннику-губернатору. Он и без того никогда не завтракал в будни дома, так что и в тот день мы завтракали втроем, и под конец завтрака Лиля, когда подали вместо ее любимых хворостиков вишневый кисель, стала пронзительно кричать на Гурия, стуча кулачками по столу, сошвырнула на пол тарелку, затрясла головой, захлебнулась от злых рыданий. Мы кое-как дотащили ее в ее комнату, – она брыкалась, кусала нам руки, – умолили ее успокоиться, наобещали жестоко наказать повара, и она стихла наконец и заснула. Сколько трепетной нежности было для нас даже в одном этом – в совместных усилиях тащить ее, то и дело касаясь рук друг друга! На дворе шумел дождь, в темнеющих комнатах сверкала иногда молния и содрогались стекла от грома.

– Это на нее так гроза подействовала, – радостно сказала она шепотом, когда мы вышли в коридор, и вдруг насторожилась:

– О, где-то пожар!

Мы пробежали в столовую, распахнули окно – мимо пас, вдоль бульвара, с грохотом неслась пожарная команда. На тополи лился быстрый ливень, – гроза уже прошла, точно он потушил ее, – в грохоте длинных несущихся дрог с медными касками стоящих на них пожарных, со шлангами и лестницами, в звоне поддужных колокольцов над гривами черных битюгов, с треском подков мчавших галопом эти дроги по булыжной мостовой, нежно, бесовски игриво, предостерегающе пел рожок горниста... Потом часто, часто забил набат на колокольне Ивана Воина на Лавах... Мы рядом, близко друг к другу, стояли у окна, в которое свежо пахло водой и городской мокрой пылью, и, казалось, только смотрели и слушали с пристальным волнением. Потом мелькнули последние дроги с каким-то громадным красным баком на них, сердце у меня забило сильнее, лоб стянуло – я взял ее безжизненно висевшую вдоль бедра руку, умоляюще глядя ей в щеку, и она стала бледнеть, приоткрыла губы, подняла вздохом грудь и тоже как бы умоляюще повернула ко мне светлые, полные слез глаза, а я охватил ее плечо и впервые в жизни сомлел в нежном холоде девичьих губ... Не было после того ни единого дня без наших ежечасных, будто бы случайных встреч то в гостиной, то в зале, то в коридоре, даже в кабинете отца, приезжавшего домой только к вечеру, – этих коротких встреч и отчаянно долгих, ненасытных и уже нестерпимых в своей неразрешимости поцелуев. И отец, что-то чуя, опять перестал выходить к вечернему чаю в столовую, стал опять молчалив и угрюм. Но мы уже не обращали на него внимания, и она стала спокойнее и серьезнее за обедами.

В начале июля Лилия заболела, объевшись малиной, лежала, медленно поправляясь, в своей комнате и все рисовала цветными карандашами на больших листах бумаги, припиленных к доске, какие-то сказочные города, а она поневоле не отходила от ее кровати, сидела и вышивала себе малороссийскую рубашечку, – отойти было нельзя: Лилия поминутно что-нибудь требовала. А я погибал в пустом, тихом доме от непрерывного, мучительного желания видеть, целовать и прижимать к себе ее, сидел в кабинете отца, что попало беря из его библиотечных шкапов и силясь читать. Так сидел я и в тот раз, уже перед вечером. И вот вдруг послышались ее легкие и быстрые шаги. Я бросил книгу и вскочил:

– Что, заснула?

Она махнула рукой.

– Ах, нет! Ты не знаешь – она может по двое суток не спать и ей все ничего, как всем сумасшедшим! Прогнала меня искать у отца какие-то желтые и оранжевые карандаши...

И, заплакав, подошла, и уронила мне на грудь голову:

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
– Боже мой, когда же это кончится! Скажи же наконец ему, что ты любишь меня, что все равно ничто в мире не разлучит нас!

И, подняв мокрое от слез лицо, порывисто обняла меня, задохнулась в поцелуе. Я прижал ее всю к себе, потянул к дивану, – мог ли я что-нибудь соображать, помнить в ту минуту? Но на пороге кабинета уже слышалось легкое покашливание: я взглянул через ее плечо – отец стоял и глядел на нас. Потом повернулся и, горбясь, удалился.

К обеду никто из нас не вышел. Вечером ко мне постучался Гурий: «Папаша просят вас пожаловать к ним». Я вошел в кабинет. Он сидел в кресле перед письменным столом и, не оборачиваясь, стал говорить:

– Завтра ты на все лето уедешь в мою самарскую деревню. Осенью ступай в Москву или Петербург искать себе службу. Если осмелишься ослушаться, навеки лишу тебя наследства. Но мало того: завтра же попрошу губернатора немедленно выслать тебя в деревню по этапу. Теперь ступай и больше на глаза мне не показывайся. Деньги на проезд и некоторые карманные получишь завтра утром через человека. К осени напишу в деревенскую контору мою, дабы тебе выдали некоторую сумму на первое прожитие в столицах. Видеть ее до отъезда никак не надейся. Все, любезный мой. Иди.

В ту же ночь я уехал в Ярославскую губернию, в деревню к одному из моих лицейских товарищей, прожил у него до осени. Осенью, по протекции его отца, поступил в Петербург в министерство иностранных дел и написал отцу, что навсегда отказываюсь не только от его наследства, но и от всякой помощи. Зимой узнал, что он, оставив службу, тоже переехал в Петербург – «с прелестной молоденькой женой», как сказали мне. И, входя однажды вечером в партер в Мариинском театре за несколько минут до поднятия занавеса, вдруг увидел и его и ее. Они сидели в ложе возле сцены, у самого барьера, на котором лежал маленький перламутровый бинокль. Он, во фраке, сутулясь, вороном, внимательно читал, прищулив один глаз, программу. Она, держась легко и стройно, в высокой прическе белокурых волос, оживленно озиралась кругом – на теплый, сверкающий люстрами, мягко шумящий, наполняющийся партер, на вечерние платья, фраки и мундиры входящих в ложи. На шейке у нее темным огнем сверкал рубиновый крестик, тонкие, но уже округлившиеся руки были обнажены, род пеплума из пунцового бархата был схвачен на левом плече рубиновым аграфом...

18 мая 1944

(обратно)  
Камаг\*

Она вошла на маленькой станции между Марселем и Арлем, прошла по вагону, извиваясь всем своим цыганско-испанским телом, села у окна на одноместную скамью и, будто никого не видя, стала шелушить и грызть жареные фисташки, от времени до времени поднимая подол верхней черной юбки и запуская руку в карман нижней, заношенной белой. Вагон, полный простым народом, состоял не из купе, разделен был только скамьями, и многие, сидевшие лицом к ней, то и дело пристально смотрели на нее.

Губы ее, двигавшиеся над белыми зубами, были сизы, синеватый пушок на верхней губе сгущался над углами рта. Тонкое, смугло-темное лицо, озаряемое блеском зубов, было древне-дико. Глаза, долгие, золотисто-карие, полуприкрытые смугло-коричневыми веками, глядели как-то внутрь себя – с тусклой первобытной истомой. Из-под жесткого шелка смольных волос, разделенных на прямой пробор и вьющимися локонами падавших на низкий лоб, поблескивали вдоль круглой шейки длинные серебряные серьги. Выцветший голубой платок, лежавший на покатых плечах, был красиво завязан на груди. Руки, сухие, индусские, с мумийными пальцами и более светлыми ногтями, все шелушили и шелушили фисташки с обезьяньей быстротой и ловкостью. Кончив их и стряхнув шелуху с кален, она прикрыла глаза, положила ногу на ногу и откинулась к спинке скамьи. Под сборчатой черной юбкой, особенно женственно выделявшей перехват ее гибкой талии, кострецы выступали твердыми бугорками плавных очертаний. Худая, голая, блестящая тонкой загорелой кожей ступня была обута в черный тряпичный чувяк и переплетена разноцветными лентами, – синими и красными...

Под Арлем она вышла.

– C'est une samaritaine, [21] – почему-то очень грустно сказал, проводив ее глазами, мой сосед, измученный ее красотой, мощный, как бык, провансалец, с черным в кровяных жилках румянцем.

23 мая 1944

(обратно)  
Сто рупий\*

Я увидел ее однажды утром во дворе той гостиницы, того старинного голландского дома в кокосовых лесах на берегу океана, где я проживал в те дни. И потом видел ее там каждое утро. Она полулежала в камышовом кресле, в легкой, жаркой тени, падавшей от дома, в двух шагах от веранды. Высокий, желтолицый, мучительно-узкоглазый малаец, одетый в белую парусиновую куртку и такие же панталоны, приносил ей, шурша босыми ногами по гравии, и ставил на столик возле кресла поднос с чашкой золотого чаю, что-то почтительно говорил ей, не шевеля сухими, стянутыми в дыру губами, кланялся и удалялся; а она полулежала и медленно помахивала соломенным веером, мерно мерцая черным бархатом своих удивительных ресниц... К какому роду земных созданий можно было отнести ее?

Ее тропически крепкое маленькое тело, его кофейная нагота была открыта на груди, на плечах, на руках и на ногах до колен, а стан и бедра как-то повиты яркой зеленой тканью. Маленькие ступни с красными ногтями пальцев выглядывали между красными ремнями лакированных сандалий желтого дерева. Дегтярные волосы, высоко поднятые прической, странно не соответствовали своей грубостью нежности ее детского лица. В мочках маленьких ушей покачивались золотые дутые кольца. И неправдоподобно огромны и великолепны были черные ресницы – подобие тех райских бабочек, что так волшебным мерцают на райских индийских цветах... Красота, ум, глупость – все эти слова никак не шли к ней, как не шло все человеческое: поистине, была она как бы с какой-то другой планеты. Единственное, что шло к ней, была бессловесность. И она полулежала и молчала, мерно мерцая черным бархатом своих ресниц-бабочек, медленно помахивая веером...

Раз утром, когда во двор гостиницы вбежал рикша, на котором я обычно ездил в город, малаец встретил меня на ступеньках веранды и, поклонившись, тихо сказал по-английски:

– Сто рупий, сэр.

24 мая 1944

(обратно)  
Месть\*

В пансионе в Каннах, куда я приехал в конце августа с намерением купаться в море и писать с природы, эта странная женщина пила по утрам кофе и обедала за отдельным столиком с неизменно сосредоточенным, мрачным видом, точно никого и ничего не видя, а после кофе куда-то уходила почти до вечера. Я жил в пансионе уже с неделю и все еще с интересом посматривал на нее: черные густые волосы, крупная черная коса, обвивающая голову, сильное тело в красном с черными цветами платье из кретона, красивое, грубоватое лицо – и этот мрачный взгляд... Подавала нам эльзаска, девочка лет пятнадцати, но с большими грудями и широким задом, очень полная удивительно нежной и свежей полнотой, на редкость глупая и милая, на каждое слово расцветавшая испугом и улыбкой; и вот, встретив ее однажды в коридоре, я спросил:

– Dites, Odette, qui est cette dame?

Она, с готовностью и к испугу и к улыбке, вскинула на меня маслянисто-голубые глаза:

– Quelle dame, monsieur?

– Mais la dame brune, là-bas?

– Quelle table, monsieur?

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
– Numero dix.

– C'est une russe, monsieur.

– Et puis?

– Je n'en sais rien, monsieur.

– Est-elle chez vous depuis longtemps?

– Depuis trois semaines, monsieur.

– Toujours seule?

– Non, monsieur. Il y avait un monsieur...

– Jeune, sportif?

– Non, monsieur... Tres pensif, nerveux...

– Et il a disparu un jour?

– Mais oui, monsieur...[22]

«Так, так! – подумал я. – Теперь кое-что понятно. Но куда это исчезает она по утрам? Все его ищет?»

На другой день, вскоре после кофе, я, как всегда, услышал в открытое окно своей комнаты хруст гальки в садике пансиона, выглянул: она, с раскрытой, как всегда, головой, под зонтиком того же цвета, что и платье, куда-то уходила скорым шагом в красных эспадрильях. Я схватил трость, канотье и поспешил за ней. Она из нашего переулка повернула на бульвар Карно, – я тоже повернул, надеясь, что она в своей постоянной сосредоточенности не обернется и не почувствует меня. И точно – она ни разу не обернулась до самого вокзала. Не обернулась и на вокзале, входя в купе третьеклассного вагона. Поезд шел в Тулон, я на всякий случай взял билет до Сен-Рафаэля, поднялся в соседнее купе. Ехала она, очевидно, недалеко, но куда? Я высовывался в окно в Напуле, в Тэуле... Наконец, высунувшись на минутной остановке в Трэйясе, увидал, что она идет уже к выходу со станции. Я выскочил из вагона и опять пошел за ней, держась, однако, в некотором отдалении. Тут пришлось идти долго – и по извивам шоссе вдоль обрывов над морем, и по крутым каменистым тропинкам сквозь мелкий сосновый лес, по которым она сокращала путь к берегу, к заливчикам, изрезающим берег в этой скалистой, покрытой лесом и пустынной местности, этот скат прибрежных гор. Близился полдень, было жарко, воздух неподвижен и густ от запаха горячей хвои, нигде ни души, ни звука, – только пилили, скрежетали цикады, – открытое к югу море сверкало, прыгало крупными серебряными звездами... Наконец она сбегала по тропинке к зеленому заливчику между сангвиновыми утесами, бросила зонтик на песок, быстро разулась, – была на босу ногу, – и стала раздеваться. Я лег на каменистый отвес, под которым она растегивала свое мрачно-цветистое платье, глядел и думал, что, верно, и купальный костюм у нее такой же зловещий. Но никакого костюма под платьем не оказалось, – была одна короткая розовая сорочка. Скинув и сорочку, она, вся коричневая от загара, сильная, крепкая, пошла по гольшам к светлой, прозрачной воде, напрягая красивые щиколки, подергивая крутыми половинками зада, блестя загаром бедер. У воды она постояла, – должно быть, щурясь от ее ослепительности, – потом зашумела в ней ногами, присела, окунулась до плеч и, повернувшись, легла на живот, потянулась, раскинув ноги, к песчаному побережью, положила на него локти и черную голову. Вдали широко и свободно трепетала колючим серебром равнина моря, замкнутый заливчик и весь его скалистый уют, все жарче пекло солнце, и такая тишина стояла в этой знойной пустыне скал и мелко-южного леса, что слышно было, как иногда набегала на тело, ничком лежащее подо мной, и сбегала с его сверкающей спины, раздвоенного зада и крупных раздвинутых ног сеть мелкой стеклянной зыби. Я, лежа и выглядывая из-за камней, все больше тревожился видом этой великолепной наготы, все больше забывал нелепость и дерзость своего поступка, приподнялся, закуривая от волнения трубку, – и вдруг она тоже подняла голову и вопросительно уставилась на меня снизу вверх, продолжая, однако, лежать, как лежала. Я встал, не зная, что делать, что сказать. Она заговорила первая:

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

– Я всю дорогу слышала, что сзади меня кто-то идет. Почему вы поехали за мной?

Я решил ответить без обиняков:

– Простите, из любопытства...

Она перебила меня:

– Да, вы, очевидно, любознательны. Odette мне сказала, что вы расспрашивали ее обо мне, я случайно слышала, что вы русский, и потому не удивилась – все русские не в меру любознательны. Но почему все-таки вы поехали за мной?

– В силу все той же любознательности, – в частности, и профессиональной.

– Да, знаю, вы живописец.

– Да, а вы живописны. Кроме того, вы каждый день куда-то уходили по утрам, и это меня интриговало, – куда, зачем? – пропускали завтраки, что не часто случается с жильцами пансионов, да и вид у вас был всегда не совсем обычный, на чем-то сосредоточенный. Держитесь вы одиноко, молчаливо, что-то как будто таите в себе... Ну, а почему я не ушел, как только вы стали раздеваться...

– Ну, это-то понятно, – сказала она.

И, помолчав, прибавила:

– Я сейчас выйду. Отвернитесь на минуту и потом идите сюда. Вы меня тоже заинтересовали.

– Ни за что не отвернусь, – ответил я. – Я художник, и мы не дети.

Она пожала плечом:

– Ну, хорошо, мне все равно...

И встала во весь рост, показывая всю себя спереди во всей своей женской силе, не спеша пробралась по гальке, накинула на голову свою розовую сорочку, потом открыла в ней свое серьезное лицо, опустила ее на мокрое тело. Я сбежал к ней, и мы сели рядом.

– Кроме трубки, у вас есть, может быть, и папиросы? – спросила она.

– Есть.

– Дайте мне.

Я дал, зажег спичку.

– Спасибо.

И, затягиваясь, она стала глядеть вдаль, пошевеливая пальцами ноги, не оборачиваясь; иронически сказала вдруг:

– Так я еще могу нравиться?

– Еще бы! – воскликнул я. – Прекрасное тело, чудесные волосы, глаза... Только очень уж недоброе выражение лица.

– Это потому, что я, правда, занята одной злой мыслью.

– Я так и думал. Вы с кем-то недавно расстались, кто-то вас оставил...

– Не оставил, а бросил. Сбежал от меня. Я знала, что он пропащий человек, но я его как-то любила. Оказалось, что любила просто негодяя. Встретилась я с ним месяца полтора тому назад в Монте-Карло. Играла в тот вечер в казино. Он стоял рядом, тоже играл, следил сумасшедшими глазами за шариком и все выигрывал, выиграл раз, два, три, четыре... Я тоже все выигрывала, он это видел и вдруг сказал:

«Шабаш! Assez!» – и повернулся ко мне: «N'est-ce pas, madame?»[23] Я, смеясь, ответила: «Да, шабаш!» – «Ах, вы русская?» – «Как видите». – «Тогда идем кутить!» Я посмотрела – очень потрепанный, но изящный с виду человек... Остальное нетрудно угадать.

– Да, нетрудно. Почувствовали себя за ужином близкими, говорили без конца, удивились, когда настал час расставаться...

– Совершенно верно. И не расстались и начали проматывать выигранное. Жили в Монте-Карло, в Тюрби, в Ницце, завтракали и обедали в кабаках на дороге между Каннами и Ниццей – вы, верно, знаете, что это стоит! – жили одно время даже в отеле на Cap d'Antibes, притворяясь богатыми людьми... А денег оставалось все меньше, поездки в Монте-Карло на последние гроши кончались крахом... Он стал куда-то исчезать и возвращаться опять с деньгами, хотя привозил пустяки – франков сто, пятьдесят... Потом где-то продал мои серьги, обручальное кольцо, – я была когда-то замужем, – золотой нателный крест...

– И, конечно, уверял, что вот-вот откуда-то получит какой-то большой долг, что у него есть знатные и состоятельные друзья и знакомые.

– Да, именно так. Кто он, я точно и теперь не знаю, он избегал говорить подробно и ясно о своей прошлой жизни, и я как-то невнимательно относилась к этому. Ну, обычное прошлое многих эмигрантов: Петербург, служба в блестящем полку, потом война, революция, Константинополь... В Париже, благодаря прежним связям, будто бы устраивался и всегда может устроиться очень недурно, а пока – Монте-Карло или же постоянная возможность, как он говорил, перехватить в Ницце у каких-то титулованных друзей... Я уже падала духом, приходила в отчаяние, но он только усмехался: «Будь спокойна, положишься на меня, я уж сделал некоторые серьезные демарши в Париже, а какие именно, это, как говорится, не женского ума дело...»

– Так, так...

– Что так?

И она вдруг обернулась ко мне, сверкнув глазами, далеко швырнув потухшую папиросу.

– Вас все это потешает?

Я схватил и сжал ее руку:

– Как вам не стыдно! Вот я напишу вас Медузой или Немезидой!

– Это богиня мести?

– Да, и очень злая.

Она печально усмехнулась:

– Немезида! Уж какая там Немезида! Нет, вы хороший... Дайте еще папиросу. Выучил курить... Всему выучил!

И, закурив, опять стала смотреть вдаль.

– Я забыл вам сказать еще то, как я был удивлен, когда увидел, куда вы ездите купаться, – целое путешествие каждый день и с какой целью? Теперь понимаю: ищете одиночества.

– Да...

Солнечный жар тек все гуще, цикады на горячих, пахучих соснах пилили, скрежетали все настойчивее, яростней, – я чувствовал, как должны быть накалены ее черные волосы, открытые плечи, ноги, и сказал:

– Перейдем в тень, уж очень жжет, и доскажите мне вашу печальную историю.

Она очнулась:

– Перейдем...

И мы обошли полукруг заливчика и сели в светлой и знойной тени под красными утесами. Я опять взял ее руку и оставил в своей. Она не заметила этого.

– Что ж тут досказывать? – сказала она. – Мне уж как-то расхотелось вспоминать всю эту действительно очень печальную и постыдную историю. Вы, вероятно, думаете, что я привычная содержанка то одного, то другого мошенника. Ничего подобного. Прошое мое тоже самое обыкновенное. Муж был в Добровольческой армии, сперва у Деникина, потом у Врангеля, а когда мы докатились до Парижа, стал, конечно, шофером, но начал спиваться и спился до того, что потерял работу и превратился в настоящего босняка. Продолжать жить с ним я уже никак не могла. Видела его последний раз на Монпарнасе, у дверей «Доминика», – знаете, конечно, этот русский кабачок? Ночь, дождь, а он в опорках, топчется в лужах, подбегает, согнувшись, к прохожим, протягивает руку за подачкой, неловко помогает, лучше сказать, мешает вылезать из такси подъезжающим... Я постояла, посмотрела на него, подошла к нему. Узнал, испугался, сконфузился, – вы не можете себе представить, какой это прекрасный, добрый, деликатный человек! – стоит, растерянно смотрит на меня: «Маша, ты?» Маленький, оборванный, небритый, весь зарос рыжей щетиной, мокрый, дрожит от холода... Я дала ему все, что было у меня в сумочке, он схватил мою руку мокрой, ледяной ручкой, стал целовать ее и трястись от слез. Но что же я могла сделать? Только посылать ему раза два, три в месяц по сто, по двести франков, – у меня в Париже шляпная мастерская, и я довольно прилично зарабатываю. А сюда я приехала отдохнуть, покупаться – и вот... На днях уеду в Париж. Встретиться с ним, дать ему пощечину и тому подобное – очень глупая мечта, и знаете, когда я поняла это уж как следует? Вот только сейчас, благодаря вам. Стала рассказывать и поняла...

– Но все-таки как же он сбежал?

– Ах, в том-то и дело, что уж очень подло. Поселились мы в этом самом пансиончике, где мы с вами оказались соседями, – это после отеля-то на *Cap d'Antibes*! – и пошли однажды вечером, всего дней десять тому назад, пить чай в казино. Ну, конечно, музыка, несколько танцующих пар, – я уж больше просто видеть не могла без отвращения всего этого, нагляделась достаточно! – однако сию, ем пирожные, которые он заказывает для меня и для себя и все как-то странно смеется, – посмотри, посмотри, говорит про музыкантов, настоящие обезьяны, как топают и кривляются! Потом открывает пустой портсигар, зовет шассера, приказывает ему принести английских папирос, тот приносит, он рассеянно говорит мерси, я вам заплачу после чая, глядит на свои ногти и обращается ко мне: «Ужас какие руки! Пойду помою...» Встает и уходит...

– И больше не возвращается.

– Да. А я сию и жду. Жду десять минут, двадцать, полчаса, час... Представляете вы это себе?

– Представляю...

Я очень ясно представил себе: сидят за чайным столиком, смотрят, молчат, по-разному думают о своем мерзком положении... За стеклами больших окон вечернее небо и глянец, штиль моря, висят темнеющие ветви пальм, музыканты, как неживые, топают ногами в пол, дуют в инструменты, бьют в металлические тарелки, мужчины, шаркая и качаясь в лад им, напиваются на своих дам, будто таща их к явно определенной цели... Малый в крагах и в некотором подобии зеленого мундира подает ему, почтительно сняв картуз, пачку «*high-Life*»...

– Ну и что же? Вы сидите...

– Я сию и чувствую, что погибаю. Музыканты ушли, зал опустел, зажегся электрический свет...

– Посинели окна...

– Да, а я все не могу подняться с места: что делать, как спастись? В сумочке у меня всего шесть франков и какая-то мелочь!

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

– А он действительно пошел в уборную, сделал там что нужно, думая о своей мошеннической жизни, потом застегнулся и на цыпочках пробежал по коридорам к другому выходу, выскочил на улицу... Побойтесь Бога, подумайте, кого вы любили! Искать его, мстить ему? За что? Вы не девочка, должны были видеть, кто он и в какое положение вы попали. Почему же продолжали эту ужасную во всех смыслах жизнь?

Она помолчала, повела плечом:

– Кого я любила? не знаю. Была, как говорится, потребность любви, которой я по-настоящему никогда не испытала... Как мужчина, он мне ничего не давал и не мог дать, уже давно потерял мужские способности... Должна была видеть, кто он и в какое положение попала? Конечно, должна, да не хотелось видеть, думать – в первый раз в жизни жила такой жизнью, этим порочным праздником, всеми его удовольствиями, жила в каком-то наваждении. Зачем хотела где-то встретить его и как-то отомстить ему? Опять наваждение, навязчивая идея. Разве я не чувствовала, что, кроме гадкого и жалкого скандала, я ничего не могла сделать? Но вы говорите: за что? А вот за то, что это все-таки благодаря ему я так низко пала, жила этой мошеннической жизнью, а главное, за тот ужас, позор, который я пережила в тот вечер в казино, когда он сбежал из клозета! Когда я, вне себя, что-то лгала в кассе казино, вывертывалась, умоляла взять у меня в залог до завтра сумочку – и когда ее не взяли и презрительно простили мне и чай, и пирожные, и английские папиросы! Послала телеграмму в Париж, получила на третий день тысячу франков, пошла в казино – там, не глядя на меня, взяли деньги, даже счетик дали... Ах, милый, никакая я не Медуза, я просто баба и к тому же очень чувствительная, одинокая, несчастная, но поймите же меня – ведь и у курицы есть сердце! Я просто больна была все эти дни с того проклятого вечера. И просто сам Бог послал мне вас, я как-то вдруг пришла в себя... Пустите мою руку, пора одеваться, скоро поезд из Сен-Рафаэля...

– Бог с ним, – сказал я. – Посмотрите лучше кругом на эти красные скалы, зеленый заливчик, корявые сосны, послушайте этот райский скрежет... Ездить сюда мы теперь будем уж вместе. Правда?

– Правда.

– Вместе и в Париж уедем.

– Да.

– А что дальше, не стоит загадывать.

– Да, да.

– Можно поцеловать руку?

– Можно, можно...

13 июня 1944

(обратно)

Качели\*

В летний вечер сидел в гостиной, брэнча на фортепьяно, услышал на балконе ее шаги, дико ударил по клавишам и не в лад закричал, запел:

Не завидую богам,  
Не завидую царям,  
Как увижу очи томны,  
Стройный стан и косы темны!  
Вошла в синем сарафане, с двумя длинными темными косами на спине, в коралловом ожерелье, усмехаясь синими глазами на загорелом лице:

– Это все про меня? И ария собственной композиции?

– Да!

И опять ударил и закричал:

Не завидую богам,  
– Ну и слух же у вас!

– Зато я знаменитый живописец. И красив, как Леонид Андреев. На беду вашу заехал я к вам!

– Он пугает, а мне не страшно, сказал Толстой про вашего Андреева.

– Посмотрим, посмотрим!

– А дедушкин костыль?

– Дедушка хоть и севастиопольский герой, только с виду грозен. Убежим, повенчаемся, потом кинемся ему в ноги – заплачет и простит...

В сумерки, перед ужином, когда в поварской жарили пахучие битки с луком и в росистом парке свежело, носились, стоя друг против друга, на качелях в конце аллеи, визжа кольцами, дую ветром, развевавшим ее подол. Он, натягивая веревки и поддавая взмах доски, делал страшные глаза, она, раскрасневшись, смотрела пристально, бессмысленно и радостно.

– Ау! А вон первая звезда и молодой месяц и небо над озером зеленое-зеленое – живописец, посмотрите, какой тонкий серпик! Месяц, месяц, золотые рога... Ой, мы сорвемся!

Слетев с высоты и соскочив на землю, сели на доску, сдерживая взволнованное дыхание и глядя друг на друга.

– Ну что? Я говорил!

– Что говорил?

– Вы, уже влюблены в меня.

– Может быть... Пойдите, зовут к ужину... Ау идем, идем!

– Погодите минутку. Первая звезда, молодой месяц, зеленое небо, запах росы, запах из кухни, – верно, опять мои любимые битки в сметане! – и синие глаза и прекрасное счастливое лицо...

– Да, счастливее этого вечера, мне кажется, в моей жизни уже не будет...

– Данте говорил о Беатриче: «В ее глазах – начало любви, а конец – в устах». И так? – сказал он, беря ее руку.

Она закрыла глаза, клонясь к нему опущенной головой. Он обнял ее плечи с мягкими косами, поднял ее лицо.

– Конец в устах?

– Да...

Когда шли по аллее, он смотрел себе под ноги:

– Что ж нам теперь делать? Идти к дедушке и, упав на колени, просить его благословения? Но какой же я муж?

– Нет, нет, только не это.

– А что же?

– Не знаю. Пусть будет только то, что есть... Лучше уж не будет.

10 апреля 1945

(обратно)  
Чистый понедельник\*

Темнел московский серый зимний день, холодно зажигался газ в фонарях, тепло освещались витрины магазинов – и разгоралась вечерняя, освобождающаяся от дневных дел московская жизнь: гуще и бодрей неслись извозчицьи санки, тяжелей гремели переполненные, ныряющие трамваи, – в сумраке уже видно было, как с шипением сыпались с проводов зеленые звезды, – оживленнее спешили по снежным тротуарам мутно чернеющие прохожие... Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающемся рысаке мой кучер – от Красных ворот к храму Христа Спасителя: она жила против него; каждый вечер я возил ее обедать в «Прагу», в «Эрмитаж», в «Метрополь», после обеда в театры, на концерты, а там к «Яру», в «Стрельну»... Чем все это должно кончиться, я не знал и старался не думать, не додумывать: было бесполезно – так же, как и говорить с ней об этом: она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем; она была загадочна, непонятна для меня, странны были и наши с ней отношения, – совсем близки мы все еще не были; и все это без конца держало меня в неразрешающемся напряжении, в мучительном ожидании – и вместе с тем был я несказанно счастлив каждым часом, проведенным возле нее.

Она зачем-то училась на курсах, довольно редко посещала их, но посещала. Я как-то спросил: «Зачем?» Она пожалала плечом: «А зачем все делается на свете? Разве мы понимаем что-нибудь в наших поступках? Кроме того, меня интересует история...» Жила она одна, – вдовый отец ее, просвещенный человек знатного купеческого рода, жил на покое в Твери, что-то, как все такие купцы, собирал. В доме против храма Спасителя она снимала ради вида на Москву угловую квартиру на пятом этаже, всего две комнаты, но просторные и хорошо обставленные. В первой много места занимал широкий турецкий диван, стояло дорогое пианино, на котором она все разучивала медленное, сомнамбулически прекрасное начало «Лунной сонаты», – только одно начало, – на пианино и на подзеркальнике цвели в граненых вазах нарядные цветы, – по моему приказу ей доставляли каждую субботу свежие, – и когда я приезжал к ней в субботний вечер, она, лежа на диване, над которым зачем-то висел портрет босого Толстого, не спеша протягивала мне для поцелуя руку и рассеянно говорила: «Спасибо за цветы...» Я привозил ей коробки шоколаду, новые книги – Гофманстала, Шницлера, Тетмайера, Пшибышевского, – и получал все то же «спасибо» и протянутую теплую руку, иногда приказание сесть возле дивана, не снимая пальто. «Непонятно, почему, – говорила она в раздумье, глядя мой бровровый воротник, – но, кажется, ничего не может быть лучше запаха зимнего воздуха, с которым приходишь со двора в комнату...» Похоже было на то, что ей ничто не нужно: ни цветы, ни книги, ни обеды, ни театры, ни ужины за городом, хотя все-таки цветы были у нее любимые и нелюбимые, все книги, какие я ей привозил, она всегда прочитывала, шоколаду съедала за день целую коробку, за обедами и ужинами ела не меньше меня, любила расстегаи с налимьей ухой, розовых рябчиков в крепко прожаренной сметане, иногда говорила: «Не понимаю, как это не надоест людям всю жизнь, каждый день обедать, ужинать», – но сама и обедала и ужинала с московским пониманием дела. Явной слабостью ее была только хорошая одежда, бархат, шелка, дорогой мех...

Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, на концертах нас провожали взглядами. Я, будучи родом из Пензенской губернии, был в ту пору красив почему-то южной, горячей красотой, был даже «неприлично красив», как сказал мне однажды один знаменитый актер, чудовищно толстый человек, великий обжора и умница. «Черт вас знает, кто вы, сицилианец какой-то», – сказал он сонно; и характер был у меня южный, живой, постоянно готовый к счастливой улыбке, к доброй шутке. А у нее красота была какая-то индийская, персидская: смугло-янтарное лицо, великолепные и несколько зловещие в своей густой черноте волосы, мягко блестящие, как черный соболий мех, брови, черные, как бархатный уголь, глаза; пленительный бархатисто-пунцовыми губами рот оттенен был темным пушком; выезжая, она чаще всего надевала гранатовое бархатное платье и такие же туфли с золотыми застежками (а на курсы ходила скромной курсисткой, завтракала за тридцать копеек в вегетарианской столовой на Арбате); и насколько я был склонен к болтливости, к простосердечной веселости, настолько она была чаще всего молчалива: все что-то думала, все как будто во что-то мысленно вникала; лежа на диване с книгой в руках, часто опускала ее и вопросительно глядела перед собой: я это видел, заезжая иногда к ней и днем, потому что каждый месяц она дня три-четыре совсем не выходила и не выезжала из дому, лежала и читала, заставляя и меня сесть в кресло возле дивана и молча читать.

– Вы ужасно болтливы и непоседливы, – говорила она, – дайте мне дочитать главу...

– Если бы я не был болтлив и непоседлив, я никогда, может быть, не узнал бы вас,  
Страница 244

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

– отвечал я, напоминая ей этим наше знакомство: как-то в декабре, попав в Художественный кружок на лекцию Андрея Белого, который пел ее, бегая и танцуя на эстраде, я так вертелся и хохотал, что она, случайно оказавшаяся в кресле рядом со мной и сперва с некоторым недоумением смотревшая на меня, тоже наконец рассмеялась, и я тотчас весело обратился к ней.

– Все так, – говорила она, – но все-таки помолчите немного, почитайте что-нибудь, покурите...

– Не могу я молчать! Не представляете вы себе всю силу моей любви к вам! Не любите вы меня!

– Представляю. А что до моей любви, то вы хорошо знаете, что, кроме отца и вас, у меня никого нет на свете. Во всяком случае вы у меня первый и последний. Вам этого мало? Но довольно об этом. Читать при вас нельзя, давайте чай пить...

И я вставал, кипятил воду в электрическом чайнике на столике за отвалом дивана, брал из ореховой горки, стоявшей в углу за столиком, чашки, блюдечки, говоря что придет в голову:

– Вы дочитали «Огненного ангела»?

– Досмотрела. До того высокопарно, что совестно читать.

– А отчего вы вчера вдруг ушли с концерта Шаляпина?

– Не в меру разудал был. И потом желтоволосую Русь я вообще не люблю.

– Все-то вам не нравится!

– Да, многое...

«Странная любовь!» – думал я и, пока закипала вода, стоял, смотрел в окна. В комнате пахло цветами, и она соединялась для меня с их запахом; за одним окном низко лежала вдаль огромная картина заречной снежно-сизой Москвы; в другое, левее, была видна часть Кремля, напротив, как-то не в меру близко, белела слишком новая громада Христа Спасителя, в золотом куполе которого синеватыми пятнами отражались галки, вечно вившиеся вокруг него... «Станный город! – говорил я себе, думая об Охотном ряде, об Иверской, о Василии Блаженном. – Василий Блаженный – и Спас-на-Бору, итальянские соборы – и что-то киргизское в острях башен на кремлевских стенах...»

Приезжая в сумерки, я иногда заставал ее на диване только в одном шелковом архалуке, отороченном соболем, – наследство моей астраханской бабушки, сказала она, – сидел возле нее в полутьме, не зажигая огня, и целовал ее руки, ноги, изумительное в своей гладкости тело... И она ничему не противилась, но все молча. Я поминутно искал ее жаркие губы – она давала их, дыша уже порывисто, но все молча. Когда же чувствовала, что я больше не в силах владеть собой, отстраняла меня, садилась и, не повышая голоса, просила зажечь свет, потом уходила в спальню. Я зажигал, садился на вертящийся табуретик возле пианино и постепенно приходил в себя, остывал от горячего дурмана. Через четверть часа она выходила из спальни одетая, готовая к выезду, спокойная и простая, точно ничего и не было перед этим:

– Куда нынче? В «Метрополь», может быть?

И опять весь вечер мы говорили о чем-нибудь постороннем. Вскоре после нашего сближения она сказала мне, когда я заговорил о браке:

– Нет, в жены я не гожусь. Не гожусь, не гожусь...

Это меня не обезнадежило. «Там видно будет!» – сказал я себе в надежде на перемену ее решения со временем и больше не заговаривал о браке. Наша неполная близость казалась мне иногда невыносимой, но и тут – что оставалось мне, кроме надежды на время? Однажды, сидя возле нее в этой вечерней темноте и тишине, я схватился за голову:

– Нет, это выше моих сил! И зачем, почему надо так жестоко мучить меня и себя!

Она промолчала.

– Да, все-таки это не любовь, не любовь...

Она ровно отозвалась из темноты:

– Может быть. Кто же знает, что такое любовь?

– Я, я знаю! – воскликнул я. – И буду ждать, когда и вы узнаете, что такое любовь, счастье!

– Счастье, счастье... «Счастье наше, дружок, как вода в бредне: тянешь – надулось, а вытащишь – ничего нету».

– Это что?

– Это так Платон Каратаев говорил Пьеру.

Я махнул рукой:

– Ах, Бог с ней, с этой восточной мудростью!

И опять весь вечер говорил только о постороннем – о новой постановке Художественного театра, о новом рассказе Андреева... С меня опять было довольно и того, что вот я сперва тесно сижу с ней в летящих и раскатывающихся санках, держа ее в гладком мехе шубки, потом вхожу с ней в людную залу ресторана под марш из «Аиды», ем и пью рядом с ней, слышу ее медленный голос, гляжу на губы, которые целовал час тому назад, – да, целовал, говорил я себе, с восторженной благодарностью глядя на них, на темный пушок над ними, на гранатовый бархат платья, на скат плеч и овал груди, обоняя какой-то слегка пряный запах ее волос, думая: «Москва, Астрахань, Персия, Индия!» В ресторанах за городом, к концу ужина, когда все шумней становилось кругом в табачном дыму, она, тоже куря и хмелея, вела меня иногда в отдельный кабинет, просила позвать цыган, и они входили нарочито шумно, развязно: впереди хора, с гитарой на голубой ленте через плечо, старый цыган в казакине с галунами, с сизой мордой утопленника, с голой, как чугунный шар, головой, за ним цыганка-запевало с низким лбом под дегтярной челкой... Она слушала песни с томной, странной усмешкой... В три, в четыре часа ночи я отвозил ее домой, на подъезде, закрывая от счастья глаза, целовал мокрый мех ее воротника и в каком-то восторженном отчаянии летел к Красным воротам. И завтра и послезавтра будет все то же, думал я, – все та же мука и все то же счастье... Ну что ж – все-таки счастье, великое счастье!

Так прошел январь, февраль, пришла и прошла масленица. В Прощеное воскресенье она приказала мне приехать к ней в пятом часу вечера. Я приехал, и она встретила меня уже одетая, в короткой каракулевой шубке, в каракулевой шляпке, в черных фетровых ботиках.

– Все черное! – сказал я, входя, как всегда, радостно.

Глаза ее были ласковы и тихи.

– Ведь завтра уже Чистый понедельник, – ответила она, вынув из каракулевой муфты и давая мне руку в черной лайковой перчатке. – «Господи владыко живота моего...» Хотите поехать в Новодевичий монастырь?

Я удивился, но поспешил сказать:

– Хочу!

– Что ж все кабаки да кабаки, – прибавила она. – Вот вчера утром я была на Рогожском кладбище...

Я удивился еще больше:

– На кладбище? Зачем? Это знаменитое раскольничье?

– Да, раскольничье. Допетровская Русь! Хоронили архиепископа. И вот представьте

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин себе: гроб – дубовая колода, как в древности, золотая парча будто кованая, лик усопшего закрыт белым «воздухом», шитым крупной черной вязью – красота и ужас. А у гроба диаконы с рипидами и трикириями...

– Откуда вы это знаете? Рипиды, трикирии!

– Это вы меня не знаете.

– Не знал, что вы так религиозны.

– Это не религиозность. Я не знаю что... Но я, например, часто хожу по утрам или по вечерам, когда вы не таскаете меня по ресторанам, в кремлевские соборы, а вы даже и не подозреваете этого... Так вот: диаконы – да какие! Пересвет и Ослябя! И на двух клиросах два хора, тоже все Пересветы: высокие, могучие, в длинных черных кафтанах, поют, переключаясь, – то один хор, то другой, – и все в унисон и не по нотам, а по «крюкам». А могила была внутри выложена блестящими еловыми ветвями, а на дворе мороз, солнце, спит снег... Да нет, вы этого не понимаете! Идем...

Вечер был мирный, солнечный, с инеем на деревьях; на кирпично-красных стенах монастыря болтали в тишине галки, похожие на монашенок, куранты то и дело тонко и грустно играли на колокольне. Скрипя в тишине по снегу, мы вошли в ворота, пошли по снежным дорожкам по кладбищу, – солнце только что село, еще совсем было светло, дивно рисовались на золотой эмали заката серым кораллом сучья в инее, и таинственно теплились вокруг нас спокойными, грустными огоньками неугасимые лампадки, рассеянные над могилами. Я шел за ней, с умилением глядел на ее маленький след, на звездочки, которые оставляли на снегу новые черные ботинки – она вдруг обернулась, почувствовав это:

– Правда, как вы меня любите! – сказала она с тихим недоумением, покачивая головой.

Мы постояли возле могил Эртеля, Чехова. Держа руки в опущенной муфте, она долго глядела на чеховский могильный памятник, потом пожала плечом:

– Какая противная смесь сусального русского стиля и Художественного театра!

Стало темнеть, морозило, мы медленно вышли из ворот, возле которых покорно сидел на козлах мой Федор.

– Поездим еще немножко, – сказала она, – потом поедем есть последние блины к Егорову... Только не шибко, Федор, – правда?

– Слушаю-с.

– Где-то на Ордынке есть дом, где жил Грибоедов. Поедем его искать...

И мы зачем-то поехали на Ордынку, долго ездили по каким-то переулкам в садах, были в Грибосдовском переулке; но кто ж мог указать нам, в каком доме жил Грибоедов, – прохожих не было ни души, да и кому из них мог быть нужен Грибоедов? Уже давно стемнело, розовели за деревьями в инее освещенные окна...

– Тут есть еще Марфо-Мариинская обитель, – сказала она.

Я засмеялся:

– Опять в обитель?

– Нет, это я так...

В нижнем этаже в трактире Егорова в Охотном ряду было полно лохматыми, толсто одетыми извозчиками, резавшими стопки блинов, залитых сверх меры маслом и сметаной, было парно, как в бане. В верхних комнатах, тоже очень теплых, с низкими потолками, старозаветные купцы запивали огненные блины с зернистой икрой замороженным шампанским. Мы прошли во вторую комнату, где в углу, перед черной доской иконы Богородицы Троеручицы, горела лампадка, сели за длинный стол на черный кожаный диван... Пушок на ее верхней губе был в инее, янтарь щек слегка розовел, чернота райка совсем слилась с зрачком, – я не мог отвести восторженных

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
глаз от ее лица. А она говорила, вынимая платочек из душистой муфты:

– Хорошо! Внизу дикие мужики, а тут блины с шампанским и Богородица Троеручица. Три руки! Ведь это Индия! Вы – барин, вы не можете понимать так, как я, всю эту Москву.

– Могу, могу! – отвечал я. – И давайте закажем обед силен!

– Как это «силен»?

– Это значит – сильный. Как же вы не знаете? «Рече Гюрги...»

– Как хорошо! Гюрги!

– Да, князь Юрий Долгорукий. «Рече Гюрги ко Святославу, князю Северскому: „Приди ко мне, брате, в Москову“ и повеле устроить обед силен».

– Как хорошо. И вот только в каких-нибудь северных монастырях осталась теперь эта Русь. Да еще в церковных песнопениях. Недавно я ходила в Зачатьевский монастырь – вы представить себе не можете, до чего дивно поют там стихиры! А в Чудовом еще лучше. Я прошлый год все ходила туда на Страстной. Ах, как было хорошо! Везде лужи, воздух уж мягкий, на душе как-то нежно, грустно и все время это чувство родины, ее старины... Все двери в соборе открыты, весь день входит и выходит простой народ, весь день службы... Ох, уйду я куда-нибудь в монастырь, в какой-нибудь самый глухой, вологодский, вятский!

Я хотел сказать, что тогда и я уйду или зарежу кого-нибудь, чтобы меня загнали на Сахалин, закурил, забывшись от волнения, но подошел половой в белых штанах и белой рубахе, подпоясанный малиновым жгутом, почтительно напомнил:

– Извините, господин, курить у нас нельзя...

И тотчас, с особой угодливостью, начал скороговоркой:

– К блинам что прикажете? Домашнего травничку? Икорки, семушки? К ушце у нас херес на редкость хорош есть, а к наважке...

– И к наважке хересу, – прибавила она, радуя меня доброй разговорчивостью, которая не покидала ее весь вечер. И я уже рассеянно слушал, что она говорила дальше. А она говорила с тихим светом в глазах:

– Я русское летописное, русские сказания так люблю, что до тех пор перечитываю то, что особенно нравится, пока наизусть не заучу. «Был в русской земле город, названьем Муром, в нем же самодержествовал благоверный князь, именем Павел. И вселил к жене его диавол летучего змея на блуд. И сей змей являлся ей в естестве человеческом, зело прекрасном...»

Я шутя сделал страшные глаза:

– Ой, какой ужас!

Она, не слушая, продолжала:

– Так испытывал ее Бог. «Когда же пришло время ее благостной кончины, умолили Бога сей князь и княгиня преставиться им в один день. И сговорились быть погребенными в едином гробу. И велели вытесать в едином камне два гробных ложа. И облеклись, такожде единовременно, в монашеское одеяние...»

И опять моя рассеянность сменилась удивлением и даже тревогой: что это с ней нынче?

И вот, в этот вечер, когда я отвез ее домой совсем не в обычное время, в одиннадцатом часу, она, простясь со мной на подъезде, вдруг задержала меня, когда я уже садился в сани:

– Погодите. Заезжайте ко мне завтра вечером не раньше десяти. Завтра «капустник» Художественного театра.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
– Так что? – спросил я. – Вы хотите поехать на этот «капустник»?

– Да.

– Но вы же говорили, что не знаете ничего пошлее этих «капустников»!

– И теперь не знаю. И все-таки хочу поехать.

Я мысленно покачал головой, – все причуды, мос, невские причуды! – и бодро отозвался:

– Ол райт!

В десять часов вечера на другой день, поднявшись в лифте к ее двери, я отворил дверь своим ключиком и не сразу вошел из темной прихожей: за ней было необычно светло, все было зажжено, – люстры, канделябры по бокам зеркала и высокая лампа под легким абажуром за изголовьем дивана, а пианино звучало началом «Лунной сонаты» – все повышаясь, звуча чем дальше, тем все томительнее, призывнее, в сомнамбулически-блаженной грусти. Я захлопнул дверь прихожей, – звуки оборвались, послышался шорох платья. Я вошел – она прямо и несколько театрально стояла возле пианино в черном бархатном платье, делавшем ее тоньше, блистая его нарядностью, праздничным убором смольных волос, смуглой янтарностью обнаженных рук, плеч, нежного, полного начала груди, сверканием алмазных сережек вдоль чуть припудренных щек, угольным бархатом глаз и бархатистым пурпуром губ; на висках полукочечками загибались к глазам черные лоснящиеся косички, придавая ей вид восточной красавицы с лубочной картинки.

– Вот если бы я была певица и пела на эстраде, – сказала она, глядя на мое растерянное лицо, – я бы отвечала на аплодисменты приветливой улыбкой и легкими поклонами вправо и влево, вверх и в партер, а сама бы незаметно, но заботливо отстраняла ногой шлейф, чтобы не наступить на него...

На «капустнике» она много курила и все прихлебывала шампанское, пристально смотрела на актеров, с бойкими выкриками и припевами изображавших нечто будто бы парижское, на большого Станиславского с белыми волосами и черными бровями и плотного Москвина в пенсне на корытообразном лице, – оба с нарочитой серьезностью и старательностью, падая назад, выделяли под хохот публики отчаянный канкан. К нам подошел с бокалом в руке, бледный от хмеля, с крупным потом на лбу, на который свисал клочок его белорусских волос, Качалов, поднял бокал и, с деланной мрачной жадностью глядя на нее, сказал своим низким актерским голосом:

– Царь-девица, Шамаханская царица, твое здоровье!

И она медленно улыбнулась и чокнулась с ним. Он взял ее руку, пьяно припал к ней и чуть не свалился с ног. Справился и, сжав зубы, взглянул на меня:

– А это что за красавец? Ненавижу!

Потом захрипела, засвистала и загремела, вприпрыжку затопала полькой шарманка – и к нам, скользя, подлетел маленький, вечно куда-то спешащий и смеющийся Сулержицкий, изогнулся, изображая гостиндворскую галантность, поспешно пробормотал:

– Дозвольте пригласить на полечку Транблан...

И она, улыбаясь, поднялась и, ловко, коротко притопывая, сверкая сережками, своей чернотой и обнаженными плечами и руками, пошла с ним среди столиков, провожаемая восхищенными взглядами и рукоплесканиями, меж тем как он, задрав голову, кричал козлом:

Пойдем, пойдем поскорее  
С тобой польку танцевать!

В третьем часу ночи она встала, прикрыв глаза. Когда мы оделись, посмотрела на мою брововую шапку, погладила брововый воротник и пошла к выходу, говоря не то шутя, не то серьезно:

– Конечно, красив. Качалов правду сказал... «Змей в естестве человеческом, зело

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин прекрасном...»

Дорогой молчала, клоня голову от светлой лунной метели, летевшей навстречу. Полный месяц нырял в облаках над Кремлем, – «какой-то светящийся череп», – сказала она. На Спасской башне часы били три, – еще сказала:

– Какой древний звук, что-то жестяное и чугунное. И вот так же, тем же звуком било три часа ночи и в пятнадцатом веке. И во Флоренции совсем такой же бой, он там напоминал мне Москву...

Когда Федор осадил у подъезда, безжизненно приказала:

– Отпустите его...

Пораженный, – никогда не позволяла она подниматься к ней ночью, – я растерянно сказал:

– Федор, я вернусь пешком...

И мы молча потянулись вверх в лифте, вошли в ночное тепло и тишину квартиры с постукивающими молоточками в калориферах. Я снял с нее скользкую от снега шубку, она сбросила с волос на руки мне мокрую пуховую шаль и быстро прошла, шурша нижней шелковой юбкой, в спальню. Я разделся, вошел в первую комнату и с замирающим точно над пропастью сердцем сел на турецкий диван. Слышны были ее шаги за открытыми дверями освещенной спальни, то, как она, цепляясь за шпильки, через голову стянула с себя платье... Я встал и подошел к дверям: она, только в одних лебяжьих туфельках, стояла, обнаженной спиной ко мне, перед трюмо, расчесывая черепаховым гребнем черные нити длинных висевших вдоль лица волос.

– Вот все говорил, что я мало о нем думаю, – сказала она, бросив гребень на подзеркальник и, откидывая волосы на спину, повернулась ко мне. – Нет, я думала...

На рассвете я почувствовал ее движение. Открыл глаза – она в упор смотрела на меня. Я приподнялся из тепла постели и ее тела, она склонилась ко мне, тихо и ровно говоря:

– Нынче вечером я уезжаю в Тверь. Надолго ли, один Бог знает...

И прижалась своей щекой к моей, – я чувствовал, как моргает ее мокрая ресница:

– Я все напишу, как только приеду. Все напишу о будущем. Прости, оставь меня теперь, я очень устала...

И легла на подушку.

Я осторожно оделся, робко поцеловал ее в волосы и на цыпочках вышел на лестницу, уже светлеющую бледным светом. Шел пешком по молодому липкому снегу, – метели уже не было, все было спокойно и уже далеко видно вдоль улиц, пахло и снегом и из пекарен. Дошел до Иверской, внутренность которой горячо пылала и сияла целыми кострами свечей, стал в толпе старух и нищих на растоптанный снег на колени, снял шапку... Кто-то потрогал меня за плечо – я посмотрел: какая-то несчастнейшая старушонка глядела на меня, морщась от жалостных слез:

– Ох, не убивайся, не убивайся так! Грех, грех!

Письмо, полученное мною недели через две после того, было кратко – ласковая, но твердая просьба не ждать ее больше, не пытаться искать, видеть: «В Москву не вернусь, пойду пока на послушание, потом, может быть, решусь на постриг... Пусть Бог даст сил не отвечать мне – бесполезно длить и увеличивать нашу муку...»

Я исполнил ее просьбу. И долго пропадал по самым грязным кабакам, спивался, всячески опускаясь все больше и больше. Потом стал понемногу оправляться – равнодушно, безнадежно... Прошло почти два года с того Чистого понедельника...

В четырнадцатом году, под Новый год, был такой же тихий, солнечный вечер, как тот, незабвенный. Я вышел из дому, взял извозчика и поехал в Кремль. Там зашел в пустой Архангельский собор, долго стоял, не молясь, в его сумраке, глядя на слабое мерцанье старого золота иконостаса и надмогильных плит московских царей,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
– стоял, точно ожидая чего-то, в той особой тишине пустой церкви, когда боишься  
вдохнуть в ней. Выйдя из собора, велел извозчику ехать на Ордынку, шагом ездил,  
как тогда, по темным переулкам в садах с освещенными под ними окнами, проехал по  
Грибоедовскому переулку – и все плакал, плакал...

На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфо-Мариинской обители: там во дворе  
чернели кареты, видны были раскрытые двери небольшой освещенной церкви, из  
дверей горестно и умиленно несло пение девичьего хора. Мне почему-то  
захотелось непременно войти туда. Дворник у ворот загородил мне дорогу, прося  
мягко, умоляюще:

– Нельзя, господин, нельзя!

– Как нельзя? В церковь нельзя?

– Можно, господин, конечно, можно, только прошу вас за-ради Бога, не ходите, там  
сичас великая княгиня Ельзавет Федровна и великий князь Митрий Палыч...

Я сунул ему рубль – он сокрушенно вздохнул и пропустил. Но только я вошел во  
двор, как из церкви показались несомые на руках иконы, хоругви, за ними, вся в  
белом, длинном, тонколикая, в белом обрусе с нашитым на него золотым крестом на  
лбу, высокая, медленно, истово идущая с опущенными глазами, с большой свечой в  
руке, великая княгиня; а за нею тянулась такая же белая вереница поющих, с  
огоньками свечек у лиц, инокинь или сестер, – уж не знаю, кто были они и куда  
шли. Я почему-то очень внимательно смотрел на них. И вот одна из идущих  
посередине вдруг подняла голову, крытую белым платом, загородив свечку рукой,  
устредила взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня... Что она могла  
видеть в темноте, как могла она почувствовать мое присутствие? Я повернулся и  
тихо вышел из ворот.

12 мая 1944

(обратно)  
Часовня\*

Летний жаркий день, в поле, за садом старой усадьбы, давно заброшенное кладбище,  
– бугры в высоких цветах и травах и одинокая, вся дико заросшая цветами и  
травами, крапивой и татарником, разрушающаяся кирпичная часовня. Дети из  
усадьбы, сидя под часовней на корточках, зоркими глазами заглядывают в узкое и  
длинное разбитое окно на уровне земли. Там ничего не видно, оттуда только  
холодно дует. Везде светло и жарко, а там темно и холодно: там, в железных  
ящиках, лежат какие-то дедушки и бабушки и еще какой-то дядя, который сам себя  
застрелил. Все это очень интересно и удивительно: у нас тут солнце, цветы,  
травы, мухи, шмели, бабочки, мы можем играть, бегать, нам жутко, но и весело  
сидеть на корточках, а они всегда лежат там в темноте, как ночью, в толстых и  
холодных железных ящиках; дедушки и бабушки все старые, а дядя еще молодой...

– А зачем он себя застрелил?

– Он был очень влюблен, а когда очень влюблен, всегда стреляют себя...

В синем море неба островами стоят кое-где белые прекрасные облака, теплый ветер  
с поля несет сладкий запах цветущей ржи. И чем жарче и радостней печет солнце,  
тем холоднее дует из тьмы, из окна.

2 июля 1944

(обратно)  
Весной, в Иудее\*

– Эти далекие дни в Иудее, сделавшие меня на всю жизнь хромым, калекой, были в  
самую счастливую пору моей молодости, – говорил высокий, стройный человек,  
желтоватый лицом, с карими блестящими глазами и короткими, мелко-курчавыми  
серебряными волосами, ходивший всегда с костылем по причине не сгибавшейся в  
колени левой ноги. – Я участвовал тогда в небольшой экспедиции, имевшей целью  
исследование восточных берегов Мертвого моря, легендарных мест Содомы и Гоморры,  
жил в Иерусалиме, поджидая своих спутников, задержавшихся в Константинополе, и  
совершая поездки в одну из бедуинских стоянок по дороге в Иерихон, к шейху Аиду,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин которого мне рекомендовали иерусалимские археологи и который взялся оборудовать все нужное для нашей экспедиции и лично вести ее. В первый раз я съездил к нему для переговоров с проводником, на другой день он сам приехал ко мне в Иерусалим; потом я стал ездить в его стоянку один, купив у него же чудесную верховую кобылку, – стал ездить даже не в меру часто... Была весна, Иудея тонула в радостном солнечном блеске, вспоминалась «Песнь Песней»; «Зима уже прошла, цветы показались на земле, время песен настало, голос горлицы слышен, виноградные лозы, расцветая, издают благоухание...» Там, на этом древнем пути к Иерихону, в каменистой Иудейской пустыне, все, как всегда, было мертво, дико, голо, слепило зноем и песками. Но и там, в эти светоносные весенние дни, все казалось мне бесконечно радостным, счастливым: в первый раз был я тогда на Востоке, совершенно новый мир видел перед собою, а в этом мире – нечто необыкновенное: племянницу Аида.

Иудейская пустыня – это целая страна, неуклонно спускающаяся до самой Иорданской долины, холмы, перевалы, то каменистые, то песчаные, кое-где поросшие жесткой растительностью, обитаемые только змеями, куропатками, погруженные в вечное молчание. Зимой там, как всюду в Иудее, льют дожди, дуют ледяные ветры; весной, летом, осенью – то же могильное спокойствие, однообразие, но солнечный зной, солнечный сон. В лощинах, где попадаются колодцы, видны следы бедуинских стоянок: пепел костров, камни, сложенные кругами или квадратами, на которых укрепляют шатры... А та стоянка, куда я ездил, где шейхом был Аид, являла такую картину: широкий песчаный лог между холмами и в нем небольшой стан шатров из черного войлока, плоских, четырехугольных и довольно мрачных своей чернотой на желтизне песков. Приезжая, я постоянно видел тлеющие кучки кизяка перед некоторыми шатрами, среди шатров – тесноту: всюду собаки, лошади, мулы, козы – до сих пор не понимаю, чем и где все это кормилось, – множество голых, черномазых, курчавых детей, женщины и мужчины, похожие одни на цыган, другие на негров, хотя не толстогубых... И странно было видеть, как тепло, несмотря на зной, были одеты мужчины: кубовая рубаха до колен, ватная куртка, а сверху аба, то есть очень длинная и тяжелая, широкоплечая хламида из пегой шерсти, полосатой в два цвета – черного и белого; на голове кефийе – желтый с красными полосами платок, распущенный по плечам, висящий вдоль щек и в два раза охваченный на макушке тоже пегим, двуцветным шерстяным жгутом. Все это составляло полную противоположность женской одежде: у женщин на головы накинута кубовая платка, лица открыты, на теле одна длинная кубовая рубаха с острыми, падающими чуть не до земли рукавами; мужчины обуты в грубые башмаки, подбитые железками, женщины ходят босыми, и у всех ступни чудесные, подвижные и от загара уж совсем как уголь. Мужчины курят трубки, женщины тоже...

Когда я во второй раз, без проводника, приехал в стоянку, меня приняли уже как друга. Шатер Аида был самый просторный, и я застал в нем целое собрание пожилых бедуинов, сидевших вокруг черных войлочных стен шатра с поднятыми для входа полами. Аид вышел мне навстречу, сделал поклон и прикладывание правой руки к губам и ко лбу. Войдя в шатер впереди его, я подождал, пока он сел на ковер посреди шатра, потом сделал то, что сделал он мне при встрече, то, что всегда полагается – тот же поклон и прикладывание правой руки к губам и ко лбу, – сделал несколько раз, по числу всех сидящих; потом сел возле Аида и, сидя, опять сделал то же самое; мне, конечно, отвечали тем же. Говорили только мы с хозяином, – кратко и медленно: так тоже полагалось по обычаю, да и не очень сведущ был я тогда в разговорном арабском языке; прочие курили и молчали. А за шатром меж тем готовилось мне и гостям угощение. Обычно бедуины едят хыбыз, – кукурузные лепешки – вареное пшено с козьим молоком... Но непременно угощение гостя – харуф: баран, которого жарят в ямке, вырытой в песке, наваливая на него пласты тлеющего кизяка. После барана угощают кофеем, но всегда без сахара. И вот все сидели и угощались как ни в чем не бывало, хотя в тени войлочного шатра стояла адски горячая духота и смотреть в его широко раскрытые полы было просто страшно: пески вдаль так сверкали, что, казалось, на глазах плавилась. Шейх за каждым словом говорил мне: хаваджа, господин, а я ему: почтеннейший шейх бедави (то есть сын пустыни, бедуин)... Кстати, знаете ли вы, как по-арабски называется Иордан? Очень просто: Шариат, что значит всего-навсего водопой.

Аид был лет пятидесяти, невысок, широк в кости, худ и очень крепок; лицо – обожженный кирпич, глаза прозрачные, серые, пронзительные; медная борода с проседью, жесткая, небольшая, подстриженная, и такие же подстриженные усы, – бедуины то и другое всегда подстригают; обут, как все, в толстые подкованные башмаки. Когда он был у меня в Иерусалиме, на поясе у него был кинжал, в руках длинная винтовка.

Я увидел его племянницу в тот самый день, когда сидел у него в шатре уже «как друг»; она прошла мимо шатра, держась прямо, неся на голове большую жестянку с водой, придерживая ее правой рукою. Не знаю, сколько лет ей было, думаю, что не больше восемнадцати, узнал впоследствии одно – четыре года перед тем она была замужем, а в тот год овдовела, не имел детей, и перешла в шатер дяди, будучи сиротой и очень бедной. «Оглянись, оглянись, Суламифь!» – подумал я. (Ведь Суламифь была, верно, похожа на нее: «Девы иерусалимские, черна я и прекрасна».) И, проходя мимо шатра, она слегка повернула голову, повела на меня глазами: глаза эти были необыкновенно темные, таинственные, лицо почти черное, губы лиловые, крупные – в ту минуту они больше всего поразили меня... Впрочем, одни ли они! Поразило все: удивительная рука, обнажившаяся до плеча, державшая на голове жестянку, медленные, извилистые движения тела под длинной кубовой рубахой, полные груди, поднимавшие эту рубаху... И нужно же было случиться так, что вскоре после этого я встретил ее в Иерусалиме у Яффских ворот! Она шла в толпе навстречу мне и на этот раз несла на голове что-то завернутое в холст. Увидав меня, приостановилась. Я кинулся к ней.

– Ты узнала меня?

Она слегка потрепала свободной левой рукой по плечу меня, усмехнулась:

– Узнала, хаваджа.

– Что это ты несешь?

– Козий сыр несу.

– Кому?

– Всем.

– Значит, продавать? Так неси его ко мне.

– Куда?

– Да вот сюда, в гостиницу...

Я жил как раз у Яффских ворот, в узком высоком доме, слитом с другими домами, по левую сторону той небольшой площади, от которой идет ступенчатая «Улица царя Давида» – темный, крытый где холстами, а где древними каменными сводами ход между такими же древними мастерскими и лавками. И она без всякой робости пошла впереди меня по крутой и тесной каменной лестнице этого дома, слегка откинувшись, свободно напрягая свое извивающееся тело, настолько обнажив правую руку, державшую на голове на кубовом платке круг сыру в холсте, что видны были густые черные волосы ее подмышки. На одном повороте лестницы она приостановилась: там, глубоко внизу за узким окном, виден был древний «Водоем пророка Иезекииля», зеленоватая вода которого лежала, как в колодце, в квадрате соседних сплошных домовых стен с решетчатыми окошечками, – та самая вода, в которой купалась Вирсафия, жена Урия, наготой своей пленившая царя Давида. Приостановясь, она заглянула в окно и, обернувшись, с радостным удивлением взглянула на меня своими удивительными глазами. Я не удержался, поцеловал ее голое предплечье – она взглянула на меня вопросительно: поцелуй не в обычае у бедуинов. Войдя в мою комнату, она положила свой сверток на стол и протянула ко мне ладонь правой руки. Я положил в ладонь несколько медных монет, потом, замирая от волнения, вынул и показал ей золотой фунт. Она поняла и опустила ресниц, покорно склонила голову и закрыла глаза внутренним сгибом локтя, навзничь легла на кровать, медленно обнажая ноги, прокопченные солнцем, вскидывая живот призывными толчками...

– Когда опять принесешь сыр? – спросил я, провожая ее через час на лестницу.

Она легонько помотала головой:

– Скоро нельзя.

И показала мне пять пальцев: пять дней. Недели через две, когда я уезжал от Аида и отъехал уже довольно далеко, сзади меня хлопнул выстрел – и пуля с такой силой

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин ударилась в камень передо мной, что он задымился. Я поднял лошадь вскачь, пригнувшись к седлу, – хлопнул второй выстрел, и что-то крепко хлестнуло мне под колену левой ноги. Я скакал до самого Иерусалима, глядя вниз на свой сапог, по которому, пенясь, лилась кровь... Дивлюсь до сих пор, как мог Аид два раза промахнуться. Дивлюсь и тому, откуда он мог узнать, что это я покупал козий сыр у нее.

1946

(обратно)  
Ночлег\*

Это случилось в одной глухой гористой местности на юге Испании.

Была июньская ночь, было полнолуние, небольшая луна стояла в зените, но свет ее, слегка розоватый, как это бывает в жаркие ночи после кратких дневных ливней, столь обычных в пору цветения лилий, все же так ярко озарял перевалы невысоких гор, покрытых низкорослым южным лесом, что глаз ясно различал их до самых горизонтов.

Узкая долина шла между этими перевалами на север. И в тени от их возвышенностей с одной стороны, в мертвой тишине этой пустынной ночи, однообразно шумел горный поток и таинственно плыли и плыли, мерно погасая и мерно вспыхивая то аметистом, то топазом, летучие светляки, люциолы. Противоположные возвышенности отступали от долины, и по низменности под ними пролегла древняя каменистая дорога. Столь же древним казался на ней, на этой низменности, и тот каменный городок, куда в этот уже довольно поздний час шагом въехал на гнедом жеребце, припадавшем на переднюю правую ногу, высокий марокканец в широком бурнусе из белой шерсти и в марокканской феске.

Городок казался вымершим, заброшенным. Да он и был таким. Марокканец проехал сперва по тенистой улице, между каменными остовами домов, зиявших черными пустотами на месте окон, с одичавшими садами за ними. Но затем выехал на светлую площадь, на которой был длинный водоем с навесом, церковь с голубой статуей Мадонны над порталом, несколько домов, еще обитаемых, а впереди, уже на выезде, постоялый двор. Там, в нижнем этаже, маленькие окна были освещены, и марокканец, уже дремавший, очнулся и натянул поводья, что заставило хромавшую лошадь бодрей застучать по ухабистым камням площади.

На этот стук вышла на порог постоялого двора маленькая, тощая старуха, которую можно было принять за нищую, выскочила круглоликая девочка лет пятнадцати, с челкой на лбу, в эспадрильях на босу ногу, в легоньком платьице цвета блеклой глицинии, поднялась лежавшая у порога огромная черная собака с гладкой шерстью и короткими, торчком стоящими ушами. Марокканец спешился возле порога, и собака тотчас вся подалась вперед, сверкнув глазами и словно с омерзением оскалив белые страшные зубы. Марокканец взмахнул плетью, но девочка его предупредила:

– Негра! – звонко крикнула она в испуге, – что с тобой?

И собака, опустив голову, медленно отошла и легла, мордой к стене дома.

Марокканец сказал на дурном испанском языке приветствие и стал спрашивать, есть ли в городе кузнец, – завтра нужно осмотреть копыто лошади, – где можно поставить ее на ночь и найдется ли корм для нее, а для него какой-нибудь ужин? Девочка с живым любопытством смотрела на его большой рост и небольшое, очень смуглое лицо, изъеденное оспой, опасливо косилась на черную собаку, лежавшую смиренно, но как будто обиженно, старуха, тугая на ухо, поспешно отвечала крикливым голосом: кузнец есть, работник спит на скотном дворе рядом с домом, но она сейчас его разбудит и отпустит корму для лошади, что же до кушанья, то пусть гость не взыщет: можно сжарить яичницу с салом, но от ужина осталось только немного холодных бобов да рагу из овощей... И через полчаса, оставившись с лошадью при помощи работника, вечно пьяного старика, марокканец уже сидел за столом в кухне, жадно ел и жадно пил желтоватое белое вино.

Дом постоялого двора был старинный. Нижний этаж его делился длинными сенями, в конце которых была крутая лестница в верхний этаж, на две половинки: налево просторная, низкая комната с нарами для простоты люда, направо такая же просторная, низкая кухня и вместе с тем столовая, вся по потолку и по стенам

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

густо закопченная дымом, с маленькими и очень глубокими по причине очень толстых стен окнами, с очагом в дальнем углу, с грубыми голыми столами и скамьями возле них, скользкими от времени, с каменным неровным полом. В ней горела керосиновая лампа, свисавшая с потолка на почерневшей железной цепи, пахло топкой и горелым салом, – старуха развела на очаге огонь, разогрела прокисшее рагу и жарила для гостя яичницу, пока он ел холодные бобы, политые уксусом и зеленым оливковым маслом. Он не разделся, не снял бурнуса, сидел, широко расставив ноги, обутые в толстые кожаные башмаки, над которыми были узко схвачены по циклолке широкие штаны из той же белой шерсти. И девочка, помогая старухе и прислуживая ему, то и дело пугалась от его быстрых, внезапных взглядов на нее, от его синеватых белков, выделявшихся на сухом и рябом темном лице с узкими губами. Он и без того был страшен ей. Очень высокий ростом, он был широк от бурнуса, и тем меньше казалась его голова в феске. По углам его верхней губы курчавились жесткие черные волосы. Курчавились такие же кое-где и на подбородке. Голова была слегка откинута назад, отчего особенно торчал крупный кадык в оливковой коже. На тонких, почти черных пальцах белели серебряные кольца. Он ел, пил и все время молчал.

Когда старуха, разогрев рагу и сжарив яичницу, утомленно села на скамью возле потухшего очага и крикливо спросила его, откуда и куда он едет, он гортанно кинул в ответ только одно слово:

– Далеко.

Съевши рагу и яичницу, он помотал уже пустым винным кувшином, – в рагу было много красного перца, – старуха кивнула девочке головой, и, когда та, схватив кувшин, мелькнула вон из кухни в ее отворенную дверь, в темные сени, где медленно плыли и сказочно вспыхивали светляки, он вынул из-за пазухи пачку папирос, закурил и кинул все так же кратко:

– Внучка?

– Племянница, сирота, – стала кричать старуха и пустилась в рассказ о том, что она так любила покойного брата, отца девочки, что ради него осталась в девушках, что это ему принадлежал этот постоянный двор, что его жена умерла уже двенадцать лет тому назад, а он сам восемь и все завещал в пожизненное владение ей, старухе, что дела стали очень плохи в этом совсем опустевшем городке...

Марокканец, затягиваясь папиросой, слушал рассеянно, думая что-то свое. Девочка вбежала с полным кувшином, он, взглянув на нее, так крепко затянулся окурком, что обжег кончики острых черных пальцев, поспешно закурил новую папиросу и раздельно сказал, обращаясь к старухе, глухоту которой уже заметил:

– Мне будет очень приятно, если твоя племянница сама нальет мне вина.

– Это не ее дело, – отрезала старуха, легко переходившая от болтливости к резкой краткости, и стала сердито кричать:

– Уже поздно, допивай вино и иди спать, она сейчас будет стелить тебе постель в верхней комнате.

Девочка оживленно блеснула глазами и, не дожидаясь приказа, опять выскочила вон, быстро затопала по лестнице наверх.

– А вы обе где спите? – спросил марокканец и слегка сдвинул феску с потного лба.

– Тоже наверху?

Старуха закричала, что там слишком жарко летом, что когда нет постояльцев, – а их теперь почти никогда нет! – они спят в другой нижней половине дома, – вот тут, напротив, – указала она рукой в сени и опять пустилась в жалобы на плохие дела и на то, что все стало очень дорого и что поэтому поневоле приходится брать дорого и с проезжих...

– Я завтра уеду рано, – сказал марокканец, уже явно не слушая ее. – А утром ты дашь мне только кофе. Значит, ты можешь теперь же счесть, сколько с меня следует, и я сейчас же расплачусь с тобой. – Посмотрим только, где у меня мелкие деньги, – прибавил он и вынул из-под бурнуса мешочек из красной мягкой кожи,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин развязал, растянул ремешок, который стягивал его отверстие, высыпал на стол кучку золотых монет и сделал вид, что внимательно считает их, а старуха даже привстала со скамьи возле очага, глядя на монеты округлившимися глазами.

Наверху было темно и очень жарко. Девочка отворила дверь в душную, горячую темноту, в которой остро светились щели ставней, закрытых за двумя такими же маленькими, как и внизу, окнами, ловко вильнула в темноте мимо круглого стола посреди комнаты, отворила окно и, толкнув, распахнула ставни на сияющую лунную ночь, на огромное светлое небо с редкими звездами. Стало легче дышать, стал слышен поток в долине. Девочка высунулась из окна, чтобы взглянуть на луну, не видную из комнаты, стоявшую все еще очень высоко, потом взглянула вниз: внизу стояла и, подняв морду, глядела на нее собака, приبلудным щенком забежавшая откуда-то лет пять тому назад на постоянный двор, выросшая на ее глазах и привязавшаяся к ней с той преданностью, на которую способны только собаки.

– Негра, – шепотом сказала девочка, – почему ты не спишь?

Собака слабо взвизгнула, мотнув вверх мордой и кинулась к отворенной двери в сени.

– Назад, назад! – поспешным шепотом приказала девочка. – На место!

Собака остановилась и опять подняла морду, сверкнув красным огоньком глаз.

– Что тебе надо? – ласково заговорила девочка, всегда разговаривавшая с ней, как с человеком. – Почему ты не спишь, глупая? Это луна так тревожит тебя?

Как бы желая что-то ответить, собака опять потянулась вверх мордой, опять тихо взвизгнула. Девочка пожала плечом. Собака была для нее тоже самым близким, даже единственным близким существом на свете, чувства и помыслы которого казались ей почти всегда понятными. Но что хотела выразить собака сейчас, что ее тревожило нынче, она не понимала и потому только строго погрозила пальцем и опять приказала притворно сердитым шепотом:

– На место. Негра! Спать!

Собака легла, девочка еще немного постояла у окна, подумала о ней... Возможно, что ее тревожил этот страшный марокканец. Почти всегда встречала она постояльцев двора спокойно, не обращала внимания даже на таких, что с виду казались разбойниками, каторжниками. Но все же случалось, что на некоторых кидалась она почему-то как бешеная, с громовым ревом, и тогда только она одна могла смирить ее. Впрочем, могла быть и другая причина ее тревоги, ее раздражения – эта жаркая, без малейшего движения воздуха и такая ослепительная, полнолунная ночь. Хорошо слышно было в необыкновенной тишине этой ночи, как шумел поток в долине, как ходил, топал копытцами козел, живший на скотном дворе, как вдруг кто-то, – не то старый мул постоялого двора, не то жеребец марокканца, – со стуком лягнул его, а он так громко и гадко заблеял, что, казалось, по всему миру раздалось это дьявольское блеяние. И девочка весело отскочила от окна, растворила другое, распахнула и там ставни. Сумрак комнаты стал еще светлее. Кроме стола, в ней стояли у правой от входа стены, изголовьями к ней, три широких кровати, покрытые только грубыми простынями. Девочка откинула простыню на первой от входа кровати, поправила изголовье, вдруг сказочно осветившееся прозрачным, нежным голубоватым светом: это был светляк, севший на ее челку. Она провела по ней рукой, и светляк, мерцая и погасая, поплыл по комнате. Девочка легонько запела и побежала вон.

В кухне во весь свой рост стоял спиной к ней марокканец и что-то негромко, но настойчиво и раздраженно говорил старухе. Старуха отрицательно мотала головой. Марокканец вздернул плечами и с таким злобным выражением лица обернулся к вошедшей девочке, что она отшатнулась.

– Готова постель? – гортанно крикнул он.

– Все готово, – торопливо ответила девочка.

– Но я не знаю, куда мне идти. Проводи меня.

– Я сама провожу тебя, – сердито сказала старуха. – Иди за мной.

Девочка послушала, как медленно топала она по крутой лестнице, как стучал за ней башмаками марокканец, и вышла наружу. Собака, лежавшая у порога, тотчас вскочила, взвилась и, вся дрожа от радости и нежности, лизнула ей в лицо.

– Пошла вон, пошла вон, – зашептала девочка, ласково оттолкнула ее и села на пороге. Собака тоже села на задние лапы, и девочка обняла ее за шею, поцеловала в лоб и стала покачиваться вместе с ней, слушая тяжелые шаги и гортанный говор марокканца в верхней комнате. Он что-то уже спокойнее говорил старухе, но нельзя было разобрать что. Наконец он сказал громко:

– Ну, хорошо, хорошо! Только пусть она принесет мне воды для питья на ночь.

И слышались шаги осторожно сходящей по лестнице старухи.

Девочка вошла в сени навстречу ей и твердо сказала:

– Я слышала, что он говорил. Нет, я не пойду к нему. Я его боюсь.

– Глупости, глупости! – закричала старуха. – Ты, значит, думаешь, что я опять сама пойду с моими ногами да еще в темноте и по такой скользкой лестнице? И совсем нечего бояться его. Он только очень глупый и вспыльчивый, но он добрый. Он все говорил мне, что ему жалко тебя, что ты девочка бедная, что никто не возьмет тебя замуж без приданого. Да и правда, какое же у тебя приданое? Мы ведь совсем разорились. Кто теперь у нас останавливается, кроме нищих мужиков!

– Чего ж он так злился, когда я вошла? – спросила девочка.

Старуха смутилась.

– Чего, чего! – забормотала она. – Я сказала ему, чтобы он не вмешивался в чужие дела... Вот он и обиделся...

И сердито закричала:

– Ступай скорей, набери воды и отнеси ему. Он обещал что-нибудь подарить тебе за это. Иди, говорю!

Когда девочка вбежала с полным кувшином в отворенную дверь верхней комнаты, марокканец лежал на кровати уже совсем раздетый: в светлом лунном сумраке пронзительно чернели его птичьи глаза, чернела маленькая коротко стриженная голова, белела длинная рубаха, торчали большие голые ступни. На столе среди комнаты блестел большой револьвер с барабаном и длинным дулом, на кровати рядом с его кроватью белым бугром была навалена его верхняя одежда... Все это было очень жутко. Девочка с разбегу сунула на стол кувшин и опрометью кинулась назад, но марокканец вскочил и поймал ее за руку.

– погоди, погоди, – быстро сказал он, потянув ее к кровати, сел, не выпуская ее руки, и зашептал: – Сядь возле меня на минутку, сядь, сядь, послушай... только послушай...

Ошеломленная, девочка покорно села. И он торопливо стал клясться, что влюбился в нее без памяти, что за один ее поцелуй даст ей десять золотых монет... двадцать монет... что у него их целый мешочек...

И, выдернув из-под изголовья мешочек красной кожи, трясущимися руками растянул его, высыпал золото на постель, бормоча:

– Вот видишь, сколько их у меня... Видишь?

Она отчаянно замотала головой и вскочила с кровати. Но он опять мгновенно поймал ее и, зажав ей рот своей сухой, цепкой рукой, бросил ее на кровать. Она с яростной силой сорвала его руку и пронзительно крикнула:

– Негра!

Он опять стиснул ей рот вместе с носом, стал другой рукой ловить ее заголившиеся ноги, которыми она, брыкаясь, больно била его в живот, но в ту же минуту услышал

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
рев вихрем мчавшейся по лестнице собаки. Вскочив на ноги, он схватил со стола  
револьвер, но не успел даже курка поймать, мгновенно сбитый с ног на пол.  
Защищая лицо от пасти собаки, растянувшейся на нем, обдававшей его огненным  
псиным дыханием, он метнулся, вскинул подбородок – и собака одной мертвой  
хваткой вырвала ему горло.

23 марта 1949

(обратно) (обратно) (обратно)  
Рассказы 1932–1952\*

Прекраснейшая солнца\*

– Смерть, где жало твое? Воспомним, что сказала Она, прекраснейшая солнца,  
возлюбленному своему, представ ему в ту самую ночь, когда предали Ее тело  
могиле: не плачь обо мне, ибо дни мои через смерть стали вечны; в горнем свете  
навсегда раскрылись мои вежды, что, казалось, навсегда смежились на смертном  
моем ложе...

– В лето господне тысяча триста двадцать седьмое синьор Франческо прибыл в город  
Авиньон в Провансе, в числе многих прочих, последовавших в изгнание за святейшим  
престолом. Через год же после того случилось, что он встретил на пути своей юной  
жизни донну Лауру и полюбил Ее великой любовью, приобщившей Ее к лику Беатриче и  
славнейших женщин мира. В тот год, в шестой день месяца апреля, в пятницу  
страстной недели, слушал он утреннюю службу в церкви Сэн-Клэр, в Авиньоне; и  
вот, когда, отстояв службу, вышел из церкви на площадь, глядя на других  
выходящих, то увидел донну Лауру, дочь рыцаря Одибера, юную супругу синьора Уго,  
коего достойный, но обычный образ не удержался в памяти потомства.

Он увидел ее в ту минуту, когда она показалась в церковном портале.

– Та весна была в его жизни двадцать третьей, в Ее – двадцатой. И если обладал  
он всей красотой, присущей юным летам, пылкому сердцу и благородству крови, то  
Ее юная прелесть могла почитаться небесной. Блаженны видевшие Ее при жизни! Она  
шла, опустив свои черные, как эбен, ресницы; когда же подняла их, солнечный взор  
Ее поразил его навеки.

Шестой день того апреля был сумрачный, дождливый, один из тех, каких всегда  
бывает немало ранней весной в Авиньоне, было и в то время, которое называется  
теперь древним и в котором все кажется прекрасным: и весеннее ненастье, и старый  
каменный город, потемневшим под дождями, все его стены, церкви, башни и холодная  
грязь узких улиц, и все люди, шедшие в них посередине, и вся их жизнь, и все  
дела и чувства.

– Это было в час крестной смерти господина нашего Иисуса, когда само солнце  
облекается в ретищем скорби.

На страницах Вергилия, своей любимейшей книги, с которой он никогда не  
расставался, которая лежала у его изголовья, он, в старости, пишет:

– Лаура, славная собственными добродетелями и воспетая мною, впервые предстала  
моим глазам в мою раннюю пору, в лето господне тысяча триста двадцать седьмое, в  
шестой день месяца апреля, в Авиньоне; и в том же Авиньоне в том же месяце  
апреле, в тот же шестой день, в тот же первый час, лето же тысяча триста сорок  
восьмое, угас чистый свет Ее жизни, когда я случайно пребывал в Вероне, увы,  
совсем не зная о судьбе, меня постигшей: только в Парме настигла меня роковая  
новость, в том же году, в девятнадцатый день мая, утром. Непорочное и прекрасное  
тело Ее было предано земле в усыпальнице Братьев Меноритов, вечером в день  
смерти; а душа Ее, верю, возвратилась в небо, свою отчизну. Дабы лучше сохранить  
память об этом часе, я нахожу горькую отраду записать о нем в книге, столь часто  
находящейся перед моими глазами; должно мне знать твердо, что отныне уже ничто  
не утешит меня в земном мире. Время покинуть мне его Вавилон. По милости божьей,  
это будет мне нетрудно, памятуя суетные заботы, тщетные надежды и печальные  
исходы моей протекшей жизни...

Пишут, что в молодости он был силен, ловок, голову имел небольшую, круглую и  
крепкой формы, нос средней меры, тонкий, овал лица мягкий и точный, румянец  
нежный, но здоровый, темный, цвет глаз карий, взгляд быстрый и горячий. «уже был

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин известен своим высоким талантом, умом, богатством знаний и неустанными трудами. Уже был одержим той беспримерной любовью, что сделала его имя бессмертным. Но жил, вместе с тем, всеми делами своего века, отдавал свой гений и на созидание всех благих его движений; в обществе отличался расположением к людям, прелестью в обращении с ними, блеском речи в беседах...»

Портрет в Авиньоне изображает его в зрелые годы: capitoлийские лавры, которыми он был коронован, как величайший человек своего века, благородный флорентийский профиль, взгляд, полный мысли и жизни...

В старости он пишет:

– Уже ни о чем не помышляю я ныне, кроме Нее: пусть же торопит Она нашу встречу в небе, влечет и зовет меня за собой!

Но пишет и другое, – в письме к одному другу:

– Я хочу, чтобы смерть застала меня за книгой, с пером в руке, или, лучше, если угодно богу, в слезах и молитве. Будь здоров и благополучен. Живи счастливо и бодро, как подобает мужу!

Через несколько месяцев после этого письма, 20 июня 1374 года, в день своего рождения, сидя за работой, он «вдруг склонился, уронил голову на свое писанье».

Тот день, когда они впервые увидели друг друга, был роковым и для нее:

– Было и Ее сердце страстно и нежно; но сколь непреклонно в долге и чести, в вере в бога и его законы!

– Владычица моя, Она прошла мимо меня, одиноко сидевшего в сладких мыслях о моей любви к Ней. Дабы приветствовать Ее, я встал, смиренно склоняя перед Нею свое; побледневшее чело. Я трепетал; Она же продолжала свой путь, сказавши мне несколько ласковых слов.

Двадцать один год он славил земной образ Лауры; еще четверть века – ее образ загробный. Он сосчитал, что за всю жизнь видел ее, в общем, меньше года; но и то все на людях и всегда «облеченную в высшую строгость». Все же вспоминает он и другое:

– И Она побледнела однажды. Это было в минуту моего отъезда. Она склонила свой божественный лик, Ее молчание, казалось, говорило; зачем покидает меня мой верный друг?

Внешне он жил в радостях и печалях простых смертных; знал и женскую любовь, тоже смертную, простую, не мешавшую другой, «бессмертной», имел двух детей. Имела и она их, супругой была верной и достойной. «Но душа Ее всю жизнь ожидала загробной свободы – для любви Ее к Иному...»

Черная чума 1348 года, в несколько недель поразившая в Авиньоне шестьдесят тысяч человек, поразила и ее. В темный вечер, при смоляных факелах, своим бурным, трещащим пламенем «разгонявших заразу», люди в смоляных балахонах, с прорезами только для глаз, похоронили ее там, где она за три дня до смерти завещала. Ночью же душа ее, наконец обретшая свободу для своей любви «К Иному», поспешила к нему на первое свиданье.

– Ночь, последовавшая за этим зловещим днем, когда угасла звезда, сиявшая мне в жизни, или, точнее сказать, вновь засияла в небе, ночь эта начинала уступать место Авроре, когда некая Красота, столь же дивная, как и Ее земная коронованная драгоценнейшими алмазами Востока, встала предо мной. И, нежно вздыхая, подала мне руку, столь долго желанную мною; узнай, сказала Она, узнай ту, что навсегда преградила тебе путь в первый же день ее встречи с тобою; узнай, что смерть для души высокой есть лишь исход из темницы, что она устрашает лишь тех, кои все счастье свое полагают в бедном земном мире...

В Парижской Национальной библиотеке хранится манускрипт Плиния, принадлежавший Петrarке. На одной странице этого манускрипта сделан рукой Петrarки рисунок, изображающий долину Воклюза, скалу, из которой бьет источник, на вершине скалы – часовню, а внизу – цаплю с рыбой в клюве; под рисунком его подпись по-латыни:

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин «Заальпийское мое уединение».

В этой долине, недалеко от Авиньона, было его скромное поместье.

Где жила когда-то, в этом столь глухом теперь, старом и пыльном Авиньоне Лаура? Будто бы возле нынешней мэрии, в улочке Доре. Погребена она была в церкви Братьев Меноритов, в одной из капелл. Но в какой? Церковь эта разрушена в революционное время, полтора века тому назад; известно, однако, что в ней было две капеллы – Святого Креста и Святой Анны. В которой из них была ее гробница? Полагают, что в последней, так как она была сооружена ее свекром, синьором де Саде. В 1533 году король Франциск Первый, проезжая Авиньон, приказал вскрыть полуразрушенную гробницу, находящуюся в этой капелле, убежденный горожанами Авиньона, что именно в ней покоятся останки Лауры. В гробнице оказались кости. Но чьи? Точно ли Лауры? Имени, написанного на гробнице, прочесть было уже невозможно.

Авиньон, апрель, 1932

(обратно)  
«Остров сирен»\*

На Капри есть «Лазурный грот», на Капри в древности жил Тиверий, а в прошлом иске Крупп, знаменитый своими пушками и некоторыми деяниями, г которых он подражал Тиверии и которые заставили его в конце концов прибегнуть к самоубийству... Вот, кажется, все, что общеизвестно о Капри.

Некоторым известно еще то, что был этот дивный остров когда-то под властью варваров, потом греков, норманнов... Историки и археологи вспомнили о нем сравнительно недавно. Они нарушили его вековую тишину, покой, начали раскопки и великое расхищение его античных ценностей. Ценности эти оказались лежащими в каприйской земле чуть не на каждом шагу: крестьяне, в виноградниках которых то и дело находили их, все отдавали кому попало, за гроши, позволяли вывозить целыми барками... Затем – это было всего сто лет тому назад – какой-то немецкий поэт случайно открыл в скалистых обрывах северного берега Капри грот, столь волшебным освещаемый солнцем и волнами, проникающими в него, что Капри сразу стал известен всему миру, как «истинно обетованная страна всех живописцев и любителей Натуры», непрестанное и многолюдное паломничество которых на «божественный остров» уже никогда не прекращалось с тех пор, невзирая на полную дикость острова в смысле даже малейших удобств жизни на нем и на сообщение между ним и Неаполем лишь на парусных лодках; только уже долго спустя открылась на Капри первая гостиница и соединило его с Неаполем пароходное сообщение. Сообщение это было даже и до нашей поры крайне убогое, но из года в год доставляло на Капри великое множество путешественников со всех концов света...

Чтобы представить себе Капри, надо прежде всего вообразить себя в Неаполе, среди лукоморья, полукруга, огромного неаполитанского залива, с гористыми берегами влево, с городками, белеющими вдоль их подножья, и громадой Везувия. Прямо перед Неаполем, в заливе, как бы таят в водной сини два высоких острова: Иския и Капри.

Капри «поднимается из лона морского подобно лежащему сфинксу» или утонувшему кораблю, как говорят другие. Байрон сравнил Капри с волной, гонимой бурей. Но, если говорить проще, это гигантская скала, торчащая из моря, дикая на вид и местами совершенно отвесная, хребет которой образует почти посередине своей глубокую седловину, давшую приют маленькому городку Капри, его оливковым садам и виноградникам. Над страшной стремниной того каприйского берега, что обращен к востоку, к материке Италии, к мысу Минервы, до сих пор сохранились следы дворца Тиверия, и обрыв этот так и называется: Монте Тиберио. А западная часть острова увенчана скалистой горой (Монте Соляро), на половине высоты которой висит другой городок, Анакапри. Что древнее – Капри или Анакапри – неизвестно. Страбон говорит, что оба эти города существовали с незапамятных времен, так что, может быть, самое название острова происходит от финикийского слова Каприам, что значит: два города.

Южный скат каприйской седловины называется Пикола Марина, северный – Марина Гранде. Пароходик, идущий из Неаполя до Капри часа два довольно быстрым ходом, пристает к последней. По мере приближения к острову путешественник все больше поражается цветом воды: цвет этот – некое подобие яркого драгоценного камня,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
какого-то дивного сплава купороса и индиго. Затем видишь небольшой залив, а на его берегу каменистый рыбацкий поселок, первобытный, живописный в своей итальянской грубой старине. От этого поселка можно подняться в седловину острова в городок Капри, двумя путями: прямо, по крутому отвесу фуникулера, или же по извивам шоссейной дороги среди виноградников. Начало этого пути проходит по тому месту, где город Капри стоял в древности, мимо византийской церкви св. Констанцо, существующей полторы тысячи лет и очаровательной своей убогой простотой, бедностью, хотя и украшенной внутри античными порфированными колоннами. А из седловины, из улочек Капри можно любоваться сразу двумя морями: с одной стороны – Неаполитанский залив, Иския, Неаполь, с другой – открытое море, идущее вплоть до берегов Африки.

Когда подплываешь к Капри, указывают то на Монте Соляро, – там, на самой вершине, чудесно рисуются в небе развалины Замка Барбароссы («орлиное гнездо туниССкого корсара, некогда предавшего огню и мечу всю Неаполитанскую область и Капри»), – то на те места возле пристани, где стоял летний дворец Августа. А в путеводителе найдешь и кое-что из истории Капри: греки называли Капри «Остров Сирен» и учредили на нем поклонение этим милым и коварным морским существам; со времени римлян он получил другое имя, – Капрея, то есть Козий остров; Август посетил его, возвращаясь из сицилийского похода, и был так пленен им, что выменял его у неаполитанских греков на остров Искию. Смотри на Монте Соляро и на Анакапри, видишь и знаменитую «финикийскую лестницу», ведущую к Анакапри вправо от пристани: это чуть не тысяча каменных ступеней, высеченных почти отвесно в скалах (именно будто бы финикийцами, которые считаются самыми первыми владельцами острова). Теперь в Анакапри можно подняться довольно легко – по извивам шоссейной дороги. Но анакаприйцы все еще предпочитают ей свою каменную лестницу. Это вообще очень странный народ: с глубокой древности жили и живут они необыкновенно замкнутой жизнью, совсем отдельной даже от жизни каприйцев, почти не общаясь с ними, говоря на своем собственном наречии; среди них до сих пор есть старики и старухи, отроду никогда не бывавшие в городе Капри.

Поднявшись от пристани на извозчике или по фуникулеру, выходишь на маленькую площадь, где стоит старинная башенка с часами и гербом испанской династии. Она стоит на самом краю площади, над глубоким обрывом, и отсюда открывается один из самых славных видов в мире, – на Неаполитанский залив, на Неаполь. Поглядев туда и повернувшись лицом к городку, пересекаешь площадь, вступаешь в узкую улочку, упирающуюся в богатый отель, когда-то построенный Круппом и подаренный им одному из своих слуг, потом идешь влево и выходишь на Виа Трагара, на дорогу, вьющуюся по южным обрывам острова. Тут сперва проходишь мимо небольшой долины, лежащей справа от тебя, за отелем, и сходящей к морю; в ней, на месте другого дворца Августа, зимнего, среди кустарников и оливковых деревьев, высится огромный остов уже давно пустующего шестисотлетнего картезианского монастыря, его древняя, крытая бурой черепицей церковь, стены келий, внутренний двор, заросший дикими розами и бурьянами. Далее все еще более дико и прекрасно: с одной стороны – блеск солнца и южного моря, с другой – южная пустыньность скал и непролазность кустарников, поднимающихся стенами в небо. Какой-нибудь мальчишка, привязавшийся к тебе на этой дороге, заученным бормотанием перечисляет ее достопримечательности: три скалистых островка, стоящих возле побережья, всем известных по Беклину. Арку Натурале, грот Митры, где Тиверий будто бы приносил человеческие жертвы, и множество других гротов, известных чудесной разностью своих красок: в одном все кажется золотисто-желтым, в другом переливается прозрачно-зеленый свет, в третьем подводные растения озаряют стены чем-то вроде пурпурного пламени...

Тивериева дорога, идущая из городка Капри параллельно этой, только не по обрывам гор, а по вершинам, приводит к самому знаменитому месту острова, – к местожительству Тиверия. Тут все подымаешься, идешь по крутому плоскогорью, среди ферм, вилл и виноградников. Сады, цветы, кипарисы, пинии... Кое-где ступени, высеченные еще при Августе в скалистой почве, кое-где – стертые колеи каменной дороги, по которой «рабы когда-то носили на носилках Тиверия»... Развалины его жилища огромны. Остров тут обрывается над морем совершенно отвесно, глубочайшей бездной. На самом обрыве – остатки маяка, который считался в древности одним из самых больших и ярких в мире и освещал мореходам путь чрезвычайно опасный, ибо это море есть довольно узкий пролив между Капри и материком. Ближе – самые развалины. Высота, пустыня, солнце, небо, шум солнечного ветра в диких травах и в развалинах. Развалины – целый лабиринт комнат и галерей. Уцелели своды и стены первого этажа и подземелья под ним. Центром дворца был перистиль, окруженный колоннадой и частными покоями Цезаря, – кое-что из всего этого тоже сохранилось...

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

Каков был при Тиверии атриум его? Мраморный потолок, в квадратных углублениях которого – бронзовые розетки, края сводов окаймлены бронзой. Стены покрыты полированной киноварью и украшены рельефами из алебастра, представляющими Крылатых Побед в легких, развевающихся туниках, с пальмовыми ветвями в руках, а равно и другими рисунками: в кругах, на синем поле – трагические и комические маски, людские страсти и заблуждения, к каменным пилястрам цвета слоновой кости и старого золота прислонены трофеи – громадные костяки допотопных животных и оружие древних, баснословных героев. Среди трофеев, на бронзовых подставках, – драгоценные коринфские вазы, которые Август всю жизнь собирал с великой любовью и вкусом. Пороги входов – из белого мрамора и блестящего египетского гранита, по завесы этих входов из грубого полотна. И вот, откинув их, входящий видел после яркого солнца легкую тень атриума, этот мраморный потолок, полированную киноварь стен, трофеи, косяки, вазы, узорчатый мозаичный пол, в глубине же – статую Августа, обожествленную атрибутами Юпитера, перед ней полукруглый алтарь простого этрусского стиля из белоснежного мрамора, стол для приношений, покрытый белым покрывалом, вышитым по краям узором из листьев, бронзовый треножник для священного огня... В этих стенах, где некогда шуршали осторожные шаги рабов и царедворцев, звучали лидийские флейты и звенел смех прекрасных наложниц нынче укрывается от дождей и бурь скот каприйских крестьян...

Светоний говорит, что в молодости Тиверий был красив, имел орлиный нос и большие глаза, которые могли будто бы видеть даже в темноте, высокий рост и крепкое сложение, – плечи и грудь широкие, части всего тела соразмерные, – силу же такую, что мог щелчком пробивать темя взрослого человека; только он в молодости был малоприветлив и приятен: ходил, склонив голову вбок, угрюмо и молча, а когда говорил, то медленно и трудно расставлял слова, помогал своей речи движением правой руки; и этому описанию Светония довольно соответствует статуя молодого Тиверия в ватиканском музее: он сидел твердо и прямо, со скипетром в руке; переносица тонка, остра, отчего глазные впадины кажутся глубокими и придают лицу выражение ястреба... В дворце на Капри сидел человек, уже весьма мало похожий на этого.

Он навсегда покинул Рим в двадцать шестом году от Р. Х., чтобы последние одиннадцать лет своей жизни прожить почти сплошь на Капри, – в полном соответствии с предсказаниями звездочетов. Весь остров был в то время сплошным садом, покрыт каменным дубом, любимым деревом Августа; с уступов гор всюду сходили к морю высеченные в скалах террасы; водопроводы были проложены на арках и доставляли дождевую воду в нимфеи, украшенные мраморными и бронзовыми статуями; климат острова, его бальзамический воздух славился своим здоровьем, что на деле доказывали и еще доселе доказывают столетние каприйские старцы; сказочно было каприйское обилие всякой птицы, рыб, устриц, омаров; вина каприйские были превосходны... Выбор Тиверия остановился на Капри и по чтим причинам и потому, что остров напоминал ему Грецию больше всего по-другому: Капри был неприступен, высадиться на нем было трудно, а миновать стражу невозможно, и Цезарь, с высоты своего убежища, всегда видел не только все, что творилось на острове, но и все корабли, шедшие мимо острова во всех направлениях... «Был же он весьма стар в ту пору, а в уединении, в свободе для своего великого разврата и злодейства и в неприступности самой надежной нуждался, как никто на земле...» Он был страшен в эту пору: «Лицо его покрылось язвами, залеплено было пластырями; глаза глубоко провалились; губы, подбородок отяжелели; шея раздулась как бы от какого-то неведомого яда; дыхание стало тлетворно; зрение и слух ослабели; речь доставляла ему теперь труд уже крайний, медлительный, упорный... и единой радостью его жизни сделалась только алчность...»

Перед смертью он отправился в Рим. По пути остановился в Тускулуме, – испугался: любимая змея, которую он всегда возил с собою, была съедена муравьями. Из Тускулума повернул обратно, на Капри. Но тут его задержали буря и болезнь. Он остановился на Пизенском мысе. И за вечерней трапезой вдруг потерял сознание. Его окружали Макрон, Калигулла, Друзилла и врач Харикл. Друзилла сняла с бесчувственного Цезаря знак его божественной власти – драгоценную гемму, перстень Диоскорида, – и вручила Калигулле. Цезарь очнулся, спросил косноязычно: «Где перстень?» Калигулла трясся от страха. Макрон бросил на лицо Цезаря одеяло и быстро задушил его.

<1932>

(обратно)

Жилет пана Михольского\*

Было это в Киеве в сороковых годах прошлого века и рассказывалось многим киевлянам самим паном Михольским, а нам пересказано писателем Ясинским.

Пан Михольский задумал жениться. Был он тогда еще очень молод, но уже довольно разумен, тяготел к обществу людей солидных и светских, невесту выбрал себе хорошенькую и с приданым, все приготовления к свадьбе совершал обстоятельно, прилично. А так как одна из основ приличной жизни заключается в приличной экипировке, то пан Михольский решил приехать перед свадьбой из своего глухого уезда в Киев, дабы нашить себе панталон, сюртуков, фраков и жилеток по самой последней моде. Так он и сделал – приехал и экипировался на славу, пользуясь советами некоторого графа, знавшего и протезировавшего молодого провинциала. Перед отъездом же из Киева обратно, в свой родной город, зашел однажды пан Михольский к графу с намерением приятно провести вечер и застал его в больших заботах по самому тщательному туалету. Пан Михольский смутился, стал извиняться:

– Ах, простите, любезный граф! Вы, кажется, в сборах куда-то...

– Да, – сказал граф, – еду к Юзефовичу в Липки. Пригласил в гости и притом на весьма важную персону.

– Что же это за персона? – спросил пан Михольский.

– Некто Гоголь, писатель.

– А, знаю, читал его вещички.

– А я, – сказал граф, – только слышал, будто он пишет, читать же мне его не доводилось. Что ж он, хорошо пишет?

– Да недурно, – ответил пан Михольский, – только уж больно обыденно: нет, знаете, полету, байронизму...

– А все-таки надо ехать, – сказал граф, вздыхая. Во-первых, нельзя манкировать приглашением такого лица, как Юзефович, а во-вторых, и сам этот Гоголь: он, оказывается, в большой милости у государя.

Пан Михольский насторожился:

– А! что вы? Ну, знаете, это очень меняет дело. Я бы и сам был но прочь взглянуть на такую знатную личность.

– А раз не прочь, то и взгляните. Идем со мной в Липки.

– Помилуйте, как же так? Неловко...

– Пустяки! Юзефович радушнейший хозяин. Я вас ему представлю. Едем!

И вот граф и пан Михольский в Липках. А там уже целая ассамблея, тайный трепет, ожидание высокого гостя. Давно готов чайный стол на балконе, толпятся, тихо переговариваясь, прочие гости, – все больше профессора Киевского университета в новеньких мундирах, – хозяин то и дело выбегает взглянуть, не едет ли Гоголь. Но проходит час, другой – Гоголя все нету. Наконец бежит дворецкий: приехал! Хозяин кидается навстречу, профессора одергивают фалды, выстраиваются в ряд, опускают по швам руки... И вот тут-то и происходит то, о чем столько раз повествовал впоследствии пан Михольский приблизительно в таком роде:

– Как сейчас помню, этот самый Гоголь шел впереди почтительно следовавшего за ним хозяина, не спеша и глядя несколько вкось, исподлобья. У него был длинный нос, длинные прямые волосы. На нем был сюртук темного граната и темно-зеленая жилетка, по которой краснели мушки и глазки и ярко блестели желтые пятна. Все мы низко перед ним склонились, он же вдруг остановился и, не отвечая на поклоны, стал глядеть на одну мою особу. Хозяин рекомендует:

– Профессор такой-то... Профессор такой-то...

Он начинает легонько кивать головой, бормочет:

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

– Весьма приятно... душевно рад во всех смыслах... Затем хозяин предлагает ему сесть к столу и откусать. Но он брезгливо смотрит на чай, на закуски, морщится от заходящего солнца. Хозяин делает поспешный знак какому-то молодому человеку, тот еще поспешнее кидается к краю балкона и загораживает собой Гоголя от солнца. Но Гоголь и на это не обращает внимания, за стол не садится, а все продолжает глядеть на меня, точнее сказать, на мою грудь, в тот день украшенную одной из моих новых и лучших жилеток: жилетка эта была тоже весьма нарядна, только походила не на шкуру лягушки, как у столичного гостя, а на шкуру хамелеона.

– Мне сдается, – молвил он наконец, щурясь, – мне сдается, что я вас где-то уже видел.

Я хочу ответить, что, кажется, не имел такого счастья, но хозяин так сердито грозит мне из-за его спины пальцем; что у меня прилипает язык к гортани. А Гоголь продолжает (и все не без яду):

– Да, я вас где-то видел. Не скажу, чтобы ваша физиономия памятна мне живо, но тем не менее я вас видел. Видел же я вас в каком-то трактире, вы там лакомились луковым супом.

Что мне было делать? Это было уже обидно, но я конечно, только кланяюсь и ничего не возражаю. Гоголь же снова погружается в молчание, задумчиво глядя на разводы моей жилетки. Затем вдруг подает хозяину руку, делает общий поклон всем прочим и направляется к двери. Хозяин поражен как нельзя больше, но удерживать его, конечно, не смеет. Гоголь уходит, как-то неловко передвигая ноги в узких серых панталонах на широких штрипках, а хозяин растерянно бежит за ним следом, кланяется ему в спину...

Тут, в заключение своего рассказа, пан Михольский всегда хитро усмехался.

– Скажите же мне теперь, – говорил он, – как объясняете вы себе столь странное поведение Гоголя в Липках? Что такое происходило в его натуре?

Ему на это отвечали:

– Да кто же может знать натуру такого человека? Может быть, ему мелькнула какая-нибудь чудная идея, встала в воображении резкая фигура...

Но пан Михольский мотал головою:

– Да нет же! Ни то, ни другое. Ларчик открывался просто: Гоголь позавидовал на мою жилетку! Да, да, честное слово! Если бы граф не привез меня в Липки, то Гоголь и чай бы кушал и беседовал со всеми прочими гостями. Но случилось так, что я, совершенно невольно, отравил ему жизнь своей жилеткой.

Но послушайте: разве это возможно?

– Да вот оказалось, что вполне возможно, а доказательства тому вот какие. На другое утро прибегает ко мне в отелю портной-еврейчик, у которого я делал эту жилетку, последнюю в своем роде, ибо бархата такого рисунка в городе больше не оставалось, и чуть не падает мне в ноги.

– На милость бога, дайте мне, пан, вашу жилетку! Уступите за какие угодно деньги! Это же чистое наказание, что такой жилетки нигде в Киеве больше не достанешь! Приехал один важный господин из столицы и купил у Гросса жилетку, а теперь увидел вашу и кричит, что непременно подавай ему в точь-точь такую же, как ваша! Я соображаю, в чем дело, и отвечаю:

– А как фамилия того господина?

Портной пожимает плечами:

– А я знаю? И зачем вам его фамилия?

А я уже ясно вижу: ну конечно, это Гоголь! И твердо отвечаю:

– Нет, не продам я тебе жилетки ни за какие деньги! Он хоть и Гоголь, а такой жилетки у него нет и не будет! Я, брат, свою жилетку выше всяких его «Мертвых

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин «душ» ставлю!

1936

(обратно)

Молодость и старость\*

Прекрасные летние дни, спокойное Черное море.

Пароход перегружен людьми и кладью, – палуба загромождена от кормы до бака.

Плавание долгое, круговое – Крым, Кавказ, Анатолийское побережье, Константинополь...

Жаркое солнце, синее небо, морс лиловое; бесконечные стоянки в многолюдных портах с оглушающим грохотом лебедек, с бранью, с криками капитанских помощников: майна! вира! – и опять успокоение, порядок и неторопливый путь вдоль горных отдалений, знойно тающих в солнечной дымке.

В первом классе прохладный бриз в кают-компании, пусто, чисто, просторно. И грязь, теснота в орде разноплеменных палубных пассажиров возле горячей машины и пахучей кухни, на парах под навесами и на якорных цепях, на канатах на баке. Тут всюду густая вонь, то жаркая и приятная, то теплая и противная, но одинаково волнующая, особая, пароходная, мешающаяся с морской свежестью. Тут русские мужики и бабы, хохлы и хохлушки, афонские монахи, курды, грузины, греки... Курды, – вполне дикий народ, – с утра до вечера спят, грузины то поют, то парами пляшут, легко подпрыгивая, с кокетливой легкостью откинув широкий рукав и плывя в расступившейся толпе, в лад бьющей в ладоши: таш-таш, таш-таш! У русских паломников в Палестину идет без конца чаепитие, длинный мужик с обвисшими плечами, с узкой желтой бородой и прямыми волосами вслух читает Писание, а с него не спускает острых глаз какая-то вызывающе независимая женщина в красной кофте и зеленом газовом шарфе на черных сухих волосах, одиноко устроившаяся возле кухни.

Долго стояли на рейде в Трапезунде. Я съездил на берег и, когда воротился, увидел, что по трапу поднимается целая новая ватага оборванных и вооруженных курдов – свита идущего впереди старика, большого и широкого в кости в белом курпее и в серой черкеске, крепко подпоясанной по тонкой талии ремнем с серебряным набором. Курды, плывшие с нами и лежавшие в одном мосте палубы целым стадом, все поднялись и очистили свободное пространство. Свита старика настелила там множество ковров, наклала подушек. Старик царственно возлег на это ложе. Борода его была бела как кипень, сухое лицо черно от загара. И необыкновенным блеском блестели небольшие карие глаза.

Я подошел, присел на корточки, сказал «селям», спросил по-русски:

– С Кавказа?

Он дружелюбно ответил тоже по-русски:

– Дальше, господин. Мы курды.

– Куда же плывешь?

Он ответил скромно, но гордо:

– В Стамбул, господин. К самому падишаху. Самому падишаху везу благодарность, подарок: семь нагаек. Семь сыновей взял у меня на войну падишах, всех, сколько было. И все на войне убиты. Семь раз падишах меня прославил.

– Це, це, це! – с небрежным сожалением сказал стоявший над нами с папиросой в руке молодой полнеющий красавец и франт, керченский грек: вишневая дамаская феска, серый сюртук с белым жилетом, серые модные панталоны и застегнутые на пуговицы сбоку лакированные ботинки. – Такой старый и один остался! – сказал он, качая головой.

Старик посмотрел на его феску.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

– Какой глупый, – ответил он просто. – Вот ты будешь старый, а я не старый и никогда не буду. Про обезьяну знаешь?

Красавец недоверчиво улыбнулся:

– Какую обезьяну?

Ну так послушай! Бог сотворил небо и землю, знаешь?

– Ну, знаю.

Потом бог сотворил человека и сказал человеку: будешь ты, человек, жить тридцать лет на свете, – хорошо будешь, жить, радоваться будешь, думать будешь, что все на свете только для тебя одного бог сотворил и сделал. Доволен ты этим? А человек подумал: так хорошо, а всего тридцать лет жизни! Ой, мало! Слышишь? – спросил старик с усмешкой.

– Слышу, – ответил красавец.

– Потом бог сотворил ишака и сказал ишаку: будешь ты таскать бурдюки и вьюки, будут на тебе ездить люди и будут тебя бить по голове палкой. Ты таким сроком доволен? И ишак зарыдал, заплакал и сказал богу: зачем мне столько? Дай мне, бог, всего пятнадцать лет жизни. – А мне прибавь пятнадцать, – сказал человек богу, – пожалуйста, прибавь от его доли! – И так бог и сделал, согласился. И вышло у человека сорок пять лет жизни. Правда, человеку хорошо вышло? – спросил старик, взглянув на красавца.

– Неплохо вышло, – ответил тот нерешительно, не понимая, очевидно, к чему все это.

– Потом бог сотворил собаку и тоже дал ей тридцать лет жизни. Ты, сказал бог собаке, будешь жить всегда злая, будешь сторожить хозяйское богатство, не верить никому чужому, брехать будешь на прохожих, не спать по ночам от беспокойства. И, знаешь, собака даже завывала: ой, будет с меня и половины такой жизни! И опять стал человек просить бога: прибавь мне и эту половину! И опять бог ему прибавил. Сколько лет теперь стало у человека?

– Шестьдесят стало, – сказал красавец веселее.

– Ну, а потом сотворил бог обезьяну, дал ей тоже тридцать лет жизни и сказал, что будет она жить без труда и без заботы, только очень нехороша лицом будет, – знаешь, лысая, в морщинах, голые брови на лоб лезут, – и все будет стараться, чтоб на нее глядели, а все будут на нее смеяться.

Красавец спросил:

– Значит, и она отказалась, попросила себе только половину жизни?

– И она отказалась, – сказал старик, приподнимаясь и беря из рук ближнего курда мундштук кальяна – И человек выпросил себе и эту половину, – сказал он, снова ложась и затягиваясь.

Он молчал и глядел куда-то перед собою, точно забыв о нас. Потом стал говорить, ни к кому не обращаясь:

– Человек свои собственные тридцать лет прожил по человечьи – ел, пил, на войне бился, танцевал на свадьбах, любил молодых баб и девок. А пятнадцать лет ослиных работал, наживал богатство. А пятнадцать собачьих берег свое богатство, все брехал и злился, не спал ночи. А потом стал такой гадкий, старый, как та обезьяна. И все головами качали и на его старость смеялись. Вот все это и с тобой будет, – насмешливо сказал старик красавцу, катая в зубах мундштук кальяна.

– Ас тобой отчего ж этого нету? – спросил красавец.

– Со мной нету.

– Почему же такое?

– Таких, как я, мало, – сказал старик твердо. – Не был я ишаком, не был собакой, – за что ж мне быть обезьяной? За что мне быть старым?

1936

(обратно)  
Возвращаясь в Рим\*

Он умер близ Ницеи, возвращаясь из Галлии в Рим.

Ожидали, что новая война будет долгая, трудная и, быть может, роковая для него: судьба была милостива к нему неизменно, но это был уже девятый поход в его жизни, а цифре девять приписывали недобрый знак. Все же война опять оказалась счастливой, даже еще более счастливой и короткой, чем все предыдущие: враг был поражен ударами столь меткими, что изумлена была, при всей своей вере в звезду своего вождя, сама победоносная армия: и прежде один вид его, при каждом его появлении перед нею, потрясал ее восторгом; теперь же, когда, на прощальных смотрах в Галлии, медленно двигалось вдоль воинских рядов грозное великопение золотого орла и шел под сенью его этот всегда тихий и печальный человек с землистым, плохо бритым лицом, люди смертельно бледнели, чувствовали себя как бы на краю пропасти, а затем раздражались такими страстными кликами, точно их охватывало беснование.

Кончив войну, он совершил с государственными целями путешествие в Испанию: необыкновенная неутомимость сочеталась с его телесной немощью. И путешествие это тоже было вполне благополучное и плодотворное. Поздней осенью, с небольшим отрядом и несколькими приближенными, он возвращался в Рим. Стояли прохладные, светлые дни. Шли берегом моря. Как всегда, он был молчалив и бесстрастен, лицом сер и худ. Все же здоровье его никому не внушало опасений во время этого мирного странствия вдоль синих заливов и багряных прибрежий. Но вот, за один переход до Ницеи, он внезапно лишился голоса, почувствовал такую потерю сил, что поспешили остановиться на первой встречной вилле.

Она вполне приличествовала случаю. Это был знаменитый Очаг, известный всему Риму, благодаря славному имени его хозяина и своей благородной красоте. Безлюдный мыс далеко вдавался в море. Его сплошь покрывала серебристая зелень низкорослого соснового леса. Дом же, стоявший в этом лесу, был обширен и прост, белел мрамором стен блистал тонким стеклом больших окон, окружен был цветниками, огненными далями. За отъездом хозяина, вилла была пуста, и неожиданных гостей встретил только управляющий. Учтиво попросили приюта у него.

Вскоре, приняв ванну и подкрепляющее питье, он остался один. Ложе его стояло так, что с одной стороны был перед ним вид на море, поднимающееся за круглыми сосновыми верхушками, а с другой на Ницейский залив и туманно-далекую бледность Альп, безжизненно встававших к небу своими снегами, подобно великим гробницам. Вечерело, холодно туманилось. В пустынном просторе дремотно волнующегося моря была безнадежность, бесцельность, печальная загадочность. Белые гребни волн мерно возникали, падали. Верхушки сосен, чистых и холодных, ясно видных сквозь стекла, туго и звонко шумели. Два светильника ровно дрожали возле ложа сургучным пламенем. И под это дрожание и звенящий хвойный шум он впал в глубокий сон. Когда же очнулся, была уже черная ночь. Море шумело в ее тишине слышней и торжественнее, как бы приблизившись. Светильники текли и блистали; их языки, теперь золотые, ясные, с лазурным основанием, дрожа, тянулись вверх. И, приподнявшись, прислонясь к изголовью, он остановил свой взгляд на стеклах, черневших перед ним. Море шумело все ближе, явственней, и с ним мешался все усиливающийся хвойный шум. Он созерцал и слушал эту черную ночную стихию, окружавшую его. Он понял, что час его близок. Сделав усилие, он сел немного выше и, взяв с ночного столика все, что нужно для писания, стал медленно, но твердо писать.

Он писал до рассвета. Он сделал последние государственные распоряжения и выразил некоторые из своих предсмертных мыслей. Он сказал так: имя мое переживет меня, люди будут поклоняться моим золотым и мраморным изображениям, может быть, еще много веков, ибо в человеке великом или хотя бы облеченном величием, мы чтим сосредоточенность тех высоких сил, что заключены в некоторой мере в каждом из нас. Он сказал, что Сократ, призывая человека к познанию «самого себя», имел в виду познание особенностей, пороков или добродетелей, заключенных в человеке, но

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
искание и пробуждение в себе того «божественного», что есть истинная суть человека. Когда же стало белеть за окнами, пожелтели огни светильников и сплошной белизной окружила дом утренняя мгла, шедшая с утихающего моря, он лег и покрыл лицо своим походным плащом, отдавшись участи всех смертных.

1937

(обратно)  
Апрель\*

В солнечное окно за нагретыми двойными рамами он увидел в воротах двора верхового молодого работника, ездившего в Субботино на почту. Он в одной косоворотке выскочил на крыльцо – уже недели две напрасно ждал письма из Москвы. Работник, возбужденный от быстрой езды, горячего апрельского солнца и весеннего воздуха, еще резкого и прохладного, с раскрасневшимся лицом, пестрым от пятен грязи, летевшей на него из-под копыт по дорожным лужам, бросил у крыльца поводья и стал рыться в сумке, висевшей у него через плечо.

– Только всего, – весело сказал он, подавая два номера «Орловского вестника».

Картуз у него был сдвинут назад, глаза смотрели дружелюбно и ярко. Лошадь под ним была потная, казалась тонкой от топких ног с белым железом новых подков и узлов подвязанного хвоста с тугой репкой, сизой исподу и энергично отстающей от округлого орехового крупа, переливавшегося великолепным лоском. «Все было прекрасно – и свежий воздух, и горячее солнце, и зазеленевший двор усадьбы, и этот круп, и седло под работником, – все счастливы, просты, спокойны, здоровы, все, кроме меня!» – с отчаянием подумал он, беря газеты.

– Вели Михайле оседлать мне Вороного, – решительно сказал он работнику и пошел в дом, «И отлично, что не пишет! Давно пора послать все это к черту. Мне еще рано погибать из-за какой-то развратной и ничтожной девчонки!» Он вошел в кабинет и навзничь лег на тахту, поправил под головой скользкую сафьяновую подушку и вперил взгляд перед собой, мысленно смотря в ее воображаемый образ, с ужасом чувствуя, что именно это, – эта развратность и женское девичье ничтожество ее, – мучит его такую страстью и нежностью.

«Да, но не одна же она на свете! – вдруг сказал он себе. – Ведь все это есть и в Ганьке, и в учительнице, и даже в Глашке...»

Он недавно ездил вечером на деревню к учительнице. Снега уже и тогда не было, только морозило к ночи грязь и лужи. Он ехал верхом по деревенской улице, мимо ряда изб, направо, по косогору, сходявшего влево от него к речке; за речкой низко висела над другим берегом, над чернотой полей, таинственно-тускло и как-то бесцельно светившая на речку и на ее долину луна; крыши изб направо тоже неярко были освещены ею, а гребни их серебрились, точно снегом, от звезд за ними; дальше, на краю деревни, была видна школа с большим освещенным окном. Он привязал лошадь к лозинке против окна, взбежал на крыльцо, толкнул дверь в темные и холодные сени, потом в комнату учительницы... Как чудесно было у нее! Пахло натопленной печкой и духами, па столе мягко горела лампочка под фаянсовым абажуром. Сама она радовала здоровой прелестью своих восемнадцати лет, у нее был живой, точно что-то ожидающий взгляд и влажно блестящие зубы; большие черные глаза за черными ресницами имели что-то гробовое и вместе с тем были налиты молодой животной теплотой; груди туго круглились под коричневым платьем, крепко подпITYе черные волосы отливали глянцем. Она пришла в восхищение от его неожиданного приезда, тотчас устала стол тарелочками с орехами, пастилой и мармеладом, говорила быстро, спеша, прелестно картавя, он с жадностью смотрел на ее руки, в которых она ловко и сильно трещала орехами, давя их один о другой, обонял ее теплое молодое дыхание, запах подпаленных щипцами волос и головной плоти, когда она к нему наклонялась, кладя перед ним очищенные ореховые ядра... «Да, поеду к ней!» подумал он, вспомнив все это, и сбросил ноги с тахты, взглянув на часы. Было два часа, в доме было тихо и пусто, мама, как всегда, спала после обеда, Глашка тоже, верно, заснула... Он посидел, волнуясь, думая, пойти к Глашке или нет? Страстно хотелось пойти и жутко было: в доме ни души, мама спит. Глашка лежит там одна... Самое ужасное было то, что она лицом похожа была на нее!

Глашу наняли с месяц тому назад, она приехала из города, служила там горничной. Она была деревенская, но теперь, после зимы в городе, держалась не

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин по-деревенски, и потому ее устроили не в пример прежним, горничным. Ее поселили в комнатке в конце коридора, возле заднего крыльца. Там ей поставили железную кровать с высокой периной, и она пышно убрала ее стеганым голубым одеялом, подушки покрыла накидкой с кружевами по краям, на умывальнике устроила нечто вроде туалета с разными флакончиками и коробочками, и вся комнатка вскоре стала развратно пахнуть сладостью дешевого мыла и розовой пудры.

– Вот наняла, да боюсь, что обокрадет и уйдет, – сказал мама, когда он приехал из Москвы.

Вскоре после того Глашка говела. В церковь ходила в модной жакетке с черной бархаткой на шее, с зонтиком, в перчатках. Маленькая головка ее в завитыми на лбу кудряшками была порочно красива: она, да и только!

Раз она убирала его спальню, все делая не спеша, с ленивой грацией и мутной улыбкой. Он вошел, – она, подметая, медленно сказала, кося глазами на его кровать:

– А хорошо бы на этой постели поспать...

– С кем? – пошутил он.

– Да одной...

– Одной скучно. Приходи ко мне.

Она ответила, не поднимая глаз:

– Что ж, можно...

– Врешь, не придешь.

– Божиться не стану...

Ночью он долго гулял по холодному голому саду при свете невысокой луны. Вернувшись в дом, заснул в кабинете, не раздеваясь. И тотчас увидел себя в Крыму, где он никогда не был. Это было что-то вроде Алупки, с ее парком и дворцом, который он видел на открытках. Парк спускался к самому морю, море было крупное, зеленое, шумело, и от него шла вечерняя свежесть. И она, та, которую он так горячо полюбил в Москве, выбежала из волн вся голая, сжавшись, стыдливо согнувшись, и он видел и чувствовал все ее тело, его упругость, то, что оно мокро, холодно и крепко, видел и чувствовал с той разительной остротой, какая бывает только во сне. Он очнулся, возбужденный, и на цыпочках пошел по темному коридору к Глашке. У нее горела свеча, она на спине спала под своим стеганым одеялом. Свет свечи блестел на ее кукольном лице с закрытыми глазами. Когда он сел к ней на постель, она открыла глаза, бессмысленно посмотрела и, ничего не поняв, повернулась на бок. Он стал целовать ее в шею в телесном тепле из-под одеяла и уже дунул было на свечу. Но за окном вдруг встал такой чистый, прекрасный мир лунной ночи, что он вскочил и ушел с бьющимся сердцем.

На другой день он шагал по долгу, томясь, не зная, что делать. На дворе залаяли собаки. Он взглянул в окно: от ворот к дому шла, бросая собакам кусочки хлеба, Ганька со своей подругой Машкой. Рядом с Машкой, высокой и костлявой, с грубым худым лицом, маленькая Ганька казалась особенно мила. Они вошли в прихожую, он вышел к ним. Видно было, что им обеим неловко, – у Машки это сказывалось в том, что она сердито хмурилась, а у Ганьки в смущенной ласковой улыбке.

– С квитками пришли? – спросил он, вспомнив, что они неделю тому назад работали в усадьбе на поденщине. – Мамы нету дома.

Он попытался завести шуточный разговор. Ганька отвечала на все поспешно, сама не понимая, что говорит, с этой все дрожащей на губах улыбкой. «Совсем еще девчонка!» – подумал он, умиляясь на нее и стыдясь своих мыслей о ней, на которые навел его Михайло: «Машка вам все это дело за один целковый обработает», – сказал он. На Ганьке был новый ситцевый желтый платок с красными глазками, новая из черного крестьянского сукна куртка, новая ситцевая пестренькая юбка и новые башмаки с подковами: идя в усадьбу, девки всегда наряжаются. Ганькин двор был самый нищий во всем селе, – каких трудов стоило ей справиться на свои

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин заработки весь этот наряд! «И совсем еще девочка, и как бы я мог любить ее!»

Волнуясь, он встал с тахты, прошел по пустому дому, надел в прихожей синюю поддевку и студенческий картуз, взял нагайку и вышел на крыльцо. Вороной жеребец ждал его. Он легко вскинул себя в седло и крупным шагом поехал не к учительнице, а через сад по голой липовой аллее. Солнце было сзади, в пролет между деревьев впереди видно было солнечное поле, желтая равнина прошлогоднего живья. Выехав туда, он рысью погнал жеребца целиком на Дубовый Верх, на свой любимый лесок, низко серевший на горизонте. Ах, что за день! Солнечный зной мешается с острой свежестью зернистого снега, еще дотлевающего кое-где на влажной земле среди мертвого живья, все вокруг вольно, просторно, пусто, и до боли в глазах светло...

Дубовый Верх, тихий, неподвижный, обнял при въезде в него совсем жарким теплом и сладковатым запахом прошлогоднего дубового листа. Весь еще раздетый, с корявыми сучьями верхушек, сквозящих на мучительно ножном бледно-голубом апрельском небе, лес казался маленьким, виден был из конца в конец. Он перевел жеребца на галоп по дорожке к лесному разлужью, шумно шурша коричневой листвой, которой она была глубоко засыпана. На спуске в овраги, из сухих кустарников, с треском вырвался вальдшнеп, над разлужьем высоко в небе парили ястреба. Весна!

Проскакав разлужье, галопом поднявшись на пригорок к широкому дубу, одиноко и великолепно красовавшемуся на нем, он спрыгнул с седла, привязал жеребца к ветке дуба и упал в нагретую листву под ним, закрыв помутившиеся от слез глаза. Уже и ястреба прилетели! Он взглянул вверх – да, вон он, высоко, высоко стоит в этом прелестном небе, повис, дрожит, распластав острые крылышки, весь трепещет, остро смотрит вниз... Если бы револьвер! Один удар как раз в сердце, вот тут, через эту синюю поддевку, – и всему конец!

\* \* \*

В середине апреля, теплым и неподвижным утром, он подъехал к раскрытому окну учительницы, крикнул, неловко усмехаясь:

– Уже окно выставили?

Она тотчас показалась в окне – праздничная, необычная для деревни: в шелковой белой блузке, в черной шляпке с черной сквозной вуалькой до половины лица, за которой восточно сияли ее черные глаза.

– Здравствуйте, – радостно картавя, сказала она, – а я в город еду.

– Можно узнать зачем? – спросил он, глядя на нее вверх с седла.

– А это секрет!

Она улыбалась, блестя влажными зубами, которые как будто не совсем умещались в ее молодых губах.

– А меня с собой возьмете?

– Вас? У вас там тоже секреты?

– Нет, серьезно. Можно мне с вами? Мне дома так скучно – все один да один...

– Бедный! А что на деревне начнут говорить?

Голова у него слегка замутилась от этих слов, от близости, будто бы вдруг образовавшейся между ними.

– Пожалуйста, возьмите, – сказал он с наивной, совсем мальчишеской улыбкой, почувствовав, как это будет чудно – сидеть с ней вдвоем, наедине, сперва в тарантасе, потом в вагоне.

Она загадочно посмотрела на него, еще более увеличивая эту внезапную близость между ними.

– Ну, так и быть, возьму, – сказала она, точно уже получив какую-то власть над ним.

– Так я заеду за вами?

– Да я уж мужика наняла.

– Ну вот, мужика! Такая нарядная, и вдруг на телеге! Кого вы наняли? Терентия? Я заеду к нему, откажу и дам полтинник. Он с ума сойдет от радости.

– Да нет, это все как-то так неожиданно, странно... Вдруг едем вместе...

– То-то и хорошо, что вместе! Нет, я непременно заеду.

Она не сумела сдержать себя:

– Ну так смотрите же, не опоздайте, поезд идет ровно в пять.

Он весело засмеялся:

– Так что же вы так рано оделись?

Она прелестно смутилась, трогательно ответила:

– Да Терентий сказал, что после обеда ему нельзя ехать, ему нынче надо еще свинью куда-то везти. Отомчу вас, говорит, вернусь и еще с свиньей управиться поспею.

– Это замечательно! Отомчу вас, потом свинью! А вам ждать на станции целых пять часов?

– Что ж, я бы посидела до поезда в дамской комнате...

– И все из-за свиньи!

Тут засмеялась и она, необыкновенно звонко, с наслаждением. Он дернул лошадь ближе к окну, схватил ее руку и прижал к своим губам.

– Это уже мародерство! – сказала она, особенно прелестно картавя.

«Боже мой! – думал он, скача домой. – Неужели наконец освобождение?»

У своего крыльца он помедлил слезать с лошади, глядя в сад, слушая. Все мягко туманилось, в саду блаженно, изысканно выводили свои сладкие переливы черные дрозды. Разноцветные девки ходили с граблями и метлами по аллее, расчищая ее, наметая в кучу прошлогоднюю листву, на деревне протяжно, истомно перекликались петухи... Но когда он вошел в дом, ему сразу бросилась в глаза валявшаяся на лавке открытка, – с почты приехали без него. Он схватил ее: да, от нее! Всегда так – бросишь ждать, мучиться – и вдруг вот оно! Но на обороте открытки оказалось только два пошлых слова: «Привет из Москвы!» и даже без подписи. Насмешка или просто глупость? Он в клочки разорвал открытку, прошел в кабинет и с отвращением к себе, к своей жалкой любви, к своим мукам и воспоминаниям, ничком лег на тахту. Нет, освобождения нет и не будет. Заменить ее все-таки никто не может...

\* \* \*

В дороге опять нашел на него обман – счастье сидеть плечом к плечу с нарядной, пахнущей духами девушкой, уже как будто втайне соглашающейся с ним на что-то самое дивное в мире. Он говорил что попало, опять смешил ее Терентием, держал ее левую руку, обтянутую черной лайковой перчаткой, и она не отнимала руки.

– Можно поцеловать хоть перчатку?

Она приложила палец к губам, сделала строгое лицо, кивнула на спину кучера, – он в ответ так сжал ее руку, что она с гримасой боли, но с явным удовольствием легонько вскрикнула: «Ай!».

На станции он побежал вперед, купил два билета второго класса, потом, когда стал подходить поезд, на ходу вскочил в вагон, тотчас нашел нужное купе и ввел ее туда, очень польщенную и его заботливостью, и непривычной роскошью путешествия.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
Потом они молча сидели рядом, переглядываясь и обмениваясь странными улыбками.

– Вы всегда ездите во втором классе? – крикнула она сквозь стук колес, несшийся в открытое окно, в которое бил вечерний полевой ветер.

– Что? – крикнул он, растягивая рот в счастливую улыбку.

– Я в первый раз в жизни! – крикнула она.

Вдали за голыми полями, садилось солнце, бросая на них красный свет, колеса ладно грохотали в свежающем воздухе. Он опять взял ее руку, она не отняла ее, только отвернулась, глядя в окно.

– Ну вот и приехали, – тихо сказала она, когда поезд стал подходить к городскому вокзалу мимо уже зажженных станционных фонарей.

– Вы куда? – спросил он, выходя с ней из вокзала и со страхом думая, что сейчас останется один.

– На Покровскую, к подруге.

– Завтра я увижу вас?

Она подумала.

– Да. В городском саду. В одиннадцать. Там в это время никого не встретишь. В главной аллее.

– С десяти буду ждать.

– А теперь я поеду одна.

– Да. Прощайте.

Он посадил ее в разбитую, провисшую извозчичью пролетку, слабо пожал ее руку. Она обернулась, отъезжая, – мелькнули в сумерках ее черные глаза за сквозной вуалькой...

Он ночевал в первых попавшихся номерах. Как вошел, сразу разделся и лег на железную кровать с коленкоровой простышкой и тяжелой как камень подушкой, набитой крупными, трещащими под головой перьями, и проснулся в шесть утра. За дверью еще сонно шаркала половая щетка. Он выглянул в узкий коридор, озаренный желтым ранним солнцем, заказал горничной с сухими волосами и жилистой шеей, которая мела в коридоре: самовар...

Надо было убить бесконечное время до одиннадцати. Он вышел, пошел куда глаза глядят. Утро опять было теплое, мягкое. Мирный, мерный звон колоколов, тишина, за заборами сады, ветви деревьев в почках... «Господи, избавь меня от нее! – думал он, шагая. – Как я буду опять счастлив!»

По глухой Садовой улице он пришел к обрыву над рекой, замкнутому древней приземистой церковкой. Тупик, сады за заборами, деревянные домишки в три окна; золотой крест над куполом мягко мерцает, тает в теплом воздухе... Церковные двери были раскрыты, он, крестясь, вошел. Низкие своды, ни души, холодок и старей, сложный церковный запах. Голые, низкие стены выкрашены синей, как сахарная бумага, краской, в куполе светло, внизу синевато, сумрачно; алтарь грубо блещет, в прорези золото-кованых царских врат сквозит красный шелк завесы... Он поднялся на ступени амвона, подошел к чудотворной иконе возле северных дверей алтаря. Она была из толстого темного дерева на бархатной вишневой подкладке и вся цветисто пестрела за мерцавшей перед ней лампадкой: темное серебро оклада, на окладе множество поддельных драгоценных камней, висят образки и ленты, оловянные сердца, руки и ноги, исцеленные части тела... Он стал на колени, припал лбом к полу, напрягая все свои душевные и телесные силы на безмолвную мольбу: «Господи, помоги! Спаси и помоги! Возврати мне ее! Все-таки не могу я без нее!»

В городском саду он без конца и все быстрее и быстрее ходил взад и вперед по главной аллее. Парило, собирались, чадили и густели облика. Сердце замирало и от заходящей грозы, и от оскорбительной тоски напрасного ожидания. Прошло полчаса,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
час, – в аллее все никто не показывался. Грубый обман или ей почему-нибудь никак  
нельзя было прийти? Он еще раз взглянул на часы: уже половина первого. Какое  
счастье, что есть поезд домой в половине второго! Он кинулся вон из сада, на все  
лады проклиная себя за все те дурацкие планы, которые он строил на этот день.

\* \* \*

Вечерело тихо, печально, сумрачно. Он шел по своему саду, сладко и болезненно  
чувствуя: ночью будет первый обильный дождь, животворный, весенний... Все серо и  
голо, грифельный осинник за шалашом в овраге засыпан гниющей листвой. Он пошел  
целиком сквозь осинник, скользя по ней. В большом пне над оврагом еще лежал  
налитый водой раскисший снег, в овраге лился, булькал из буерака в буерак, с  
уступа на уступ, паводок. Он перепрыгнул через него, выбежал по круче другого  
бока к соломенному валу, перелез через него как раз на задворки Машкиного двора,  
прошел между ним и другим домом, вышел на темнеющую деревенскую улицу и  
остановился перед Машкиной избой, – она была крайняя, была особенно бедна и  
черна, с прогнившей, седлом проломившейся крышей, – и заглянул в полуразбитое  
окошечко. Машка, высокая, костлявая, в желтом ситцевом платье, стояла, глядясь в  
зеркальце. На улице никого не было, но он все-таки нырнул в сенцы, воровски  
быстро отворил дверь избы и быстро запер за собой.

– Ты одна? – спросил он вполголоса.

Она ничуть не удивилась его внезапному появлению, ответила просто и  
невнимательно, продолжая глядеться:

– Одна. Брат уехал в Петрицево, батюшка по соседям сумерничает.

Положив зеркальце на стол, она смахнула подолом с лавки. Он сел, не снимая  
картуза, она тоже села с другого бока стола. Ее желтое платье было подпоясано по  
широкой худой талии глянцевым черным ремнем, скуластые щеки натерты румянами и  
стеарином: румяна были грубого малинового цвета, стеарин мертвого, свинцового.

– Куда-й-то убралась? – спросил он.

Она усмехнулась:

– Да никуда. Так, от скуки.

– Послушай... – сказал он, помолчав.

– Слушаю.

– Давай о доле поговорим.

– Говорите. Знаю ваши думки.

– Да ты про что?

– Про Ганьку небось?

– Ну да. Ну как же ты думаешь, согласится?

– А как же она не согласится? Нынче не то что по городам – по деревням ни одной  
чистой не осталось. Может, отца побоится, – сказала она насмешливо, – папа у ней  
строгий.

– Ну, а как же это все обделать? – спросил он, мысленно ужасаясь своей подлости.

– Да уж обделаю...

Совсем стемнело, в дыру окошечка стало пахнуть откуда-то молодой травой и  
навозом из коровника. Он замолчал, опустив голову. Она подождала и поднялась:

– Ну идите, а то, неравно, батюшка придет.

Он тоже поднялся и взял ее за талию. Она усмехнулась:

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

– Аи вы в меня влюбились? Нет, я для вас неподходящая. Ишь вы какой длинный, слабосильный.

– Да я вдесятеро сильнее тебя.

– Куда вам со мной! Я вас заматаю.

– Послушай, я серьезно. Я не из-за Ганьки пришел, это только придирка... Приходи завтра под вечер в шалаш в нашем саду.

– Да и я про Ганьку только болтала. Давно вас насквозь вижу!

– Ну так как же? – спросил он, замирая.

– Завтра, как корову подою, так приду.

9 марта 1938

(обратно)  
Мистраль\*

«Все воды твои и волны твои прошли надо мною».

«Вот ты дал мне дни как пяди, и век мой как ничто пред тобою».

Век мой, господи, ничто не только пред тобою, но и предо мною самим...

Лежа в черной тьме спальни, среди шума и гула наружи, теряешь представление о времени. Забываясь, думаешь: «Кажется, скоро рассвет...» Но затем опять видишь ту же черную тьму, слышишь, как жадно несется наружи мистраль, и понимаешь, что эта тьма, этот шум и гул еще ночные, полночные. Привычно подняв руку к изголовью, я освещаю спальню, смотрю на часы: час самый мертвый. От света все вокруг стало проще, шум и гул отдалились от дома, и спокойно стоит освещенный куб спальни, беззвучно блестит зеркало против меня, над камином. В зеркало углубленно уходит вторая спальня, что во всем подобна первой, будучи только ниже и меньше ее; там тоже горит свет над старой дубовой кроватью, на которой уже столько лет сплю я в этом старом чужом доме, лежит на приподнятой подушке худое лицо, видны под светом, падающим сверху, темные впадины глаз, виден белеющий лоб, косой ряд в серебристых волосах... Потом я опять поднимаю руку – и опять только гул и тьма, в которой всюду реет что-то как бы светящееся...

«Ты взошел на корабль, совершил плавание, достиг гавани: пора сходить».

Итак, было будто бы время, когда я «всходил на корабль», юный, беспечный, ни о какой гавани не думающий... Где же оно, это время? Вот только моя мысль о нем! «Ничтожна жизнь каждого. Ничтожен каждый край земли... Немного уже осталось тебе. Живи как на горе. Как с горы обозревай земное: сборища, походы, битвы, полевые работы, браки, рождения, смерти...» И я мысленно вижу Прованс, по которому мчится мистраль с дикой жадной сокрушения всего человеческого, временного, вижу весь этот древний край, сейчас спящий, пустой, со всеми его горами и долинами, с бледнеющими в лихорадочном блеске звезд дорогами – все теми же, что в те легендарные дни, когда мигом правил тот, кто в какой-то «стране Квадов», в часы своего ночного одиночества, писал под лагерным шатром о ничтожестве всех человеческих жизней, стран и веков... В глухих провансальских селениях, первобытно прекрасных в своей дикости, пахнувших как бы пастушеским дымом, вьевшимся в камень и глину жилищ и очагов, народ говорит, что мул есть создание вещее, редкое по сокровенности чувств и помыслов, по уму и чуткости ко всему тайному и дивному, чем полон мир, и что до рассвета стоит он в такие ночи в своем темном, холодном, насквозь продуваемом стойле с открытыми глазами, ни на миг не ослабляя слуха и внимания к «работе» мистралья: он, верно, тоже видит, чувствует этот пустой, бесконечный пролет в пространстве тех римских времен, кажущихся мне и моими собственными...

Снова прихожу в себя в той же темноте, но в неожиданном глубоком спокойствии: всюду немота, молчание, бури точно не было. Я встаю, неслышно сбегая в прихожую, отворяю наружную дверь: свежесть ночного воздуха, терраса и пальмы на ней, сад по уступам внизу – и уже неподвижное в белой звездной россыпи небо... Всюду предраассветное ничто. За домом, над темной лесистой горой, есть уже что-то

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
затаенное, обещающее, чуть светлеющее чем-то прозрачным, уходящим в вогнутую  
высь. Но нигде еще нет ни единого признака жизни. Округлые, от верхушки во все  
стороны раскинутые вайи пальм мертво висят черными клешнями. Ниже, над садом  
подо мной, над его скромно сереющими оливами, черно простираются плоские громады  
широковетвистых пиний. Впереди, в далекой глубине за ними, чуть различимо сквозь  
сумрак ночное, печальное лоно долин; еще дальше – сонная, холодная туманность:  
белесо застыло дыхание моря. К западу тучей означаются в небе хребты Эстереля и  
Мор. К востоку темнеет горб Антибского мыса. И таинственно и мерно, с  
промежутками, зорко прядет там, на горбе, белый огонь маяка...

Но вот он вдруг гаснет: небо за мысом стало легкое, тонкое, бледное! И где-то  
внизу подо мной, на какой-то ферме, кричит первый рассветный петух: еще сквозь  
сон, несознательно, но уж задирчиво, с напрягающимся хриплым клекотом двух  
разных голосов...

Еще одно мое утро на земле.

1944

(обратно)  
Пророк Осия\*

В Иудее показывали мне немало легендарных мест: вот пещера, где скрывался пророк  
Иеремия, вот развалины дома, в котором жил пророк Осия...

«Начало слова господня к Осии. И сказал господь Осии: иди, возьми себе жену  
блудницу и детей блуда: ибо сильно блудодействует земля сия, отступивши от  
господа...»

«И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлаима...»

Придержав верховую лошадь, проводник говорил:

– Вот здесь жил пророк Осия.

И я смотрел на груды неотесанных серых камней, – развалившийся остов первобытной  
хижины, проросшей огромным кактусом, под которым торчали кое-где края разбитых  
черепков... Ужели и впрямь тысячелетия тому назад жили они тут, Осия и Гомерь? Я  
долго стоял в оцепенении, думая о нем и о ней, глядя на безобразно завалившиеся  
камни, на толстые, усато-колючие лопасти кактуса, цветшего своим ядовитым желтым  
цветком...

«Книга Осии» одна из самых невразумительных и наиболее забытая из пророческих  
книг. Но история его личной жизни, будь она написана, не уступила бы, может  
быть, ни с чем несравненной «Книге Руфь». Ибо, по преданию, пророка Осию сделало  
пророком семейное горе: Гомерь была совсем девочка, а он был уже не молод; он  
был целомудрен, задумчив, грустен, а она, невзирая на свое детство, была  
безмерная блудница.

(обратно)  
Господин Порогов\*

«Илия же, муж косматый, препоясанный ремнем по чреслам своим, изыде на Кармил и  
преклонися на землю и положи лице свое между коленами своими и рече отрочищу  
своему: взыди и воззри на пути морские».

И вот бог дал мне высокую радость видеть воочию те «пути морские», синей хлябью  
уходившие вдаль от подножий Кармила.

Видел я в те счастливые годы и великий Некрополь Египта, развалины храмов и  
богов его, их прямые, спокойные позы – знак долголетия, неизменности. Видел на  
далеком пути к Суану пещеру святого Антония: знойно-сонный Нил в ложе мертвых  
пустынь, знойно-желтые обрывы скал, отсвечивающих в Ниле, и эту пещеру, – один  
из несметных египетских могильников. Там с восторгом думал я о том, что в дни  
Антония волосатые фиваидские отшельники созывали друг друга на молитву из этих  
пещер-могильников звуком коровьего рога.

За Суаном видел я малый остров Изиды и два храма Ее, дальше – черную Нубию и

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
Пороги нильские. И там думал о первом из Нильских богов, имя коего было:

– Господин Порогов.

Он мне чудился там, в этом страшном царстве египетского Юга, в вечном молчании его светоносных полдней, всюду незримо сущим и живым: диким, нагим, чернокожим исполином, со взором блестящим, как черный алмаз, с волосами «иссушенными и закурчавленными Солнцем».

(обратно)  
Три рубля\*

В тот летний вечер я приехал из деревни в наш уездный город по железной дороге, часу в девятом. Было еще жарко, от туч сумрачно, надвигалась гроза. Когда извозчик помчал меня, подымая пыль, от вокзала по темнеющему полю, сзади вдруг что-то вспыхнуло, дорога впереди на мгновенье озарилась золотом, где-то прокатился гром и крупными звездами зашлепал по пыли и пролетке быстрый, редкий дождь, тотчас же прекратившийся. Потом пролетка, сорвавшись под изволок с мягкой дороги, задребезжала по каменному мосту через пересохшую речку. За мостом дико чернели и металлически пахли городские кузни. На дороге в гору горел запыленный керосиновый фонарь...

В гостинице Воробьева, лучшей в городе, мне, как всегда, отвели комнату со спальней за перегородкой. Воздух в этой комнате с двумя затворенными окнами за белыми коленкоровыми занавесками был горяч, как в печи. Я приказал коридорному отворить окна настежь, принести самовар и поскорей подошел к окну: в комнате дышать было нечем. За окном уже чернела темнота, в которой то и дело вспыхивали молнии, теперь уже голубые, и катился, точно по ухабам, гул грома. И, помню, я подумал: до того ничтожный городишко, что даже непонятно, зачем так грозно вспыхивает над ним этот великолепный голубой свет и так величественно грохочет, сотрясается мрачное, невидимое небо. Я пошел за перегородку и, снимая с себя пиджак и развязывая галстук, услышал, как влетел с самоваром на подносе коридорный и стукнул в круглый стол перед диваном. Я выглянул: кроме самовара, полоскательницы, стакана и тарелки с булкой, на подносе была еще чашка.

– А чашка зачем? – спросил я.

Коридорный ответил, заиграв глазами:

– Там вас одна барышня спрашивает, Борис Петрович.

– Какая барышня?

Коридорный пожал плечом и манерно усмехнулся:

– Понятно, какая. Очень просила впустить, обещала рубль на чай, если хорошо заработает. Видела, как вы подъехали...

– Из уличных, значит?

– Ясное дело. Таких у нас никогда незаметно было: приезжие обыкновенно за барышнями к Анне Матвеевне посылают, а тут вдруг какая-то сама входит... Ростом замечательная и вроде гимназистки.

Я подумал о скучном вечере, который предстоял мне, и сказал:

– Это забавно. Впусти ее.

Коридорный радостно исчез. Я стал заваривать чай, но в дверь тотчас постучали, и я с удивлением увидел, как, не дожидаясь ответа, в комнату развязными шагами больших ног в старых холщовых туфлях вошла рослая девушка в коричневом гимназическом платье и соломенной шляпке с пучком искусственных васильков сбоку.

– Вот шла и забрела на огонек к вам, – с попыткой иронической усмешки сказала она, отводя в сторону темные глаза.

Все это было совсем не похоже на то, что я ожидал, я слегка растерялся и ответил не в меру весело:

– Очень приятно. Снимайте шляпку и присаживайтесь чай пить.

За окнами вспыхнуло уже фиолетово и совсем широко, гром прокатился где-то близко и предостерегающе, в комнату пахнуло ветром, и я поспешил затворить окна, обрадовавшись возможности скрыть свое смущение. Когда я обернулся, она сидела на диване, сняв шляпку и закидывая назад стриженные волосы продолговатой загорелой рукой. Волосы у нее были густые, каштановые, лицо несколько широкоскулое, в веснушках, губы полные и сиреневые, глаза темные и серьезные. Я хотел шутливо извиниться, что я без пиджака, но она сухо посмотрела на меня и спросила:

– Сколько вы можете заплатить?

Я опять ответил с деланной беспечностью.

– Успеем еще сговориться! Выпьем прежде чайку.

– Нет, – сказала она, хмурясь, – я должна заранее знать условия. Я меньше трех рублей не беру.

– Три так три, – сказал я с той же глупой беспечностью.

– Вы шутите? – спросила она строго.

– Нисколько, – ответил я, думая: «Напою ее чаем, дам три рубля и выпровожу с богом».

Она вздохнула и, закрыв глаза, откинула голову на отвал дивана. Я подумал, глядя на ее бескровные, сиреневые губы, что она, верно, голодна, подал ей чашку чаю и тарелку с булкой, сел на диван и тронул ее за руку:

– Кушайте, пожалуйста.

Она открыла глаза и молча стала пить и есть. Я пристально смотрел на ее загорелые руки и строго опущенные темные ресницы, думая, что дело все больше принимает нелепый оборот, и спросил:

– Вы здешняя?

Она помотала головой, запивая булку:

– Нет, дальняя...

И опять замолчала. Потом стряхнула с колен крошки и вдруг встала, не глядя на меня:

– Я пойду раздеваться.

Это было неожиданнее всего, я хотел что-то сказать, но она повелительно перебила меня:

– Затворите дверь на ключ и опустите шторы на окнах.

И пошла за перегородку.

Я с бессознательной покорностью и поспешностью опустил шторы, за которыми продолжали все шире сверкать молнии, будто стараясь поглубже заглянуть в комнату, и все настойчивее катились сотрясающиеся гулы, повернул в прихожей дверной ключ, не понимая, зачем я все это делаю, и уже хотел было войти к ней с притворным смехом, перевести все в шутку или соврать, что у меня страшно разболелась голова, но она громко сказала из-за перегородки:

– Идите...

И я опять бессознательно повиновался, вошел за перегородку и увидел ее уже в постели: она лежала, натянув одеяло до подбородка, дико смотрела на меня совершенно почерневшими глазами и сжимала постукивающие зубы. И в беспамятстве растерянности и страсти я дернул одеяло из ее рук, раскрыв все ее тело в одной

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин коротенькой заношенной сорочке. Она едва успела поймать голой рукой деревянную грушу над изголовьем и потушить свет...

Потом я стоял в темноте возле раскрытого окна, жадно курил, слушал шум отвесного ливня, низвергавшегося в черном мраке на мертвый город вместе с ярким и быстрым трепетом фиолетовых молний и дальними ударами грома, думал, вдыхая дождевую свежесть, смешанную с запахами города, накаленного за день: да, непонятное соединение – это жалкое захолустье и это божественно-грозное, грохочущее и слепящее в ливне величие, – и все больше дивился и ужасался: как же это я все-таки не понял до конца, с кем я имею дело, и почему она решилась продать за три рубля свою девственность! Да, девственность! Она окликнула меня:

– Закройте окно, очень шумит, и подите ко мне.

Я вернулся в темноте за перегородку, сел на постель и, найдя и целуя ее руку, стал говорить:

– Простите, простите меня...

Она бесстрастно спросила:

– Вы думали, что я настоящая проститутка, но только очень глупая или сумасшедшая?

Я поспешно ответил:

– Нет, нет, не сумасшедшая, я только думал, что вы еще мало опытны, хотя уже знаете, что некоторые девицы в известных домах надевают гимназическое платье.

– Зачем?

– Чтобы казаться невиннее, привлекательнее.

– Нет, я этого не знала. У меня просто нет другого платья. Я только нынешней весной кончила гимназию. Тут внезапно умер папа, – мама умерла давно, – я из Новочеркасска приехала сюда, думала найти тут через одного нашего родственника работу, остановилась у него, а он стал приставать ко мне, и я ударила его и все ночевала на скамейках в городском саду... Я думала, что умру, когда вошла к вам. А тут еще увидала, что вы хотите как-нибудь отделаться от меня.

– Да, я попал в глупое положение, – сказал я. – Я согласился впустить вас просто так, от скуки, – я с проститутками никогда не имел дела. Я думал, что войдет какая-нибудь самая обыкновенная уличная девочка, и я угощу ее чаем, поболтаю, пошучу с ней, потом просто подарю ей два-три рубля...

– Да, а вместо этого вошла я. И почти до последней минуты старалась держать в голове одно: три рубля, три рубля. А вышло что-то совсем другое. Теперь я уже ничего не понимаю...

Ничего не понимал и я: темнота, шум ливня за окнами, возле меня лежит на постели какая-то новочеркасская гимназистка, которой я до сих пор не знаю даже имени... потом эти чувства, что с каждой минутой все неудержимее растут во мне к ней... Я с трудом выговорил:

– Чего вы не понимаете?

Она не ответила. Я вдруг зажег свет, – передо мной блеснули ее большие черные глаза, полные слезами. Она порывисто поднялась и, закусив губу, упала головой на мое плечо. Я откинул ее голову и стал целовать ее искаженный и мокрый от слез рот, обнимая ее большое тело в спустившейся с плеча заношенной сорочке, с безумием жалости и нежности увидел ее пропыленные смуглые девичьи ступни... Потом номер был полон сквозь спущенные шторы утренним солнцем, а мы все еще сидели и говорили на диване за круглым столом, – она с голоду допивала холодный чай, оставшийся с вечера, и доедала булку, – и все целовали друг другу руки.

Она осталась в гостинице, я съездил в деревню, и на другой день мы уехали с ней на Минеральные Воды.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
Осень мы хотели провести в Москве, но и осень и зиму провели в Ялте – она начала гореть и кашлять, в комнатах у нас запахло креозотом. А весной я схоронил ее.

Ялтинское кладбище на высоком холме. И с него далеко видно море, а из города – кресты и памятники. И среди них, верно, и теперь еще белеет мраморный крест на одной из самых дорогих мне могил. И я уже больше никогда не увижу его – бог милосердно избавил меня от этого.

1944

(обратно)  
Крем Леодор\*

– Послушай, – говорит он, сдвигая брови. – Так дальше продолжаться не может. Я давно хотел поговорить с тобой серьезно...

Щелкнув плоским золотым портсигаром, закуривает новую папиросу, швырнув окурочек в камин.

Она, в японской прическе, в цветистом кимоно, полулежит на атласных подушках на оттоманке, сбросив на ковер соломенные сандалии и подобрав под себя босые ноги, показывая голые блестящие колени под короткой, точно детской розовой сорочкой, мягко выгнув талию, отставив овальный зад; просматривает объявления в газете «Харбинская заря» и отвечает, не поднимая глаз:

– Я слушаю.

Он, прислонясь к камину, отрывисто затягиваясь и тревожными, сумасшедшими глазами то и дело взглядывая назад, в зеркало над камином, начинает говорить – страстно, старательно, книжно, выделяя запятые и придаточные предложения. Она иногда взмахивает на него пушистыми детскими ресницами синих ангельских глаз, но все Смотрит вкось на газету: «Вышел в свет новый роман Марка Долинского „Маскарад чувств“, около четырехсот страниц убористой печати. В этом романе талантливый автор смело подходит к щекотливой теме: жена или любовница? – сочными мазками давая яркий образ героя, запутавшегося в противоречиях душевных эмоций и звериного зова разнузданной плоти».

– Я прошу тебя слушать! – говорит он резко и громко. – Брось газету!

– Я все прекрасно слышу. Только я совершенно не понимаю, какая муха тебя укусила...

– Эта муха кусает меня с самого приезда нашего в Париж! Еще в Харбине я не раз говорил тебе совершенно определенно: совместная жизнь, налагающая как на мужчину, так и на женщину известные обязательства, повелительно требует...

Она встряхивает стриженной и подвитой головой и опять косит глаза: «Красивые руки нежного матового оттенка легко приобретаются, ухаживая за ними кремом Леодор. Этот крем с чудным запахом цветов поможет каждой элегантной женщине оставаться победительницей, отвечая всем требованиям, которые ставятся к современным средствам ухода за красотой...» Потом, не глядя на него, говорит как можно естественнее:

– Я все-таки не могу понять, что ты хочешь от меня. Какие еще обязательства нужны тебе? Я не виновата, что кто-то как-то смотрит на меня...

Он опять швыряет окурочек, опять щелкает портсигаром и полоумно взглядывает назад, в зеркало: лицо, на мгновение отразившееся в зеркале, кажется ей кривым, как всякое отражение чужого лица. Это ей смешно, но она тупо и грустно продолжает:

– Я не виновата, что ты всюду и всегда... Он запальчиво перебивает:

– Виновата или не виновата, но я знаю одно! То, что этот прохвост позволяет себе обращаться с тобой как с своей б... И я заявляю тебе в последний раз...

Она опять косится:

«Издательство „Пропилеи“ только что выпустило в продажу роскошно изданный

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
содержательный труд известного германского ученого д-ра Адольфа Кайзера „Техника любви“, который несомненно явится настольной книгой для всякого живущего сексуальной жизнью и пытающегося познать ее в самых сокровенных формах и проявлениях, со множеством пикантных иллюстраций в тексте на лучшей меловой бумаге. Труд этот поднял в Германии целую революцию и разошелся в громадном количестве экземпляров, представляя собой целую симфонию оттенков страсти...»

Он решительно застегивает пиджак, сверкая глазами:

– Я твердо говорю в последний раз: если ты...

Она вдруг вскакивает, сбрасывая с оттоманки толстенные ноги с золотыми ногтями, и жалобно вскрикивает тонким голосом:

– Ты запутался в противоречиях разнузданного зова! Оставь меня, ради бога, в покое!

<1944>

(обратно)  
Памятный бал\*

Было на этом рождественском балу в Москве все, что бывает на всех балах, но все мне казалось в тот вечер особенным: это все увеличивающееся к полночи нарядное, возбужденное многолюдство, пьянящий шум движения толпы на парадной лестнице, теснота танцующих в двусветном зале с дробящимися хрусталем люстрами и эти все покрывающие раскаты духовой музыки, торжественно гремевшей с хор...

Я долго стоял в толпе у дверей зала, весь сосредоточенный на ожидании часа ее приезда, – она накануне сказала мне, что придет в двенадцать, – и настолько рассеянный, что меня поминутно толкали входящие в зал и с трудом выходящие из его уже горячей духоты. От этого бального зноя и от волнения, с которым я ждал ее, решившись сказать ей наконец что-то последнее, решительное, было и на мне все уже горячее – фрак, жилет, спина рубашки, воротничок, гладко причесанные волосы, – только лоб в поту был холоден как лед, и я сам чувствовал его холод, его кость, даже белизну его, казавшуюся, вероятно, гробовой над резко черными глазами: все было обострено во мне, я уж давно был болен любовью к ней и как-то волшебным боялся ее породистого тела, великолепных волос, полных губ, звука голоса, дыхания, боялся, будучи тридцатилетним сильным человеком, только что вышедшим в отставку гвардейским офицером! И вот я вдруг со страхом взглянул на часы, – оказалось ровно двенадцать, – и кинулся вниз по лестнице, навстречу все еще поднимавшейся снизу толпы, откуда несло и пронизывало морозным холодом всего меня сквозь фрак, легкость и тонкость которого еще так непривычна была всегда для меня после мундира. Сбежал я, несмотря на толпу, с необыкновенной быстротой и ловкостью и все-таки опоздал: она стояла, среди вновь приехавших и раздевавшихся, уже в одном черном кружевном платье, с обнаженными плечами и накинутом на высокие бальные волосы оренбургском платке, ярко блестя из-под него ничего не выражающими глазами. Скинув платок, она молча протянула мне для поцелуя руку в белой и длинной до круглого локтя перчатке. Я от страха едва коснулся губами перчатки, она, придерживая шлейф, молча взяла меня под руку. Так молча и поднялись мы по лестнице, я вел ее как что-то священное. Наконец зачем-то спросил пересохшими губами:

– Вы нынче танцуете?

Она ответила, прищуриваясь, глядя на головы поднимавшихся впереди, не в меру кратко:

– Не танцую.

И, пройдя в зал, осталась стоять у дверей. Она продолжала молчать, точно меня и не было, но я уже больше не владел собой: боясь, что потом может и не представиться удобной минуты, вдруг стал говорить все то, что весь вечер готовился сказать, говорить горячо, настойчиво, но бормоча, делая безразличное лицо, чтобы никто не заметил этой горячности. И она, к великой моей радости, слушала внимательно, не прерывая меня, смотря на танцующих, мерно махая веером из дымчатых страусовых перьев.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

– Я знаю, – говорил я с безразличным лицом, но все горячее и поспешнее, мучительно сдерживая дрожавшую на губах улыбку счастья от того, что она так терпеливо слушает меня, должно быть только делая вид, что занята танцующими, – я знаю, – говорил я, уже не веря своим словам, – что я не смею ни на что надеяться... Вот вы нынче даже не позволили мне заехать за вами...

Тут она, все так же не глядя на меня, безразлично заметила:

– Мой кучер прекрасно знает дорогу сюда.

Но я принял это за шутку и продолжал еще настойчивей:

– Да, я ничего не жду, с меня довольно и того, что вот я стою возле вас и имею жалкое счастье высказать вам наконец полностью все то, что я так долго не договаривал... Уж одно это, – бормотал я, вытирая платком ледяной лоб и не сводя глаз с ее длинной ресницы в пылинках пудры и с разреза губ, – уже только это одно...

Извиваясь среди танцующих, к нам подбежала веселая рыжая барышня с последним букетиком ландышей в плетеной корзиночке. Я бессмысленно взглянул на ее обрызганное веснушками личико и торопливо положил в корзиночку пятьдесят рублей, не взяв букетика. Барышня мило улыбнулась, присела и побежала дальше. Я хотел продолжать, но не успел, – заговорила и она наконец.

– Как надоела мне эта фарфоровая дура, ни один бал без нее не обходится, – сказала она, продолжая махать на меня веером теплый воздух и глядя на белокурую красавицу, приближавшуюся к нам вместе с прочими танцующими в паре с офицером-грузином. – Жаль, что вы не взяли ландышей, я бы сохранила их на память о нынешнем бале... Впрочем, он и так будет памятен мне.

Я с трудом передохнул от восторга и, опустив глаза, с трудом вымолвил:

– Памятен?

Она слегка повернула ко мне голову:

– Да. Я уже не раз слышала ваши признания. Но нынче вы имели, как вы выразились, «жалкое счастье» высказаться наконец «полностью» относительно своих чувств ко мне. Так вот, нынешний бал будет мне памятен тем, что я тоже уже «полностью» возненавидела вас с вашей восторженной любовью. Казалось бы, что может быть трогательнее, прекраснее такой любви! Но что может быть несноснее, нестерпимей ее, когда не любишь сама? Мне кажется, что с нынешнего вечера я не в силах буду даже просто видеть вас возле себя. Вы подозревали, что я в кого-то влюблена и потому так «холодна и безжалостна» к вам. Да, я влюблена – и знаете в кого? В моего столь презираемого вами супруга. Подумать только! Ровно вдвое старше меня, до сих пор первый пьяница во всем полку, вечно весь багровый от хмеля, груб, как унтер, днюет и ночует у какой-то распутной венгерки, а вот поди ж ты! Влюблена!

Я с головокружением поклонился ей и медленно выбрался из толпы на площадку лестницы, думая, что уже ничего, кроме самоубийства, не остается мне после такого позора. Но там, в толпе, я должен был обойти какого-то неподвижно стоявшего на расставленных ногах, заложившего руки с шапокляком за спину, немолодого господина, грубого и крупного, в просторном поношенном фраке, в прическе а ля мужик. И в ту же минуту прошла мимо него с раскрытым перламутровым веером в слегка дрожавшей руке тонкая, высокая девушка в бледно-розовом газовом платье, невнятно, мертво, закрываясь веером, выговорила: «завтра, в четыре», – и, ало покраснев, скрылась в толпе. Он, все так же твердо стоя на расставленных ногах и помахивая за спиной шапокляком, с самодовольной усмешкой прикрыл гл< за в знак того, что слышал ее. Я дерзко шагнул к нему и, замирая от бешеной зависти, раздельно сказал, как заправский скандалист:

– Милостивый государь, вы мне ужасно не нравитесь.

Он удивленно поднял брови:

– Что с вами? И с кем я имею честь...

Я запальчиво перебил его:

– Я сейчас поставлю вас в известность, кто я, а пока скажу, что вы хам и что я вызываю вас.

Он сдвинул ноги, выпрямился:

– Вы пьяны? Вы сумасшедший?

Нас уже обступили. Я бросил в лицо ему свою визитную карточку и, задыхаясь, с торжественной театральностью сумасшедшего, пошел по лестнице вниз...

Вызова с его стороны, конечно, не последовало.

29 апреля 1944

(обратно)  
Ловчий\*

В людской избе, на большой печи, в сумраке, зиму и лето лежал Леонтий, длинный и невероятно худой, заросший седой щетиной бороды, бывший бабушкин повар. В летние дни в людской часто бывало пусто, один Леонтий лежал на печи. На столе были прикрыты рядом черные хлебы. Я приходил, садился на лавку, отламывал корку, солил и ел. А Леонтий лежал и говорил:

– Да, барчук, не всегда я так лежал, мусором голову пересыпал. Не всегда и поваром был. Я у вашего дедушки по бабушке, у Петра Алексеича Чама Дурова, ловчим был, стаей правил.

– Стаей собак?

– Так точно. Не телят же! Был сперва простым доезжачим, борзых, значит, вел, а вследствие времени ловчим стал. А ведь это вам не книжку прочесть, тут даже простого русака оследить, и то надо ум иметь. Вот хоть взять охотничий подклик – тут не одно хайло нужно! Тут кураж нужен. А я, бывало, как наддам: «О, гой!» – так весь лес дрогнет! Опричь того, был дедушка ваш охотник смертный, завзятый, – ему угодить не всякий мог. Была у него заветная наложница, девка именем Малашка, – я потом расскажу вам как-нибудь, как я из-за нее погиб, попал под страшный сюркуп... Уж как он людей своих терзал, до чего неприступен был! А эта Малашка просто веревки из него вила, он за нежное ее притворство на все был готов. «Она мне, Леонтий, милые всех на свете!» Так прямо и говаривал мне. Я ему в ответ, что не может того быть, что, мол, это вы только замысловато шутить изволите, а он мне еще тверже того: «Нет, не шучу, и ты изволь слушать меня с примечанием». Ну, а я все противных мыслей был, все думал про себя: погодите, погодите, сударь, покажет она вам себя в некий срок! Ведь на сусле пива не узнаешь, ведь сейчас-то она пока девчонка, а вот как станет в лета входить... Они же между тем вдаль свои мечты не простирали, – мол, когда-то еще это будет! Мы такое заведение имели, после осенних охот был у нас завсегда большой публичный стол, так что ж вы думаете? – они эту девку с гостями сажали! Ну, а после Малашки начет охоты с ума сходили, и охоту держали мы истинно знаменитую. Так собаку любить, как дедушка любили, никто во вселенной не мог. Они всякую охоту обожали, – и ла шас о леврье и о шьен куран[24] – иной раз интересовались даже и мокрой, а весной по брызгам...

– Какой мокрой?

– А всякой, значит, болотной. И каких только собак у нас не было! Были понтеры, были сетеры, были лягавые, а борзым и гончим и счет потеряешь – их за усадьбой целый стан у нас стоял. Ну и я гончих и борзых любил – может, не меньше дедушки. Из того и холостой навек остался, не увлекался самыми первыми красавицами. Да и некогда было, круглый год только стая на уме. Да и что эти красавицы, барчук! Все, как говорится, на один и тот же вкус, подобно курице, – что черный, что белый хохол. Все эти понтеры, сетеры, лягавые мне были нипочем, ружья я и не знал. Бывало, спросит дедушка: «Ну как, Леонтий, на твой взгляд, моя новая лягавая?» Хороша, скажешь, сударь. Стоит мертво, подает отлично. Они опять изволят ко мне приставать: «Нет, ты скажи мне, пожалуй, хорошенько, что ты точно думаешь?» Да что ж, говорю, могу я точно думать? Не возьмите во гнев: не могу я ни понтера, ни сетера, ни лягавую любить, из какого гнезда они ни будь.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
– Как из гнезда?

– А это всегда так, сударь, говорилось: из дурного гнезда собака, из хорошего гнезда собака... из какой фамилии, значит.

– А как еще говорилось?

– Да мало ли как. Теперь так уж не могут говорить.

– Ну скажи что-нибудь.

– Да что ж не к делу говорить? Это подобно тому, как песню петь некстати. Вот была, к примеру сказать, самая главная песня у нас – лучше этой песни, на мой сгад, на свете нет, а петь ее надо было тоже ко времени. Это была самая наша задумевная: «Выпьем, други, на крови!» Эту песню, сударь, пели на добыче:

Выпьем, други, на крови!

И вот уже истинно картина была: лежит на поляне взятый зверь, кровяной, гордый, уж с пленкой на глазах, с закушенным языком, а округ него целой ассамблеей охотники – вдарись в рог, и грянут все хором: «Выпьем, други, на крови!» И вот какое дивное дело бывало почесть всегда: как нарочно о ту пору солнце выглядывало! То все дождь сеет, а тут как раз стихнет, разойдется мга, засинеет в небе и солнце глянет: весь мокрый лес озарит, согреет, сделает такой апофеоз – вовек не забудешь! А дедушка стоят во всем своем охотничком наряде замечательнее всех, с чаркой в руке, а возле них – их самый главный фаворит Победим...

– Это его гончий кобель?

– Так точно-с.

– Так ведь ты как-то говорил, что Победим уж старый был?

– Что ж, что старый! Прямо герой был даже и в ту пору! Он раз в одно поле...

– Это значит сразу?

– Никак нет. За один день, лучше сказать, за одно полевание. Он за этот день взял целых пятерых лобанов! Был из себя приземистый, брудастый, иначе сказать, усатый, и мастью муругий, – вроде как черный, только с красниной, – лапы стойкие, в локотках с кривизной немножко, а уж про грудь и говорить нечего: Еруслан! И весь в цапинах и хватках – волки не раз пятнали. Мы его на Бушуя у князя выменяли, молодым еще, он тогда еще не опсовел как следует, а уж видно было, что из него будет. А Бушуй, хоть и знаменит был, да уж стал на балалайке поигрывать...

– Как это на балалайке?

– Паршиветь с годами стал. Сядет – и ну лапой бить по бокам, по ушам!

– А что значит не опсовел?

– А это всегда так говорится про молодого кобеля, – значит, еще не стал настоящим псом. Да и про суку тоже: молода, мол, еще не опсовела. Эта как про зверя говорят, про волка: прибылой значит молодой, а если старый, то это в просторечии лобан, матёрый. Если же взять, к примеру, зайца, так он бывает, во-перввых, февральский, настовик...

– Почему настовик?

– По той причине, что о ту пору снег уж крепко занастел, коркой, настом покрылся, а он любит по этому насту жировать, иначе сказать, играть, петли делать. Вон лисица, та любит мышковать, мышей по полю промышлять, вроде как дворовая сучка по полю за ними мышкует, сычует, – ведь сычи и совы тоже за ними охотятся, – а заяц, он только с жиру играет, жирует. И это настовик называется, а старый русак, он голубой: он уж, значит, выцвел, серую шерстку спустил.

– Ну, хорошо, а как же это Победим в одно поле пять лобанов взял?

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

– А так и взял. Очень лют был. И характера самодурного, угрюмого. Пока не разровнялась охота, идет будто скучный, равнодушный. Он от свор, от стаи всегда одиночкой ходил, беспременно возле дедушки, и все будто что-то думает, хмурится, никуда не спешит. Да и дома такой же. Бывало, кричишь на-корму: «Атрыш!» – чтобы, значит, не кидались собаки не вовремя к корму, а он и не слушает – стоит отвернувшись, сам, мол, знаю время. Кричишь наконец того: «Надбруц!» – значит, разрешаешь на корыто с запаркой кинуться – он опять не спешит, подходит будто нехотя, и уж тут не стой другая собака возле него близко – так рыкнет да оскалится, что дай бог ноги унести! Вот я и говорю: все, бывало, сам по себе ходил, возле дедушки. И умен до того, что только не говорит: будто и не смотрит, а всякий дедушкин взгляд видит, знает и от его стремени, пока работы нету, ни на шаг. А уж это, по охотничьим замечаниям, много значит. Так и говорится: умница собака, от стремени без дела ни на пядь.

– А еще какие у вас знаменитые кобели были?

– Гончие то есть? Был Будило, Карай, Вопило, Пылай... Были сучки отменные, чистопсовые, все больше крас-нопегие: Вьюга была, Стрелка, Заира... Эта Заира воейковскую ласку с ушей обрывала!

– Перегоняла?

– Так точно.

– У ней щипец хорош был?

– Не кстати, сударь, говорите. Слышали звон, да не знаете, где он. Щипец, а попросту говоря, пасть, это только у зверя бывает. Это как всякий хвост поленом называется, а лисий – трубой. Хвост не охотничье слово.

– А лисий след – нарыск?

– Не нарыск, а нарыск, – тут надо на «на» упираться. Она рыскает, вот и выходит нарыск.

– А где ее ждуть? На лазу?

– И опять ни к чему вы говорите. Тут опять на «зу» надо упираться – на лазу! – а главное, это не лисицу, а волка ждуть на лазу, там, значит, где он вылезает, да и то не всегда – мало ли где его ждуть! И что ж это вы все меня сбиваете, слова не даете сказать? Вот я уж и забыл, о чем была речь.

– Ты про Победима хотел рассказать.

– Ну да, а вы все сбиваете. Вот я и говорю – приказали раз дедушка большой охоте быть. Раз говорят мне: «Знаешь, Леонтий, я даже ночь вчерась не спал, упражнен будучи с самой ужины воображением насчет наших охот. Разбился в идеях, куда ж нам на полеванье итить? Надоели мне наши скаредные места. Конечно, легче в безделицах упражняться, нежели в делах изрядных, иначе это не мой вкус. Будем брать поле в Верховье». Уж очень, говорю, непролазные места, сударь. Тем лутче, говорят, молчи и слушай мое готовое. Потом, после ужины...

– После ужина?

– Это теперь так выражаются, а мы говорили по-своему, по-старому. Ну так вот, дали после ужины повторительный приказ камердинеру, чтобы как можно скорей кофий им нарани подали. Опочивать изволили рано, по разговорах со мной вскорости к себе ретировались, поутру же были изрядно строг, все вполслова приказывал. Чем свет опять меня зовут. Леонтий, говорят, повторяю тебе – мы нынешний год сраммимся до девятой пуговицы, большой охотой все манкируем, с поля иной раз уходим, не выдав ни шерстинки. Я отвечаю, что, мол, не наша в том вина, время все стояло теплое, всякая зверь хоронилась, не в рыску была...

– На «ку» надо упираться?

– Так точно. Значит, не рыскала. Ездили, говорю, раза два по белотропу...

– Это по первой пороше?

– Ах, сударь, замучили вы меня! Ну, конечно, так. Ездили, говорю, по белотропу, а он под копытом таял – разве эта охота? Все перемочки, изгарь, сырая прохолодь... Вот теперь другое дело, и зверь уж вылез как следует...

– Откуда вылез?

– Из лесу. Эта когда он позднюю осень почует и в лесу больше не хоронится, а в поле выходит. Опять же, говорю, и Победим хворал, а мы все на Катая надеялись, с ним роль хотели разыграть... (Дедушка тогда только что выменяли у Рудина на Резвую этого Катая и увлекались, понятно.) Катая, говорю, нельзя покорить, собака ладная и с ногами, работает правильно, да разве Победиму чета?

– А какой Катай был? Чернопегий, краснопегий или полвопегий? Брудастый?

– Ишь как вы наострились, сударь! А спроси вас, какой такой полвопегий, ан и не знаете.

– Нет, знаю. Белый в желтых пятнах.

– Правильно-с. А брудастый?

– Ты это уже говорил. Усатый.

– Опять верно. А подуздый?

– А это когда нижняя челюсть маленькая.

– В аккурат верно. А Катай был чернопегий и брудастый. Ну хорошо, только опять мы с вами с дороги сбились, надо вам досказать про Победима. Вышли в тот день дедушка на крыльцо раным-рано, огляделись – ну, говорят, с богом на-конь! Двинулись мы всем нашим многолюдством, прошли по венцу нашей горы, выровнялись на простор, поднялись дедушка на своем буланом на темя и приказали зачинаться полю...

– На какое темя?

– Ах, царица небесная! Ну как это сказать! На возвышенное место, попросту говоря... Шли сперва по мелочам, по мелкому, значит, кустарнику, потом свалились в луга к лесу, перешиб я луга рысью и стал подвывать. Только отголосу не слышу никакого, – верно, думаю, они на добыче. Выскочила было лисица да скатилась в овраги и сразу понорилась, ушла в свое нырище, не стали мы на нее и время терять. Потом подозрил я русака, хлопнул арапельником – заложились за ним Стрелка с Заирой по грани, сладились...

– По грани? Это по рубежу, значит?

– По меже, по рубежу... Спят, спют...

– Настигают?

– Понятное дело. Спят за ним почесть ухо в ухо, только стал он вдруг отростать от них...

– Как это отростать?

– Уходить, сударь, уходить. Да Заира не глупей его была – наддала маленько, сбила его с грани и покатила вместе с ним, а тут стая и накрыла их. Дедушка кричит: «Прими!» – а я уж давно принял...

– Заколот?

– Конечно, заколот, да кто ж так-то говорит? Приказная строка какая-нибудь! Да не в том дело, сударь, я все это к тому, что, кроме этих пустяков, ничего мы в тот первый день не сделали до самого вечера. Вечеру ветрели охоту Рудина, сбили обе стаи в одну и пошли к нему на наслег, подвалили к усадьбе...

– На ночлег?

– На наслег, сударь, на наслег. А у Рудина...

Но мне, как это часто бывает с детьми, вдруг становилось скучно, хотелось в сад, на пруд. Я начинал вертеться, уже плохо слушал, что было у Рудина, и наконец под каким-нибудь предлогом ускользал из избы, пообещав Леонтию прийти дослушать его завтра. И Леонтий опять оставался один в сумраке на печи, в пустой избе, со своими думами о временах дедушки.

(обратно)  
Полуденный жар\*

Жаркий день, вся дворня на покосе, усадьба кажется брошенной, – во всей усадьбе только я и дурочка Глаша. Она гостит у нас, теперь сидит под раскрытым окном людской, обращенной задом к солнцу, темной, полной мух и, оттого что в ней пекли утром хлебы, очень жаркой. Сидит и что-то говорит: часто сидит так до самого вечера и все говорит, вслух думает. Я вышел из дому, – увидав меня, кличет к себе:

– Папаша, поди-ка ко мне. Поди, не бойся.

Я вхожу в тень избы и сажусь под окном на скамейку.

– Чего ж мне бояться, Глаша, я не боюсь.

Она с ласковым сожалением качает головой:

– У, дурак, дурак. Как же не бояться? Я глупая, убогая, а спокон веку боюсь. Все думаю, все боюсь. Прежде лежала сколько лет, а он меня в тележке возил...

– Кто возил?

– Оська возил, сирота, отрок божий, первый вор был на всех ярманках, потом, сказывали, в остроге в Задонске сидел. Я, бывало, лежу, а он меня везет, по всем деревням впричет кричит, милостинку на меня просит, а я лежу, я, мол, убогая, безногая. Мне не бог ножки отнял, я сама отлежала их, сама в тележку легла, а то кто ж бы мне дал, кто милостинку сотворил? Никто бы не дал, дур и так на свете много, побирушек, папаша, много, а народ, он жадный. Они все, мужики-то, жадные, всякому жалко с копейкой расставаться, а корку хлебную, горбушку, он ее блажей цыпленку размочит, цыпленка своего напичкает. Я и лежу, а он кричит, по полям, по деревням, меня везет, по ярманкам. По ярманкам хорошо бывает, народ гамит, карусели летят, музыка, колокольчики, по церквам трезвон, не то что в поле, там-то и есть самый страх и жар.

– Какой страх и жар?

– У, дурак, дурак. Какой же бывает жар? Полуденный жар, в какой Еву полуденный бес искусил. А как бросил Оська меня возить и тележку себе взял, я сама, папаша, стала просить, сама стала ходить, меня теперь все знают, все почитают, на станцию приду, жандар честь отдает, буфетчик чаем угощает. А по полям, по степям, нету там, папаша, живой души, одни видения.

– Что ж тебе там видится? Задумалась, стала говорить, глядя вдаль:

– В церковь венчать привезли меня, папаша. Жених высокий, лютый, а красивый, загляденье. Загляденье, до чего хорош! Свечи зажгли, венцы на нас надели. Народ стоит, а никто ничего не говорит. Боятся, папаша. Боятся. А на мне будто портки черные, пинжак черный, я и рада, хорошая стою. Рада, веселая...

– Ну и что ж? Перевенчали вас, а потом? Она очнулась от задумчивости.

– У, дурак! Нешто можно спрашивать? Он блуд со мной сотворил, а у меня сердце зашлось, я аж петухом закричала от той ужести, проснулась и вся трясусь, плачу, рыдаю, а на меня ангелы крыльями дуют со всех сторон, ничего не видать, темь, погреб, а я вижу, как они белеются, вихрем вьются округ меня... У, дурак, дурак! – ласково и восторженно сказала она грубым голосом и захохотала диким, блаженным хохотом. – А ты говоришь: не бояться! Как же не бояться?

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
Успокоившись, опять заговорила задумчиво:

– Да, вот он преподобный был, а как погибал! Он святой был, Серафимом звали, ангелом, а сперва простой будильщик был. Была там обитель в лесу, а он монахов будил: «Вставайте, вставайте, душу не проспите!» По ночам их будил. Семь лет будил, послушанье нес, потом дьяконом сделали. А то все будил: вставайте, мол, – бесы на вас по кельям глядят, глазами горят, дыхают, кахают. А как дьяконом стал, еще пуще страсти натерпелся. Выйдет, выйдет к народу, поднимет орарь, хочет возгласить, ан нет, ничего не может закричать. Народ стоит, ничего не видит, а он видит, и то в жар его кинет, то в чистый мороз: то красный как кумач делается, то как снег белый. Да. Народ молчит, и он молчит, только одно видит: по всей церкви ангелы служат, по воздуху плывут, кадилами, дымом машут, грозой сверкают, ризы белые, крылья белые... Я тогда у батюшки гостила, он все это мне сказывал, по книжке читал. Как пьяный, так читать. Без умолку читал!

– У какого батюшки?

– У, как же не знаешь? У отца Федора, Успенье Пресвятой Богородицы. Церковь Успенья царицы небесной. И она, милый, тоже померла! Померла, папаша! И у него сын помер, от чахотки погиб, отец пьяница, и он пьяница был. Вошли, а он на диване лежит, закатил глаза, за рубашку, за грудь себе сгреб и только пену с губ пускает. Матушка вошла, поглядела – дышит, мол, ай уж нет? Нет, папаша, ничего не дышит! Царство небесное! Заплакала, залилась, чего ж вы, кричит, в больницу не съездили! А батюшка на пасеке был, рой пчелиный огребал, а он один в горнице лежал на этом диване... Потом раздели всего, на пол стащили, пришли старухи с горячей водой, с ведрами, стали его мыть, а он лежит, папаша, белый весь, как пшеничная мука белый, голый. Потом рубашку на него крахмальную надели, на стол в ней положили, совсем новая была. Потом стали нищим его добро раздавать, мне его прежнюю подарили, с косым воротом, а я взяла да ночью в бурьян бросила, он помер в ней, как же мне ее носить? А гроб шибко несли! Батюшка спешит, кадилом взвывает, а сам плачет, рыдает: Коля мой, Коля, что ж ты надо мной наделал! Как же я тебя своими руками хоронить буду? Лучше сана лишусь, а сам не могу! А я, убогая, глупая, свое думаю, свое вспоминаю, как меня хоронили.

– Как это тебя хоронили, Глаша? Что это ты говоришь?

– Хоронили, милый, хоронили. Все архиереи собрались, все священники. Везет меня Оська в степи, а тут рабочая пора вот-вот, все косить пойдут, все ржи сухие, желтые, горячие, – гляну, гляну, а им конца-краю нету, желтые, аж глаза ломит, жар огнем душит, и нигде-то ни души живой, ни голоса, будто все на свете смолкли, померли! Хлеб стоит, горит, грач и тот боком на дороге сидит, бельма завел, закатил, огнем во весь зоб дышит. А я лежу, закрыла глаза и лежу, меня мухи, оводы едят, а он, Оська, как пьяный идет, качается, босиком в пыли месит, нагнулся вперед, тащит меня, вся спина, вся рубаха от мух черная, пьют его пот... Он бы давно ограбил, убил меня в этой степи, в этот жар и зной, сам мне это говорил, со слюнями смеялся дурак, и никто бы на свете ничего не знал, не слышал, она, эта степь, до самого моря идет, да что ж он мог ограбить у меня! Один дерюжный мешок с корками, с печеными яйцами, с медными копейками. Что с меня, милый, взять? Я и задремала, только слышу вдруг – идут и поют, идут на нас по этим желтым ржам и все громче поют, все в ризах золотых, в черных и серебряных... Я глянула, а они прямо на нас идут, хороните, поют, рабу божию во блаженном успении, машут на меня горячим ладаном! Закричал тут Оська дурак не своим голосом и помчал во весь дух, куда глаза глядят, – тем мы, папаша, и спаслись, тем только и спаслись, милый. А то бы давно мои косточки в земле гнили!

1947

(обратно)

«В такую ночь...»\*

Под Одессой, в светлую, теплую ночь конца августа.

Шли, гуляя, по высоким обрывам над морем. Глядя на его широкую сияющую равнину, начал с шутливой важностью декламировать:

Луна блестит. В такую ночь, как эта..

Она взяла его под руку и продолжала:

В такую ночь

Тревожно шла в траве росистой Тизба...

– Позвольте, позвольте: откуда это вы такая ученая, что даже Шекспира знаете?

– Оттуда же, откуда и вы. Не всегда же была добродетельной супругой и обывательницей богоспасаемого Конотопа. Киевскую гимназию с золотой медалью кончила.

– Ну, знаете, это так давно было...

– Это что же – милые дерзости? Ошибаетесь – всего двенадцать лет.

Он покосился на ее высокую, прямую фигуру, на оживленное лицо в веснушках:

– Правильно. Я еще позавчера, как только с вами познакомился, дал вам лет тридцать. Но это для хохлушки уже старость.

– Оставьте в покое мою старость. И я вовсе не хохлушка, а казачка. Лучше скажите, кто это Тизба, я забыла.

– А черт ее знает. Все равно – дальше что-то чудесное, насколько помню.

– Совершенно чудесное:

И тень от льва увидев прежде льва,

Вся ужасом объятая, пустилась

Стремительно бежать...

Он грустно продолжал:

В такую ночь печальная Дидона

Стояла на пустынном берегу...

Она кончила в тон ему:

В такую ночь

Медея шла, в полях сбирая травы

Волшебные, чтоб юность возвратить

Язону-старику...

– Господи, как хорошо! Тень от льва, какая-то Медея, какие-то травы волшебные... И никого-то нет, кто б полюбил меня!

– А я-то на что?

– Вы циник и прозаик. А мне нужен поэт. Да и не к чему – две недели моего отпуска вот-вот пролетят стрелой, а там опять Конотоп!

– Не беда. Хорошо только короткое счастье.

Как сладко спит сияние луны

Здесь на скамье!

То есть не на скамье, а на этом обрыве. Посидим немного, Медея.

– Посидим, Язон...

Свернув с тропинки, сели на пересохшую траву над самым обрывом.

– Что хорошо у вас, Дидона, так это ваш грудной, хохлацкий голос. И потом, вы умница, веселая...

Она сняла с голой ноги татарский башмачок, вытряхивая из него пыль, и пошевелила пальцами продолговатой ступни, до половины темной от загара.

– И нога чудесная. Можно поцеловать?

– Ни в коем случае. В такую ночь печальная Медея... В такую ночь... Ну что это за безобразия, даже не дает договорить...

Возвращались медленно, поздно, луна стояла уже совсем низко, золотая вода

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин сумрачно светилась у берега внизу, и было так тихо, что слышны были ее полусонные приливы и отливы.

7 апреля 1949

(обратно)  
Алупка\*

Солнце только что скрылось, еще светло, но в жарком меркнувшем воздухе, в синеватой неопределенности неба, над кипарисами Алупки, уже реют и дрожат чуть видные, как паутина, летучие мыши. Закрывая на ходу плоский цветной зонтик, которым все вертела на плече, спускаясь по пыльному переулку к пансиону, быстро вошла в жидкий садик, усыпанный галькой, и взбегает на террасу, где доктор один полулежит в качалке в ожидании обеда: в пансионе еще пусто, кто в парке, кто на берегу под парком, кто встречает вечерний почтовый дилижанс из Ялты.

– Слышал? – возбужденно говорит она, входя. – В Ялту приехали артисты Малого театра! Не играть, конечно, а так... Чуть не вся труппа, Лешковская с Южиным...

– От кого же я мог это слышать? Ты, конечно, как всегда, почему-то бегала встречать дилижанс?

– Да, и встретила доктора Никитина, его вызвали к старухе Крестовниковой, он мне и рассказал это...

– Очень рад, только не понимаю, почему ты объявляешь мне об этом приезде так, словно случилось невесть что? Вбегаешь вне себя, вся красная, в поту, завитушки на лбу растрепаны...

– Будешь вне себя, когда в этой милой Алупке день и ночь задыхаешься от жары и духоты! Но дело вовсе не в моей наружности, а в том, что я хотела тебе сказать, что ты как хочешь, а я больше не могу сидеть тут!

– А где же ты хочешь сидеть? В Ялте?

– Да, хотя бы в Ялте.

– И все потому, что туда приехали артисты Малого театра? Да ты что – из Чухломы, что ли? И почему вдруг стала такой театралкой? В Москве бываешь в этом Малом театре раз в два года, а тут вдруг так поражена этим приездом!

– Ничем я не поражена, но как ты наконец не понимаешь...

– Что не понимаешь?

– То, что мне твоя Алупка и этот «семейный» пансион осточертели! В Ялте...

– В Ялте, разумеется, совсем не то! В Ялте проводники, набережная, а теперь еще хромая Лешковская с Южиным. Какое же сравнение! Но мы, мой друг, приехали в Крым не ради проводников, а ради отдыха.

– Мы, мы! Слышать не могу этого мы! Мы ведь все-таки не сиамские близнецы, Алексей Николаевич!

Доктор приподнимается и садится, удивленно глядя на нее, в первый раз заметив вдруг, до чего она изменилась за последнее время и особенно за эти три недели в Крыму, чуть не с утра до вечера лежа на гальке у моря под парком и по пяти раз в день купаясь: загорелое лицо окрепло и округлилось, глаза налились блеском, плечи, груди, бедра расширились, что особенно явно под легким платьем из сарпинки, вся горячо пахнет этой сарпинкой и загорелым телом, обнаженные коричневые круглые руки точно отполированы... Доктор пожимает плечами, стараясь быть спокойным и строгим:

– При чем тут сиамские близнецы?

– При том, что я прекрасно предвидела всю эту сцену и дорогой твердо решила переехать одна, если ты не переедешь. И перееду, а ты как знаешь.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

– Постой. Да ты в своем уме? Что с тобой? Внезапно острое помешательство?

«Приехали артисты Малого театра, переезжаю в Ялту, а ты как знаешь...»

– Разумеется, как знаешь, раз ты..

– Что я?

– Раз ты вот настолько не думаешь обо мне! Ты, за все пять лет нашего милого супружества, которое все величают «идеальным»...

– Помилуй бог, какая адская ирония!

– Да, для тебя оно, разумеется, «идеальное»! Сиди себе в кабинете да раздевай своих несчастных идиотов – вздохните – не дышите, вздохните – не дышите, а я.. И вот-вот опять Мерзляковский переулок, и опять ты будешь месяца два рассказывать всем знакомым, как «чудно» отдохнули «мы» летом! В прошлом году расписывал Волгу, в позапрошлом Евпаторию, в нынешнем будешь расписывать Алупку... Довольно с меня этих отдыхов!

– Да ты что? Сбежать от меня решила?

– Я ничего не решила, только я больше не могу! Не могу и не могу!

– Все это прекрасно, но, во-первых, надо решить, куда именно и с кем и с чем бежать, а во-вторых, все-таки не кричать на весь дом.

– Хочу и кричу! И буду кричать! Нарочно буду!

В их комнате на втором этаже, очень тесной от двух кроватей, двух кресел, гардероба со скрипучими, разошшимися дверками, умывальника и чемоданов под вешалкой, воздух горяч и неподвижен, в окно, открытое на совсем уже померкшее небо, нет ни малейшего дуновения. Вбежав туда, она падает в кресло, на спинку которого брошен купальный халат, еще не высохший, противно пахнущий теплой сыростью, и с бьющимся сердцем, зло и решительно смотрит перед собой, не выпуская из рук зонтика.

21 апреля 1949

(обратно)  
В Альпах\*

Влажная, теплая, темная ночь поздней осенью. Поздний час. Селенье в Верхних Альпах, мертвое, давно спящее.

Автомобиль набирает скорость с горизонтально устремленными вперед дымчато-белесыми столпами. Освещаемые ими, мелькают вдоль шоссе кучки щебня, металлически-меловая хвоя чахлого ельника, потом какие-то заброшенные каменные хижины, за ними одинокий фонарь на маленькой площади, самоцветные глаза бессонной кошки, соскочившей с дороги, – и черная фигура размашисто шагающего, раззевая подол рясы, молодого кюре в больших грубых башмаках... Шагает, длинный, слегка гнутый, склонив голову, одиноко не спящий во всей этой дикой горной глуши в столь поздний час, обреченный прожить в ней всю свою жизнь, – шагает куда, зачем?

Площадь, фонтан, грустный фонарь, словно единственный во всем мире и неизвестно для чего светящий всю долгую осеннюю ночь. Фасад каменной церковки. Старое обнаженное дерево возле фонтана, ворох опавшей, почерневшей, мокрой листвы под ним... За площадью опять тьма, дорога мимо убогого кладбища, кресты которого точно ловят раскинутыми руками бегущие световые полосы автомобиля.

1949

(обратно)  
Легенда\*

Под орган и пение, – все пели под орган нежное, грустное, умиленное, говорившее: «Хорошо нам с тобой, господи!» – под орган и пение вдруг так живо увидел, почувствовал ее, – мой вымысел, неожиданный, внезапный, неведомо откуда

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
взявшийся, как все мои подобные вымыслы, – что вот весь день думаю о ней, живу  
ее жизнью, ее временем. Она была в те давние дни, что мы зовем древностью, но  
видела вот это же солнце, что вижу и я сейчас, эту землю, столь любимую мной,  
этот старый город, этот собор, крест которого все так же, как в древности,  
плывет в облаках, слышала те же песнопения, что слышал нынче и я. Она была  
молода, ела, пила, смеялась, болтала с соседками, работала и пела, была  
девушкой, невестой, женой, матерью.. Она умерла рано, как часто умирают милые и  
веселые женщины, и была отпета в этом соборе, и вот уже несколько веков нет ее в  
мире, где без нее было столько новых войн, новых пап, королей, солдат, купцов,  
монахов, рыцарей, меж тем как все лежали и лежали в земле ее пористые кости, ее  
пустой маленький череп.. Сколько их в земле, этих костей, черепов! Все  
человеческое прошлое, вся людская история – сонмы, легионы умерших! И будет  
день, когда буду и я, сопричисленный к ним, так же страшен своими костями и  
гробом воображению живых, как все они, – то несметное полчище, что затопит всю  
землю в оный Судный час, – и все-таки будут новые живые жить мечтами о нас,  
умерших, о нашей давней жизни, о нашем древнем времени, что будет казаться им  
прекрасным и счастливым, – ибо легендарным.

(обратно)

«Un petit accident»[25]\*

Зимний парижский закат, огромное панно неба в мутных мазках нежных разноцветных  
красок над дворцом Палаты, над Сенной, над бальной Площадью Согласия. Вот эти  
краски блекнут, и уже тяжело чернеет дворец Палаты, сказочно встают за ним на  
алеющей мути заката силуэты дальних зданий и повсюду рассыпаются тонко и остро  
зеленеющие язычки газа в фисташковой туманности города, на сотни ладов  
непрерывно звучащего автомобилями, в разные стороны бегущими со своими огоньками  
в темнеющих сумерках. Вот и совсем стемнело, и уже блещет серебристо-зеркальное  
сияние канделябров Площади, траурно льется в черной вышине грозовая игра  
невидимой башни Эйфеля, и пылает в темноте над Бульварами грубое богатство  
реклам, огненный Вавилон небесных вывесок, то стеклянно струящихся, то кроваво  
вспыхивающих в этой черноте. И все множатся и множатся бегущие огни автомобилей,  
их разноголосно звучащего потока, – стройно правит чья-то незримая рука его  
оркестром. Но вот будто дрогнула эта рука, – близ Мадлэн какой-то затор,  
свистки, гудки, стесняется, сдвигаясь, лавина машин, замедляющая бег целой части  
Парижа: кто-то тот, что еще успел затормозить в этой лавине свою быструю  
каретку, ярко и мягко освещенную внутри, лежит грудью на руле. Он в шелковом  
белом кашне, в матовом вечернем цилиндре. Молодое, пошло античное лицо его с  
закрытыми глазами уже похоже на маску.

1949

(обратно)

Бернар\*

Дней моих на земле осталось уже мало.

И вот вспоминается мне то, что когда-то было записано мною о Бернаре в  
Приморских Альпах, в близком соседстве с Антибами.

– Я крепко спал, когда Бернар швырнул горсть песка в мое окно...

Так начинается «На воде» Мопассана, так будил его Бернар перед выходом «Бель  
Ами» из Антибского порта 6 апреля 1888 года.

– Я открыл окно, и в лицо, в грудь, в душу мне пахнул очаровательный холодок  
ночи. Прозрачная синева неба трепетала живым блеском звезд...

– Хорошая погода, сударь.

– А ветер?

– С берега, сударь.

Через полчаса они уже в море.

– Горизонт бледнел, и вдали, за бухтой Ангелов, виднелись огни Ниццы, а еще  
дальше – вращающийся маяк Вильфранша... С гор, еще невидимых, – только

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин чувствовалось, что они покрыты снегом, – доносилось иногда сухое и холодное дыхание...

– Как только мы вышли из порта, яхта ожила, повеселела, ускорила ход, заплясала на легкой и мелкой зыби... Наступал день, звезды гасли... В далеком небе, над Ниццей, уже зажигались каким-то особенным розовым огнем снежные хребты Верхних Альп...

– Я передал руль Бернару, чтобы любоваться восходом солнца. Крепнувший бриз гнал нас по трепетной волне, я слышал далекий колокол, – где-то звонили, звучал *Angelus*. Как люблю я этот легкий и свежий утренний час, когда люди еще спят, а земля уже пробуждается! Вдыхаешь, пьешь, видишь рождающуюся телесную жизнь мира, – жизнь, тайна которой есть наше вечное и великое мучение...

– Бернар худ, ловок, необыкновенно привержен чистоте и порядку, заботлив и бдителен. Это чистосердечный и верный человек и превосходный моряк...

Так говорил о Бернаре Мопассан. А сам Бернар сказал про себя следующее:

– Думаю, что я был хороший моряк. *Je crois bien que j'etas un bon marin.*

Он сказал это умирая, – это были его последние слова на смертном одре в тех самых Антибах, откуда он выходил на «Бель Ами» 6 апреля 1888 года.

Человек, который видел Бернара незадолго до его смерти, рассказывает:

– В продолжение многих лет Бернар делил бродячую морскую жизнь великого поэта, не расставался с ним до самого рокового отъезда его к доктору Бланш, в Париж.

– Бернар умер в своих Антибах. Но еще недавно видел я его на солнечной набережной маленького Антибского порта, где так часто стояла «Бель Ами».

– Высокий, сухой, с энергичным и продубленным морской солью лицом, Бернар не легко пускался в разговоры. Но стоило только коснуться Мопассана, как голубые глаза его мгновенно оживали, и нужно было слышать, как говорил он о нем!

– Теперь он умолк навеки. Последние его слова были: «Думаю, что я был хороший моряк».

Я живо представляю себе, как именно сказал он эти слова. Он сказал их твердо, с гордостью, перекрестившись черной, иссохшей от старости рукой:

– *Je crois bien que j'etas un bon marin.*

А что хотел он выразить этими словами? Радость сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком? Нет: то, что бог всякому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем, почему? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что все в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл, какое-то высокое божье намеренье, направленное к тому, чтобы все в этом мире «было хорошо» и что усердное исполнение этого божьего намерения есть всегда наша заслуга перед ним, а посему и радость, гордость. И Бернар знал и чувствовал это. Он всю жизнь усердно, достойно, верно исполнял скромный долг, возложенный на него богом, служил ему не за страх, а за совесть. И как же ему было не сказать того, что он сказал в свою последнюю минуту? «Ныне отпускаеши, владыко, раба твоего, и вот я осмеливаюсь сказать тебе и людям: думаю, что я был хороший моряк».

– В море все заботило Бернара, писал Мопассан: и внезапно повстречавшееся течение, говорящее, что где-то в открытом море идет бриз, и облака над Эстерелем, означающие мистраль на западе... Чистоту на яхте он соблюдал до того, что не терпел даже капли воды на какой-нибудь медной части...

Да, какая польза ближнему могла быть в том, что Бернар сейчас же стирал эту каплю? А вот он стирал ее. Зачем, почему?

Но ведь сам бог любит, чтобы все было «хорошо». Он сам радовался, видя, что его творения «весьма хороши».

Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар.

1952

(обратно) (обратно)

Рассказы, не публиковавшиеся при жизни Бунина\*

Лита

На скамье на берегу дачного озера, бледной лунной ночью, – все небо в легкой белой зыби и оттого кажется, вместе с луной, близким.

– Вот, Лита... Да нет, вас действительно Литой зовут? Все никак не привыкну...

– Вы рискуете мне надоест. Вы это уже спрашивали. Скажите лучше, что вы хотели сказать.

– Простите, больше не буду. Я хотел сказать о русалках: может быть, они в самом деле существуют? Представьте себе: сидим, а она вдруг неслышно подплывает к берегу, ложится в воде в двух шагах от нас – и смотрит. Глаза страшные, пристальные. Тело белое, великолепное.

– Во-первых, вы говорите глупости: тело у русалок вовсе не белое, а лунное. А во-вторых, – все одно, все одно у вас на уме!

– Неправда, на уме только вы одна. Как-то сразу вы меня поразили...

– Поразила не поразила, но неужели вы не понимаете, что этого никогда не будет?

– Чего?

– Того, о чем вы мечтаете. Я только помучить люблю. Вы знаете, есть такие. Так вот я из таких.

– Да, да! Оттого и глаза у вас какие-то раскосые.

– Но посмотреть на русалку, это удовольствие я могу вам доставить. Хотите?

– Я вас не понимаю.

– Отойдите немного и не поворачивайтесь. Когда крикну, можете смотреть.

– Нет, ради бога не надо!

– А я хочу. Извольте встать и отвернуться. Видите, я уже разуваюсь. Ну, раз, два, три... Встаньте, отвернитесь и стойте так, пока не крикну. Ах, вы стыдливо закрыли лицо ручками? Хорошо, можно и так...

И через минуту плеск воды и веселый голос:

– Алло, алло! Я уже русалка, лежу именно так, как вам хотелось, с дикими глазами, и знаю, что вы все-таки сквозь пальцы меня видите...

Выбежав из воды, села на скамью, вся холодная и мокрая, и, наклоняясь к нему, ровно и вполголоса:

– Поцелуйте мне груди. Они у меня тугие, красивые... Больше все равно ничего не будет.

23. IX.43

Ривьера

«Hôtel des Palmiers et de la Plage. Rendez-vous du high-life français et étranger, situation unique, vue incomparable, séjour idéal d'hiver et d'été, 300 chambres, dernier confort moderne, cuisine réputée, grand parc, tennis, deux,

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
garages, ouvert toute l'année...»[26]

Огромное, пятиэтажное здание, похожее на все отели в мире, безобразно высится над сплошными садами, спускающимися по холмам к берегу моря, синяя равнина которого кажется лежащей за древесными вершинами на их уровне. В нижнем этаже здания все залы не в меру обширны, с колоннами под мрамор. Из просторного вестибюля можно пройти по террасе со столиками и плетеными креслами под оранжевыми зонтами в парк. Он занимает южную часть поместья, бывшего когда-то монастырским, и похож на старый пальмовый лес. Стара в нем и великолепная кипарисовая аллея, покато идущая от террасы к морю, к пляжу. Днем из окон и с балконов верхних этажей видны влево дымчато-сиреневые побережья Италии, ночью – розовые огни Бордигеры.

Август, отель полон.

Он кто-то при каком-то министерстве иностранных дел. Она ждет из Парижа мужа. Оба от чего-то отдыхают. Познакомились после обеда в холле, теперь вместе купаются перед завтраком, ездят на автокарах в Монте-Карло, в Тюрби, Сен-Поль, Ване, на Антибский мыс, на Лоренские острова...

В отеле завтракают и обедают порознь, каждый за своим столиком, но после обеда пьют кофе и слушают музыку опять вместе. Потом выходят в парк и к морю – «подышать перед сном воздухом».

Ему лет сорок пять, ей около сорока. Оба высоки и стройны. Он сух, с подстриженными усами, в пенсне без оправы, которое он, беря перед обедом меню, кончиками пальцев сжимает, чтобы снять. Удивительно приличен и недоступен. Удивительно тонконог в голених и щиколках, – это даже поражает, когда он, в смокинге, в бальных туфлях лодочкой с бантиком и в черных шелковых чулках, сидит после обеда в вестибюле, положила ногу на ногу, куря сигару и прихлебывая кофе... Она выходит к обеду, блистая чудесно сделанным цветом лица, голых рук и плечей, подведенными глазами, жемчужным ожерельем, перстнями на пальцах с острыми ногтями, гофрированными платиновыми волосами, в длинном серебристом платье – в нем ее высокое тело изгибается так, точно оно без костей. Вся она, так же, как и ее серебристая сумочка, женственно пахнет пудрой.

Вот уже густо синее жаркий южный вечер. Уж готова к обеду матово освещенная столовая. И долго идет этот не в меру изысканный обед дурного тона под струнную музыку, в тесноте того нарядного люда, что так зоологически идет на пляж утром в разноцветных халатах, из-под которых мелькают грубые, волосатые ноги мужчин и нежные, круглые – женщин.

С час посидев за кофе, после обеда, в холле, они не спеша выходят на террасу, на теплую лунную ночь. Он докуривает сигару, она, захватив левой рукой длинный подол, еще раз взглядывает, приподняв брови, в синее от лунного света зеркальце в сумочке, потом, щелкнув ею, говорит, вздыхая:

– Mon Dieu, quelle beauté[27].

Кипарисовая аллея под террасой высока, черна, неподвижна, в ее коридоре бархатно-темно, только кое-где блещут зелеными змеиными глазами пятна лунного света. Лунное море золотой выпуклостью лежит вдаль, за чернотой кипарисовых вершин. Полная теплая луна спокойно стоит над пальмами влево, – в той стороне, где всегда по ночам роятся розовые огни Бордигеры. Он берет под локоть ее обнаженную руку, чувствуя холодок и персиковую нежность ее тела, осторожно сводит ее с террасы в аллею. В дальнем конце ее сумрачного и теплого коридора, упирающегося в море, таинственно, зеркально сияет полоса золотой воды. Всюду тишина, нигде ни души – все в холлах отелей, в барах, в казино... Они молча, под руку доходят до конца аллеи – теперь эта блещущая, чуть переливающаяся золотом вода в десяти шагах от них лежит плоско и низко. По сторонам сказочная пестрота света и тени под черными, врозь раскинутыми султанами пальм. У скамьи в конце аллеи они останавливаются. Он кончиками двух сухих пальцев аккуратно сжимает щипчики пенсне, кладет его в наружный карманчик смокинга и, щурясь, смотрит невидящими глазами. Она с томным вздохом поднимает руки, кладет ему на плечи и; наслаждаясь изяществом своего любовного счастья, проводит по его губам бархатистой нежностью щеки, потом притворно-страстно впивается в них и дает ему влажный кончик языка.

Аля

В далеком уездном городе, в далекой ранней молодости...

Приезжал из деревни брать книги в городской библиотеке – там и встретил в первый раз, вышли вместе, разговорились – оказалось, что наговориться по дороге нельзя, зашли в пустой городской сад, сели на скамью в главной аллее и опять без конца расспрашивали друг друга:

– Вы не кончили гимназию? А я кончила только прогимназию, у папы нет средств продолжать мое образование, он машинист на товарных поездах... Я теперь читаю «В лесах» и «На горах», а вы? Я люблю больше Лермонтова, чем Пушкина, а вы? Так вы правда приедете на будущей неделе? Мне столько еще надо спросить вас! Меня зовут Аля. А вас?

Когда во второй раз сидели в саду, говорили уже мало. Все целовал ее руку, она все ниже клонила голову.

Приехав накануне новой встречи вечером, остановился, как всегда, на постоялом дворе, пил чай в жалком номере, при одной темной свечке, и заснул под шум дождя, думая: нет, завтра бог даст милое утро, солнце... будут легкие тени на сырых дорожках сада и опять буду сидеть и ждать ее, и выступят на глазах слезы сладкой жалости и счастья, когда увижу, как она спешит ко мне в своей серенькой юбочке и голубой рубашечке...

Но утром она не пришла. Не пришла и на другой день. На вокзале узнал: машинист Ковальский переведен на Донецкую дорогу, а на какой именно участок будет назначен там, неизвестно.

<16 марта 1944>

«Когда я впервые...»

Ходит по его большому кабинету в необычное время, в одиннадцатом часу темного петербургского утра, горячо говорит, слушая только себя, – тонкая кожа щек горит розовыми пятнами, продолговатое лицо очень похоршело:

– Когда я впервые...

Уже забыла, что хотела сказать только одно, – «просто и честно» признаться в своей любви к другому, – упивается теперь своей театральностью:

– Когда я полюбила тебя или вообразила, что люблю... Когда я, неопытная, не знающая жизни, доверчивая девочка, впервые взглянула в лицо действительности...

Внезапно вошла к нему в халате, после ванны, вся пахнущая миндальным мылом, с красиво убранными блестящими волосами, и сама чувствует, что должен чувствовать он, глядя на движения ее высокого тела под мягкой фланелью, подпоясанной длинным шнуром, на то, как открываются от быстрой ходьбы ее длинные ноги в натянутых черных чулках.

– Я решила наконец просто и честно, как порядочная женщина, положить конец тому двусмысленному положению, которое образовалось между нами – лично для меня, по крайней мере...

Он, повернувшись в кресле возле письменного стола, уже одетый с утренней тщательностью для выезда в город, слушает идиотически, думает «положить наконец конец!» и делает вид, что очень занят стряхиванием в пепельницу пепла с папиросы. Бормочет фальшиво-дружески:

– Да, да, пожалуйста, говори все откровенно, напрямик... И поверь, что я сумею стать выше эгоистических соображений...

– Да, прежних чувств у меня к тебе нет! Да, ты убил их во мне!

– Чем, мой друг?

– Всем, всем!

– Например?

– Например! Когда я впервые поняла наконец, что все то духовное, чистое, на что я так страстно надеялась, вступая в жизнь...

Он сидит, опустив голову, пристально разглядывая свои размытые ногти, уже бледнея от злобы, и тихо говорит:

– Позволь тебе напомнить, что, «вступая в жизнь», ты имела уже двадцать восемь лет...

22.4.1944.

Далекий пожар

Их первое лето вместе. Степной хутор. Поздно после ужина сидят в темноте на ступеньках крыльца. Темный дом, темная, теплая ночь конца лета. И далекий пожар за темной степью, на далеком краю ее черноты: невысокая, зубчатая гряда красного пламени. Горит уже давно, однообразно. Иногда видно, как по пламени проходят тени дыма. Усыпляющий звон ночных степных насекомых, покой земли, неба – и спокойная грусть непонятности всего.

Он пристально глядит вдаль, на пожар на горизонте, обняв ее молодое плечо:

– Ты меня еще любишь?

Она, глядя туда же:

– Люблю, милый. И все пройдет! Все пройдет: и моя любовь, и этот пожар, и эта прекрасная и оттого такая печальная ночь.

4. V.1944

Модест

Южный сентябрь, на солнце жарко, сухо, везде все блестит. На окраине города конная ярмарка. Он богатый лошадиник, рыжий, щуплый, в чесучовом пиджаке, в черных штанах и высоких сапогах, в белом картузе, с золотым перстнем на указательном пальце. Он целый день на ярмарке. А в городе, в номере гостиницы с прикрытыми сквозными ставнями, в душном полусвете, лежит на диване, в одной розовой сорочке, его содержанка, крупная, полная, сдувает с потной верхней губы мух и белыми руками выбирает из воды в тарелке и ест крупный, размокший изюм. Лицо девки широкоскулое, курносое, нежное, тело чудесного животного, руки и ступни прекрасные, с удлинненными пальцами, с тонкой блестящей кожей.

У него странное для лошадиника имя – Модест. Сиплый, ласковый голос и необыкновенная деликатность. В седьмом часу вечера осторожный стук в дверь.

– Модест, ты?

– Я, Маньичка. Можно?

И входит потный, похудевший, вытирая платком веснушчатое лицо и весело говоря:

– Это же, ей-богу, кошмар! Там такая жара, пыль и такие жуки! Сплошная наглость! Ну, добрый вечер, голубка, живенько вставай и одевайся. Предлагаю немножко покутить в «Тиволи». Что ты на это скажешь, золотко? Надеюсь, довольна?

И с хитрым смешком треплет по розовой сорочке на ляжке.

16.10.1944

Ахмат

В жаркий, пыльный день, на выгоне рядом с уездным городом, праздничный и

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
торговый кавардак многолюдной ярмарки. Под отпряженной телегой, на краю канавы, что идет вдоль дороги к городу, сидит, расставив колени от круглого, тугого живота, молодая баба на сносях. На лбу коричневые смаги. Губы синие, припухшие. На лице та особенная, нежная, непорочная миловидность, что бывает у беременных, – лицо как в жару, глаза светят тихим, святым блеском. И огромный, крепкий купец лет за семьдесят, с черными бровями и глазами, с белоснежной бородой, в синей чуйке и синем большом картузе, говорит своему молодцу, проходя мимо:

– В зрелые годы был я великий злодей в сих случаях: самая моя лютая страсть была к беременным. Никаких денег не жалел на них. Грех и вспоминать! А вот опять вспомнил, заметя эту бабу, да еще в какой день! Ведь нынче Сретение Пресвятыя Богородицы Владимирской ради избавления Москвы от Ахмата, царя Ордынского, и как раз день моего ангела, великомученика Артемия. Вот, верно, и я вроде этого Ахмата окаянного.

– Господи, боже мой, что вы на себя накликаете! – восклицает молодец подобострастно. – Даже слушать страшно. Нашли с кем себя сравнивать!

– Сравнишь, брат! Поневоле сравнишь! Истинно Ахмат! Я бы и теперь не пожалел на нее четвертного!

<1944 – 18.IV.1946>

Новая шубка

Париж в снегу, серый день, бледный от снега, и Париж весь бледный и просторный. Свежий воздух, ясно слышны запахи автомобильного бензина, каменного угля.

Шли вниз по Елисейским полям.

Он с удовольствием потрагивал уши под котелком:

– Даже уши слегка пощипывает! Как в Петербурге... Чудесно пройдемся, нагуляем аппетит.

Она вздергивает плечиком:

– Не понимаю, что тут чудесного. Вот я поскользнусь на этом милом снегу и сломаю ногу. А ты и не подумал взять такси.

– Но ты же говорила, что хочешь пройтись. А за всем тем, кто мешает взять?

– Теперь уж не к чему.

Он усмехнулся:

– Ты капризничаешь. И я прекрасно знаю почему.

– Почему это?

Но она и сама знает почему: нынче на ней все новенькое – шубка, опушенная белым мехом, такая же шляпка, руки спрятаны в белую меховую муфточку. Она маленькая и знает, что многим мужчинам это очень нравится. А нынче она особенно похожа на хорошенькую капризную девочку.

– Но куда же мы все-таки идем? – говорит он. – Ужасно хочется почему-то мулей... Что ты думаешь насчет Прюнье?

– Я еще не хочу умирать. Сколько уж знакомых отравились твоими мулями!

– Во-первых, почему моими? А во-вторых, ты с таким удовольствием и без всяких мыслей о смерти ела их позавчера.

– Я хочу в венгерский ресторан.

– Вот тебе на! Почему-то в венгерский! Поедем туда лучше обедать. За обедом там играет цыганский оркестр.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

– А я хочу там завтракать. Тебе отлично известно, что я терпеть не могу цыганщины.

– С каких это пор? Ну хорошо, хорошо, не сердись... Тахі, rue de Surene![28]

В венгерском ресторане опять стала делать вид, что сердится. Там было пусто, сумрачно, неизвестно было, что заказать. Долго читала меню:

– Cochon de lait rôti... Chevreuil aux airelles...[29] что такое airelles?

– Это... как его?

– Что «как его»?

– Ах, да, черника! Или брусника...

– Я не знаю, что такое черника. Должно быть, гадость какая-нибудь. Carpe au lard grillé, fogas du lac Balaton...[30] что такое fogas?

– Понятия не имею.

– Вечно ничего не знаешь! И чему ты смеешься?

– Милый друг, но я же не венгерец. Откуда мне знать?

– Ну и молчи, если не знаешь... Nouilles au fromage...[31] и все с паприкой?

– Не знаю, милая... Не все, конечно, но...

– То есть ты думаешь, что и салат au sucre может быть с паприкой?

– Ах, бог мой! Гениальный человек Вертинский! «Из-за маленькой, злой и хорошенькой женщины погибаю в шести зеркалах...»

– Не смей повторять эти дурацкие стишки! И там сказано ограниченной, а не хорошенькой.

– Ну, а я хочу говорить хорошенькой... И знаешь что? Переберемся все-таки к Прюнье, благо близко. Там и народу хоть отбавляй, чтобы полюбоваться твоей шубой, и что-нибудь выбрать гораздо легче...

Усмехаясь, берет муфточку и встает:

– Ты очень глупый. Ну, идем...

Гарсоны переглядываются, выпячивая нижние губы.

Проза позднего Бунина

I

Свою книгу «Жизнь Арсеньева» Иван Алексеевич называл «Истоки дней». Писал он ее, с перерывами, с 1927 по 1938 год. Но готовился к ней очень давно и исподволь, – вероятно, тогда, когда прочно чувствовал себя зрелым писателем, которому, как всякому творческому человеку, хочется оставить свой след на земле.

«Во все времена и века, – писал он, – с детства до могилы томит каждого из нас неотступное желание говорить о себе – вот бы в слове и хотя бы в малой доле запечатлеть свою жизнь. И вот первое, что должен я засвидетельствовать о своей жизни: это нерасторжимо связанную с нею и полную глубокого значения потребность выразить и продлить себя на земле... Да, книга моей жизни – книга без всякого начала... Но она и без конца, потому что, не понимая своего начала, не чувствуя его, я не понимаю, не чувствую и смерти... Не раз испытал я нечто поистине чудесное. Не раз случалось: я возвращаюсь из какого-нибудь далекого путешествия, возвращаюсь в те степи, на те дороги, где я некогда был ребенком, мальчиком, – и вдруг, взглянув кругом, чувствую, что долгих и многих лет, прожитых мною, как не бывало. Я чувствую, что это совсем не воспоминание прошлого: нет, просто я опять прежний, опять в том же самом отношении к этим полям и дорогам, к этому полевому

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
воздуху, к этому тамбовскому небу, в том же самом восприятии и их и всего мира, как это было вот здесь, вот на этом проселке в дни моего детства, отрочества... Нет слов передать всю боль и радость этих минут, все горькое счастье, всю печаль и нежность их!.. Не раз чувствовал я себя не только прежним собою – ребенком, отроком, юношей, но и своим отцом, дедом, прадедом, пращуром; в свой срок кто-то должен и будет чувствовать себя – мною...»

Вот таким настроением был охвачен писатель, когда писал Арсеньева – «Книгу своей жизни». И всегда-то Иван Алексеевич, как мы помним, работал трудно, потому что был требователен к себе сверх меры, а тут прибавилась новая проблема, новая «мука»: как написать жизнь человека от этих самых «истоков дней» до взрослого состояния? Вера Николаевна Муромцева-Бунина вспоминала о мучениях писателя, не знавшего, как приступить к третьей части (или «книге», как называл сам Бунин). Но вот третья часть написана – и новые терзания: «В сотый раз говорю – дальше писать нельзя! – сокрушался Бунин, не решаясь начать четвертую. – Жизнь человеческую написать нельзя! Или в четвертую книгу, схематично, вместить всю остальную жизнь. Первые семнадцать лет – три книги, потом сорок лет – в одной – неравномерно... Знаю. Да что делать?»

Всего написано было пять частей, а герой – Алексей Арсеньев доведен до двадцатилетия. Как ни убеждали Ивана Алексеевича продолжить книгу, больше он к ней не возвращался...

К какому жанру можно отнести «Жизнь Арсеньева»? Если в двух словах, то это – художественная биография. Если говорить более подробно и по существу, то в ней слито несколько жанров: кроме художественной биографии, «Жизнь Арсеньева» вбирает в себя и мемуары, и лирико-философскую прозу. А пятая ее часть, кроме всего прочего, – еще и повесть о любви; как по замыслу, так и по воплощению она близка к книге рассказов «Темные аллеи», которую Бунин напишет позже.

Некоторые современники рассматривали «Жизнь Арсеньева» как биографию самого автора. Ивана Алексеевича это приводило в негодование. Он утверждал, что его книга автобиографична лишь постольку, поскольку автобиографично всякое вообще художественное произведение, в которое автор непременно вкладывает себя, часть своей души. Сам же он именовал «Жизнь Арсеньева» автобиографией вымышленного лица. Справедливо утверждая, что целиком «жизнь человеческую написать нельзя», Бунин перед началом очередной части своей книги каждый раз останавливался перед проблемой отбора самого важного. Он писал свою книгу, как бы сжимая время, соединяя несколько лет в один год. Это уплотнение времени писатель осуществил не только в том отношении, что соединял события, происшедшие в разное время. Главное было в том, что спрессовывались, сливались внутренние, душевные переживания героя, который очень быстро вырос. Проще же говоря: по интенсивности чувств и мыслей «арсеньевский» год – это несколько «бунинских» лет, а сам Алексей Арсеньев – как бы «сконцентрированный» автор, в главных чертах его личности.

Но это еще не все. Бунин наделяет Арсеньева в первую очередь чертами художника, поэта. Потому что, как мы знаем, сам Бунин считал себя всю жизнь главным образом лирическим поэтом, и уже потом – прозаиком. И понятно, что замысел книги об Алексее Арсеньеве был именно замысел написать «жизнь артиста» – поэта, в чьей душе уже с детства переплавляются «все впечатленья бытия», чтобы впоследствии быть претворенными в слове. Таким образом, действительно, «Жизнь Арсеньева», с одной стороны – автобиография вымышленного лица, некоего собирательного «рожденного стихотворца», а не просто Ивана Алексеевича Бунина. С другой же стороны, эта книга – самая откровенная, лирическая, исповедальная из бунинских творений. В этом ее диалектика, слияние в ней реальности и вымысла, или, если перефразировать слова Гете, слияние правды и поэзии (Гете так и назвал книгу об «истоках» своих дней: «Поэзия и правда»). Отсюда и двуплановость книги: постоянное присутствие автора, прошедшего уже длинный жизненный путь, его теперешняя точка зрения, его сегодняшнее мироощущение, как бы вливающееся в то, давнее; взаимопроникновение былого и настоящего. Возврат шестидесятилетнего человека в собственное детство и юность – и тут же «скачок» в сегодняшний день, в собственную старость. Растворение в прошлом, а вслед – его воссоздание из далека прошедших десятилетий. Все это создает некий льющийся «поток сознания», выраженный в такой же текучей, непрерывающейся, неспешной и плавной, с длинными периодами, лирической прозе; в нее легко погрузиться, но из нее трудно выйти: она влечет за собой, и убыстрить наш путь в ней невозможно; читая, нельзя пропустить ни слова, иначе рассыплется целое, нарушится слиянность настоящего и

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
прошлого, запечатленная в этом речевом потоке. Вчитаемся же в эту магическую,  
волшебную прозу:

«В те дни (прежде чем покинуть родительское гнездо. – А. С.) я часто как бы  
останавливался и с резким удивлением молодости спрашивал себя: ...что же такое моя  
жизнь в этом непонятном, вечном и огромном мире, окружающем меня, в  
беспредельности прошлого и будущего и вместе с тем в каком-то Батурине, в  
ограниченности лично мне данного пространства и времени? И видел, что жизнь (моя  
и всякая) есть смена дней и ночей, дел и отдыха, встреч и бесед, удовольствий и  
неприятностей, иногда называемых событиями; есть беспорядочное накопление  
впечатлений, картин и образов, из которых лишь самая ничтожная часть (да и то  
неизвестно, зачем и как) удерживается в нас; есть и непрерывное, ни на единый  
миг нас не оставляющее течение несвязных чувств и мыслей, беспорядочных  
воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем; а еще – нечто такое, в чем  
как будто и заключается некая суть ее, некий смысл и цель, что-то главное, чего  
уже никак нельзя уловить и выразить, и – связанное с ним вечное ожидание:  
ожидание не только счастья, какой-то особенной полноты его, но еще и чего-то  
такого, в чем (когда настанет оно) эта суть, этот смысл вдруг наконец  
обнаружатся».

Так выражает писатель душевное состояние юноши, почти мальчика (Арсеньеву здесь  
нет и шестнадцати). Но ведь герой, как уже было сказано, это  
«сконцентрированный» автор. Это – как бы Иван Алексеевич Бунин, у которого  
детство, отрочество и юность сложились столь благоприятно и гармонично, что он,  
не потеряв ни часа драгоценного времени, только и занимался тем, что вырос, стал  
мужом, набирал духовные силы. В действительности было совсем иначе. Бунин горько  
сетовал, вспоминая, как убого, плохо он прожил столько лет, что у него  
совершенно пропали самые лучшие, самые нежные годы. «Разве я так писал бы, –  
жаловался он, – если бы я в юности жил иначе, если бы я больше учился, больше  
работал над собой... если бы у меня в молодости не было такой нужды.  
Восемнадцатилетним мальчиком я был уже фактическим редактором „Орловского  
вестника“, где я писал передовицы о постановлениях святейшего Синода, о вдовьих  
домах и быках-производителях, а мне надо было учиться и учиться по целым дням!»

Но Бунин несправедлив к себе. С юности он, можно сказать, каждодневно учился у  
жизни, – так же, как учится у жизни его Арсеньев, впитывая в себя все, что дает  
ему жизнь, вплоть до таких, казалось бы, малоблагоприятных обстоятельств, как  
глушь, заброшенность и одинокость усадебного, существования с бесконечно  
однообразными зимними вечерами... О том, как в действительности проходили эти  
вечера, говорит нам такая сохранившаяся запись шестнадцатилетнего Вани Бунина:

«Вечер. На дворе, не смолкая, бушует страшная вьюга. Только сейчас выходил на  
крыльцо. Холодный, резкий ветер бьет в лицо снегом... Холод нестерпимый.

Лампа горит на столе слабым тихим светом. Ледяные белые узоры на окнах отливают  
разноцветными блестящими огоньками. Тихо. Только завывает метель да мурлычет  
какую-то песенку Маша (сестра. – А. С.). Прислушиваешься к этим напевам и  
отдаешься во власть долгого зимнего вечера. Лень шевельнуться, лень мыслить.

А на дворе все так же бушует метель. Тихо и однообразно протекает время».

Алеше Арсеньеву, напротив, из детства больше всего запомнились летние дни,  
притом непременно солнечные, сияющие, с цветами, бабочками, птицами. И дальше,  
охватывая память свое отрочество и юность, он лишь упоминает о множестве долгих  
«серых и жестоких зимних дней», когда «по целым неделям несло непроглядными,  
азиатскими метелями», – и тут же признается, что сразу мысль переносит его на  
«бал в женской гимназии». Если же речь идет о природе, она вспоминается ему  
опять-таки непременно летней, цветущей, поющей, благоухающей, с ясными лунными  
ночами. «У памяти хороший вкус», – гласит известная поговорка; у поэтической  
памяти – особенно, – как бы хочет сказать автор «Арсеньева». Так, на протяжении  
всей книги, правда преобразилась в поэзию...

В этом смысле интересен и характерен образ отца Арсеньева. Его прототипом  
послужил отец писателя, Алексей Николаевич Бунин. В книге это – человек,  
неотразимый в своем обаянии, хотя и «грешный», вспыльчивый и отходчивый,  
беспечный и жизнелюбивый, распространяющий вокруг себя ощущение радости жизни,  
талантливая артистическая натура. Бунин очень сдержанно показывает так  
называемую обратную сторону медали; распушенность, безответственность отца по

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин в отношении к семье, что привело ее к полнейшему разорению. На все это в «Жизни Арсеньева» лишь вскользь намекается; об осуждении, даже о суждении и речи нет; в книге царит яркий и праздничный (от слова праздник и праздность одновременно) человек, – тот, кому обязан сын многими светлыми чертами своего характера, – отец поэта.

Можно ли подумать, что Бунин прикрашивал в своей книге лица и события? Нет. Думать так было бы ошибкой. Надо понять прежде всего вот что. «Жизнь Арсеньева» писалась в тот период жизни Бунина, когда свойственный ему повышенный «вкус существования» не только не ослабевал с годами, а, напротив, все более и более укреплялся.

Обостренное, радостное и волнующее чувство жизни, ее «тайн и бездн», каждого ее мгновения имело обратной стороной столь же повышенное и тревожное ощущение конца, такой же неразгаданности его, как и начала всякого существования. Не первый терзался Бунин думами о том, что человек не знает своего начала, не помнит, не может помнить его, и точно так же не знает, не постигает своего конца, того, что будет, когда оборвется его жизнь. Эта мысль, рожденная еще в бунинских путевых дневниках десятилетиями, кочует по многим зрелым и поздним его произведениям. Неотступно присутствует она и в «Жизни Арсеньева», не всегда высказанная прямо, но подразумеваемая постоянно. Как всякого истинного художника и незаурядную личность, Бунина томило, говоря словами Л. Н. Толстого, «созерцание двух концов жизни каждого человека». Интересно, что так называемое сиюминутное существование приобретало с годами для Ивана Алексеевича все большую ценность, хрупкость, хотелось уберечь его от ударов судьбы, каждый из которых мог оказаться роковым, продлить его, порою томительное, очарование. «Нет, мучительно для меня жить на свете! Все Меня мучает своею прелестью!» – записала современница слова Бунина. И еще Иван Алексеевич мучился страхом потери близких людей, безуспешно внушал себе, что ни к кому не следует привязываться сильно, но, разумеется, оставался верен своей горячей и страстной натуре. А еще он, особенно на склоне лет, совершенно не в состоянии был выносить разговор о людских жестокостях, зверствах, преступлениях. Современница вспоминает, что при первом же малейшем намеке на «тяжелую» тему Иван Алексеевич расстраивался так, что разговор приходилось тут же пресекать... Так и Арсеньев... Словно не желает видеть в жизни ничего злого, уродливого, страшного.

Такой подход к изображаемому не был идеализацией, ибо Бунин, будучи человеком горячим и пристрастным, просто не умел смягчать изображение событий и фактов. Он лишь миновал то, о чем ему не хотелось говорить, либо ограничивался упоминанием (как, например, сильно укоротил в «Арсеньеве» долгие зимние месяцы и продлил дни короткого русского лета). Должно быть, потому и не стал он писать продолжение своей книги, что пришлось бы говорить о многом тяжелом и заново испытать пережитые некогда глубочайшие потрясения...

Зато когда Бунин хотел предаться воспоминаниям об истоках своих дней, – то написанное обретало под его пером почти документальную точность. Например, переживания мальчика Арсеньева, связанные со смертью его сестры Нади, близки тому, что испытывал маленький Ваня Бунин после кончины младшей сестры Саши. «В тот февральский вечер, когда умерла Саша, – вспоминал он, – и я (мне было тогда лет 7–8) бежал по снежному двору в людскую сказать об этом, я на бегу все глядел в темное облачное небо, думая, что ее маленькая душа летит теперь туда. Во всем моем существе был какой-то остановившийся ужас, чувство внезапного совершившегося великого, непостижимого события». Или когда Бунин описывает влюбленность юного Арсеньева «на поэтический старинный лад» в Лизу Бибикову, то это опять-таки тесно связано с воспоминаниями Ивана Алексеевича о своей юношеской поре: о влюбленности в родственницу соседей, красивую девочку с голубыми «волоокими» глазами. «Я решил не спать по ночам, ходить до утра, писать... Я чуть не погубил себе здоровье, не спал почти полтора месяца, но что это было за время! Под моим окном рос, цвел в ту пору жасмин, я выпрыгивал прямо в сад, окно было очень высоко над землей; тень от дома лежала далеко по земле, кричали лягушки, иногда на пруду резко выкрикивали испуганные утки... я выходил в низ сада, смотрел за реку, где стоял на горе ее дом... И так до тех пор, пока не просыпалось все, пока не проезжал водовоз с плещущей бочкой». В пятой главе третьей части, где Арсеньеву идет шестнадцатый год, писатель говорит о его «повышенном душевном строе», приобретенном «за чтением поэтов, непрестанно говоривших о высоком назначении поэта, о том, что „поэзия есть бог в святых мечтах земли“» (последняя строка из перевода В. А. Жуковского немецкой драмы «Камознс». – А. С). А в дневнике 1885 года пятнадцатилетний Бунин пишет:

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

«...поэзия есть бог в святых мечтах земли, как сказал Жуковский... Мне скажут, что я подражаю всем поэтам, которые восхваляют святые чувства и, презирая грязь жизни, часто говорят, что у них душа больная... Да! и на самом деле так должно быть: поэт плачет о первобытном чистом состоянии души...» Документальная точность? Да, но вернее было бы сказать: благодарная память сердца. Здесь – редкий случай, когда возраст автора и его героя совпал. Что же до точности воссоздания различных подробностей, то она проходит через всю книгу, притом ничуть не противоречит, а, напротив, даже помогает творческому переосмыслению. Переосмыслены не столько сами лица и события, сколько авторское отношение к ним. Вот интересный пример – рассказ о приезде Арсеньева в Харьков к старшему брату Георгию (в котором писатель вывел своего брата Юлия Алексеевича), об отношении к его деятельности и к его единомышленникам. Бунин воссоздал свой приезд к Юлию в Харьков. Ему самому тогда было восемнадцать лет, Арсеньеву нет и шестнадцати. О среде молодых революционеров, куда попал Алексей Арсеньев, сказано так: «Уж как не подобала она мне! Но к какой другой мог присоединиться я?» Между тем сам Бунин в юности находился под сильнейшим влиянием старшего брата, его идей и его товарищей. Именно брату обязан он своими вольнолюбивыми юношескими стихотворениями, хотя и слабыми в литературном отношении, зато совершенно искренними, – Бунин вообще никогда и ни в чем не кривил душой, и если он бывал в кружке старшего брата, значит, и Юлий, и его друзья были интересны ему. Естественно, что одни люди ему нравились, других он, в силу пристрастности и нетерпимости своего характера, не принимал, но это не мешало ему с интересом участвовать в их дискуссиях. Об этом пишет в своей книге В. Н. Муромцева-Бунина: она утверждает, что многое в среде Юлия, несмотря ни на что, было «приятно» молодому Бунину. И когда Арсеньев говорит, что ему «тяжко, неловко» среди этих людей, то это утверждает именно вымышленное лицо – юноша с душой «позднего» Бунина...

Такое переосмысление автором некоторых моментов своей жизни ни в чем не нарушает, однако, главной правды: правды исповеди поэта. В эту исповедь, творческую и человеческую, втянут весь мир, окружающий Алешу Арсеньева. Этот мир начинается с самых первых запомнившихся, как ему кажется, лучей света, вырвавших младенца из тьмы небытия, с момента появления его на свет. Само рождение в мир, осознание этого события идет в сокровищницу душевных впечатлений Алексея Арсеньева, чтобы на всю жизнь остаться там:

«Я помню большую, освещенную предосенним солнцем комнату, его сухой блеск над косогором, видным в окно, на юг... Только и всего, только одно мгновение! Почему именно в этот день и час, именно в эту минуту и по такому пустому поводу впервые в жизни вспыхнуло мое сознание столь ярко, что уже явилась возможность действия памяти? И почему тотчас же после этого снова надолго погасло оно?»

Так же на всю жизнь входят в душу Арсеньева, как бы запечатлевают себя в нем его отец и мать. Как и сам Бунин, Алексей Арсеньев – истинный сын своих родителей, очень ясно унаследовавший черты и того и другого. От отца – талантливость, артистичность натуры, обаяние, жизнелюбие, вспыльчивость, горячность. От матери, бывшей полною противоположностью отцу, – мечтательность, «неумеренную чувствительность», лиризм, созерцательность и страстную любовь к поэзии. Вот как сказано в «Жизни Арсеньева» о матери:

«С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни. Всё и все, кого любим мы, есть наша мука, – чего стоит этот вечный страх потери любимого! А я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней – к той, которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой, поразила тем более, что, в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью: сколько слез видел я ребенком на ее глазах, сколько горестных песен слышал из ее уст?»

Так Бунин устами Арсеньева сделал признание в любви своей матери. В жизни, вспоминала Вера Николаевна, эту нежную и «горькую» любовь он прятал столь глубоко, что никогда и ни с кем не говорил о ней.

Огромную роль в числе тех, кто в ранние годы сильно повлиял на формирование характера Арсеньева, сыграл его домашний учитель Баскаков, вольнолюбивый чудак, романтик и умница, превыше всего в жизни ставивший свою независимость. В Баскакове Букин вывел своего домашнего догимназического учителя Н. О. Ромашкова. Алеша Арсеньев был, что называется, воском в руках Баскакова, который «для своих рассказов... чаще всего избирал... все, кажется, наиболее горькое и едкое из пережитого им, свидетельствующие о людской низости и жестокости, а для чтения – что-нибудь героическое, возвышенное, говорящее о прекрасных и благородных

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин «страстях человеческой души». Баскаков «заразил» мальчика этим неравнодушием к бытию. Страницы «Арсеньева», в которых говорится о воздействии Баскакова на ум и сердце юного героя, – предельно автобиографичны. Эти две противоположные и притом дополняющие одна другую черты – острота зрения на жизненные уродства и страстная тяга к прекрасному, гармоническому, – очень ярко осуществились, мы знаем, и в личности, и в творчестве самого Бунина.

Все окружение, начиная с родных и близких, вплоть до «беспутных» соседей, проматывающих свои последние доходы, – оставляло след в душе Алеши Арсеньева, так или иначе влияло на его внутреннее развитие. Но люди были лишь частью огромного мира, который входил в ум и сердце героя, и в первую очередь, конечно, природой. Бунин «подарил» Арсеньеву свою страстную влюбленность в природу, сверхчувствительность к ней. Философско-созерцательное отношение к природе, размышления над ее загадками побуждало Арсеньева к раздумьям (не по возрасту зрелым) о загадках и смысле самого бытия. Всякое жизненное впечатление «переплавлялось» в сознании мальчика; его душа не «ленилась», а, напротив, неустанно вела свою «тайную работу».

Пять книг «Жизни Арсеньева» – это пять этапов, пять вех этой духовной работы, происходящей в герое. Дом, родители; окружающая природа; первая увиденная смерть; общение с Баскаковым; религия; чтение Пушкина и Гоголя; преклонение перед братом Георгием; казенщина и серость гимназии; первые влюбленности; стремление познать мир и первые путешествия. И – уже со школьных лет (а может быть, и еще раньше?) смутное желание выразить, сказать себя, томление от невозможности это сделать, – первые мечты о творчестве. Арсеньеву хочется «что-нибудь выдумать и рассказать в стихах», «понять и выразить что-то происходящее» в нем самом. Это неопределенное что-то Бунина, много позже, из дали прошедших десятилетий, вкладывает в уста совсем еще мальчика (Арсеньев всего в третьем классе гимназии): «...Как ни грустно в этом непонятном мире, он все же прекрасен и нам все-таки страстно хочется быть счастливыми и любить друг друга».

Пятая книга – самая важная часть «Жизни Арсеньева». В ней, по сравнению с предыдущими частями, автор особенно сильно «сконцентрировал» себя в герое. В Алексее Арсеньеве – лирическом поэте. Развитие в Арсеньеве художника показано через главное событие его юности: любовь к Лике («Лика» – так первоначально называлась пятая часть). Иван Алексеевич Бунин здесь воскрешает свою любовь к Варваре Владимировне Пашенко. В пору этой любви Иван Бунин был на четыре года старше Алексея Арсеньева. За время любви к Лике (тоже примерно четырехлетней, как у Бунина) Арсеньев переживает добрых пятнадцать «бунинских» лет. Поэтому и чувство его меняется очень сильно. Любовь Арсеньева и Лики как бы предстает в двуединстве воссоздания и преображения. Воссоздано – и очень точно – юношеское горячее чувство Бунина, которое он изливал в письмах к В. В. Пашенко 1890–1894 годов. Самая последняя фраза книги – о сне Арсеньева – очень близка к неотправленному письму Бунина к Пашенко 1898 года, написанному через три с лишним года после их разрыва.

«Я видел тебя нынче во сне – ты будто лежала, спала, одетая, на правом боку – черты лица были так хороши и женственны, во сне щеки разругались, – от тебя веяло теплотой сна – и я ладонь правой руки подложил тебе под голову, и ты с прикрытыми глазами улыбалась, а я целовал тебя нежно-нежно, наслаждаясь тобой, твоей нежностью, теплотою».

Письмо это осталось в России, и вряд ли его помнил Бунин, – но такова была сила его творческой памяти...

Описание любви Арсеньева и Лики в первых главах – пылкое, горячее чувство Арсеньева – и неустойчивое, переменчивое отношение Лики, которая плохо понимала его, была невнимательна и от равнодушия переходила к внезапным проявлениям нежности, – во многом автобиографично. Здесь Лика близка к тому типу женщин, не умеющих и не научившихся любить, который впервые был назван в «Снах Чанга», выведен в «Митиной любви» и «Деле корнета Елагина», позже – в рассказе «Чистый понедельник». Прообразом этого типа, несомненно, была В. В. Пашенко. Она первая объяснилась Бунину в любви, однако в своем чувстве к нему никогда не была уверена и упрекала его в том, что он недостаточно ее любит; на его письма отвечала редко и неохотно и, наконец, бессильная разобраться в путанице чувств, оставила его и ушла к другому человеку.

Арсеньев в первых главах весь поглощен любовью к Лике. Талант будущего поэта

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин пока еще не проявился в нем с достаточной силой, и Арсеньев живет только своей любовью. Так было и с Буниным. Он был близок к самоубийству, когда Варвара Владимировна покинула его; продолжал мучиться, хотел «стереть с лица земли все эти проклятые воспоминания, которые терзают меня этой проклятой любовью», – и затем переходил к взрывам нежности, к минутам, «когда из тайников сердца поднялось что-то невыразимое, нежное, отзвук моей безумной любви к тебе».

У Арсеньева было иначе. Начиная с одиннадцатой главы, воссоздание уступает место преображению, очень сильному «сгущению» внутренних событий в жизни героя; происходит очень быстрое его взросление. Расставшись на время с Ликой (в тот момент ему не более восемнадцати лет), он целиком уходит в свой внутренний мир. Бунин опускает тяжелые годы своей жизни, годы нужды, случайной и неинтересной работы, душевной депрессии. Арсеньев как бы перешагивает весь этот период. Оставшись наедине с самим собой, он весь отдается борьбе с «неосуществимостью»: с тем, что он стремится выразить в слове и что пока не удается ему. Эта борьба за самое главное счастье – научиться «образовать в себе из даваемого жизнью нечто истинно достойное писания» – заслоняет все другие чувства и стремления. И вот, в один прекрасный день, когда на место душевных терзаний и мучительных поисков приходит озарение: спокойствие и очень простое решение: «без всяких притязаний, кое-что вкратце записывать – всякие мысли, чувства, наблюдения». Так рождается художник-лирик, поэт, который должен писать обо всем, что наблюдает и чувствует. Так рождается чувство долга художника, столь же органичное, сколь и сама потребность творчества.

Такие ощущения Арсеньева – автобиографичны (хотя, конечно, сдвинуты во времени). Бунин, мы знаем, всегда считал, что таланту нельзя давать лениться, надо его все время развивать, не давать себе остановки, работать, не позволять распускаться при мыслях о том, что писать якобы не о чем. Настоящий художник всегда найдет, о чем сказать. В этом смысле замечательно его письмо, написанное еще в 1912 году к Телешову: «...наберись смелости говорить смело: мне скучно, мне все равно и вот почему, жил я вот так-то, видел и вижу вот то-то, вчера в кружке был, среди мертвецов и обжор, а хотелось бы мне того-то и того-то...» Или взять его высказывание о Пушкине, сделанное в молодые годы: «Мы почти ничего не знаем про жизнь Пушкина... А сам он ничего о себе не говорил. А если бы он совершенно просто, не думая ни о какой литературе, записывал то, что видел и что делал, какая это была бы книга! Это, может, было бы самое ценное из того, что он написал. Записал бы, где гулял, что видел, читал...» И другие слова, сказанные позже: «Надо, кроме наблюдений о жизни, записывать цвет листьев, воспоминание о какой-то полевой станции, где был в детстве, пришедший в голову рассказ, стихи... Такой дневник есть нечто вечное».

В эту пору творческого пробуждения у Арсеньева изменился характер: он стал мужественнее, проще, добрее, спокойнее. Таким преображенным застала его после разлуки Лика – и тут они как бы поменялись ролями. «Теперь уже я (как прежде, в Орле, она) хотел быть любимым и любить, оставаясь свободным и во всем первенствующим». Это произошло потому, что Арсеньев нашел свою жизненную цель и опору – в творчестве; остальное было второстепенно по сравнению с главным: с его творческой свободой, которая для него непременно включала в себя и его право увлекаться другими женщинами («я поэт, художник, а всякое искусство, по словам Гете, чувственно»). И, продолжая любить Лику, но теперь уже иначе, Арсеньев, вполне в духе позднего Бунина, говорит о том, что возможность их с Ликой «вечной неразлучности» вызвала у него недоумение. «Неужели и впрямь мы сошлись навсегда и так вот и будем жить до самой старости, будем, как все, иметь дом, детей?..» Впрочем, такое настроение не было новым для Арсеньева. Когда еще в детстве старший брат Николай шуточно стал рисовать ему его будущее – «когда подрастешь, будешь служить, женишься, заведешь детей» и так далее, Алеша «вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что разрыдался». У Лики же ничего, кроме ее любви, не было в жизни, а она полюбила Арсеньева по-настоящему, и ей хотелось, чтобы он жил только ею. Но этого он теперь и не мог. И поскольку Лика, несмотря на то что тоже во многом изменилась за эти годы, все-таки не была рождена спутницей художника, которая могла бы раствориться в нем, в его жизни, в его интересах, – то постепенно их любовь стала сходить на нет. Бунин показывает неизбежность такого конца: Лика не смогла в конечном счете полюбить Арсеньева так, как нужно было ему, для него, а не для себя, ушла от него и вскоре умерла.

Так умерла любовь Арсеньева, оставшись в то же время навсегда в нем, с ним – в виде Памяти, неоскудевающего источника всякого творчества. И заключительной

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
нотой звучит на последней странице «Жизни Арсеньева» голос писателя,  
перекликаясь со словами, написанными около пятидесяти лет назад в письме к В. В.  
Пашенко:

«Так нежно и хорошо я любил тебя, что лучшие минуты этого чувства останутся для  
меня самыми благородными и чистыми ощущениями во всей жизни».

«Жизнь Арсеньева» – главная книга Бунина, главная потому, что она, при своем  
невеликом объеме, как бы обняла собою все написанное им до нее.

## II

Поглощенный продолжением работы над «Жизнью Арсеньева», Бунин в начале 30-х  
годов пишет редкие рассказы на различные сюжеты, объединенные, однако, общей  
внутренней темой. Это, во-первых, тема любви, которая на земле долго длиться не  
может, а если она оказывается длительной – то лишь в мечте поэта. Такою была  
любовь великого Петрарки (рассказ «Прекраснейшая солнца»). Эта любовь оказалась  
сильнее смерти, потому что Петрарка любил Лауру не только при ее жизни, но и  
тогда, когда ее не стало, а он был уже старым человеком. «Двадцать один год он  
славил земной образ Лауры; еще четверть века – ее образ загробный. Он сосчитал,  
что за всю жизнь видел ее, в общем, меньше года; но и то всё на людях...» Но  
любовь Петрарки никогда не кончилась, ибо осталась навсегда в его творениях.

Совсем другая тема – в этюде «Остров Сирен» – кончина беспримерного тирана и  
злодея римского – «цезаря» Тиберия; Бунин, как мы знаем, любил иной раз  
прикоснуться (ненадолго, чтобы тут же с отвращением отшатнуться) к злу,  
творимому на земле людьми... В ироническом рассказе «Жилет пана Михольского»  
писатель дает презрительный портрет некоего самодовольного господина,  
убежденного, и вполне серьезно, что великий Гоголь на одном из званых вечеров...  
позавидовал его нарядной жилетке... А рассказ «Апрель» являет собой один из  
эпизодов повести «Митина любовь», не вошедший в окончательный текст. Этот  
рассказ писатель включил в первое издание книги рассказов о любви «Темные  
аллеи».

«Темные аллеи». Над этой книгой Бунин работал с 1937 по 1945 год.

Эти годы были для него очень тяжелыми. Сначала – нужда, да и просто бедность,  
после того как была прожита и вдобавок в значительной части роздана нуждающимся  
писателям Нобелевская премия, которую Бунину присудили в 1933 году за «Жизнь  
Арсеньева». Затем последовали годы фашистской оккупации. Сотрудничать с  
гитлеровцами Бунин наотрез отказался, переехать в Америку – тоже и всю войну  
прожил в Грассе. Там, в сентябре 1939 года, Иван Алексеевич с Верой Николаевной  
поселились на вилле «Жан-нет», владелица ее во время войны уехала в Англию и  
сдала дом. Дом стоял на крутой горе и был окружен садом, который переходил в  
лес. Кроме Буниных, на вилле жили еще несколько человек, в их числе – любимица  
Ивана Алексеевича, шестилетняя девочка, которая, к его большой грусти, вскоре с  
матерью уехала. Зато остался, и на долгие годы, бездарный и бесцеремонный  
писатель-нахлебник Л. Зуров. Жалея Веру Николаевну, привязавшуюся к нему, как к  
сыну, Бунин терпел его присутствие с великой кротостью, что лишний раз  
свидетельствует о его столь же великой, хотя и не для всех открытой доброте...

Нужда сопровождала писателя неотступно. «Живем мы все хуже и хуже, – писал он в  
марте сорок первого, – истинно на пище Святого Антония, но и эта пища становится  
уже до смешного дорога. Кроме того, пропадают от налогов...»

Здоровье ухудшалось, наступала старость. Писателя сопровождало страшное,  
неотступающее одиночество, о чем свидетельствуют сохранившиеся записи Ивана  
Алексеевича. Вот одна:

«Нынче особенно великолепный день. Смотрел в окна своего фонаря. Все долины и  
горы кругом в солнечно-голубой дымке... Справа, вдоль нашей каменной лестницы  
зацветают небольшими розовыми цветами два олеандра с их мелкими острыми  
листьями; И одиночество, одиночество, как всегда!..»

И дальше – множество записей о безвыходной тоске, одиночестве, о тупой, тихой  
грусти, безнадежности...

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин и позже, в 1945 году, жена Бунина писала знакомой в Париж: «Я уже не говорю о том полном одиночестве, в каком мы живем. Ведь нет ни единого человека, с которым можно поговорить о литературе, об искусстве, обо всем том, чем мы, собственно, живы».

Бунина угнетала война. Он бурно пережил нападение фашистской Германии на его родину, взволнованно следил за военными событиями, переставляя флажки на карте русских городов. Он понимал, что от победы наших войск зависит исход войны. «Озверелые люди продолжают свое дьявольское дело, убийства и разрушение всего, всего! – записывает он в марте сорок второго года. – И все это началось по воле одного человека – разрушение жизни всего земного шара... Нищета, дикое одиночество, безвыходность, голод, холод, грязь – вот последние дни моей жизни. И что впереди? Сколько мне осталось? И чего? Битвы в России. Что-то будет? Это главное, главное – судьба всего мира зависит от этого».

Работа над рассказами книги «Темные аллеи» в те годы составляла для Бунина главную радость жизни. Мало рассчитывая на нее в материальном отношении, он постоянно возвращался к ней в своих письмах и записях.

Но откуда название: «Темные аллеи»? Как вспоминал сам писатель, однажды ему в руки попала книга стихов поэта Огарева, и в стихотворении «Обыкновенная повесть» он наткнулся на строки:

Кругом шиповник алый цвел,  
Стояла темных лип аллея...

Эти строки вызвали в памяти Ивана Алексеевича русскую осень, ненастье, большую дорогу и проезжающего в тарантасе старого военного. Возникла картина, а вслед картине – сюжет рассказа, который Бунин и назвал словами, взятыми из стихотворения: «Темные аллеи», – а когда готовил к печати книгу – то оно стало названием всей книги...

О чем она? Какая единая мысль, какая сквозная тема, какое всепоглощающее чувство пронизывают ее?

В своей книге «Освобождение Толстого» Бунин привел слова великого русского писателя, некогда сказанные ему, юноше: «Счастья в жизни нет, есть только зарницы его, – цените их, живите ими».

Таковыми «зарницами» счастья, озаряющими жизнь человека, Бунин считает любовь. «Любовь не понимает смерти. Любовь есть жизнь», – выписывает Бунин слова Льва Толстого из «Войны и мира», и эти слова могут служить эпиграфом, сквозной темой и камертоном «Темных – аллеи».

Эту книгу поистине можно назвать энциклопедией любви. Самые различные моменты и оттенки чувств, возникающих между мужчиной и женщиной, занимают писателя; он вглядывается, вслушивается, угадывает, пытается вообразить всю «гамму» сложных отношений героя и героини. Они самые разные, самые неожиданные. Поэтические, возвышенные переживания в рассказах «Руся», «Поздний час», «Холодная осень», противоречивые, неожиданные, порою жестокие чувства («Муза»); достаточно примитивные влечения и эмоции (рассказы «Кума», «Начало») – вплоть до животного проявления страсти, инстинкта («Барышня Клара», «Железная шерсть»). Словом, весь любовный путь, от возвышенных переживаний, романтических мечтаний, до вполне прозаических влечений – все исследует писатель, влекомый стремлением постичь загадочную природу человека.

Но в первую очередь и главным образом Бунина, конечно, привлекает подлинная земная любовь, которая, как он считает, являет собою слияние, неразрывность «земли» и «неба», некий абсолют любви, гармонию ее двух противоположных начал, – гармонию, которую постоянно ищут, но не всегда находят все истинные поэты мира...

Такая любовь – не придумана людьми, она встречается, и, может быть, не столь уж редко. Она – огромное счастье, но счастье недолгое, порою – мгновенное, именно как зарница: вспыхнуло – и исчезло. И потому, как считает Бунин, такое чувство не может быть связано с браком. Недаром о супружеских парах в его рассказах вообще, как правило, речи нет. «Неужели неизвестно, что есть странное свойство всякой сильной и вообще не совсем обычной любви даже как бы избежать брака?» – писал он прежде в рассказе «Дело корнета Елагина». И в книге «Темные аллеи» любовь недолговечна. Более того: чем она сильнее, необычнее, тем скорее суждено

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин ей оборваться. Но эта зарница счастья может осветить всю память и жизнь человека. Так, через всю жизнь пронесла любовь к «барину», некогда соблазнившему ее, Надежда, владелица постоялой горницы в рассказе «Темные аллеи». «Молодость у всех проходит, а любовь – другое дело», – говорит она. Двадцать лет не может забыть Русю «он», когда-то молодой репетитор в ее семье. Он помнит в мельчайших подробностях все, что было в то удивительное, самое счастливое лето в его жизни. А героиня рассказа «Холодная осень», проводившая на войну своего жениха, которого через месяц убили, не только тридцать лет хранит в своем сердце любовь к нему, но и вообще считает, что в ее жизни только и был тот холодный осенний вечер, а остальное лишь «ненужный сон».

О счастливой, длящейся, соединяющей людей любви Бунин никогда не пишет, и за этим стоит его твердое убеждение – человека и художника. Соединение жизней любящих – совсем иные отношения, когда нет боли, нет волнения, нет томительно-щмящего блаженства. Все это не интересует писателя. «Пусть будет только то, что есть... Лучше уж не будет», – говорит молодая девушка в рассказе «Качели», отвергая саму мысль о возможности брака с человеком, в которого влюблена. Герой рассказа «Таня» с ужасом размышляет о том, что он будет делать, если возьмет Таню, деревенскую девушку, горничную его родственников, в жены, – а ведь именно ее по-настоящему он только и любит: «Она даже и не подозревает всей силы моей любви к ней! А что я могу? Увезти ее с собой? Куда? На какую жизнь? И что из этого выйдет? Связать, погубить себя навеки?» Он «погубит» себя вовсе не потому, что Таня ему «не пара»; главная мысль писателя в том, что «связать себя навеки» даже с любимой женщиной для бунинского героя значит убить самое Любовь, обратить чувство в привычку, праздник – в будни, волнение – в безмятежность. Так же думал и Арсеньев, ие желавший «жить до самой старости» с Ликой, завести дом, детей... Но если, по сюжету рассказа, герои Бунина все-таки стремятся соединить свои жизни, то в последний роковой момент, когда, кажется, все идет к счастливому завершению, непременно разражается внезапная катастрофа либо возникают неожиданные обстоятельства, вплоть до смерти героев, – для того чтобы «остановить мгновенье» на высшем взлете чувств. Погибает от выстрела ревнивого любовника единственная из женщин, которую по-настоящему полюбил герой рассказа «Генрих». Внезапное появление сумасшедшей матери Руси во время ее свидания с любимым навсегда разлучает героев. А если даже вплоть до последней страницы рассказа все идет благополучно, то в финале рассказа Бунин, всякий раз неожиданно, но неукоснительно сообщает читателю: «На третий день Пасхи он умер в вагоне метро, – читая газету, вдруг откинул к спинке кресла голову, завел глаза...» («В Париже»); «В декабре она умерла на Женевском озере в преждевременных родах» («Натали»).

Бунин, по складу своей натуры, остро ощущал всю неустойчивость, зыбкость, драматичность самой жизни (думать так у него было достаточно оснований). И потому любовь в этом ненадежном, хотя и прекрасном мире оказывалась, по его представлению, наиболее хрупкой, недолговечной, обреченной. Такая точка зрения писателя объяснялась его поэтической, эмоциональной природой. Однажды Бунин весьма взволнованно, хотя и полушутя, процитировал чьи-то слова, по-видимому сильно его задевшие: «Часто бывает легче умереть за женщину, чем жить с ней».

Все эти любовные катастрофы, неожиданные обстоятельства с необычайной изобретательностью Бунин придумывал. Да и откуда еще было ему черпать свои сюжеты, когда под рукой не было нужных книг, а главное – весь архив Ивана Алексеевича, к его горю, находился в Париже. Оставалось лишь творческое воображение писателя, которое становилось с годами все более изощренным. В большинстве рассказов «Темных аллей» – острый, напряженный сюжет, в то время, как мы помним, более ранние его произведения часто бесфабульны, Бунин сам признавал это. «В молодости я очень огорчался слабости своей выдумывать темы рассказов, – признавался он, – писал больше из того, что видел, или же был так лиричен, что часто начинал какой-нибудь рассказ, а дальше не знал, во что именно включить свою лирику, сюжета не мог выдумать или выдумывал плохонький... – признавался Бунин в 1947 году. – А потом случилось нечто удивительное: воображение у меня стало развиваться „не по дням, а по часам“, как говорится, выдумка стала необыкновенно легка, один бог знает, откуда она бралась, когда я брался за перо, очень, очень часто еще совсем не зная, что выйдет из начатого рассказа, чем он кончится (а очень часто кончался, совершенно неожиданно для меня самого, каким-нибудь ловким выстрелом, какого я и не чаял)».

Но при этом напряженный, часто – занимательный сюжет ничуть не мешает и не противоречит психологической убедительности действующих лиц и ситуаций, – до

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин такой степени достоверных, реалистических, что многие утверждали, будто писатель черпал их из собственных воспоминаний. Бунин, действительно, не прочь был в откровенной беседе вспомнить некоторые «приключения» своей молодости; но когда принимался писать, то все затмевала творческая фантазия; и характеры и ситуации писатель изобретал полностью. Естественно, что суждения об автобиографичности его творений задевали Ивана Алексеевича, и вот продолжение только что процитированных слов: «Как же мне после этого, после такой моей радости и гордости не огорчаться, когда все думают, что я пишу с такой реальностью и убедительностью только потому, что обладаю „необыкновенной памятью“, что я все пишу „с натуры“, то, что со мной самим было, или то, что я знал, видел!» «Никто не верит, что я почти всегда все выдумываю – все, все. Обидно!»

Толчком к «игре» творческого воображения, как много раз вспоминал Иван Алексеевич, служило какое-нибудь мелькнувшее воспоминание, пейзаж, настроение.

Так, например, ему неожиданно, «ни с того ни с сего», представился вечер после грозы и ливня на дороге на одной русской станции, темнеющие небо и земля; а вдали над темной полосой леса еще вспыхивают молнии. И какой-то мужчина стоит на крыльце постоялого двора возле шоссе, очищая сапог грязь. Рядом – собака... Так родился рассказ «Степа»...

А рассказ «Муза» Бунин придумал, вспоминая зимы в Москве, на Арбате и то время, когда как-то гостил летом на даче своего приятеля писателя Телешова под Москвой. Спустя много лет в Париже однажды проснулся с мыслью, что-надо дать какой-нибудь рассказ для газеты, чтобы покрыть долг, вспомнил вдруг зиму в русском захолустье и написал рассказ «Баллада», – опять-таки «ни с того ни с сего».

Вспоминая о том, как родился рассказ «Визитные карточки», Иван Алексеевич записал, что в июне 1914 года он с братом Юлием плыли по Волге от Саратова до Ярославля. И в первый вечер, после ужина, когда Юлий гулял по палубе, а Иван Алексеевич сидел под окном их каюты, к нему подошла какая-то славная и застенчивая некрасивая молоденькая женщина и сказала, что она узнала его по портретам и что так счастлива его видеть. Бунин разговорился с ней, стал расспрашивать, кто она, откуда, – ее ответов он не запомнил. Вскоре подошел недовольный брат, «молча и неприязненно посмотрел на нас, она окончательно смутилась, торопливо попрощалась». И все. Но, вспомнив это спустя много лет, Бунин выдумал свой рассказ.

Человек самолюбивый и гордый, Бунин всегда настороженно ожидал: как отнесутся к очередному его «детису»? И бесконечно ценил положительные отзывы, – а читателей было так мало... Когда в мае 1944 года он получил из Парижа письмо, в котором корреспондентка назвала его «учителем» и похвалила рассказ «Ворон», Бунин отнесся к этому с истинно детской радостью. «...Вы меня похвалили в нынешнем письме, и я, как самолюбивый, честолюбивый, гадкий подросток, засопел, покраснел от радости – и вытащил из кармана еще тетрадку – „вот у меня еще есть...“»

Мастерство писателя в рассказах «Темных аллеи» достигло необычайной виртуозности и выразительности. Тонко, откровенно и подробно рисует Бунин интимные человеческие отношения, – однако всегда на той неуловимой границе, где высокое искусство ни на йоту не снижается даже до намеков на натурализм. Но это «чудо» достигается ценою великих творческих мук, – как, впрочем, и все, написанное Буниным. Вот, например, запись, свидетельствующая об этих муках: о том, как бесконечно трудно описать прекрасную женщину, не впад в пошлость; надо пытаться, очень упорно, найти слова. И писатель всегда находил эти другие, то есть единственно нужные, необходимые слова и заставлял их звучать откровением. В современной Бунину русской литературе о любви-страсти не было «никогда не написано никем» так, как удалось это ему. Современная смелость сочеталась со строгостью, классичностью языка. Бунин не пошел ни на единую уступку преходящей моде, – и это сочетание новаторства с традиционностью было его художественным открытием, начатым еще раньше в повести «Митина любовь» и рассказе «Солнечный удар». А вот и своеобразная декларация художественного «кредо» писателя. Говоря в рассказе «Генрих» о чувствах, которые возбуждает в мужчине женщина, которая, по библейскому выражению, есть «сеть прельщения человеков», Бунин устами своего героя-поэта выражает свое собственное отношение, нравственное и эстетическое, к тому, как надо писать о любви: «Эта „сеть“ нечто поистине неизъяснимое, божественное и дьявольское, и, когда я пишу об этом, пытаюсь выразить его, меня упрекают в бесстыдстве, в низких побуждениях... Подлые души! Хорошо сказано в одной старинной книге: „Сочинитель имеет такое же полное право быть смелым в

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин своих словесных изображениях любви и лиц ее, каковое во все времена предоставлено было в этом случае живописцам и ваятелям“».

И впрямь, подобно живописцу и ваятелю, рисует и лепит Бунин красоту, воплотившуюся в женщине. Начиная увядать, но все еще красивая Надежда в рассказе «Темные аллеи»; грациозная, чистая и прекрасная девушка Руся, обладающая душевной грацией и красотой; таинственная безымянная красавица – героиня «Чистого понедельника». А в некоторых – например, «Камарг», «Сто рупий» – действия нет совсем; это не что иное, как женские портреты во всей своей первобытной, дикой красоте.

В «Темных аллеях» женщины вообще играют главную роль. Мужчины – как бы фон, оттеняющий характеры и поступки героинь; мужских характеров нет, есть лишь их чувства и переживания, переданные необычайно обостренно и убедительно. В рассказах Бунина он всегда устремлен к ней, влекомый желанием непременно постигнуть тайну, магию неотразимого женского очарования. «Женщины кажутся мне чем-то загадочным. Чем более изучаю их, тем менее понимаю» – эти слова Флобера Бунин выписывает в свой дневник, потому что они ему близки.

Женские характеры в «Темных аллеях» очень многообразны. Здесь и преданные любимому до гроба «простые души» – Степа и Таня в одноименных рассказах; и изломанные, экстравагантные, по-современному смелые «дочери века» («Муза», «Антигона»); рано созревшие девочки в рассказах «Зойка и Валерия», «Натали»; женщины необычайной душевной красоты, наделенные талантом любви и способные одарить несказанным счастьем (Руся, Генрих, Натали в одноименных рассказах) – и, наконец, образ мятущейся, страдающей женщины в рассказе «Чистый понедельник». Этот женский тип был особенно интересен Бунину и прошел по многим его произведениям. «Есть... женские души, – писал Бунин много раньше, еще в России, в рассказе „Сны Чанга“, – которые вечно томятся какой-то печальной жаждой любви и которые от этого самого никогда и никого не любят... Кто их разгадает?» В «Чистом понедельнике» как бы завершается путь таких героинь: странные, сами себя не понимающие, они одинаково неожиданно могут совершать самые противоположные поступки – столь же неожиданно оборвать или погубить свою жизнь. Однако, по мнению Бунина, самое влекущее, неотразимое и таинственное сосредоточено именно в таком сложном, загадочном характере.

Каждый из многочисленных женских типов «Темных аллей» – живой, и притом очень русский. Да и действие почти всегда происходит в старой России, а если и вне ее, как, например, в рассказе «В Париже», то герои ее – русские люди, двое одиноких и неприкаянных, – и Родина живет в их душах – так же, как живет она в душе писателя. «Россию, наше русское естество, мы унесли с собой, и где бы мы ни были, мы не можем не чувствовать ее» – этим словам Бунин оставался верен всю жизнь.

Работа над книгой «Темные аллеи» служила ему в какой-то мере спасением от ужаса, творящегося в мире. И больше того: творчество было противостоянием художника этому кошмару и свидетельствовало о его творческой воле, о мужестве. Можно вообще сказать, что Бунин сохранял полнейшее бесстрашие. По воспоминаниям современника, однажды, в ответ на пустой вопрос знакомого о здоровье, он громко, во всеуслышанье, ответил, что не может жить, когда «эти два холуя» собираются править миром<sup>1</sup> (Иван Алексеевич имел в виду Муссолини и Гитлера, которого презрительно называл: Хитрел).

Обитатели грасской виллы были свидетелями тому, сколь одержим был Бунин своей книгой, как писал он ее «запоем», и случались недели, когда он буквально не отрывался от письменного стола с утра и до позднего вечера, запираясь на ключ в своей комнате; как по несколько раз переписывал рассказы; как записывал в разные тетрадки какие-то словечки, наброски диалогов, собирал и выписывал имена, фамилии, будучи убежденным, что для каждого героя необходимо подобрать единственно подходящее ему имя; как тщательно подбирал заглавия к рассказам, следуя принципу; ничего не объяснять, не «разжевывать» читателю. Большую часть наблюдаемого и услышанного он заносил в тетради с названиями: «Копилка» и «Земля и люди».

В дневниках писателя часто встречаются записи о его работе над рассказами, порою – действительно «запойной», неотрывной. Вот некоторые:

«С месяц пишу не вставая, даже иногда поздно ночью, перед сном» (30 октября 1940

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин (г.); «Начал „Русю“» (20 сентября); «Дописал „Русю“» (27 сентября); «Написал „Антигону“» (2 октября); «Вчера и сегодня писал „Визитные карточки“» (5 октября); «Писал и кончил... „Зойку и Валерию“» (10–13 октября); «Писал и кончил „Таню“» (с 14 по 22 октября) – и т. д.

Еще запись от 19 марта 1941 года – о работе над рассказом «Натали»: «Вчера... начал писать „Натали Станкевич“, писал и после обеда почти до часу, пил в то же время коньяк, спал мало, нынче еще не выходил на воздух (а сейчас уже почти пять), все писал». 24 марта: «Все дни сидел почти не вставая, писал „Натали“». 4 апреля: «Пятница. В шесть вечера кончил „Натали“». И последняя, 11 апреля: «Еще раз (кажется, окончательно) перечитал (днем) „Натали“, немного почеркал, исправил конец последней главы».

И наконец, приведем запись, сделанную в ночь с 8 на 9 мая 1944. года во время работы над рассказом «Чистый понедельник», который сам Бунин очень любил:

«Час ночи. Встал из-за стола – осталось дописать несколько страниц „Чистого понедельника“. Погасил свет, открыл окно проветрить комнату – ни малейшего движения воздуха; полнолуние, вся долина в тончайшем тумане, далеко на горизонте нежный розовый блеск моря, тишина, мягкая свежесть молодой древесной зелени, кое-где щелканье первых соловьев... Господи, прости мои силы для моей одинокой, бедной жизни в этой красоте и работе!»

Так, на закате своих дней, совершал русский художник свой одинокий подвиг... А его книга «Темные аллеи» стала той неотъемлемой частью русской и мировой литературы, которая, пока живы люди на земле, варьирует на разные лады «Песнь Песней» человеческого сердца.

\* \* \*

Подходила к концу война, в августе 1944 года был освобожден Париж; Иван Алексеевич с Верой Николаевной стали собираться домой. Отъезд задерживался, так как их квартира на улице Жака Оффенбаха была «оккупирована» другими жильцами. Но вот путь свободен, и в апреле сорок пятого года Бунин пишет знакомым письмо, в котором его собственная радость сливается с ликованием по поводу победы наших войск над фашистской Германией и взятием Берлина:

«Надеемся быть в Париже 1-го мая. Поздравляю с Берлином. „Меш Каторг“... повоевал, так его так! Ах, если бы поймали да провезли по всей Европе в железной клетке!»

1 мая 1945 года Бунин вернулся в Париж. Вскоре был устроен его литературный вечер, а осенью его чествовали по случаю семидесятилетия.

Думал ли он о возврате на Родину? Еще год назад у него вырвалось признание: «Просмотрел свои заметки о прежней России. Все думаю, если бы дожить, попасть в Россию!» Но уже, конечно, поздно было думать о какой-либо перемене в жизни. Да и от прежней, от его России ничего не осталось, и он это отлично понимал...

Но Родина продолжала жить в старом писателе. И в тех рассказах, которые он теперь пишет все меньше, все реже, встает русская земля, русский человек, богатая и яркая русская речь. Персонаж рассказа «Ловчий» – бывший повар Леонтий – говорит таким изумительным художественным народным языком, каким «теперь уж так не могут говорить»; а если кто заговорит – «это подобно тому, как песню петь некстати» – неповторимые и незаменимые словечки уходят в небытие, и речь обедняется. Бунин стремится удержать, спасти ее, запечатлевать живые монологи этого Леонтия, а также дурочки Глаши в рассказе «Полуденный жар».

«Насчет народного языка... Как я все это помню? – писал Иван Алексеевич. – Да это не память... это... в моем естестве – и пейзаж, и язык, и все прочее – язык и мужицкий, и мещанский, и дворянский, и охотничий, и дурачков, и юродов, и нищих... И клянусь Вам – никогда я ничего не записывал; последние годы немало записал кое-чего в записных книжках, но не для себя, а для „потомства“ – жаль, что многое из народного и вообще прежнего и бывшего уже забыто, забывается; есть у меня и много других записей, – лица, пейзажи, девочки, женщины, погода, сюжеты и черты рассказов, которые, конечно, уже никогда не будут написаны...»

По-прежнему Бунин верен своему горячему любопытству к тому, что именуется

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин непрерывным течением веков на земле, к тому, как все рождается, меняется и исчезает, уступая место новым жизням. И его отвращение к смерти, ужас перед неизбежным концом об руку идет с размышлениями о тех отдаленных временах, когда «будут новые живые жить мечтами о нас, умерших, о нашей давней жизни, о нашем древнем времени, что будет казаться им прекрасным и счастливым, – ибо легендарным» («Легенда»).

С каждым годом нужда и болезни все больше одолевали Бунина; почти ежегодные воспаления легких, тяжелая операция, после которой он уже не смог окрепнуть. Он говорил, что с трудом добирался до письменного стола, – и все-таки добирался до него, работал много, писал рассказы, воспоминания. Задумал книгу о Чехове; поставил вопрос, который считал важнейшим: «Была ли в его жизни хоть одна большая любовь? – Думаю, что нет», – написал он вначале, а потом прибавил: «Нет, была. К Авиловой», – и стал развивать эту тему, и наметил множество других тем, ибо задумал книгу обширную, подробную..

Много времени посвящал Бунин работе над своим архивом, просматривал и правил старые произведения для будущих изданий. За год до смерти, в 1952 году, он взял свой старый, написанный еще в 1929 году рассказ «Бернар», немного изменил начало и конец и превратил его в своего рода литературное завещание писателя, исполнившего свой святой долг перед литературой.

И в самом деле: Бунин служил русской литературе буквально до последнего удара сердца, и это – не метафора. В день накануне своей кончины, 7 ноября 1953 года, когда у его постели дежурил знакомый, Иван Алексеевич, рядом с которым лежал растрепанный том Толстого, заговорил о том, что напрасно Толстой включил в «Воскресение» некоторые страницы. И, устав, засыпая, все повторял: «Как он мог, как он мог?..» Уже поздно (вечером того же дня) он просил жену почитать ему письма Чехова – он надеялся дописать свою книгу... А примерно между часом и тремя утра следующего дня его не стало.

Анна Саакянц

Комментарии

Список условных сокращений

Бунин – Бунин И. А. Собрание сочинений в девяти томах. М., Художественная литература, 1965–1967.

«Весной, в Иудее» – Бунин И. А. Весной, в Иудее. – Роза Иерихона. Нью-Йорк, изд-во имени Чехова, 1953.

ГБЛ – Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина.

«Жизнь Бунина» – Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. 1870–1906. Париж, 1958.

ИМ ЛИ – Институт мировой литературы ЛН СССР им. М. Горького.

ЛН – Литературное наследство, т. 84, кн. 1 и 2. Иван Бунин. М, Наука, 1973.

«Материалы» – Бабореко А. К. И. А. Бунин. Материалы для биографии. М., Художественная литература, 1983.

ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства СССР.

Жизнь Арсеньева\*

Летом 1927 года Бунин начал писать «Жизнь Арсеньева». Вспоминая эти дни, он отметил в дневнике 7 мая 1940 года: «„Жизнь Арсеньева“ („Истоки дней“) вся написана в Грассе. Начал 22.VI.27. кончил 17/30. VII. 29».

А задумал он «написать о жизни», – сообщает В. Н. Муромцева-Бунина, – в свое пятидесятилетие, в октябре 1920 года (журн. «Москва», 1961, № 7, с. 146–147).

Роман печатался отдельными главами в периодических изданиях: газ. «Россия», Париж, 1927, № 9, 22 октября; газ. «Последние новости», Париж, 1928, № 2475, 1

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
января; № 2481, 7 января; № 2538, 4 марта; № 2573, 8 апреля; № 2801, 22 ноября;  
№ 2811, 2 декабря; 1929, № 2965, 5 мая; № 3116, 30 октября.

«Жизнь Арсеньева» публиковалась также в журнале «Современные записки», Париж, 1928, кн. 34 (I–XXI главы 1-й кн.); кн. 35 (I–XIX главы 2-й кн.); кн. 37 (I–XIV главы 3-й кн.); 1929, кн. 40 (I–XXIII главы 4-й кн.).

Последняя, пятая часть или, как называл Бунин, пятая книга «Жизни Арсеньева» написана позднее и печаталась в газ. «Последние новости», Париж, 1932, № 4295, 25 декабря; 1933, № 4316, 15 января; № 4330, 29 января; 1938, № 6481, 25 декабря; 1939, № 6488, 1 января; журн. «Иллюстрированная Россия», Париж, 1937, 2 января; а также в «Современных записках», 1933, кн. 52 и 53.

Отдельным изданием «Жизнь Арсеньева» была напечатана изд-вом «Современные записки» в Париже в январе 1930 года; затем – в 11-м томе Собрания сочинений Бунина (Берлин, Петрополис, 1935). Пятая книга выпущена изд-вом «Петрополис» в 1939 году в Брюсселе под заглавием «Лику». В. Н. Муромцева-Бунина писала: «Иван Алексеевич издал „Лику“ отдельно только потому, что „Жизнь Арсеньева“ была уже издана, но при первой возможности ввел „Лику“ как пятую книгу в свой роман „Жизнь Арсеньева“» (Бунин И. А. Повести, рассказы, воспоминания, М., 1961, с. 614–615).

В 1930-е годы были опубликованы переводы романа Бунина во Франции, в Италии, Швеции, Норвегии; в марте 1933 года «Арсеньев» вышел на английском языке, под заглавием «The Well of Days» («Истоки дней»).

Бунин предполагал написать второй том «Жизни Арсеньева», но сделал лишь несколько набросков. Он говорил: «Я там писал о давно умерших людях, о навсегда конченных делах. В продолжении надо было бы писать в художественной форме о живых, – разве я могу это сделать?» (сб. «Весна пришла», Смоленск, 1959, с. 209).

Последнее прижизненное издание романа вышло в 1952 году в Нью-Йорке в издательстве имени Чехова: Бунин И. А. Жизнь Арсеньева. Юность. Первое полное издание. Для этого издания Бунин в 1949 и 1951 годах значительно переработал текст прежних публикаций и многое сократил. «Лику» сделал пятой книгой романа. Корректуры нью-йоркского издания «Жизни Арсеньева» читал Бунин, а также Г. Н. Кузнецова и М. А. Степун. Кузнецова писала 2 июня 1971 года: «...мы корректировали книги Бунина в Чеховском издательстве», Иван Алексеевич «был уже в это время очень болен».

Издание 1952 года Бунин просмотрел и сделал немногие стилистические поправки. В настоящем Собрании сочинений текст печатается по этому экземпляру (ГБЛ).

Бунин писал Б. К. Зайцеву 1/14 января 1929 года, что «Жизнь Арсеньева» доставила ему много волнений и сомнений, да и поставил он себе задачу, по собственному признанию, «истинно дьявольскую, небывалую по трудности!». Сомнения, когда кажется, что «все не так, как бы нужно было», были – как он сам говорил в письме к В. В. Рудневу 28 августа 1933 года, посылая журналу очередные главы «Жизни Арсеньева», – его «давнишней болезнью», очень его мучившей. «...Я ведь всегда, всю жизнь, – пишет он тому же адресату, – расстаюсь с рукописью с большой тревогой, с большими сомнениями на счет ее цены» (письмо 14.IV. 1933). (Письма Бунина В. В. Рудневу цитирую по ксерокопиям с автографов.) Бунин писал обычно быстро, когда все было обдуманно и оставалось только изложить на бумаге. Это справедливо и по отношению к «Жизни Арсеньева». Небывалая по трудности задача, которую он перед собой поставил, заключалась в смелых поисках новых форм, когда, – можно сказать словами Флобера, – «стиль, форма – та не поддающаяся определению Красота, которая является следствием самой концепции и включает в себе великолепие Истины, как говорил Платон» (Флобер Гюстав. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 8. М, 1938, с. 36).

Бунин писал о «Жизни Арсеньева» 10 декабря 1952 года М. Е. Вейнбауму: «книга эта вызвала единодушное не только восхищение, но даже удивление критиков своими достоинствами...»

Основное содержание книги критики определяли как хвалу «всему существу и прежде всего своему собственному бытию» – и сравнивали с романом-эпопеей Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», в котором отразился опыт жизни автора: «И

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин Пруст, на противоположном полюсе искусства, также говорит о мартэнвильской колокольне, как Бунин о красоте ночи, с которой не знает, что делать и как проникнуть в ее глубину». Роман Бунина есть «непревзойденный образец словесного мастерства, изобразительности, силы, правды», язык его «волшебный». «Есть, например, в „Жизни Арсеньева“ страница или даже полстраницы, где Бунин рассказывает, как герой его приезжает зимним вечером в захолустный губернский город: этот снег, эта глушь, эти первые слабые звезды, эти молчаливо гуляющие парочки, – все это именно волшебство, иначе не скажешь! Это не описание, а воспроизведение, восстановление. Бунин как будто называет каждое явление окончательным, впервые окончательно найденным, незаменимым именем, и не блеск у него поражает, а соответствие каждого слова предмету и в особенности внутренняя правдивость каждого слова».

«Бунин принадлежит к художникам (...) толстовски-гетевского склада, и нигде, кажется, это не чувствовалось с такой силой, как в „Лике“. История, рассказанная в ней, печальна. Она скорее должна бы настроить на мысль о бренности, о шаткости всего земного, чем вызвать спокойствие и радостную бодрость. Но независимо от фабулы, порой даже вопреки ей, в книге столько восхищения бытием, признательности за него, какой-то неутолимой жадности к нему, что не поддаются ее духу невозможно» (цитируется отзыв Г. В. Адамовича по журн. «Подъем», Воронеж, 1980, № 1, с. 137).

П. М. Пильский писал о «Жизни Арсеньева»: эта книга «удивляет глубиной мысли, обостренной памятью, художественным артистизмом, редкой литературной культурой. Роман вообще поразителен. В своей рискованной оригинальности он шел, казалось бы, по опасной дороге, отказавшись от интриги, отбросив фабулу, оставшись романом без сюжета, сосредоточив всю свою силу на неосязаемых явлениях души, ее тихом и скрытом росте, устранив героев, не пожелав ввести ни одного большого события. С первой же главы озадачивал этот замысел, казалась дерзкой эта решимость сосредоточиться на еле ощутимых процессах детской души, вести роман без происшествий, пренебречь фактами, ничего не подчеркивать, ничего не сгущать, пленять темпом речи, ритмом строк, очаровательной музыкой тонкого мастера, не знающего стараний. В этом романе все живет, движется, говорит на своем таинственном языке, понятном для обостренного, для исключительно чуткого слуха (...) Эта книга прозрачна, именно светла, мудра в своей ясной правдивости. Роман кажется вершиной горы: по ней неторопливо восходил большой человек, отчетливо видевший, живший смело и спокойно» (газ. «Сегодня», Рига, 1931, 21 февраля).

П. М. Пильский также писал: «„Жизнь Арсеньева“ Бунина драгоценна именно этими, никем не виденными, мелочами, настроениями, их переходами, тайными волнениями, всем сокрытым от людей и самого человека миром» (газ. «Сегодня», Рига, 1939, № 102, 13 апреля).

Английский критик и драматург Эдуард Гарнет, автор книг о Тургеневе, Толстом и Чехове, писал о «Жизни Арсеньева» в газете «The Manchester Guardian»: «Бунин такой замечательный художник, что он вызывает в нас картины бесконечно меняющегося миража времен года в Батурино, земли, полей, неба, садов, сначала изображая чувства задумчивого ребенка, а затем юноши, затерянного в загадочном мучительном „любовном счастье жизни“. В шести строках он может дать целый рой образов. Волшебная свежесть и полнота ощущений и чувств юноши смешиваются всюду с особым поэтическим ощущением пейзажа и глубокой страстной восприимчивости. Это потрясающе, что человек шестидесяти трех лет мог заключать в себе сердце и обладать душой и жизненным пульсом юноши».

Эта рецензия напечатана под заглавием «A Russian genius»; см. в издании «Annali», sezioni slava, XI; Napoli, 1968, s. 20.

В. Н. Муромцева-Бунина очень точно сказала о книге Бунина: «Какие-то органические, надземные в ней есть звуки».

К. Г. Паустовский писал: «„Жизнь Арсеньева“ – это одно из замечательнейших явлений мировой литературы. К великому счастью, оно в первую очередь принадлежит литературе русской» (Паустовский Константин. Иван Бунин. – В кн.: Бунин И. А. Повести, рассказы, воспоминания. М., 1961, с. 14).

«Вещи и дела, еще не написанный бывают...» – Бунин, по-видимому, заимствовал

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин начал начальные строки, несколько их изменив, из рукописной книги поморского проповедника XVIII в. Ивана Филиппова «История краткая в ответах сих»: «Вещи и дела, бывшая и бывающая, великая и малая, веселая и печальная, еще не-написана бывают, тмою неизвестия покрываются и гробу беспамятства предаются... Написанная же яко одушевленна вещают» (ОР ГПБ 1, № 1075, л. 108 об.; сообщение об этом см. в статье А. Блюма «Лишь слову жизнь дана...» – «Альманах библиофила», вып. VII. М., книга, 1979, с. 114).

Агни – бог огня в ведической религии у древних обитателей Цейлона и у индусов. Их верования и поэтические представления известны по ведам – памятникам древнеиндийской литературы конца второго – начала первого тысячелетия до н. а.

Сестра Оля. – Ее прототип – сестра Бунина Мария Алексеевна.

Однодворцы – государственные крестьяне, считавшие себя дворянского рода; имели некоторые особые права: могли иметь землю (в один двор) и крепостных людей.

Аввакум – Аввакум Петрович (1620 или 1621–1682), глава русского раскола, автор «Жития протопопа Аввакума». За бескомпромиссное отстаивание своих убеждений и их распространение в народе сожжен в срубе в Пустозерском остроге по указу царя Федора Алексеевича.

Тогда... прося друг у друга прощенья. – Этот день – воскресенье накануне Великого поста, назывался прощеным или прощальным днем.

...смерть Нади... – Бунин пишет здесь и в главе XVII о смерти своей младшей сестры Саши. (См.: «Жизнь Бунина», с. 15–16.)

Баскаков. – Его прототип – Н. О. Ромашков, домашний учитель Бунина, оказавший на своего воспитанника большое влияние. См. «Материалы», с. 8.

Брат Николай. – В нем воплотились некоторые черты брата Бунина – Евгения Алексеевича.

«Как в Вартбурге хорошо!» – Неточная цитата из письма А. К. Толстого С. А. Толстой 27 сентября 1867 г.

Пьер Лоти (псевдоним; наст. имя Жюльен Вио; 1850–1923) – французский писатель. Бунин цитирует «Le roman d'un enfant» («История одного ребенка», 1890).

...горячечными мечтами... статья Иовом. – Иов, по Библии – страдающий праведник.

Брат Георгий. – При создании образа Георгия отобразились некоторые факты биографии брата Бунина, Юлия Алексеевича, убежденного народника.

Георгий... студент... Московского университета... кончивший ту самую гимназию... – Биографические сведения о Юлии Алексеевиче несколько расходятся с описанными событиями. Ю. А. Бунин в 1881 г. был исключен из Московского университета, где учился на математическом факультете, за причастность к народническому движению. Он окончил Харьковский университет. Гимназию окончил не в Ельце, в которую Иван Бунин должен был скоро поступить, а в Воронеже, в 1874 г.

В начале августа меня повезли наконец – на экзамены. – Бунин поступил в елецкую гимназию в 1881 г. Об учебе Бунина в гимназии в г. Ельце см. нашу статью «Гимназические годы И. А. Бунина» (газ. «Орловская правда», 1958, № 117, 17 июня).

Амаликитяне – арабы-кочевники, жившие в древней Палестине.

Румяной зарей покрывся восток... – из стихотворения Пушкина «Вишня».

Сказочная дорога в город... самый город... – город Елец Орловской губернии.

Вороны живут по несколько сот лет... жил еще при татарах. – Бунин писал: «Все, помню, действовало на меня... Ворон, все прилетавший к нам на ограду и поразивший мое воображение особенно тем, что жил он, как сказала мне мать, еще, может, при Иване Грозном...» (Бунин, т. 9, с. 256).

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
Беглая слобода, Черная слобода, Заречье, Аргамача – реальные названия в Ельце,  
как и некоторые другие, упоминаемые в дальнейшем.

Нахлебником у... Ростовцева. – В «Автобиографическом конспекте» за 1881 г. Бунин писал: «С конца августа жизнь с Егорчиком Захаровым (незаконным сыном мелкого помещика Валентина Николаевича Рышкова, нашего родственника и соседа по деревне Озерки) у мещанина Бякина на Торговой улице в Ельце. Мы тут „нахлебники“ за 15 рублей с каждого на всем готовом» («Материалы», с. 9).

Небо в час дозора... – Строки из стихотворения Н. П. Огарева «Изба».

Приди ты немощный... – из поэмы И. С. Аксакова «Бродяга».

Под большим шатром... – Бунин цитирует стихотворение И. С. Никитина «Русь». О Никитине он написал статью «Памяти сильного человека» еще в 1894 г. (см. нашу статью «И. А. Бунин и И. С. Никитин» в сб. «Я Руси сын!..», Воронеж, 1974, с. 143–158).

...про Скобелева, про Черняева. – Скобелев М. Д. (1843–1882) – генерал, участвовал в войне с Турцией в 1877–1878 гг. Черняев М. Г. (1828–1898) – генерал, участвовал в Крымской и Кавказской войнах.

Аорист – форма глагола, обозначающая мгновенное или предельное действие или состояние (в старославянском и др. языках).

Братья Труццм – цирковые артисты, приехавшие в Россию из Италии в 1880 г.

...я сказал... директору дерзость... – Этот эпизод основан на реальных фактах: грубость директора гимназии Закса, выходца из прибалтийских немцев, вызвала скандал на уроке.

В «Одиссее»... Навзикая. – В шестой песни «Одиссеи» Гомер рассказывает о встрече «прекраснокудрявой дочери Алкиноя» Навзикаи с Одиссеем на берегу моря.

Арестовали брата Георгия. – Юлий Алексеевич Бунин был арестован в сентябре 1884 г.; из деревни Озерки его привезли жандармы в елецкую, а затем в харьковскую тюрьму. Его сопровождали родители и младший брат, гимназист Ваня. В тюрьме Юлий Алексеевич пробыл около года, а потом был выслан на три года под надзор полиции в Озерки и прожил там до осени 1888 г. См. об этом сб. «Весна пришла» (Смоленск, 1959, с. 210–211).

Карету мне, карету. – Слова Чацкого из комедии Грибоедова «Горе от ума».

Пила и Сысойка – персонажи повести Ф. М. Решетникова «Подлиповцы».

Тихон Задонский (1724–1783) – известный иерарх; был епископом, потом – монахом Задонского монастыря; автор «Проповедей...», «Наставлений...», «Писем келейных» и др. сочинений.

Когда в таинственных долинах... – неточная цитата из «Евгения Онегина» (гл. восьмая) Пушкина.

...Потомку «промотавшихся отцов»... – из стихотворения Лермонтова «Дума».

...Все впечатленья бытия – из стихотворения Пушкина «Демон».

Немца, управляющего казенным именем в... Васильевском. – Его прототип – немец Отто Карлович Туббе; гувернантка у управляющего Эмилия Фехнер изображена в романе под именем Анхен.

На темно-голубом эфире... – из стихотворения Г. Р. Державина «Видение мурзы» (1783).

...в Васильевское, в усадьбу... двоюродной сестры... была замужем за Писаревым... – Прототипами этих персонажей являются двоюродная сестра Бунина – С. Н. Пушешникова и ее муж – А. И. Пушешников.

На брань летит певец молодой. – Несколько измененная строка из стихотворения И.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
И. Козлова «Молодой певец».

Шуми, шуми с крутой вершины... – из стихотворения Е. А. Баратынского «Водопад».

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду... – из стихотворения Пушкина «Нереида».

Писарев приказал долго жить. – Бунин отметил в дневнике 30 июля 1940 г.: «Смерть Алексея Ивановича Пушешникова (мужа моей двоюродной сестры Софьи Николаевны Буниной) весной 1885 г.».

Всевидящее Око – символ всеведенья; изображалось оком в лучах, среди треугольника.

Желябов А. И. (1850–1881) – участник народнического движения.

Победоносцев К. П. (1827–1907) – обер-прокурор Синода, реакционный деятель.

Поэзия есть бог в святых мечтах земли. – Эти строки В. А. Жуковского из стихотворения «Ни счастья, ни славы здесь...» Бунин часто цитировал по разным поводам.

...учился «понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». – Слова из «Евгения Онегина» Пушкина, глава первая, строфа V.

Надсон С. Я. (1862–1887). – В год его смерти шестнадцатилетний Бунин написал стихотворение «Над могилой С. Я. Надсона».

...Склоняется... ветвями. – Цитата из стихотворения Надсона «Кругом легли ночные тени...».

Пушкин был для меня... частью моей жизни. – В этой главе Бунин цитирует стихи Пушкина «Слеза», «Цветок», «Зимнее утро», «К Делии», «Певец», «Ночь», «К Морфею», «19 октября», «Как быстро в поле, вокруг открытом...», «Ненастный день потух, ненастной ночи мгла...» и стихи Лермонтова «Памяти А. И. Одоевского».

Мои чувства к Лизе Бибиковой... – Прототипом Лизы Бибиковой является Саша Резвая – родственница соседей – помещиков Рышковых (см. об этом: «Вопросы литературы и фольклора», Воронеж, 1972, с. 187). Много позднее под впечатлением известия о смерти Саши Резвой Бунин написал стихотворение «Псалтирь».

«Обоями худыми...» – из стихотворения Н. М. Языкова «На смерть няни А. С. Пушкина».

...обняв ее тонкую шею и поцеловав в нервный храп, я опять взмахнул в седло... – Изображение чувства «земной плоти» в повествовании о лошади – о «любви между человеком» и животным – посвящен также рассказ Бунина «Полуночная зарница» (1921).

Родился я в глуши степной... полати. – Начальные строки стихотворения поэта-самоучки, жившего в Ельце, Е. И. Назарова «Воспоминание» (Собрание стихотворений Е. И. Назарова. М., 1888, с. 3). Он является прототипом Ба-лавина.

...Желанием чудным полна... – из стихотворения Лермонтова «Ангел».

Обнявшись, точно две сестры... – Неточная цитата из поэмы Лермонтова «Мцыри».

Ночь... оссиановская. – То есть ночь, навевающая мечтательное, поэтическое настроение в духе песен Оссиана – легендарного воина и барда кельтов, жившего, согласно преданию, в III в. в Ирландии. Дж. Макферсон (1736–1796) издал в 1765 г. свои обработки кельтских преданий и легенд, выдав их за подлинные песни Оссиана.

«Голос». – Так Бунин назвал газету «Орловский вестник», редактором которой номинально состояла Н. А. Семенова, фактически делами газеты занимался ее муж – Б. П. Шелихов, который не мог выступать владельцем и редактором открыто, так как был под надзором полиции. Семенова является прототипом Авиловой. В «Орловском вестнике» работала одно время корректором Варвара Владимировна Пашенко, прообраз Лики. Бунин начал сотрудничать в газете осенью 1889 г.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
Макар – персонаж рассказа В. Г. Короленко «Сон Макара».

Времена «Отечественных записок» считают золотым веком. – С 1868 г. этот журнал издавался под руководством Некрасова и Салтыкова-Щедрина и был лучшим журналом того времени. В 1884 г. был запрещен. Для некоторых его сотрудников характерно было стремление к публицистичности и утилитарности искусства. Это и вызвало неодобрение Бунина.

...Бывали хуже времена, но не было подлей. – Эти слова приводит Некрасов в поэме «Современники» (Некрасов Н. А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3. М., 1965, с. 88), заимствуя их из рассказа М. Д. Хвоцинской «Счастливые люди» («Отечественные записки», 1874, № 4).

Вихри враждебные веют над нами. – Строка из стихотворения Г. М. Кржижановского (1872–1959) «Варшавянка», представляющего собою вольный перевод стихотворения польского поэта Вацлава Свенцинского (1848–1900). Стихотворение это стало революционной песней на мотив песни польских революционных эмигрантов во Франции.

Мы пошлем всем злодеям проклятье... – из песни народника П. Л. Лаврова (1823–1900).

От ликующих, праздно болтающих... – из стихотворения Некрасова «Рыцарь на час».

Из страны, страны далекой... – Начальная строка стихотворения Н. М. Языкова (1803–1846) «Песня».

...я осуществил эту мечту... Видел... Зальцбург. – По-видимому, в 1914 г. Бунин посетил домик Моцарта. Н. А. Пу-шешников, путешествовавший вместе с Буниным, записал в дневнике: «Домик маленький, серо-желтого цвета, убогий. Поднялись по лестнице, вошли: три маленьких комнатки. Маленький клавесин. Портреты и т. д. На этом клавесине написан „Реквием“» («Материалы», с. 222).

Ранней весной я поехал в Крым... – Бунин пишет о Крыме по впечатлениям своего путешествия, начавшегося с Севастополя 13 апреля 1889 г. («Материалы», с. 19–21).

Познакомлю... с... Ликой... – О Варваре Владимировне Пащенко, внешние факты жизни которой послужили Бунину для изображения Лики, он писал брату Юлию Алексеевичу 28 августа 1890 г.: «Я познакомился с нею года полтора тому назад (кажется, в июне прошлого года), в редакции „Орловского вестника“. Вышла к чаю утром девица высокая, с очень красивыми чертами лица, в пенсне... Она мне показалась довольно умною и развитою. (Она кончила курс в Елецкой гимназии)... Потом мы встретились в самом начале мая у Бибиковых (в их имении в селе Воргол. – А. Б.) очень радостно, друзьями. Проговорили часов пять без перерыву, гуляя по садочку. Сперва она играла на рояле в беседке все из Чайковского, потом бродили по дорожкам... Потом мы вместе поехали в Орел, – через несколько дней, – слушать Росси» («Материалы», с. 24–25).

Бунин писал поэтессе М. В. Карамзиной 10 апреля 1939 г.: «...вся моя книга сплошь выдумана (на основании только некоторой сути пережитого мною в молодости – и в моей первой сильной любви – к девушке, как земля от неба отличной от Лики...)» (ЛН, кн. 1, с. 680).

Гусар – вел. кн. Николай Николаевич (Младший) (1856–1929), генерал; в 1914–1915 гг. – верховный главнокомандующий, в 1915–1917 гг. – главнокомандующий Кавказским фронтом. Он сопровождал поезд из Ливадии в Москву с телом своего отца – вел. кн. Николая Николаевича (Старшего) (1831–1891).

Смотрел со своей горы... – Бунин жил на вилле «Бельведер», расположенной на горе – над Грассом.

...усадьба... описана в «Дворянском гнезде». – Эту усадьбу Бунин смотрел много позднее вместе с женой Верой Николаевной.

...гимназист занят был... беготней со своим рыжим Волчком. – В. Н. Муромцева-Бунина писала: «...из Одессы перенесена в Елец сцена беготни брата героини с собакой, – это бегал брат Анны Николаевны» Цакни («Материалы», с. 49).

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

Эккерман Иоганн Петер (1792–1854) – друг Гете и его секретарь, автор книги «Разговоры с Гете в последние годы его жизни».

Марк Аврелий (121–180) – римский император, автор философского сочинения «Наедине с собой».

«Скачут. Пусто все вокруг...» – измененные строки из «Светланы» В. А. Жуковского.

«Уноси мою душу в звенящую даль...» – Бунин цитирует в этой главе стихотворения А. А. Фета «Певнице», «Какая грусть! Конец аллеи...», «Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок...», «Шумела полночная выюга...» и стихотворение Я. П. Полонского «Зимний путь».

Тит Титыч Брусков – персонаж комедии А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье».

«Манон Леско» – роман французского писателя Прево Антуана Франсуа (1697–1763) «История кавалера де Грие и Манон Леско».

Суворинские книги – книги, изданные А. С. Сувориным, русским журналистом и издателем.

Артаксеркс, приказавший бичевать Геллеспонт... – Артаксеркс II Мнемон, царь государства Ахеменидов в 404–358 гг. до и. э.; он вел войну против Спарты на берегах Геллеспонта (Дарданелл).

Всеволод Большое Гнездо. – Всеволод III Большое Гнездо (1154–1212) – великий князь владимирский, сын Юрия Долгорукого; он прозван Всеволодом Большое Гнездо потому, что имел двенадцать детей.

Святогорский монастырь... на берегу Донца. – Об этом путешествии Бунина в 1895 г. в монастырь на Святых Горах – рассказ «Святые Горы» (1895), первоначально названный Буниным «На Донце».

...мне хотелось написать только про громадный серебристый тополь, который растет перед домом... – Эти слова и споры Арсеньева о народе в народническом кружке не есть отказ Бунина от изображения социальных контрастов: он полемически подчеркивает мысль, что хочет писать прежде всего о том, что вечно, о красоте, о любви, о смерти и бессмертии, – о том, что порождает великие чувства и дает «упоение прелестью сил земных» (Бунин, т. 9, с 118). Кто жил, подобно тем народникам, в среду которых попал Арсеньев, «в полном пренебрежении к природе, к тайнам жизни и смерти, к поэзии, музыке, живописи» (черновая рукопись «Жизни Арсеньева», ЦГАЛИ), были Бунину чужды я нетерпимы своими словами о работе «на пользу общества», которые говорились к тому же «с какой-то бездушной, привычной уверенностью, а сами „работали“, в сущности, так мелко и ничтожно, даже и из подпольной (зачеркнуто: всей этой революционной) „работы“ своей со всеми ее подлинными муками...» (там же).

«Новое время» – одна из старейших русских газет, выходила в Петербурге в 1863–1917 гг.; либеральная – до 1876 г.; издатель А. С. Суворин придал ей консервативное направление.

Хотите, поедem в Москву?.. – Я.. забормотал, отказываясь. – В жизни, по сравнению с романом, было по-другому: Бунин в Москву ездил вместе с Н. А. Семеновою; прибыли они в столицу 25 июня 1891 г., чтобы посмотреть французскую выставку.

В ту же ночь я уехал в Петербург. – Бунин побывал в Петербурге позднее, а не во время путешествия в Витебск и Полоцк; в 1895 г. он записал в дневнике: «В январе в первый раз приехал в Петербург».

Мы уехали в... малорусский город... – в Полтаву.

«Как упоителен... летний день...» – Цитата из «Сорочинской ярмарки» (гл. I) Гоголя.

«Петербург, снега, подлещы, департамент...» – Неточная цитата из письма Гоголя В. А. Жуковскому 30 октября н. ст. 1837 г.

«Чайка скиглить, литаючи...» – из стихотворения Т. Г. Шевченко «До Основьяненка».

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

Степная чайка с хохлом... – из «Записной книжки» Гоголя (Гоголь Н. В. Поля. собр. соч., т. 7. М., Изд-во ЛН СССР, 1951, с. 378–379).

«Этот всадник был я...» – из книги Гете «Поэзия и правда» (М., 1969, с. 364–365).

Декарт Рене (1596–1650) – французский философ, математик, физик и физиолог.

Сагайдачный П. К. (?–1622) – гетман украинских казаков, участвовал в походах против крымских ханов и турок.

И вдруг яр среди ровной дороги... – См. «Записные книжки» Гоголя 1846–1851 (Полн. собр. соч., т. 7, с. 377).

Князь Всеслав Брючиславич (?–1101) – князь полоцкий. О нем – стихотворение Бунина «Князь Всеслав».

Были на проводах переселенцев... – Бунин в дневнике отметил, что его поездка со статистиком Д. И. Зверевым на отправку переселенцев состоялась в 1894 г. Тогда же, под свежим впечатлением, он написал рассказ о переселенцах «На край света».

Святополк Окаянный (ок. 980–1019) – князь туровский (с 988 г.), киевский (1015–1019). Убил своих братьев, чтобы владеть их уделами.

Заньковецкая М. К. (1860–1934) – артистка, участвовала в создании первого украинского театра в Киеве.

Саксаганский П. К. (1859–1940) – артист и режиссер.

Черняев Е. Е. (1842–1904) – драматический артист.

Яковлев Л. Г. (1858–1919) – певец, режиссер Мариинского театра в Петербурге.

Мравина Е. К. (1864–1914) – певица, солистка Мариинского театра.

Недавно я видел ее во сне... – Любовь к Лике осталась для Арсеньева силой благодатной на всю жизнь: повествование не завершается последним абзацем романа; явлением Лики во сне рамки сюжета раздвигаются, он становится беспредельно емким. В этих словах о сновидении выразилось пережитое Буниным чувство, которое он испытал, когда писал «Жизнь Арсеньева»: вымышленный образ Лики виделся ему во сне. А в стихах 1922 года («Печаль ресниц, сияющих и черных...»), вскоре после того, как возник у него замысел романа, – Бунин писал:

Зачем же воскресаешь ты во сне  
□□ Несрочной радостью сияя,  
И дивно повторяется восторг,  
□□ Та встреча, краткая земная,  
Что бог нам дал и тотчас вновь расторг?  
Темные аллеи\*

Первое издание этих рассказов – Бунин И. А. Темные аллеи. Нью-Йорк, 1943 – состоит из двух разделов: I – «Темные аллеи», «Кавказ», «Баллада», «Апрель», «Степа», «Муза», «Поздний час»; II – «Руся», «Таня», «В Париже», «Натали». Рассказ «Апрель» Бунин потом исключил из «Темных аллеи».

Все рассказы этого цикла, кроме «Апреля», вошли в кн.: Бунин И. А. Темные аллеи. Париж, 1946. Сборник состоит из тридцати восьми рассказов. Книга заканчивается рассказом «Часовня».

Позднее в это издание Бунин внес рукописные исправления и написал: «В конец этой книги (следуя хронологии) надо прибавить „Весной, в Иудее“ и „Ночлег“. Текст этих рассказов взят из моих сборников (этих же заглавий), изданных „Чеховским издательством“ в Нью-Йорке».

Публикацию некоторых рассказов сб. «Темные аллеи» осуществили друзья Бунина в Нью-Йорке: в 1942 г. – «Руся», «Волки», «В Париже», «Генрих», «Натали»; в 1945-м – «Речной трактор», «Дубки», «Пароход „Саратов“», «Чистый понедельник»; в 1946-м – «Галя Ганская», «Мечь».

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

В экземпляре «Темных аллеей», poslanном в Нью-Йорк его литературному секретарю, Бунин написал в самом конце, где оглавление: «Отмеченное крестиком появляется в печати здесь впервые». Крестиком отмечены рассказы: «Антигона», «Смарагд» (далее ошибочно значится рассказ «Волки». – А. Б.), «Визитные карточки», «Кума», «Начало», «Барышня Клара», «Железная Шерсть», «Камарг», «Сто рупий», «Часовня» (сообщено письмом от 18 апреля 1966 г.).

Другие публикации «Темных аллеей» указаны в настоящем комментарии ниже.

Рукописи рассказов этого сборника – машинопись с правкой автора – хранятся в ГБА: «Антигона», «Паша» (позднее озаглавлен «Гость»), «Визитные карточки», «Таня», «Галя Ганская», «Натали» (два варианта), «Про обезьяну» (позднее назван «Молодость и старость»).

Ко всем рассказам написано рукой Бунина название книги: «Иван Бунин. Темные аллеи». Приложены замечания Бунина по текстам рассказов.

Рукописи первых пяти из них он пометил: «Не напечатано». Рассказ «Про обезьяну» надписал: «Напечатано». На первой странице написал – в соответствии с требованиями почтовой цензуры в условиях немецкой оккупации: «C'est mon nouveau livre des contes. Pour la traduction et l'edition en Amerique. Ivan Bounine (Ivan Bunin). Ecrivain, Prix Nobel 1933» (перевод: «Это моя новая книга рассказов. Для перевода и издания в Америке. Иван Бунин, писатель, Нобелевский лауреат 1933 года»).

Рукописи рассказов «Темных аллеей» – машинопись с правкой автора – имеются также в мемориальном музее Н. Д. Телешова (Покровский б., 18/16): «Смарагд», «Волки», «Визитные карточки», «Зойка и Валерия», «В Париже», «Таня», «В одной знакомой улице» (газетная публикация), «Галя Ганская», «Речной трактир», «Кума», «Генрих», «Дубки», «Мадрид», «Второй кофейник», «Железная Шерсть», «Пароход „Саратов“», «Мечь», «Чистый понедельник», «Качели» (газетная публикация), «Часовня».

В архиве Телешова имеется печатный текст рассказов «Темные аллеи» издания 1943 года, с правкой автора: «Темные аллеи», «Кавказ», «Баллада», « Степа», «Муза», «Поздний час», «Руся», «Натали». В ЦГАЛИ – рукописи рассказов и разрозненные листы.

Бунин писал Н. А. Тэффи 23 февраля 1944 г.: «Вся эта книга называется по первому рассказу – „Темные аллеи“, – в котором „героиня“ напоминает своему первому возлюбленному, как когда-то он все читал ей стихи про „темные аллеи“ („Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи“), и все рассказы этой книги только о любви, о ее „темных“ и чаще всего очень мрачных и жестоких аллеях» («Подъем», Воронеж, 1977, № 1, с. 135; неточная цитата из стихотворения Н. П. Огарева «Обыкновенная повесть»). Бунин также говорит в этом письме, что содержание рассказов «вовсе не фривольное, а трагическое».

Посылая Тэффи «Ворона» 19 мая 1944 года, Бунин писал, чтобы она взяла у друзей еще пять его последних рассказов, «совершенно диких по своему несоответствию особенно тем последним дням, что дошли до нас, но, может быть, вполне законных по тому, видно, вечному, что бывает в чуму и во все семь казней египетских, о чем говорил Тот, ни с кем в мире не сравнимый, у которого я бы поцеловал александрийский сапог с усеченным носком...» («Подъем», Воронеж, 1978, № 3, с. 130).

Сравнением рассказов «Темных аллеей» – «Мадрид», «Второй кофейник», «Холодная осень», «Пароход „Саратов“» и, по-видимому, «Речной трактир» – с «Пиром во время чумы» Бунин подчеркивает их общность с пушкинской «маленькой трагедией» на вечную тему любви и смерти.

В. Н. Муромцева-Бунина писала, что рассказы «Темных аллеей» появились «отчасти потому, что хотелось уйти во время войны в другой мир, где не льется кровь, где не сжигают живьем и так далее. Мы все были заняты писанием, и это помогало переносить непереносимое (...) Ведь и Боккаччо писал „Декамерон“ не в очень веселое время» («Новый мир», 1969, № 3, с. 218).

Она также писала, что Бунин «считал эту книгу самой совершенной по мастерству»

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин (Газ. «Русские новости», Париж, 1969, № 1233, 7 марта).

Эта книга, по его словам, «говорит о трагичном и о многом нежном и прекрасном, – думаю, что это самое лучшее и самое оригинальное, что я написал в жизни, – и не один я так думаю» («Исторический архив», 1962, № 2, с. 165; см. также заметку «В защиту „Темных аллеи“» – предисловие к публикации письма Бунина Тэффи 23 февраля 1944 г. – «Подъем», Воронеж, 1977, № 1, с. 135).

В критике отмечалось, что от книги Бунина «веет счастьем (...) она проникнута благодарностью к жизни, к миру, в котором при всех его несовершенствах счастье это бывает. „Все добро зело“, как бы говорит автор „Темных аллеи“, оглядываясь на прошлое и подводя итог тому, что видел и знал (...) От „Темных аллеи“ веет счастьем (...) и вместе с ним щемящей тоской о том, что жизнь уходит...» (Г. В. Адамович: см.: «Подъем», Воронеж, 1978, № 3, с. 127.)

«„Темные аллеи“ – неподдельная поэзия (...) Бунин, пожалуй, наименее „головной“ из всех русских писателей, даже менее „головной“, нежели Чехов, – говорит Г. В. Адамович. – В книге его всюду присутствует ум, но ума этого нигде не видно и во всяком случае он никогда о себе не напоминает. Мудрость как будто исключала у Бунина всякую рассудочность, – и черта эта с каждым годом в творчестве его усиливается» ЦГАЛИ).

Рассказы сб. «Темные аллеи» сверены по рукописям ГБЛ, а также по изданию 1946 года, с рукописными исправлениями автора, по экземплярам из архива ИМЛИ и из парижского архива Бунина (архив ныне хранится в университете Г. Лидса), за фотокопию которого выражаю мою благодарность доктору М. Э. Грин; «Второй кофейник», «Зойка и Валерия» и «Гость» сверены также по фотокопиям с автографов, полученным от М. Э. Грин. Дневники Бунина последних лет цитируются по ее публикациям.

«Весной, в Иудее» и «Ночлег» сверены с рукописями ИМЛИ (машинопись, с правкой Бунина).

«Темные аллеи» печатаются по изданию 1946 года с учетом исправлений автора.

Темные аллеи\*

«Темные аллеи», Нью-Йорк, 1943.

Бунин вспоминал: «Перечитывал стихи Огарева и остановился на известном стихотворении:

Была чудесная весна!  
Они на берегу сидели,  
Во цвете лет была она,  
Его усы едва чернели...  
Кругом шиповник алый цвел,  
Стояла темных лип аллея...

Потом почему-то представилось то, чем начинается мой рассказ, – осень, ненастье, большая дорога, тарантас, в нем старый военный... Остальное все как-то само собой сложилось, выдумалось очень легко, неожиданно, – как большинство моих рассказов» (Бунин, т. 9, с. 381). У Огарева этот отрывок начинается строками: «Вблизи шиповник алый цвел, // Стояла темных лип аллея».

Кавказ\*

Газ. «Последние новости», Париж, 1937, № 6077, 14 ноября.

Бунин говорит в заметках «Происхождение моих рассказов»: «Написал этот рассказ, вспомнив, как однажды – лет сорок тому назад – уезжал из Москвы по Брянской дороге с женой одного офицера, с которой был в связи и которую он провожал на Брянском вокзале в Киев, к ее родителям, не зная, что я уже сижу в поезде, еду с ней до Тихоновой пустыни. Это была очаровательная, веселая, молоденькая, хорошенькая женщина с ямочками на щеках при улыбке, решительно ничем не похожая на ту, что написана в „Кавказе“, сплошь, кроме воспоминания о вокзале, выдуманном; на Кавказском побережье я тоже никогда не был, – был только в

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин в Новороссийске и в Батуме, видел прочее побережье только с парохода».

«А муж ее вполне мог застрелиться именно так, как в рассказе, если бы узнал про ее измену» (ЛН, кн. 1, с. 394).

#### Баллада\*

Газ. «Последние новости», Париж, 1938, № 6175, 20 февраля.

В заметках «Происхождение моих рассказов» Бунин пишет, что из его «писаний» некоторые ему «особенно дороги, кажутся особенно восхитительны – и вот „Баллада“ в числе таких. А меж тем написать его, как и многие другие рассказы... побудила меня нужда в деньгах... Бог дал быстро выдумать нечто совершенно прекрасное (с вымышленной странницей Машенькой, главной прелестью рассказа, с ее дивным ночным бдением, дивной речью)» (Бунин, т. 9, с. 371–372). По словам Бунина, «„Баллада“ выдумана вся, от слова до слова – и сразу, в один час: как-то проснулся в Париже с мыслью, что непременно надо что-нибудь <дать> в „Последние новости“, должен там; выпил кофе, сел за стол – и вдруг ни с того ни с сего стал писать, сам не зная, что будет дальше. А рассказ чудесный» (запись в дневнике 9 октября 1941 г.).

#### Степа\*

Газ. «Последние новости», Париж, 1938, № 6419, 23 октября.

О возникновении замысла этого рассказа Бунин писал: «Представилось почему-то, что еду на беговых дрожках от имения брата Евгения (на границе Тульской губернии) за семь верст на станцию „Боборыкино“ в проливной дождь. Затем – сумерки, постоялый двор купца Алисова (молодого и бездетного) и какой-то человек, остановившийся возле этого постоялого двора и на крыльце счищающий кнутовищем грязь с высоких сапог. Все остальное как-то само собой сложилось – неожиданно». (Цитирую по автографу ЦГАЛИ одну из трех рукописей заметок «Происхождение моих рассказов».) Бунин говорит, что ему хотелось как-то кончить «это неожиданное страшное и блаженное событие в полудетской жизни... милой, жалкой девочки, столь чудесно и тоже совсем неожиданно выдуманной, но чувствовал, что непременно надо кончить как-то хорошо, пронзительно, – и вдруг, не думая, посчастливилось кончить именно так» (там же).

#### Муза\*

Газ. «Последние новости», Париж, 1938, № 6426, 30 октября.

Бунин писал: «Верстах в трех от нашей усадьбы, в сельце Озерки, в Елецком уезде, при большой дороге в Елец, было имение, принадлежавшее когда-то моей матери, потом помещику Логофету, а в моей юности его нищему сыну, пьянице, рыжему, тощему. Я изредка бывал у него, был однажды лунным зимним вечером, в доме, освещенном только луною, почему-то, – это всегда бывает неизвестно почему, – вспоминал иногда какой-то момент этого вечера и все хотел что-то присочинить к нему, вставить его в какой-то рассказ, который все не выдумывался. Все это вспомнилось мне однажды, в конце октября тридцать восьмого года в Beausolet (над Монте-Карло), и вдруг пришел в голову и сюжет „Музы“ – как и почему, совершенно не понимаю: тут тоже все сплошь выдуманно, – кроме того, что я когда-то часто и подолгу жил в Москве на Арбате в номерах „Столица“, а в юности был в зимний вечер у Логофета». (Цитирую черновой автограф ЦГАЛИ «Происхождение моих рассказов».) В другом (черновом) автографе говорится: «Вспомнилась гостиница „Столица“ на Арбате, в которой я не раз и подолгу жил, неожиданно заменил в ней себя каким-то человеком, вздумавшим стать художником, и никак не могу вспомнить, почему, откуда взялась эта странная Муза Граф, – никогда подобной не встречал. Жизнь художника на даче, подмосковные дни и ночи там – некоторое подобие (гораздо более поэтическое действительности) того недолгого времени, когда я гостил на даче писателя Телешова» (там же). «А Завистовский тоже выдуман, – не выдумана только его усадьба, на самом деле принадлежавшая когда-то нашей матери...» (там же).

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
...на концерте Шора... – Шор Давид Соломонович (1867–1942) – пианист, профессор  
Московской консерватории, знакомый В. Н. и И. А. Буниных, которые встретились с  
ним по пути в Иерусалим в 1907 г. и путешествие продолжили совместно.

#### Поздний час\*

Газ. «Последние новости», Париж, 1938, № 6467, 11 декабря. Сюжет рассказа основан на воспоминании Бунина о встречах с В. В. Пашенко в городе Ельце. Отдельные подробности сюжета совпадают с фактами биографии Бунина. То, что Пашенко прототип не только Лики в «Жизни Арсеньева», но и героини рассказа «Поздний час», подтверждает также дневниковая запись Бунина 7 мая 1940 года: «Поздний час» написан после окончательного просмотра того, что я так нехорошо назвал «Ликой». Этот рассказ Бунин считал одним из лучших в книге «Темные аллеи» из числа тех, что были написаны до мая 1940 года; он писал: «Перечитал свои рассказы для новой книги. Лучше всего „Поздний час“, потом, может быть, „Степа“, „Баллада“» (запись в дневнике 7 мая 1940 г.).

Б. К. Зайцев писал Бунину 11 декабря 1938 года о рассказе «Поздний час»: «Сколько раз все писали лунные ночи, а тут все свежо, богато, сильно – и общий дух превосходен – и смерть, и вечность, и спиритуальность: одним словом (...) высокая поэзия».

Мост... грубо-древний... следы городских стен. – В рассказе отобразился интерес Бунина к русской истории. В Ельце, который, по предположению, основан в 982 г. великим князем Владимиром, многое говорит о его древности: этот мост и остатки былых укреплений, ныне сохранившиеся, монастыри, соборы; свидетельством нашествия Тамерлана (1336–1405) является название монгольского происхождения одной слободы – Ламская, где, как гласит предание, был стан татар; на Старо-Московской улице построена часовня над могилою убиенных Тамерланом.

#### Красавица\*

Журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1946, № 26, апрель–май. Первоначально рассказ был озаглавлен «Мамин сундук».

#### Дурочка\*

Журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1946, № 26, апрель–май. Первоначальное заглавие – «По улице мостовой».

#### Антигона\*

«Темные аллеи», Париж, 1946.

Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881–1925) – русский писатель–юморист, автор рассказов, пьес и памфлетов.

...это моя Антигона, моя... путеводительница, хотя я и не слеп, как Эдип... – В греческой мифологии Антигона – дочь царя Фив Эдипа. Он ослепил себя после убийства отца, которое совершил, не подозревая, что это его отец. Антигона последовала за ним в изгнание. Ее образ для античных авторов трагедий (Софокл – «Антигона», «Эдип в Колоне») олицетворял верность родственному долгу. Заглавие рассказа имеет иронический смысл.

Вино князя Голицына – вино Голицына Льва Сергеевича (1845–1915), владельца винного завода в восточном Крыму (Новый Свет); на Всемирной выставке в Париже в 1900 г. отмечено высшей наградой – «Гран при».

Октав Мирбо (1848 или 1850–1917) – французский писатель, в творчестве которого заметно влияние анархических идей и эстетики писателей–декадентов. Его романы и пьесы были популярны в России в начале двадцатого века.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

Смарагд\*

«Темные аллеи», Париж, 1946.

Смарагд – драгоценный камень, изумруд.

Яхонт – старинное название рубина.

Гость\*

В рукописи (ГБА) рассказ озаглавлен «Паша» – по имени героини, которая в окончательной редакции текста именуется Сашей. В рукописи есть слова, исключенные потом автором из текста, – Адам Адамыч говорит: «А, да ты телом хоть куда! Даже розовая, нечто, знаешь, от фламандской школы» – и т. д. В окончательной редакции рассказа он называет ее «фламандской Евой». Фламандская школа – искусство фламандских и голландских живописцев XVI–XVII вв. Тенирса, или Теньера, Ван Остаде, Поттера и др.

Прототипом Адама Адамыча является Б. П. Шелихов, редактор газеты «Орловский вестник», в которой в молодости сотрудничал Бунин.

Визитные карточки\*

«Темные аллеи», Париж, 1946. Бунин называл этот рассказ «пронзительным». Он вспоминал: «В июне 1914 года мы с братом Юлием плыли по Волге от Саратова до Ярославля. И вот в первый же вечер, после ужина, когда брат гулял по палубе, а я сидел под окном нашей каюты, ко мне подошла какая-то милая, смущенная и невзрачная, небольшая, худенькая, еще довольно молодая, но уже увядшая женщина и сказала, что она узнала по портретам, кто я, что „так счастлива“ видеть меня. Я попросил ее присесть, стал расспрашивать, кто она, откуда, – не помню, что она отвечала, – что-то очень незначительное, уездное, – стал невольно и, конечно, без всякой цели любезничать с ней, но тут подошел брат, молча и неприязненно посмотрел на нас, она смутилась еще больше, торопливо попрощалась со мной и ушла, а брат сказал мне: „Слышал, как ты распускал перья перед ней, – противно!“

Все это я почему-то вспомнил однажды четыре года тому назад осенью и тотчас...» (рукопись не закончена – ЛН, кн. 1, с. 394, с исправлениями по рукописи ЦГАЛИ).

Так тонут маленькие дети. – Неточная цитата из поэмы Пушкина «Кавказский пленник».

Зойка и Валерия\*

«Русский сборник», Париж, 1946.

В автографе есть строки, не вошедшие в окончательный текст, относящиеся к Зойке: «И она была совершенно лишена стыдливости – или скорее с инстинктивной хитростью делала вид, что не имеет ее». О Титове в автографе сказано: «...так был он самоуверен, самодоволен, высок, красив, элегантно наряден, блестящ бельем и золотым пенсне» (цитирую по имеющейся у меня ксерокопии).

«И смолой и земляникой пахнет темный бор...» – из стихотворения А. К. Толстого «Илья Муромец».

Таня\*

«Темные аллеи», Париж, 1943.

У меня нет дома... я всю жизнь ездю с места на место... В Москве живу в номерах. – Автобиографическая подробность: Бунин не имел своего дома, своей квартиры, жил у друзей, у родственников, в гостиницах.

В Париже\*

В плакаре... шинель. – Placard (фр.) – стенной шкаф.

Галя Ганская\*

Бунин придал герою рассказа некоторые черты своего друга, художника и писателя П. А. Нилуса (1869–1943; о нем см. «Письма Бунина Нилусу» в журн. «Русская литература», 1979, № 2, с. 140–155); история Гали Ганской вымышленная. По поводу ханжеских придинок к рассказу Бунин писал 10 мая 1946 года М. А. Алданову: «„Галя“ без „эротики“ никуда не годится (...) Ах, уж эти болваны и лицемеры».

Генрих\*

«Темные аллеи», Париж, 1946.

В героине рассказа изображена, по словам В. Н. Муромцевой-Буниной, журналистка и писательница Макс Ли; она писала «вместе с мужем романы, если не ошибаюсь, фамилия их Ковальские. Эти романы печатались в „Вестнике Европы“» («Новый мир», 1969, № 3, с. 210). Бунин считал этот рассказ своей творческой удачей; он записал в дневнике 11 ноября 1940 года: «Вчера поздно вечером кончил „Генрих“ (начал 6, писал 7 и 9) ... „Генрих“ перечитал, кое-что черкая и вставляя, нынче утром. Кажется, так удалось, что побегал в волнении по площадке перед домом, когда кончил».

Треченто... фра Анжелико, Гирляндайо... Беатриче... Данте. – Треченто (от ит. trecento, буквально – триста) – итальянское название XIV века, периода расцвета гуманизма в итальянской культуре. Кватроченто (от ит. quattrocento, буквально – четыреста) – итальянское наименование XV века, периода Раннего Возрождения. Анджелико (Angelico) (собст. фра Джованни да Фьезоле; прозвище – Беато; ок. 1400–1455) – итальянский живописец эпохи Раннего Возрождения, в частности ему принадлежат фрески в монастыре Сан-Марко во Флоренции. Гирляндайо (наст. имя Томмазо Бигорди) Доменико (1449–1494) – итальянский живописец Раннего Возрождения. Беатриче – героиня поэмы Данте (1265–1321) «Божественная комедия».

В. Н. Муромцева-Бунина, вспоминая о путешествии по Италии в 1909 г., пишет, что Бунин однажды «начал говорить, что ему так надоели любители Италии, которые стали бредить треченто, кватроченто, что „я вот-вот возненавижу фра-Анжелико, Джотто и даже самое Беатриче вместе с Данте...“» («Материалы», с. 130).

Индиго – густо-синяя краска; добывалась из растений.

Натали\*

О происхождении рассказа Бунин писал: «Мне как-то пришло в голову: вот Гоголь выдумал Чичикова, который ездит и скупает „мертвые души“, и так не выдумать ли мне молодого человека, который поехал на поиски любовных приключений? И сперва я думал, что это будет ряд довольно забавных историй. А вышло совсем, совсем другое.

Молодой герой моего рассказа сперва заезжает, – ненадолго, – в имение своего родного дяди, улана Черкасского, для которого я взял старика улана Муромцева, который слыл под кличкой „раздраженный улан“, между тем как улан Черкасский был добрый человек, только такой же большой ростом и всем складом, как улан Муромцев. Я поместил его имение в речной долине, подобной той, в которой было расположено имение брата улана» (Бунин, т. 9, с. 373).

В дневнике Бунин писал о «Натали»: «Никто не хочет верить, что в ней все от слова до слова выдуманно, как и во всех почти моих рассказах, и прежних и теперешних. Да и сам на себя дивлюсь – как все это выдумалось – ну, хоть в „Натали“. И кажется, что уж больше не смогу так выдумывать и писать» (запись в дневнике 20 сентября 1942 г.).

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

Бунин писал в 1943 году: «Вот в „Натали“ две любви, как вообще бывают две любви и две ненависти и одна из них иногда вдруг пересиливает другую».

У Толстого в рассказе «Дьявол» – любовь Иртенева к Лизе и Степаниде; в романе Достоевского «Идиот» любовь князя Мышкина к Аглае и Настасье Филипповне. «И как это любить двух? Двумя разными любовью какими-нибудь?» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Художественные произведения, т. VIII. Л., 1973, с. 485) – спрашивает князя Евгений Павлович Родомский.

В «Натали» Мещерский удивлялся, ужасался: за что так наказан он, что бог «дал сразу две любви, такие разные и такие страстные, такую мучительную красоту обожания Натали и такое телесное упоение Соней».

В «Натали» в некотором смысле отобразилось то, что пережил сам Бунин: его увлечение красивой и талантливой поэтессой Г. Н. Кузнецовой, хотя «свою жену Веру Николаевну он любил настоящей, даже какой-то суеверной любовью» («Альманах библиофила», вып. XII, М., 1982, с. 85). При этом надо сказать, вслед за Буниным, что рассказ «Натали» от начала до конца вымышленный.

Обожание Натали и чистый восторг дали Мещерскому высшую радость и силы для преодоления «языческой страсти» к другой. И в его безумии страсти, как это видим и в других рассказах «Темных аллей», – «нечто поистине неизъяснимое, божественное и дьявольское». По словам Бунина, «страшнее, привлекательней и загадочней любви нет ничего ни на небе, ни на земле».

И этот высокий строй чувств в «Натали» и в других рассказах книги явлен людям в пору, когда, по словам Бунина, мир переполнен тем, что он назвал: «Звериный зов разнузданной плоти». Над всем этим, страшным для душ человеческих, прозвучали слова автора «Митиной любви», «Дела корнета Елагина», «Жизни Арсеньева», «Темных аллей»: «Какое неземное слово любовь...» Он звал к совершенству и чистоте.

Н. А. Тэффи писала Бунину в мае 1944 года по поводу его «изумительных рассказов» «Темные аллеи»: «...впечатление от книги: она очень серьезная, значительная, мрачная вся от первого до последнего слова. Трагически безысходная. Один только рассказ чуть-чуть пронизан лирикой любви и конец у него тургеневский. Героиня умирает от родов („Натали“. – А. Б.). Подходя к концу рассказа, я думала: „Куда Бунин ее денет?“ Но таким героиням заранее предначертан тургеневский конец. И в этих рассказах чем проще они ведутся, чем циничнее – тем страшнее и трагичнее. Написаны они превосходно. Не считайте с моей стороны наглостью давать литературную оценку вашим произведениям. Вы автор господом богом коронованный, но даже у вас есть и должна быть некая скала (от ит. *scala* – градация. – А. Б.) (как бы прилив и отливы) при всем вашем великолепии. Поэтому я и говорю „написаны превосходно“» («Литературная Россия», 1979, № 14, 6 апреля, с. 16).

Рассказ «Натали» был взят одним из американских издательств в 1945 году в антологию мировой литературы.

Лирическая новелла, «Натали», исполнена драматизма, и достигается это не изображением драматических ситуаций, а выявлением, как в стихах Пушкина, того таинственного, что есть в повседневности жизни. В критике отмечалось, что именно этим был близок Бунин Пушкину.

Рукописный текст «Натали» (ГБЛ) Бунин стилистически переработал и сократил для последнего прижизненного издания 1946 года.

В конце главы IV, когда Натали признается в любви к Мещерскому, в рукописи была сцена, не вошедшая в окончательный текст: «Я взял ее за талию, она отклонила голову, я коснулся ее рта. Она не ответила ни малейшим движением губ, я уронил руки, и она пошла назад к дому».

Улан Черкасов. – Прототип Черкасова – Алексей Алексеевич Муромцев, двоюродный дядя Веры Николаевны Муромцевой-Буниной; его, писала она, Бунин «тронул в „Деревне“ и в „Натали“» (ЛН, кн. 2, с. 162, 218).

«Средь шумного бала, случайно...» – романс П. И. Чайковского на слова А. К. Толстого.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

Несносный «Обрыв». – Эта оценка романа И. А. Гончарова не выражает мнения Бунина. Он писал, что «это головой сделано. Скучно читать»; а 24 апреля 1919 г. записал в дневнике: «Перечитываю „Обрыв“. Длинно, но как умно, крепко... Марк истинно гениальное создание...»

Брюс Яков Вилимович (1670–1735) – государственный деятель эпохи Петра I, ученый, переводчик иностранных книг, автор календаря (1709).

В январе... в Татьянин день, был бал воронежских студентов... – Написано отчасти по воспоминаниям о вечере 12 января ст. ст. («в Татьянин день») 1907 г. Бунин пишет в автобиографических заметках (Бунин, т. 9, с. 300), что он был приглашен на вечер читать в пользу студенческого землячества. В. Н. Муромцева-Бунина вспоминает в «Беседах с памятью»: у Ивана Алексеевича «была близкая знакомая, дочь тамошнего городского головы Клочкова, и, вероятно, она и устроила, что Бунин согласился приехать в город, где он родился, и участвовать в вечере... Этот вечер, вернее, вся его обстановка, дана в его рассказе „Натали“» («Материалы», с. 105). О Клочковой см. также примеч. к рассказу «Чистый понедельник».

Агарь – по библейским преданиям, египтянка, наложница Авраама, родившая сына Измаила и изгнанная Авраамом в Аравийскую пустыню. О ней говорится также в стихотворении Бунина «Путеводные знаки».

В одной знакомой улице\*

Газ. «Русские новости», Париж, 1945, № 26, 9 ноября. В этом рассказе Бунин цитирует (неточно) отрывки из стихотворения Я. П. Полонского «Затворница».

Речной трактир\*

В 1945 году в Нью-Йорке было выпущено отдельное издание этого рассказа в художественном оформлении М. В. Добужинского (1875–1957), в количестве одной тысячи нумерованных экземпляров. Бунин писал М. А. Алданову из Парижа 11 октября 1945 года: «За „роскошное“ издание „Речного трактира“ немножко стыжусь – в нем кое-что неплохо насчет Волги, вообще насчет „святой Руси“, но ведь все-таки это не лучший „перл“ в моей „короне“, хотя как раз этот „трактир“ принес мне много похвал (я читал его тут многим)». Оценка критики была иной. М. А. Алданов писал Бунину 26 декабря 1945 года о рассказах «Таня», «Натали», «Генрих» и др.: «...все решительно превосходно, никто так не напишет. Описание Волги в „Речном трактире“ и трактира – верх совершенства».

Кума\*

«Темные аллеи», Париж, 1946.

Вы любите ли сыр... – строка из «Эпиграммы» Козьмы Пруткова.

Начало\*

«Темные аллеи», Париж, 1946.

«Дубки»\*

Пифия – в Древней Греции жрица-прорицательница в храме Аполлона.

Барышня Клара\*

«Темные аллеи», Париж, 1946.

Клевер Юлий Юльевич (1850–1924) – русский живописец-пейзажист. Он неоднократно

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин писал одни и те же виды, например, «багряные закаты», что приводило к шаблонам.

«Мадрид»\*

Журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1945, № 21.

Второй кофейник\*

Журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1945, № 21. В «Происхождении моих рассказов» Бунин писал: «Сплошь выдуманно. Не раз думал написать нечто вроде „Записок художника“, в воображении мелькало то то, то другое, отрывочно. Мелькнуло как-то то, из чего выдумался „Кофейник“» (ЛН, кн. 1, с. 394).

В рассказе упоминаются реальные лица: русские художники – Ярцев Г. Ф. (1858–1918), Коровин К. А. (1861–1939), Кувшинникова С. П. (1847–1907), Малявин Ф. А. (1869–1940) – и журналист, литературный и театральный критик Голоушев С. С. (псевдоним Глаголь; 1855–1920).

Бунин соглашался с теми, кто называл «Мадрид» и «Второй кофейник» «человеколюбивыми рассказами», и говорил при этом: «...пиша и про девочку в „Мадриде“, и про „Катьку, молчать!“, я то и дело умиленно смеялся, чувствовал нечто вроде приступа нежных, радостных слез» (сообщено проф. А. Зверсом).

Об этих рассказах Бунин писал 1 октября 1945 г. С. Ю. Прегель: «...ведь и тут такая прелесть русской женской души; оба эти рассказа меня самого до сих пор трогают...» (ГБЛ). О них Бунин также писал М. А. Алданову 3 сентября 1945 г.: «...они так чисты, простодушны, „героини“ их, по-моему, просто очаровательны».

В автографе улица, где находилась мастерская художника, не Знаменка, а Воздвиженка; картина, которую он писал, – «Деревенская купальщица»; упоминается художник не Ярцев, а Зайцев, также лицо реальное.

Железная Шерсть\*

«Темные аллеи», Париж, 1946.

Рассказ основан на фольклоре. В русских народных сказках есть мотивы, напоминающие сюжет бунинского рассказа. В сказке «Звериное молоко» рассказывается о медведе железная шерсть, злом преследователе людей. Есть сходство рассказа Бунина со сказкой «Медведко, Усыня, Горыня и Дубина богатыри» (см. «Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах». М., 1957, т. 1, № 141, 152; т. 2, № 202). В книге С. В. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила» (СПб., 1903) дано описание лешего и оборотней. Бунину могла быть известна эта книга, а также фольклорные рассказы, распространенные в средней полосе России, о лешем, о его встрече с девушкой, «о девушке, ушедшей в монастырь, чтобы избавиться от сладострастного змея» (ЛН, кн. 1, с. 126). Фольклорные мотивы, аналогичные тем, которыми воспользовался Бунин в своем рассказе, можно наблюдать в произведениях европейской литературы – у Мериме в рассказе «Локис» и в литовских сказках. Рассказ Мериме Луначарский переделал в драму «Медвежья свадьба», она шла на сцене Малого театра в 1924 году (см.: Сапаров К. Рассказы Бунина. – Журн. «Литературная Армения», Ереван, 1967, № 5).

Холодная осень\*

Газ. «Русские новости», Париж, 1945, № 1, 18 мая.

В рассказе отразилось впечатление, которое произвело на Бунина известие об убийстве Фердинанда. В дневнике он записал: «В начале июля (по новому стилю. – А. Б.) 1914 года мы с братом Юлием плыли вверх по Волге от Саратова, 11 (одиннадцатого) июля долго стояли в Самаре, съездили в город, вернулись на пароход (уже перед вечером) и вдруг увидели несколько мальчишек, летевших по дамбе к пароходу с газетными клочками в руках и с неистовыми веселыми воплями:

– Экстренная телеграмма, убийство австрийского наследника Сараева в Сербии!

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

Юлий схватил у одного из них эту телеграмму, прочитал ее несколько раз и, долго помолчав, сказал мне:

– Ну, конец нам! Война России за Сербию, а затем революция в России... Конец всей нашей прежней жизни!» («Материалы», с. 224).

Бунин записал в дневнике 1 января 1945 года: «Очень самого трогает „Холодная осень“».

«...Какая холодная осень!» – Бунин неточно приводит первые четыре строки из стихотворения без заглавия А. А. Фета; определение «дремлющих» сосен он заменил словом «черных»; даже если это ошибка памяти, а не сознательное стилистическое изменение поэтической строки, все равно такая замена слов характерна для Бунина: она соответствует его стремлению изображать мир в красках. Небо, загоревшееся пожаром на восходе солнца, видимое сквозь чернеющие сосны, – резко контрастная и впечатляющая картина.

Прошло с тех пор целых тридцать лет. – Этот срок соответствует дате написания рассказа. И раздумья о пережитом «за эти годы» – раздумья автора о том «волшебном, непонятном, непостижимом ни умом, ни сердцем, что называется прошлым».

Пароход «Саратов»\*

Бунин написал рассказ за один вечер. Он отметил в дневнике 14 мая 1944 года: «Два с половиною часа ночи (значит, уже не четырнадцатое, а пятнадцатое мая). За вечер написал „Пароход Саратов“».

Ворон\*

Газ. «Русские новости», Париж, 1945, № 33, 28 декабря.

Пеплум (от лат. *perlun*) – в Древней Греции и Древнем Риме женская одежда в складках, без рукавов, надевалась поверх туники (рубашки).

Аграф (от ф. р. *agrafe*) – нарядная застежка.

Камарг\*

«Темные аллеи», Париж, 1946. Бунин записал в дневнике: «23.5.44. Вечером написал „Камарг“».

Камарг (от фр. *Camarge*) – природный резерват в дельте Роны: острова, протоки, луга, болота. У дельты Роны – Арль, упоминаемый в рассказе.

Сто рупий\*

«Темные аллеи», Париж, 1946.

Мечь\*

Эспадрилья (от фр. *espadrille*) – холщовые туфли.

Шассер (от фр. *chasseur*) – посыльный.

Качели\*

Газ. «Русские новости», Париж, 1945, № 26, 9 ноября.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

Он пугает, а мне не страшно, сказал Толстой про вашего Андреева. – Этот отзыв Толстого о Л. Н. Андрееве хорошо известен из воспоминаний разных лиц, встречавшихся с Толстым; см., в частности, в кн.: «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. 2. М., 1978, с. 134, 304.

Чистый понедельник\*

В. Н. Муромцева-Бунина писала, что Иван Алексеевич считал, что в книге «Темные аллеи» «каждый рассказ написан «своим ритмом», в своем ключе, а про «Чистый понедельник» он написал на обрывке бумаги в одну из своих бессонных ночей, цитирую по памяти: «Благодарю бога, что он дал мне возможность написать „Чистый понедельник“»» («Новый мир», 1969, № 3, с. 211).

Чистый понедельник – на первой неделе великого поста, с окончанием масленицы, когда пировали и гуляли, ее называли веселою, широкою, разгульною, устраивались потехи разного рода. Заглавие «Чистый понедельник» символично: этим заглавием подчеркивается резкий перелом в судьбе героини – переход от тех дней, когда они наполнялись всякого рода развлечениями, хождениями в рестораны и проч., – к жизни, связанной с Марфо-Мариинской обителью.

...она снимала... две комнаты... – В. Н. Муромцева-Бунина писала в книге «Жизнь Бунина»: Иван Алексеевич в 1903 году в Москве бывал «у Граф (жена его – в девичестве Ключкова, дочь богатого воронежского городского головы; он чуть тронул ее в „Чистом понедельнике“, взята ее квартира)...» (с. 152). Предположительно – квартира в доме Перцова в Нижнем Лесном переулке (ныне – Курсовой пер.) в районе метро «Кропоткинская».

Лунная соната – Бетховена.

Я привез ей... новые книги... – Героиня рассказа читала современных писателей-модернистов. Гофмансталь Гуго фон (1874–1929) – австрийский писатель, на творчество которого оказали влияние символисты. Шницлер Артур (1862–1931) – австрийский драматург и прозаик, входил в венскую группу импрессионистов («Группа Модерн»). Тетмайер Казимеж (1865–1940) – польский поэт и прозаик; его любовной лирике присуща смелая откровенность. Пшибышевский Станислав (1868–1927) – польский писатель, писавший по-немецки и по-польски, был весьма популярен в России. В своем творчестве он стремился дать анализ подсознательного начала в человеке и анализ патологических душевных состояний.

Художественный кружок – Московский литературно-художественный кружок. Членами его были братья Бунины.

...на лекцию Андрея Белого, который пел ее, бегая и танцуя на эстраде... я так... хохотал... – Здесь передано впечатление самого Бунина от выступления на эстраде Андрея Белого, в манере чтения которого не было простоты и естественности; он, – пишет Бунин, – «на эстрадах весь дергался, приседал, подбегал, озирался бессмысленно-блаженно... ярко и дико сверкал восторженными глазами» («Жизнь Бунина», с. 121).

«Огненный ангел» – исторический роман В. Я. Брюсова.

А отчего вы вчера вдруг ушли с концерта Шаляпина? – Не в меру разудал был. И потом, желтоволосую Русь я вообще не люблю. – Бунин чрезвычайно ценил огромный талант Шаляпина, говорил о том, как много в нем «жизненного и актерского блеска», дружил с ним. Недостатком Шаляпина ему казалась «некоторая неумеренность, подчеркнутость его всяческих сил» (Бунин, т. 9, с. 387, 388); при этом он писал: «И как его судить за то, что любил он подчеркивать свои силы, свою удаль, свою русскость?..» (там же, с. 388). Когда он не берег себя, свой голос, на морозе много разговаривал и даже, случалось, пел, он говорил, возражая Бунину, упрекавшему его за это: «...напрасно тревожишься: жила у меня, брат, особенная, русская, все выдержит» (там же, с. 390–391).

Иверская – часовня Иверской божьей матери, находилась при въезде на Красную площадь у здания Исторического музея. Спас-на-Бору – собор в Кремле, построенный

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин в XIV в.; не сохранился. Василий Блаженный – Покровский собор на Красной площади, построенный в 1555–1560 гг. в память победы России над Казанским ханством. Итальянские соборы – в Кремле: Архангельский собор построен итальянским архитектором Алевизом Фрязиным (Алевиз Новый) в 1505–1509 гг. по заказу жены московского князя Дмитрия Донского – великой княгини Евдокии; служил усыпальницей великих и удельных князей и царей. Бунин писал в дневнике 20 февраля 1918 г.: «Великие князья, терема, Спас-на-Бору, Архангельский собор – до чего все родное, кровное...» (ГБЛ). Успенский собор построен итальянским зодчим Аристотелем Фиораванти при участии русских мастеров в 1475–1479 гг.

Прощеное воскресенье – канун Чистого понедельника.

Пересвет Александр (?–1380) и Ослябя Родион (?–1398) – герои Куликовской битвы, монахи Троице-Сергиева монастыря.

«Крюки» – знаки древнерусского безлинейного нотного письма. применявшиеся в церковном пении с конца XI в. для записи демественного распева; этот стиль древнерусского церковного пения отличался гибкостью и цветистым рисунком, приближаясь к лирической народной песне. Демественное пение применялось в торжественных случаях.

...долго глядела на Чеховский могильный памятник... Какая противная смесь сусального русского стиля и Художественного театра! – Художественный театр тех лет – это театр, в репертуаре которого символистские драмы Метерлинка («Синяя птица») и Гауптмана («Потонувший колокол»), «Пер Гюнт» Ибсена, с его образами-символами, поставленный как раз в то время, о котором идет речь в рассказе, в 1912 г., в оформлении Рериха и с музыкой Грига, новаторская драматургия Чехова, – это театр, реформировавший и репертуар, и актерское искусство, в котором отобразились веяния эпохи в искусстве и в общественной жизни. А сусальный русский стиль в поэзии, на эстраде (об этом в рассказе «Речной трактир»), в архитектуре, с коньками и петушками – выражение закоснелости и фальши.

...были в Грибоедовском переулке; но кто ж мог указать нам, в каком доме жил Грибоедов... Тут есть еще Марфо-Мариинская обитель... – В дневнике Бунин записал 1 января 1915 г.: «Позавчера был с Колей (Н. А. Пушешниковым. – А. Б.) в Марфо-Мариинской обители на Ордынке... В Грибоедовском переулке дом Грибоедова никто не мог указать».

...Богородица Троеручица. Три руки! Ведь это Индия! – Согласно древнему сказанию, Иоанн Дамаскин (ок. 675 – до 753 гг.), византийский богослов, философ и поэт, был оклеветан. По приказу халифа ему отрубили кисть руки. Однако она чудесным образом приросла. В благодарность за исцеление Дамаскин нарисовал на иконе божьей матери третью руку. Эта икона и получила название Троеручицы. Она была перенесена в Грецию на Афон, а ее копия – в Москву и была поставлена в Воскресенском монастыре (Новый Иерусалим). В индийской мифологии – схожее изображение богов. Шива, один из трех главных богов (наряду с Брахмой и Вишну) индуизма, изображался с четырьмя руками.

Зачатьевский монастырь. – Существовал в районе 2-го и 3-го Зачатьевских переулков в Москве. Основан в 1584 г. царем Федором Иоанновичем в надежде на избавление жены от бесплодия.

Чудов – Алексеевский Архангело-Михайловский монастырь в Московском Кремле, был вблизи Малаго дворца. Основан в 1365 г. Был центром просвещения с XVI в. Здесь жил публицист и писатель Максим Грек, размещалось Греко-латинское училище, переводились иностранные книги на славянский язык; монахом Чудова монастыря был Григорий Отрепьев. Упоминанием этого и других памятников старины Бунин подчеркивает историческую преемственность русской культуры, – в противоположность всем тем, кто порывал с классическим прошлым, – передает, как говорится в рассказе, «чувство родины, ее старины».

Капустник – вечеринка актеров или студентов с шутивно-пародийными самодеятельными номерами. К. С. Станиславский писал о «капустниках» Художественного театра: «Среди шуток и забав артистов на капустнике выделились некоторые номера, которые намекали на совсем новый для России театр шутки, карикатуры, сатиры, гротеска» (Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М., Искусство, 1983, с. 376). Подобные представления могли обозначать такие новые тенденции в театральном искусстве, которые были неприемлемы для Бунина; оттого в

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин рассказывает о «пошлости» «капустников». Сам Бунин на «капустниках» не бывал. В письме Б. К. Зайцеву от 14 июля 1944 года он писал: «...напиши: был ли ты когда-нибудь на „Капустнике“ Художественного театра и не наврал ли я чего про этот „Капустник“ в „Чистом понедельник“? Я на этих „Капустниках“ никогда не был...»

...клок его белорусских волос, Качалов... – Качалов В. И. (наст. фамилия Шверубович; 1875–1948) – артист, белорус. Иронический тон изображения «капустника» не определяет отношения Бунина к прославленным артистам Художественного театра, которых он по-настоящему ценил. В декабре 1922 г. в Париже Бунин с женой присутствовали на спектакле Художественного театра. В. Н. Муромцева-Бунина записала в дневнике 18 декабря: «Встреча с „художественниками“ удалась как нельзя лучше... В театре было очень хорошо: Москвин действительно талантлив. Ян (И. А. Бунин. – А. Б.) даже плакал, конечно, и вся Русь старая, древняя наша сильно разволновала его». (Об этой встрече Бунина с артистами Художественного театра см. «Материалы», с. 276–277.) По всем данным, Москвин играл царя Федора в трагедии А. К. Толстого из эпохи конца XVI столетия «Царь Федор Иоаннович».

Шамаханская царица – царица из Шемахинского ханства (XVIII в.) на Кавказе; столица ханства – Шемаха, по-азербайджански Шамахи, арабск. аш-Шамахийя; отсюда – русское написание у Пушкина в «Сказке о золотом петушке», у Бунина: Шамаханская царица.

Какой древний звук... тем же звуком било три часа ночи и в пятнадцатом веке. И во Флоренции совсем такой же бой, он там напоминал мне Москву. – То, что говорит героиня рассказа, – почти дословное повторение размышлений Бунина о жизни, писавшего в дневнике 20 сентября – 3 октября 1922 г. (Шато Нуаре, Амбуаз): «Поет колокол St. Denis. Какое очарование! Голос давний, древний, а ведь это главное: связующий с прошлым». Конец сентября 1923 г., Грасс: «Раннее осеннее альпийское утро, и звонят, зовут к обеду в соседнем горном городке. Горная тишина и свежесть и этот певучий средневековый звон – все то же, что и тысячу, пятьсот лет тому назад, в дни рыцарей, пап, королей, монахов. И меня не было в те дни, хотя вся моя душа полна очарованием их древней жизни и чувством, что это часть и моей собственной давней, прошлой жизни. И меня опять не будет – и очень, очень скоро, а колокол все так же будет звать еще тысячу лет новых, неведомых мне людей».

У ворот Марфо-Мариинской обители... дворник... загородил мне дорогу... там... великий князь... – Написано по воспоминаниям о посещении этой обители Буниным 30 декабря 1914 г. Он пишет в дневнике 1 января 1915 г., что «позавчера» в Марфо-Мариинскую обитель на Ордынке его с племянником «сразу не пустили, дворник умолял постоять за воротами – „здесь великий князь Дм. Павл.“». В рассказе посещение обители точно отнесено к этой дате: «В четырнадцатом году, под Новый год... я остановил извозчика у ворот... обители».

Марфо-Мариинская обитель – не монастырь, а церковь Покрова Богородицы, при которой была община светских дам, заботившихся о живших при церкви сиротах и о раненных в первую мировую войну. Они носили, как изображено в рассказе, холщовые одежды с крестом. Бунин пишет о них: «...инокини или сестры, – уж не знаю, кто были они...» Среди них была и героиня рассказа.

Церковь Марфо-Мариинской обители построена по проекту А. В. Щусева в 1908–1910 гг.; роспись – М. В. Нестерова. В ней древнерусский стиль органически сочетается с модерном. Резьба по дереву, по белому камню, решетки на окнах – в стиле модерн. Традиционные сюжеты церковной росписи Нестеров переосмыслил и дал по-своему. Его «Явление Христа народу» – это явление Христа русскому народу, все лица изображены на фоне русской природы, дан вид реки Белой в Уфимской губернии, где жил Нестеров.

Традиции русского искусства и модерн – важнейшая тема рассказа «Чистый понедельник». Ее развитию служит и то, что героиня в финале рассказа изображена в обители, которая поражает своеобразием замечательной живописи и архитектуры под старину. а в то же время во многом – в новейшем стиле.

Обрус – плат, фата.

Часовня\*

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

«Темные аллеи», Париж, 1946.

Весной, в Иудее\*

Газ. «Русские новости», Париж, 1946, № 49, 19 апреля. Печатается по кн.: Весной, в Иудее, по экземпляру, на который жена Бунина, Вера Николаевна, перенесла исправления автора и прислала мне в 1959 г.

«Песнь Песней». – В «Песни Песней», составляющей часть Библии, говорится о любви Суламифи и царя Соломона (X в. до н. э.) См. в кн.: «Поэзия и проза Древнего Востока». М., 1973, с. 625–638. Бунин цитирует, иногда несколько изменяя фразы, книгу «Песни Песней Соломона».

Ночлег\*

Печатается по кн.: Весной, в Иудее. – Роза Иерихона. Первоначальное заглавие рассказа – «На постоялом дворе». Написан в течение 17–23. III. 1949 г. Работая над рассказом, Бунин, чтобы почувствовать Испанию, найти нужные краски, читал «Дон Кихота» Сервантеса. Он писал Н. А. Тэффи 6 марта 1949 года: «...теперь одолеваю „Дон Кихота“... в тщетной надежде зацепиться хоть за что-нибудь испанское...» («Литературная Россия», 1979, № 14, 6 апреля).

Рассказы 1932–1952\*

Печатаются по кн.: Весной, в Иудее. – Роза Иерихона, с рукописными исправлениями автора (ГБЛ); «Крем Леодор» – по рукописи ГБЛ.

Все рассказы, кроме рассказов «Апрель», «Прекраснейшая солнца», сверены по рукописям ИМАИ (машинопись, с правкой Бунина). Рассказ «Прекраснейшая солнца» сверен по тексту Собрания сочинений, т. IX (Берлин, Петрополис, 1935) с рукописными исправлениями автора (ИМЛИ).

Рукопись рассказа «Апрель» неизвестна.

Бунин подготовил к изданию и читал корректуры сб. «Весной, в Иудее. – Роза Иерихона», читали также поэтесса Г. Н. Кузнецова и М. А. Степун. В письме от 27 декабря 1952 года он благодарит их «за труды» над этой книгой и над сборником «Митина любовь. – Солнечный удар». Шестого января 1953 года Бунин писал:

«Дорогие мои сотрудницы <...> Я бесконечно тронут тем крайним вниманием, которое вы проявили к корректуре моих книг. Вместе с этим письмом к вам я посылаю сегодня по воздушной почте заказным пакетом прочитанную мною корректуру второй моей книги Т. Г. Терентьевой <...> Я сделал еще несколько поправок...» (ГБЛ).

Прекраснейшая солнца\*

Газ. «Последние новости», Париж, 1932, № 4057, 1 мая.

Возвышенное чувство к женщине, воспетое итальянским поэтом Франческо Петраркой в его сонетах, было для Бунина тем миром добра и красоты, который наполнял и его душу. Он говорил Г. Н. Кузнецовой 3 июня 1933 года: «...с годами, а теперь особенно, я все больше начинаю чувствовать в себе какой-то... Петраркизм и Лаурность... то есть какое-то воплощение всего прекрасного, женского <... > что и правда подобно тому, что я писал в прошлом году о Петрарке – „Прекраснейшая солнца“».

Когда он только обдумывал свой замысел, в разговорах с близкими ему людьми пытался рисовать внешность Лауры, говорил, что хочет поехать в Авиньон, где шестого апреля 1327 года в церкви святой Клары Петрарка встретил Лауру и полюбил ее любовью «бессмертной».

«Прекраснейшая солнца» уподобляется в сонетах мифической Дафне, возлюбленной

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
Аполлона. Бунин пишет в тон высокому стилю сонетов о Лауре. Он говорит словами Библии: «Смерть, где жало твое?..» – из Послания апостола Павла Коринфянам (гл. 15, стих 55), и это тот звук, который определяет тон, мелодию рассказа.

Лаура говорит: «...не плачь обо мне, ибо дни мои через смерть стали вечны; в горнем свете навсегда раскрылись мои вежды, что, казалось, навсегда смежились на смертном моем ложе», – так торжественно зазвучал в пересказе Бунина сонет Петрарки 279-й: «Почему из печальных глаз ты льешь горестный поток. Не оплакивай меня, ибо, умирая, я стала вечной. Внутренний свет явился моим глазам, когда показалось, что я их закрыла».

Бунин говорил, что «торжественный и горестно-величавый звук» в словах Петрарки о смерти Лауры убеждает его «в ее подлинном существовании». Он посетил Авиньон, обзирал «его стены, церкви, башни», думая о Франческо Петрарке и Лауре, – ощутил незримое присутствие ее здесь, в старом каменном городе.

Франческо полюбил донну Лауру «великой любовью, приобщившей Ее к лику Беатриче...», воспетой Данте в «Божественной комедии». И Бунин, писавший о Лике в те годы, когда обдумывал рассказ «Прекраснейшая солнца», был, как он говорит о Петрарке, «одержим... беспримерной любовью» к той, юная прелесть которой «могла почитаться небесной». Но «жил, вместе с тем, всеми делами своего века, отдавая свой гений и на созидание всех благих его деяний». И вот – печальная повесть о Франческо и донне Лауре, дарующая людям просветление духа – в отраду и в назидание: «...смерть для души высокой есть лишь исход из темницы <...> она устрашает лишь тех, кои все счастье свое полагают в бедном земном мире».

О людях души высокой Достоевский сказал: «Все великие люди были счастливы. Их грусть, переживанья, их страданья – счастье. Они должны были быть счастливы. Великий человек не может быть несчастлив. А что их на крестах распинали, то это ничего» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Художественные произведения, т. VII. Л., 1973, с. 189).

«Остров сирен»\*

Газ. «Последние новости», Париж, 1932, № 4085, 29 мая, под заглавием «Капри».

Сирены – в греческой мифологии полуптицы-полуженщины; завлекали своим чарующим пением моряков и губили их.

Тиверий, или Тиберий (42 г. до и. э. – 37 г. н. э.) – римский император.

Август (63 г. до и. э. – 14 г. н. э.) – римский император.

Бёклин Арнольд (1827–1901) – швейцарский живописец.

Атриум (лат. абит) – закрытый внутренний двор древнеримского жилища.

Светоний Гай Транквилл (ок. 70 – ок. 140) – римский историк и писатель, автор сочинения «О жизни двенадцати цезарей».

Калигулла (12–41) – римский император.

Жилет пана Михольского\*

Газ. «Последние новости», Париж, 1932, № 3945, 10 января. Литературный источник рассказа – «Анекдот о Гоголе» И. И. Ясинского (псевдоним – Максим Белинский; 1850–1931); см.: «Исторический вестник», СПб., 1891, кн. 6. Пан Михольский – реальное лицо, дан в рассказе с его настоящей фамилией.

Правдоподобность «анекдота» Ясинского оспаривал Лесков (Лесков Н. С. Собр. соч., т. 11. М., 1958, с. 208–212). См. статью Б. З. «Бунин и анекдот о Гоголе» («Вопросы литературы», 1972, № 1, с. 196–197).

Молодость и старость\*

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

Журн. «Иллюстрированная Россия», Париж, 1936, № 20, 9 мая, под заглавием «Про обезьяну». Бунин вспоминал:

«Слышал рассказ о сотворении человека от проводника в Константинополе в 1913 году... Нужно было дать что-нибудь в „Иллюстрированную Россию“ (в Париже, в 1936 году) – стал думать, что бы такое написать, вспомнил этот рассказ... Остальное присочинил к нему, вспомнив наше с братом Юлием плавание из Батуми в Константинополь вдоль Анатолийских берегов, летом 1913 года и то, как в Трапезонде взшел на палубу нашего парохода какой-то важный старик-курд» (Бунин, т. 9, с. 371).

Возвращаясь в Рим\*

Газ. «Последние новости», Париж, 1937, № 6042, 10 октября, вместе с рассказами «Пророк Осия» и «Господин Порогов», под общим заглавием «Слова, видения». В рукописи (ИМАИ) – ошибочная дата: «1938 г.».

Он умер близ Ницеи, возвращаясь из Галлии... – Ницея (Nisaea) – древнее наименование Ниццы. Галлия – в древности область между р. По и Альпами (Цизальпинская Галлия), ок. 220 г. до н. э. подчинена римлянами; территория между Альпами, Средиземным морем, Пиренеями, Атлантическим океаном – Трансальпийская Галлия, завоевана Юлием Цезарем в 58–51 гг. до н. э.

Даля (лат.) – георгин.

Апрель\*

Газ. «Последние новости», Париж, 1938, № 6203, 20 марта, и № 6217, 3 апреля, под заглавием «Варианты».

Бунин писал М. В. Карамзиной около 31 мая 1938 года:

«Когда я писал „Митину любовь“, я делал некоторые заметки – в два, в три слова чаще всего. Теперь я написал по ним эти „Варианты“» (ЛН, кн. 1, с. 668).

Мистраль\*

Журн. «Встреча», Париж, 1945, июль.

На полях рукописи этого рассказа (машинопись, с правкой автора, фотокопия – у автора настоящего комментария) Бунин написал: «Точно сохранить мои знаки препинания! Это написано очень ритмично, поэтому к знакам препинания нужно особое, сугубое внимание!» «Корректурa должна быть самая тщательная!!»

Б. К. Зайцев писал Бунину 27 ноября 1944 года: «Друг, „Мистраль“ – великолепно! Принадлежит к лучшим партиям гроссмейстера (так пишут о шахматах). Нет, серьезно: это даже выше „Холодной осени“. Какая-то совершенно особенная, твоя линия, необыкновенно тебе удающаяся (в ней считаю: „Воды многие“, „Цикады“, „Поздней ночью“» («Поздний час». – А. Б.).

Бунин писал Зайцеву 2 февраля 1944 года, вспоминая «дни, вечно памятные», когда он жил на Капри: «В эти дни мне еще было совсем немного лет (сорок – сорок три. – А. Б.), я выпивал за сутки по пяти бутылок Позилиппо и писал по рассказу – да, по рассказу в сутки и очень, очень часто! И вот –

Мистраль бушует за стеной,  
Безлюдный вечер длится, длится...  
Пора в постель – уснуть, забыться,  
Душе и телу дать покой.  
Курить, свет лампы созерцая,  
И думать, думать без конца –  
Зачем вам эта жизнь пустая,  
Людские бедные сердца!

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
Что пользы подводить итоги  
Ничтожных чувств, ничтожных дел,  
Поняв, что близок твой предел,  
Что ты на роковом пороге!»  
(Журн. «Даугава», Рига, 1980, № 10, с. 122. Письма Бунина М. А. Алданову и Б. К. Зайцеву цитируются в наст. коммент. по публикациям проф. А. Зверса).

Это стихотворение не входило в издания Бунина.

Мистраль (фр. *mistral*) – сильный и холодный местный северо-западный ветер на юге Франции.

«– Все воды Твои и волны Твои...» – Здесь и ниже приводятся цитаты из Библии.

В... старом чужом доме... – В рассказе говорится о вилле «Жаннет» в Грассе, где Бунин жил с октября 1939 и до мая 1945 г. Это была, как писал он поэтессе М. В. Карамзиной 18 ноября 1939 г., «чудесная английская вилла, на такой высокой горе, что вид кругом необозримый» (ЛН, кн. 1, с. 685). Под крутым каменистым обрывом проходила дорога Наполеона – на Гренобль. Здесь были пути древних римлян. Горы, долины, море, сад по уступам террас внизу, Эстерель, Антиб – все это открывалось с виллы «Жаннет».

Когда миром правил тот, кто... писал под лагерным шатром о ничтожестве всех человеческих жизней... – Речь идет о римском императоре Юлии Цезаре (102 или 100 – 44 гг. до н. э.), авторе «Записок о галльской войне», и «Записок о гражданских войнах».

В беседах с Г. Н. Кузнецовой в 1932 г. Бунин высказывал те же мысли о Цезаре, какие выражены в рассказе. Он сказал о Цезаре, что то, что он писал, «сидя где-то в палатке на берегах Дуная», свидетельствует о «пониженном чувстве жизни. Недаром все это так безнадежно» (ЛН, кн. 2, с. 287–288).

Пророк Осия\*

Газ. «Последние новости», Париж, 1937, № 6042, 10 октября.

«Книга Осип» – часть Библии («Ветхий завет»).

Господин Порогов\*

Газ. «Последние новости», Париж, 1937, № 6042, 10 октября. В начале рассказа – строки из Библии: Четвертая книга царств, гл. I; Третья книга царств, гл. XVIII, 42–43. Антоний – основатель монашества.

Три рубля\*

Журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1942, № 2, март.

Крем Леодор\*

Журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1947, № 31–32, январь–февраль.

Печатается по машинописному тексту ГБА. Бунин писал редактору журнала С. Ю. Пре-гель: «Думаю, что это довольно страшная история, одна из тех, которыми переполнен мир» (ГБА).

Памятный бал\*

Газ. «Русские новости», Париж, 1947, № 87, 3 января.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
Ловчий\*

«Весной, в Иудее».

В. Н. Муромцева-Бунина рассказывает: у Буниных в Озерках жил на покое «старый повар, который раньше был ловчим; Ваня очень любил расспрашивать его о былом, о охотниках, мужиках, и два рассказа его записал <...> То, что повар повествовал о охоте, воспроизведено в рассказе „Ловчий“» («Жизнь Бунина», с. 25).

Полуденный жар\*

«Весной, в Иудее».

«В такую ночь...»\*

Журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1950, № 42–44.

«Луна блеснит. В такую ночь, как эта...» – Бунин приводит стихи из драмы Шекспира «Венецианский купец» (д. 5, сц. 1).

Тизба. – В «Метаморфозах» Овидия повествуется о преданности в любви Тизбы (Фисбы) и Пирама (Овидий. Метаморфозы, кн. 4. М., 1977, стихи 55–166).

Дидона – в античной мифологии основательница города-государства в Северной Африке – Карфагена.

Медея... чтоб юность возвратить Язону старику... – Медея в древнегреческой мифологии – волшебница, жена предводителя аргонавтов Язона. Она возвратила волшебными травами юность отцу Язона, Эзону.

Алупка\*

«Весной, в Иудее».

В Альпах\*

Журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1950, № 42–44.

...кресты... точно ловят раскинутыми руками... – Это образное выражение повторяется в стихах Бунина: «В костеле» (1889), «Изгнание» (1920).

Легенда\*

«Весной, в Иудее».

...под орган и пение вдруг так живо увидел, почувствовал ее, – мой вымысел... – Очевидно, имеется в виду Лаура, воспетая Петrarкой. Ср. с рассказом «Прекраснейшая солнца», в котором Бунин описывает, как когда-то Петrarке явилась Лаура. «Он увидел ее в ту минуту, когда она показалась в церковном портале». И это было «то время, которое называется теперь древним и в котором все кажется прекрасным». В «Легенде» те же мотивы: «Она была в те давние дни, что мы зовем древностью (...) вот уже несколько веков нет ее в мире». И будет день, когда и наше время будет казаться новым людям «древним временем (...) прекрасным и счастливым, – ибо легендарным».

И он, творец, поэт, обреченный «познать тоску всех стран и всех времен», в пении, в колокольном звоне слышит «голос далекой жизни, от которой // Только красота одна осталась!» – воплощенная и в его вымысле, ставшем реальностью: он «весь день думает о ней, живет ее жизнью, ее временем». Сонмы людей прошли по земле бесследно, а «собор, крест которого все так же, как в древности, плывет в облаках», видела она, видит и он сейчас. В стихотворении «Петух на церковном

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин «кресте» (1922) Бунин также говорит о преходящем и вечном в жизни.

«Un petit accident»\*

Журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1950, № 42–44.

Бернар\*

Газ. «Последние новости», Париж, 1929, № 2916, 17 марта. В ранней редакции рассказ печатался в сб.: Бунин И. А. Божье древо. Париж, 1931, с датой: «1927–1930».

Бунин приводит в вольном переводе отрывки из очерка Мопассана «На воде», о котором он также писал в дневниках своего путешествия по Индийскому океану в 1911 году «Воды многие».

В «Бернаре» выражена идея Сократа, высказанная Буниным ранее в рассказе «Возвращаясь в Рим»: «...сосредоточенность <...> высоких сил <...> заключена в некоторой мере в каждом из нас, – нечто „божественное“, что есть истинная суть человека».

В. Н. Муромцева-Бунина отметила в дневнике 11 февраля 1932 года, что И. И. Фондаминский, один из редакторов «Современных записок», говорил: «В каждом человеке есть божественная правда <...>

– А только один писатель об этом сказал, – засмеялся Ян (И. А. Бунин) и постучал себя по лбу, – это я в „Бернаре“».

Бунин говорил однажды своему спутнику, обозревая с вершины холма горы и море, что и сторож старинкой капеллы чувствует их красоту так же, как и он сам: «Все чувствуют. Поверь, милый мой, мы все в сущности очень мало отличаемся друг от друга» («Литературная Россия», 1979, № 14, 6 апреля, с. 16). Эта точка зрения Бунина сближает его с Толстым.

Рассказы, не публиковавшиеся при жизни Бунина\*

В записи «К моему литературному завещанию» Бунин писал о «последнем томе» своих произведений: «Но что будет в этом предполагаемом... томе и какой он будет по счету? Это зависит от того, напишу ли я еще что-нибудь после книги „Темные аллеи“, и некоторого другого, написанного мною за последние годы и еще не изданного отдельной книгой (см. пакет, в котором „Зимний сон“ и прочее)». 17 января 1945 г. Бунин писал М. А. Алданову: «J'ai écrit encore une livre (comme „Les allées sombres“)». (Перевод: «Я написал еще одну книгу вроде „Темных аллеи“»).

В письмах к друзьям Бунин неоднократно упоминал о своих отдельных неизданных рассказах. Так, в письме Б. К. Зайцеву от 14 июля 1944 года он писал: «Посылаю – на всякий случай – список того, что накопилось в моем „портфеле“. Ты из этого „портфеля“ еще далеко не все знаешь...» В списке, приложенном к письму, Бунин назвал рассказы: «Ахмат», «Au secours!», «Новая шубка», «Далекий пожар», «О. Никон».

В письме к Н. А. Тэффи от 11 апреля 1944 года Бунин называет рассказ «Лита» в перечне рассказов, составивших книгу «Темных аллеи» (см. журнал «Подъем», Воронеж, 1978, № 3, с. 130).

Рукописи названных рассказов сохранились в парижском архиве Бунина. Рассказы «Ахмат», «Новая шубка» и «Далекий пожар» были опубликованы в Нью-Йорке доктором М. Грин. Остальные рассказы опубликованы там же Л. Ф. Зуровым.

Тексты рассказов «Ривьера», «Аля», «Когда я впервые...» и «Модест» печатаются по ЛН. Тексты рассказов «Ахмат», «Новая шубка», «Далекий пожар» и «Лита» печатаются по зарубежным публикациям.

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин  
А. Бабореко

Выходные данные

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН

Собрание сочинений

Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952

Редакционная коллегия:

Ю. В. Бондарев, О. Н. Михайлов, В. П. Рынкевич

Подгот. текста и коммент. А. Бабореко

Статья-послесловие А. Саакянц.

Редактор Н. Тришкина

Художественный редактор Г. Масляненко

Технический редактор Л. Сеницына

Корректор Н. Усольцева

ИБ № 5071

Сдано в набор 23.04.87. Подписано к печати 25.11.87. формат 84 x 108 1/32.

Бумага тип. № 1. Гарнитура «Академическая». Печать высокая.

Усл. печ. л. 33.6. Усл. кр. отт. 34.02. Уч. изд. л. 36.2.

Тираж 400 000 экз. Изд. № II–2563. заказ 959. Цена 3 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература».

107882, ГСП, Москва, Б–78, Ново–Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское  
производственно–техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького  
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств,  
полиграфии и книжной торговли.  
197136, Ленинград, П–136, Чкаловский пр., 15

Примечания

1 У моей маленькой Антуанетты было множество вещей из колоний: попугай, птицы  
всех окрасок в вольере, коллекции раковин и насекомых. В туалетном столике её  
матери я видел удивительные ожерелья из ароматических зёрен. На чердаке, куда мы  
иногда забирались, лежали звериные шкуры, странные мешки и ящики, где можно было  
ещё прочитать адреса городов на Антильских островах... (фр.)

2 Дай им вечный покой. Господи, и да светит им вечный свет (лат.)

3 Возлюбленная нами, как никакая другая возлюблена не будет! (лат.)

4 Нет ничего более трудного, как распознать хороший арбуз и порядочную женщину  
(фр.)

5 Добрый вечер, сударь (фр.)

6 Вода портят вино так же, как повозка дорогу и как женщина душу (фр.)

7 «Друг» (фр.)

8 Красной икры, винегрета... Два шашлыка... (фр.)

9 Это я вас благодарю (фр.)

10 Милосердный господь всегда дает штаны тем, у кого нет зада... (фр.)

11 Кто женится по любви, тот имеет хорошие ночи и скверные дни (фр.)

12 Терпенье – медицина бедных (фр.)

13 Приходящая домашняя работница (фр.)

14 Любовь заставляет даже ослов танцевать (фр.)

15 Гарсон, кружку пива! (фр.)

16 Старый сатир! (фр.)

17 Нет писем, сударь, нет телеграмм (фр.)

18 Иностранные газеты! (фр.)

19 Будем веселиться! (лат.)

20 Говорите за себя... (фр.)

21 Это камаргианка (фр.)

22

– Скажите, Одетт, кто эта дама?

– Какая дама, сударь?

– Дама брюнетка, там?

– Какой стол, сударь?

– Номер десять.

– Это русская, сударь.

– Ну, и... Я ничего не знаю о ней.

– Она у вас давно?

– Три недели, сударь,

– Всегда одна?

– Нет, сударь. Был один господин...

– Молодой, спортивного вида?

– Нет, сударь. Очень задумчивый, нервный...

– И в один прекрасный день он исчез?

– Да, сударь (фр.)

23 Довольно!.. Правда, мадам? (фр.)

24 Охота с борзой... с гончей – от фр.: la chasse au chien courant.

25 Маленькое происшествие (фр.)

нений в шести томах. Том 5. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932–1952. Иван Алексеевич Бунин

26 «Hôtel des Palmiers et de la Plage». Встречи людей высшего света Франции и других стран, местоположение единственное в своем роде, несравненные виды, идеальный отдых зимой и летом, 300 комнат, самый современный комфорт, прочно зарекомендовавшая себя кухня, обширный парк, теннис, два гаража, открыт круглый год... (фр.)

27 Боже, какая красота (фр.).

28 Такси, на улицу Сюрен! (фр.)

29 Жареный поросенок. Косуля в бруснике... (фр.)

30 Карп, жаренный на сале, fogas из озера Балатон... (фр.)

31 лапша с сыром... (фр.)

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://buninivan.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!